ЮРИЙ ТРИФОНОВ

2

2
ЮРИЙ ТРИФОНОВ

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

Р2
Т69

Составители
И. Д. ГРОМОВА, Т. А. СМОЛЯНСКАЯ

Оформление художника
М. З. ШЛОСБЕРГА

Т $\frac{4702010200-045}{028(01)-86}$ подписное

ОБМЕН

◆



В июле мать Дмитриева Ксения Федоровна тяжело заболела, и ее отвезли в Боткинскую, где она пролежала двенадцать дней с подозрением на самое худшее. В сентябре сделали операцию, худшее подтвердилось, но Ксения Федоровна, считавшая, что у нее язвенная болезнь, почувствовала улучшение, стала вскоре ходить, и в октябре ее отправили домой, пополневшую и твердо уверенную в том, что дело идет на поправку. Вот именно тогда, когда Ксения Федоровна вернулась из больницы, жена Дмитриева затеяла обмен: решила срочно съезжаться со свекровью, жившей одиноко в хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице.

Разговоры о том, чтобы соединиться с матерью, Дмитриев начинал и сам, делал это не раз. Но то было давно, во времена, когда отношения Лены с Ксенией Федоровной еще не отчеканились в формы такой окостеневшей и прочной вражды, что произошло теперь, после четырнадцати лет супружеской жизни Дмитриева. Всегда он наталкивался на твердое сопротивление Лены, и с годами идея стала являться все реже. И то лишь в минуты раздражения. Она превратилась в портативное и удобное, всегда при себе, оружие для мелких семейных стычек. Когда Дмитриеву хотелось за что-то уколоть Лену, обвинить ее в эгоизме или в черствости, он говорил: «Вот поэтому ты и с матерью моей не хочешь жить». Когда же потребность съязвить или надавить на больное возникала у Лены, она говорила: «Вот поэтому я и с матерью твоей жить не могу и никогда не стану, потому что ты — вылитая она, а с меня хватит одного тебя».

Когда-то все это дергало, мучило Дмитриева. Из-за матери у него бывали жестокие перепалки с женой, он доходил до дикого озлобления из-за какого-нибудь ехидного словца, сказанного Леной; из-за жены пускался в тягостные «выяснения отношений» с матерью, после

чего мать не разговаривала с ним по нескольку дней. Он упрямо пытался сводить, мирить, селил вместе на даче, однажды купил обеим путевки на Рижское взморье, но ничего путного из всего этого не выходило. Какая-то преграда стояла между двумя женщинами, и преодолеть ее они не могли. Почему так было, он не понимал, хотя раньше задумывался часто. Почему две интеллигентные, всеми уважаемые женщины — Ксения Федоровна работала старшим библиографом одной крупной академической библиотеки, а Лена занималась переводами английских технических текстов и, как говорили, была отличной переводчицей, даже участвовала в составлении какого-то специального учебника по переводу,— почему две хорошие женщины, горячо любившие Дмитриева, тоже хорошего человека, и его дочь Наташку, упорно лелеяли в себе твердевшую с годами взаимную неприязнь?

Мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. Привык оттого, что увидел, что то же — у всех, и все — привыкли. И успокоился на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил. Поэтому, когда Лена вдруг заговорила об обмене с Маркушевичами — поздним вечером, давно отужинали, Наташка спала,— Дмитриев испугался. Кто такие Маркушевичи? Откуда она их взяла? Двухкомнатная квартира на Малой Грузинской. Он понял тайную и простую мысль Лены, от этого понимания испуг проник в его сердце, и он побледнел, сник, не мог поднять глаз на Лену.

Так как он молчал, Лена продолжала: материнская комната на Профсоюзной им понравится наверняка, она их устроит географически, потому что жена Маркушевича работает где-то возле Калужской заставы, а вот к их собственной комнате потребуется, наверно, доплата. Иначе не заинтересуешь. Можно, конечно, попробовать обменять их комнату на что-то более стоящее, будет тройной обмен, это не страшно. Надо действовать энергично. Каждый день что-то делать. Лучше всего найти маклера. У Люси есть знакомый маклер, старичок, очень милый. Он, правда, никому не дает своего адреса и телефона, а появляется сам как снег на голову, такой конспиратор, но у Люси он должен скоро появиться: она ему задолжала. Это закон: никогда нельзя давать им деньги вперед...

Разговаривая, Лена стелила постель. Он никак не мог

посмотреть ей в глаза, теперь он хотел этого, но Лена стояла к нему то боком, то спиной, когда же она повернулась и он взглянул ей прямо в глаза, близорукие, с расширенными от вечернего чтения зрачками, увидел — решимость. Наверно, готовилась к разговору давно, может, с первого дня, как узнала о болезни матери. Тогда же ее и осенило. И пока он, подавленный ужасом, носился по врачам, звонил в больницы, устраивал, терзался,— она обдумывала, соображала. И вот нашла каких-то Маркушевичей. Странно, он не испытывал сейчас ни гнева, ни боли. Мелькнуло только — о беспощадности жизни. Лена тут ни при чем, она была частью этой жизни, частью беспощадности. Кроме того, можно ли сердиться на человека, лишенного, к примеру, музыкального слуха? Лену всегда отличала некоторая душевная — нет, не глухота, чересчур сильно,— некоторая душевная неточность, и это свойство еще обострялось, когда вступало в действие другое, сильнейшее качество Лены: умение добиваться своего.

Он зацепился за то, что было вблизи: зачем нужен маклер, если квартира на Малой Грузинской уже найдена? Маклер нужен, если придется менять их комнату. И вообще чтоб ускорить весь процесс. Она не заплатит ему ни копейки до тех пор, пока не получит ордер на руки. Стоит это не так уж дорого, рублей сто, максимум полтораста. Так и есть! Его мрачность она расценила по-своему. Какая тонкая душа, какой психолог. Он сказал, что лучше бы она подождала, пока он начнет этот разговор сам, а не начнет, значит, не нужно, нельзя, не об этом сейчас надо думать.

— Витя, я понимаю. Прости меня,— сказала Лена с усилием.— Но... (Он видел, что ей очень трудно, и все-таки она договорит до конца.) Во-первых, ты уже начинал этот разговор, правда же? Много раз начинал. А во-вторых, это нужно всем нам, и в первую очередь твоей маме. Витька, родной мой, я же тебя понимаю и жалею как никто, и я говорю: это нужно! Поверь...

Она обняла его. Ее руки стискивали его все сильнее. Он знал: эта внезапная любовь неподдельна. Но почувствовал раздражение и отодвинул Лену локтем.

— Ты не должна была сейчас начинать! — повторил он угрюмо.

— Ну, хорошо, ну, извини меня. Но я же забочусь не о себе, правда же...

— Замолчи! — почти крикнул он шепотом.

Лена отошла к тахте и продолжала раскладывать постель молча. Она вынула из ящика, стоявшего в головах тахты, толстую клетчатую скатерть, служившую обыкновенно подкладкой под простыню, но иногда применявшуюся и по своему прямому назначению для обеденного стола, на скатерть положила простыню, которая вздулась и легла не очень ровно, и Лена нагнулась, вытягивая вперед руки, чтобы достать до дальнего края тахты — лицо ее при этом мгновенно налилось краской, а живот низко провис и показался Дмитриеву очень большим,— и расправила завернувшиеся углы (когда стелил Дмитриев, он никогда не расправлял углов), потом бросила на простыню, к ящику, две подушки, одна из которых была с менее свежей наволочкой, эта подушка принадлежала Дмитриеву. Вытянув из ящика и кладя на тахту два ватных одеяла, Лена сказала дрожащим голосом:

— Ты меня как будто обвиняешь в бестактности, но, честное слово, Витя, я действительно думала обо всех нас... О будущем Наташки...

— Да как ты можешь!

— Что?

— Как ты можешь вообще говорить об этом сейчас? Как у тебя язык поворачивается? Вот что меня изумляет.— Он чувствовал, что раздражение растет и рвется на волю.— Ей-богу, в тебе есть какой-то душевный дефект. Какая-то недоразвитость чувств. Что-то, прости меня, недочеловеческое. Как же можно? Дело-то в том, что больна моя мать, а не твоя, правда ведь? И на твоем бы месте...

— Говори тише.

— На твоем бы месте я никогда первый...

— Тихо! — Она махнула рукой.

Оба прислушались. Нет, все было тихо. Дочка спала за ширмой в углу. Там же за ширмой стоял ее письменный столик, за которым вечерами она готовила уроки. Дмитриев смастерил и повесил над столиком полку для книг, провел туда электричество для настольной лампы — сделал за ширмой особую комнатку, «одиночку», как называли ее в семье. Дмитриев и Лена спали на широкой тахте чехословацкого производства, удачно купленной три года назад и являвшейся предметом зависти знакомых. Тахта стояла у окна, ее отделял от «одиночки» дубовый, с резными украшениями буфет, доставшийся Лене в наследство от бабушки,— вещь не-

лепая, которую Дмитриев много раз предлагал продать, Лена тоже была не против, но возражала теща. Вера Лазаревна жила недалеко, через два дома, и приходила к Лене почти ежедневно под предлогом «помочь Наташеньке» и «облегчить Ленусе», а на самом деле с единственной целью — беспардонно вмешиваться в чужую жизнь.

Вечерами, ложась на свое чешское ложе — оказавшееся не очень-то прочным, вскоре оно расшаталось и скрипело при каждом движении,— Дмитриев и Лена всегда долго прислушивались к звукам, доносившимся из «одиночки», стараясь понять, заснула дочка или нет. Дмитриев звал, проверяя, вполголоса: «Наташ! А Наташ!» Лена подходила на цыпочках и смотрела сквозь щелку в ширме. Лет шесть назад взяли няньку, она спала на раскладушке здесь же в комнате. Фандеевы, соседи, возражали против того, чтоб в коридоре. Старуха страдала бессонницей и обладала острейшим слухом, ночами напролет она что-то бормотала, кряхтела и прислушивалась: то мышь скребется, то бежит таракан, то кран на кухне забыли закрутить. Когда старуха ушла, у Дмитриевых началось что-то вроде медового месяца.

— Опять сидела с физикой до одиннадцати часов,— сказала Лена шепотом.— Надо брать кого-то... У Антонины Алексеевны есть хороший репетитор.

То, что Лена перевела разговор на Наташкины невзгоды и смирилась со всеми дмитриевскими оскорблениями, пропустила их мимо ушей — что было на нее непохоже,— означало, что она твердо хочет примириться и довести дело до конца. Но Дмитриеву еще не хотелось мириться. Наоборот, его раздраженность усиливалась оттого, что он вдруг осознал главную бестактность Лены: она заговорила так, будто все предрешено и будто ему, Дмитриеву, тоже ясно, что все предрешено, и они понимают друг друга без слов. Заговорила так, будто нет никакой надежды. Она не смела так говорить!

Объяснять все это было невозможно. Дмитриев рывком вскочил со стула, схватил пижаму и полотенце и, ни слова не говоря, почти выбежал из комнаты.

Когда через несколько минут он вернулся, постель была готова. В комнате стоял запах духов. Лена в незастегнутом халате расчесывала волосы, стоя перед зеркалом, и ее лицо выражало безучастность и даже, пожалуй, хорошо скрытую обиду. Но запах духов выдавал ее. Это был зов, приглашение к примирению. Придерживая

полы халата одной рукой у подбородка, а другой — на животе, Лена быстрым и деловым шагом, не посмотрев на Дмитриева, прошла мимо него в коридор. Ему снова вспомнились стихи, которые он бормотал все последние дни: «О, господи, как совершенны дела твои...» Закрыв глаза, он сел на край тахты. «Думал, больной...» Просидел так несколько секунд. Он знал, что в глубине души Лена довольна, самое трудное сделано: она сказала. Теперь надо зализать ранку, впрочем, и не ранку, а небольшую царапинку, сделать которую было совершенно необходимо. Вроде внутривенного укола. Подержите ватку. Немножко больно, зато потом будет хорошо. Важно ведь, чтоб потом было хорошо. А он не закричал, не затопал ногами, просто выпалил несколько раздраженных фраз, потом ушел в ванную, помылся, почистил зубы и сейчас будет спать. Он лег на свое место к стене и повернулся лицом к обоям.

Скоро пришла Лена, щелкнула дверным замком, зашуршала халатом, зашелестела свежей ночной рубашкой, выключила свет. Как ни старалась она двигаться легко и быть как можно более невесомой, тахта под ее тяжестью затрещала, и Лена от этого треска зашептала с некоторой даже шутливостью:

— Ой, боже мой, какой кошмар...

Дмитриев молчал, не двигался. Прошло немного времени, и Лена положила руку на его плечо. Это была не ласка, а дружеский жест, может быть, даже честное признание своей вины и просьба повернуться лицом. Но Дмитриев не шелохнулся. Ему хотелось сейчас же заснуть. С мстительным чувством он наслаждался тем, что погружается в неподвижность, в сон, что ему уже некогда прощать, объясняться шепотом, поворачиваться лицом, проявлять великодушие, он может лишь наказывать за бесчувственность. Рука Лены стала слегка поглаживать его плечо. Окончательная сдача! Робкими прикосновениями она жалела его, вымаливала прощение, извинялась за черствость души, которой, впрочем, можно найти оправдание, и призывала его к мудрости, к доброте, к тому, чтобы и он нашел в себе силы и пожалел ее. Но он не уступал. Что-то неостывшее в нем мешало повернуться, обнять ее правой рукой. Сквозь надвигавшуюся дремоту он видел крыльцо деревянного дома, Ксению Федоровну, стоявшую на самой верхней ступеньке крыльца и вытиравшую руки мятым вафельным полотенцем, и ее медленный взгляд прямо в глаза Дми-

триеву, мимо русой головы, мимо ярко-голубого шелкового платья, и услышал глухой голос: «Сынок, ты хорошо подумал?» Глухой потому, что издалека, из того ледяного майского дня, когда все были очень молодые, Валька полез купаться, Дмитриев поднимал двухпудовую гирю, Толик мчался куда-то на своем «вандерере» за вином, по дороге сломал забор, вызывали милицию, а потом на холодной верандочке, по стеклам которой шатался свет фонаря, Лена плакала, мучилась, обнимала его, шепча, что никогда, никого, на всю жизнь, это не имеет значения. Мама села утром на мотопед, повесила на руль бидончик и поехала на станцию за молоком и хлебом. Ее несчастье — говорить сразу то, что приходит в голову. «Сынок, ты хорошо подумал?» Что могло быть бессильнее этой нелепой и жалкой фразы? Он ни о чем не мог думать. Май с ледяными ветрами, обрывавшими нежную, едва родившуюся листву, вот что было тогда, чем они дышали. Мама учила английский просто так, для себя, чтоб читать романы, а Дмитриев собирался в аспирантуру, они вместе занимались с Ириной Евгеньевной и вместе вдруг прекратили, когда появилась Лена. Концом зонтика мама стучала в стекло верандочки — было не поздно, часов семь вечера: «Вставай, Ирина Евгеньевна ждет!» Дмитриев и Лена, притаясь под просторным ватным одеялом, делали вид, что спят. Раза два еще нерешительно стучал зонтик в окно, потом хрустели шишки под туфлями — мама уходила в молчании. Она сама не желала больше заниматься английским и утратила интерес к детективным романам. Однажды она услышала, как Лена, смеясь, передразнивает ее произношение. Вот оттуда, с той деревенской верандочки в мелком оконном переплете, началось то, что теперь поправить нельзя.

Рука Лена проявляла настойчивость. За четырнадцать лет эта рука тоже изменилась — она была раньше такой легкой, прохладной. Теперь же, когда рука лежала на плече Дмитриева, она давила немалой тяжестью. Дмитриев, ни слова не говоря, повернулся на левый бок, обнял Лену правой рукой, сдвинул ее ближе, сонно внушая себе, что имеет право, потому что уже спал, видел сны и, может быть даже, все еще спит. Во всяком случае, он ничего не говорил, глаза его были закрыты, как у человека действительно спящего, и в те секунды, когда Лене очень хотелось, чтобы он ей что-нибудь сказал, он продолжал молчать. Только потом, когда он глу-

боко и по-настоящему заснул, часа в два ночи, он бормотал со сна какую-то невнятицу.

Дмитриеву в августе исполнилось тридцать семь. Иногда ему казалось, что еще все впереди.

Такие приступы оптимизма бывали по утрам, когда он просыпался вдруг свежим, с нечаянной бодростью — много содействовала тому погода — и, открыв форточку, начинал в ритме размахивать руками и сгибаться и разгибаться в поясе. Лена и Наташка вставали на четверть часа раньше. Иногда с раннего утра, чтобы проводить Наташку в школу, являлась Вера Лазаревна. Лежа с закрытыми глазами, Дмитриев слышал, как женщины шаркали, двигались, переговаривались громким шепотом, гремели посудой, Наташка ворчала: «Опять каша! Неужели у вас фантазии нет?» Лена реагировала с привычным утренним гневом: «Я тебе покажу фантазию! Сядь как следует!» — а теща бубнила: «Если б другие дети имели то, что имеешь ты...» Это была заведомая ложь. Другие дети имели все то же самое и даже гораздо больше. Но в те утра, когда Дмитриев просыпался, охваченный невразумительным оптимизмом, его ничто не раздражало. Он смотрел с высоты пятого этажа на сквер с фонтаном, улицу, столб с таблицей троллейбусной остановки, возле которого сгущалась толпа, и дальше он видел парк, многоэтажные дома на горизонте и небо. На балконе соседнего дома, очень близко, в двадцати метрах напротив, появлялась молодая некрасивая женщина в очках, в коротком, неряшливо подпоясанном домашнем халате. Она присаживалась на корточки и что-то делала с цветами, стоявшими на балконе в горшках. Она их трогала, поглаживала, заглядывала под листочки, а некоторые листочки поднимала и нюхала. Оттого, что она садилась на корточки, халат раскрывался, и становились видны ее крупные синевато-белые колени. Лицо женщины было такого же тона, как колени, синевато-белое. Дмитриев наблюдал за женщиной, сгибаясь и разгибаясь в поясе. Он смотрел на нее из-за занавески. Непонятно почему — женщина ему совсем не нравилась,— но тайное наблюдение за ней вдохновляло его. Он думал о том, что еще не все потеряно, что тридцать семь — это не сорок семь и не пятьдесят семь и он еще может кое-чего добиться.

Топоча по коридору, в суматохе, сопровождаемые криками Лены: «А мешки взяли? Не бегите через дорогу! Attention, дети, attention»,— Наташка и фандеев-

ская Валя, шестиклассница, покидали дом в тридцать минут девятого. Под их прыжками содрогалась лестница. Дмитриев проскальзывал в ванную, запирался, через три минуты легкий стук прерывал его размышления: «Виктор Георгиевич, сегодня пятница, у меня стирка, я вас умоляю — побыстрее!» Это был голос соседки Ираиды Васильевны, с которой теща Дмитриева не разговаривала, Лена была в холодных отношениях, но Дмитриев старался быть корректен, оберегая свою объективность и независимость. «Хорошо! — отвечал он сквозь шум воды.— Будет сделано!» Он быстро брился, включив газовую колонку и полоская кисточку под горячей струей, потом мыл лицо над старым, пожелтевшим, с обитым краем умывальником — его давно полагалось сменить, но Фандеевым один черт, над каким умывальником мыться, а Ираида Васильевна жалела деньги — и вскоре, слегка насвистывая, с газетами в руке, которые он успевал на пути из ванной по коридору достать из ящика, возвращался в комнату. Стол еще был загроможден посудой после недавней еды Наташки и Лены. Теперь торопилась Лена, она уходила на десять минут позже Наташки, и утреннее обслуживание Дмитриева принимала на себя теща. Дмитриеву это не особенно нравилось, теща тоже ухаживала за зятем без энтузиазма — это была ее маленькая утренняя жертва, один из тех незаметных подвигов, из которых и состоит вся жизнь таких тружениц, таких самозабвенных натур, как Вера Лазаревна.

Иногда Дмитриев замечал, что Лена лишь старается показать, что ей некогда, а на самом деле у нее вполне хватило бы времени приготовить ему завтрак, но она нарочно уступала эту миссию матери: как бы затем, чтобы Дмитриев был чем-то, пускай незначительным, пускай на минуту, теще обязан. Она даже могла шепнуть ему на ухо: «Не забудь поблагодарить маму!» Он благодарил. Он видел все эти уловки по регулированию семейных связей и в зависимости от настроения то не обращал на них внимания, то тихо раздражался. На тихое раздражение Вера Лазаревна всегда ответствовала посвоему — нежнейшим ехидством. «Как быстро-то Виктор Георгиевич освободил ванную! Вот молодец! — улыбаясь, говорила она и влажным кухонным полотенцем вытирала на клеенке местечко для Дмитриева.— Что значит — соседка попросила...» Лена решительно пресекала: «При чем тут соседка? Витя всегда моется быстро».— «Я и говорю, молодец, молодец, по-военному...»

В то утро начального октября за окном была синь, комната полнилась светом, отраженным от залитого солнцем бело-кирпичного торца противоположного дома, и голоса Веры Лазаревны не было слышно. В первый миг, едва разлепив глаза, Дмитриев бессознательно — из-за солнца и света — ощутил радость, но уже в следующую секунду все вспомнилось, синева смеркла, за окном установился безнадежно ясный и холодный осенний день. До завтрака ни он, ни Лена не сказали друг другу ни слова. Но после того, как Дмитриев позвонил Ксении Федоровне — он звонил сестре Лоре в Павлиново, где сейчас мать жила, и Ксения Федоровна бодрым голосом рассказала, что вчера поздно заезжал Исидор Маркович, нашел состояние хорошим, давление в норме, советовал с первым снегом поехать в какой-нибудь подмосковный санаторий, затем следовали вопросы насчет Наташкиных дел, как ее глаза, исправила ли тройку по физике, дают ли ей морковку сырую тертую — самое полезное питание для глаз, и что слышно с командировкой Дмитриева,— он испытал внезапное облегчение, точно отлив боли от головы. Вдруг показалось, что все, может, и обойдется. Бывают же ошибки, самые невероятные ошибки. И с этой ничтожной радостью и минутной надеждой он пришел после телефонного разговора в комнату — Наташка уже убежала, а Лена поспешно что-то шила, наполовину одетая, в юбке и в черной нижней рубашке, с голыми плечами — и, проходя мимо Лены, он легонько шлепнул ее пониже спины и спросил дружелюбно:

— Ну-с, как настроение?

Вдруг сухо Лена ответила, что настроение у нее плохое.

— Да что ты? — сказал Дмитриев, задетый тем, что так сухо отвечают на его дружелюбие.— Это отчего же?

— Причин, по-моему, больше чем достаточно. Мама заболела.

— Твоя мама?

— Ты думаешь, только твоя может болеть?

— А что с Верой Лазаревной?

— Что-то очень серьезное с головой. Второй день лежит, я уж тебе не говорила вчера, но сегодня утром позвонила... Какие-то мозговые спазмы.

Лена закончила шитье, надела кофточку и подошла к зеркалу, глядя на себя высокомерно. Кофточка была с короткими рукавами, что было некрасиво — руки

у Лены вверху толсты, летний загар сошел, белеет кожа в мелких пупырышках. Ей надо носить только длинные рукава, но сказать ей об этом было бы неосмотрительно. Какая выдержка — ни звука о своем вчерашнем предложении! Может, ей стало стыдно, но скорее тут была некоторая амбиция: ее обвинили в бестактности, в отсутствии чуткости, как раз в тех качествах, которые ей самой особенно неприятны в людях, и она проглотила эту несправедливость и даже просила прощения и как-то унижалась. Но теперь она будет молчать. Зачем всегда ходить в плохих? Нет уж, теперь станете просить — не допроситесь. К тому же ей не до того, она озабочена болезнью матери (Дмитриев готов был отвечать ста рублями против рубля за то, что у тещи ее обычная мигрень). Господи, как он научился читать вслепую в этой книге! Не успел Дмитриев насладиться последней мыслью, полной самодовольства, как Лена ошеломила его. Совершенно буднично и мирно она сказала:

— Витька, я тебя прошу — поговори сегодня же с Ксенией Федоровной. Просто предупреди, что Маркушевичи могут смотреть ее комнату, и надо взять ключ.

Помолчав, он спросил:

— Когда они хотят смотреть?

— Завтра, послезавтра, не знаю точно. Они позвонят. А ты, если поедешь сегодня в Павлиново, не забудь, возьми ключ у Ксении Федоровны. Кефир, пожалуйста, поставь в холодильник, а хлеб — в мешочек. А то всегда оставляешь, и он сохнет. Пока!

Махнув приветственно, она вышла в коридор. Хлопнула входная дверь. Загудел лифт. Дмитриеву что-то хотелось сказать, какая-то мысль, неясно-тревожная, возникала на пороге сознания, но так и не возникла, и он, сделав два шага вслед за Леной, постоял в коридоре и вернулся в комнату.

От ранней синевы не осталось и помину. Когда Дмитриев вышел к троллейбусной остановке, сеялся мелкий дождь и было холодно. Все последние дни дождило. Конечно, Исидор Маркович прав — он опытнейший врач, старый воробей, его приглашают на консультации в другие города — надо вывозить мать за город, но не в такую же гриппозную сырость. Но если он советует подмосковный санаторий, значит, не видит близких угроз — вот же что! И Дмитриев второй раз за сегодняшнее утро с робостью подумал о том, что, может быть, все и обойдется. Они обменяются, получат хорошую отдельную квар-

тиру, будут жить вместе. И чем скорее обменяются, тем лучше. Для самочувствия матери. Свершится ее мечта. Это и есть психотерапия, лечение души! Нет, Лена бывает иногда очень мудра, интуитивно, по-женски — ее вдруг осеняет. Ведь тут, возможно, единственное и гениальное средство, которое спасет жизнь. Когда хирурги бессильны, вступают в действие иные силы... И это то, чего не может добыть ни один профессор, никто, никто, никто!

Уже ни о чем другом не мог думать Дмитриев, стоя на троллейбусной остановке под моросящим дождем и потом, пробираясь внутрь вагона среди мокрых плащей, толкающих по колену портфелей, пальто, пахнущих сырым сукном, и об этом же он думал, сбегая по грязным, скользким от нанесенной тысячами ног дождевой мокряди, ступеням метро, и стоя в короткой очереди в кассу, чтобы разменять пятиалтынный на пятаки, и снова сбегая по ступеням еще ниже, и бросая пятак в щель автомата, и быстрыми шагами идя по перрону вперед, чтобы сесть в четвертый вагон, который остановится как раз напротив арки, ведущей к лестнице на переход. И все о том же — когда шаркающая толпа несла его по длинному коридору, где был спертый воздух и всегда пахло сырым алебастром, и когда он стоял на эскалаторе, втискивался в вагон, рассматривал пассажиров, шляпы, портфели, куски газет, папки из хлорвинила, обмякшие утренние лица, старух с хозяйственными сумками на коленях, едущих за покупками в центр,— у любого из этих людей мог быть спасительный вариант. Дмитриев готов был крикнуть на весь вагон: «А кому нужна хорошая двадцатиметровая?..»

Без четверти девять он выбрался из подземелья на площадь, без пяти пересек переулок и, обогнув стоявшие возле подъезда автомобили, вошел в дверь, рядом с которой висела под стеклом черная таблица «ГИНЕГА».

В этот день решался вопрос о командировке в Голышманово, в Тюменскую область. Командировку утвердили еще в июле, и ехать обязан был не кто иной, как Дмитриев. Насосы — его вотчина. Он один отвечал за это дело и один в нем по-настоящему разбирался, если не считать Сниткина. Неделю назад Дмитриев затеял с ним разговор, но Паша Сниткин, хитромудрый деятель (в отделе его называли «Паша Сниткин С-миру-

по-ниткин» за то, что ни одной работы он не сделал самостоятельно, всегда умел устроить так, что все ему помогали), сказал, что поехать, к сожалению, никак не может — тоже по семейным обстоятельствам. Наверное, врал. Но тут было его право. Кому охота ехать в ненастье, в холода в Сибирь? Сниткину было неловко отказывать, и у него вырвалось с досадой: «Ты же говорил, что твоей матушке стало лучше?»

Дмитриев не стал объяснять, только махнул рукой: «Где лучше...» А ведь Паша всегда так внимательно расспрашивал о здоровье Ксении Федоровны, давал телефоны врачей, вообще проявлял сочувствие, и в его согласии Дмитриев был почему-то совершенно уверен. Но почему? С какой стати? Теперь стало ясно, что эта уверенность была глупостью. Нет, они не фальшивят, когда проявляют сочувствие и спрашивают с проникновенной осторожностью: «Ну, как у вас дома дела?» — но просто это сочувствие и эта проникновенность имеют размеры, как ботинки или шляпы. Их нельзя чересчур растягивать. Паша Сниткин переводил дочку в музыкальную школу, этим хлопотливым делом мог заниматься один он — ни мать, ни бабушка. И если б он уехал в октябре в командировку, музыкальная школа в этом году безусловно пропала бы, что причинило бы тяжелую травму девочке и моральный урон всей семье Сниткиных. Но, боже мой, разве можно сравнивать — умирает человек и девочка поступает в музыкальную школу? Да, да. Можно. Это шляпы примерно одинакового размера — если умирает ч у ж о й человек, а в музыкальную школу поступает своя с о б с т в е н н а я, родная дочка.

Директор ждал Дмитриева в половине одиннадцатого. Склонив голову набок и глядя с каким-то робким удивлением Дмитриеву в глаза, директор сказал:

— Так что же будем делать?

Дмитриев ответил:

— Не знаю. Ехать я не могу.

Директор молчал, трогая белыми широкими пальцами кожу на щеках, на подбородке, словно проверяя, хорошо ли побрился. Взгляд его становился задумчивым. Он действительно о чем-то крепко задумался и даже бессознательно замурлыкал какую-то мелодию.

— Н-да... Так как же быть, Виктор Георгиевич? А? А если дней на десять?

— Нет! — отрывисто сказал Дмитриев.

Он понял, что может стоять, как скала, и его не сдвинут. Только не надо ничего объяснять. И директор, подумав, назвал фамилию Тягусова, молодого парня, год назад окончившего институт и, как казалось Дмитриеву, порядочного балбеса.

Еще недавно Дмитриев стал бы протестовать, но теперь вдруг почувствовал, что все это не имеет значения. А почему не Тягусова?

— Конечно,— сказал он.— Я посижу с ним дня два, все ему объясню. Он справится. Парень толковый.

Придя в свою комнату на первом этаже, Дмитриев полтора часа работал не разгибаясь: готовил документацию для Голышманова. Хотя он и раньше не верил в то, что его заставят поехать, все же мысль о командировке давила, была ко всем его тягостям еще одной гирькой, и теперь, когда гирьку сняли, он испытал облегчение. И подумал с надеждой, что сегодня, может быть, будет удачный день. Как у всех людей, которых гнетет судьба, у Дмитриева выработалось суеверие: он замечал, что бывают дни везения, когда одна удача цепляется за другую, и в такие дни надо стараться проворачивать как можно больше дел, и бывают дни невезения, когда ни черта не клеится, хоть лопни. Похоже на то, что начинается день удач. Теперь надо занять деньги. Лора просила привезти хотя бы рублей пятьдесят. На одного Исидора Марковича ушло за месяц — четырежды пятнадцать — шестьдесят рублей. А где взять? Такая гадость: занимать деньги. Но делать надо сегодня, раз уже сегодня день удач.

Дмитриев стал думать, к кому бы ткнуться. Почти все — он вспомнил — жаловались недавно, что денег нет, прожились за лето. Сашка Прутьев строил кооперативную квартиру, сам был весь в долгах. Василий Герасимович, полковник, партнер по преферансу и по поездкам на рыбалку, всегда выручавший Дмитриева, переживал трагедию — ушел от жены, просить его было неловко. Приятели Дмитриева по КПЖ (клуб полуженатиков), к которым Дмитриев кидался в минуты отчаянья, когда ссорился с Леной, были люди малоимущие — их состояния заключались у кого в автомобиле, у кого в моторной лодке, в туристской палатке, в бутылках французского коньяка или виски «Белая лошадь», купленных случайно в Столешниковом и хранящихся на всякий пожарный дома в книжном шкафу,— и могли одолжить не больше

четвертака, сороковки от силы, а достать необходимо было не меньше полутора сот. Была, конечно, последняя возможность, предел мучительства: попросить у тещи. Но это уж значило — докатиться. Дмитриев еще мог бы сделать над собой усилие, перемучиться, но Лена переживала такие вещи чересчур болезненно. Она-то знала свою мать лучше. Внезапно Дмитриеву пришло в голову — это была та самая мысль, что неясно тревожила, а теперь вдруг прорезалась,— как же сказать матери насчет обмена? Она прекрасно ведь знает, как Лена относилась к этой идее, а теперь почему-то предложила съезжаться. Почему?

Дмитриева даже бросило в пот, когда он все это вдруг сообразил. Он вышел в коридор, где на тумбочке стоял телефон, и позвонил Лене на работу. Обычно дозваться ее было нелегко. Но тут повезло (день удач!): Лена оказалась в канцелярии и сама сняла трубку. Дмитриев, торопясь, одной длинной сумбурной фразой высказал свои сомнения. Лена молчала, потом спросила:

— Значит, что же, ты не хочешь говорить?

— Я не знаю как. Не могу же я внушить ей мысль — ты понимаешь?

Лена, снова помолчав, сказала, чтобы он позвонил через пять минут по другому телефону, откуда ей удобней говорить. Он позвонил. Лена говорила теперь громко и энергично:

— Скажи так: скажи, что ты очень хочешь, а я против. Но ты настоял. То есть вопреки мне, ясно? Тогда это будет естественно, и твоя мама ничего не подумает. Вали все на меня. Только не перебарщивай, а так — намеками...— Неожиданно она заговорила изменившимся, льстивым голосом: — Извините, пожалуйста, одну минуточку, я сейчас ухожу! Значит, все ясно? Ну, пока. Да, Витя, Витя! Поговори там с кем-то у вас на работе, кто удачно менялся, слышишь? Пока!

То, что Лена говорила, было, конечно, правильно и хитро, но тоска стиснула сердце Дмитриеву. Он не мог сразу вернуться в комнату и несколько минут бродил по пустому коридору.

До обеда он ни к кому не пошел и не стал ничего узнавать, а после обеда поднялся на третий этаж к экономистам. Лишь только он отворил дверь, Таня сразу же увидела его и вышла. Ничего не спрашивая, она испуганно смотрела на него.

— Да нет, ничего плохого,— сказал он.— Даже, может, немного лучше. Тань, ты не знаешь: у вас кто-нибудь менялся? Квартиры менял?

— Не знаю. Кажется, Жерехов. А что?

— Мне надо посоветоваться. Мы должны срочно меняться, понимаешь?

— Вы?

— Да.

— Вы хотите...— лицо Тани покраснело,— съезжаться с Ксенией Федоровной?

— Да, да! Это очень важно. В общем, долго объяснять, но это просто необходимо сейчас.

Таня молчала, опустив голову. В ее волосах, упавших на лицо, было много седых. Ей тридцать четыре, еще молодая женщина, но за последний год она здорово сдала. Может, больна? Уж очень она похудела, тонкая шея торчит из воротника, на худом лице из просяной, веснушчатой бледности одни глаза — добрые — сияют во всегдашнем испуге. Этот испуг — за него, для него. Таня была бы, наверное, ему лучшей женой. Три года назад это началось, длилось одно лето и кончилось само собой: когда Лена с Наташкой вернулись из Одессы. Нет, не кончилось, тянулось слабой ниткой, рвалось на месяцы, на полгода. Знал, что, если рассуждать разумно, она была бы ему лучшей женой. Но ведь — разумно, разумно... У Тани был сын Алик и муж, носивший странную фамилию Товт. Дмитриев никогда его не видел. Знал, что муж сильно любил Таню, простил ей все, но после того лета, три года назад, она больше не могла с ним жить, и они расстались. Дмитриев очень жалел, что так получилось, что муж сделался несчастным человеком, бросил работу, уехал из Москвы, и Таня тоже стала несчастным человеком, но ничего поделать было нельзя. Таня хотела уйти из ГИНЕГА, чтобы не видеть каждый день Дмитриева, но уйти оказалось трудно. Потом она постепенно смирилась со всем этим и научилась спокойно встречаться с Дмитриевым и разговаривать с ним, как со старым товарищем.

Дмитриев вдруг понял, о чем она сейчас думает: значит — все, никогда.

— Ну, что можно сделать? — сказал он.— Понимаешь, это какой-то шанс, какая-то надежда. Мать же мечтала со мной жить.

— О чем ты говоришь? Она мечтала, наверное, не об этом.

— Я знаю.

— Ой, Витя... Ну, поговори с нашим Жереховым. Я его сейчас вызову. Только он большой болтун и враль, имей в виду.— Вдруг она спросила: — Тебе деньги нужны?

— Деньги? Нет.

— Витя, возьми. Я знаю, что значит болеть. Моя тетка болела восемь месяцев. Отложены двести рублей на летнее пальто, но лето, как видишь, кончилось, а я ничего не купила. Так что совершенно спокойно могу дать до весны.

— Нет, деньги мне не нужны. У меня есть.— Он поморщился. Еще чего: занимать у Тани! Вдруг усмехнулся.— Действительно, какой-то странный день! Одно за одним...

— Зайдем ко мне после работы, и я тебе дам, хорошо?

Помолчав, он сказал:

— Я вру, денег у меня нет. Но не хочу брать у тебя.

— Дурак! — Она шлепнула его по щеке.

Дмитриев видел, что она обрадовалась. Она даже взяла его за руку, когда они вместе подошли к дверям комнаты, в которой сидел Жерехов.

— Леонид Григорьевич! — крикнула Таня.— Можно вас на минутку?

Жерехов, маленького роста, приветливый старичок, совершенно лысый, с ровными и белыми вставными зубами, очень любезно и с охотой стал рассказывать, как он менялся. Дмитриев знал Жерехова немного, но заметил, что тот любезен и приветлив со всеми — наверное, потому, что, находясь в жалком пенсионном возрасте, старичок боролся за место и желал со всеми подряд находиться в наилучших отношениях. Оттого он рассказывал невыносимо подробно и длинно. Кто-то уехал за границу. Кто-то оказался в безвыходном положении. Кому-то пришлось заплатить. Все это было не то. Но затем Жерехов вдруг воскликнул, и его голубые старческие глаза от прилива любезности расширились:

— Да! Вот с кем вам надо — с Невядомским! Вы Невядомского знаете, Алексея Кирилловича? Из КБ-3? У него такая же история, он тоже менялся, оттого...— Жерехов понизил голос,— что теща безнадежно хворала. У нее была отличная комната, чуть ли не двадцать пять метров, где-то в центре. А Алексей Кириллович жил на Усачевке. Все надо было делать очень срочно. И удалось,

вы знаете, замечательно удалось! Вот он вам расскажет. Правда, у него были зацепки в райжилотделе. Словом, так: он успел оформить обмен, сделал ремонт в той квартире — это его обязали через ЖЭК,— перевез тещу, получил лицевой счет, и через три дня старушка померла. Представляете? Он, бедняга, в ту зиму натерпелся, я помню. Чуть не слег. Но сейчас у него квартира исключительная, просто генеральская, люкс. Лоджии, два балкона, масса всякой подсобной кубатуры. Он на одном балконе даже помидоры выращивает. Вы зайдите, зайдите, он расскажет! Желаю успеха!

Жерехов благожелательно кивал и, пятясь, вперся назад в свою комнату. Пока он говорил, Таня стояла рядом с Дмитриевым и незаметно держала его за кончик мизинца.

— В шесть спускайся вниз и сразу поедем,— сказала шепотом.

— Ты понимаешь, я должен сегодня к Лоре в Павлиново. Меня ждет мать. Она сейчас у Лоры.

Он знал, что наносит удар некоторым надеждам Тани, но лучше уж было сказать сразу.

— Ну, хорошо. Делай, как тебе нужно.— На ее лице все отпечатывалось мгновенно: оно смеркло.

— Нет, я к тому, что...

— Я понимаю! Неужели думаешь, что я не понимаю? Ни на секунду тебя не задержу. Возьмешь деньги и тут же — катись.

Кивнув, она быстро пошла от него по коридору. Еще недавно, год назад, в ее высокой фигуре было что-то, волновавшее Дмитриева. Особенно в те минуты, когда она уходила от него и он смотрел ей вслед. Но теперь ничего не осталось. Все куда-то исчезло. Теперь это была просто высокая, худая, очень длинноногая женщина с пучком крашенных хною волос на тонкой шейке. И все-таки каждый раз, глядя на нее, он думал о том, что она была бы для него лучшей женой.

Дмитриев вернулся в отдел, посидел полчаса над документацией — мысли его вертелись вокруг того же: мать, Лора, Таня, Лена, деньги, обмен — и понял, что надо уйти с работы раньше, иначе попадет в Павлиново чересчур поздно. Таня жила в неудобнейшем месте, хуже не придумаешь — в Нагатине. Дмитриев пошел в кабинетик Сотниковой Варвары Алексеевны, своей начальницы, и сказал, что хотел бы, если можно, уйти сегодня в пять. Варвара Алексеевна согласилась. Все в отделе

знали, что происходит в жизни Дмитриева, и относились с пониманием: каждую неделю разок-другой он мог уйти с работы раньше срока. Однажды даже, был такой грех, он бегал под этой маркой в универмаг «Москва», покупал форму для Наташки. Вновь Дмитриев поднялся на третий этаж и сказал Тане, чтоб она тоже отпросилась уйти в пять. Потом пошел в КБ-3 к Невядомскому — тут же, на третьем этаже.

Идти к Невядомскому Дмитриев решился после некоторых колебаний. Отношения между ними были прохладные — по вине одного дмитриевского приятеля, который уже полгода, правда, не работал в ГИНЕГА. У Невядомского с этим приятелем были какие-то скандалы в профкоме. И они не здоровались. А когда Невядомский встречал Дмитриева в компании этого приятеля, он — заодно уж — не здоровался и с Дмитриевым, и точно так же из солидарности с приятелем поступал Дмитриев. Однако когда Невядомский и Дмитриев встречались по отдельности, они вполне корректно, хотя и несколько прохладно здоровались и даже обменивались двумя-тремя фразами. Все это была чепуха собачья, и Дмитриев решил наплевать и пойти. А вдруг у Невядомского действительно есть зацепки, и он ими поделится?

Невядомский, худощавый брюнет с черновато-рыжей курчавой бородкой, удивленно вскинул брови, когда Дмитриев, зайдя в комнату, попросил у него «краткой аудиенции». За столиком в углу двое рубились в шахматы, очень быстро переставляя фигуры. Невядомский стоял рядом и смотрел. У «кабетришников» любимым занятием были шахматы, они играли блицы, пятиминутки, а у «кабедвашников» процветал пинг-понг. Сражения происходили в обеденный перерыв, но иногда прихватывали и от рабочего времени, особенно к концу дня. Невядомский, сказав: «Одну минуту! Сейчас, сейчас!» — продолжал наблюдать за игроками. Те хлопали фигурами по доске со скоростью автоматов, пока один не вскрикнул: «Ах, черт!» — и ударом пальца не опрокинул своего короля. Невядомский рассмеялся злорадно и произнес:

— И сказал тут балда с укоризною: не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!

После этого с выражением злорадной улыбки на лице он двинулся к дверям, но, наткнувшись взглядом на Дмитриева, согнал улыбку, и его брови опять с удивле-

нием поднялись. Дмитриев стал нескладно излагать свою просьбу, вернее, намек на просьбу, окутанный торопливым и малосодержательным бормотанием. Невядомскому следовало догадаться: его просили поделиться советом о том, как поступать в известных ему обстоятельствах. Но Невядомский не догадывался. Его черновато-рыжая курчавая бородка поднималась выше, глаза смотрели все более холодно и, как показалось Дмитриеву, высокомерно.

— Простите, я не пойму, собственно...

— Сейчас я объясню. Дело в том, что причины, побудившие вас и меня... Словом, у нас одинаковая ситуация...

— Что вы имеете в виду?

— Что я имею в виду? — Дмитриев почувствовал, как его шея и щеки наливаются краской.— Я имею в виду вот что: мне тоже надо меняться как можно скорей. Я и хотел с вами посоветоваться, как это делается вообще? С чего начинать?

— С чего начинать? Как — с чего начинать? С бюро обмена, разумеется. Заплатить три рубля и дать объявление в бюллетене.

— Но вы же понимаете, что, если человек серьезно болен, очень серьезно и дорог каждый час...

— А никак иначе вы начать не можете. С бюро обмена. Других путей я не знаю.— Невядомский засунул большой палец в ноздрю, указательным прижал ее сверху и стал сосредоточенно что-то оттуда выкручивать. По-видимому, напряженно соображал, стоит или не стоит посвящать Дмитриева в свои зацепки. Решил: не стоит.— У меня не было никаких иных путей.— Вдруг Невядомский фыркнул: — Знаете, вы напомнили мне глупейшую историю! Когда я был студентом, у меня умер отец. Прошло месяца два или три...— Рассказывая, он продолжал большим пальцем выкручивать что-то из носа.— И неожиданно ко мне заходит сосед, незнакомый человек из другого подъезда, и говорит: «У меня умер отец, а я слышал, что у вас тоже недавно умер отец. Вот я пришел к вам познакомиться и попросить вас поделиться опытом». Каким опытом? Что? Как? Я его, разумеется, вежливо выставил.

«И это вынести тоже,— думал Дмитриев, ощущая оцепенение. Повернуться и уйти, но он продолжал стоять, глядя в черновато-рыжую бороду.— На тещиной мо-

гиле помидоры. Ну, все равно. И это тоже. И будет еще другое».

— Если хотите, у меня где-то есть телефон некоего Адама Викентьевича, маклера. Могу поискать...

Преодолевая оцепенение, Дмитриев повернулся и пошел по коридору прочь. В пять вышли с Таней на площадь, и тут же — редкий случай! — подвернулось пустое такси. Дмитриев свистнул, они вскочили, поехали. Переулок был заполнен толпой, двигавшейся в одном направлении, к метро. Кончила заводская смена. Такси ехало медленно. Люди заглядывали в кабину, кто-то постучал ладонью по крыше. Когда проехали метро и вырвались на проспект, Дмитриев заговорил — о Невядомском, со злобой.

Таня взяла его за руку.

— Ну, зачем злишься? Не надо. Перестань...

Он чувствовал, как ее спокойствие и радость переливаются в него. Таня, улыбаясь, сказала:

— Все мы очень же разные. Мы — люди... У моей двоюродной сестры умер маленький сынок. Конечно, безумное горе, переживания и при этом какая-то новая, страстная любовь к детям, особенно больным. Она всех жалела, старалась, чем могла, помочь. И есть у меня знакомая, у которой тоже умер мальчик, от белокровия. Так эта женщина всех возненавидела, она всем желает смерти. Радуется, когда читает в газете, что кто-то умер...

Таня придвинулась. Положила голову ему на плечо, спросила:

— Можно? Тебе не мешает?

— Можно,— сказал он.

Ехали окраинами, через новые районы. Дмитриев рассказывал о Ксении Федоровне. Таня спрашивала с сочувствием — это было истинное, Дмитриев знал, к его матери она испытывала симпатию. А Ксении Федоровне нравилась Таня, они виделись раза два летом, в Павлинове. Таня держала его руку в своей, иногда начинала тихо щекотать его ладонь пальцем. Ласки Тани всегда были какие-то школьные.

Не отнимая руки, он подробно рассказывал о матери: что говорил профессор Зурин, что сказал Исидор Маркович. Таня засмеялась:

— Ах, гнусная баба! Одалживает деньги и пристает с нежностями, правда? — Она вдруг ткнулась носом к его щеке, прижалась.— Прости меня, Витя... Я не могу...

Он гладил ее голову. Долго ехали молча. Проехали Варшавку.

— Ну, что ты? — спросил он.

— Ничего. Не могу...

— Что?

— Жалко — тебя, твою маму... И себя заодно.

Дмитриев не знал, что сказать. Просто гладил ее голову и все. Она стала хлюпать носом, он почувствовал на щеке мокрое. Тогда она отодвинулась от него и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Наконец миновали набережную, поехали по трамвайным путям, мимо какой-то фабрики, вдоль глухого длинного каменного забора. Возле пивного ларька густела черная толпа мужчин. Некоторые в одиночку и парочками с кружками в руках стояли поодаль. Дмитриев почувствовал, что сушит горло — захотелось хлебнуть чего-то, взбодриться. «Надо спросить,— подумал он.— У Танюшки бывало. Хоть что-нибудь».

Новый шестнадцатиэтажный дом стоял на краю поля. Дорога шла в объезд, вокруг поля.

— Вот здесь,— сказала Таня.

Дмитриев отлично помнил, что здесь. Последний раз он был тут около года назад.

— Ты машину оставишь? — спросила Таня.

Конечно, надо было оставить. Но его всегдашнее слабодушие — он видел, что Тане страстно этого не хотелось,— заставило ответить:

— Да ладно, пусть едет. Я тут найду.

— Конечно, найдешь! — сказала Таня.

Поднялись на одиннадцатый этаж. Таня вдвоем с сыном жила в большой трехкомнатной квартире. Бедняга Товт выстроил этот корабль в кооперативном доме, только успели въехать, и тут все случилось. Алик был тогда в лагере, Товт трудился где-то в Дагестане — он был горный инженер,— и Таня жила одна в пустых, без мебели, комнатах, пахнущих краской. На полах лежали газеты. В одной комнате стоял громадный диван, больше ничего. И любовь Дмитриева была неотделима от запаха краски и свежих дубовых полов, еще ни разу не натертых. Босой, он шлепал по газетам на кухню, пил воду из крана. Таня знала множество стихов и любила читать их тихим голосом, почти шептать. Он поражался ее памяти. Сам он не помнил, пожалуй, ни одного стихотворения наизусть — так, отдельные четверостишия. «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет».

А Таня могла шептать часами. У нее было штук двадцать тетрадей, еще со студенческих времен, где крупным и ясным почерком отличницы были переписаны стихи Марины Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Блока. И вот в минуты отдыха или когда не о чем было говорить и становилось грустно, она начинала шептать: «О господи, как совершенны дела твои, думал больной...» Или еще: «Сними ладонь с моей груди, мы провода под током».

Иногда, устав от однообразного шелестения губ, он говорил: «Ну, хорошо, моя радость, передохни. А почему этот ваш Хижняк с Варварой Алексеевной не здоровается?» После паузы она отвечала печально: «Не знаю». Все ее обиды были мгновенны. Даже тогда, когда она могла бы обидеться по-серьезному. Почему-то он был уверен в том, что она не разлюбит его никогда. В то лето он жил в этом состоянии, не испытанном прежде: любви к себе. Удивительное состояние! Его можно было определить как состояние привычного блаженства, ибо его сила заключалась в постоянстве, в том, что оно длилось недели, месяцы и продолжало существовать даже тогда, когда все уже кончилось.

Но Дмитриев не задумывался: за что ему это блаженство? Чем он заслужил его? Почему именно он — не очень уже молодой, полноватый, с нездоровым цветом лица, с вечным запахом табака во рту? Ему казалось, что тут нет ничего загадочного. Так и должно быть. И вообще, казалось ему, он лишь приобщился к тому нормальному, истинно человеческому состоянию, в котором должны — и будут со временем — всегда находиться люди. Таня же, наоборот, жила в неизбывном страхе и в каком-то страстном недоумении. Обнимая его, шептала, как стихи: «Господи, за что? За что?»

Она ни о чем не просила и ни о чем не спрашивала, и он ничего не обещал. Нет, ни разу ничего не обещал. Зачем было обещать, если он твердо знал, что все равно она не разлюбит его никогда. Просто ему приходило в голову, что она была бы для него лучшей женой.

В комнатах появилась новая мебель — в одной комнате сервант и круглый полированный стол, в другой — полупустой книжный шкаф. Но паркет по-прежнему был не натерт и выглядел грязновато. Из комнаты вышел Алик, заметно подросший, бледное веснушчатое создание лет одиннадцати в очках на тонком носике. Голову

он держал слегка откинув назад и набок, может быть, оттого, что был нездоров, а может быть, так лучше видел через очки. Эта посадка головы и маленький сжатый рот придавали мальчику выражение надменности.

— Мам, я пойду к Андрюше. Мы будем марками меняться,— проговорил он скрипучим голосом и метнулся через коридор к двери.

— Постой! Почему ты не поздоровался с Виктором Георгиевичем?

— Здрасте,— не глядя, бросил через плечо Алик.

Торопясь, отомкнул замок и выскочил, хлопнув дверью.

— Приходи не позже восьми! — крикнула в закрытую дверь Таня.— Воспитанием юноша не блещет.

— Он, наверно, забыл меня. Я давно все-таки не был.

— А даже если пришел незнакомый человек? Здороваться не нужно? — Таня прошла в большую комнату, открыла боковую дверцу серванта и сказала: — Он тебя не забыл.

Из-под кипы чистого белья она достала газетный сверток, развернула и дала Дмитриеву пачку денег. Он спрятал деньги в карман.

— Ну, иди,— сказала Таня.— У тебя же времени нет.

Он вдруг выдвинул стул и сел к полированному столу.

— Посижу малость. Что-то я устал.— Он снял шляпу, ладонью потрогал лоб.— Голова болит.

— Хочешь покушать? Дать что-нибудь?

— А выпить ничего нет?

— Нет... Постой! — Глаза ее обрадованно засияли.— Кажется, где-то осталась бутылка коньяку, которую мы с тобой не допили. Помнишь, когда ты был последний раз? Сейчас посмотрю!

Она побежала на кухню, через минуту принесла бутылку. На дне было граммов сто коньяку.

— Сейчас будет закуска. Одну минуту!

— Да зачем тут закуска?

— Сейчас, сейчас! — Она снова опрометью кинулась на кухню.

Дмитриев встал, подошел к балконной двери. С одиннадцатого этажа был замечательный вид на полевой простор, реку и темневшее главами собора село Коломенское. Дмитриев подумал, что мог бы завтра переселиться в эту трехкомнатную квартиру, видеть по утрам и по вечерам реку, село, дышать полем, ездить на работу ав-

тобусом до Серпуховки, оттуда на метро, не так уж долго. Таня принесла в стеклянной посуде шпроты, два помидора, масло, хлеб и рюмки. Он налил себе полную рюмку, а Тане — что осталось. Она всегда пила мало, сразу пьянела.

— За что мы пьем? — спросила Таня.

— За то, чтоб тебе было хорошо.

— Ну, давай! Нет. За это не надо. Мне и так будет хорошо. А вот давай за то, чтоб тебе было хорошо. Давай?

— Ладно.— Ему было все равно. Он уже выпил и жевал помидор. Хмыкнул: — Эти помидоры не с могилы тещи Невядомского?

— Потому что тебе, Витя,— сказала она,— вряд ли когда-нибудь будет хорошо. Ну, а вдруг, а все-таки? Вот за это.

Он не стал спрашивать, что она имела в виду. Лишние разговоры. После коньяка стало тепло, он с удовольствием жевал помидор и смотрел на Таню, которая сгорбилась в задумчивости, опершись локтями о стол и глядя в угол комнаты.

— Не сутулься! — Он по-отечески слегка шлепнул ее по лопаткам.

Таня выпрямилась, продолжая глядеть в угол комнаты. На ее застывшем лице с зарозовевшими от капли коньяку пятнами на скулах было отчетливо видно страдание. На одно мгновение он очень остро пожалел ее, но тут же вспомнил, что где-то далеко и близко, через всю Москву, на берегу этой же реки, его ждет мать, которая испытывает страдания смерти, а Танины страдания принадлежат жизни, поэтому — чего ж ее жалеть? В мире нет ничего, кроме жизни и смерти. И все, что подвластно первой,— счастье, а все, что принадлежит второй... А все, что принадлежит второй,— уничтожение счастья. И ничего больше нет в этом мире. Дмитриев поднялся рывком, с внезапной поспешностью, точно кто-то сильный схватил и дернул его за руки, и, сказав: «Пока! Я бегу!» — понесся быстрыми шагами по коридору к двери. Таня ничего не успела ему сказать. Может быть, она ничего и не хотела ему говорить.

Дмитриев доехал автобусом до метро — никакого такси, конечно, не было,— сделал две пересадки и вышел на последней станции нового радиуса. Накрапывал мелкий дождь. Москва была далеко, белела громадными домами на горизонте, а тут было поле, изрытое котлована-

ми, на мокрой глине лежали трубы и возле столба на шоссе стояла очередь, ждавшая троллейбус. Небо было в тучах, располагавшихся слоями — наверху густело что-то неподвижное, темно-фиолетовое, ниже двигались светлые, рыхлые тучи, а еще ниже летела по ветру какая-то белая облачная рвань вроде клочьев пара.

Лет сорок назад, когда отец Дмитриева Георгий Алексеевич строил дом в поселке Красных партизан, это место, Павлиново, считалось дачным. Оно было дачным и до революции, ездили сюда конкой от заставы. В тридцатые годы мальчик Витя, посредственный ученик, но прилежный велосипедист, рыболов, игрок в «пятьсот одно», глотатель Сенкевича и Густава Эмара, приезжал сюда летними днями на скрипучем старом автобусе, отходившем с часовыми промежутками от булыжной Звенигородской площади. В автобусе всегда было душно, окна не открывались, пахло дерюгами. Мимо волоклись пустыри, огороды, одна деревенька, другая, холодильник, радиополе, школа за каменным, из белого кирпича, забором, снова поле, огороды, церковь на бугре, и вдруг открывалась дуга запруды, где чернели неподвижные лодки рыболовов, и у мальчика Вити сжималось сердце. Дорога от автобусной станции шла среди сосен, мимо почерневших от дождей, годами не крашенных заборов, мимо дач, скрытых за кустами сирени, шиповника, бузины, поблескивающих сквозь зелень мелкозастекленными верандочками. Надо было идти по этой дороге долго, гудрон кончался, дальше шел пыльный большак, справа на взгорке была сосновая роща с просторной проплешиной — в двадцатых годах упал самолет, и роща горела,— а слева продолжали тянуть заборы. За одним из заборов, никак не замаскированный молодыми березками, торчал бревенчатый дом в два этажа с подвалом, вовсе не похожий на дачный, скорее на дом фактории где-нибудь в лесах Канады или на гасиенду в аргентинской саванне.

Дом был построен кооперативом, звучно называвшимся «Красный партизан». Георгий Алексеевич не был красным партизаном, его пригласил в кооператив брат Василий Алексеевич, красный партизан и работник ОГПУ, владелец двухместного спортивного «опеля». Неподалеку на том же участке жил в маленькой дачке третий брат, Николай Алексеевич, тоже красный партизан,

служивший во Внешторге, месяцами живший то в Японии, то в Китае. Николай Алексеевич привез из Китая игру ма-чжонг — в шкатулке красного дерева на четырех выдвижных полочках помещались сто сорок четыре камня, с одной стороны бамбук, с другой — слоновая кость. В ма-чжонг сначала резались взрослые на деньги, потом, когда взрослым надоело или стало не до того, игра перешла во владение детей Николая Алексеевича и всей оравы павлиновской детской коммуны. Ничего не осталось от тех вечеров с патефонной музыкой «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», с громким разговором двух глухих красных партизан, всегда споривших о чем-то на втором этаже, со стуком китайских костяшек на верандочке Николая Алексеевича. В этом мире, оказывается, исчезают не люди, а целые гнездовья, племена со своим бытом, разговором, играми, музыкой. Исчезают дочиста, так, что нельзя найти следов. Хотя там, в Павлинове, осталась Лора. Но кроме Лоры — никого, ни единого человека. Из братьев раньше всех умер старший, Георгий Алексеевич. Мгновенная смерть от инсульта — тогда это называлось апоплексическим ударом — случилась душным днем прямо на улице.

Дмитриев помнил отца плохо, отрывочно. Помнил — темные усы и бородка, очки в золотых ободках, очень тонкая и мягкая на ощупь желтоватенькая чесучовая рубашка в табачных крошках, толстый живот под ней и всегдашний, надо всем, всеми, смешок. Георгий Алексеевич был инженером-путейцем, но всю жизнь мечтал оставить эту работу и заняться сочинением юмористических рассказиков. Ему казалось, что в этом его призвание. Всегда он ходил с записной книжечкой в кармане. Дмитриеву запомнилось, как быстро и легко сочинял отец смешные истории — шли вечером на огород поливать огурцы и увидели, как Марья Петровна, тетка одного красного партизана, пытается сбить с сосны мячик своего внука Петьки. Сначала бросила палку, палка застряла на сосне, тогда стала кидать туфлю, туфля тоже застряла. Пока дошли до огорода, отец рассказал Дмитриеву уморительную сказку о том, как Марья Петровна забросила на сосну вторую туфлю, потом кофту, пояс, юбку, все это висело на сосне, а Марья Петровна голая сидела внизу, потом прибежал дядя Матвей, тоже стал кидать ботинки, штаны. А через несколько дней отец приехал из города и привез журнал, где был напечатан рассказ «Мячик». Над братьями Георгий Алексеевич под-

смеивался, считал их недалекими, звал в шутку «колунами». Сам он окончил университет, а братья даже в гимназии не успели доучиться: завертела гражданская война, кинула одного на Кавказ, другого — на Дальний Восток. Иногда удивлялся, разговаривая с матерью: «И как это таких людей за границу посылают, когда они ни бе ни ме ни по-каковски?» Еще корил братьев за жадность, за сытую жизнь, издевался над китайскими костяшками, над вечной по выходным дням автомобильной возней — братнин «опель» называл не иначе как с буквы «ж». А в Козлове родные тетки голодали, мерли одна за другой, племянникам не на что было приехать в Москву. Один Георгий Алексеевич помогал как мог.

Ссоры между братьями бывали большие — месяцами ни он к ним, ни они к нему. Мать считала, что в ссорах и во всех последующих несчастьях братьев виноваты были жены, Марьянка и Райка, зараженные мелкобуржуазным мещанством, но потом им, беднягам, тоже пришлось несладко.

Вообще отец был лучше, умнее братьев, человек неплохой. Только неудачливый. Рано умер, ничего не успел. Что сохранилось от его записных книжек, в которых было столько смешного, прекрасного? Книжечки исчезли, как и все остальное. Как исчезла Райка, жена Николая Алексеевича, бывшая когда-то красавицей и самой большой модницей поселка Красных партизан. Как исчез песчаный откос на берегу реки, где по утрам, очень рано, бывал отличный клев. После восьми рыба уходила отсюда — между причалом и деревней начинал тарахтеть речной трамвайчик, появлялись моторные лодки. Надо было переезжать на другой берег; там были тихие бухточки, где пряталась рыба, но в солнцепек сидеть было невыносимо — ни дерева, ни куста, голый луг в жесткой траве.

Дмитриев неожиданно выскочил из троллейбуса на одну остановку раньше, чем нужно. Захотелось подойти к тому месту, где был когда-то его любимый откос. Он знал, что там сейчас бетонированная набережная, но рыбаки приходят все равно. Новые рыбаки из пятиэтажных домов, что за мостом. Им очень удобно — подъезжают на троллейбусе.

Он спустился по каменным ступеням — все было сделано фундаментально, как в парке культуры,— и прошел низом по бетонным плитам, возвышавшимся метра на два над уровнем воды. Так, вдоль реки, можно было дой-

ти почти до самого дома. Теперь уже берег не поползет. Каждую весну здесь рушились ломти берега, иногда прямо со скамейками, с соснами.

На мокрых плитах блестело небо и не видно было ни одного дурака. Хотя нет, вдалеке сидел кто-то скрюченный, и Дмитриев медленно пошел к нему. Вода казалась очень чистой, незамусоренной, но темной — осенняя вода. Дмитриев остановился за спиной рыболова и стал глядеть на поплавок. Он глядел минут пять, со все большей тревогой и каким-то внезапным ослаблением духа, думая о том, как тяжело будет говорить. Невозможно тяжело. И с Лорой тоже. Может быть, с Лорой даже тяжелей, чем с матерью. Что же делать? Они все, конечно, поймут. Впрочем, мать может и не понять — если представить дело именно так, как предлагает Лена, мать же очень простодушна,— но Лора-то поймет сразу, Лора хитра, прозорлива и очень не любит Лену. Если мать при всем неприятии Лены все же с нею смирилась, научилась чего-то не замечать, что-то прощать, то Лора с годами твердеет в неприязни — из-за матери. Она сказала однажды: «Не знаю, каким надо быть человеком, чтобы относиться к нашей матери без уважения». Верно, Ксению Федоровну любят друзья, уважают сослуживцы, ценят соседи по квартире и по павлиновской даче, потому что она доброжелательна, уступчива, готова прийти на помощь и п р и н я т ь у ч а с т и е. Но Лора не понимает... Ах, она не понимает, не понимает! Лора так и не научилась заглядывать немного глубже того, что находится на поверхности. Ее мысли никогда не гнутся. Всегда торчат и колются, как конский волос из плохо сшитого пиджака. Как же не понимать, что людей не любят не за их пороки, а любят не за их добродетели!

Все правда, истинная правда: мать постоянно окружают люди, в судьбе которых она п р и н и м а е т у ч а с т и е. В ее комнате подолгу живут какие-то пожилые полузнакомые люди, друзья Георгия Алексеевича, и еще более ветхие старухи, друзья деда, а то и случайные приятельницы по домам отдыха, желающие попасть к московским врачам, или провинциальные девочки и мальчики, дети отдаленных родственников, приехавшие поступать в институты. Всем мать старается помогать совершенно бескорыстно. Хотя где там — помогать! Связи давно порастеряны, и сил нет. Но все-таки — кровом, советом, сочувствием. Очень любит помогать бескорыстно. Пожалуй, точнее так: любит помогать таким обра-

зом, чтобы, не дай бог, не вышло никакой корысти. Но в этом-то и была корысть: делая добрые дела, все время сознавать себя хорошим человеком. И Лена, учуяв маленькую слабость матери, в минуты раздражения говорила про нее Дмитриеву: ханжа. А он приходил в ярость. Орал: «Кто ханжа? Моя мать ханжа? И ты посмела сказать...» И — начиналось, катилось... Ни мать, ни Лора не знали, как он буйствует из-за них. Кое о чем они, конечно, догадывались и кое-чему бывали свидетелями, но в полной мере — со всем набором оскорблений, с плачем Наташки, неразговором в течение нескольких дней, а порой даже легким рукоприкладством — это было им неизвестно. Они считали, особенно твердо считала Лора, что он их тихонько предал. Сестра сказала как-то: «Витька, как же ты олукьянился!» Лукьяновы — фамилия родителей Лены.

Дмитриев вдруг решил, что надо продумать что-то важное, последнее. Не было сил идти в дом, и он оттягивал минуту.

Он сел неподалеку от рыбака на деревянный ящик — тоже рыбацкая чья-то принадлежность,— лежавший тут давно, побуревший и насквозь сырой. Как только Дмитриев сел, ящик стал мягко крениться, и пришлось очень крепко упереться ногами, чтоб удержать равновесие. На противоположном берегу, где когда-то был луг, теперь устроили громадный пляж с балаганами, ларьками. Лежаки были сложены штабелями, но два лежака до сих пор почему-то стояли у самой воды, смутно голубея на темно-сером песке. Все на том берегу было темно-серого, цементного цвета. За пляжем курчавилась молодая роща берез, насаженная лет десять назад, а за рощей туманно-белыми глыбами высились горы жилья, среди которых стояли две особенно высокие башни. Все изменилось на том берегу. Все «олукьянилось». Каждый год менялось что-то в подробностях, но, когда прошло четырнадцать лет, оказалось, что все олукьянилось — окончательно и безнадежно. Но, может быть, это не так уж плохо? И если это происходит со всем — даже с берегом, с рекой и с травой,— значит, может быть, это естественно и так и должно быть?

Первый год Дмитриеву и Лене пришлось жить в Павлинове. Лора, тогда еще без Феликса, жила в Москве с Ксенией Федоровной, дача пустовала, а Дмитриеву и Лене хотелось побыть одним. Но это все равно не удалось. Дачная квартира в Павлинове давно пришла

в запустение. Протекала крыша, прогнило крыльцо. Больше всего забот доставляла канализационная яма — то и дело переполнялась, особенно с дождями, и невыносимая вонь распространялась по участку, мешаясь с запахом сирени, лип и флоксов. Жители давно смирились с этим переплетением запахов, который сделался для них неизбежной принадлежностью дачной жизни, и с мыслью о том, что ремонт ямы безнадежен, стоит баснословные деньги, каких ни у кого нет. Поселок-то обеднял, жители стали не те, что прежде,— бывшие владельцы перемерли, сгинули кто куда, а их наследники, вдовы и дети, жили довольно трудной и вовсе не дачной жизнью. Петька, например, внук Марьи Петровны и сын красного профессора, работал простым грузчиком на лесоторговой базе. А Валерка, сын Василия Алексеевича, двоюродный брат Дмитриева, сошелся со шпаной, стал вором и пропал где-то в лагерях. Иные из наследников, утомившись дачными поборами и заглядывая вперед — город-то надвигался,— продали свои паи, и в поселке появились вовсе чужие люди, не имевшие к красным партизанам никакого отношения. И только березы и липы, посаженные сорок лет назад отцом Дмитриева, страстным садоводом, выросли мощным лесом, сомкнулись листвой и горделиво оповещали прохожих, заглядывавших через забор, о том, что все в поселке кипит, цветет и произрастает, как должно.

И вдруг Иван Васильевич Лукьянов, отец Лены, который заехал проведать молодых и погостить денек, сказал, что Калугин, водопроводный мастер, чинивший трубы в поселке в течение тридцати лет, жулик и негодяй и что он вкупе с ассенизаторами, приглашаемыми регулярно для откачки ямы, грабит красных партизан и что ремонт ямы можно произвести быстро и недорого. Все были ошеломлены. Собрали деньги. Иван Васильевич привез рабочих, и через неделю ремонт был закончен. Наследники красных партизан очень боялись, что Калугин, разобидевшись, покинет их поселок, бросит на произвол судьбы, но Иван Васильевич сделал как-то так, что старый пьянчужка ни на кого не обиделся, а к Ивану Васильевичу даже проникся почтением — стал называть его «Василич».

Лора с ее манерой высказываться прямолинейно заметила тогда, что это, наверно, потому, что Калугин почуял в Иване Васильевиче родного человека. Где он нанял рабочих? Откуда достал кирпич? Цемент? Ясно, что

слева. Путями не очень благородными. Мать была возмущена. «Откуда ты знаешь? Какое у тебя право так грубо, бездоказательно наговаривать на людей?» — «Ну, не знаю, не знаю, мама. Может быть, я ошибаюсь.— Лора таинственно улыбалась.— Это просто предположение. Поглядим...»

А Иван Васильевич был действительно человек могучий. Главной его силой были связи, многолетние знакомства. Через полгода он поставил телефон на павлиновской даче. По профессии Иван Васильевич был кожевенником, начинал когда-то у хозяина в городе Кирсанове, но уже с 1926 года, когда его выдвинули на директора фабрики — маленькой, реквизированной у нэпмана фабричонки на Марьиной роще,— он двинулся по линии административной. Когда Дмитриев познакомился с ним, Иван Васильевич был уже сильно стар, грузен, страдал одышкой, пережил инфаркт, всяческие невзгоды и бури вроде снятия с работы, партийных взысканий, восстановлений, назначений с повышением, клевет и наветов разных мерзавцев, норовивших его погубить, но, как признавался сам, «в отношении этих моментов спасался только одним: был начеку».

Привычка к постоянному недоверию и неусыпному бдению втерлась в его натуру настолько, что Иван Васильевич проявлял ее повсюду, по малейшим пустякам. Спросит, например, Дмитриева вечером перед сном: «Виктор, вы крючок на дверь накинули?» — «Да»,— ответит Дмитриев и слышит, как тесть шлепает по коридору к двери проверять. (Это было уже после, когда жили на лукьяновской квартире в городе.) Иногда Дмитриева так разопрет, что он крикнет: «Иван Васильевич, да зачем же вы спрашиваете, ей-богу?» — «А вы не обижайтесь, золотой человек, это я автоматически, без злого умысла». Забавно было, что таким же недоверием ко всем и каждому — и в первую очередь к людям, живущим бок о бок,— была заражена и Вера Лазаревна. Иногда позвонит откуда-нибудь по телефону, спросит Лену. Дмитриев ответит, что Лены нет. Через некоторое время снова звонок, и Вера Лазаревна, изменив голос, опять зовет Лену. А какие комические сцены разыгрывались иногда вечерами, когда тесть и теща поили друг друга лекарствами! «Что ты мне дал, Иван?» — «Я тебе дал то, что ты просила».— «Ну, что, что именно? Произнеси!» — «Ты просила, по-моему, дибазол».— «Ты мне дал дибазол?» — «Да».— «Это точно?» — «А почему ты

подняла этот вопрос?» — «Вот что: принеси, пожалуйста, обертку, из которой ты взял,— мне почему-то кажется, что это не дибазол...»

Дмитриева такие разговоры, слышанные мимоходом, когда-то потешали, так же, как манера тестя выражаться: «В этом отношении, Ксения Федоровна, я вам скажу от себя следующую аксиому». Или вот эдакое: «Я никогда не был техническим исполнителем отца и от Елены требовал аналогичного». Посмеивались потихоньку. Мать называла нового родственника «ученый сосед» — за глаза, разумеется,— и считала его человеком недурным, в чем-то даже симпатичным, хотя, конечно, вовсе, к сожалению, не интеллигентным. И он и Вера Лазаревна были другой породы — из «умеющих жить». Ну что ж, не так плохо породниться с людьми другой породы. Впрыснуть свежую кровь. Попользоваться чужим умением. Не умеющие жить при долгом совместном житье-бытье начинают немного тяготить друг друга — как раз этим своим благородным неумением, которым втайне гордятся.

Разве могли бы Дмитриев, или Ксения Федоровна, или кто-нибудь другой из дмитриевской родни организовать и провернуть так лихо ремонт дачи, как это сделал Иван Васильевич? Он и денег одолжил подо всю эту музыку. Дмитриев и Лена уехали в первое свое лето на юг. Когда вернулись в августе, старые комнатки было не узнать — полы блестели, рамы и двери сверкали белизной, обои во всех комнатах были дорогие, с давленым рисунком, в одной комнате зеленые, в другой синие, в третьей красновато-коричневые. Правда, мебель среди этого блеска стояла прежняя, убогая, купленная еще Георгием Алексеевичем. Раньше было незаметно, а сейчас бросалось в глаза: до чего ж бедность! Какие-то железные сетки на козлах вместо кроватей, столы и шкафы из крашеной фанеры, плетеный топчан, еще что-то плетеное, ветхое до невозможности. Из большой комнаты с зелеными обоями, где расположились молодые, Лена всю рухлядь, конечно, вынесла и купила несколько вещей самых простых, но новых: матрац на ножках, ученический письменный столик, два стула, лампу, занавеску, а из других комнат принесла два ковра, старых, но очень хороших, бухарских, один на стену, другой на пол. Дмитриев удивлялся: как все чудесным образом изменилось! Даже матери говорил: «Смотри, какой у Лены вкус! Мы столько лет жили и ни разу не догадались по-

весить этот ковер на стену. Нет, у нее очень тонкий вкус!»

В средней комнате, синей, поселились временно, на август и сентябрь, чтоб помочь Леночке, уже ждавшей ребенка, Вера Лазаревна и Иван Васильевич, а в маленькой, красновато-коричневой, жила Ксения Федоровна и изредка останавливалась Лора. У Лоры начался тогда ее нудный роман с Феликсом, ей было не до дачи. Был еще жив дед, отец Ксении Федоровны, тоже приезжал иногда погостить — спал в проходной комнате на топчане. Чудно́ вспоминать. Неужто было так: сидели все вместе на веранде за большим столом, пили чай, Ксения Федоровна разливала, Вера Лазаревна нарезала пирог? И Лору когда-то называла Лорочкой и устраивала ей своих лучших портних? Было, наверно. Было, было. Только не осталось в памяти, пронеслось мимо, провалилось, потому что ничем не мог жить, никого не видел, кроме Лены. Был юг, духота, жаркий Батум, старуха Властопуло, у которой снимали комнату рядом с базаром, какой-то абхазец, с кем он дрался из-за Лены на ночной набережной, абхазец пытался всучить Лене записку в ресторане; сидели без денег на одних огурцах, телеграфировали в Москву, Лена лежала без сил голая и черная на простыне, а он бегал продавать фотоаппарат. И потом все это продолжалось, хотя было другое, Москва, он уже работал — летело с разгона одно дикое лето,— опять Лена лежала мулаткой на простыне, опять были купания почти ночью, заплывы на тот берег, остывающий луг, разговоры, открытия, неутомимость, гибкость, ничего не стыдящиеся пальцы, губы, всегда готовые к любви. И между прочим: чертовская наблюдательность! Ого, она так умела подметить слабое или смешное! И ему все нравилось, он всему поражался, удивлялся про себя, отмечал.

Ему нравилась легкость, с которой она заводила знакомства и сходилась с людьми. Это было как раз то, чего не хватало ему. Особенно замечательно ей удавались нужные знакомства. Едва поселившись в Павлинове, она уже знала всех соседей, начальника милиции, сторожей на лодочной станции, была на «ты» с молодой директоршей санатория, и та разрешала Лене брать обеды в санаторской столовой, что считалось в Павлинове верхом комфорта и удачей, почти недостижимой для простых смертных. А как она отчесала Нижнюю Дусю, жившую в полуподвале, когда та с обычной

наглостью явилась требовать, чтобы очистили их собственный, дмитриевский, сарай, которым, правда, Нижняя Дуся пользовалась самостоятельно последние десять лет! Нижняя Дуся так и слетела с крыльца, как будто ее ветром сшибло. Дмитриев восхищался, шептал матери: «Ну, как? Это не то что мы с тобой, мямли?» Но все его тайные восторги скоро сами собой отпали, потому что он уже знал, что нет и не может быть женщины красивее, умнее и энергичнее Лены. Поэтому — чего же восхищаться? Все было естественно, в порядке вещей. Ни у кого не было такой мягкой кожи, как у Лены. Никто не умел так увлекательно читать романы Агаты Кристи, тут же переводя с английского на русский. Никто не умел любить его так, как Лена. А сам Дмитриев — тот далекий, худой, с нелепым кудрявым чубом — жил оглушенный и одурманенный, как бывает в жару, когда человек плохо соображает, не хочет ни есть, ни пить и только дремлет, валяется в полусне на кровати в комнате с занавешенными окнами.

Но однажды вечером, в конце лета, Лора сказала: «Витька, на два слова...» Они спустились с крыльца на дорожку и, пока были в квадрате света, падавшего с веранды, шли молча, а как только вошли в тень, под липы, Лора, неуверенно засмеявшись, сказала: «Вить, я хочу поговорить о Лене, можно? Ничего особенного, не пугайся, это пустяки. Ты знаешь, я отношусь к ней очень хорошо, она мне нравится, но главное для меня то, что ты ее любишь». Это вступление его сразу задело, потому что главное было вовсе не то, что он ее любил. Она была прекрасна безотносительно к нему. И, уже настороженный, стал слушать дальше.

«Меня просто удивляют некоторые вещи. Наша мать никогда сама не скажет, но я вижу... Витька, ты не обидишься?» — «Нет, нет, что ты! Говори».— «Ну, это действительно вздор, чепуха — то, что Лена, например, забрала все наши лучшие чашки, и то, что она ставит ведро возле двери в мамину комнату...» («Господи! — подумал он.— И это говорит Лорка!») «Я не замечал,— сказал он вслух.— Но я скажу ей».— «Не надо, не надо! И не надо было тебе замечать.— Лора опять как-то сконфуженно засмеялась.— Еще не хватало замечать тебе всякий вздор! Но я ругала маму. Почему просто не сказать: «Леночка, нам нужны чашки, и не ставьте, пожалуйста, ведро здесь, а ставьте там». Я сегодня так сказала, и она, по-моему, на меня вовсе не обиделась. Хотя говорить

о таких мелочах, поверь, очень неприятно. Но меня покоробило другое — она зачем-то сняла портрет папы из средней комнаты и повесила его в проходную. Мама очень удивилась. Вот об этом должен знать ты, потому что это не бытовая какая-то мелочь, а другое. По-моему, просто бестактность». Лора замолчала, и некоторое время они шли, не говоря ни слова. Дмитриев проводил раскрытой ладонью по кустам спиреи, чувствуя, как колются мелкие острые веточки. «Ну, пожалуйста! — сказал он наконец.— Насчет портрета я скажу. Только вот что: а если б ты, Лорхен, попала в чужой дом? Не делала ли бы ты каких-нибудь невольных бестактностей, промахов?» — «Возможно. Но не в таком роде. В общем, надо не молчать, а говорить — я думаю, что правильно — и тогда все образуется».

Он сказал Лене насчет портрета не в этот вечер, а наутро. Лена была удивлена. Она сняла портрет только потому, что нужен был гвоздь для настенных часов, и никакого иного смысла в этом поступке не было. Ей кажется странным, что о такой совершеннейшей ерунде Ксения Федоровна не сказала ей сама, а посылает послом Виктора, чем придает ерунде преувеличенное значение. Он заметил, что Ксения Федоровна с ним вовсе об этом не говорила. А кто же говорил? Тут он брякнул по глупости — сколько по глупости будет «брякнуто» потом! — что говорила Лора. Лена, покраснев, сказала, что его сестра взяла, по-видимому, на себя роль делать ей замечания: то самостоятельно, то через третьих лиц.

Когда Дмитриев вернулся в этот день из города, в квартире было необычно тихо. Лена не вышла его встречать сразу, а появилась через минуты две и задала ненужный вопрос: «Тебе разогревать обед?» Лора уехала в Москву. Мать не выходила из своей комнаты. Затем появилась Вера Лазаревна, одетая по-городскому, напудренная, с бусами на мощно выдававшемся вперед бюсте, и сказала, улыбаясь, что они с Иваном Васильевичем благодарят за гостеприимство и ждали его, чтоб попрощаться. Иван Васильевич сейчас приедет с машиной. В открывшуюся на миг дверь Дмитриев увидел, что портрет отца висит на прежнем месте. Он поинтересовался: почему же так вдруг? Хотели жить весь сентябрь. Да, но возникли дела — у Ивана Васильевича на работе, а у нее — домашние, надо варить варенье, и вообще — дорогие гости, не надоели ли вам... Ксения Федо-

ровна вышла попрощаться с родственниками — вид у нее был обескураженный,— приглашала приезжать еще. Вера Лазаревна не обещала. «Боюсь, что не удастся, милая Ксения Федоровна. Уж очень много всевозможных забот. Нас столько друзей хотят видеть, зовут, тоже на дачу...»

Они уехали, а Дмитриев с Леной пошли на соседнюю дачу играть в покер. Поздно ночью, когда Дмитриев вернулся, Ксения Федоровна зазвала его в свою комнату в красновато-кирпичных обоях и сказала, что у нее скверное настроение и она не может заснуть из-за этой истории. Он не понял: «Какой истории?» — «Ну вот из-за того, что они уехали».

Дмитриев выпил у соседей две рюмки коньяку, был слегка взвинчен, неясно соображал и, махнув рукой, сказал с досадой: «Ах, чепуха, мать! Стоит ли говорить?» — «Нет, все же Лора невыдержанная. Зачем она все это затеяла? И ты зачем-то передал Лене, та — своей матери, тут был глупейший разговор... Полная нелепость!» — «А потому, что не перевешивайте портретов! — сказал Дмитриев, твердея голосом и со строгостью покачивая пальцем. Вдруг он ощутил себя в роли семейного арбитра, что было даже приятно.— Ну и уехали, ну и на здоровье. Ленка не сказала мне абсолютно ничего, ни единого слова. Она же умная баба. Так что не волнуйся и спи спокойно». Он чмокнул мать в щеку и ушел.

Но когда пришел к Лене и лег рядом с ней, она отодвинулась к стене и спросила, зачем он заходил в комнату к Ксении Федоровне. Почуяв какую-то опасность, он начал темнить, отнекиваться, говорил, что устал и хочет совсем другого, но Лена, действуя то строгостью, то лаской, все же выудила из него то, что ей нужно было узнать. Она сказала затем, что ее родители очень гордые люди. Особенно горда и самолюбива Вера Лазаревна. Дело в том, что она всю жизнь ни от кого не зависела, поэтому малейший намек на зависимость воспринимает болезненно. Дмитриев подумал: «Как же не зависела, когда она никогда не работала и жила на иждивении Ивана Васильевича?» — но вслух не сказал, а спросил, чем ущемили независимость Веры Лазаревны. Оказывается, когда Лена передала Вере Лазаревне разговор насчет портрета, та просто ахнула: боже, говорит, неужели они подумали, что мы можем претендовать на эту комнату? Дмитриев что-то ничего уж не понимал:

«Как претендовать? Почему претендовать?» Кроме того, ему хотелось другого. Кончилось тем, что Лена заставила его пообещать, что он завтра же с работы позвонит Вере Лазаревне и мягко, деликатно, не упоминая ни о портрете, ни об обидах, пригласит в Павлиново. Они, конечно, не приедут, потому что люди очень гордые. Но позвонить нужно. Для очистки совести.

Он позвонил. Они приехали на другой день. Почему вспомнилась эта древняя история? Потом было много похуже и почерней. Но, наверное, потому, что первая, она отпечаталась навеки. Он помнил даже, в каком пальто была Вера Лазаревна, когда приехала на другой день и с видом непоколебленного достоинства — гордо и самолюбиво глядя перед собой — подымалась по крыльцу, неся в правой руке коробку с тортом.

Потом были истории с дедом. Той же осенью, когда Лена ждала Наташку. Ах, дед! Дмитриев не видел деда много лет, но с каких-то давних, безотчетных времен тлела в сердце эта заноза — детская преданность. Старик был настолько чужд всякого лукьяноподобия — просто не понимал многих вещей,— что было, конечно, безумием приглашать его на дачу, когда там жили эти люди. Но никто тогда еще ничего не понимал и не мог предвидеть. Деда пригласить было необходимо, он недавно вернулся в Москву, был очень болен и нуждался в отдыхе. Через год он получил комнату на Юго-Западе.

Дед говорил, изумляясь, Дмитриеву: «Сегодня приходил какой-то рабочий перетягивать кушетку, и твоя прекрасная Елена и не менее прекрасная теща дружно говорили ему «ты». Что это значит? Это так теперь принято? Отцу семейства, человеку сорока лет?» В другой раз он затеял смешной и невыносимый по нудности разговор с Дмитриевым и Леной из-за того, что они дали продавцу в радиомагазине — и, веселясь, рассказывали об этом — пятьдесят рублей, чтобы тот отложил радиоприемник. И Дмитриев ничего не мог деду объяснять. Лена, смеясь, говорила: «Федор Николаевич, вы монстр! Вам никто не говорил? Вы хорошо сохранившийся монстр!» Дед был не монстр, просто был очень стар — семьдесят девять,— таких стариков осталось в России немного, а юристов, окончивших Петербургский университет, еще меньше, а тех из них, кто занимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, работал в Швейцарии, в Бельгии, был знаком

с Верой Засулич,— и вовсе раз-два — и обчелся. Может быть, в каком-то смысле дед и был монстр.

И какие у него могли находиться разговоры с Иваном Васильевичем и Верой Лазаревной? Как ни тужились обе стороны, ничего общего не подыскивалось. Ивана Васильевича и Веру Лазаревну прошлое деда не интересовало начисто, а в современной жизни дед смыслил настолько мало, что тоже не мог сообщить ничего полезного, поэтому они относились к нему безучастно: старичок старичком. Шаркает по веранде, чадит дешевыми вонючими папиросками. Вера Лазаревна обыкновенно разговаривала с дедом насчет курения.

Дед был маленького роста, усохший, с сизовато-медной дубленой кожей на лице, с корявыми, изуродованными тяжелой работой, негнущимися руками. Всегда аккуратно одевался, носил рубашки с галстуком. Ботиночки свои мальчиковые, сорокового размера, начищал до блеска и любил гулять по берегу. Было какое-то воскресенье, последнее теплое в сентябре, когда собрались все на прогулку,— давно уже возникла натуга в разговорах — никому эта вылазка была не нужна, но как-то так сошлось: собрались одновременно и побрели вместе.

Народу в тот день было полным-полно. Толклись в лесочке, по берегу, обсели все скамейки: кто в спортивных костюмах, кто в пижамах, с детьми, собачками, гитарами, поллитрами на газетке. И Дмитриев стал иронизировать над нынешними дачниками: шут, мол, знает, что за публика. А до войны, помнится, гуляли тут эдакие с бородками, в пенсне... Вера Лазаревна неожиданно его поддержала, сказав, что Павлиново и до революции было чудесное дачное местечко, она девочкой бывала здесь у своего дяди. Ресторан был с цыганами, назывался «Поречье», его сожгли. Вообще живали солидные люди: биржевые игроки, коммерсанты, адвокаты, артисты. Вон там на просеке шаляпинская дача стояла.

Ксения Федоровна поинтересовалась: кто был дядя? На что Вера Лазаревна ответила: «Мой папа был простой рабочий-скорняк, но очень хороший, квалифицированный скорняк, ему заказывали дорогие работы...» — «Мамочка! — засмеялась Лена.— Тебя о дяде спрашивают, а ты рассказываешь про отца». Дядя, как выяснилось, имел магазин кожаных изделий: сумки, чемоданы,

портфели. На Кузнецком, на втором этаже, где сейчас магазин женской одежды. Там и во время нэпа был магазин кожаных изделий, но уже не дядин, потому что дядя в девятнадцатом году, в голодное время, куда-то пропал. Нет, не сбежал, не умер, а просто куда-то пропал. Иван Васильевич прервал супругу, заметив, что эти данные автобиографии мало кому интересны.

И тут дед, до того молчавший, вдруг заговорил, обращаясь к Дмитриеву: «Так, милый Витя, представь себе, если б дядя твоей тещи дожил до тех времен, когда тут гуляли бородки и пенсне, что бы он сказал? Наверно бы: ну и публика, мол, теперь в Павлинове! Какая-то шпана в толстовках, в пенсне... А? Так ли? А еще раньше тут именье было, помещик разорился, дом продал, землю продал, и лет полста тому какой-то наследник заскочил бы сюда мимоездом, для печального интереса, глядел на купчих, на чиновниц, на господ в котелках, на дядюшку вашего,— дед поклонился Вере Лазаревне,— который прикатил на извозчике, и думал: «Фу, гадость! Ну и дрянь народишка!» А? — засмеялся.— Так ли?»

Вера Лазаревна заметила с некоторым удивлением: «Не понимаю, почему — дрянь? Зачем же так говорить?» Тогда дед объяснил: презрение — это глупость. Не нужно никого презирать. Он сказал это для Дмитриева, и тот вдруг подумал, что дед в чем-то прав. В чем-то, близко касающемся его, Дмитриева. Все немного задумались, затем Ксения Федоровна сказала, что нет, она не может согласиться с отцом. Если мы откажемся от презрения, мы лишим себя последнего оружия. Пусть это чувство будет внутри нас и абсолютно невидимо со стороны, но оно должно быть. Тогда Лена, усмехаясь, сказала: «А я совершенно согласна с Федором Николаевичем. Сколько людей кичатся непонятно чем, какими-то мифами, химерами. Это так смешно!» — «Кто именно и чем кичится?» — спросил Дмитриев в полушутливом тоне, хотя направление разговора стало его слегка тревожить. «Мало ли! — сказала Лена.— Все тебе знать...» — «Кичливость, Леночка, и спокойное презрение — вещи разные»,— произнесла Ксения Федоровна, улыбаясь. «Ну, это смотря откуда глядеть,— ответила Лена.— Вообще я ненавижу гонор. По-моему, нет ничего отвратительнее».— «Вы говорите таким тоном, будто я доказываю, что гонор — это нечто прекрасное. Я тоже

не люблю гонор».— «Особенно, когда для него нет оснований. А так, на пустом месте...»

И вот отсюда, с невинного препирательства, возрос тот разговор, который завершился ночным сердечным припадком у Лены, вызовом неотложки, криками Веры Лазаревны об эгоизме и жестокосердии, их поспешным отъездом на такси утром, а затем отъездом Ксении Федоровны и тишиной, наступившей на даче, когда остались двое: Дмитриев и старик. Они гуляли у озера, подолгу говорили. Дмитриеву хотелось разговаривать с дедом о Лене — ее отъезд мучил его,— ругать ее за вздорность, родителей за идиотизм, а может быть, проклинать себя, как-то терзать эту рану, но дед не произнес ни о Лене, ни об ее родителях ни слова. Он говорил о смерти и о том, что не боится ее. Он выполнил то, что ему было назначено в этой жизни, вот и все. «Боже мой,— думал Дмитриев,— как же она там? А вдруг это серьезно, с сердцем?»

Дед говорил о том, что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь, его не занимает. Нет глупее, как искать идеалы в прошлом. С интересом он смотрит только вперед, но, к сожалению, он увидит немногое.

«Звонить или нет? — думал Дмитриев.— Все же, какое бы ни было состояние, это не дает права...»

Он позвонил вечером. Дед умер через четыре года.

Дмитриев приехал в крематорий прямо с работы и выглядел глупо со своим толстым желтым портфелем, в котором лежало несколько банок сайры, купленных случайно на улице. Лена очень любила сайру. Когда вошли со двора в помещение крематория, Дмитриев быстро прошел направо и поставил портфель на пол в углу, за колонной, так, чтоб его никто не видел. И мысленно твердил: «Не забыть портфель, не забыть портфель». Во время траурной церемонии он несколько раз вспоминал о портфеле, поглядывал на колонну и в то же время думал о том, что смерть деда оказалась не таким уж ужасным испытанием, как он предполагал. Было очень жалко мать. Ее поддерживали под руку с одной стороны тетя Женя, с другой — Лора, и лицо матери, белое от слез, было какое-то новое: очень старое и детское одновременно.

Лена тоже пришла, сморкалась, терла глаза платком, а когда наступил миг прощания, вдруг громким низким голосом зарыдала и, вцепившись в руку Дмитриева, стала шептать о том, какой дед был хороший человек, са-

мый лучший из всей дмитриевской родни, и как она его любила. Это была новость. Но Лена рыдала так искренне, на глазах ее были настоящие слезы, и Дмитриев поверил. Ее родители тоже появились в последнюю минуту, в черных пальто, с черными зонтами, у Веры Лазаревны была даже черная вуалька на шляпке, и они успели бросить в отплывавший в подземелье гроб букетик цветов. Потом Вера Лазаревна говорила с удивлением: «Как много людей-то было!» С этим и пришли, стариковским любопытством: поглядеть, много ли придет провожать. Пришло, к удивлению Дмитриева, много. И, главное, приползли откуда-то в немалом числе те, будто бы исчезнувшие, ан нет, еще живые странные старики, старухи курильщицы с сердитыми сухими глазами, друзья деда, некоторых из них Дмитриев помнил с детства. Пришла одна горбатенькая старушка с совсем подслеповатым древним личиком, про которую мать когда-то говорила, что она отчаянная революционерка, террористка, бросала в кого-то бомбу. Эта горбатенькая и говорила речь над гробом. Во дворе, когда все вышли и стояли кучками, не расходясь, к Дмитриеву подошла Лора и спросила, поедут ли они с Леной к тете Жене, где соберутся близкие и друзья. До той минуты Дмитриев считал, что поедет к тете Жене непременно, но теперь заколебался: в самом вопросе Лоры заключалась возможность выбора. Значит, и Лора, и мать полагали, что он, если захочет, может не ехать, то есть что ему ехать не обязательно, ибо — он вдруг это понял — в их глазах он уже не существовал как частица семьи Дмитриевых, а существовал как нечто другое, объединенное с Леной и, может быть, даже с теми в черных пальто, с черными зонтами, и его надо было спрашивать, как постороннего.

«Вы поедете к тете Жене?» Вопрос был задан бегло, но как много он означал! И среди прочего: «Если бы ты был один, мы не стали бы спрашивать. Мы всегда хотим тебя видеть, ты знаешь. Но когда у нас горе, зачем нам чужие люди? Если можно, лучше обойтись без них. Если можно, но — как ты хочешь...» Дмитриев сказал, что они, пожалуй, не поедут к тете Жене. «Почему? Ты поезжай! — сказала Лена.— Я себя неважно чувствую, а ты поезжай. Конечно, поезжай!» Нет, он не поедет, у Лены сильно болит голова. Лора понимающе кивнула, даже улыбнулась Лене с сочувствием и спросила, не дать ли ей таблетку. «Да! — сказал Дмитриев.— Я же забыл

портфель!» Он вернулся в помещение крематория, где на постаменте лежал в гробу уже новый покойник, вокруг которого ютилась жидкая кучка людей, и на цыпочках прошел за колонну. Взяв портфель, остановился, чтоб побыть минуту в одиночестве. Чувство непоправимости, отрезанности, которое бывает на похоронах — одно безвозвратно ушло, отрезалось навсегда, а продолжается то, да не то, что-то уже новое, в других комбинациях,— было самой томящей болью, даже сильнее, чем печаль о деде. Дед был ведь стар, должен был угаснуть, но вместе с ним исчезало что-то, прямо с ним не связанное, существовавшее отдельно: какие-то нити между Дмитриевым, и матерью, и сестрой. И это исчезновение обнаружилось так неумолимо и сразу, спустя несколько минут после того, как вышли из тяжелого цветочного запаха на воздух. Лора спокойно согласилась с тем, что он не поедет к тете Жене, а он легко примирился с ее спокойствием. И только мать, полуобернувшись, сделала слабое, прощальное движение кистью, и он вдруг почувствовал, что добавил ей боли, рванулся догнать — рванулось внутри, секундно,— но было уже поздно, непоправимо, отрезалось. Лена тянула его к такси, чтобы ехать домой.

Вместе с матерью, Лорой, Феликсом, тетей Женей и другими родственниками шел в удалявшейся толпе Левка Бубрик. Может быть, он приехал раньше, но Дмитриев заметил его, только когда вышли на двор. Левка был без шапки, черный, всклокоченный, слепо блестел очками. К Дмитриеву он не подошел, кивнул издали. Лена спросила шепотом: «Откуда здесь Бубрик?» Дмитриев, подавив в себе чувство неприятного удивления, сказал: «Ну как же? Он какой-то наш родственник, седьмая вода на киселе».

Впервые за несколько месяцев после той тягомотной истории с институтом Дмитриев увидел Левку Бубрика. И сразу вспомнил, что покойный дед осуждал его за Левку. Был даже какой-то разговор, когда дед сказал: «Мы с Ксеней ожидали, что из тебя получится что-то другое. Ничего страшного, разумеется, не произошло. Ты человек не скверный. Но и не удивительный».

А с Левкой были знакомы с детства, учились в одном институте. Не то что друзья «водой не разольешь», но связанные крепью домов и семей товарищи. Отец Левки, доктор Бубрик, лечивший Дмитриева еще в малолет-

стве, был братом мужа тети Жени, погибшего на войне. То есть Левка был неродным племянником тети Жени. Сразу после института Левка поехал в Башкирию и проработал там три года на промыслах, в то время как Дмитриев, который был постарше и на год раньше получил диплом, остался работать в Москве на газовом заводе, в лаборатории. Ему тоже предлагали разные заманчивые одиссеи, но согласиться было трудно. Мать очень хотела, чтоб он поехал в Туркмению, в Дарган-Тепе, потому что недалеко от родного Лориного Куня-Ургенча — каких-нибудь шестьсот километров, пустяки! — брат с сестрой могли бы встречаться за пиалой кок-чая и скучать вместе по дому. Наташка родилась слабенькой, болела, Лена тоже болела, не было молока, нашли кормилицу Фросю, школьную уборщицу, жившую в бараке на Таракановке, Дмитриев ездил к ней вечерами за бутылочками. Какой там Дарган-Тепе! Да и не было никакого Дарган-Тепе. Были грезы по утрам, в тишине, когда он просыпался с нечаянной бодростью и думал: «А хорошо бы...» И все представлялось так прозрачно, четко, как будто он поднимался ясным днем на гору и смотрел оттуда далеко вниз. «Витя,— говорила Лена (или Витенька, если был период безмятежности и любви),— зачем ты себя обманываешь? Ты же не можешь никуда от нас. Я не знаю, любишь ли ты нас, но ты не можешь, не можешь! Все кончено! Ты опоздал. Надо было раньше...» И, обняв, смотрела ему в глаза синими ласковыми глазами ведьмы. Он молчал, потому что это были его собственные мысли, которых он боялся. Да, да, он опоздал. Поезд ушел. Прошло уже четыре года с тех пор, как он окончил институт, потом прошло пять, семь, девять. Наташка стала школьницей. Английская спецшкола в Утином переулке, предмет вожделения, зависти, мерило родительской любви и расшибаемости в лепешку. Другой микрорайон, почти немыслимо. И никому, кроме Лены, было бы не под силу. Ибо она вгрызалась в свои желания, как бульдог. Такая миловидная женщина-бульдог с короткой стрижкой соломенного цвета и всегда приятно загорелым, слегка смуглым лицом. Она не отпускала до тех пор, пока желания — прямо у нее в зубах — не превращались в плоть. Великое свойство! Прекрасное, изумительное, решающее для жизни. Свойство настоящих мужчин.

«Ни в какие экспедиции. Не дольше, чем на неде-

лю» — это было ее желание. Бедное простодушное желание со вмятинами от железных зубов.

Другим желанием Лены, которое ее занимало в течение нескольких лет, было — устроиться в ИМКОИН. О, ИМКОИН, ИМКОИН, недостижимый, заоблачный, как Джомолунгма! Разговоры об ИМКОИНЕ, телефонные звонки насчет ИМКОИНА, слезливое отчаянье, вспышки надежды.

«Папа, ты разговаривал с Григорием Григорьевичем по поводу ИМКОИНА?» — «Леночка, тебе звонили из ИМКОИНА!» — «Откуда?» — «Из ИМКОИНА!» — «О боже мой, из отдела кадров или просто Зойка?» Две идеально устроенные в этой жизни приятельницы работали в ИМКОИНЕ — Институте международной координированной информации. Наконец удалось. ИМКОИН стал плотью и хрустел на зубах как хорошо прожаренное куриное крылышко. Удобно, сдельно, прекрасно расположено — в минуте ходьбы от ГУМа, — а прямой начальницей была одна из приятельниц, с которой вместе учились в институте. Приятельница давала переводить столько, сколько Лена просила. Потом-то они поссорились, но года три все было «о'кей». В обеденный перерыв бегали в ГУМ смотреть, не выбросили ли каких кофточек. По четвергам показывали иностранные фильмы на языках. Но подготовить диссертацию вместо Дмитриева Лена, к сожалению, не могла. Дмитриев получал тогда, в лаборатории, сто тридцать, а его институтский знакомец, однокурсник — серый малый, но большой трудяга, хитрый Митрий, который во всем себе отказывал и даже не женился до поры, — получал вдвое больше потому, что высидел свинцовым задом диссертацию. Лене страшно хотелось, чтобы Дмитриев стал кандидатом. Всем хотелось того же. Лена помогала в английском, мать одобряла, Наташка по вечерам разговаривала шепотом, а теща присмирела, но через полгода он сдался. Наверное, потому же: поезд ушел. Не хватало сил, каждый вечер он приходил с головной болью, с единственным желанием — поскорей завалиться спать. Он и заваливался, если по телевизору не было чего-нибудь стоящего — футбола или старой комедии. И, сдавшись, возненавидел всю эту муть с диссертацией, говорил, что лучше честно получать сто тридцать целковых, чем мучиться, надрывать здоровье и унижаться перед нужными людьми. И Лена теперь тоже так считала и презрительно называла знакомых кандидатов дельцами, пройдоха-

ми. В это время, как нельзя более кстати — а может, некстати,— подкатился Левка Бубрик со своей просьбой насчет Института нефтяной и газовой аппаратуры, сокращенно ГИНЕГА.

Левка, возвратившись из Башкирии, долго не мог найти подходящей работы. И вот нашел ГИНЕГА. Но туда еще надо было попасть. Никогда бы ни Левка, никто другой не попал бы в ГИНЕГА, если бы Иван Васильевич не позвонил Прусакову. А потом даже поехал к Прусакову сам на казенной машине. Прусаков держал это место для кого-то другого, но Иван Васильевич нажал, и Прусаков согласился. В конце концов не Левкин же тесть ездил к Прусакову, а дмитриевский! Правда, ради Левки. Это верно. Потому что Лена попросила отца, она жалела Левку и его жену, эту толстую клушу Инночку. Потом Инночка устроила хороший бенц в гостях общих друзей, кричала: «Ты жуткий человек!» Но Лена на все это пошла сознательно и держалась очень стойко и хладнокровно. Друзья говорили, что Лена держалась великолепно. Она все взяла на себя и говорила, что Дмитриев не хотел, но она настояла. «Виновата я, одна я, Витьку не вините! А вы бы хотели, чтоб мы жили на сто тридцать и Витька убивал три часа на дорогу?»

Конечно, так и было. Мысль пришла ей первой, когда Иван Васильевич приехал и рассказал, что за место. И Дмитриев действительно не хотел. Три ночи не спал, колебался и мучился, но постепенно то, о чем нельзя было и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало — даже необходимо для здоровья — проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает. Но все глотают облатки. «Я Леву уважаю,— говорила Лена,— и даже люблю, но почему-то моего мужа я люблю больше. И если уж папа, старый человек, который терпеть не может одолжаться, собрался и поехал...»

Надо было сказать им сразу, но не хватило духу — тянули, отмалчивались. Они узнали стороной. И как отрезало: не приходили, не звонили. Черт их знает, может, они были и правы, но так тоже не делается: придите, поговорите по-хорошему, узнайте, как и почему. А когда встретились у друзей, Бубрик отвернул нос, а Инночка орала, как торговка на рынке. Ну что ж, на-

плевать и забыть. И только года через четыре или пять — был день рождения Ксении Федоровны, зима, конец февраля — вся эта история опять всколыхнулась. Мать с дедом и раньше пилили Дмитриева, но не очень злобно, потому что и вправду считали, что все завела Лена. А с Лены какой же спрос? С Леной приходилось мириться, как с дурной погодой. Но вот тогда, в день рождения матери...

Отчетливо, как сейчас: поднимаются по лестнице, остановились у двери. Наташка держит подарки, коробку конфет и книгу на английском языке Теккерея «Ярмарка тщеславия», а Лена прислонилась плечом к двери и, закрыв глаза, шепчет как бы про себя, но, конечно, для Дмитриева: «Ой, боже мой, боже мой, боже мой...» Вот, мол, на какие испытания иду ради тебя. И он начинает привычно закипать. Лена не любит ходить к свекрови. С каждым годом — все больше через силу. Что поделаешь? Ну, не любит, не может, не выносит. Все ее раздражает. Как бы сладко ни кормили, как бы любезно ни разговаривали, бесполезно: все равно что отапливать улицу. Нарочно ласково Дмитриев говорит с дочкой, обняв ее: «Как, мартышка, довольна, что пришла к бабушке?» — «Ага».— «Любишь сюда ходить?» — «Люблю!» А Лена, улыбаясь, добавляет: «Люблю, скажи, но я должна рано ложиться спать. И пусть папочка, скажи, не засиживается, чтоб не тащить его из-за стола силой. В половине, скажи, десятого встаем и едем».

Все бы обошлось тогда, если б не эта дура Марина, двоюродная сестра. Как увидел ее красную физиономию за столом над пирогами и вафлями, сразу понял: несдобровать. Лена гораздо умнее ее, но чем-то они схожи. И всегда, как встречаются на семейных сборах, затевается между ними какая-то петуховина. То спорят в открытую, а то пикируются хитро, так что со стороны и не заметишь. Вроде ватерполистов, которые бьют друг друга ногами под водой, чего зрители не видят. Ночью Дмитриева вдруг ошеломляли: «Почему твоя кузина весь вечер меня язвила?» — «Как язвила?» — «А ты не слышал?» — «Что именно?» — «Ну, хотя бы то, что она говорила насчет женщин Востока? Насчет их задов и ног?»— «Позволь, но ты ведь, кажется, не женщина Востока?» — «Ах, что с тобой говорить...»

И тогда, в феврале — почему-то запомнилось до последнего слова,— началось с невиннейшего, с подводных

толчков. А запомнилось потому, что — последний раз Лена в гостях у матери. С тех пор никогда. Уже лет пять ни разу. Ксения Федоровна заходит, навещает внучку, а Лена к ней — нет. «Как поживаешь, Марина? У тебя все по-прежнему?» — «Конечно! А как у тебя? Служишь все там же?» Эти фразы, сказанные с улыбкой и в рамках правил, означали на самом деле: «Ну, как, Марина, никто на тебя по-прежнему не клюнул? Я-то уверена, что никто не клюнул и никогда не клюнет, моя дорогая старая дева».— «А меня это не волнует, потому что я живу творческой жизнью. Не то что ты. Ведь ты служишь, а я творю, живу творчеством». Марина работала тогда редактором в издательстве. Сейчас где-то на телевидении. «А что-нибудь хорошее вы издали за последнее время?» — «Кое-что издали. Это у тебя что за материал? Брала в ГУМе?» И тут были упругие удары под водой: «О каком творчестве ты там лепечешь? Хоть одну хорошую книгу ты лично отредактировала, выпустила?» — «Да, конечно. Но говорить с тобой об этом нет смысла потому, что тебя это не может интересовать. Тебя же интересует ширпотреб». Были какие-то споры о стихах, о всемирном мещанстве. Эту тему Марина очень любила, не упускала случая потоптать мещанство. У, мещане! Когда она клокотала по поводу тех, кто не признает Пикассо или скульптора Эрьзю, во рту ее что-то клубилось и даже как будто сверкало.

Все ненавистное, что для Марины соединялось в слове «мещанство», для Лены было заключено в слове «ханжество». И она объявила, что «все это ханжество». «Ханжество?» — «Да, да, ханжество».— «Любить Пикассо ханжество?» — «Разумеется, потому что те, кто говорят, что любят Пикассо, обычно его не понимают, а это и есть ханжество».— «Бог мой! Держите меня! — хохотала Марина.— Любить Пикассо ханжество! Ой-ой-ой!» Лица обеих горели, глаза пылали нешуточным блеском. Пикассо! Ван-Гог! Сублимация! Акселерация! Поль Джексон! Какой Поль Джексон? Не важно, потому что ханжество! Ханжество? Ханжество, ханжество. Нет, ты объясни тогда: что ты называешь ханжеством? Ну, все то, что делается не от сердца, а с задней мыслью, с желанием выставить себя в лучшем виде. «А-а! Значит, ты занимаешься ханжеством, когда приходишь к тете Ксене на день рождения и приносишь ей конфеты?»

Лена, поглядев на Дмитриева с улыбкой, в которой было почти торжество (я предсказывала, но ты настоял, так что получай, кушай!), сказала, что у нее с Ксенией Федоровной отношения действительно не самые лучшие, но она пришла ее поздравить не из ханжества, а потому, что просил Витя. Что-то вроде того. Дальше провал. Гости прощались. Мать спотыкалась. Тетя Женя заговорила о Левке Бубрике, зачем — неизвестно. Она всегда хочет сделать как лучше, а получается наоборот. Мать сказала: возмутительная история, и она долго не верила, что Витя мог так поступить. «Ах, вы считаете, что во всем виновата я? А ваш Виктор был ни при чем?» — «Виктора я не оправдываю».— «Но все-таки — я?!» — Щеки Лены покрывались бурным румянцем, а в лице Ксении Федоровны проступали гранитные черты.

«Да, конечно, я способна на все. Ваш Виктор хороший мальчик, я его совратила». Тетя Женя сказала, тряся благожелательной сивой головкой: «Милая Лена, вы же сами так объясняли Левочке, я очень хорошо помню».— «Мало ли что я объясняла! Я заботилась о своем муже. И вы не имеете, не имеете...» — «Перестань кричать!» — «А ты предатель! Не хочу с тобой разговаривать». Схватив Наташку, рванулась из-за стола. «Почему ты всегда молчишь, когда меня оскорбляют?» И — на лестницу, на мороз, навсегда.

Он бежал вниз, поскальзывался на обледенелых лужах. Лена и Наташка глупо прыгали от него в троллейбус, дверь замыкалась, и он не знал, куда дальше, что же будет. Не мог никуда. Когда дом разрушался, он не мог никуда, ни к кому. Нет, еще однажды после того февраля она пришла к матери — не было выхода, Иван Васильевич лежал с инсультом, теща дни и ночи проводила с ним, а у Дмитриева и Лены горели путевки на Золотые пески — не с кем было оставить Наташку. В Болгарии вечерами гуляли в свитерах и очень сильно любили друг друга. Днем номер накалялся, хотя опускали штору, вода в душе была теплая. И никогда так сильно не любили друг друга.

Дмитриев стоял перед домом и смотрел на единственное освещенное окно — кухни. Второй этаж и левая сторона дома были темны. В это время года здесь никто не жил. В кухне что-то делала Лора. Дмитриев видел

ее опущенную к столу голову, черные с сединой волосы, блестевшие под электрической лампочкой, загорелый лоб — ежегодные пять месяцев в Средней Азии сделали ее почти узбечкой. Из темноты сада он рассматривал Лору точно на светящемся экране, как чужую женщину — видел ее немолодость, болезни, заработанные годами жизни в палатках, видел грубую тоску ее сердца, охваченного сейчас одной заботой.

Что она там делает? Гладит, что ли? Он почувствовал, что ничего не сможет ей сказать. Во всяком случае сегодня, сейчас. К черту все это! Никому это не нужно, никого не спасет, только принесет страдания и новую боль.

Потому что нет дороже родной души.

Когда он поднимался по ступенькам крыльца, сердце его колотилось. Лора резала ножницами на кухонном столе газету на длинные полосы. Вошел Феликс с миской, где был разведенный клейстер. Дмитриев стал им помогать. Сначала заклеили окно на кухне, потом перешли в среднюю комнату. Мать с шести часов заснула, но скоро, наверное, проснется. Примерно около половины пятого ей сделалось плохо, начались боли. Лора очень перепугалась и хотела вызывать неотложку, но мать сказала, что бесполезно, надо звать Исидора Марковича или врача из больницы. Приняла папаверин, боли прошли. В чем дело? Мать очень подавлена. Такое внезапное ухудшение. После больницы это впервые. Она говорит, что все совершенно как в мае: боли такой же силы и в том же месте.

Разговаривали вполголоса.

— Я тебе звонил в четвертом часу!

— Да, и все было хорошо. А через час...

Феликс, мурлыча что-то, запихивал кухонным ножом старый нейлоновый чулок в щель между створками рам, Лора намазывала газетные полосы клейстером, а Дмитриев клеил. Потом сели пить чай. Все время прислушивались к комнате матери. Глаза у Лоры были жалкие, она отвечала невпопад, а когда Феликс зачем-то вышел из комнаты, быстро прошептала:

— Я тебя прошу: сейчас он начнет о Куня-Ургенче, скажи, что ты решительно против... Что не можешь...

Феликс вернулся с черным пакетом, в котором были фотографии. Все еще мурлыча, стал показывать. Это были цветные фотографии куня-ургенчских раскопок:

черепки, верблюды, бородатые люди. Лора в брюках, в ватнике, Феликс на корточках с какими-то стариками, тоже на корточках. Феликс сказал, что в конце ноября нужно ехать. Самое позднее — начало декабря. К пятнадцатому быть там как штык. Лора сказала, что он будет, будет, пусть не волнуется. Она его отпустит. Конечно, ехать необходимо, восемнадцать человек ждут. Собирая фотографии и засовывая их в черный пакет — пальцы слегка дрожали,— Феликс сказал, что Лора, к сожалению, тоже должна ехать. Потому что восемнадцать человек ждут и ее.

— Мы же договорились: сначала едешь ты...

— Как ты себе это представляешь?

Очки подпрыгивали на крупном носу Феликса, он приподнимал их каким-то особым движением щек и бровей.

— А как ты себе все представляешь?

— Но есть Витя, по-моему, родной сын...

— Ну, хватит! Витя, Витя. Мало ли что Витя... Не сегодня это обсуждать.

Феликс спрятал пакет в карман байковой курточки, направился к двери в другую комнату, но остановился в дверях.

— А когда прикажешь обсуждать? Надо давать телеграмму Мамедову.

Лора еще раз махнула рукой, более энергично, и Феликс исчез, тихо затворив дверь. Лора сказала, что Феликс очень хороший, любит маму, мама любит его, но он бывает туп. Редкостно туп. Лоре даже кажется иногда, что тут некоторая патология. Есть вещи, которые ему невозможно объяснить, тогда надо просто категорически сказать: так и так, и никаких! И он смиряется. Спорить он не умеет. Надо, чтобы Дмитриев твердо сказал, что н е   м о ж е т остаться с мамой, и тогда он перестанет нудить. А как действительно Дмитриев может остаться? Взять маму к себе? Переехать на Профсоюзную? Лена не согласится ни на то, ни на другое. Феликсу, конечно, важно поехать в Куня, ей тоже важно, все верно, но что поделаешь?

В комнате Ксении Федоровны по-прежнему было тихо. Феликс взял угольное ведро и протопал через веранду вниз по лестнице, в сарай. Гремел там лопатой, набирая уголь. Дмитриев сказал, что можно, конечно, попробовать обменять две комнаты на двухкомнатную квартиру — то, что он пытался сделать когда-то,— чтоб

жить вместе с мамой, но это целая история. Не так-то просто. Хотя сейчас такая возможность есть.

Не хотелось это говорить, но как-то удобно и кстати сказалось само. Лора поглядела на Дмитриева слегка удивленно. Потом спросила:

— Это идея Лены, что ли?

— Нет, моя. Старая моя идея.

— Только не сообщай эту свою идею Феликсу, хорошо? — сказала Лора.— Потому что он ухватится. А маме это совершенно не нужно. Когда она в таком состоянии, еще испытывать что-то... Я же знаю: сначала все будет мило, благородно, а потом начнется раздражение. Нет, это ужасная идея. Какой-то кошмар. Бр-р, я себе представила! — И Лора передернула плечами с выражением мгновенного страха и отвращения.— Нет уж, я буду с мамой, никуда не поеду, а Феликс как-нибудь обойдется.

Вернулся Феликс с ведром угля. Было слышно, как он тихо, чтоб не будить Ксению Федоровну, шебаршит руками в ведре, вынимая уголь по кускам, и с осторожностью кладет куски на железный лист перед печкой. Раздался легкий, со звоном, скрежет чугунной заслонки. Лора ухмыльнулась, желая что-то сказать, но промолчала.

— Что? — спросил Дмитриев.

— Нет, ничего. Я, между прочим, часто удивлялась: почему вы не построите себе кооперативную квартиру? Не так уж дорого. Родственники помогут. Они же так любят внучку...— Ее лицо улыбалось, но в глазах была злоба. Это было старое, знакомое по давним годам лицо Лоры. В детстве они часто дрались, и Лора, рассвирепев, могла ударить чем угодно, что подворачивалось: вилкой, чайником.

— О чем вы там? — спросил Феликс из кухни. Он почуял что-то в голосе Лоры.

— Я говорю: почему бы Виктору и Лене не построить кооперативную квартиру? Маленькую, в две комнаты. Верно?

— Не нужно нам никакой квартиры,— сказал Дмитриев задыхающимся голосом.— Не нужно, понятно тебе? Во всяком случае мне не нужно. Мне, мне! Ни черта мне не нужно, абсолютно ни черта. Кроме того, чтобы нашей матери было хорошо. Она же хотела жить со мной всегда, ты это знаешь, и если сейчас это может ей помочь...

Лора закрыла ладонями лицо. Только губы остались видны: они мучились, сжимались. Дмитриев думал с отчаяньем: «Идиот! Зачем я это говорю? Мне же действительно ничего не нужно...» Ему хотелось броситься к сестре, обнять ее. Но он продолжал сидеть, прикованный к стулу. Феликс, стоя в дверях, с рассеянным видом смотрел то на жену, то на брата жены. Он ходил как хозяин по этим комнатам — незнакомый коротышка в байковой курточке с накладными карманами, что-то галочье, круглое, чужое, в скрипучих домашних туфлях со стельками,— по комнатам, где прошло детство Дмитриева. Смотрел на плачущую сестру с недоумением, как на непорядок в доме. Как на зачем-то открывшуюся дверцу буфета. Дмитриев пробормотал:

— Феликс, сгинь на минуту!

Человек в байковой курточке сгинул. Дмитриев подошел к Лоре, с неловкостью пошлепал ее по плечу:

— Ну, перестань...

Она мотала головой, не в силах ее поднять.

— Как хотите, как хотите... Если хочет — пускай...

Ровно через минуту за дверью был голос Феликса: «Можно, друзья?»

Он вошел с каким-то конвертом.

— Сегодня, смотри вот, пришло послание от Аширки Мамедова. Бедняга спрашивает, покупать ли на нашу долю спальные мешки. Это в Чарджоу, на базе у Губера. Деньги у него есть, но надо ответить немедленно: брать или нет. Даже телеграфом.

Он мурлыкал и скрипел стелькой, стоя возле стула Лоры с конвертом в руке. В комнате Ксении Федоровны послышался шум. Дмитриев на цыпочках рванулся к двери. Сразу увидел, что у матери другое лицо.

— Ну, ты видишь это безобразие? — сказала Ксения Федоровна слабым голосом и попыталась привстать.

Лежавшая на одеяле книга скользнула на пол. Дмитриев нагнулся: все тот же «Доктор Фаустус» с закладкой на первой сотне страниц.

— Я же разговаривал с тобой сегодня утром! — сказал Дмитриев с каким-то страстным упреком, точно этот факт был крайне важен для состояния матери и всего хода болезни.

— А как сейчас, мама? — спросила Лора.— Вот лекарство. И поставь градусник.

Ксения Федоровна мгновение сидела на кровати не двигаясь, с выражением отрешенно-сосредоточенным — всеми чувствами впивалась в себя. Потом сказала:

— А сейчас как будто бы...— Осторожно протянула руку и взяла у Лоры чашку с водой. Немного наклонилась вперед.— Как будто ничего. Вроде нет. Фу-ты, какая чепуха! — Она улыбнулась и сделала Дмитриеву знак, чтобы он сел на стул рядом с кроватью.— Все-таки ужасная гадость эта язвенная болезнь. Я возмущена, мне хочется писать протест. Требовать жалобную книгу. Только вот у кого? У господа бога, что ли?

— Тебе удобно так лежать? — спросила Лора.— Придвинься сюда поближе. Сейчас подержи градусник, а потом я принесу чай. Дай мне грелку.

Лора вышла. Дмитриев сел на стул.

— Да, Витя! Хорошо, что ты приехал,— сказала Ксения Федоровна.— Мы с Лорой сегодня поспорили. На плитку шоколада. Ты видишь свой детский рисунок? Вон там, на подоконнике. Лорочка нашла его в зеленом шкафу. По-моему, ты рисовал это летом тридцать девятого года или в сороковом, а Лорочка говорит, что после войны. Когда тут жил, помнишь, этот, как его... ну? Неприятный такой, с восточной фамилией. Я забыла, скажи сам.

Дмитриев не помнил. Рисунка тоже не помнил. Все, что касалось его художества, было вычеркнуто навсегда. Но мать лелеяла эти воспоминания, поэтому он сказал: да, тридцать девятый или сороковой. После войны фигурного забора уже не было, его сожгли. Ксения Федоровна спросила про командировку Дмитриева, и он сказал, что как раз сегодня решилось, что он не едет.

Ксения Федоровна перестала улыбаться.

— Надеюсь, не из-за моей болезни?

— Нет, просто отложили. При чем тут твоя болезнь?

— Я не хочу, Витя, чтобы нарушались малейшие ваши дела. Потому что дело прежде всего. А как же? Все старухи болеют, такова профессия. Полежим, покряхтим, встанем на ноги, а вы теряете драгоценное время и ломаете свою работу. Нет, так не годится. Например, сейчас меня мучает...— она понизила голос,— Лорочка. Она же мне бессовестно врет, говорит, что в этом году ехать не обязательно, Феликс тоже мямлит, отвечает уклончи-

во. Но я-то знаю, что у них происходит! Зачем же они так делают. Разве я беспомощная старуха, которую нельзя оставить одну? Да ничего подобного! Конечно, могут быть ухудшения, как сегодня, даже сильные боли, я допускаю, потому что процесс идет медленно, но в принципе я же иду на поправку. И прекрасно справлюсь одна. Тетя Паша будет приходить. Ты рядом, есть телефон — господи, какие проблемы? Есть, наконец, Маринка, есть Валерия Кузьминична, которая с удовольствием...— Она умолкла, потому что в комнату вошла Лора с чаем.

— Мама, не возбуждайся,— сказала Лора.— Пусть Витька разговаривает, а ты слушай. Что это ты так возбудилась?

— Некоторые люди меня возмущают, которые говорят неправду.

— А! Ну-ну. Дай-ка сюда градусник...— Лора взяла градусник.— Нормальная. Витька, не давай матери возбуждаться, слышишь. А то я тебя прогоню. И через десять минут приходи ужинать.

Когда Лора вышла, Ксения Федоровна опять зашептала о том же: как устроить так, чтобы старые люди могли спокойно болеть и у детей ничего бы не нарушалось. Как всегда, мать говорила полушутя, полувсерьез. Дмитриев стал потихоньку раздражаться. Зачем говорить об этом так много? Ведь пустые разговоры. Все равно ничего нельзя изменить. Потом Дмитриева позвали к телефону. Лена спрашивала, приедет ли он домой или останется ночевать в Павлинове. Был уже одиннадцатый час. Дмитриев сказал, что останется здесь. Лена велела передать Ксении Федоровне большой привет и спросила, взял ли он ключ. Он ответил: «Спокойной ночи» — и повесил трубку.

Это касалось его одного. Он один мог решить: спрашивать ключ или нет. Часа через полтора, перед тем как ложиться спать, он улучил минуту, когда Ксения Федоровна была одна, и сказал:

— Есть еще такой вариант: можно обменяться, поселиться с тобой в одной квартире — тогда Лора будет независима...

— Обменяться с тобой?

— Нет, не со мной, а с кем-то, чтобы жить со мной.

— Ах, так? Ну, конечно, понимаю. Я очень хотела жить с тобой и с Наташенькой...— Ксения Федоровна помолчала.— А сейчас — нет.

— Почему?

— Не знаю. Давно уже нет такого желания.

Он молчал, ошеломленный.

Ксения Федоровна смотрела на него спокойно, закрыла глаза. Было похоже, что она засыпает. Потом сказала:

— Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел...— Вновь наступило молчание. С закрытыми глазами она шептала невнятицу: — Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так незаметно...

Посидев немного, он встал и вышел на цыпочках.

Дмитриев лег спать в комнате, где когда-то жил с Леной, в первое лето. Там по-прежнему висел на стене ковер, прибитый Леной. Но красивые, зеленого цвета обои с давленым рисунком заметно выцвели и полысели. Засыпая, Дмитриев думал о старом акварельном рисунке: кусок сада, забор, крыльцо дачи и собака Нельда на крыльце. Была такая похожая на овцу собачонка. Как же Лора могла забыть, что после войны Нельды уже не было? После войны он рисовал как помешанный. Не расставался с альбомом. Особенно здорово получалось пером, тушью. Если б не провалился на экзамене и не бросился с горя в первый попавшийся, все равно какой — химический, нефтяной, пищевой... Потом стал думать о Голышманове. Увидел комнату в бараке, где прожил в прошлом году полтора месяца. И подумал о том, что Таня была бы для него лучшей женой. Один раз он проснулся среди ночи и слышал, как в комнате за стеной Феликс и Лора разговаривают вполголоса.

Утром Дмитриев уехал рано, когда Ксения Федоровна еще спала. Он дал Лоре сто рублей. Лора сказала, что очень кстати. Позавтракали наспех, и он побежал к троллейбусу. Был темный рассвет. С деревьев в саду сбегал ночной дождь. На остановке стояли два человека, и чуть поодаль сидела на земле большая немецкая овчарка. Непонятно было, кому она принадлежит. Подошел пустой троллейбус, все влезли, после всех неожиданно впрыгнула в троллейбус овчарка. Собака была брюхата, впрыгнула тяжело и села на пол возле кассы. Двое испуганно прошли вперед, а Дмитриев остановился в нерешительности. Овчарка смотрела в окно. Ей что-то было нужно в троллейбусе. Дмитриев подумал, что

водитель может завезти ее далеко и она погибнет. Ведь никому не понять, что с ней происходит и почему она в троллейбусе. На ближайшей остановке, где люди шарахнулись от двери, Дмитриев сошел, позвал: «Выходи, выходи!» — и собака спрыгнула послушно и села на землю. А Дмитриев успел вскочить обратно. Через стекло отъезжающего троллейбуса он видел собаку, которая смотрела на него.

Ксения Федоровна позвонила через два дня Дмитриеву на работу и сказала, что согласна съезжаться, только просила, чтоб побыстрей. Началась эта волынка. Маркушевичи, конечно, отпали, потом отпало много других, потом появился мастер спорта по велосипеду, и с ним-то все совершилось в середине апреля. Ксения Федоровна была не так уж плоха. Устроили даже новоселье, пришли родственники, не было только Лоры и Феликса, которые не вернулись еще из своего Куня, где торчали, как обычно, до большой жары. Но хлопоты на этом не кончились: нужно было перевести оба лицевых счета на имя Дмитриева, что оказалось делом не менее тяжким, чем обмен. Поначалу исполком отказал потому, что заявление было составлено неудачно и не хватало каких-то бумаг. Старичок Спиридон Самойлович, маклер, который все хвастался, что юрист райжилотдела его добрый знакомый, оказался просто лгуном. Юрист с ним даже не поздоровался, когда они столкнулись лицом к лицу. А этот юрист был главным винтом дела, потому что заявителей на заседание не вызывают и решение выносится лишь на основе заключения юриста и представленных документов. В конце июля Ксении Федоровне сделалось резко хуже и ее отвезли в ту же больницу, где она была почти год назад. Лена добилась вторичного разбора заявления. На этот раз юрист был настроен как нужно, и все документы были в порядке: а) документ, подтверждающий родственные отношения, то есть свидетельство о рождении Дмитриева; б) копия ордеров, выданных в свое время на право занятия жилых площадей; в) выписки из домовых книг; г) копии финансовых лицевых счетов, выданных бухгалтерией ЖЭКа; д) выписка из протокола общественно-жилищной комиссии при ЖЭКе, в которой ОЖК просила исполком удовлетворить просьбу об объединении лицевых счетов. Ну, и на этот раз решение было благоприятное. После

смерти Ксении Федоровны у Дмитриева сделался гипертонический криз, и он пролежал три недели дома в строгом постельном режиме.

Что я мог сказать Дмитриеву, когда мы встретились с ним однажды у общих знакомых, и он мне все это рассказал? Выглядел он неважно. Он как-то сразу сдал, посерел. Еще не старик, но уже пожилой, с обмякшими щечками дяденька. Я ведь помню его мальчишкой по павлиновским дачам. Тогда он был толстяком. Мы звали его «Витучный». Он младше меня года на три, и в те времена я больше дружил с Лорой, чем с ним. Дмитриевскую дачу в Павлинове, так же, как все окружающие дачи, недавно снесли и построили там стадион «Буревестник» и гостиницу для спортсменов, а Лора со своим Феликсом переехала в Зюзино, в девятиэтажный дом.

1969

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

◆



В начале мая ударила тропическая жара, жизнь в городе сделалась невыносимой, номер накалялся с одиннадцати часов и не остывал до рассвета, у меня начались одышки, головокружения, одна ночь была ужасной, и я, промучившись эту ночь бессонницей, стеснением в груди и страхом смерти, к утру смалодушничал и позвонил в Москву. Был девятый час, значит, в Москве седьмой. Я услышал испуганный голос Риты: «Что с тобой?» Через секунду вспомнив о том, как я себя вел, она заговорила спокойнее и суше, даже с ноткой недовольства: зачем звонить в такую рань, если ничего страшного не случилось? Но ведь я позвонил в седьмом часу! После почти двухмесячного молчания. Это что-нибудь да значило. Могло значить — бедствие, желание примириться, раскаяние, тоску, что угодно, и все, вместе взятое. Но она тут же успокоилась, когда я сказал: «Ничего страшного, просто жара, тридцать четыре в тени, и я хочу прилететь сегодня или завтра, как достану билет». Она сказала: «Ну, прилетай. У тебя что, давление поднялось?» Я сказал, что не мерил, но, наверное, поднялось. Получил совет принимать раувазан и показаться врачу прежде, чем брать билет. Совет был разумный, я согласился. В общем, была сделана глупость: если уж возвращаться, то безо всяких звонков. Ночной перепуг. Нечто старческое. Вот это меня больше всего и огорчило. Однако улетать отсюда немедленно я решил твердо.

Утром пришел Мансур и отговорил. Мой благодетель сказал, что устроит меня в Тохир, что там чудесно, прохладно, можно спокойно работать, можно отдыхать, как в магометанском раю. При этом Мансур подмигивал, его широкое рябое лицо намекало на что-то, и он делал большим пальцем правой руки загадочные жесты, имеющие целью заинтриговать, но я-то знал, что ему главное — чтоб я не уехал, не закончив работы. Какой уж там магометанский рай! Вода с перебоями, сортир во дворе, а вместо райских гурий — несколько пенсионерок из профсоюзного санатория.

Но не было денег на билет. Вообще — на жизнь. И я не мог улететь.

Я ехал в Тохир на старом, дребезжащем, как раз-

болтанный велосипед, допотопном ЗИМе. Его где-то списали за допотопность и ветхость; Мансур приобрел этот катафалк для своего учреждения, и я, кажется, догадываюсь почему. Не последнюю роль тут сыграли пыльные, но чрезвычайно просторные сиденья: на них можно было лечь втроем, вчетвером, раскинуть скатерть и даже положить целую тушку джейрана. Я сидел на барском сиденье, дышал горячим ветром, бившим в лицо, ощущая в то же время не истребимую никакими сквозняками пыль и легкий запах духов — катафалк с хорошей скоростью мчался по шоссе на юг,— и представлял себе, как Рита сейчас мечется по Москве, не зная, что предпринять. Мой звонок, конечно, выбил ее из колеи. Матери она не скажет, а Кириллу, может быть, и обмолвится с чувством некоторого торжества: «Звонил отец. По-моему, подбрасывает хвост», на что мудрый сыночек, которому все совершенно все равно, скажет: «А я что говорил? Я ж говорил, что он больше двух месяцев не продержится». Советоваться она побежит к какой-нибудь из подруг, скорее всего к Ларисе. Дружба с Ларисой мне представляется постыдной, несколько раз я пытался открыть Рите глаза, увещевал, требовал, бывал с Ларисой намеренно груб по телефону и даже дома, когда она появлялась,— никакого успеха. Рита не хотела видеть правды и, в своей манере, действовала назло, а Лариса прощала мне самый оскорбительный тон и отвечала лестью и шуточками. Вначале, когда дружба лишь зародилась — дамы познакомились в Ессентуках лет семь назад,— Рита отзывалась о Ларисе с простодушным восторгом. Поразительная женщина, как она умеет жить! Идеальные отношения с мужем, идеальные — со свекровью, идеальные — на работе. При этом мужа рогатит почем зря, свекровь глубочайшим образом презирает, а на работе устраивается так, что ни фига не делает, то берет работу на дом, то у нее свободные дни, то командировки. Работает Лариса вот уже десять лет в каком-то комбинате каким-то инженером по реализации. Тогда еще Рита относилась к этим милым качествам своей приятельницы хоть и с восторгом, но как к чему-то далекому и чужому, поражалась со стороны, иногда даже с юмором и не без тайной горделивости: а я вот так не могу! Тогда она говорила: «Лариса — это не подруга, это — учреждение. Ларисбюро. Все может организовать». Верно, диапазон гигантский: рейтузы шерстяные, билеты на Райкина, путевки, курортные карты,

встречи с нужными людьми, до которых обыкновенным смертным просто так не дорваться. Постепенно, однако, учреждение превращалось в подругу. Что-то я упустил, проворонил, и теперь, когда мне в сущности все равно, они — закадычнейшие подруги. Созданы друг для друга. Сейчас, например, советуются: как быть?

Сидят на кухне в однокомнатной квартирке Ларисы в доме-башне у Сокола, пьют кофе из болгарских чашечек и говорят о моем здоровье. Обе в курсе дела. Два года назад, когда меня шлепнул гипертонический криз — летом, в электричке, ехали на дачу в Хотьково, и вдруг я поплыл, стал задыхаться, выскочили на первой же станции, в медпункт, Рита проявила мужество,— Лариса устроила мне некоего Печенега А. Е., знаменитость. К нему в клинике стоят по два месяца в очереди, только чтоб записаться, а она притащила его запросто домой, чаем угощала и пластинки мои французские ему крутила, чаровала, как могла. Не знаю уж, что у нее за чары. Но что-то есть. Как женщина она, на мой взгляд, непривлекательна: толста, малоросла, посадка низкая. Но лицо миловидное, круглое, и глаза всегда блестят, лучатся. Этакая протобестия с румяными щечками, не скажешь, что сорок лет. О, господи, при чем тут Лариса? Какое мне дело до Ларисы? С мозгами что-то неладно. От жары, от давления и от — ну, конечно же! — оттого, что разваливаюсь на ходу, по болтам, по железкам, как темно-фиолетовый катафалк. Не Лариса же виновата в том, что случилось девятнадцатого марта.

Но сейчас Лариса тем не менее дает советы, а Рита — внимает. «Александр Ефимович мне сказал, антр ну, как говорится, что с таким сердцем, как у Геннадия, можно прожить сто лет. Вот так. Чтоб ты знала».— «Я знаю. Он говорил мне то же самое. Но если Геннадий позвонил... Ты представляешь, с его самолюбием?» — «Ритуля, до чего ж ты наивна!» — «Я понимаю, но все же...» — «Только не раскисай, пожалуйста. Прилетаешь? Хорошо. Болен? Будем лечить, достанем лекарства. Устроим хорошую больницу, если нужно. Но болезнь, к сожалению, не может зачеркнуть того, что ты натворил, тех страданий, которые ты причинил. За все надо платить, мой дорогой. И пока ты не поймешь... Линия, по-моему, должна быть только одна».— «Ты так считаешь?» — спрашивает Рита. «А как же иначе!» — говорит Лариса, изумляясь и возмущаясь одновременно тем, что могут быть какие-либо сомнения.

За стеною, в комнате, гудит электрический полотер. По случаю воскресенья Цебриков, муж Ларисы, натирает паркет. Делает это так рьяно, с таким увлечением, что можно не опасаться визита на кухню. Вообще Цебриков превосходный хозяин и замечательный муж: чуть выдастся свободная минутка — он тотчас за совок, за веник, начинает мести ковер, а то полощет чашки, пылесосит диван или же затеет маленькую постирушку. Лариса достает из холодильника бутылку армянского, слегка початую, две рюмки из шкафчика. «Витасик! — стучит в стену.— Хочешь рюмку коньяку?» — «Не-ет! — Бодрый крик сквозь шум мотора.— Возьмите лимон, я купил утром! Только ошпарьте кипятком!»

Девятнадцатого марта, когда я вышел на улицу в снег, в полночь, я думал: если уж дома, в своем скворечнике, в том, до чего никому нет дела, кроме меня, я не могу быть независимым, не имею права совершать поступки, тогда я ничтожество, насекомое.

Ну, что такое Тохир? Это шестьдесят километров от города, на юг, где кончается пустыня и начинаются горы. Когда-то местечко принадлежало персам. У некоего хана, как рассказывает Атабалы, была очень красивая дочь Тохира, и в ее честь хан назвал местечко Тохир.

Радио сообщает, что в городе тридцать два. А здесь, верно, как в другой стране: воздух прохладен, дуют ветры, шумят деревья. Когда выйдешь на улицу — она одна в поселке, длинная, полого спускающаяся в тени вековых тополей и чинар,— слышно, как, не умолкая, с чеканным клекотом бежит вода в арыке. Первое время, слыша этот клекот, я невольно оглядывался, ища глазами: казалось, где-то шумит водопад.

От персов в Тохире не осталось ничего, кроме двух жалких глинобитных домиков. Один полуразрушен, другой превращен в сарай: Атабалы держит в нем свои мотыги и грабли. Из окна комнаты я вижу это бывшее шахское владение из кизяка и думаю: «Also, sprach Zarathustra». У меня есть пристрастие к цитатам, словечкам. Из книг я выковыриваю цитаты. «Also,— думаю я с удовольствием,— sprach Zarathustra». Изумительно точная цитата. Одна из тех, что сопровождает меня всю жизнь. В ней есть философское отношение к жизни, начитанность, интеллигентность, знание языков, а также — ерунда и обман. Ибо знания мои приблизительны, интеллигентность показная, я никогда всерьез не читал

Ницше и ничего по-настоящему не знаю ни о Персии, ни о Заратустре, а немецким и французским языками владею лишь в той степени, чтобы в туристской поездке сказать кельнеру в ресторане: «Пожалуйста, еще хлеба!»

Когда-то я дурил голову одной девочке, ей было тринадцать, а мне четырнадцать. Дело происходило в центре Москвы, на улице, которой сейчас не существует. Дома, естественно, тоже. Дом был крепкий, пятиэтажный молодец в стиле дешевого модерна начала века. Я помню лестницу, пахнущую кошками и нечистотами, но чугунные тонкие решетки на полукруглых окнах были изысканны, как рисунки Бердслея. Помню квартиру, запутанную, как аквариум, полный водорослей. Было несколько коридоров, заставленных шкафами до потолка, где можно было проплывать только боком. Девочка сидела на диване, от ее рук шел запах йода, и она читала собственные стихи, на мой взгляд, прекрасные. Я же спросил ее: «А ты читала «Also, sprach Zarathustra»?» И после этого были какие-то полудетские достижения, основанные на мелком обмане.

Also, я живу в деревянном домике на территории дачи работников культуры. Таких домиков на территории пять, сейчас они все пустуют. Сезон начинается в июне. Устав от работы, от сидения на одном месте, я выхожу в сад и веду беседы с директором дачи — он же садовник, он же сторож — Атабалы Кульмамедовым. Милейший человек. Ему лет пятьдесят пять. Он худощав и высок, какими бывают туркмены из племени теке, в его сухом, черновато-смуглом, небритом и вытянутом, со впалыми щеками лице видна постоянная озабоченность, что не удивительно для человека, у которого орава детей; он очень работящ и одновременно добродушен и, если видит, что мне хочется с ним поболтать, отложит любую работу и будет разговаривать со мной час и два. Он угощает меня чаем и вареньем из алычи, покупает сигареты, если я попрошу, и оказывает другие небольшие услуги. Жена Атабалы тоже текинка, она полная, статная, медленно двигается, ходит в длинном темно-вишневом платье куйнак. Ее зовут Язгуль. Лицо Язгуль усталое, пыльно-коричневого тона, несколько квадратное, отчего напоминает львиное, все в морщинках непрестанного материнства, а руки, обнаженные до локтей,— молодые, сильные. Наверно, и тело Язгуль с большим животом, низкой тяжелой грудью, едва очерчивающееся под складками куйнака,— еще сильно, полно

жизни. Ей лет сорок шесть, сорок семь. Старшие дети давно женились, живут отдельно. Сейчас здесь, в Тохире, осталось пятеро: три дочери и два сына. Самого младшего зовут Дурдкули. Это важный медлительный пятилетний человек, от которого не добьешься лишнего слова. Как-то я спросил у него: «Дурдкули, сколько тебе лет?» Он не ответил и, важно повернувшись, побежал прочь, но ладошку с растопыренными пальцами держал сзади на штанах, показывая: пять. Вечно он куда-то пропадает, мать его ищет, и по саду разносится ее крик: «Дурдкули-и!»

Язгуль неграмотна, по-русски говорит очень плохо, но в отличие от многих деревенских туркменок лишена утомительной восточной стеснительности. Разговаривая со мной, с трудом подбирая слова, она спокойно и прямо, не мигая, смотрит на меня своими желтыми неподвижными глазами.

— Язгуль,— спрашиваю я,— у вас есть ножницы?

— Сейчас.— Язгуль величаво кивает и, обращаясь к кому-то в глубь дома, кричит по-туркменски.

Выходит одна из дочерей и, глядя вбок, мимо меня, протягивает ножницы. Иногда я прошу кусок мыла, лампочку, нитку с иголкой, чистую тетрадку, клей, и все это находится в доме Язгуль. Разумеется, я стараюсь вручить Язгуль деньги, но она никогда не берет.

— Ай,— говорит она и делает плавный, презрительный жест рукой.

Однажды долго не мог заснуть, думая о Язгуль. Меня это даже слегка напугало. Хотя что может теперь меня напугать? Была какая-то секундная горечь. Человек осознает свой возраст с опозданием. Вроде того, как с изменой жены: все уже все знают, а ты не догадываешься. Но есть нечто, существующее помимо сознания, какой-то тайный часовой механизм, который вдруг подает сигналы. Помню, как ехал подростком в трамвае и увидел молодую женщину, сидевшую напротив, ничем не примечательную, загорелую, грудастую, с сумкой на коленях, с голыми ногами, которые она скрестила небрежно: то, как я увидел эту сидящую женщину, было для меня внезапно и ново и тоже, как теперь, слегка напугало. Сразу после того, как думал ночью о Язгуль, перекинулся на мысли о себе. Это связано неумолимо: как только задумываюсь о времени, тут же перескакиваю на свою дорогую персону. Кто я, что я и так далее. Иногда думаешь: все ничего, я в порядке. А иногда — тоска. Нет,

думаешь, толку не вышло. Всю жизнь делал не то, что хотелось, а то, что делалось, что позволяло жить. А мог бы, наверное. Вот если б тогда, сразу после института, в сорок каком-то... Ну, и так далее, и тому подобное.

Мне уже сорок восемь, а выгляжу лет на десять старше. От сидячей жизни и неумеренного курения мое лицо приобрело желтоватый оттенок, одрябло, под глазами у меня мешки, которые темнеют и увеличиваются, когда накануне «расширишь сосуды». Раньше я пил порядочно, называл это «расширить сосуды», теперь же врачи запретили, да и сам чувствую: после трех, а то и двух рюмок сердце колотится неимоверно и задыхаюсь. Курить тоже заставили бросить. Но дело не в том. Совершенно не в том! Можно болеть, можно всю жизнь делать работу не по душе, но нужно ощущать себя человеком. Для этого необходимо единственное — атмосфера простой человечности. Простой, как арифметика. Никто не может выработать это ощущение сам, автономно, оно возникает от других, от близких. Мы не замечаем, как иногда утрачивается это вековечное, истинное: быть близким для близких. Ну, что за ветошь: возлюби ближнего своего? Библейская болтология и идеализм. Но если человек не чувствует близости близких, то, как бы ни был он интеллектуально высок, идейно подкован, он начинает душевно корчиться и задыхаться — не хватает кислорода.

Когда он сказал мне: «А ты чем лучше? Производишь какую-то муру, а твоя совесть молчит?» — я почувствовал, как у меня что-то остановилось в груди, в аорте. Я двигал ртом, ничего не мог произнести, а он смотрел на меня уже не так, как раньше, а с испугом. Наконец я сказал: «Негодяй! На эту муру я тебя поил и кормил семнадцать лет, довел до десятого класса! На эту муру ты покупаешь себе джинсы, пластинки и всякую дрянь! И сам ты дрянь!» И тут я его ударил. Он согнулся и побежал в свою комнату. Я знал, что ему было больно. Но я не чувствовал никакой жалости к нему — хотя я бил его редко, может быть, два или три раза за всю жизнь,— я только чувствовал пустоту и отчаянье, которое эту пустоту заполняло. Фраза, брошенная мне в лицо, была давно придумана, и в ней были ненависть и презрение, накопленные месяцами и, может быть, даже годами. Там был, конечно, не один Кирилл, но и Рита. Так они разговаривают обо мне между собой. И, главное, в этой фразе был я! Я, я! Узнал свои словечки:

«производишь муру». Презрение — вещь заразительная. Я никогда не вскипел бы так бурно, если б не почуял в этой фразе себя, свое тайное, как дурная, скрываемая болезнь, презренье к «муре» и к своей собственной тоже.

Но ведь парень ничего этого не знал. Он получил затрещину и убежал ошеломленный, давясь слезами.

Тот день начался с того, что я нашел у Кирилла в комнате в ящике стола — очень хотелось курить, я искал сигареты — маленькую книжечку в кожаном переплете с запором. Заинтересовался, открыл: ключик лежал рядом. Это оказался дневник, начатый Кириллом несколько месяцев назад. Я пробежал по диагонали страниц двадцать, исписанных крупным и жидким, полудетским почерком,— было неловко, но я сказал себе, что с позиций воспитателя имею абсолютное право. Много было ерунды, описание футбольной встречи с другой школой, рассуждения о какой-то научно-фантастической книге современного автора, по-видимому, порядочной гадости, взаимоотношения с неким А. и некоей О., описанные многословно и туманно, с многоточиями, и затем запись о праздновании собственного дня рождения. Накануне — подробнейшие прогнозы насчет того, кто что подарит. Эта страсть к получению подарков, которую Кирилл демонстрировал с такой замечательной искренностью и прямотой,— началась в младенчестве и продолжается до сих пор — всегда меня коробила, но все же я к ней привык. Не новость. То же самое было у Риты. «Посмотрим, на что расшибется папа. Еще летом обещал мне маг, ну не «Грундиг» конечно, на это его не хватит, но хотя бы «Комету». У Серого «Комета» работает клево, так что я буду вполне satisfied». Развязный тон слегка задел, но я проглотил, читал дальше. Действительно, я подарил парню «Комету». Причем, помню, предвкушал впечатление, какое произведет подарок. Я-то был уверен, что для него это сюрприз, летнее обещание совершенно из меня выветрилось, но он все помнил железно. То-то я удивился: хоть и благодарил, но как-то спокойно, без восторга.

Допекла меня другая запись: «Приходила кикимора и принесла какой-то жалкий альбомчик для открыток и набор красок. Рубля на три все вместе. Недаром мама говорит, что старые девы отличаются подозрительностью и жадностью...» Это было сказано о моей сестре и его тетке Наташе. Если б Наташка прочла — брр! Я содрогнулся. Мне захотелось вырвать страницу, чтоб этого

страшного никогда не случилось. Но остановился: страница могла понадобиться. В бедной Наташкиной памяти остались наши дни рождения, когда альбом для открыток и краски считались ценностью. Нет, возмутило не то, не торгашеская — в рублях — оценка, а хладнокровное лицемерие. Ведь он, подлец, тетку благодарил, даже чмокнул в щеку, улыбался приветливо и задавал, как нежный племянник, вопросы: «А что у тебя на работе? А когда ты будешь отдыхать?» И в тот же вечер: кикимора...

Я тупо рассматривал книжечку, кожаный переплет, запорчик, ключик (не Наташка ли подарила год назад?) и размышлял: говорить подлецу или промолчать? Решил — молчать. Иметь в виду на крайний случай. Но предчувствовал, что не сдержусь. И верно, в тот же день вечером он канючил билеты на американский джаз. Приставал сначала к матери, потом ко мне. Рита сказала, что она против категорически: во-первых, на другой день была какая-то ответственная контрольная, во-вторых, дорого, два билета по пять рублей, он собирался идти со своей девочкой, и, в-третьих, Рите не нравилась девочка. По мнению Риты, она плохо воспитана и, когда приходит к нам в дом, ведет себя недостаточно скромно. Ну, бог с ней, я этого не замечал и возражал по другим причинам. Тот продолжал ныть со своим обычным упорством. «Па-а...» — нудил он плачущим голосом, как обиженный маленький мальчик. «Билетов нет и достать их невозможно. Все! Конец! — сказал я.— Иди в свою комнату и занимайся».— «А попросить тетю Наташу?» Я поглядел на него с большим интересом. Голубые глаза смотрели ясно и преданно. Наташа работает в министерстве, иногда достает дефицитные билеты. «Тетю Наташу?» — «Ну да, помнишь, она доставала на Дина Рида?» — «А тебе не будет ли неприятно,— сказал я, чеканя каждое слово,— получать билеты из рук кикиморы?»

Он уставился на меня обалдело. «Какой кикиморы?» — «Но ты ведь называешь тетю Наташу кикиморой?» И тут я увидел, как лицо моего сына мгновенно и на глазах — как светочувствительная бумага — покрывается темной краской, начиная с ушей. «Ты читал дневник? — вскрикнул он.— Как же ты мог...» Его лицо исказилось, глаза сузились, я увидел бешеное презрение, и это был его истинный взгляд. Разумеется, я объяснил ему, что не «как же я мог», а «как же он мог» — писать так гнусно о своей тетке, родном человеке, который его

искренне любит. Я говорил очень взволнованно. Рита пришла из своей комнаты и стояла молча. Хотя отношения у нас были натянутые, она не пыталась взять сторону сына, который не слушал меня и только повторял, качая головой: «Эх, ты... Эх, ты...» Наверное, ей было неприятно. Но тот не понимал ничего. По-видимому, был сражен тем, что я мог прочесть его глупости по поводу А. и О. Наконец Рита раскрыла рот и произнесла укоризненно: «Кирка, действительно, как ты мог написать такую вещь?»

Я сказал: «А ты не удивляйся. Он написал то, что ты говоришь вслух». Конечно, был возглас протеста, оскорбленное лицо и мудрый, педагогический вывод: «Кирилла я не оправдываю, но тон твоего разговора меня возмущает!» После этого она ушла. А Кириллу только того и нужно. Он сказал, что я всех оскорбляю, и его и мать, что у меня самого нет совести, если я читаю дневники. Но я закричал, что у меня есть право отца. Что пока ему нет восемнадцати, сопляку, я обязан знать, чем он живет, его личную жизнь, всю его подноготную, потому что несу ответственность за него, а после восемнадцати — может катиться на все четыре стороны, пожалуйста, не возражаю. «Я тоже не возражаю»,— пробурчал этот наглец. «Но сейчас, когда я вижу подлость,— гремел я,— я не намерен давать тебе потачку!» — «Я тоже, если увижу подлость...» Вот так мы пререкались скандально, базарно — с каждой минутой я все более ощущал свое бессилие,— и потом он сказал фразу «производишь муру», после чего я его ударил, ладонью по губам, и он убежал. Сначала в свою комнату, потом — из дому.

Он исчез на сутки. Это были, наверное, самые кошмарные сутки в моей жизни. Потому что я казнил себя и терзался. И Рита, конечно, не умолкала, но ее беснования меня не трогали. Я просто отупел от ужаса, от того, что я себе представлял и в чем видел виновником себя, одного себя, несчастного идиота, неврастеника,— подумаешь, распустил руки, назвали сестру кикиморой! Ну и что? Устраивать из-за этого допрос, мордобитие, так унижать и оскорблять парня? В третьем часу ночи дежурный по городу сообщил нам, что в Коптеве найден труп юноши лет семнадцати, зарезан ножом. Не было ли на нашем мальчике меховой шапки и кожаной безрукавной кацавейки на меху? Меховая шапка была! Была! Но кожаной безрукавной кацавейки не было. Он мог взять кацавейку у товарища. Мог зачем-то поехать в

Коптево. Вызвали такси, помчались в Коптево, на другой конец города. В машине Рите сделалось плохо, остановились, я массировал ей сердце, шофер побежал за лекарством — в медпункт Белорусского вокзала. В морг Коптевской больницы я пошел один, Рита осталась в машине. Хотя я был совершенно уверен в том, что наш мальчик не мог очутиться здесь, ноги мои подгибались, когда я спускался по лестнице в узком каменном коридоре. Юноша был черноволос, один глаз открыт, другой заляпан черной кровяной коркой. Мы приехали домой в пятом часу.

В семь он позвонил и сказал, чтоб мы не волновались, что он у девочки на даче, здесь нет телефона, поэтому он не сообщил вовремя, виноват, excuse me. А сейчас звонит со станции. «Ты не пойдешь на контрольную?» — с внезапной и, как обычно, изумившей меня трезвостью спросила Рита. «Нет, пока!» Это «пока» было сказано залихватски, этакое веселенькое, забубенное — однова живем! — затем щелк, трубка повешена. Рита тихонько плакала, а я сидел в кресле, закрыв глаза, и видел рассветную тьму на станции, будку автомата, промерзшую, как погреб, запах гари и низкую, над лесом, луну. Двое бегут на лыжах: сначала по лыжне вдоль путей, потом сворачивают в лес. За калиткой их встречает собака, на даче тепло, в печке горят березовые дрова — впрочем, это из моей юности, на даче у «девочки», наверное, батареи водяного отопления, топят углем или газом. Все было когда-то и у меня. Какие там контрольные! Он про отца-то, раскровенившего губу, и думать забыл...

Моя необходимость отпала. Это было ясно. Ну — деньги, кормежка, билеты на джаз, полезные знакомства, это само собой. Некоторое волнение, когда мне бывает плохо. «Папа, тебе дать что-нибудь? Нет?.. Ну, я побежал! У меня деловая свиданка. Ты лежи, не вставай». А что еще нужно? Один приятель, папаша моего возраста, сказал: «Скажи спасибо, что он тебе не ответил крюком слева в печень. Мой однажды меня нокаутировал». Наверное, все нормально, но я просто не знаю этого: когда я был в возрасте Кирилла, у меня не было ни матери, ни отца. Мать подолгу болела, месяцами в санаториях, отец погиб в тридцать девятом на Карельском перешейке, он был военный инженер. Воспитывала, тянула изо всех сил старшая сестра, Наташка. Из-за меня, может быть, и осталась «кикиморой». Откуда мне знать, нужен ли парню отец, когда у парня рост метр восемьдесят, канадская стрижка, бас, когда он может

три часа танцевать без устали, прочитать за день целиком английский детективный роман и подойти на улице к любой девушке и взять у нее телефон?

Летом оказалось, что отец пока еще нужен. «Папа, там кафедрой руководит такой Меченов, Александр Владимирович, он и экзамен будет принимать. Я точно выяснил, что он друг твоего Рафика. Будь добр...» И он и мать знают, что я не люблю такие дела. Не потому, что чересчур принципиален и мое нравственное чувство возмущается, а потому, что — неврастеник, не люблю одолжаться. Что такое Рафик? Они ведь не понимают, что такое Рафик. Им кажется: если говорят «ты», пьют коньяк в «Национале» и изредка бывают вместе в Лужниках или на бегах (Рафик — игрок, болельщик), то, значит, истинные друзья. Рафик дает мне работу. Я от него завишу. Ну, не на сто процентов — я получаю работу еще в восьми местах,— но в значительной степени. Рафик для меня ценная фигура, ферзь. Я в нем заинтересован, а не он во мне.

Вот этого никак нельзя было растолковать Рите. Как всегда, когда начинались какие-нибудь домашние кампании, она впадала в панику и творила глупости. Ей казалось, что Кирилл ни за что не поступит, если не мобилизовать Рафика. Честно говоря, я считал, что он и с Рафиком не поступит. Все-таки он обалдуй, наш парень. С его ростом, басом и этакой наружной, молодцеватой независимостью он еще какой-то пацан и рохля. Сочинения писал посредственно, почерк ужасен, в математике соображал слабо. Газет и журналов не читал вовсе, кроме «Советского спорта» и «Экрана». Английский язык? Ну, разве что. В детстве силой заставляли ходить в английскую группу, а потом пристрастился к detective story. Но ведь только лексика, а в грамматике — как в лесу. Кроме того, наш парень, наглый и очень бойкий на язык дома, совершенно меняется с чужими людьми. Тут он слова не может вымолвить, мямлит, конфузится и вообще производит впечатление Митрофанушки. Где ему выдержать бой на вступительных! Вначале говорили, что двенадцать человек на место, потом оказалось — девять, тоже не ерунда.

Надо было идти к Рафику. Никто не знал, как это мне не по нутру. Рафик из тех людей, которые ни одного доброго дела не могут сделать просто так, без расчета на ответ, без «два пишем, один в уме». Нет, не вульгарно «товар — товар», а в смысле лобызания своего благородства, вымогательства, дружбы, ощущения веч-

ной благодарности и так далее. Все добрые дела Рафика надо хорошо помнить. Это нудно, но ничего не поделаешь, входит в правила игры. А я со своей расхлябанностью и ленью часто нарушал правила, вот же в чем дело. Этого никто не может понять, как ни объясняй. Надо знать Рафика, этого самодовольного сморчка, но в сущности добрейшего человека. Незадолго до того, как возникла проблема Меченова, я получил от Рафика большую работу, очень солидную, она заняла у меня потом полгода интенсивнейшего труда — спасибо ему по гроб жизни, thank you very much, как сказал бы наш обалдуй,— но вышло так, что, получив сию работу, я тут же исчез с Рафикова горизонта. Провалился. Схватил и уполз в нору. А где дружба? Где вечная благодарность? Вместо этого вдруг явлюсь с новой просьбой. Я отлынивал, искал другие возможности, но ничего не находилось, Рита и Кирилл наседали на меня — самым недопустимым было, конечно, то, что Кирилл посвящался во все секретные предприятия! Я много раз делал за это выговор Рите — и кончилось тем, что Рита, потеряв терпение, тайно от меня сама позвонила Рафику и встретилась с ним.

Помню, как однажды в июне она пришла вечером какая-то молчаливо-напряженная, с пятнами на лице — эти аллергические пятна всегда выдавали ее возбуждение — и вдруг объявила, что только что видела Рафика, все ему сказала и он все сделает. Она была на бегах, выиграла полтора рубля.

Оказывается, у Рафика был игровой день, он назначил встречу у метро «Динамо», откуда, разговаривая, дошли до ипподрома, и там уж она решила — «чтоб сделать ему приятное, потому что он сказал, что новичкам всегда везет» — пойти с ним на бега. Мудрейший шаг! Вначале он был сух, а расстались друзьями. Во-первых, он действительно выиграл. А во-вторых, она ему понравилась, это точно. Эге, матушка, да не пьяна ли ты? Нет, пила лишь воду, съела мороженое и два апельсина, угощал Рафик в буфете, но, в самом деле, она как будто пьяна. Потому что все замечательно удалось. Жалко, что он такой страшненький, такой уродушка-квазимодушка. Познакомил ее с какими-то дядьками, они целовали ей руку и говорили «мадам». Меченов его старый приятель, они из одного города, так что — дело в шляпе...

Кирилл ликовал: «Мать, ты гений!» Я испытывал неясное чувство. Конечно, хорошо, что дело сделано и, может быть, поможет нашему обалдую, но я представлял

себе выражение лица Рафика, когда они встретились, и Рита, покрываясь аллергической сыпью от волнения, бормотала первые слова. «Он был сух!» Слабо сказано. Надо знать Рафика. Он тут же решил, что я подослал ее, и, наверное, возмутился: «Какова скотина! Почему я должен без конца делать ему одолжения?» Но потом она его как-то размочила. Никаких подозрений, ни намека на ревность я не испытывал. Эти студенческие чувства теперь посещали меня довольно редко, так же, например, как желание поиграть в волейбол — у Риты было, кажется, то же самое,— и, кроме того, известно, что Рафик женщинами не интересуется. Всю эту историю я отнес к разряду Рафиковых чудачеств. Но там были еще какие-то дядьки, целовавшие ей руку и говорившие «мадам». И почему надо было торчать до последнего заезда?

В результате всего, как в сложной задаче, где много различных действий, делений, умножений и извлечений корня, осталось одно: чувство неловкости и возникшее отсюда раздражение.

Я смотрел на Риту, сидевшую в небрежной позе, положив ногу на ногу, на диване с сигаретой в зубах и с еще не отошедшими пятнами на шее, и старался увидеть ее так, как ее видели Рафик и дядьки на ипподроме. Рита относится к тем женщинам, которые выглядят явно моложе своих сорока. Сорок-то лет видны, но одновременно видно и то, что выглядит моложе. Она хорошего роста, статная, длинноногая, правда, если отпустить все крючочки, стан заметно деформируется. Но это не беда. Она еще вполне ничего. Когда-то, лет двадцать назад, когда я отбил ее у одного молодого человека, сына гомеопата, она была красоткой. Ради нее я оставил первую жену, сына (он геолог, где-то тут, в Средней Азии), ради нее тяжело ссорился с матерью, которая была против развода. Просто мать, при ее бесконечной доброте, должна была кого-то жалеть. Ей делалось больно, когда кому-то причинялась боль. Потом-то она подружилась с Ритой. И жалела ее, когда ей казалось, что я ее обижаю. Далеко же это ушло. Давно нет ни матери, ни той Риты, которая обижалась, ни моей любви, ни нашей старой квартиры на Житной, коммунальной толчеи, тесного дивана, криков Кирки по утрам и знобящего чувства, что — все впереди, все еще случится, произойдет. Не надо было Рите бросать работу. Не надо было сооружать этот кооперативный храм в шестьдесят два метра жилой площади, не считая кладовки.

И вот я смотрел на женщину с красивыми длинными ногами, в красивом шерстяном платье, с красивым и несколько бледным лицом, на котором читались намеки на увядание, но и прекрасная зрелость, вегетативный невроз, холецистит, любовь к сладкой пище, ежегодные морские купания, и говорил ей спокойно: «Ты ему понравилась? Дело плохо. Это должно тебя насторожить». И она отвечала так же спокойно: «Очень остроумно!» Не надо было жить вместе двадцать лет. Also, sprach Zarathustra: это слишком долго. Двадцать лет, шутка ли! За двадцать лет редеют леса, оскудевает почва. Самый лучший дом требует ремонта. Турбины выходят из строя. А каких гигантских успехов достигает наука за двадцать лет, страшно подумать! Происходят перевороты во всех областях научных знаний. Перестраиваются города. Октябрьская площадь, рядом с которой мы жили когда-то, совершенно изменила облик. Не говоря уж о том, что возникли новые африканские государства. Двадцать лет! Срок, не оставляющий надежд.

Я перевожу громадную поэму моего друга Мансура, три тысячи строк. Называется «Золотой колокольчик». Колокольчик, как можно догадаться, это прозвище девушки: односельчане прозвали ее так за звонкий, мелодичный голосок. Поэма будет напечатана здесь, в Москве и в Минске. Не знаю, почему в Минске. Это уж его дело. Я спешу, мне нужны деньги, и мне надо уехать отсюда не позднее десятого июня. Нынешняя жара временна, она может ослабеть, смениться дождем, но с июня жара ляжет прочно, чугунно — не даст поблажки ни облачку, ни капле дождя. Я делаю по шестьдесят строк в день — это много. Вдохновенья не жду: в восемь утра выпиваю пиалушку чаю, принесенного с вечера в термосе, сижу за столом до двух, в два обедаю в паршивенькой чайхане возле почты и с трех сижу до пяти или шести, когда начинает давить в затылке и мухи мелькают перед глазами. А что делать? Переводить стихи — моя профессия. Больше я ничего не умею. Перевожу я с подстрочника. Практически могу переводить со всех языков мира, кроме двух, которые немного знаю — немецкого и английского,— но тут у меня не хватает духу или, может быть, совести. Слава мне не нужна, это уже было (не слава, разумеется, а нужда в ней).

Говорят, скоро, числа двадцатого, откроется сезон в летнем ресторане «Чинар», и жизнь моя станет легче. На днях, доработавшись до черных мушек, я пошел в

чайхану — это обыкновенный трактир, по-нашему «павильон» или «забегаловка», где, кроме водки, воды, пива, крепленого красного вина, крутых яиц, лука, пампушек, рыбных консервов, бывают иногда чай и плов из мяса неопределенного происхождения, боюсь, что верблюжьего, — и, чтоб ободриться, выпил рюмки две дрянной ашхабадской водки. Пил с удовольствием, но с некоторым страхом. И она на меня странным образом подействовала. Не то чтобы я опьянел — сказалось, должно быть, долгое воздержание, — голова работала ясно, все было в норме, кроме одного пункта, как в мире Кафки, где все достоверно, кроме какого-нибудь одного обстоятельства: того, например, что Замза превратился в насекомое. Мне представилось, что дрянная ашхабадская водка, стоявшая на моем столе, есть подстрочник, который я должен перевести четырехстопным амфибрахием на русский язык, и тогда это будет бутылка «столичной». В тот день я перебросил семьдесят с лишним строк. Ночью проснулся от тяжкого знакомого сна — моей обычной лестницы. Будто поднимаюсь по каким-то бесконечным ступеням, каждый шаг все тяжелей, все невозможней, не хватает дыхания — и когда уж, кажется, конец, асфиксия, — вдруг просыпаюсь. Болело сердце, стал искать воды. Термос был пуст: вчера выхлестал весь чай после водки. Вот болван! Ведь знал же, что ночью может понадобиться питье.

Оделся и вышел в сад. Была отличная ночь. Светила луна. Давно я не видел такой ночи. Две чинары стояли, как две скалы, вокруг них конусом легла черная непроглядность, зато акации, туя и разные другие более мелкие кусты и деревья светло серебрились под светом луны и шевелились, журчали, дышали. От их дыхания воздух был сладок. Его можно было пить. Я прошел несколько шагов на слабых ногах, сел на скамейку и пил воздух. Ну и ночь! Самая подходящая для смерти. Думал о том, что могу умереть. Мыслей о смерти не бывает. Мысли о смерти — это страх. Я сидел на скамейке спиною к теплому стволу дерева и беспорядочно думал: позвонить, Мансур, он приходит в девять, машину, кардиограмму, рублей пятнадцать, при инфаркте боль гораздо сильней, удар топора в грудь. Ах, какой идиот — пил водку. Потом, когда боль утихла и дыхание стало ровней — раза два удалось глубоко вздохнуть, — я подумал о том, что это было бы слишком бессмысленно. Ведь должен же

быть какой-то смысл. Какой-то итог. И уж после того. Теперь мои мысли стали спокойнее.

Когда боль исчезает, думать о смерти легче. Где-то далеко на горной дороге шла машина — в тишине отчетливо слышалось, как шофер сбавлял газ на поворотах.

Нет, смерть меня не пугала. Ведь громадное большинство людей умерло и только ничтожная часть живет. (Боль прошла совершенно, я поднялся со скамейки и двинулся по аллее. Хотелось дойти до колодца и набрать в кувшин воду на всякий случай.) Конечно, обидно: маловато успел. Со стороны может показаться, что вовсе не так. Я и то, и это, пятое, десятое. Ну уж я-то знаю, что чепуха. Задумано было иначе. Хотя как же иначе? Что я мог сделать иначе? Мальчишкой попал на фронт, был ранен под Ленинградом, болел, лечился, потом хватал и грабастал жизнь в веселых послевоенных вузах, женился рано — от той же жадности. И все было так: одно хватал, что попроще, а другое — откладывал на потом, на когда-нибудь. И то, что откладывалось, постепенно исчезало куда-то, вытекало, как теплый воздух из дома, но этого никто не замечал, кроме меня. Да и я-то замечал редко, когда-нибудь ночью, в бессонницу. А теперь уж некогда. Времени не осталось. И другое: нет сил. И еще третье: каждый человек достоин своей судьбы. Так, успокоенный, рассуждал я о своей жизни, подходя к дому Атабалы, где во дворике был колодец.

Какие-то люди разговаривали в темноте. Я подошел, увидел Атабалы и коротконогого уродца с большой головой — Назара. Этого Назара я встречал в чайхане. Он ростом с десятилетнего мальчика, и, когда я подходил к дому Атабалы, мне показалось вначале, что Атабалы разговаривает с мальчиком.

Назар хрипло вскрикивал, вырываясь из рук Атабалы. Они боролись при свете луны. Атабалы тихонько хихикал.

— Ай! Эй! — давясь смехом, говорил Атабалы.— К женщинам хочет пойти, такой фулюган!

Я подошел к колодцу и начал качать, наклоняя и поднимая деревянную ручку. Воды не было долго. Говорили, что когда-то это был прекрасный колодец, но в прошлом году случилось землетрясение, где-то сместилась почва, и воду заклинило. Наконец потекло очень тонкой струйкой. Атабалы и Назар продолжали вполголоса браниться.

— Нет! — говорил Атабалы.— Фулюган, иди спать!

В соседнем домике, где жили в сезон отдыхающие, а теперь в трех комнатах жили несколько женщин, служащих санатория и официанток, хлопнула рама, и женский голос строго сказал:

— Пошел, пошел домой, Назарка! Рожа твоя бесстыжая! У-ух!

Снова хлопнула рама. Уродец покачался, двигая большой головой из стороны в сторону, как качается тяжелый подсолнух, потом повернулся молча и ушел куда-то.

Атабалы сказал:

— К Вале приходил. Жениться хочет.

— На Вале?

— Да...— Атабалы зевал.— Ай, час ночи... Вот фулюган, час ночи, всех будил.

Валя была рослая, сочная, лет двадцати шести. Работала медсестрой в санатории, и я раза два просил ее измерить мне давление. По утрам видел, как она бегала, сверкая икрами, из своего домика в другой конец сада.

Я спросил:

— И она пойдет за такого? — Я показал рукой: аршин от земли.

— Э, ты не смотри что маленький. Он сильный. Бить может любого-каждого, хоть вас, хоть меня. Сразу кидает. От него падаешь, как все равно с ишака — головой в землю. С верблюда падаешь боком, а с ишака — головой... Да, такой фулюган, черт. Пьяница он. Его бабы жалеют.

Я побрел назад, к своему домику — он стоял на отшибе, в глубине сада. Была смутная ночная радость. Именно н о ч н а я, неясная. Утром ничего не поймешь, почему? А ночью вдруг желание жить и радость от этого воздуха, шелестения. Хорошо, думал я, что карлики с большими головами хотят жениться и пьют вино, а женщины смеются над ними, отворив окна в сад, и хорошо, что люди выходят ночью из дома и разговаривают. У меня ничего не болело. Я шел легко. Услышал, как на пустой веранде звонит телефон. Кого это в такой час? В домике с верандой никто не жил. Летом сюда приезжает начальство, оно и провело телефон, который при мне никогда не звонил.

Я должен был спать, ничего не слышать. Чистая случайность, что я проходил мимо. Но звонили, может быть, как раз мне. Звонила, может быть, Рита. Она узнала, что я в Тохире, через Мансура, а его телефон через министерство. Сейчас там десять часов, еще не поздно. Ведь после моего звонка прошло шесть дней! Я снял трубку.

Спрашивали какого-то Садыкова. Не приехал ли Садыков. Говорила женщина, и голос ее дрожал.

— Не знаю,— сказал я.— Может быть, и приехал.

— Наверное, нет, если вы не знаете. Передайте же...— голос женщины задыхался,— чтобы он непременно, сразу же позвонил домой! Непременно, непременно позвонил бы домой!

Рафик что-то сделал, чем-то помог. Хотя кто его знает? Он говорил, что сделал и помог, но проверить-то невозможно. Предприятие закончилось успешно, так что он имел основания приписывать успех себе, но мне почему-то казалось, что он не сказал Меченову ни слова. Кирилл говорил, что Меченов гонял его зверски, не отпускал тридцать минут, и «четверка» заработана честно. Клялся, что в глазах Меченова не мелькнуло ни искры интереса, когда он подошел к столу и назвал фамилию. А Рафик каждый раз потом при встрече спрашивал: «Как там мой подопечный?» Не важно, дело сделано. Потом была Лидия Николаевна, старушка дворянского рода, готовившая по-английски, и потом появился Гартвиг, Герасим Иванович. Скоро он стал Ге́рой. Привела его Лариса, рекомендовав как одного из лучших в Москве репетиторов по истории. Кирилл занимался с Гартвигом несколько раз, за что была уплачена солидная сумма — рублей, кажется, сорок или сорок пять. Если б не Гартвиг... Да что уж теперь говорить!

Гартвиг — человек особый. В чем-то я ему завидовал, за что-то глубоко его презирал и даже, наверное, ненавидел. Но, разумеется, и отдавал ему должное: свой предмет он знает великолепно, и, главное, знает то, что нужно знать, и Кирилла натаскал здорово. Кроме того, его приятель оказался секретарем приемной комиссии. И этого секретаря, малоприятного господина с рыжей разночинской бородкой, удалось заполучить однажды на дачу к нашим знакомым в Снегири — там он надрался до положения риз, всем надоел, хозяева еле вытерпели, насилу отправили с попутной машиной в Москву, но впоследствии это сыграло нужную роль. Все было хорошо, большое мерси и до свидания. Но Гартвиг не исчез из нашей жизни, как другие. Наоборот, он стал нам близок и дорог, как никто. Кирилл говорил: «Мы едем с Герой на водохранилище». «Гера сказал, что фильм туфта — я не пойду».

Рита говорила: «Гера достал билеты на Глюка. Ты,

конечно, пас?» Гартвиг был такой человек: если он шел по улице и где-то раздавалась музыка, он должен был непременно прислушаться и объявить: «Ага, вот и товарищ Бах!», или: «Кажется, мы имеем товарища Моцарта!», или еще как-нибудь в таком же дурацком стиле. Рита при этом краснела и обращалась ко мне с укором: «Ну почему ты так невежествен в музыке? Ведь это твой большой недостаток». Она могла сказать даже более агрессивно: «Нет, ты не можешь считаться в полном смысле интеллигентом!» А я и не считаю себя таковым. Но вовсе не потому, что я не корифей музыковедения.

Да, серьезной музыки я не понимаю, устаю от нее, а вот шлягеры и всякие джазовые мотивчики доставляют мне удовольствие. Даже сам их насвистываю. А на симфонической — начинаю дремать или думать о делах, работе, всякой ерунде. Что я могу поделать? Да, недостаток, изъян, прореха духовной культуры, но зачем же постоянно меня этим корить? Боже мой, сама по себе любовь к музыке ничего не говорит о человеке! Не определяет человеческого. Змеи тоже любят музыку. Есть целые нации, которые можно назвать немузыкальными, например англичане, и, однако... Так что не надо преувеличивать и чересчур возноситься. Можно любить музыку и быть циником.

В таком духе я раза два давал Рите отпор в присутствии Гартвига, причем нарочно нажимал на «цинизм». Я-то сразу понял, что за птица этот Гера. Он помалкивал или иронически ухмылялся, как лицо заинтересованное, и только однажды позволил себе раскрыть рот якобы шутливо и деликатно, но с достаточным ядом внутри. «Вы не с той стороны пытаетесь воздействовать на Геннадия Сергеевича,— обратился он к Рите.— Надо не упрекать его за отсутствие интереса к музыке, а, так сказать, жалеть, сострадать ему!» И рассказал некстати анекдот про Сократа и грубого человека, оскорбившего Сократа на улице. Я заметил: «Герасим Иванович, по-моему, так не принято в лучших домах Филадельфии: учить жену, как она должна вести себя с мужем!» Он засмеялся и сказал, что это, мол, шутка. Но я не желал все сводить на шутку, нарочно принял твердый, суровый тон, и ему волей-неволей пришлось извиниться. При этом я заметил, как он и Рита переглянулись.

Гартвига я виню не за то, что он, воспользовавшись праздностью и манерой развешивать уши моей жены, а также моим легкомыслием и душевной усталостью и

еще тем, что мы чересчур много недель в году были с ней в ссоре, без труда подчинил Риту какой-то своей власти. Я не принадлежу к идиотическим ревнивцам. Может быть, между ними ничего и не было. Не знаю, не хочу знать. Дело не в этом. Намекала Лариса — что само по себе показалось мне отвратительным, даже более отвратительным, чем то, на что был намек. Мы с Ритой давно и негласно установили некий кодекс взаимной независимости. Вернее, так: внутренне мы допускали полную независимость каждого. Но когда лучшая подруга намекает мужу на свою лучшую подругу! Мне было жаль Риту. Но дело совершенно не в этом. Я виню Гартвига за то, что он внес в наш дом — на почву, правда, достаточно благоприятную — свой цинизм, свою манеру все переоценивать, переворачивать, ничем не дорожить.

Я сам не люблю голубоглазых оптимистов и всегда смотрел и смотрю на мир, на людей критически, но такое отношение к окружающим, как у Гартвига — тайная насмешливость надо всем и вся,— приводит меня в ярость. Я становлюсь бешеным ортодоксом, мне хочется взять большую дубину и лупить по этой даровитой головке. Да, он способный тип, я знаю. Он кандидат наук, занимает хорошую должность в научном институте, что-то пишет, где-то преподает — устроен преотлично. О господи, но отчего же тогда? Ведь столько людей не устроены в этой жизни. Стремятся чего-то достичь, но не могут, не в силах. Вот тут-то и скрыт секрет Гартвига. С легкостью достигает он того, из-за чего другие бьются всю жизнь, и, добившись, может наплевать на свое достижение. Говорят, ему предлагали место заместителя директора в институте, но он отказался. А сколько кругом людей больных, одиноких, несчастных по разным причинам, умирающих в раннем возрасте! Нет, это здоровяк, каких мало. Ему тридцать семь лет, он смугл, жилист, на лыжах бегает, как эскимос, а на велосипеде гоняет по шоссе — его любимое занятие,— как истинный гонщик. Своей короткой стрижкой и черной бородкой смахивает на француза. (Говорит, что мать гречанка, а отец из обрусевших немцев.)

Одевается как попало. Чаще всего он появлялся в нашем доме в каких-то полутуристских-полуспортивных обносках, в лыжных штанах, вылинявших куртках, кедах. Конечно, когда дело доходило до Глюка, он наряжался — тоже не бог весть во что: дешевенькое, купленное с ходу в универмаге. Эта часть жизни не интересо-

вала его напрочь. Несколько раз он приходил на урок к Кириллу небритый. Однажды явился босой. По словам Ларисы, он был дважды женат на ярких женщинах, на кинозвезде и на цыганке из театра «Ромэн», танцовщице, но разошелся с обеими и сейчас живет с некоей Эсфирью, врачихой, страшненькой, но очень доброй, она разрешает ему все его чудеса. Мне он сказал: «Красивые женщины меня уж не волнуют. Этот этап я, слава богу, прошел». Не знаю, что тут было: бравада или неуклюжее заверение в том, чтобы я не беспокоился. Я, разумеется, принял последнее, почувствовал себя задетым и сказал грубо: «Но вы-то красивых женщин когда-нибудь волновали?» — «Мно-гаж-ды!» Вот такой фанфарон.

И при всем фанфаронстве — интеллигентнейший господин. Знает четыре языка, читает латинских авторов в подлиннике. Занимается он ранним средневековьем, историей религии. Фома Аквинский, Дунс Скот и так далее. Рита заинтересовалась — от безделья, голова-то праздная — всей этой муровиной, и иногда за ужином разыгрывались схоластические диспуты. Например, так: что более ценно — воля или разум? Рита стояла на точке зрения Фомы Аквинского — за примат разума. Приводила примеры из собственного житейского опыта. Она, кстати, считает себя в высшей степени homo sapiens. Кирилл был на стороне Дунс Скота: защищал волюнтаризм. Он говорил: «Если б не моя железная воля, разве я поступил бы в институт?»

Я их вышучивал, но на Риту это действовало мало. Она стала добывать, где могла, книги в затрепанных, мусорных переплетах — мистические, религиозные. Черт знает откуда она их выкапывала. В букинистических магазинах этот хлам, по-моему, не продается. Доставала с рук, на черном рынке. В доме стали мельтешить бородатые и очкастые юнцы, книжные маклеры, которые наряду с редкой книгой могли торгануть и какой-нибудь дефицитной ветошью, например, белыми водолазками из ГУМа с наценкой пять рублей. Милая публика! Раза два я вытурял их из дома. Рита вставала на защиту, винила меня в деспотизме и в жадности. (Все эти Леонтьевы, Бердяевы или, как я говорил, белибердяевы стоили порядочных денег, которых я дать не мог, ибо в последние полтора года мои заработки по ряду причин уменьшились.) Но ничто не могло остановить ее: она выкручивала из хозяйственных сумм, меняла, продавала свои тряпки. В общем, тут было не увлечение, а страсть

и даже, быть может, болезнь. Но в основе всего лежало не подлинное чувство, а ложное, суетное. В этом я был глубоко убежден. Однажды так ей и сказал.

Я тревожился за Кирилла — первый курс! — и вся эта болтология, валявшаяся там и сям в квартире, могла сбить его с толку. Честно говоря, я не столь тревожился, сколь высказывал тревогу, но Рита резонно заметила, что Кирилла эти книги интересуют еще меньше, чем вузовские учебники. Тогда я повысил голос: «Прекрасно! И ты, вместо того чтобы изменить такое положение, отвлечь парня от девочек и магов и привлечь к учебникам, сама занимаешься черт знает чем».— «Я ничем дурным не занимаюсь, мое чтение никого не касается, и вообще — что ты сходишь с ума?» Я сказал, что мне все это глубоко антипатично. Что ее псевдорелигиозность есть лицемерие и обман, что первой заповедью всякой религии — и уж тем более веры Христовой — есть любовь к ближним. А где она? Равнодушие, бегство из дома, книжное тщеславие. Муж заброшен, сын растет как трава. И — климакс, матушка, климакс. Не Фома Аквинский, а пешие прогулки и холодные обтирания по утрам.

Но и такие прямые удары не действовали. Наше отчуждение и взаимная холодность все увеличивались. Несколько раз, прочитав через силу какие-то из старых книжонок, вернее, не прочитав, а перелистав, потому что дочитать до конца ни одну из этих книг я не мог, слишком мудрено, ей-богу, через пять страниц я переставал понимать, о чем речь, а я ведь не самый большой кретин на свете,— я пытался затеять спор, прочистить ей мозги: ведь все это так безумно далеко от нас, от наших истинных сложностей и загадок! Писано красиво и когда-то, может быть, волновало, мучило, угадывались прозрения, читались пророческие слова на пиру Валтасара, но ничего ведь не угадалось, не прозрилось, и чтение таких книг теперь — ненужная роскошь, все равно что держать дома арабского скакуна. Куда поеду на арабском скакуне? В молочную бутылки сдавать? Или в прачечную за бельем? Не нужна мне сия высокоумность, абсолютно не нужна, а те, кто говорит, что им нужна,— мошенники. Однажды был такой разговор с Ритой: «Ну, что ты вычитала в этой книге? Чем обогатилась?» В тот день она чем-то особенно меня раздражала, я так и рвался в бой. Рита сидела в своем любимом кресле под торшером, курила сигарету и только что отговорила с кем-то битый час по телефону. Затянувшись дымом и глядя на меня

с необычной внимательностью, она сказала: «Чем обогатилась? Хотя бы тем, что лучше узнала твой характер. Как раз сегодня читала у одного автора о вечно бабьем в русской душе». Я расхохотался: «Вот здорово! Ну, ну поподробней». Она стала молоть вздор насчет того, что я чему-то покорствую, подчиняюсь обстоятельствам — «среда заедает»,— что то, чем я занимаюсь, есть адаптация к условиям существования, и я понимаю это умом, но не имею сил восстать против собственного образа жизни. По причине женственной слабости характера. И еще потому, что благодаря дуализму моей души во мне отсутствует нравственная самодисциплина. Сначала я слушал усмехаясь, потом разозлился.

«А ты, матушка, неблагодарна,— сказал я.— Я изнуряю мозг, занимаюсь черной работой, перевожу всех подряд — для чего? Для того, чтобы ты сидела в кресле, курила «кент» и говорила мне гадости? Если тебя так точит нравственное чувство, почему бы не пойти работать в наше домоуправление — там нужен экономист с окладом восемьдесят рублей...» — «Кажется, это попрек куском хлеба?» — спросила она. Я махнул рукой и ушел. Не то что объясниться, даже поспорить по-настоящему стало трудно.

Зато с Гартвигом, когда тот появлялся у нас, была оживлена, многословна, хохотала, спорила, и мне коечто перепадало: при нем она делалась со мной приветлива и даже назвала как-то раз Геночкой, от чего я давно отвык. Началось новое увлечение: прогулки пешие, на велосипеде, на лыжах — с Гартвигом. Я сам рекомендовал когда-то. Сначала они меня приглашали. Я раза два увязывался, но было как-то тягостно и тяжеловато. Гартвиг в шортах — даже в октябре, подлец, щеголял черными волосатыми ногами! — скакал по кочкам, как лось. Рита, задыхаясь, поспешала за ним, а мне такая гонка была не по нраву. Бог с ними, оставил их и себя на произвол судьбы.

То они в Загорск, то в Суздаль, то на Святые Горы. И все поближе к монахам, к старине. То где-то под Москвой нашли церквушку, познакомились с попом, и тот разрешал Гартвигу забираться на колокольню и звонить. И Кирилла таскали туда, тоже звонил. Все это, конечно, было вздором, причудами полусладкой жизни, и меня не так смущало или коробило, как попросту удивляло. Ведь была когда-то активной профсоюзницей в институте коммунального хозяйства!

Нет, конечно, никакой верой в настоящем смысле тут и не пахло, а вот так: томление духа и катастрофическое безделье. И даже, пожалуй, мода. Все эти книжонки, монастыри, путешествия по «святым местам» на собственных «Волгах» сделались модой и оттого пошлостью. Раньше все скопом на Рижское взморье валили, а нынче — по монастырям. Ах, иконостас! Ах, какой нам дед встретился в одной деревеньке! А самовары? Иконы? Как придешь к какому-нибудь провизору или художнику, зарабатывающему на хлеб рисованием агитплакатиков, обязательно у них иконы торчат и чай пьют из самовара, настоящего тульского, отысканного за большие деньги в комиссионке.

Все, друзья мои, благородно, прекрасно, любите красоту, взыскуйте града, а только вот — с любовью к ближнему как? Бабушку свою старенькую, которая в деревне горбатится, не забыли? Жену в тяжкую минуту не бросите или, наоборот, мужа? А то ведь старичок с бородой, который на черной доске в столовой висит, над сервантом, одно велит: добро делайте. Ну, и как с ним, с добром?

Нельзя ей было с работы уходить. Потому что если нет людей вокруг — и добро делать некому. Впрочем, и зло тоже. Все равно нельзя.

Но Гартвиг — то особь статья. О каком же добре речь! Главное, что сидел в нем, в сердцевине,— взор ледяной, изучающий. Кроме древностей, отцов церкви, интересовался он и современными делами: писал что-то по вопросам социологии. Связывал как-то старину и современность, не знаю уж как. Он и веру, и древность, красоту, музыку, людей кругом себя трогал с одинаковым ледяным рвением — изучал. Не просто узнавал, а и з у ч а л, то есть до последней капли, до дна. И куда другие заглянуть не решатся, он заглянет, не смутится ничем. Это я сразу в нем почувствовал. Истинный ученый, такие только и добиваются и творят. Но — подальше от них. И женщина для него экспонат, и добрые знакомые — объекты для изучения, вроде какого-нибудь мураша или лягушки.

Раза два я на себе это почуял всей кожей, и надо сказать: приятного мало. Сидели вдвоем в ожидании Риты, разговаривали, он больше спрашивал, причем почтительно, с уважением и, я бы даже сказал, искательно, как мог бы спрашивать ученик у профессора, а я отвечал. И, растаявши от его почтительности, отвечал охотно и с подробностями. Интересовался он разными пустя-

ками моего быта и моей работы: когда встаю, какие газеты читаю, пользуюсь ли словарем синонимов, каковы мои отношения с редакторами и авторами, которых перевожу? Еще что-то о кино, о том, как отдыхаю, куда люблю ездить.

Я вообще человек бесхитростный, стал разъяснять, ничтоже сумняся, давать мудрые советы, а потом меня вдруг ударило: господи, да ведь он меня изучает! Он же на меня досье заводит! Нет, не в вульгарном смысле, а именно — в научном, для каких-то своих специальных работ и целей. Для своего домашнего «хобби». Придет домой и настрочит целую тетрадь. «Такой-то, такой-то, 48 лет. Тип: средний интеллигент конца шестидесятых годов. Род: литературный пролетарий. Вид: из неудачников, умеющих устраиваться. Встает в восемь утра. Газеты читает после завтрака, состоящего обычно из яйца, сваренного «в мешочке», ломтика хлеба с сыром и большой чашки чрезвычайно крепкого чая. Любит пить чай всегда из одной, так называемой любимой чашки. Это крупных размеров посуда вместимостью в полтора стакана, расписная, темно-красная с золотом, дулевского завода. В газетах наибольшее впечатление производят статьи, касающиеся работы коллег по перу, хвалебные или ругательные. Особенно ругательные. Поднимают настроение. Хочется работать...»

Я сказал, что он расспрашивает меня, как доктор — пациента. Не рассказать ли, каков у меня стул? И как я исполняю супружеские обязанности? Он серьезно сказал: это было бы интересно! Затем заметил, что действительно в разговорах с людьми старается получать как можно больше информации. Ничего другого не остается. Ведь наши обыкновенные беседы, сказал он, не выходят за рамки пустой болтовни, передачи слухов, анекдотов и перемывания косточек общих знакомых. Вместо обмена мыслями мы обмениваемся слухами. Конечно, не преминул блеснуть ученостью, вспомнил Сократа, перипатетиков и прочую древность, где, видно, чувствовал себя как рыба в воде. И только спустя некоторое время я понял, что меня обхамили. Значит, в разговорах со мной он не надеется приобрести никаких мыслей, а только лишь информацию, причем все равно какую, на худой конец даже копеечную! С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я вспомнил, как однажды он расспрашивал меня, где я сшил костюм, и почем стоит, и где куплен материал. И я, идиот, объяснял ему добросовестнейшим

образом! В этой манере было не только пренебрежение к собеседнику, но и главная гартвиговская черта — его циническое стремление приобретать, поглощать, ничего не давая. Делиться своими мыслями и знаниями с людьми, которых он считал ниже себя и бесполезными для себя, он не желал, не умел, он хотел только обогащаться.

Беда в том, что я сопоставляю факты с опозданием. Когда я понял, что обхамлен — и обхамливаюсь постоянно: молчанием, улыбками, деликатными разговорами о пустяках,— мне захотелось при первом удобном случае обрушиться на наглеца с громовой речью и сказать ему однажды всю правду, чтобы он не зазнавался. Сказать, что мы с ним не равновеликие величины. Что наш жизненный опыт несравним. Я не успел прочитать так много книг и вызубрить иностранные языки потому, что жил в другое время: работал с малых лет, воевал, бедствовал. Не приписывайте себе чужих заслуг — они принадлежат времени. Мы сдавали другие экзамены. И вообще, ну вас к черту, научитесь уважать людей! Но удобного случая никак не подворачивалось. Речь моя кипела, кипела, так и вышла вся паром.

Кажется, он сам ощущал недостаток опыта жизни. Отсюда его знаменитые бегства — то, что так поражало людей, мало его знающих, и нравилось женщинам. В основе своей эти бегства были не романтического свойства, а умозрительного. Чистейший рационализм и все то же стремление — изучать. Он мог неожиданно уйти из института (взять академический отпуск), уехать в Одессу, поступить матросом на торговый корабль и на долгое время исчезнуть из жизни своих друзей и близких. Правда, это было в период его холостячества, между цыганкой и Эсфирью. Но в другое лето, уже во времена Эсфири, он два месяца бродил по Украине, работал где косарем, где сборщиком яблок, дорожным рабочим. Рита восхищалась этими подвигами, которые знала по рассказам гартвиговских приятелей. «Вот это, я понимаю, мужчина! — говорила она.— Представляю себе тебя в роли матроса или землекопа. Да ты через два дня ноги протянешь». Конечно, протяну. И сомнений нет. Ну, а зачем это нужно: копать землю и таскать мешки человеку, знающему четыре языка? Польза, мне кажется, невелика. О господи, как же я не понимаю? Ведь тут самоутверждение. Свободный выбор. Это нужно не обществу, а — личности.

Пускай самоутверждение, хорошо, соглашался я. Но

какова его природа? Комплекс неполноценности. Не хватает опыта жизни и творческого накала. А когда нетворческий человек пытается творить, он заменяет акт творчества чем попало — чаще всего ничтожными домашними революциями. Внушает себе уважение к самому себе. Ну, а дальше? Ведь обществу, окружающим от этих геройств не холодно и не жарко. Только бедная Эсфирь страдает и ребеночек отвыкает от отца. Обыкновенный цинизм в благородной упаковке: потому что наплевать на всех, кроме себя. Захотел удрать от вас от всех на полгода — хоть матросом, хоть куда — удрал, и до свиданья.

Но Рита мечтательно говорила, что все это не так просто, что надо, мол, решиться, надо перешагнуть. И смотрела на меня с видом тайного превосходства и некоторого сожаления, как на пропащего человека, который никогда не сможет перешагнуть. Чужая глупость бывает иногда ослепительно прекрасна. Мне была совершенно ясна бессмыслица гартвиговских авантюр, но иные интеллигенты, и в особенности дамы с воспаленным воображением, были от них без ума. Говорят, его так ласкали, когда он возвращался! Такие пиры закатывались в его честь! Рита утверждала, что тут какой-то протест и своего рода кому-то вызов. Какой протест? Кому, прости господи, вызов? Эсфири? Ну, скажем, вызов тому положению, которое сложилось в институте. Но, матушка моя, его положение в институте отменно, лучшего и желать нельзя, если ему разрешают пропадать на полгода. Ах, он брал отпуск по болезни, у него что-то с желудком, гастриты, язвы? Значит, пользовался льготами как больной и при этом работал матросом? Талантливый молодой человек. Пойдет далеко.

В результате оказалось, что я недобр, в чем-то ограничен и не могу стать выше своих личных неприязней.

Зимою он вдруг явился к нам в телогрейке, валенках и сказал, что уезжает на месяц в Калининскую область: завербовался в артель лесорубов. Говорят, интересный народ эти лесорубы. Пощупать их психологию. И тут у Риты возникла идея. Наша домработница Нюра была родом из Калининской области, района Торжка, где в деревне осталась жить ее тетка, старуха — единственный родной человек Нюры, мать ее умерла в войну в голодное время, отец и брат погибли на фронте,— и вот Рита попросила Гартвига, чтобы тот отвез Нюриной тете Глаше, которую мы все знали по письмам, московские подарки: конфеты, апельсины и маленький транзи-

сторный приемник. Рита очень любила Нюру. Потом-то выяснилось, что эта любовь имеет границы, но тогда еще об этом не догадывались. Нюра работала у нас лет десять, пришла, когда Кирилл был первоклассником. К Кириллу она была привязана необычайно. Идея Риты заключалась в том, чтобы выпросить у тети Глаши — взамен транзистора — одну-две иконки. Было известно, что тетя Глаша набожна, иконы у нее есть, остались от матери, Нюриной бабки, и она ими дорожит, но если Нюра напишет, что больна и иконы для нее единственная надежда, тетя Глаша может сжалиться и уступить.

Рите очень хотелось повесить дома две-три иконы. Она и место им приготовила: на фоне розоватой стены, рядом с большой репродукцией Пикассо. А то Рита чувствовала себя обездоленной. Ее подруги уже сумели раздобыться иконами, а Лариса, которая в общем-то малоинтеллигентна, не читала ученых книг, просто ограбила своих деревенских родственников и привезла целую коллекцию — шесть досок, среди которых была одна безусловно старинная, северного письма. Гартвиг определил семнадцатый век, сказал, что вещь музейная, можно взять за нее большие деньги. Везучая эта Лариса! Всегда ей все так и плывет в руки.

Нюра написала тетке письмо, отдали Гартвигу, тот вернулся в январе с двумя иконами. Одна была никудышная, ширпотреб, другая — ничего, лет полтораста. Рита повесила обе на розовой стене рядом с Пикассо. Потом дешевую, яркую Нюра выпросила для себя: она на самом деле заболела и думала, что икона поможет. Но старинная доска продолжала висеть в столовой, и все, кто приходил к нам, изумлялись ее черноте и говорили с видом знатоков: «О, чудесная вещь!»

Между тем Нюра заболела всерьез. Я что-то слышал о ее болезни и раньше, но толком не знал, чем она больна. Нюра была в ведомстве Риты. Я знал лишь то, что, когда в доме Нюра или какая-либо другая женщина, ведущая хозяйство, устанавливается покой и можно работать. Рита не выносит домашней возни. Больше недели одна, без помощницы, не выдерживает. До появления Нюры, когда наш обалдуй был милым маленьким карапузом и требовал гуляний, стирки и прочего обихода, эта проблема — домашней работницы — была острейшей, даже более острой, чем проблема моих заработков. Я ведь долгое время зарабатывал неравномерно, приходилось уезжать надолго в командировки, чтобы

подмолотить погуще и облегчить семью, сам-то как-нибудь перебьюсь, но и им без меня проще. И до рубля доходили. И так бывало, что Кириллу не на что молока купить. И все же помощницы в доме были всегда.

Без них Рита просто не справлялась — работала она тогда далеко, в Останкине, уезжала в половине восьмого, возвращалась поздно, — но и с помощницами не ладилось. Почему-то Рита ссорилась с ними постоянно. Иная трех дней не проработает, а Рита уже стонет: «Не могу ее видеть! Рассчитай завтра же, умоляю тебя...» Я, конечно, понимал, что с этими пожилыми неудачницами, тайными злыднями, одинокими и обнищавшими старухами, молодыми дурами, полными пустых надежд — профессия-то вымирающая, — ладить не просто, но выхода не было. Я говорил Рите: «Заткни свое раздражение куда-нибудь подальше! Ведь тебе же будет хуже. Ты не можешь одна. Это уже доказано. Поэтому — прикуси язык...» Доводы логики не доходили. Какие живописные персонажи появлялись у нас в доме! Каким странным личностям доверялся наш безответный Кирка! Была одна пухлая, пунцоволицая пожилая матрона, которая почему-то твердо считала, что я могу оставить Риту ради нее, но только вот она колебалась. Была одна одесситка с длинным, усатым лицом, которая всегда лопотала настолько бессвязно, что ее не мог понять ни один человек. Муж пунцоволицей попал за что-то в тюрьму на десять лет, а все родные одесситки погибли. Была одна тишайшая старуха, землисто-серая голубица, которая вдруг среди ночи вошла в комнату, где мы спали с Ритой, и, остановившись в дверях, на нас смотрела: ради этого мига и нанималась. Было несколько удивительных скандалисток. Мне хотелось напечатать объявление и повесить на дверях: «Здесь всегда нужна домработница».

Однажды пришла женщина с лицом бледной, стеариновой желтизны, закутанная, как бабка, бессловесная, безулыбчивая, но глаза сияли ясно, голубо. Разговаривала едва слышно, двигалась медленно. Было Нюре всего тридцать два, но выглядела она лет на сорок пять: в волосах седина, лицо опавшее, зубов нет и почти глухая. Про себя говорила горделиво: «Я вся скрозь гнилая». Здоровье и зубы потеряла во время войны, в голодуху, когда кору ели. Работала Нюра не хуже, чем другие, только помедленней, зато молчком, тишком: ничего не слышала и других не раздражала.

Была она девица, и теперь уж, конечно, без надеж-

ды. Кто такую убогую да глухню возьмет? Правда, деньги и у нее водились, кое-что подкопила за восемь лет работы «по домам», да еще пенсия ежемесячная как инвалиду, рублей тридцать. С этой пенсией приходилось неустанно хитрить, чтобы не потерять ее, милую. В групкоме домашних работниц, где Рита заключала с Нюрой договор, не должны были знать про пенсию: иначе не позволили бы заключить договор, а без договора Нюре было никак нельзя, потому что теряла временную прописку. Прописка же была необходима, ибо Нюра надеялась когда-нибудь (болтали: через десять лет) получить право на постоянную жилплощадь в Москве. А с другой стороны, в отделе, где дают пенсии, ни за что не должны были знать про то, что Нюра работает в домашних работницах: сразу бы пенсию долой. Вот и вертись. Но Нюра давно уже знала, что никто за нее не исхитрится и не вырвет нужное ей для жизни — не было таких людей, все померли, а новых не ожидалось,— и она уже сама исхитрялась, помогала себе изо всех сил.

Рита считала ее хитрой и умеющей жить. Но, боже мой, какая уж тут хитрость! Давнишний голод, изгрызший молодую жизнь и отнявший сестру, брата и мать, до сих пор сидел в этой женщине непобедимой памятью и тайным страхом. Иногда я замечал это во время обеда, когда чересчур медлительно и как бы нехотя протягивалась рука к хлебу, или же, перетирая своим старушечьим ртом мясо, Нюра смотрела не отрываясь на другие куски мяса, лежавшие в общем блюде. И что-то в глазах тлело старое, против чего она сама была бессильна. Десятка два лет прошло с той голодухи. Нюра осталась одна одиннадцати лет, не понимала, как жить, и тут ее обманула тетка Шура, жена отцова брата: приехала из соседней деревни в Нюрину избу за тем будто, чтоб сиротку обеспечить, да так и завладела избой и Нюру выставила. С этой теткой и ее родней Нюра не желала иметь никаких сношений, хотя тетя Шура, бессовестная, мучила ее письмами, то просила прислать сахару, то еще чего-нибудь, и все жаловалась на жизнь, как трудно корову держать, нанимать косарей. Письма с просьбами от тети Шуры вносили в наш дом волнение: Нюра советовалась, как быть? Рита говорила: «Не смейте ей ничего посылать! Как вам не стыдно? Я не буду вас уважать. Она — сволочь, она вас ограбила». Нюра кивала: «Верно, верно, Маргарита Николаевна, сволочь она, ой, такая женщина нехорошая». Решала ничего не слать

и даже не отвечать на письмо. Но проходило дня два или три, и Рита замечала, что Нюра что-то зашивает в холстинку. «Вы что же, собираете посылку тетке Шуре?» — «А ну ее к лешему! — Нюра вдруг улыбалась, прикрывая беззубый рот ладонью.— Я хоть в Москве живу, по улицам гуляю. А она чего видит, дура старая?»

Но другую родную тетку, сестру матери — Глашу, Нюра любила и переписывалась с ней с удовольствием. Та была совсем бедная старуха, жившая у чужих людей в прислугах в поселке Кувшиново. Из родной избы ее тоже выперли, хотя и не силой, а так сделали, что жить стало невозможно. Варвара сделала, невестка, жена сына Петра. И только незадолго до того, как Гартвиг повез ей гостинцы и транзистор, тетя Глаша после семи лет работы в прислугах вернулась по просьбе Варвары из Кувшинова в деревню: второй сын народился, нянчить некому. Тетя Глаша, хоть и бедная и обиженная судьбой, никогда ничего у Нюры не просила и, наоборот, сама, как могла, старалась Нюру ободрить. Вскоре после того, как Гартвиг отправился в калининские леса, Нюра получила от тетки Глаши письмо, где та просила разрешения называть Нюру дочкой: «Знаю что живешь ты адинока и невидеш материнской ласки дорогая доченька...»

Потом были письма с благодарностью за подарки, тревогой из-за Нюриной болезни — подробности болезни надиктовала Рита — и с жалобами насчет икон, которые тетя Глаша никак не решалась оторвать от души. Да еще невестка, Варька, заедала, сын молчал, никакого утешения. Куда ж ей без икон? Тетя Глаша уже жалела о том, что перешла от чужих людей в дом к сыну: «Очень сканадалим мне негде свои тряпки положит куда что положу и все не так».

Перед Новым годом там случилась беда: сын Петр внезапно умер. Письма тети Глаши, извещавшие об этом, запомнились хорошо, потому что Нюра много раз просила читать их вслух. Сама Нюра, хоть и грамотная, с трудом разбирала теткины каракули. Та писала, что сын умер 23-го, а хоронили 26 декабря, ни одного дня не лежал и, конечно, помогла водка. Приехал другой сын тети Глаши, Виктор, они выпили в пивнушке и «вониво стало плохо сердцем и навулицы умер находу заключение врача что вниво сколороз ета болезнь очень опасная Нюра вот такие дела невеселыи очень жаль так плакала что сама немечтала что буду жыва». Дальше были проклятия по адресу невестки, которая не захотела, чтобы

Виктор и Петр пили водку дома, прогнала их, всегда прогоняла с водкой, и дело кончилось так печально.

Эта смерть решила судьбу икон. Тетя Глаша не желала, чтобы иконы попали в руки невестки. Про себя думала, что скоро умрет. В другом письме писала, как ездила куда-то, где жили лесорубы, нашла Герасима Ивановича и отдала ему две иконы, а себе оставила одну маленькую, Григория Чудотворца. После похорон тетя Глаша сразу ушла жить к людям, потому что не могла слышать, как Варвара с первого дня стала толковать про женихов. «Нюра вот какие дела неочень хорошые просто никак нимагу сама себя вруки взять чтобы неплакать намогилочку хожу каждое воскресенье и так плачу пока кто свалакет смагилы». А злыдня, Варвара, которой сыночек поддался, конечно, и не охнет, на могилочку не ходит и «веселая как лошадь рьжот».

Зачем все это застряло в памяти: Нюра, навсегда исчезнувшая, ее неведомая тетка, какая-то невестка, чья-то смерть? Но ведь все вместе и еще много другого, такого же чужого, нанесенного издалека — казалось бы, чужого! — и составляет громадную нелепицу, вроде нескладно сложенного стога сена, мою жизнь. Одна сухая травинка цепляется за другую, другая громоздится на третью. Все связано, сцеплено, висит, лежит, трется, шуршит друг на друге. Не приехал бы некий Виктор в гости к брату, тот не выпил бы лишку и не умер, тетя Глаша не отдала бы иконы, Гартвиг их не привез бы, Нюра не стала бы просить старую икону в больницу как раз в тот момент, когда приятели Кирилла взяли его за бока, и не случилось бы всего остального, в результате чего я сижу ночью в саду, так далеко от своего несуществующего дома. Наверное, никакая боль в мире не проходит бесследно ни для кого. Но дело не в этом. Она не должна была уходить с работы тогда, пять лет назад, ибо праздный человек теряет равновесие.

Гартвиг приехал с перевязанной рукой: повредил на лесоповале. Вид у него был живописный, к тому же вместо маленькой французской бородки он отпустил большую мужицкую бороду и стал похож на разночинца семидесятых годов. Я спросил, зачем он занимался этим вздором? Он сказал, что хотел узнать, что за штука лесоповал. Много слышал о лесоповале.

Тут я заметил — признаюсь, с ехидцей, что я умею, — намекая на его перевязанную руку, что он сочетает в себе сразу два образа — Печорина и Грушницкого, эта-

кий Грушчорин. Он серьезно спросил: «Печорин и Грушницкий? Это, кажется, из Тургенева?» Я расхохотался и напомнил ему, что из незабвенного «Героя нашего времени». Он был смущен. В тот же день я не без злорадства рассказал об этом позорном случае Рите, она даже не нашлась, что ответить, и только смотрела на меня, улыбаясь, и кивала. «Вот что значит начитаться всякой дребедени!» Она молчала. Когда-то ударялась в амбицию, спорила со мной из-за каждого пустяка, теперь же новый метод — молчание. Но дело совершенно не в этом.

Зима была трудной. Я плохо зарабатывал, было туго с заказами, и я болел. Рафик потерял ко мне интерес, не знаю уж почему. За всю зиму я не получил у него ни одного гонорара. Я встречал его в клубе в компании мало знакомых мне молодых субъектов, переводчиков новой формации, людей деловых, прытких, умеющих работать с быстротой и размахом. Некоторые из них знали по три, четыре языка, но это не меняло их сути. Молодые дельцы! У них не было прошлого, смутного от несостоявшихся надежд. С младых ногтей они приступили к делу. И, кроме того, были жилисты, как лошади, с отличным давлением, крепкими зубами. Они могли пить водку до утра, разговаривать о футболе часами (а Рафику только того и надо!) и вообще были мастера на все руки. Один раз в издательстве я столкнулся с Рафиком в коридоре, поздоровался с ним, он мне даже не ответил — прошел мимо важный, как царь иудейский. Когда у человека наступает полоса невезения и он, как говорят, сбивается с панталыку,— кому какое дело! Вылезай сам.

Впрочем, ничего ужасного в моей жизни не происходило. То же, что бывало временами у всех,— болезни, неудачи, какое-то разжижение духа. В такие минуты как раз и нужно то, о чем я говорил,— близость близких. Рита была занята своей жизнью, Кирилл — своей. Зимнюю сессию он одолел «еле можахом», с хвостами, затевал разговор об академическом отпуске, даже пошел без моего ведома в поликлинику, надеясь получить у врачей справки для отпуска, но там ему намылили шею. Он клянчил у меня деньги, я жадничал, он злился, оскорблялся, как взрослый, бросался к матери, но у Риты не очень-то разживешься, и тогда он тайком просил у Нюры, и она давала. Мы долго не знали об этом.

Когда узнали случайно, я пришел в ярость. «И ты, подонок,— кричал я,— можешь обирать бедную женщину. Только потому, что она к тебе привязана?» Он с не-

возмутимостью ответил, что никого не обирает, а лишь занимает деньги, отдает их в срок и даже с процентами: на каждые десять рублей по плитке шоколада. Это поразило меня совершенно. Откуда берутся деньги, чтобы отдавать долги? Оказывается, он уже больше года — с тех пор как участвует в качестве гитариста в битл-группе «Титаны» — зарабатывает деньги, и не такие уж маленькие, за выступления на школьных балах, вечеринках и свадьбах. Мне-то казалось, что это делалось ради искусства и новых знакомств с девочками. Ан нет! Сколько же он заработал, хотелось бы знать? Он добросовестно подсчитывал, морща свой чистый девический лобик. Двести двадцать примерно. От весны до начала зимы.

«И ты имел наглость просить у меня какие-то рубли и трешницы?» Что ж, доходишь и до рубля. Деньги разлетаются быстро, сам должен знать. Мокасины, брюки с поясом — вот уже сотня. А синий пиджак с алюминиевыми пуговицами? А в Ленинград ездил в ноябре — неужели на ту тридцатку, что дала мама? Я строжайше запретил занимать у Нюры. Сказал, что это почти то же, что быть «альфонсом», эксплуатировать женскую любовь. Он сконфузился, но попросил у меня пятьдесят рублей до февраля, когда с ними обещал расплатиться какой-то заводской клуб. Свободных денег не было. Я дал ему пять рублей.

Ах, боже мой, не надо искать сложных причин! Все натянулось и треснуло оттого, что внезапно напрягся быт. Современный брак — нежнейшая организация. Идея легкой разлуки — попробовать все сначала, пока еще не поздно,— постоянно витает в воздухе, как давняя мечта совершить, например, кругосветное путешествие или проплыть однажды на теплоходе «Победа» из Одессы в Батуми. За двадцать лет, что я прожил с Ритой, не было, наверное, ни одной недели, чтобы я так или иначе не касался мыслями этой темы. Не всегда прорезывалось на поверхность, но где-то внутри, как догадка и тайное утешение, существовало всегда. Когда сидишь в битком набитом театре в духоте, приятно сознавать, что над одной из дверей, прикрытых зеленой портьерой, горят буквы: «Запасный выход». В любую минуту можешь встать с кресла и направиться к этим буквам. И выйти на улицу, на воздух, и, пользуясь тем, что вечер лишь начинается, отправиться куда угодно — в ресторан, к приятелю. Но мы очень редко выходим из зала раньше времени. Только когда пьеса уж

чересчур ужасна или духота смертельно невыносима. Билеты куплены, и, кроме того,— неохота подниматься с места и идти по рядам, переступая через чьи-то ноги, под осуждающими взглядами зала. Но сознание возможности в любую минуту — отрадно, и оно должно быть, чтобы легче дышалось. Говорят, в каждом человеке, даже совершенно здоровом, сидит бацилла туберкулеза, но нужны особые условия, чтобы бацилла дала рост и процесс начался. Идея разлуки сидит потаенно в каждом, как дремлющая бацилла. Не надо спорить, это истина. Загляните в себя.

Нет, история с Нюрой не могла быть причиной, она была лишь последней простудой, которая ввергла меня в болезнь, в пожар. Однажды пришла женщина, сказала, что хочет видеть Анну Федосеевну — Нюру,— заперлась с нею на кухне, долго о чем-то говорили, потом женщина вышла к Рите и сказала, что забирает Нюру на месяц в больницу, в психиатрическую. Ничего страшного, особый вид шизофрении. Оказывается, Нюра давно уже на учете, а мы не знали.

Без Нюры стало худо. Все трое мы люди безалаберные, обедали как попало, квартира пришла в запустение. Рита то и дело ложилась с грелкой или с компрессом и говорила, что — все, выдохлась окончательно. Но без Нюры было худо еще вот почему: эта бессловесная, глухая женщина непонятным образом умела нас мирить. Придет, сядет, скажет что-нибудь пустяковое, но не без смысла, и — раздражение улетучится, обида пройдет. Была в ней преданность, и это истинное чувство, ничем не разбавленное, действовало, наверно, так сильно. Как-то мы с Ритой здорово поссорились, я грозил, что уйду, брошу всех ко всем чертям — было давно, когда еще страсти кипели и все принималось близко к сердцу,— потом примирились, забылось, прошло, и вдруг вижу: Нюра на кухне плачет. В чем дело? «Маргарита Николаевна сказала, что вы нас покинете. Как же она жить будет?» — «А как все, милая Нюра. Работать пойдет. Она женщина вполне здоровая, здоровей вас». Нюра, закусив губы, качала головой и, не слыша моих слов, шептала: «Я себе место найду, не пропаду, а Маргарите Николаевне как же?»

Иногда вечерами Нюра приходила в комнату, садилась в угол и глядела на Риту: как та что-нибудь шьет, читает или пишет. Просто глядела и улыбалась молча.

Года три назад, когда с деньгами было особенно туго, да и Кирилл подрос, решили с Нюрой расстаться. Ну,

что делать: из месяца в месяц задалживаем зарплату! Нюра выслушала спокойно, но вечером опять видел, как тихонько плачет на кухне, сидя на своей раскладушке. А на другой день сказала, что готова работать у нас бесплатно до той поры, когда появятся деньги. И вот ушло это существо, которое так странно цементировало дом. Ведь все мы расползались в разные стороны, каждый в свою комнату, к своим делам и тайнам, своему молчанию, и только она была подлинным домом, хранительницей плиты, очага.

Но и у нее не было никого, кроме нас. И для нее наша разрозненная троица была единственным человечьим теплом, к которому она тянулась и потерять которое страшилась.

Нюра писала из больницы письма: «Дарагая Маргарита Николаевна с чистосердечным приветом к вам...» В палате было четырнадцать человек. Нюре все нравилось: доктора, сестры, еда, ее кровать, третья от окна, и окно с видом на набережную. Иногда по ее просьбе звонила из больницы сестра — Нюра в телефон ничего не слышала — и задавала вопросы: что у нас нового, как себя чувствует Маргарита Николаевна, приносили ли белье из прачечной? Зачем-то ей было нужно. То тепло, от которого она не могла отстать. «Аннушка спрашивает, не забыли ли оттаять холодильник?» Рита жалела Нюру. Раза три ездила к ней в больницу, возила фрукты. Врачи сказали, что болезнь у Нюры с трудом излечимая, но прогрессировать не будет и для окружающих неопасная. Сказали, что Нюра вполне может делать нетяжелую домашнюю работу, может вязать, шить и клеить, например, елочные игрушки из бумаги. Нюра попросила Риту, чтоб та прислала в больницу старую икону, и Рита, хотя и расстроилась, поручила Кириллу отвезти. Пожалуй, это был подвиг. Никто не ожидал. Сначала были муки жадности и колебания совести, но потом Рита стала гордиться и рассказывать всем знакомым, что отдала больной домработнице лучшую вещь, украшение дома: безумно жаль, но что делать. Там, в обители страдания, она нужнее, чем на розовой стене рядом с Пикассо. И — надо делать добро, а не только читать о нем в умных книжках. При этом как-то забывалось, что драгоценность принадлежит Нюре.

Гартвиг был возмущен: «Как можно отдавать музейную вещь? Надо было отдать ту, палехскую, какая ей разница?» Но Нюра требовала именно старую икону.

Суть выяснилась после, а тогда мы лишь удивлялись настойчивости, с какой она просила — скорее, скорее! — чтоб ей прислали икону, точно редкое лекарство, от которого зависело выздоровление.

В начале марта позвонила врач из больницы, некая Радда Юльевна, и сказала, что может нас обрадовать: Аннушке стало лучше и к женскому празднику ее выпишут. Только вот — куда? Свободно ли у нас место? Никого не взяли? Мы никого не взяли. Рита обрадованно кричала в трубку: «Конечно, что вы, как же можно! Ждем не дождемся!» Радда Юльевна обещала о точной дате выписки сообщить позднее, числа пятого. Но позвонила на другой день. Тем временем Рита слегка опомнилась и сообразила: разве ее жизнь станет легче, если в доме появится больной или полубольной человек? Ну, хорошо, нетяжелая домашняя работа, понемногу готовка, магазины, но ведь, как ни крути, она психически неполноценна, могут быть обострения, в любой день снова больница... Тут мы все призадумались. Рита советовалась с Ларисой. Та сказала: обождать, не пороть горячки. Пусть вылечат как следует и дадут гарантию. А то они рады выписывать, лишь бы с рук сбыть. И когда Радда Юльевна позвонила второй раз, Рита ей высказала — по глупости, откровенно — некоторые свои сомнения и насчет гарантии тоже, что Радду Юльевну крайне раздражило. Она сказала, что не ожидала таких разговоров, что все это ее изумляет, и когда Рита, продолжая гнуть свою линию глупейшей откровенности — она бывала иногда ужасно недальновидна и неуклюжа! — сказала, что боится за себя, за то, что не хватит пороха ухаживать за больной и что ей бы самой хотелось, чтобы за нею кто-нибудь поухаживал, Радда Юльевна грубо прервала ее и попросила к телефону меня.

Я услышал резкий голос, привыкший распоряжаться младшим медперсоналом: «Вы как будто человек интеллигентного труда, не так ли? Переводите литературу? Как же вы допускаете, чтобы ваша жена говорила, простите меня, такую чушь? Мы не часовая мастерская и не даем никаких гарантий. Аннушка совершенно одинока. Это вопрос вашей совести, вашего человеколюбия. По рассказам Аннушки я представляла вас совсем другими людьми, не такими, простите меня, расчетливыми и черствыми».— «Позвольте! — возразил я.— Вы не знаете ни меня, ни моей жены и на основании пятиминутного телефонного разговора...» Радда Юльевна пресекла

и меня: «Извините, мне некогда вести душеспасительные беседы. Вы продумайте как следует и позвоните мне не позже завтрашнего вечера. Я должна знать до субботы».

Трубка брякнула. Мы принялись обсуждать возникшую проблему, спорить, и, как всегда, раздражаться, и винить друг друга. Я говорил Рите, что она неправильно разговаривала с врачихой и все испортила, восстановив ее против нас. Рита же обвиняла меня в том, что я, по своему обыкновению, боюсь показаться плохим в глазах людей, веду себя трусливо, в результате чего плохой оказывается она. Кирилл спросил: «Она что же, будет с нами всегда?» Я сказал, что не всегда, наверное, но длительное время. Мы берем на себя ответственность. «Ну не-ет! — сказал Кирилл, помолчав.— Все-таки она нам не родственница, правда же?»

Мы все думали одинаково, но Кирилл обнаружил себя честно, а мы с Ритой еще вертелись и прятались за слова, обвиняя друг друга во всех смертных грехах и не замечая за собой главного. Рита говорила: «Что вы за люди? Как можно называть Нюру чужим человеком, если она прожила в нашем доме десять лет! Ведь она любит тебя, как сына, она тебя вынянчила, здоровенного дяденьку, а ты говоришь: она нам не родственница. Да она мне ближе любой родственницы, если хотите знать!» — «Тогда в чем дело? Возьми ее в дом!» — «Конечно, мамочка! Возьми, возьми. Ухаживай за ней, вари ей кашку, покупай молочко». Рита говорила, что мы злостные бездельники, не помогаем ей, она с ног сбилась, и теперь еще мы хотим навьючить на нее больную домработницу. Я же твердил одно: «Позволь, пожалуйста, а где любовь к ближнему? Для чего ты читала книжки о божественном? Вот тебе ниспослано испытание, нужна твоя жертва — где она? А? В кусты? Сразу стали атеистами? И все это — поповские выдумки?» — «Если б у меня были другой муж и другой сын, я бы взяла эту женщину не задумываясь». Да, да. Конечно. При этом уже все было решено, она уже отделила от себя Нюру, назвала ее этой женщиной. Я говорил: «А если бы у меня была другая жена, такого вопроса вообще не стояло бы. Да боже мой, сколько в простых семьях таких случаев, когда...»

Ни в четверг, ни в пятницу мы Радде Юльевне не позвонили. Не позвонил ни я, ни Рита. Мы не сговаривались. Каждый думал, что позвонил другой, имел основания так думать, но нарочно не спрашивал об этом, как

бы перекладывая в случае чего вину на другого. У Риты, как обычно в критические минуты, «разыгралась» печень, целый день она лежала с грелкой и с преувеличенным страхом говорила только о своей болезни и лекарствах. У меня тоже что-то болело. Кажется, сердце. И я, лежа в кабинете на диване и глотая то валидол, то валокардин, думал о том, что у нас есть некоторое оправдание: мы люди больные. Себя я считал менее виновным, ибо я болен серьезней. Нельзя же сравнивать холецистит и болезнь сердца. С холециститом живут всю жизнь, а от сердца умирают в молодом возрасте. Так что во всем этом предательстве — да, именно, небольшом, но явном предательстве, и не надо хитрить — Ритина доля вины побольше моей. И вообще она ближе к ней, чем я. Я — что? Я видел Нюру лишь по утрам, когда убирался кабинет, и не чаял, чтобы она поскорее исчезла со своими тряпками и пылесосом, и днем, за обедом. Очень редко с ней разговаривал. Да и разговаривать с глухой было трудно. А Рита — другое дело.

Поздно вечером Рита вдруг пришла в кабинет — в халате, нечесаная, с мятым, серым лицом, какое у нее бывало, когда мучила печень,— села на край дивана и смотрела на меня. Я видел, что ей худо. То ли она пришла мириться, то ли на что-то жаловаться, а может быть, ее грызла совесть. Но мне тоже было худо. Я молчал и смотрел на нее. «Знаешь, что я вспомнила? — сказала она.— Как мы жили в Подлескове. Кирке было лет семь. Избу нашу вспомнила. Верандочка такая маленькая, деревенская, и всегда куры залетали — помнишь?.. Нюра была молодая, только пришла к нам... А я в то лето уезжала в командировку на Север...» Я кивал. Тоже вспомнил то лето. Были еще живы отец Риты и моя мать. Рита писала нам письма с Севера. Мы все так ждали ее, и маленький Кирка ждал. Лето было наполнено ожиданием. И вот она приехала в августе, привезла белого щенка, лайку — потом он душил кур у хозяйки,— и шкуру полярного медведя, кто-то подарил в Мурманске. Я терзался догадками: кто подарил, за что? Шкура была невыделанная, скоро истлела, и ее выбросили года два назад. Больше такого августа, как тот, не было. Маленькая речонка Соня, дубовые леса с грибами. Помню: ходили однажды далеко, километров за десять, в село Городок, где была колокольня восемнадцатого века.

«А помнишь,— сказала Рита,— как в сентябре я заболела? Думали, аппендицит, а оказалось, нужен срочный

аборт. Повезли в районную больницу, была какая-то ужасная грязь, дожди, машина не могла подъехать, и ты с каким-то мужиком тащил меня на руках». Я помнил и это. «Нюра оставалась с Киркой одна целую неделю,— сказала Рита.— А ведь он тогда тоже чем-то болел».

Потом она сказала: «Мне кажется, с Нюрой уйдет от нас что-то навсегда. Как ты думаешь?» Я сказал: «Да». Видел, что у нее глаза на мокром месте, но она не хотела этого показывать и ушла.

На другой день вдруг явилась Нюра. Днем. Мы садились обедать. Сказала, что отпустили на два часа: взять вещи. Размотала свой всегдашний платок, сняла пальто, валенки с галошами, сунула ноги в шлепанцы и села с нами обедать как ни в чем не бывало. На ее тусклом лице было написано громадное удовольствие. И она все время улыбалась, глядя на Риту. Опять я увидел, как медленно тянется рука к хлебнице и как в бледно-голубых глазах сияет ясное, давнее — любовь, голод, война, надежды, все вместе. Она очень жалела Риту: «Ой, Маргарита Николаевна, да как же вы без помощницы?» Рита говорила, что очень трудно. «Конечно,— сказала Нюра.— Вам человек нужен». И то, что она назвала кого-то неведомого, кто займет ее место, так спокойно и равнодушно «человек», значило, что она смирилась и ни о чем говорить не нужно. Рассказывала про больницу, про то, что обещают какую-то еще лучшую больницу, за городом, там кругом лес и можно ходить на станцию, где есть ларьки и кое-что продают. После обеда Нюра помыла посуду, и потом еще Рита попросила ее в ы н е с т и м у с о р н о е в е д р о. Вот это ведро меня почему-то добило. У нас в доме нет мусоропровода, ведро выносим во двор, где стоят большие баки для мусора. Ежедневная проблема. Иногда мне вручался мусор, аккуратно упакованный в газетный сверток. Словом, чепуха. Не знаю, что на меня наскочило. Когда мы попрощались с Нюрой, она ушла — сначала за такси, вернулась с шофером, который потащил два узла и чемодан, Нюра была порядочная барахольщица — и мы остались одни, я вдруг стал орать: «И у тебя хватило совести посылать ее напоследок? Урвать хоть что-то? Хоть ведро, да?!» — «Какое ведро?» — спросила Рита и заплакала.

Меня охватила жгучая боль — так было впервые, я не понимал, болит ли сердце или сразило чувство стыда, какое-то отчаянье,— я ушел в кабинет и заперся. Я слы-

шал свой крик и видел лицо Риты, побелевшее от испуга. Прошло два или три часа. В квартире стояла могильная тишина. Наконец, часов в шесть вечера, Кирилл постучал в дверь кабинета и сказал голосом тюремного надзирателя: «Иди пить чай!» Я понял, что прощен, что дело не в ведре, не в моем срыве и крике, а в том, что когда совершается предательство — даже маленькое,— всегда потом бывает тошно. На другой день по просьбе Риты были куплены в киоске «Мосгорсправка» десять бланков объявлений, и я сел писать своим красивым, чертежным почерком, как я умею: «В семью из трех человек — муж, жена и сын-студент — очень нужна...»

Вскоре все это померкло и забылось. Точно помню: 15 марта. В середине дня звонок телефона. Высокий, быстрый и, как мне показалось, малопочтительный мужской голос просит меня, Геннадия Сергеевича, и затем представляется: следователь имярек. Не могу ли я прибыть завтра по такому-то адресу для разговора? Могу. Свободен ли я часов этак, что ли, ну, скажем, в половине одиннадцатого? Вполне. Значит, договорились. До завтра. Ориентир: рядом с магазином «Синтетика». Все длилось не дольше двадцати секунд. В некотором обалдении кладу трубку и начинаю бешено соображать: что сей сон значит? Никакого криминала я за собою не знаю. И все же прохватывает легкая паника. Ну, может, и не паника, но какой-то невыносимо тревожный зуд. Главное, непонятно, что это может быть. Рядом с магазином «Синтетика». А быть может абсолютно все! Никто ведь не застрахован ни от чего.

Мне не приходилось раньше иметь дело со следователями. Рите ничего не говорю. Зачем испытывать еще добавочную Ритину панику? Но самое тяжкое то, что нужно ждать почти сутки. Почему я не догадался назначить встречу не на завтра, а на сегодня? Пожалуйста, я готов. Сейчас выезжаю. Нет, завтра я занят, только сегодня, сейчас же. Все равно никакая работа не прет в голову. И почему, например, не спросить было: по какому вопросу? Совершенно спокойно мог спросить. Он бы мне ответил, и я бы не мучился целые сутки. Впрочем, он мог бы и не ответить. А если бы он не ответил, я бы мучился в десять раз больше. Они делают так специально, чтобы вызываемые больше волновались. Чтобы пришли уж тепленькие, все бы у них внутри тряслось и дрожало, ударишь пальцем — развалятся. Или, как говорят: расколются. Но, убей меня бог, если б я знал, в чем

мне надо колоться! Ах, магазин «Синтетика» — знаю, где это. Что-то однажды покупал.

Вечером должны были идти в гости к Володе, моему кузену, который получил квартиру на Живописной улице в районе Хорошево-Мневники и целый месяц упорно зазывал нас на новоселье, мы под разными предлогами отказывались — скучнейшая компания, и в принудительном порядке просмотр любительских фильмов самого Володи, его жены Ляли, энтузиастов туризма,— но настал день, когда отступать некуда, визит неотвратим, иначе кровная обида на десятилетия. Купили в ГУМе два немецких бра, бутылку шампанского, нагрузили на Кирилла, поехали.

Все это время, хотя я двигался, отвечал на вопросы, сам что-то спрашивал, ходил по магазинам, покупал билеты в метро, я думал неотрывно о том, что будет со мной завтра, и чем больше ветвились мои мысли, тем страшнее становилось: я убеждался, что есть неисчерпаемое количество поводов, по которым я мог быть привлечен к допросу следователем. Стоит только захотеть. Боже мой, за мной числились, кажется, все виды нарушений Уголовного кодекса!

Я мог быть привлечен к суду за взятки, и только потому, что не раз ходил с Рафиком на бега и угощал его там в ресторане. Впрочем, были случаи, когда и он угощал меня. Я мог обвиняться в скупке краденого: иногда приобретал у рабочих нашего ЖЭКа за цену почти государственную всякую хурду-мурду, вроде стекла, провода, выключателей, листового железа. А спекуляция заграничными товарами? Когда в последний раз я привез Рите кофточки из Австрии и они оказались велики, Рита продала их Ларисе, а та, подлинная спекулянтка, могла сплавить подальше и подороже. И где-нибудь попалась. Превосходно: очная ставка с Ларисой в кабинете следователя! «Это ваши кофточки?» — «Собственно...» — «Где вы их приобрели? Почему не сдали в комиссионный магазин?» А кража? Однажды за границей я украл в отеле отличную пепельницу с видом городской ратуши и надписью по-латыни: «Beati Possidentes». Она и сейчас украшает мой письменный стол. Как-то случилось украсть в библиотеке дома отдыха том энциклопедии: он был крайне нужен для работы, а я уезжал. Правда, когда я приехал в дом отдыха в следующий раз, через полтора года, я привез этот том и незаметно поставил на полку. Вот, пожалуй, только с

у б и й с т в о м... Впрочем, было и убийство. Трагическая история шесть лет назад, когда я возвращался из Риги на машине Арутюняна, его жена сидела за рулем, и мы сбили на Минском шоссе старика. Бедняга был пьян вдребезину. Он умер через два часа в больнице. По закону отвечала жена Арутюняна. Ее сумели спасти, она получила год условно, но ведь и я был виновен — я очень спешил в Москву, так же, как она. Да мало ли...

В таком настроении я шел на бессмысленное новоселье. Рита делит всех родственников и друзей на «своих» и «моих». К «своим» относится не то что любовно, но — пристрастно, к моим же равнодушна и одновременно проявляет немалую зоркость в оценках. Володю и Лялю она назвала как-то «джентльменами удачи». Подмечено ловко: тут и глупая тяга к путешествиям, и недостаточная интеллигентность, и поистине пиратская страсть к накопительству. Володя — заводской инженер, Ляля трудится в проектной организации, доходы не бог весть — и, однако, постоянные обновки, всегда есть деньги и даже можно занять на короткий срок, но лучше не нужно. Чудеса экономии! То, что нашей семье (бывшей, бывшей семье!) неведомо. Рита однажды зло заметила, что склонность Володи и Ляли проводить отпуск в пеших походах — тоже от скопидомства. Дешевле, чем по путевкам к морю.

Володя и Ляля относились к нам как будто дружески, но с какой-то внутренней настороженностью. Почему-то считали нас дельцами. Главным дельцом был, конечно, я. Им казалось, что я гребу деньги лопатой. Когда Рита по простоте жаловалась на отсутствие денег, они смеялись: «Ах, нету денежек? А если снять со срочного вклада?» И, конечно, наша квартира, шестьдесят два метра жилой площади, не считая кладовки, сразила их когда-то насмерть. В общем, родственники как родственники. Зная их, я понимал, что упорное зазыванье на новоселье должно иметь подоплеку. Что-то им нужно. Через час сидения за столом с яствами из близлежащего ресторана «Орел» это «что-то» четко нарисовалось.

Володина дочка Вероника кончает школу. Надо думать о поступлении. И представьте — как раз туда, куда поступил Кирилл. У Кирилла был, кажется, какой-то замечательный репетитор, со связями, очень помог — немецкая фамилия, им говорили... «Гартвиг!» — выпалил Кирилл. Нельзя ли его как-нибудь приспособить, так сказать? «Конечно,— сказала Рита.— Почему же нель-

зя? Но, мне думается, сейчас он уехал. Он все время в разъездах». Было малоприятно слышать про Гартвига, что он со связями и что он помог. Хотя это так. Но мы никому не рассказывали. Как выяснилось, они услышали про него от одной приятельницы Ларисы, которая знакома с какой-то сослуживицей Ляли. Все пошло от этого трепла, от Ларисы. Я сказал, что Гартвиг, по-моему, сейчас не берет учеников, он очень занят в институте. Это было правдой — Гартвиг сам говорил,— но Володя и Ляля решили, разумеется, что мы не хотим давать им Гартвига. Впрочем, и это было правдой.

Я не желал давать его потому, что меня пронзило страшное подозрение: а вдруг Гартвиг со своим приятелем, секретарем приемной комиссии, тем самым, что приезжал в Снегири, попались на какой-нибудь махинации с приемными делами? Хозяин дачи в Снегирях мне почти не знаком. Он из Ритиных друзей. Господи, какая опасность! Я ведь ничего не знаю. Все делалось помимо меня. Но Гартвиг с его цинизмом способен на что угодно.

У Риты были, кажется, свои причины не слишком большого желания давать Гартвига Володе и Ляле.

Они угадали правильно. И с тем большей настойчивостью и чисто туристическим упорством стали тут же, за столом, выбивать из нас Гартвига. Они требовали, чтоб мы позвонили и выяснили, здесь он или уехал. И, если не уехал, можно ли возлагать на него надежды. Рита сказала, что не помнит телефона. Я тщетно старался вспомнить, но я-то никогда и не знал наизусть, а Рита знала. «Телефон Геры? — вскрикнул наш обалдуй.— А я помню!» Пришлось звонить. Эсфирь сказала, что Гартвиг на концерте в консерватории. Они требовали, чтоб я звонил завтра утром. Я обещал. Да, да, завтра утром.

Когда я думал о завтрашнем утре — в половине десятого надо выйти из дома,— у меня будто что-то вжималось в низ живота и ноги слабели. Догадка насчет Гартвига обуревала меня с панической силой. Теперь я был почти убежден в том, что Гартвиг и следователь чем-то связаны. Недаром Гартвиг сгинул в последние дни, не звонил, не показывался. И ни с одним человеком я не мог посоветоваться! Володя и Ляля, повеселевшие оттого, что Гартвиг в Москве — им казалось, что дело уже слажено,— вытащили белую тряпку, киноаппарат, и мука началась. Я ничего не понимал, что там происходит. То ли там была тайга, то ли Крым. Какие-то люди

куда-то шли, что-то ели ложками из большого котла. Была новинка: изображение сопровождалось дикторским текстом, который самим авторам казался верхом остроумия, и они то и дело, не в силах сдержаться, прыскали со смеху. Вот Ляля щеголяла голым животом и какими-то немыслимыми бриджами, и голос Володи произносил: «Людмила Александровна потрясала общество туалетами от Диора» или что-нибудь в таком духе. Рита вздыхала, но Кириллу нравилось, и он хохотал. Вдруг Рита сказала: «Между прочим, дорогие друзья, хотя Герасим Иванович отличный преподаватель, но прежде всего Кирка помог себе сам. Он занимался как проклятый. Совершенно как проклятый».

Володя и Ляля дружно сказали: «Конечно! А как же иначе?» Я тоже решил вставить слово: «Так что не думайте, что Гартвиг — это решение проблемы. И никаких особых связей у него нет».— «А не особые?» — лукаво спросила Ляля. Как раз в этот момент на экране показалась Ляля в купальнике, по колени в воде, делавшая танцевальные жесты руками. У нее были странные ноги: не круглые сверху, а какие-то плоские и широкие. В купальнике это выглядело не блестяще. Донесся голос Володи: «...при переходе вброд танец умирающего лебедя». «Да нету у него никаких связей! — сказал я, вдруг озлобившись.— Ерунда там, а не связи!»

Когда вышли на улицу, Рита сказала: «Молодцы твои родственники. Так и впились клешнями, вынь да положь им Гартвига». Не было сил возражать. Можно было ответить: «Это уж по твоей части, что касается Гартвига», но Кирилл был рядом и мысли мои гнуло в другую сторону. *Ведь я знал то, чего не знала она.* Я вдруг подумал о ней с жалостью. И о сыне подумал с жалостью. Кирилл внезапно свистнул по-бандитски и заорал во все горло: «Эй, шеф, вертай сюда!» Сели в такси, и я подумал, что неплохо все-таки иметь взрослого сына.

Ночью почти не спал. Задремал часов в пять и вскочил в восемь. Всю ночь буравило одно слово: «синтетика».

Молодой человек без пиджака, в белой льняной рубашке и с галстуком, на котором изображались пять олимпийских колец, спросил: «Это ваша икона?» Я увидел старую икону тети Глаши, недавно висевшую рядом с Пикассо. «Да! То есть, собственно...» Я объяснил. Икона изъята у крупного фарцовщика, против которого

сейчас возбуждено дело. А фарцовщик купил икону за сто двадцать рублей у Кирилла. Пока еще не ясно: будет ли Кирилл привлечен к суду, покажет ход следствия, но дело непременно получит огласку, и в первую очередь в комсомольской организации института. Затем я ответил на несколько вопросов насчет Кирилла, Нюры, происхождения иконы и какого-то малоизвестного мне Кириллова приятеля из группы «Титаны» по имени Ромик. Я подтвердил, что ничего не знал о продаже иконы и вообще все это для меня полная неожиданность. Я считал, что икона находится в больнице у Титовой А. Ф.

Был составлен протокол допроса, я подписал его, направился к выходу и уже возле дверей спросил: «А моего сына вы когда вызовете?» И следователь меня огорошил: «Он уже давал показания. Понадобится, вызовем еще». Значит, вчера, когда он так хохотал в гостях... В первую секунду, поняв, из-за чего меня вызывали, я испытал мгновенное облегчение. Не я, не я! Кирилл, конечно, тоже «я», какая-то часть «я», но еще небольшая, незрелая часть, не так уж страшно, рана не смертельна. Однако облегчение было действительно мгновенным: оно длилось одно мгновение. Когда же картина раскрылась — а это произошло там же, за столом следователя, озарилось все за секунду, и не следователь подсказал, а я сам вдруг увидел, дорисовал,— когда я понял, как Кирилл все устроил, уговорил бедную дуру, обманул нас, скрывал, лицемерил, меня схватило и стало душить чувство, еще более непереносимое, чем страх. Это было чувство ужасающего стыда. Потому что все-таки — я! Я, я и никто другой! Не Кирилл, а я сидел перед столом следователя, и молодой человек задавал мне вопросы, глядя с холодноватой и тайной брезгливостью. О, я это отлично чувствовал! И если бы не я, целиком я со всеми моими потрохами, а какая-то часть меня, какой-то Кирилл сидел перед столом следователя, я бы никогда не почувствовал той брезгливости, не испытал бы того стыда и боли.

На улице я, как больной, думал вслух. Ну и прекрасно. Ну и замечательно. Подонок, ничтожество, дождался? Не-ет, пускай будет суд, пускай тебя вытащат, скотину. Не мог воспитать единственного сына, жалкое существо, старый идиот... Бежал домой, чтобы что-то сказать, спросить — что? О чем спрашивать, что говорить?

Рита была дома, Кирилл еще не вернулся. Рита все

знала. Он ей сказал. А мне что же — узнавать через прокуратуру о том, что происходит в собственном доме? Может, я уже не член семьи? Тогда скажите об этом. Поставьте в известность. Я соберу чемодан и уеду.

Рита очень спокойно: «Да, мы решили тебе не говорить. Ты начнешь буйствовать, волноваться... А тут надо не кричать, не ругаться, а думать — как и что... Он поступил отвратительно, все верно, но надо выручать. Просить Меченова, Рафика, Геру, кого угодно, потому что парня выкинут из института. Сначала спасать, потом — судить». Нет! Нет! Сначала судить! А спасается пускай сам! Она мне что-то протягивала. «Успокойся, потом поговорим. Прими элениум». И я заметил в ее взгляде ту же холодноватую, почти казенную брезгливость, что и у следователя. Она ушла в свою комнату. Я заперся в кабинете.

Наконец через несколько часов пришел Кирилл. Я тут же позвал его. Он зашел с сигаретой, сел на диван и, нагло улыбаясь, уставился на меня. Прежде всего я вырвал у него изо рта сигарету и выбросил ее в форточку. «Это что должно означать?» — спросил он. «Должно означать, что сегодня я был...» — «Знаю! У Василия Васильевича». — «Какого Василия Васильевича?» — «Ну, следователя, Катеринкина». — «Откуда ты знаешь?» — «Я же у него свой человек. Четыре раза вызывали». — «Да? — спросил я грозно. — Четыре раза?» На самом деле мой запас иссяк, и я сказал — ничего не получалось иначе — постыдным, укоризненным голосом: «Ну, ты понимаешь хоть, что ты негодяй? А?» — «Конечно, папа. Чего же не понимать? Понимаю». Он склонил голову удрученно и легко. Я видел, что дураченье меня продолжается. Вдруг он вскочил с места, подбежал к столу, где лежал маленький транзистор, и включил его. Диктор что-то тараторил. Лицо Кирилла озарилось радостью, он хлопнул в ладоши и прошептал: «Ура, ура!» Я подошел, вырвал из его рук транзистор и выключил его. «Вот что, говорю с тобой последний раз и совершенно серьезно. Выкручивайся сам! Понял?» — «Ладно, папа, — сказал он. — Вас понял. Ты только не волнуйся». Я возмутился, и одновременно мне стало дико смешно. «Да не я должен волноваться, а ты, ты! Ты должен волноваться!.. Глупый тип!» — «Я понимаю, папа. Я и волнуюсь. Но ты не должен волноваться. Все будет нормально, не думай ни о чем. Принести тебе воды?» — «Пошел от меня прочь!» — закричал я. Он выскочил из кабинета прыж-

ками волейболиста. А я остался лежать на диване. Как жалкий, раздавленный таракан. И это было окончательным доказательством того, что там, перед столом следователя, сидел я, а не он.

Потом я действовал: выхода не было. У шахматистов это называется «цугцванг». Все ходы вынужденные. Над дураком нависло исключение. Я бросился к Рафику и через него — к Меченову. Оказалось: «У вашего любезного сына слишком много прегрешений. Он до сих пор не сдал зачета по физкультуре. В первом семестре пропущено двадцать два академических часа без уважительных причин». Пришлось обращаться к Гартвигу, приятель которого, бывший секретарем приемной комиссии, стал шишкой в ректорате. Рита почему-то не хотела звонить Гартвигу. А со мной Гартвиг был очень холоден и сказал, что с приятелем поговорит, но за успех не ручается: потому будто бы, что его, гартвиговский, кредит в том доме пошатнулся. Я не стал выяснять, в чем дело. Кто-то мне сказал, что у Гартвига неприятности в институте и ему вроде бы даже грозит увольнение. Ну, следовало ждать. Я нисколько не удивился. Но все же Гартвиг, по-видимому, позвонил, и содействие его приятеля помогло: Кирилл остался. По комсомольской линии он получил строгий выговор с предупреждением. Я заставил его отвезти сто двадцать рублей Нюре, в загородную больницу Мурашково, привезти от нее расписку, а икона застряла в недрах органов правосудия в ожидании своего часа — лечь на стол вещественных доказательств. Но дело не в этом. Дело совершенно не в этом! Когда все кончилось, наступила тоска. Вот в чем дело. Мы больше не ругались с Ритой, мы просто обменивались мнениями. Она говорила: «Когда три эгоиста живут вместе, ничего хорошего быть не может».— «Да, но у каждого эгоиста есть выход,— говорил я.— Найти доброго человека, который будет ему все прощать».— «Это такая волынка — искать доброго человека. Я устала. Я уже старая женщина».— «Ничего, охотники на тебя найдутся». Так мы разговаривали за завтраком, а Кирилл сидел тут же и читал газету.

Утром пришел Атабалы с банкой молока. Я еще лежал, разбитый после бессонной ночи. По всем признакам был подскок давления. Может быть, оттого, что близка перемена погоды, к холоду или к еще большей жаре, а может, переработался, мозг устал, нужна пауза.

Попросил Атабалы позвать Валю, медсестру, если еще не убежала на работу, измерить давление.

И узнал новость: Валя — приемная дочь Атабалы. В сорок пятом они взяли ее, трехлетнюю, из детского дома. Родители неизвестны, ничего неизвестно, кроме того, что она откуда-то с Украины. Валя прибежала с аппаратом тотчас. Какая добрая девушка! Не так уж плохо: сто сорок на девяносто пять. Я приободрился, даже забормотал какие-то пошлости: «Валюша, одно ваше присутствие действует, так сказать...» От ее халата слегка пахло карболкой, но от рук, прикасавшихся ко мне, когда она закатывала рукав рубашки и прилаживала аппарат, и от ее лица, близко склоненного, с выражением величайшей детской сосредоточенности — точно это была игра, а не работа,— я ощущал свежий, телесный запах и подумал, что еще года три назад не упустил бы возможности, приударил бы, взвинтился бы от одной близости молодой женщины, но теперь внутри меня сидел страх.

Валя сказала строго:

— Вам надо лежать. Нижнее девяносто пять — это много.

— Да что вы! Для меня это отличные цифры. Даже хочется ухаживать за красивыми девушками...— Я взял ее за руку в тот момент, когда она поднималась со стула, и она снова села. Увидел, что она покраснела. Держа ее за кисть, положил невзначай руку на ее колени. Она могла быть дочерью: разница лет двадцать. Ровесница моему первому сыну.

— Ну и глаза,— сказал я.— Ну и синие.

— Вечером принесу вам лекарство,— сказала она хмурясь.— Что принести, резерпин или раунатин?

— Все равно. Только обязательно.

Она встала с тем же суровым видом, вышла через маленькую терраску в сад и, проходя под окном моей комнаты, посмотрела на меня, улыбнулась и сказала, грозя пальцем:

— А вы не вставайте!

Я лежал некоторое время, глядя в раскрытое окно, где сквозь зелень накалялся день, и думал о Вале, о том, как ловко и быстро все сделала с аппаратом, и о том, что если бы такое существо было рядом... А что еще нужно? Вот только странно, что ночью к ней рвался этот недотыкомка Назар. Вдруг вспомнилась моя первая жена Вера. С нею было хорошо месяца два, она была такая же плотная, синеглазая, с крепким телесным запа-

хом, играла в гандбол за студенческую команду. Но потом оказалось, что не понимает ясных и скучных вещей, объяснять каждый раз было тягостно, лучше молчать, молчали утром, днем, вечером, когда ложились спать, когда ехали в поезде, в двухместном купе. И разлука была такой же спокойной, ни одного лишнего слова, как и двухлетняя жизнь. Не о чем было говорить. Рита показалась мне Шехерезадой. В первые годы с Ритой разговаривали ночами напролет: обсуждали знакомых, родственников, книги, фильмы, фантазировали, спорили бог знает о чем. На Ритиной работе все время происходили разные истории, кипели страсти, и Рита мне все рассказывала в лицах, с возбуждением, и я должен был давать советы, выносить суждения и сочувствовать. Но главное, что было в Рите, при всех ее качествах и невозможностях,— она понимала, что я такое, как я задуман и что из меня получилось. Даже в тот последний день, когда произошла ссора из-за жировок и Рита сказала, что я профессор Серебряков, что она всю жизнь надеялась на *что-то во мне*, но ничего нет, я пустое место, профессор Серебряков, я это услышал и не взорвался, потому что в ее словах была боль, истинная боль, которую я почувствовал. Профессор Серебряков тоже человек. Зачем уж так презирать его? Он не гангстер, не половой психопат, он хотел жить, любил женщину, посвоему, в меру своих сил, и годами без устали занимался одним — писал, писал, писал, писал. Тем же, чем занимался я. Но нельзя же корить людей тем, что они не Львы Толстые, не Спенсеры. Всего этого я ей не сказал, когда услышал про профессора Серебрякова, потому что говорить было ни к чему: решение созрело. В тот день на языке вертелось дурацкое двустишие, которое я сам придумал. Люблю дурацкие двустишия, вроде такого, но это мое старое: «Он играет в банде роль, посылает бандероль». Риту всегда эти шутки раздражали: «Тратить серое вещество...» Не понимала, что человеку, который всю жизнь занимается игрой в слова, это вроде разминки.

Утром был спор из-за жировки, которую я забыл оплатить, и Рите в ЖЭКе не дали какой-то справки, она пришла разгневанная. Я ходил и бормотал: «В доме повешенного не говорят о веревке, в доме помешанного не говорят о жировке...» Это двустишие я и сказал ей в ответ на профессора Серебрякова. Кирилл, услышав из соседней комнаты, закричал весело: «Как, как? Папа, повтори!» Через некоторое время я им сообщил о своем

решении. Чемодан был собран. Кажется, они не приняли мои слова всерьез, да я и сам не до конца верил собственным словам. Рита заметила ядовито, но спокойно: «Ага, теперь понятно, почему жировка не была оплачена».— «Нет,— ответил я тоже спокойно,— я просто забыл. Жировки будут оплачиваться в срок». Они продолжали мне не верить. Я тоже себе не верил. Кирилл смотрел на меня, улыбаясь как-то криво и снисходительно. Однако я попрощался, взял чемодан и вышел на улицу. На остановке такси, как всегда в этот час, стояла очередь, и я продрог в своем плаще, было морозно, как будто не март, а февраль. В такси по дороге в гостиницу «Варшава» — где остановился Мансур — я бормотал: «В доме повешенного не говорят о веревке, в доме помешанного не говорят о жировке...»

Все же мысли о Вале как-то утешили, я вдруг подумал, что до конца еще далеко, и решил сегодня не работать, дать голове отдых. Вышел в сад. Земля на дорожке была мягкая от цветов акации, они липли к ботинкам, воздух был душен, и это значило, что зной нависал, в городе могло быть все сорок.

Шел в глубину сада, где был виноградник и где прямо из виноградника, выбитая в скале, поднималась в гору тропа. Было жарко, хотя я шел тенью: сначала под сводами старых чинар, им лет по полтораста, вокруг них текучая мгла, земля пуста, все забито исполинской силой, потом — под высокими яблонями, грушами, в тени акаций и американского клена. Атабалы сказал, что плодов в нынешнем году будет мало: нашествие тли. Маленькие черные мошки облепили ветви, стволы, беленные известью стены домиков. Садятся на белое. Моя белая рубашка вся в черных точках, а станешь смахивать — остаются следы. Зима была теплой, сказал Атабалы, без снега, и вся эта дрянь не вымерзла.

Сидели на каменной скамье, у подножия тропы в гору, и разговаривали. Он сказал, что звонил Мансур, сегодня приедет. Просил растопить баню. И с ним приедет товарищ Мергенов.

— Атабалы, сколько же у вас детей? — спросил я.

— Ай, много. Одиннадцать.

— А сколько было, когда Валю взяли из детского дома?

— Три. Еще мало.— Он засмеялся.— Если бы много было, не взяли тогда!

Но по его лицу, улыбке — в сухом, глянцевито-ко-

ричневом рту сверкнули белые до синевы, молодецкие зубы — увидел, что взяли бы все равно. Жаловался: с маленькими трудно и с большими тоже. Четыре старших дочери повыходили замуж, живут отдельно, но у каждой своя беда, надо помогать. Одна болеет, другая хочет работать, муж не пускает, у третьей ребенок хилый, в болячках, и не знают, как лечить. У Вали был муж осетин, работал буфетчиком в Тохире, но жить не смогли, ревновал ее, как зверюга, бил, запирал на замок, и так и расстались, он уехал в Бахарден. Плакал, говорил: «Не могу с тобой жить, зарежу кого-нибудь, лучше уеду». Теперь пристают всякие, говорят: «Гуляй со мной!» — а ей какой интерес, она девушка хорошая, как туркменка воспитана. Не смотрит на мужиков. Назарка стучался ночью, жениться хотел, конфет три кило купил, она сказала: «Гони его, папа, фулюгана, черта, своей метлой!» Она Мишку любит, осетина. Что ж делать, если жить нельзя?.. Товарищ Мансур Гельдыевич тоже, как приедет, всегда просит: «Пускай Валя постелю принесет!» Она, пожалуйста, принесет, а больше ни-ни. Потому что — нет, нельзя. Товарищ Мансур Гельдыевич сердился. Зачем, говорит, на территории дачи работников культуры такой некультурный деревенский дом, дети бегают и тряпки висят? Семья, говорит, у тебя слишком большая. Гостям смотреть некрасиво. Они отдыхать хотят, а твои дети плачут и козы гуляют, как в ауле. А без коз и без коровы Атабалы никак невозможно, детей не прокормишь.

Нужно было ему идти, но, как всегда, встретясь со мной, усаживался надолго и говорил, говорил. Обычно я прерывал его какой-нибудь полувопросительной фразой: «Ну, что ж, пойти поработать?..» — «Ага! — кивал он охотно и улыбался.— Работа ишаков любит!» И мы расходились: он к своим кетменям, грядкам, я — в дом, к столу. Но сегодня решено было сделать паузу, и я не прерывал его. Не знаю, отчего так любят со мной разговаривать. Наверное, оттого, что я терпелив. Они там говорят, а я киваю и думаю про свое. Вот слушал его и думал: Толстой прав наполовину, все счастливые семьи счастливы одинаково, это верно, но и несчастные семьи тоже ведь, боже мой, несчастливы как-то однообразно. Да и сам он рассказал такую стандартную историю: муж, любовник, свекровь... Эгоизм? Это — недостаток любви. Несчастья происходят от этой однообразной причины. Однако может ли человек, у которого

одиннадцать детей, быть эгоистом? Немыслимо же! При всем желании, при любых врожденных качествах это было бы невыполнимо.

Атабалы что-то опять рассказывал про коров. Любит вспоминать про коров: как их трудно было держать при «Кель», плешивом начальнике. Было лет пять назад, но не мог забыть.

Тогда мы отдыхали под Одессой. И Арутюняны были на своей машине.

«Кель» приказывал, а милиционеры были знакомые, предупреждали: завтра приедем. Делайте, как хотите, угоняйте, убивайте. Два месяца прятали корову в ущелье. Траву носили ей на себе, пять километров в горы. Одну остановку на автобусе и потом — наверх, спасли. Потом «Кель» пропал, слава аллаху. Ну, ну, это очень интересно. Арутюнян расхаживал в шерстяных плавках с белым поясом по пляжу и говорил: «Процесс необратим...» Рита и жена Арутюняна ездили в Одессу на толкучку и покупали барахло. Если бы у меня было хоть четверо детей, если б Рита работала и если бы мы держали корову — каким бы я был замечательным человеком! Как только приедет Мансур, нужно взять его за горло: пускай одолжит рублей триста, потом с издательством рассчитается. Все-таки нету совести. Знает, что сижу без гроша, надо слать в Москву, и делает вид, будто его не касается.

— Значит, Мансур хотел вас выселить?

Было сладко услышать о Мансуре что-нибудь неприятное. Он мой друг, выручает всю жизнь, дает работу, но временами я его ненавижу. Мансур не ведущий поэт, местные литераторы относятся к нему иронически, но он удивительно везуч и ловко умеет устраивать свои дела.

— Мансур Гельдыевич приехал два дня, суббота, воскресенье, обратно просил: «Пускай Валя постелю принесет!» Утром злой идет. От твоей кухни, сказал, запах по всему территорию, надо тебя убрать окончательно. А в райсовете сказали: «Язгуль — мать-героиня, никто не выселит, не беспокойся». Ха-ха! — Он смеялся, сверкал зубами. Потащил саксаул. Я понял, что его жизнь необыкновенно трудна, почти идеальная в этом смысле, и он счастливый человек.

Когда жара спала, в пятом часу пошел в чайхану обедать. Маленький Назар стоял при входе на каменных ступенях и высокомерно разговаривал с горбатым человечком, у которого было скучное, интеллигентное лицо

с черной бородкой и черными усиками. Лицом горбун напоминал какого-то из испанских королей. Когда после плова и пиалы чаю я выходил спустя четверть часа из чайханы, Назар и горбун ссорились и было похоже, что затевается драка. Вокруг стояли зрители. Некоторые садились на корточки, чтобы уютней смотреть. Мне сказали, что горбун — курд, его зовут Саша, он тоже большой драчун. Назар внезапно толкнул Сашу, и тот упал. Зрители сказали: «Ва-ах...» Я вспомнил, как говорил Атабалы: «От него падаешь, как все равно с ишака — головой в землю». Этот коротышка Назар занимал меня. Может быть, потому, что он хотел жениться на Вале и купил с этой целью три кило конфет. Я рассматривал: на нем была бумажная, дешевая рубашонка навыпуск в каких-то цветочках, сатиновые брюки, темно-красные бумажные носки и босоножки из кожзаменителя. Он поднялся по ступеням и встал на прежнее место у входа в чайхану. В его глазах, смотревших на всех нас сверху вниз, что-то пылало.

— Почему дрались? — спросил я одного парня.

— Ай, делят, чего нет...— сказал парень презрительно.— Она ни тому, ни этому. А он ему сказал. Ну, и поругались.

Никто не заметил, как снова возник Саша с ножом в руке, он приближался, шатаясь, к крыльцу чайханы, люди шарахнулись, но Назар стоял неподвижно и смотрел на горбуна. Потом юркнул в дверь и через минуту вернулся, держа громадный кухонный тесак. Люди засмеялись. Назар стоял на верху крыльца, напыжившись, расставив свои крепенькие ноги гнома, и держал кухонный тесак, как алебарду. Саша плюнул, махнул рукой и ушел. Все стали громко хохотать. В это время к чайхане подъехал с дребезгом и остановился автомобиль, хлопнула дверца, и я увидел своего друга Мансура в белом костюме и белой соломенной шляпе.

— Салам! Салам! — Мансур поднимался по ступеням крыльца, вельможно помахивая рукой и кивками приветствуя хохотавших людей.

Назар, выпучив глаза, заорал:

— Товарищ Мансур Гельдыевич — ура!

Меня Мансур не заметил. Я ждал, пока он выйдет. В машине на заднем сиденье был еще кто-то. Через некоторое время Мансур появился, неся авоську с тремя бутылками коньяку.

— Бензин заправку сделать забыл,— объяснил он

стоявшим вокруг крыльца людям.— Мотор дальше не идет... Тссс! — Как обычно, не хохотал, а тоненько хихикал, прыскал сквозь зубы. И это «тсыканье» означало, что настроение отличное, пищеварение в порядке, дела идут хорошо и виды на будущее еще лучше.

Увидел меня, посадил в машину, и мы прокатились метров пятьсот вверх по тенистой улице. Телеграммы не было. Никто не звонил. Вместе с Мансуром прибыл огромный человек по фамилии Мергенов, начальник треста ресторанов и столовых, друг Мансура: в воскресенье должно состояться открытие ресторана «Чинар», и товарищ Мергенов приехал, чтобы лично присутствовать. Когда он вылез из машины и распрямился, я увидел нечто каланчеобразное: рост не менее двух метров, холм живота обнимали полотняные штаны какого-нибудь шестьдесят четвертого размера, гигантские руки-лопаты, и при этом — небольшая голова полированным и сверкающим под солнцем коричневатым яйцом, напоминающая гладкостью щек и большим ртом голову чудовищного младенца. Товарищ Мергенов мог бы играть в детском театре Идолище Поганое. Вскоре выяснилось, что он деликатнейший милый человек. Он тотчас после обеда лег спать, а Мансур прослушал две главы своей поэмы «Золотой колокольчик» — все двенадцать глав слушать было ему недосуг, перенесли на вечер — и побежал в «Радугу», министерский дом отдыха, где отдыхал какой-то нужный ему человек. Я не обижался на то, что Мансуру некогда было слушать собственную поэму в моем переводе, эти ворохи строк, в которых были мои одышки, находки, придумки, издыхающий мозг. В порядке вещей. Я к этому привык. Но взорвало меня другое. Когда я сказал: «Ладно, беги. А как там с деньгами?» — он ответил небрежно, на ходу:

— Слушай, закончим дело — тогда будем говорить...

И даже звякнуло раздражение. Вот, мол, бестактность: пристают с деньгами. Меня как будто шлепнули по щеке. Я закричал:

— Как — поговорим! Да ведь ты обещал привезти деньги сегодня! Да черт вас дери совсем! — орал я в беспамятстве.— Ты можешь понять, в каком я сейчас положении? Я должен посылать в Москву! Именно сейчас я не могу задерживать! Наши приятельские отношения тебя избаловали! А я переводчик первого ранга! Меня добиваются, за мной стоят в очереди! Ты понимаешь это?..

— Понимаю, понимаю, начальник,— кивал Мансур, совершенно спокойный.— Ты большой человек, я знаю... Не ругай нас, бедных кочевников...

— Не фиглярствуй!

— Слушай, не кричи, все сделаем. Возьми пока...— Он протягивал бумажку в двадцать пять рублей.— Дома ремонт начали, сами без денег. В понедельник пойдем... нажмем, сделаем...

— Нет, в понедельник ты купишь билет на самолет! Шиш я тут останусь!

Четвертная полетела на пол. Он ушел, успокаивающе махая на меня руками, как на больного, кивая и подмигивая и твердо зная при этом, что все кончится благородно: я никуда не уеду, пока он не выжмет меня до капли. Ведь я в капкане. И все движения, которые я делаю будто бы независимо, на самом деле движения существа, находящегося в капкане. В радиусе не длиннее собственного хвоста. Я поднял четвертную и положил на стол. Потом лег на кровать, сунул под язык таблетку валидола — сердце заныло — и лежал с закрытыми глазами час или полтора.

Солнце краем вползло в комнату. Это значило, что наступил вечер. За перегородкой затрещала кровать — громадный человек проснулся, трубно вздыхал, сопел, потом сказал: «Ай-вай-вай...» — снова затрещала кровать, протопали тяжелые ноги, ударила дверь, ушел. Теперь, когда я лежал в полной тишине и одиночестве, я понял, что безобразное орание из-за денег — вовсе не из-за денег. Все-таки я надеялся на известие. Я — не они. Молчание неестественно, даже если все кончено, потому что когда человек звонит вдруг на рассвете и говорит, что болен, пускай даже чужой человек, бывший родственник, надо быть уж совсем скотами, чтобы тупо молчать девять дней. Впрочем, Кирка пригрозил как-то: «Ладно, вот убегу из дома, а тебя хватит инфаркт. Потому что я могу жить без тебя, а ты без меня — не можешь». Поганец, сказал правду. Там что-то случилось. Черт с ними, позвоню и узнаю.

Я ходил по комнате, бормоча: «В доме помешанного не говорят о жировке, в доме повешенного...» Стало легче оттого, что принял решение. Вдруг пришла Валя. Совсем забыл, что она должна принести лекарство. Я сел на кровать, к столу, она измерила давление. Немного повысилось: сто пятьдесят на сто. Ага, «кондратий» все ближе. Вот что значит поволноваться.

— Вы работали сегодня? — спросила Валя.

— Бездельничал.

— А выходили из дома? Гуляли?

— Немного.

Валя морщила лоб, глядела на меня с напряжением и, как видно, собирая воедино все свои небольшие познания о гипертонии и сердечных болезнях. Она была не в халате, а в белой нарядной кофточке и в синих нейлоновых брюках, плотно облегающих. Наверное, здорово жарко в этих брюках. Но зато выглядело элегантно. Я заметил, что и прическа не та, что утром.

— Вы куда-то собрались? — спросил я.— В кино?

— Нет, я сегодня дома буду.

Она сидела, положив одну синюю ногу на другую, и у меня не было никакого желания притронуться к ее коленям или взять за руку, как было утром. Резерпин она положила на стол, аппарат спрятала, но почему-то не уходила. Я не знал, чего мне хотелось: чтобы она ушла или осталась. Разговаривать было вроде не о чем. Она молчала, я тоже молчал. Игра в молчанку была как раз ей по возрасту. Я думал: сегодня позвонить уже не удастся, почта до пяти. Завтра с утра. Никаких разговоров. Просто узнать: все здоровы? Прекрасно. Повесить трубку. Всего этого уже не существует в моей жизни, но должен быть порядок.

— Да...— сказал я после молчания.— Между прочим, знаете что, Валя? Я видел вашего кавалера.

— Какого это кавалера?

— Ну, этого маленького. Который ночью приходил с конфетами.

— А! Назарчика? — Она засмеялась, и ее лицо вдруг стало оживленным и милым.— Он пьяница, все его угощают, бедного, и он шатается каждый день. А ему пить нельзя. Здоровье не позволяет. Недавно два ребра сломал, влезал через форточку в свою комнату, ключ потерял. Мы его в больницу возили. Вообще он сирота, один живет, как собака бездомная. Я его жалею, дурачка, а он и вправду подумал...

— Что? — спросил я, зевая. Началась одышка, как всегда вечером, от переутомления. Но ведь сегодня я не работал.— Жениться предлагает?

— Не жениться, а так: защищать меня хочет. Если, говорит, кто тебя обидит, ты мне скажи, я его бить буду. Умора!

— А-а! — Никак не мог глубоко, всеми легкими вздохнуть.— А вы что же... не согласны?

Она молчала, глядя, как я ловлю губами воздух. Когда наконец успокоился и вздохнул, сказала тихо:

— Зачем же мне такой чертик-защитник? Даже странно, как вы говорите. По-моему, я сама могу себя защитить.

Посидев еще немного, ушла.

Вскоре ворвался Мансур, стал тащить меня в соседний домик, где товарищ Мергенов и работники ресторана отмечали канун торжественного события — открытия сезона в ресторане «Чинар». Да я-то при чем? Все хотят меня видеть. Немедленно доставить живого или мертвого. Товарищ Мергенов приказал. Мансур был заметно пьян, хлопал меня по плечу и кричал: «Мой повелитель! Кто вы и кто я?» Он делал страшную гримасу, зажмуривал глаза, кривил рот и показывал, какое он ничтожество: держал перед носом двумя пальцами невидимого комара. Обычное юродство, к нему я тоже привык. И все-таки, если будет нужно, он меня выручит. В том-то и дело: он добрый малый, несмотря ни на что. Я знаю его сто лет, это точно. Да господи, он лучше многих, гораздо лучше, о чем говорить! Там все были навеселе: товарищ Мергенов, два пожилых лысых человека, похожих, как братья, директор ресторана, и его заместитель, и три официантки, которые заливались хохотом, когда я вошел, и муж одной из официанток, капитан с погонами войск связи. Перегнувшись ко мне, капитан прохрипел в ухо: «Тринадцать лет среди этих милых лиц...» По-видимому, тут было окончание долгого обеда. Вдруг пришел Назар. Все восклицали: «Ура, Назарчик!» Коротышка каждый год летом работал швейцаром-вышибалой в ресторане «Чинар», и это были лучшие месяцы его жизни.

— Назар, пойди Валю найди! Скажи, Мансур Гельдыевич зовет, шампанское есть, кролик есть...

Назар убегал, возвращался один. Почему не хочет? Как такое — не хочет! Скажи, Мансур Гельдыевич заболел, сердечный приступ, помогать нужно. И — падал на кровать так, что все тряслось, и, махая на себя полотенцем, кричал:

— Уй-уй, сейчас умираю! Скорее доктора! Хочу доктора!

Товарищ Мергенов и оба директора хохотали, официантки пели, я выпил рюмку коньяку, потом еще одну

и вышел на улицу. Было совсем темно. Я чувствовал себя прекрасно, дышалось легко, но радости не было. Вчера ночью была неясная, ночная радость, а сегодня — ничего, пусто. Мог бы сейчас же все бросить и уехать куда-нибудь. Перевалить через горы на север. Там, за горами, были пустыни, степи, леса, прохлада. Я болен. Если б я был здоров, мне бы хотелось жить дальше. Не знал, куда себя деть. Ходил туда-сюда по ночному саду, добрел до виноградника, оттуда дорожкой вернулся мимо персидских домиков и пришел в свою комнату. Не раздеваясь, лег в постель. Пение и крики были слышны минут двадцать, потом затихло. Я услышал легкие шаги бега под окном, дверь отворилась, в комнату бесшумно скользнула Валя. Спросила шепотом:

— Можно? Это я... Вы не спите? — Она тихо смеялась, но без всякого смущения, возбужденно, как заговорщица.— Я спрячусь тут?

— Валяйте. От кого это вы?

— Да ну! Мансур Гельдыевич гоняется. Завтра будет прощенья просить, а сегодня себя не помнит. А Назарка его убить грозится, тоже дурачок...

Откуда-то издалека раздались крики: высоко, истошно, как кричат во время драки или скандала. Прислушались, но понять было нельзя.

— Вроде отец кричит,— сказала Валя и спросила: — Можно, я свет погашу? А то увидят и прибегут.

— Да не бойтесь вы. Ну, погасите.

— Я потом зажгу.

Она щелкнула выключателем настольной лампы. Обозначились звезды в окне. Что делать в потемках? Стали разговаривать о том о сем. Она рассказывала про своего отца, про то, что три года назад нашлась настоящая мать, живет в селе Григоровка Черниговской области, Валя туда ездила, и мать очень просила остаться и жить с ней — там очень чудесно, большая река, и живут хорошо, муж матери, не отец Валин, а отчим, работает ветеринаром, своя машина «Победа», а мать больная, ноги опухают, работать по хозяйству почти не может — надо бы остаться и помогать, да сил не было бросить родных здесь, в Тохире. Мама Язгуль очень плакала, когда узнала, что нашлась родная мать. Та приехала тайком. Валю отыскала тайком и потом деньги прислала до востребования, чтобы Валя приехала в Григоровку. Наверно, она хорошая женщина. Только ведь жизнь прошла без нее. Родные люди — кто добро делает. А уж

сколько папа и мама Язгуль добра сделали Вале! Школу окончила, каждое лето в пионерлагере, потом на курсы медсестер, потом свадьбу с Мишкой устроили в «Чинаре» на сорок пять человек. Всегда с Мишкой мирили. Что ж делать, если так вышло... И я стал рассказывать про свою жизнь. Она знала многое от отца: я успел что-то наговорить.

— Вы еще не старый,— сказала Валя.— Какой же вы старый?

— Старый, старый,— сказал я.— Я-то знаю.

— Что вы! В вас еще девушки будут влюбляться.

— Старый, потому что... Понимаете, Валя, вот ваш отец садовник, отчим ветеринар, вы медсестра. А я всю жизнь куда-то карабкался, карабкался. Старость оттого, что устаешь карабкаться. Какая-то мура, понимаете?

Понять было невозможно. Но она поняла.

Я почувствовал, как ее пальцы нашли мою руку и несильно сжали. Такое скромное, тимуровское пожатье: так пионеры ободряют одиноких стариков, навещая их вечерами, после уроков.

— Знаете что? — сказал она.— Вы не огорчайтесь. У вас все будет хорошо. Ну, гипертония, ну, ничего.

— Да я не так уж огорчаюсь.

— Совсем не огорчайтесь! Сын вас любит. И жена любит. Куда они без вас? Никуда ведь не денешься. Вот мы с Мишкой расстались, а знаете...

Хорошо, что темнота. Мне было не по себе.

— Что? — спросил я.

— Куда ж я уеду, если он здесь, в Бахардене? Все равно я к нему прибегу, правда же?

Хорошо, что полная ночная тьма и она ничего не видела. Что-то она шептала, я потянул ее за руку, она села на кровать, потом сбросила туфли, потом легла рядом, голову положила на мою руку, я обнял ее. Кто-то кричал вдали: «Ва-ля!» Еще что-то кричали по-туркменски. Она всхлипнула едва слышно или засмеялась. Я обнял ее крепче. Она гладила мою голову. Такое доброе, шелковое, родное. Добро имеет губы, шею, его можно обнимать. Ну вот, и незаметно лодка ударилась носом в песчаный берег, ее стало сносить течением, но я успел выпрыгнуть, коленями и руками вжался в травяной склон, напрягся, выпрямился, встал на ноги, железная цепь была у меня в руке, и я, повернувшись, легко втащил лодку на берег. Рита перешагнула через скамейку, встала на нос, я подал ей руку, и она сошла на землю.

Со стороны леса восходила туча. Тело тучи было пухлым и пепельно-серым. Мы плыли сюда, в бухту, издалека, это было наше место, нигде лучше нет купания на всей реке, но этого никто не знал, кроме нас. Мы с Ритой открыли эту бухту, держали ее в секрете. Вода здесь была чистой и теплой, всегда градуса на два теплее, чем в реке. Наверное, тут был где-то теплый ключ. Рите уже запрещали помногу плавать. Но когда она шла в воду, осторожно ступая своими длинными ногами, никто бы ничего не заметил. Был ветер, и небольшая волна все время нас похлестывала, когда мы смотрели в сторону противоположного берега, следя за тучей, поэтому мы повернулись туда затылками и упустили минуту, когда туча вдруг быстро надвинулась и настали сумерки. Вода была замечательно теплая. Когда ливень ударил, воздух сразу похолодал, но вода оставалась теплой, и мы, держась за руки, отталкиваясь от песчаного дна, выпрыгивали из этой теплой воды навстречу стегавшим водяным струям и хохотали, как безумные, а все кругом было скрыто падающей стеной воды, шумящей и непроглядно-белой, как туман. Скоро мы озябли, перестали выпрыгивать и старались отсидеться в воде, она все еще была теплой, а воздух исчезал, нечем было дышать. Вода душила нас. Все та же лестница, на которой я задыхался, еще одна ступень, еще усилие, зачем-то надо подниматься все выше, но воздуха не было.

В Москве люди ходили в пальто. Шофер такси сказал, что холода и дожди весь месяц, сады померзли, на рынке молодая картошка полтора рубля килограмм. Я отвертел стекло и с радостью вдыхал сырой воздух. В июле Кирилл уехал со студенческим отрядом в Новгород, а мы с Ритой в конце июля взяли путевки на Рижское взморье, поехали немного раньше, пожили в гостинице, а с августа поселились в доме отдыха. Август стоял прекрасный, солнечный, нежаркий и без дождей. Я гулял по многу часов. Балтийский климат, как всегда, действовал целительно: я дышал глубоко и ровно, давление пришло в норму, и в конце нашего пребывания я даже достал ракетку и немного играл в теннис.

1970

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

◆



В те времена, лет восемнадцать назад, на этом месте было очень много сирени. Там, где сейчас магазин «Мясо», желтел деревянный дачный заборчик — все было тут дачное, и люди, жившие здесь, считали, что живут на даче, — и над заборчиком громоздилась сирень. Ее пышные формы, не в силах удержаться в рамках заборчика, переливались на улицу. Тут было неистовство сиреневой плоти. Как ее ни хапали проходившие мимо, как ни щипали, ни ломали, ни дергали, она продолжала сохранять свою женственную округлость и каждую весну ошеломляла эту ничтожную, пыльную улицу цветами и запахом. Когда она цвела и стояла вся в пене, она была похожа на город. На старый город у моря, на юге, где улицы врезаны в скалы, где дома лепятся друг над другом, на город с монастырями, с извилистыми каменными лестницами, где в тени на камнях сидят старухи, продающие шкатулки из раковин. Она напоминала старый город в час сумерек.

Но, впрочем, все это было давно. Сейчас на месте сирени стоит восьмиэтажный дом, в первом этаже которого помещается магазин «Мясо». Тогда, во времена сирени, жители домика за желтым дачным заборчиком ездили за мясом далеко — трамваем до Ваганьковского рынка. А сейчас им было бы очень удобно покупать мясо. Но сейчас, к сожалению, они там не живут.

Когда приехали в Саратов, все было вначале очень скверно: поселились в плохой гостинице, стояла жара, публика не ходила, все как-то разладилось, актеры болели, и Сергей Леонидович, не выносивший жары и плохих гостиниц, укатил в Москву, оставив вместо себя Смурного. Этот Смурный пришел в театр года два назад и сразу, как заметила Ляля, «положил на нее глаз». Но она отвергла его без колебаний, потому что

прошел слух, что он интригует против Сергея Леонидовича, хочет занять его место, а это казалось Ляле чудовищной подлостью. Подлых людей она терпеть не могла. Правда, она не знала в точности размеров подлости Смурного и как именно он интригует против Сергея Леонидовича, но люди говорили, что подлость имеет место, и Ляля каким-то особым чутьем, которому привыкла доверять, этим слухам поверила. Уж очень он был галантен, белолиц, глаза с поволокой и эта провинциальная манера гордым, резким движением головы отбрасывать назад волосы, падающие на лоб. Сергей Леонидович однажды смешно показывал, как — он наблюдал случайно — Смурный бежал своим быстрым, энергичным шажком-пробежкой один через пустое фойе, вдруг остановился у зеркала, поглядел на себя пронзительно и движением головы откинул волосы с такой горделивой сластью, что Сергей Леонидович, по его признанию, даже несколько обомлел. Сергей Леонидович умеет ведь показать убийственно. И ничего не скажет, а все ясно, портрет готов. Ну, и Смурный, разумеется, не забыл, что его отвергли, стал всячески вредить, зажимать, или, как говорят на театре, устраивать Ляле затир. А сам между тем прощупывал — ну как? Два спектакля он ставил, Сергей Леонидович болел, оба провалились; один тащился полсезона, другой и того меньше, но дело не в этом: в оба не взял Лялю. Одна роль была уж точно Лялина, всему театру видно, и все-таки умудрился не взять, пригласил стажерку из театрального училища. В общем, все было ясно. Подруги говорили: «Чего ты уперлась? Мужик уязвлен, согласись для смеха. Подумаешь, не убудет». Но у Ляли как будто что-то заколодило. Не то что согласиться, но даже просто сидеть с ним рядом в буфете и то не могла.

Было похоже: война на исходе, Ляле восемнадцать, сбилась веселая компания в Путниковском переулке у Аллочки Шлейфер, кто с фронта, кто из госпиталя, кто из эвакуации, из какого-нибудь Камышлова или Намангана. Все начиналось сызнова: надежды, песни, молодое рвение жить, стать, любовь и жалость ко всем, кто вернулся, долгие провожания через Москву, ночные подъезды,— и вдруг пришел один, седой, тридцатилетний, глаза белые, ясные, как хрусталь, он не просил и не звал, потому что все приходили к нему без зова. Сказал, что организует студию «Голубой ковчег». Ляле очень хотелось попасть в студию, ибо все было решено:

жизнь без театра не имеет смысла. Затея со студией, конечно, лопнула, но в нее верили долго. В то время были Яша и Лазик, она разрывалась между ними, жалела обоих: Яша появился раньше, в сорок третьем году, вышел из госпиталя, вся его семья погибла под Минском, он был старше на двенадцать лет, но неумелый, беспомощный, как ребенок, замечательный математик, а Лазик — поэт, хромой, потерял ногу под Ленинградом, сочинял песенки и пел изумительно под гитару. Но человек с седым бобриком и прозрачными глазами был совсем другое: от него зависела жизнь. Ляля не знала, как себя вести с ним. И была какая-то суббота, когда в громадной пустой Аллочкиной квартире (родители занимались важными государственными делами в побежденной Германии) набилось человек двадцать молодого сброда, и он вдруг вывел Лялю на лестницу и сказал тоном приказа, что они поедут сейчас к нему домой и он даст ей книгу, которую давно обещал. Ляля не могла вымолвить ни слова, и ее стала бить дрожь. Всю дорогу, пока ехали трамваем, незаметно дрожала и стискивала зубы, чтоб не стучали. Нет, ничего не боялась, дрожь была не от страха: билась ее мечта, «Голубой ковчег»! Он ни разу до этого ни о чем не говорил с Лялей и даже, кажется, не замечал ее. Ни о какой книге не было речи. Как только вошли в комнату, не успели зажечь свет и Ляля даже не сняла пальто, он схватил ее за плечи, почти опрокинул, грубо, по-хозяйски нашарил ртом ее губы, так что у нее все помутилось от гнева, и она стала его отталкивать, он не отпускал, тянул куда-то, боролись в темноте, она ударила его кулаком в лицо, должно быть сильно, потому что он вскрикнул от боли, она убежала. Два дня не выходила из своей мансарды на втором этаже, говорила, что больна, а на самом деле рыдала оттого, что жизнь кончилась, мечты не сбываются и людям верить нельзя, но на третий день вышла из дому, дошла до метро «Сокол» и купила мороженое — это была новинка, довоенная радость, впервые стали продавать свободно, хотя и по дорогой, коммерческой цене, но это значило, что карточки непременно отменят, прежнее счастье близко и новое недалеко,— наступило успокоение и душевная тихость, что всегда происходило внезапно, от совершеннейших пустяков. И она уже не жалела о рухнувшем «Голубом ковчеге», о том, что ударила пожилого человека в лицо и никогда больше не придет к Аллочке

Шлейфер. Но вспоминая и раздумывая о том, что случилось, узнала себя по-новому. Значит, думала она, самое страшное и невозможное — зависимость. Когда зависимость, тогда конец, тупик, не перепрыгнешь. Ведь когда ехала в трамвае, всеми силами смиряя дрожь, уже знала, что будет и зачем едет. Надо было решать. И там же, в трамвае, поняла: нет. Ошибок за недлинную жизнь было наделано много, но все это были ошибки чувств, но не ошибки расчетов. С тем человеком встретились через три года случайно в доме у одного Гришиного приятеля, и оба сделали вид, что незнакомы.

И так же, как тот, хрустальноглазый, Смурный нравился многим, особенно же еще молодым женщинам, которых всегда избыток после долгой войны. Могущество Смурного в театре с каждым месяцем росло, тем более что Сергей Леонидович хворал и подолгу отсутствовал. Было известно, что Смурный разошелся с женой, оставил ей большую квартиру, крайне благородно — взял пару белья и пишущую машинку (загадка: зачем ему пишущая машинка?),— что он в превосходном возрасте, тридцать восемь, и живет один в скромной комнатке у Красных ворот. Но всем, разумеется, было ясно, что будет у него и то и это, все блага жизни. Ляля мыкалась на седьмых ролях, и все-таки — нет, заколодило. Скоро он перестал смотреть в ее сторону и в Саратове, когда остался за главного, сунул ее в самую худшую комнату, на первом этаже, вместе с гримершей.

В Саратове шел спектакль, поставленный Сергеем Леонидовичем весною, где Ляля играла пустяки, два выхода, двадцать пять слов. Спектакль был серый, но не по вине Сергея Леонидовича, а по вине пьесы. Какая-то скукота о лесополосах. Поставили из-за темы. В газетах похваливали, но публика ходила вяло. Саратовские газеты писали о спектакле с особенным пылом, потому что автор — мало кому известный начинающий драматург Смолянов — был саратовец, вернее, теперь-то москвич, но детство и юность прошли в Саратове. Автор и сейчас, в дни гастролей, приехал в родной город, где жили мать-старушка и дочка, больная девочка, и однажды в понедельник, когда театр не работал, в жаркий июльский день пригласил всех актеров, занятых в спектакле, к себе домой на ужин.

Тот день начался с неприятности. Утром Смурный встретил Лялю в коридоре гостиницы и, не поздоровав-

шись — что было для него, мужчины воспитанного, фактом странным, — пригласил к себе в номер для разговора.

— Пять минут! — сказал он и как-то глупо помахал перед Лялиным лицом ладонью с растопыренными пальцами.

В номере Смурного, лучшем в гостинице и называвшемся «семейный люкс», где были занавеси из малинового панбархата, такой же панбархат лежал на овальном столике с графином, где имелся альков, тоже задрапированный малиновым панбархатом, в глубине которого что-то белело, и где смрадно пахло табачными окурками и одеколоном «Шипр», Ляля села к овальному столику, а Смурный исчез на секунду в алькове и тотчас вернулся, держа в руке бумагу.

— Вот полюбуйтесь, пришло вчера с московской почтой. Переслано из высшей инстанции. Адресовано-то было туда, но они переслали.

Ляля увидела несколько страниц, исписанных чернилами, и с ужасом узнала знакомый почерк — писала мать!

Вот оно, самое страшное, чего Ляля больше всего боялась. Мать добивается справедливости. Господи, ведь сколько раз было сказано, умоляла ее, стояла перед ней на коленях — чтобы не смела вмешиваться, чтобы никаких писем, жалоб! Любимое занятие: писать письма. Когда-то писала директору школы с требованием, чтобы письмо обсуждалось на родительском совете, писала в роно, потом, когда Лялю не приняли в театральное училище, писала в министерство. Она и дома, когда сердится на кого-то, выясняет отношения с помощью писем. Нередко Ляля, проснувшись, находила на своем столе страницы две, три, четыре, а то и больше, бывало до целой ученической тетради, исписанные крупными слитными строчками без знаков препинания: «Людмила ты должна знать что когда берешь чужую вещь ее необходимо возвратить не дожидаясь просьбы это неделикатно ты взяла мою черную меховую накидку...»

Подавив стон, Ляля придвинула к себе рукописные листки — сразу узнала большую счетоводческую книгу отца, из которой листки были вырваны, — и стала бегло читать, перескакивая через строчки. Читать подробно, вникая в каждое слово, не было сил. «Обращается мать молодой артистки... Еще в школьном драмкружке, которым руководил заслуженный артист... Шестой год

после зачисления в труппу... Неужели наша артистическая молодежь должна... До каких пор самовластье режиссеров...»

— Ну что я могу сказать, Герман Владимирович? — Ляля отбросила листки и с отчаянием взглянула на Смурного, который повис над столиком и смотрел на нее сверху с застылой улыбкой.— Писала моя мама. Я за нее, как вы понимаете, не отвечаю. К тому же она больной человек.

— Больной человек? По письму незаметно. Написано связно, обвинения серьезные, хотя и бездоказательные, то есть — клеветнические. Но написано хитро и кое-что между строк прочитывается. Больные люди на этакое не способны.

— Что между строк?

— Да вот здесь! — Он ткнул пальцем.— Пахучее местечко.

Ляля увидела фразу, которую при первом чтении проскочила: «...не пошла ему навстречу, после чего последовала режиссерская месть, оба спектакля, им поставленные...» О-о! Ну зачем же это? Зачем, боже мой, зачем, зачем? Теперь Ляля не могла поднять глаз на Смурного и тянула время, шевеля губами, делая вид, что с трудом разбирает почерк. Смурный терпеливо ждал, потом спросил:

— Ну? Хотелось бы услышать...

— А что я могу сказать?

Ляля взглянула — он не улыбался, глаза оловянно-строгие, губы пучком.

— Как — что? Позвольте узнать: что означает сей бред? Какая месть? Что за околесица?

— Я не знаю, Герман Владимирович, ей-богу...

И вдруг, не выдержав, прыснула смехом. Потому что все было какой-то жалкой ерундой. Не напоминать же ему. И это лицо, багровое, колыхавшееся от гнева. Мать сотворила глупость, но ведь написала правду. Он знает, что написала правду, но делает оловянные глаза и требует — боже мой, чего же он требует? — чтобы она, Ляля, стыдилась за мать, чтобы умирала от чувства стыда и этот стыд был бы некоторой отплатой за те неприятности, которые он испытал, получив письмо, пересланное из высшей инстанции. Теперь уже все равно. Значит, стыдиться за мать не нужно. Зачем стыдиться за несчастную женщину, которая терзается и не спит ночей из-за дочкиных неурядиц и пытается в меру свое-

го разумения... Да ведь главное, главное: написала правду! Все правда от первой до последней строчки.

И, совершенно успокоившись, Ляля выложила все это Смурному: мама, конечно, не дипломат, действует глупо, за это ей будет хороший бенц, но кое в чем она права. Как — права? О чем вы говорите? Вот о том-то, о том-то. О чем вы прекрасно знаете. Вы дико самоуверенны! Просто мне нечего терять. Нет, моя милая, вам есть что терять. Не страшно, Герман Владимирович. Чтицей в Мосэстраде или на радио и то лучше, чем здесь, под вашим крылышком. Не думайте, что так легко устроиться, тем более вам — без театрального образования. Ничего, свои шестьсот пятьдесят я всегда заработаю, и даже больше. Ну хорошо, ваши личные планы меня мало интересуют, а это пирожное мы перешлем сегодня же Сергею Леонидовичу, пусть он его кушает. Высшие инстанции требуют ответа. А мне безразлично, делайте, как хотите. Значит, договорились. До свиданья. Будьте здоровы. И надо проветрить, Герман Владимирович, комнату: тут какой-то нехороший запах.

Ляля выбежала от Смурного на улицу, кружила по скверу, стояла бесцельно в какой-то очереди, потом вернулась в гостиницу в свой номер и легла. Колотилось сердце, и набегали всякие слова, злые, справедливые, которые не были сказаны. А почему Милютина, которая в театре без году неделя?..— и так далее и тому подобное. Женьку Милютину не трогать, бог с ней, мать-одиночка. Но каков подлец: без театрального образования! Второй раз колет этим. Можно иметь диплом и быть дубиной. Мало ли примеров! Артистами не становятся, а родятся, болван. Ее приняли в труппу по личной просьбе Сергея Леонидовича, а уж он-то понимает, наверное, побольше какого-то Смурного. Но не в том беда. А вот в чем: стыдно за мать. Нет — за себя, за себя, невыносимо! Он этого и добивался: чтоб сгорела со стыда. И правда — хочется. Просто вот так вытянуться, стиснуть зубы, закрыть глаза и лежать не двигаясь: гореть со стыда. Обуглиться, уничтожиться. Жизни в театре не будет, Сергей Леонидович проклянет. Актеры будут смеяться и, как выражается Боб Миронович, «злоушничать», когда узнают, а узнают непременно: Смурный позаботится. И придется уходить. Но ведь некуда и невозможно. Если б у Гриши хоть как-то сдвинулись его дела — тогда рискнуть... Но теперь — как же? Откуда брать шестьсот пятьдесят? И как всегда, когда получа-

ла щелчок по носу — а щелчков таких в Лялиной жизни набралось порядочно, с каждым годом больнее,— после обиды, тихого отчаяния, поспешных и суматошных соображений, что делать, как протестовать, наступало самое гнусное, убивающее: сомнения. А если — правы? А вдруг — бездарность? И все видят, понимают, Сергей Леонидович жалеет по старой дружбе, а Смурному жалеть нет надобности.

Удрученная страшными мыслями, Ляля долго, недвижно лежала в пустой комнате — гримерша куда-то ушла, не с кем было поделиться,— пока крик из коридора: «Телепнева, на выход!» — не вывел ее из унылого оцепенения. Понедельник! Мать звонит каждый понедельник, когда театр выходной. Слышно было отлично:

— Доченька! Ну как ты? Что у тебя?

Телефон стоял в вестибюле, вокруг шныряли люди. Паша Корнилович с Макеевым прошли с сумкой к дверям, наверно на рынок. Паша, проходя, шлепнул Лялю сзади ладонью, такой негодяй, всегда шлепает, и Ляля, как ни была расстроена и поглощена разговором, прикрыла трубку и крикнула:

— Одерни! Одерни немедленно!

Паша послушно подбежал и одернул юбку: чтоб поклонники не переводились. Говорить маме все, что кипело, было тут, конечно, немыслимо. Ляля спрашивала, узнала, что отец здоров, хлопочет о саде, движения пока нет. Гриша на Башиловке, недавно привез по ее просьбе овощей, правда, картошка неудачная, мелкая и дорогая, сейчас молодая по три с полтиной повсюду, а он как-то неловко купил, с утра поехал, по четыре рубля,— разговор о картошке Лялю слегка встревожил, тут был скрыт намек на привычное недовольство зятем, и Ляля с некоторым раздражением прервала мать, сказав, что цены на картошку ее не интересуют, а вот что-нибудь о Гришиных делах: из киностудии ему ответили? Мать точно только ждала этого, сказала тоном агрессивной жалобы:

— Ты же знаешь, твой Гриша никогда ничего нам не рассказывает о своих делах!

В другой раз Ляля пропустила бы фразу мимо ушей, сочла бы ее нормальной, но теперь, когда она едва сдерживалась от того, чтобы не накричать на мать, она не могла смолчать и ответила тоже с нажимом:

— Но можно и самой поинтересоваться, правда же? Ты знаешь, как это нам важно.

— Я не люблю вмешиваться в чужие дела.

— Нет, любишь! — вырвалось у Ляли.— Любишь, любишь!

И уж не могла удержаться, выпалила все: сто раз просили этого не делать, умоляли, объясняли, и вот это здесь, каким же надо быть упрямым, нехорошим человеком, теперь скандал, ну, ладно, что ж говорить, не поправишь, но все очень плохо. Мать, не понимая, металась на другом конце провода:

— Что? Как? Говори яснее!

— О твоих стихах!

— Каких стихах?

— Которые ты любишь сочинять и посылать в разные редакции!

— Господи, да ведь... когда это было? Четыре месяца назад?

Разговор был бессмыслен, Ляля сказала слабым голосом: «Ну ладно, мама, пока» — и звякнула трубкой.

Старая актриса Алмазова шла к титану за кипятком, замешкалась в вестибюле, ушки топориком, и, когда Ляля кинула трубку, блеснул на секунду жадный старухин взгляд. То ли Алмазиха услышала и разгадала, то ли Смурный уже пустил звон, но вечером в доме автора кто-то из актерок шептал Ляле возбужденно:

— А верно говорят, ты какое-то заявление на наших написала?

Настроение было такое, что лучше бы вовсе не ходить на этот ужин. Ляля колебалась, но потом — одной в комнате лучше, что ли? С тоски помрешь. И покормят все ж таки. Винца можно выпить, настроение поднять. Но в большой комнате, где все слиплись боками вокруг стола, в теснотище, со Смурным во главе, сидеть было тяжко — видеть перед собой самодовольное лицо, наблюдать откидыванье волос, ускальзыванье глаз, слушать глупые тосты, шутки, подначки. Возмущало Лялю и то, что актеры — особенно Пашка Корнилович с Макеевым, грубая работа, да и Смурный, тот похитрей,— подтрунивали над бедным автором, втайне издевались над ним, тот не понимал, а если и понимал, то не все, жалко отшучивался, его мать-старушка пугалась, ахала или благодарила от души, гости хохотали. Все шутки вертелись вокруг угощения.

— Паш, а капустка-то в пирожках с душком, а? Не находишь?

— Не нахожу-с, ваше сиятельство. Вот грибки, позволю заметить, не того-с...

— Как не того-с! Почему молчали? А я две тарелки навернул!

— Гриб в желудке не жилец, ваше сиятельство... Вскрытие покажет...

В таком стиле шла игра, актеры потешались, плакали от смеха, пили, жевали, хлебали, кто-то вдруг вскакивал и истово возглашал:

— Дорогой Николай Демьянович! Спасибо вам за каждую вашу строчку! Спасибо за то, что вы есть!

Аплодировали, кричали «ура». Несчастный Смолянов с землистым от смущения лицом — такое же лицо было у него весной на премьере — не знал, благодарить или отвечать шуткой, только улыбался и кивал, как немой.

— Николай Демьянович! — кричал Макеев.— Вы нас совершенно заговорили! Вы же никому не даете раскрыть рта!

И опять хохотали, а Смолянов кивал, улыбался.

Ляле же это не нравилось. Она не любила, когда злошутничают. Ну что ж, что слабенькая пьеса, не Шекспир? А человек, может, хороший. Пригласил с открытой душой, деньжищ ухлопал тыщи, наверно, три. И все ведь пришли, не отказались, и Смурный пришел, хотя Ляля сама слышала, как однажды в кабинете директора поносил Смолянова, называл его пьесу «рептильной драматургией» — Ляля такого слова не знала, даже выясняла потом. И Боб Миронович был тут, у мясных пирогов и у водочки, а ведь он в открытую на худсовете выступал против смоляновской пьесы, с директором спорил, Сергея Леонидовича уламывал, чтобы тот отказался. Все, все были тут, критики тайные, насмешники, презиратели, все на дармовщинку сбежались, актер-актерычи несчастные. Выпить-закусить загорелось. Ах, ты боже мой, и глядеть тошно, и жалко их, бедных, и смешно: как дети! Играют, бузят, веселятся по пустякам и больно делают, как настоящие дети, жестокие. И когда вдруг поднялся жалконький актеришка Ерошкин Иван Васильевич и туда же, чтоб не отстать: «Дорогой автор, разрешите поднять сей бокал за то, чтобы вы еще много, много раз радовали нас своими прекрасными... (пауза) пирожками с капустой!» — и были крики «ура», «браво», Ляля не вынесла затравленного вида автора и вышла в другую комнату. Стала там помогать старушке, смоля-

новской матери Евдокии Ниловне, готовить стол для чая. Старушка вовсе с ног сбилась. Ляля, как увидела ее, сразу полюбила — на бабушку похожа, такая же хлопотунья, суетится попусту. Бабушка умерла два года назад, жила в Измайлове, в старом дедовском доме.

— Да не ставьте вы пироги! — шептала Ляля старушке.— Печенья хватит!

— Не ставить? — пугалась старушка.

— Ну их! Обойдутся.

Было жаль трудов Евдокии Ниловны: два блюда с мясным пловом и громадную миску с пирожками за полчаса подмели. Потом Ляля пошла наверх по скрипучей лестнице в светелку — старушка повела знакомиться к больной девочке. И опять Ляля удивилась: дома, в Москве, у нее такая же комнатка наверху, мансарда, где все детство прошло, юность и где теперь они с Гришей. Девочке было тринадцать лет, и она была толстая, развитая, с полной грудкой, как взрослая девушка, но лицо бессмысленное, овечье, с пустым взглядом. Видно было, что бабушка очень любит Галочку: сразу заговорила нежно, тихо, поправила чулки, застегнула пряжку на туфле и, когда привела Галочку в порядок — та сидела в качалке и, качаясь, играла детским шариком на резинке, стукала им методически в пол,— дала ей на тарелке кусок пирога и чашку чаю. Галочка чай не хотела, отодвинула рукой, а пирог ела, но шарик свой не бросала — продолжала стучать в пол.

— А я думаю: кто это наверху долбит? — сказала Ляля.

— Стук-постук,— сказала старушка ласково.— Это наша Галочка стук-постук да стук-постук...— И, приникнув к уху Ляли, шептала: — Цельный день вот так стукотит. Горе у нас, горе...

Внизу, в большой комнате, запели. Кто-то стал плясать, топали, двигали с шумом мебель. Ляля вдруг остро почувствовала: домой, увидеть отца, Гришу! Выйти в сад. Вспомнилось: дома вот так же иногда пели, плясали. Сойдутся родные, дядя Коля, тетя Женя с ребятами, дядя Миша, а то отцовская родня привалит с Урала, заведут песни, а Ляля, когда надоест, убежит к себе наверх, в мансарду, читает книгу, а внизу шум, пляс. Девочка бросала мячик, не глядя на Лялю, и, кажется, вовсе не замечала ее присутствия. Старушка шепотом делилась: Галочка от первой жены Николая Демьяновича, которая умерла, уж очень тужила из-за дочери, а новая жена

Марта, самолюбивая женщина, Галочку знать не желает и ее, Евдокию Ниловну, видеть не хочет, никогда сюда не приедет, письма не пришлет и Николаю Демьяновичу приезжать запрещает. Деньги, мол, посылай, а больше ничего. А какие деньги? Тоже сказать, пензия небогатая: четыреста рублей шлет. Это когда у них ссора, тогда он и прикатит, в какой год раз. Мама, говорит, она женщина очень даже плохая, взгальная баба, но я, говорит, ее люблю и она мне в работе помощница.

Ляля слушала старушку, горевала с ней, смотрела на тупое, овечье лицо девочки и думала: «У всех горе. А ведь драматург, успешный...» От этой мысли, что — у всех и — еще горше бывает, собственные неприятности легчали, таяли.

Через час гости стали собираться, директор вызвал автобус, Ивана Васильевича Ерошкина тащили, беднягу, волоком, все ж таки набезобразничал, успел, в полночь укатили, а Ляля пожалела старушку — осталась посуду мыть. Шофер автобуса обещал вернуться через тридцать минут. Не вернулся почему-то. Смолянов ходил в пижамных штанах и в майке по дому и, напевая, возил по полу мебель, расставлял по местам, таскал грязную посуду на кухню и то и дело подходил к буфету — прикладывался. Ляля думала, что вот-вот свалится. Но автор держался, смотрел на Лялю добрыми голубыми глазами сквозь очки в круглой оправе и улыбался, как официант. Было видно, что рад тому, что гости ушли и все кончилось.

Ляля продолжала надеяться, что он свалится и захрапит, как полагается пьяному человеку, как всегда бывало с отцом, с дядей Мишей, дядей Колей и с Гришей тоже — Гриша мог захрапеть неожиданно за столом, при гостях,— но автор был, видимо, покрепче. Спина у него широкая, как у гимнаста, и на левой руке выше локтя выколота русалка с хвостом и вокруг русалки два каких-то имени. Когда Ляля разглядела русалку, стало не по себе — подумала, что сейчас, среди ночи, в доме, где нет никого, кроме старушки и больной девочки, автор вовсе и не автор, а здоровый мужик, который спьяну может накуролесить. Но Смолянов вроде не собирался куролесить и даже, кажется, не понимал, что в его доме остается ночевать молодая женщина — а куда ей деться во втором часу ночи? Вдруг взял ее руку, клюнул мокрыми губами — так же клевал тогда, на сцене, в день премьеры,— и невнятно, плачущим голосом пробормотал:

— Простите, добрая моя... Не гневайтесь на меня, ладно?

— Я нисколько не гневаюсь, Николай Демьянович,— сказала Ляля. Руку, на всякий случай, осторожно отняла.

— Человек я маленький, незаметный, цену себе знаю,— бубнил Смолянов,— никакой я не этот... Какой я, к черту?.. Но и они тоже дрянь людишки... Только вы не гневайтесь, ладно? Милая моя, хорошая...

Опять норовил клюнуть.

Ляля забеспокоилась, позвала громко:

— Евдокия Ниловна!

Он облокотился о стол, вдруг заплакал, снял очки и стал вытирать глаза ладонью.

Деться было некуда, она легла на диван, накрылась пальто. Но заснуть не могла, было беспокойно и как-то нестерпимо неловко. Чувствовала себя виноватой: за Пашку, за дураков, за всех. Ну, зачем обижали человека? Такой крепыш, плечистый, с широкой грудью, не старый еще, правда уж с лысиной, и — плачет отчего-то, несчастен. Ведь он, должно быть, богатый. Нет, богатство не дает счастья. Надо еще что-то, главное. От этой мысли была смутная радость и чувство превосходства: таинственное ч т о - т о, нужное для счастья, казалось Ляле, у нее есть. Она не могла бы твердо объяснить, что это было, но уверенно знала: у нее есть. Потому что, когда другие были несчастны, ей хотелось жалеть и облегчать, делиться чем-то, а значит — было чем делиться, если получалось такое желание. Иногда думала, что это оттого, что нет детей. Но, подумавши глубже, понимала — нет, дети не уменьшили бы желания делиться чем-то нужным для счастья, потому что родные дети были бы все равно что она сама.

И беспокоясь все больше, Ляля спросила, не сделать ли крепкий кофе. Он согласился. Ляля пошла на кухню, сделала, принесла две чашки. После кофе — была уже половина третьего — спать совсем расхотелось. Смолянов отрезвел, рассказывал, как ему трудно жить, работать: друзей нет, люди к нему недоверчивы, семейная жизнь не удалась. В Москву приехал четыре года назад, до этого работал в провинции, во время войны — во фронтовой газете, а еще раньше, в тридцатые годы, был полярником, зимовал на Диксоне, служил в погранчастях, в угрозыске, в физкультурных организациях, сам был боксером. Однажды своей рукой застрелил бандита

на станции Калач. Сейчас вот уже третья пьеса, две других шли в провинции, образования не хватает, все сам, своим горбом, а зимой, когда пробивал «Лесные дали», было так тяжело — сил нет. Хотели его придушить, уже удавку приготовили, но ничего не вышло. Знает теперь, какие есть на свете поганые люди. И в ее любимом театре тоже, да, да. Смеялся — пирожками с капустой гнушаетесь? Ничего, мои милые, будете умолять, на коленях ползать: дяденька, дай пирожок с капустой! Ляля слушала с жадным интересом, удивлялась: похоже, похоже. И его образованием колют, пользуются. Представляла, как на такого здоровяка, жилистого, навалятся все миром, с удавкой, а он их — боксом.

Стало светать, петухи запели. Смолянов и Ляля вышли в сад, дорожкой спустились сквозь заросли — душно пахло крапивой — мимо какого-то старого кладбища с поникшими в разные стороны крестами, к обрыву над Волгой и сели там на бревне.

— Вся моя юнь с этим бревнышком закадычным...— рассказывал Смолянов.— И как его в войну не сожгли? Мужиков не было...

Ляля пожималась, зябла, он ее обнял. Река была в белых клочьях, только у края темнела вода, глыбилась черная баржа и еще что-то чернело на берегу, может быть лодки. И там, среди этого черного, на песке жгли костер. Смолянов говорил, что там ютится шпана, ходить опасно. Вот если сейчас спуститься вниз — свободно прирежут, ни за понюх табаку. Он рассказывал что-то про шпану, бандитов, вспоминал. Слушать было интересно, нисколько не страшно, только холодно. Когда шли обратно, продолжал ее обнимать, вдруг остановил, прижал неловко — хотел получше погреть,— и так стояли. И правда, холод был невероятный — не скажешь, что днем жара,— он грел ее движениями ладоней по всему телу, а сам все говорил, бубнил, напевал, гладил неторопливо и крепко, все крепче, и чем дольше это длилось и чем больше она чувствовала его силу, тем сильней почему-то его жалела.

Вернувшись в дом, выпили немного водки, чтоб согреться, поднялись на второй этаж, прокрались в комнатку, где было темно, шторы опущены и пахло псовым, холостяцким жильем. Разговаривали шепотом, чтоб не разбудить девочку: она спала за стеной.

Он бормотал обиженно, неразборчиво, грозил кому-то, и Ляля все не могла отделаться от чувства стыда

за актер-актерычей, ей казалось, что непременно надо оправдываться, утешать — ведь ни за что обидели, за его же хорошее. И утешала горячо, как могла. Не нужно на них сердиться, они наивные, добрые, очень добрые, а какие они товарищи превосходные, последним поделятся, только вот дурачества иногда говорят, глупости, ради красного словца, да бог с ними, Ляля всегда прощает, потому что — жизнь-то у них какая? Попробуйте-ка на семьсот рублей. А у Ивана Васильевича, у Ерошкина, семья пять человек. Тут должна быть любовь, величайшая, бескорыстнейшая. И у нее, у Ляли, есть враги, вредят ей, устраивают затир, а все равно отравить ей радость не могут — ради этой радости, может быть, даже счастья, пускай минутного, все терпеть, прощать, потому что... Для чего же иначе?.. И он утешался, кивал: «Да, да, понимаю вас...»

Ну вот, и была последняя Лялина доброта и последняя жалость. Поздним утром, разлепив глаза и плохо еще соображая, услышала — стучат. Потом вдруг вспомнила, что больная за стенкой стучит мячиком.

Через полтора месяца, когда Ляля приехала после гастролей и уже после крымского отдыха в Москву, чуть ли не в первый день встретила Смолянова. Он сказал, что пишет новую пьесу. Принес Сергею Леонидовичу первый акт, и тот вроде бы одобрил.

Ляля знала, что она всегда хороша после Крыма. И все люди обычно хороши, но она бывает — особенно. Как Машка, верная подруга, утверждает: возмутительно хороша, потому что лежит бесстрашно на солнце, обжаривается дочерна, светлые волосы выгорают до цвета соломы, и тем ярче на смуглом лице яснеют синие глаза, и потому что купается неутомимо, заплывает далеко, не отставая от самых сильных пловцов, а вечерами волейбол, теннис, может быть, и не классно, но с азартом, лишь бы двигаться, прыгать, хохотать, уставать, доводить себя до изнеможения. И никаких курортных романов, на фиг, на фиг, от них ни проку, ни соку. Зато когда возвращается, полная сил и тоски по мужу, подругам, театру и даже просто по родной улочке, бегущей мимо церкви, овощного магазина... Смолянов разглядывал Лялю, улыбался, и в его взгляде было то мужское, радостное и откровенное, что Ляля любила ощущать, потому что это ощущение означало, что она в порядке и все у нее как надо. У Ляли в такие

минуты тайного ликования перед собой даже голос менялся. И она изменившимся голосом приветствовала Смолянова, подавая ему руку и слыша, как голос звучит нараспев и в нос:

— Николай Демьянович, ну что же, порадуете нас, значит, новеньким? Очень здорово, очень хорошо!

При этом с удивлением подумала о том, что была ночь, когда она горячо жалела этого человека со скучным лицом — господи, да за что же? В лице Смолянова было что-то сырое, непропеченное.

Он бормотал в своей манере — невразумительно, мял Лялину руку. Ляля сказала легко: «Николай Демьянович, еще увидимся! Пока!» — и побежала. На секунду потом остановилась, оглянулась:

— Я очень рада, что вы снова у нас в театре!

Но прошло несколько дней, и все крымское отлетело, а может, просто навалилась Москва с холодами, дождем, спехом, болезнью отца, сердитым Сергеем Леонидовичем, волнениями из-за новой постановки и беготней по магазинам в поисках туфель на каучуке для мокрой погоды.

В новой постановке Ляля, конечно, получила шиш. Но в декабре Смолянов принес пьесу «Игнат Тимофеевич», стал бывать в театре часто, то читка, то обсуждения, доработки, распределение ролей. Сперва ничего не обещали, потом дали муровую ролишку, потом — хорошую, одну из героинь. Ляля совершенно ни о чем не просила. Смолянов сам догадался, поговорил с Сергеем Леонидовичем. Смурный на худсовете возражал, но Николай Демьянович твердо сказал: «Вот так-то!» — и Смурный заткнулся.

Хотя роль Евдокии, жены Игната Тимофеевича, директорши сельской школы-семилетки, была не ахти какая завидная — очень уж лобовата, ревность, страдания, разговоры поучительные,— но Ляля надеялась всех поразить, показать класс, «из карася сделать порося», как говорил Сергей Леонидович. Работать взялась с упоением. В роли своей отыскивала такие тонкости, такую глубину, что автор изумлялся простодушно:

— Ну и ну! А я и думать не думал...

Все-таки что бы ни говорили о Смолянове разные умники вроде Боба Мироновича, Ники Герасимова или родного Гриши, одни из снобизма, другие, чего скрывать, от зависти к успехам,— Смолянова в газетах поминали все чаще, хвалебней, «Лесополосы» шли уже в

сорока театрах,— было в этом провинциале что-то милое, прочное, какое-то умение нерасторопно, но властно подчинять, добираться ходким медвежьим шагом до сути, до цели. Смолянов теперь приходил в театр ежедневно, сидел на репетициях. Иногда после репетиции, незаметно отлучившись, шли с Лялей в ресторан — обычно в «Москву», на десятый этаж, где был знакомый метрдотель,— оттуда ездили в пустую квартиру одного друга Смолянова, который уехал в Китай и оставил Смолянову ключ. Однажды в обувном магазине на окраине, где директором был знакомый Смолянова, купили туфли на каучуке (с осени искала, а тут заикнулась и — раз, пожалуйста!). Удивлялась: ведь он в Москве житель недавний, а уж все ходы-выходы знает и знакомых полно. И человек-то не очень уж общительный, мрачноватый даже, не шустряга какой-нибудь. Значит, талант особый. Есть такие люди: все-то им удается по-тихому, дела у них идут, денежки текут, женщины к ним льнут, дуры глупые. Талант! Самый драгоценный: жизнь устраивать, обставлять, как комнату мебелью. Вот бы Грише такого хоть немножко. И то, что было в Саратове случайностью, блажью сострадательной, химерой предрассветной — то ли было, то ли не было,— стало теперь, на исходе зимы, обыкновенностью и простотой, вроде и нельзя без этого никак. В марте, когда премьера была уже близка, Ляля заметила, что Смурный стал ей улыбаться и первым издали здороваться почтительно.

...И забывается вся мерзость ненастья, холод, слякоть, и кажется, что тепло и солнце были всегда и, главное, всегда будут. И вот когда в Ляляной жизни случилось то, о чем она мечтала годами, почти без надежды, потому что в глубине души с некоторым страхом и смирением подозревала в себе вечную неудачницу. Сергей Леонидович теперь подолгу работал с нею одной, гримерша, неискренняя баба, стала называть ее Людмилой Петровной, и был случай, когда за Лялей прислали директорскую машину, чтобы ехать на радио рассказывать вместе с директором и Сергеем Леонидовичем о том, как идет работа над новым спектаклем,— когда все это и другое в таком же роде случилось в Ляляной жизни в конце зимы тысяча девятьсот пятьдесят второго года, когда Ляле исполнилось двадцать пять, она очень быстро, пожалуй, даже мигом, привыкла к происшедшей перемене и думала, что теперь так будет всегда и в дальнейшем может быть только лучше.

Что переломило жизнь, оставалось для Ляли загадкой, да она и не задумывалась. Ветра, что ли, переменили направление в поднебесье? Где-то за тысячи миль пронеслись ураганы? Бабушка, покойница, любила такую поговорку: «Придет время, будет и пора». И вот пришло Лялино время — а почему бы и нет? Она так упорно ждала, терпела. Мама считала, конечно, что поворот к лучшему случился благодаря ей: давешняя кляуза помогла. Возможно, что и так. А возможно, что Николай Демьянович повлиял. А еще того возможней, что Сергей Леонидович, который вообще-то всегда еще с приемных экзаменов в училище, на которых Лялю провалили, относился к ней хорошо, даже чересчур хорошо, привык, пригляделся, а вдруг увидал сосвежа и сам изумился: «Да что ж это, товарищи, мы с Людмилой Телепневой делаем?» Он однажды, передавали, так про нее сказал: «Ну, милота, милота, а дальше что?» Да ведь если милота есть, это ужасно много. Милота на улице не валяется. «Милота — дар божий,— говорил Ксенофонт Федорович, художник, который и передавал услышанное.— Развивать нужно, лелеять, а не нос воротить». Ксенофонт Федорович был отличный человек. Лялю любил, как дочь. Умер, бедный, от сердечного приступа: пил много.

И все-таки бабушка мудрей всех — пришло время, вот и пора.

Занавес закрылся, актеры поспешно бросились за кулисы, но Ляля не успела за другими, и, когда полотнища вновь распахнулись, шумящая волна из зала захватила ее, она оказалась одна на сцене и не могла сообразить, кланяться ей одной или ждать остальных. Кто-то схватил ее руку и, больно сжав пальцы, потянул к рампе. Она поклонилась, краем глаза увидела, кто тянул: Макеев. Тот улыбался и шептал злобно:

— Кланяйся, ну! Тебя же вызывают...

И снова так же: все гурьбой, отпихивая друг друга, кинулись за кулисы. Ляля почему-то замешкалась, и волна накрыла ее одну. Кто-то бросил букет. Актеры перестали кланяться, выстроились неровной шеренгой, тоже стали аплодировать, и все повернулись в сторону правой кулисы, откуда вышел Сергей Леонидович с лицом немного бледным и брезгливым, какое бывает у него от усталости к концу репетиций. Ляля смотрела на Сергея Леонидовича, едва сдерживая слезы, ей хотелось обнять его и сказать ему, какой он настоящий и замечательный. Неожиданно он взял ее за руку и вывел впе-

ред. Они стояли одни перед залом, который наполовину уже опустел, но гремел, клокотал и напирал на сцену еще сильнее, чем прежде.

— Спасибо, Сергей Леонидович,— сказала Ляля.— Спасибо вам...

— В зал, в зал! — не глядя на нее, пробормотал он.

Потом вышел Николай Демьянович в отличном светлом костюме, с белым платочком в карманчике, в каких-то новых очках с толстой черной американской оправой — эти очки совершенно его изменили, и вообще он выглядел непривычно. Он уже не сгибался в поклонах, как официант, лицо его не покрывала смертельная бледность, и оно не блестело пóтом, держался он прямо, кланялся солидно, опуская голову, и было похоже, что он соглашается с кем-то: «Да! Да! Да!» Потом он подошел к Сергею Леонидовичу, обнял его и поцеловал. Ляля заметила, что Сергей Леонидович запунцовел, стискивая Николая Демьяновича с горячностью и что-то говоря ему на ухо. Затем Николай Демьянович подошел к Ляле, поцеловал ей руку, шепнул:

— Сегодня бы надо отметить...

Ляля не успела ничего сказать, как он уже отошел, жал руки актерам, а женщинам целовал. Наконец отгремело, иссякло, все спускались по узкой лестнице вниз, разговаривали хором, хохотали, поздравляли друг друга. Сергей Леонидович поддерживал Лялю под локоть.

— Семь раз вызвали! Семь, семь! — кричала помреж Лемберг, которая стояла внизу лестницы и, подняв обе руки, показывала растопыренными пальцами: семь.— Успех, Сергей Леонидович!

— Да, да, посмотрим...— кивал главный.— Но вы, Ада Максимовна, очень торопите занавес. Получается назойливо, провинциально.

— Вы же сами просили, Сергей Леонидович!

— Надо соображать: видите, обозначился успех, значит, незачем гнать занавес, и без того хлопают. Вы соображайте. Ну, ничего, пустяки. Поздравляю вас.— Он устало улыбнулся, пожал Лемберг руку.— Облака в третьем акте снять, запишите. Ни черта не получается, какая-то каша.

Сергей Леонидович прошел дальше, а Лемберг обхватила Лялю сзади за плечи и чмокнула в щеку.

— Лялечка, поздравляю! Ой, прости, испачкала! Ну, ничего, сейчас смоешь грим. Все чудесно, замечательно,

только в последнем действии одно местечко — когда Макеев подходит к крыльцу и ты поворачиваешься...

Лемберг тараторила в возбуждении, двигая большим накрашенным ртом, но Ляля понимала плохо.

— Спасибо, Адочка, большое спасибо.

Она кивала и улыбалась почти бессознательно, потом тоже чмокнула Лемберг в щеку. И тут же пришло в голову, что еще месяц назад (да какой месяц — еще вчера!) она не посмела бы не только поцеловать Аду Максимовну, но даже назвать ее Адочкой, а сейчас это вышло так просто, само собой, и Лемберг как будто даже довольна тем, что ее чмокнули. Все вокруг продолжало меняться, и она менялась сама, она это чувствовала. Так и должно быть, ничего странного. Не нужно удивляться. Все, что ее окружало и было с нею связано, менялось, менялось неумолимо и ежесекундно, и люди, кажется, это чуяли, как птицы чуют перемену погоды.

Когда, разгримировавшись и переодевшись, Ляля вышла в кулисный зал, там уже стоял окруженный актерами Сергей Леонидович и делал замечания по какой-то сцене. Он сам показывал, что следовало делать и в чем была ошибка, и по тому, как он показывал, смешно, с увлечением, было ясно, что у него превосходное настроение, что он чувствует удачу и уже слышал от кого-то ободряющие прогнозы. И все это понимали и, глядя, как Сергей Леонидович показывает, хохотали восторженно. Здесь же был Смурный, который тоже улыбался, глядя на Сергея Леонидовича, и на его лице застыло выражение несколько приторной радости. Он сказал Ляле:

— Очень, очень здорово, Людмила Петровна! Поздравляю от души!

По глазам было видно, что фальшивит. Впрочем, так же фальшивила Женька Милютина, которая целовала Лялю, говорила, что страшно счастлива за нее и что пора наконец положить предел террору старух и всей молодежи объединиться. Раньше, когда Женька была в порядке, а Ляля в затире, она этого не предлагала. Но все это Лялю сейчас не трогало, худое не вспоминалось, хотелось быть доброй, великодушной, и, прочитав в ласковых глазах Смурного глубоко запрятанный мелкий собачий страшок, она даже испытала к бывшему врагу нечто вроде сочувствия и ответила радостно:

— Спасибо, Герман Владимирович, спасибо вам!

Тут в зале появился Николай Демьянович, сказал что-то насчет банкета в «Гранд-отеле», кажется, в поне-

дельник — Ляля слушала плохо, думала, как быть: Гриша ждет внизу, придется знакомить. Николай Демьянович, подойдя к Ляле, сообщил негромко, но совершенно спокойно, как будто вокруг не было людей:

— Буду ждать внизу, у кабинета директора. Там два друга со мной.

После этого исчез.

Ляля вернулась в свою уборную, сложила вещи в чемоданчик, взяла цветы, но, прежде чем уйти, присела на минутку перед зеркалом. На душе было смутно. Радость мешалась с ощущением тревоги, надвигалась громадная неловкость. Гриша не рвался на премьеру, не любит сюда ходить, болезненно самолюбив, здесь его обижали. Но она уговорила. Мать, которая не могла оставить отца, тоже уговаривала, но в своем стиле: «Идите, идите! Кто-то должен Лялечку встретить и проводить домой». Родственников набежит много — дядя Коля в полном составе, младшая мамина сестра Вероника, тетя Женя и дядя Миша, их ребята Майка и Борька, Майка уж наверняка, завзятая театралка; Валентина Абрамовна, сестра дяди Миши, хотела прийти, и тетя Тома собиралась специально приехать из Александрова. Всех мать перебулгачила. Ляля с ней даже поругалась. Зачем это нужно: устраивать в театре телепневскую ходынку! Нет, правильнее сказать фомичевскую ходынку, потому что все — мамины родственники, а из отцовских если кто и придет, так один, может быть, Славик, сын дяди Феди. Но всем было сказано абсолютно твердо: никаких ожиданий в фойе, семейных демонстраций, возгласов, букетов и т. п. После третьего акта — пальто, галоши, и до свиданья. Встретимся дома — 4-я Почтовая, тридцать два. И только Борьке, страстному фотографу, разрешено было сделать два-три снимка где-нибудь в фойе, когда все кончится. А встречать будет один Гриша. И с ним Ляля поедет домой. Но как раз Гриша был единственный — Ляля знала, кто придет сюда без охоты и даже, наверное, без букета. Бог с ним, не важно. Мрачнейшее настроение можно простить. Временами становилось безумно его жаль, ночами ломала голову: что сделать для него, как помочь? И казалось, если не вытащить в театр, еще тягостней будет ему дома или в его любимой библиотеке. Все было бы нормально, если бы Николай Демьянович не предложил куда-то пойти. Один, без жены. Значит, опять в ссоре. Ужасная женщина: в такой день ссориться! Отравляет ему все

праздники. Ах, было бы недурно пойти куда-нибудь вкусно поесть, выпить вина, красненького сухого, в «Арагви», например,— даже засосало под ложечкой и на языке возник вкус сациви. Но Гриша... А если — всем? В самом деле — ну что особенного?

Ляля смотрела на себя в зеркало — лицо было бледно, чуть розовело у скул, нежная немецкая помада придавала губам влажный и какой-то очень свежий, девический блеск. Все говорили, что у Ляли красивый рот, и она это знала. Смотрела на свой рот с удовольствием. Медлила: пусть актеры разойдутся, не надо спешить, проще встретиться с Николаем Демьяновичем в максимально пустом фойе и потом где-то возле вешалки в вестибюле знакомить его с Гришей. И пускай родственники исчезнут. Особенно опасны были Майка с ее назойливостью и жена дяди Коли Липа, Олимпиада Афанасьевна, патентованная семейная дура. А уж неловкости с Гришей и Николаем Демьяновичем, разумеется, не избежать. Гриша, может быть, что-то почуял, но скорее всего нет, слишком удручен своими невзгодами. Был неуклюжий эпизод с рубашкой, которую Ляля купила в подарок Николаю Демьяновичу ко дню рождения: хранила рубашку в комоде, Гриша случайно нашел, удивился, спросил чья. Ворот-то чересчур большой, сорок пять сантиметров. Гриша носит сорок один. Пришлось соврать, что собирают коллективный подарок одному хорошему человеку, виолончелисту Тамаркину из театрального оркестра. Стыдно, а что делать? Ведь сказать честно значило бы, во-первых, нанести Грише удар чудовищной силы, что было бы бесчеловечно, особенно теперь, когда он в таком состоянии, и, во-вторых,— неправда, вернее частичная правда, не истинная правда. Потому что то, что происходило у Ляли со Смоляновым, нельзя было назвать ни увлечением, ни чем-то другим, определенным. Ляля не знала, что это было. Ничего от него не требовала, не ждала. Никакой воспаленности, жгучей необходимости видеть и знать ежедневно, ежечасно — что Ляля испытывала когда-то с другими — здесь не было. Могла неделями не видеть Смолянова и не страдала оттого, что он не звонит в театр, не разыскивает. Но когда с ним встречалась, было всегда хорошо. И всегда его за что-то жалела. Знала, что эта жалость ему нужна: ведь ни жена-эгоистка, ни больная дочь, и ни старуха мать где-то там, далеко, и уж тем более ни публика, ни театральные друзья не могли ему

этого дать. Он так и говорил: «Одна ты во мне хоть что-то понимаешь».

Оставить ради него Гришу! Может, он и хотел бы. Но речи о том не было, и Ляля никогда бы не согласилась — еще сильнее мучилась бы за Гришу. С Гришей вся жизнь. Хоть и не расписаны. Но не в этом же дело! И школа, и юность, и война, голод, надежды, дети неродившиеся. И вот теперь, когда что-то засветило...

У Ляли даже горло сжало, когда вдруг представила Гришу, оставленного ею. Нет, никогда! Сейчас дождь на улице, гремит по железному отливу, а Гриша наверняка ждет ее не в театре и даже не под аркой театрального подъезда, а где-то поодаль, жмется к стене. Такой человек. Все в нем больное, перекрученное. Ляля заторопилась, схватила чемоданчик, цветы, погасила свет и вышла поспешно.

Когда шла быстрым шагом, почти бежала по коридору, услышала обрывок разговора:

— Заметила, как она себя выделяла? Одна на сцене оставалась несколько раз. Манера захолустных премьерш.

— Господи, чего ты хочешь? В нашем театре только так и выдвигаются...

На секунду было искушение вернуться, поглядеть: кто? Не имеет значения. Теперь это будет, начнется, и — все правильно, так и быть должно. Фойе было полутемное, публика почти рассеялась, и, слава богу, никаких знакомых лиц. Вдруг слева ослепительно вспыхнуло — Борька подскочил и щелкнул почти в упор. Ляля даже не поглядела в его сторону. Николай Демьянович разговаривал с двумя незнакомыми мужчинами, тут же стояли Роман Васильевич, директор, и администратор Бравин. Ляля прошла мимо, кивнула скромно:

— Всего доброго!

Мужчины нестройно, весело отозвались, кажется, были уж в легком коньячном возбуждении, директор сверкал золотыми зубами в улыбке, администратор Бравин крикнул: «Людочка, на чаек с вашей милости! По случаю премьеры!» — а Николай Демьянович сказал:

— Людмила Петровна, а не подвезти ли вас? Я на машине.

Ребров, конечно, на спектакль не пошел. Еще чего: ходить на Смолянова! С одиннадцати часов засел в Библиотеке Ленина в третьем, научном зале и читал об

Иване Гавриловиче Прыжове. Накануне заказал все, что нашел в каталоге: «Русский архив» за 1866 год, «Историю кабаков», «Нищих на святой Руси», статьи в «Голосе», в «Московских ведомостях», в «Санкт-Петербургских ведомостях», книжку Альтмана, сборник статей и писем тридцать четвертого года, «Минувшие годы» и многое другое. Великолепное чтение на несколько дней. Зачем был ему нужен Прыжов, Ребров и сам не знал. Зачем-то нужен! Сидение в библиотеке, глотание старых книг, газет и журналов превратилось в необоримую, тяжелую привычку вроде пристрастия к картам или курения наркотиков. На Прыжова Ребров наткнулся, заинтересовавшись Нечаевым. Собственно, впервые он узнал об этом имени год назад, когда здесь же, в третьем зале, читал номера старых журналов. Все это было ни к чему. Какой-то неизбывный дурман. Были дни, когда он даже не обедал, только ходил в курилку. А ведь нужно писать какой-то очерк, что-то придумывать со сценарием! Нет, Иван Гаврилович Прыжов, совершенно бесполезный и давно всеми забытый дядя, незадачливый бунтовщик, историк, пьянчужка и попрошайка, благороднейший человек, бытописатель народного житья, живший сто лет назад, не отпускал Реброва. А может быть, глупая, бездонная любознательность или еще более глупая лень. До шести часов, когда уже зарябило в глазах, Ребров просидел в библиотеке, исписав страниц двадцать — боже мой, для чего же? — разных фактов и соображений, почерпнутых из жизни Ивана Гавриловича и из его сочинений. Потом пошел в кафе «Националь» ужинать. Угнездившись за любимым столиком у окна, он пил кофе, жевал весь вечер один остывший шницель с сухим картофельным «паем», который умели по-настоящему делать только здесь, в «Национале», и выпил раза два по рюмке коньяку: подходили знакомые и угощали. Ребров был без денег. Утром взял у Ляли десятку. В «Национале» все шло чередом: подсаживались, знакомились, уходили, передавали, сообщали, острили, пугали, возмущались, одалживали, устраивали, напивались, буянили. В седьмом часу пришли с бегов, рассказывали, какие были выдачи и новые плутни, в девять, как всегда, явился художник Рысев, про которого говорили, что с ним надо поосторожней, в десятом стали возникать актеры, не занятые в последних актах. «Говорят, в Малом полный провал...», «А Мыщикова действительно сняли?», «Слушайте, а это знаете: пришел раввин

к проститутке...», «За таким товаром надо ехать в Ригу!» «Смотрите, какая красотка у нашего друга!», «Что это значит: у Ляльки премьера, а он тут бражничает? Почему ты не в директорской ложе, негодник?»

Ребров делал ленивое, презрительное движение рукой, не желая пускаться в объяснения: презрение относилось и к сути вопроса, и к тому, кто спрашивал. Каждому ярыжке кабацкому давать отчет. К тому же коробило — «негодник», «Лялька». Вечное актерское панибратство. Он все еще был во власти Ивана Гавриловича и, разговаривая с ярыжками, думал о нем. Кабацкий механизм остался, по-видимому, неизменным: та же тяга к общению, забвению. Недаром Прыжов сжег два последних тома своей «Истории кабаков», боясь, что правительство усилит надзор и прижмет эти горькие клубы. Никто не мог понять, что с Ребровым происходит.

Около десяти, когда Ребров уже собрался уходить — до театра на троллейбусе было не больше четверти часа,— появился Шахов, как обычно на бегу, второпях спросил, как дела у Реброва. Вид был инспекторский, деловой, и, спрашивая, окидывал орлиным взглядом соседние столики: не терял ни минуты. Ребров ответил, что ничего нового. И добавил по-прыжовски:

— Умираю, а ногой дрыгаю.

— Вот что, милый,— сказал Шахов, высматривая кого-то в дальнем углу зала,— ты мне позвони дней через пяток или я тебе. Может, что-нибудь придумаем. Подрыгаем вместе...

Было холодно, лил дождь. Публика из театра уже потекла, но не толпой, а ручейком, те, кто сбежал до конца. Ребров не стал заходить под арку театрального подъезда, не желая встречать актеров и всяких знакомых деятелей, обыкновенных посетителей премьер, и всего более опасаясь наткнуться на Ляльных родственников. Не то чтобы он не любил этих людей, большинство которых было из клана Ирины Игнатьевны, но старался держаться от них подальше: может, многие были прекрасные люди, вполне добропорядочные, но в каждом из них ему чудилась небольшая порция тещи. Он встал у стены, чтобы скрыться от дождя и одновременно наблюдать за выходящими. А вот почему — ну, почему, спрашивается? — он не мог бы стоять в подъезде и с улыбкой встречать знакомых, пожимать руки родственникам, шутливо отвечать на приветствия? «Муж волнуется?» — «А что делать? Сэ ля ви!» А еще лучше —

с букетом цветов в фойе, внизу, и на глазах у всех кинуться навстречу, обнять, расцеловать при одобрительном гуле толпы?

Но все это было совершенно невозможно. Пуще всего на свете Ребров боялся показаться смешным.

Это свойство, присущее натурам самолюбивым и замкнутым, доставляло Реброву порядочно затруднений в жизни. Затруднения начались давно, еще в годы школы. С Лялей учились в одном классе, она очень нравилась, мучительски, немо, непонятно чем — косами, что ли, голоском, ранней женской статью или смелостью на школьных подмостках в роли Неле из Уленшпигеля. Сказать было нельзя, даже смотреть в ее сторону невыносимо, и вот — истязание. Однажды выскочил с ребятами после уроков, Ляля на дворе, спросила: «Ты домой?» Вместо того чтобы закричать: «Конечно! Идем!» — едва не задохнулся, буркнул: «Да нет, я тут...» Если бы не было ребят! Но те следили зорко, и — ушла, больше не спрашивала, так и ходили целый год, а то и два в одну сторону, но не вместе.

Потом, в классе уже девятом, был темный зал в каком-то клубе на Тверской-Ямской, вечерний сеанс, на экране ловили вредителей, стреляли, мчались на конях. Ребров и Ляля, сидевшие в заднем ряду, ничего не понимали. Его левая рука и Лялина правая сплелись в темноте и ласкали друг друга, обнимали, стискивали до боли. Полтора часа это длилось. Ребров и Ляля не произносили ни слова, и лица их были обращены к экрану. Когда зажегся свет, встали и, пряча глаза, по-прежнему не говоря ни слова, пошли к выходу. На улице Ляля вдруг расхохоталась и сказала, что он очень смешной. Пораженный в самое сердце, он пробормотал: «Ты тоже смешная!»

Да, да, старый страх: быть смешным. Но получалось еще хуже. Просто сказать «я тебя люблю» представлялось смехотворной нелепостью, нарушением всех правил хорошего тона, и в результате он тупо молчал, что было нелепостью еще большей. Она ведь первая предложила стать его женой — зимой в сорок седьмом. А у них тогда уже все произошло. Но он никак не решался. Потому что вдруг откажут? Что тогда: под электричку? И вокруг нее были мужчины, тот хромой, потом тот, кто устраивал ее в театр, еще был какой-то Яша, какой-то Валерий, друг детства, сын тещиной приятельницы. Теща давно мечтала выдать Лялю за этого Валерия и, кажется, до сих пор не оставила дикой надежды.

А Гриша любил ее всегда, все тринадцать лет. Не было дня, чтобы о ней не думал. Когда уезжала на гастроли или на юг — она любила отдыхать одна, так уж было заведено,— он не находил себе места, мыкался, мертвел от тоски, не мог ни работать, ни гулять. Приятели знакомили с девушками, старались отвлечь, но у него пропадал всякий интерес, когда Ляля странствовала и когда, казалось, наступало удобнейшее время. Вот если она в Москве и все в порядке — тогда он не прочь. Но и то больше в разговорах, чем на деле. «А хорошо бы нынче это самое — оторваться...» — говорил приятелю за чашкой кофе, глядя на каких-нибудь бледных студенточек в библиотечной столовой. Ах, боже мой, за все годы было, может быть, два или три случая, когда он отрывался. Разве это цифры для молодого мужика? Все равно что нуль. Тут было еще суеверие, нечто вроде тайного страха, в каком даже себе не признавался: если он позволит, значит, и там будет что-то позволено. Наверное, там и позволялось. Это была главная мука его жизни. Ведь удивительное простодушие — ничего не стоило поцеловать, с легкостью ответить на ухаживание. Нет, это не значило, что пойдет до конца, но несколько шагов по пути к концу пробежит не задумываясь. Тут не актерское, не среда, а — характер. Доброта, будь она неладна. Был однажды случай, давно, перед войной. Ну, конечно, перед самой войной, в июне: поехали после экзамена вдвоем купаться на Щукинский пляж. Пляжа там до войны никакого не было, а был только высоченный и крутой песчаный откос. Вода, конечно, холодная, начало лета, окунулись раза два и лежали на песке, и тут откуда-то взялись три парня, стали заигрывать с Лялей, задираться с Ребровым: вели к драке. Ребров, как всегда в таких историях, терпел долго, накалялся, потом будто взорвался, полез в беспамятстве с кулаками, ну и те стали его молотить. Избили бы, наверное, «вусмерть», как тогда выражались на улице, но Ляля бросилась защищать, закричала: «Перестаньте! Что вы делаете? Что вам нужно от нас?!» И вдруг: «Ну, хотите, я вас всех поцелую?» И верно, поцеловала всех троих, одного за другим. Те оторопели, она взяла Реброва за руку и увела. Привезла на трамвае к себе домой. Ее родители ужасались, делали ему примочки, поили чаем и оставили ночевать в дачном домике на веранде. Ночью пришла Ляля, ничего не было, кроме ласк, бурной Лялиной жалости, и Ребров не испытывал потребности доказывать,

что он настоящий мужчина,— он и так ощущал это всем своим гордым избитым телом. Лишь одна мысль терзала, не давала сна и утром — сквозь пение птиц, солнечный, лиственный свет — разбудила злой болью: как же могла поцеловать? Всех троих? Так просто? Господи, да ведь хотела его спасти. И спасла, спасла! Спасла? А если бы, чтоб спасти... еще похуже? Со всеми тремя? Помедлив, ответила твердо: если бы, чтоб спасти — могла. Да, могла бы. Безусловно могла, если бы, чтоб его спасти. Он застонал, повалился на кушетку, до крови мучая зубами губу. Отчаянность была не в том, что могла бы, а в том, что — так просто, твердо, не колеблясь. А потом, когда встретились с Лялей случайно, после трех лет военной круговерти — после фронта, ранения, сибирского госпиталя — в каком-то доме у Сретенских ворот, и он увидел рядом с нею хромого поэта, знаменитого тем, что сочинял песенки для инвалидов и слепцов, жалкое созданье, мозгляка, алкоголика, и Реброву сказали, что Ляля ходит за Лазиком — так звали этого хромушу — как нянька, предана ему необыкновенно, и когда поэт был отброшен, хотя и с трудом, все кончилось, старое зачеркнуто, замазано черной дегтярной краской, все равно сквозь эту черноту проглядывали и Лазик, и трое на берегу, и какой-то подлец, пытавшийся Лялю изнасиловать, и еще много неведомых, о существовании которых он достоверно не знал, но догадывался. Никого из них нельзя было уничтожить навсегда.

В разные времена возникали разные тревоги, то Макеев, то сам Сергей Леонидович, о котором она говорила с придыханием, как о существе божественном, то беспокоил режиссер Смурный, хотя Ляля его ненавидела, и в этом была как будто некоторая гарантия, но Ребров знал, что при Лялином мягкосердечии самая страстная ненависть может легко перекинуться в страстное сожаление, даже в сочувствие, тут надо держать ухо востро. Неприятен был Валерий с его мамашей, которых теща любила приглашать в гости. Иногда вызывали подозрение драматурги, особенно такие удачливые, как Федька Арнольдов, жгучий брюнет, в Лялином вкусе, Смолянов тоже мог представлять опасность, и уж крайнее раздражение вызывал один актер по фамилии Корнилович, некий Пашка: под маркой товарищества он держался с Лялей невероятно фамильярно, в присутствии Реброва позволял себе с Лялей сальные шуточки, говорил ей «ты», обнимал ее, хватал за руки. Поэтому Ребров не

любил бывать в актерских компаниях. Да и о чем с ними разговаривать? Было скучно, к тому же он напрягался, душил в себе ревность, а это вело к гадкому, унизительному. В том-то и дело, что, мучаясь, он не желал ничем эту муку обнаруживать. Готов был умереть от удушья ночью, в припадке тоски, но ни за что не примчался бы в город, где шли гастроли, или на курорт, куда Ляля улетела с подругой, и никогда во время Ляльиных отъездов не звонил ей по телефону. Звонила Ирина Игнатьевна. Сообщала все сведения. А он, с жадностью ловя каждое слово, напускал на себя уныло-спокойный и даже рассеянный вид, отчего теща скрытно негодовала, считая, что он мало волнуется и, значит, мало любит: это подтверждало ее догадку.

Но когда Ляля возвращалась — счастливейшие дни! — он с первых же минут, с вокзала или аэропорта, старался кое-что тончайшим образом выведать и распознать. Шло исследование самых малых изменений, происшедших за дни разлуки в ее привычках, голосе, здоровье, отношении к нему, и в первую же ночь тайному суровому испытанию подвергалась ее любовь: не дай бог, не появился ли в ней какой-нибудь новый опыт. Она, конечно, ни о чем не догадывалась. И вот из-за всего этого, наверное, он не мог так свободно приходить сюда и, улыбаясь, разговаривать со всеми этими людьми. Когда летом приехали из Саратова и Ребров встречал ее на вокзале, Корнилович нарочно громким, шутовским голосом говорил Ляле: «Ну что, Лялечка, признаемся Грише во всем? А? Давай признаемся!» Актеры хохотали, Гриша силился улыбаться, а на душе кошки скребли: черт их знает, а вдруг?

В театр не любил приходить еще вот почему: Лялю тут унижали. И он не мог защитить. Его тоже унижали. Две пьесы сюда давал, одну молодежную, о стройке университета, другую вроде детской сказки, о войне в Корее — обе не прошли. К своим пьесам Ребров относился двойственно — с одной стороны, как бы не всерьез, видел их слабину, прозрачный расчет, но не очень-то огорчался, полагая, что *эти* пьесы для него дело второстепенное, неглавное; с другой же стороны, они были делом вполне главным и даже главнейшим в смысле житейском, на них зиждилось будущее. И потом, оскорбительно — почему не берут? Неужто настолько плохо, хуже всего остального, даже какой-то смоляновской чепухи?

Публика уже шла густой толпой, дождь усиливался,

проходившие говорили о такси, метро, о том, что надо зайти в булочную, никто не говорил о спектакле. «Ну конечно! Все правильно»,— без всякого удивления думал Ребров. Со Смоляновым он знаком не был, пьес его не видел и не читал, но почему-то был убежден в том, что Смолянов — бездарность и ловкач, а пьесы его — чепуха.

Появился завлит Маревин Борис Миронович, или, как его называли в театре, Боб; держал ребровские пьесы четыре месяца, этакая свинья, и лишь недавно через Лялю передал, что, мол, не подойдет. Не удосужился даже пригласить, объяснить. Не написал никакого официального письма. А чего церемониться? Свой человек, муж Лялечки, не настоящий автор. Когда приносят Берг или Федька Арнольдов, он небось за одну ночь глотает и чуть свет звонит: «Послушайте, безобразие, вы меня лишили сна, не мог оторваться...» На улице грозный Маревин, перед которым трепетали авторы, выглядел совсем иначе, чем в своем кабинетике с чернильным прибором зеленого мрамора в бронзулетках,— довольно жалко. Да еще под дождем. Неказистый, плюгавого роста господинчик в берете, в пальтишке, не лучше ребровского, с портфелем, он выбежал под дождь, согнулся, подергал, как комарик, тонкими ножками, поглядел по сторонам — увидел Реброва, поклонился. Ребров ответил высокомерным кивком. Тут сильный, с ветром обвал дождя шарахнул Маревина, шатнул его к стене дома, и Маревин невольно приблизился к Реброву — так что нельзя было не поздороваться и не сказать двух слов.

— Ждете Лялю? У нее сегодня большой день. И вас поздравляю...

Ребров не желал разговаривать с ним о Ляле. Спросил:

— Ну, что пьеса — колоссальный успех? Публика воет?

— Вы с ума сошли! — зашептал Маревин.— Дерьмо средней руки. Желаю здравствовать...

Убежал, подпрыгивая. Вдруг подумалось: можно бы написать отличную пьесу об Иване Гавриловиче. Все тут есть — драма, и смерть, и живописные лохмотья, и преданность женщины, и мученическая жизнь нищего литератора, готового продать рукопись за рюмку! А как с убийством? Но ведь он не хотел убивать Иванова, отказывался, умолял, говорил, что стар, слеп, но они сказали: «Мы вас понесем». И, кажется, напоили водкой. В том-то

и ужас. Достоевский сотворил гениальную карикатуру, «Бесов», а если попросту, как оно было... Только вот зачем? Для кого?

В дверях появился Макеев в роскошном пальто с шалевым воротником, руки в карманах, до носа закутан белым шарфом, кто-то тащил сзади его чемоданчик. Макеевские поклонницы, «сыры», дежурившие под аркой, запищали хором: «Макеев душка — да! да! да!» Потом вывалилась большая компания, в центре — Ляля. В согнутой левой руке, как ребенка, держала громадный букет. Шумно прощались, вскрикивали, махали шляпами, какая-то женщина целовала Лялю, компания быстро рассеивалась. Ребров слегка попятился и вышел под дождь. Ляля продолжала разговаривать с кем-то. Ребров узнал Смолянова. Он напрягся. Прирос к месту, сказав себе, что не сделает ни шага к Ляле, пусть она подойдет к нему. Ляля и Смолянов, разговаривая, медленно приближались к Реброву. Ляля его увидела, но была настолько увлечена, что не кивнула, не улыбнулась ему, не сделала никакого жеста, свидетельствующего о том, что она его вообще заметила. Они, кажется, и дождя не замечали. «О черт! Зачем она его тащит?» — заметался Ребров. Ляля и Смолянов подошли, остановились в двух шагах, и Ляля, не глядя на Реброва, протянула ему букет.

— Это что? — спросил Ребров, беря букет.— Мне подарок, что ли?

— Гриша, подержи.— Ляля впервые посмотрела на него. Взгляд был слегка очумелый, глаза блестели.— Ой, прости, Гришенька! Вы не знакомы? Смолянов Николай Демьянович. Ребров Григорий Федорович. Гриша, вот Николай Демьянович предлагает куда-нибудь пойти отметить...

Смолянов приподнял шляпу, его рука оказалась неожиданно сильной.

— Поздравляю вас с, так сказать, праздником...— пробормотал Ребров, чувствуя в своем голосе какую-то гнусность. В следующую секунду оправдал себя: «Да что ж, бедняга разве виноват в том, что бездарен? А у человека как-никак премьера».

Смолянов, наверное, не расслышал — не поблагодарил, не сделал даже маленького поклона в ответ на поздравление и вместо этого бубнил чепуху:

— И вот странность, Григорий Федорович: не играл, не бегал, сидел в ложе и смотрел, а, знаете, спину ло-

мит, будто мешки с картошкой таскал. Ну — работа! Я бы драматургам молоко бесплатно давал, как за вредное производство...

Подошли двое, Смолянов знакомил: один был из управления театров, другой — какой-то земляк Смолянова, саратовский, теперь работал в Москве. Земляк попрощался, а тот пригласил всех в «Победу». Когда садились в машину, невесть откуда высыпали вдруг Лялины родственники, человек пять или шесть, предводительствуемые тетей Липой, громогласной дурой; все это обрушилось на Лялю, с поцелуями, букетами, вскриками, вспыхивал блиц, кто-то эту суматоху снимал; наконец Ляля отбилась, удрала в глубь машины, за нею полез Ребров, которого никто, слава богу, не заметил, и последним втиснулся Смолянов, захлопнул дверь. В машине нельзя было повернуться от букетов. Ляля отчего-то безумно хохотала. Куда ехать? Решили: в новую гостиницу «Советская», на Ленинградском шоссе. Там, говорят, был ресторан с цыганами.

До революции домик, где жили Телепневы, был дачкой какого-нибудь фабричного служащего или чиновника из небольших, у кого не хватало пороху поселиться в настоящей подмосковной, с речкой и берегом, в Лосином острове или Кускове, и кого служба обязывала ежедневно ездить в Москву, отчего близость к городу играла первейшую роль; революция всех дачевладельцев, крупных и мелкоту, вытряхнула из домиков, заселила светелки, зальцы и верандочки рабочим людом, недавними солдатами, мужиками и бабами, прихлынувшими в столицу из голодных мест. Так в 1922 году поселился здесь, тогда еще за чертой города, демобилизованный красный боец Петр Телепнев, из екатеринбургских мещан, по профессии мастер-котельщик, по призванию садовод. Учился на рабфаке, работал сперва мастером, а потом до сменного инженера дошел на большом новом заводе, что вырос неподалеку от дома, на старом Ходынском поле.

Но сильней, чем завод, чем дорогие сердцу котлы и, может, сильней, чем жену и дочку, любил Петр Телепнев свой сад, взлелеянный за три десятилетия. Особенно богаты были георгины. Ими славился Телепнев по всей Москве. Среди цветоводов так и говорилось — «телепневские георгины», иногда даже просто «телепневские», потому что каждый понимал, о каких цветах речь. Были в саду и другие цветы — тюльпаны, астры, хризантемы, левкои, замечательные и тоже знаменитые ирисы,

и была сирень, богатейшая, восемнадцать кустов, вдоль всего забора. Но к сирени Петр Александрович относился почему-то не так бережно и ревниво, как ко многим цветам, разрешал ломать ее, отсаживал кустами, дарил направо и налево, благо что родственников пол-Москвы.

В войну сад едва не погиб. Кому было дело до цветов, когда жили едва-едва, впроголодь, у девчонки ни платьиц, ни туфель, в мае, по сухому, бегала в валенках, а Ирина Игнатьевна мучилась язвою, неделями по больницам. И все же выжили и сад спасли. Спас Петр Александрович — часами, ночами, отнятыми у жизни, верою в то, что спросят однажды, очнувшись: «А чего-то у нас вроде не хватает? Стояло что-то вроде на столе посередке?» И верно, народ возвращался к цветам, картошка-лорх и редис ранний помаленьку выходили из моды, хотя места на грядках еще не уступали, но были уже не властные хозяева, а как бы временные жильцы, кого терпят по нужде, за хорошую плату, не чая поскорее отделаться, но тут неожиданно навернулась новая опасность. Через два года после конца войны стали застраивать Почтовые улицы каменными домами. Над сиреневым садом, над сорока восемью сортами Dahlia variabilis нависла беда — снос. Домик — шут с ним, не жалко, куча дров, дадут другую квартиру, еще получше, а вот саду грозила смерть.

Петр Александрович пустился собирать бумаги, ездил к именитым клиентам, кого когда-то сиренью одаривал, за подписями, писал заявления в райсовет, в райжилуправление, в Моссовет, в Мосжилуправление, главному архитектору города с единственной просьбой: сад, как уникальный и после смерти Петра Александровича переходящий в собственность государства, оставить в целости, а ему дать квартиру в близлежащем доме, чтобы мог продолжать уход за садом и вести наблюдения, имеющие общепризнанное научное значение.

Третий год это длилось, Петр Александрович писал, звонил, мыкался по приемным, стучал во все двери; каменные дома приближались, уже застроили всю улицу от церкви до Таракановки, уже засыпали гнилую речонку мусором, навезли земли, разбили скверик, уже пустили троллейбус, уже Лялька сыграла три роли в театре, но все была недовольна, хотела уходить, то съезжалась, то разъезжалась со своим горемыкой Григорием, и уже родилась и тут же умерла единственная дочка Варенька от менингита, а вопрос о саде все не был решен.

Районный инженер говорил: «Ваш дом находится в квартале восемь. Сейчас мы добиваем два квартала за Таракановкой, ваша очередь третья. Если к тому времени Моссовет никакого решения не примет — ждите в гости трактор».

Тут еще соседи из двух таких же деревянных домиков портили дело: тоже строчили заявления, собирали подписи. Но они-то наоборот — торопились ломаться, ругали Петра Александровича почем зря. Особенно допекал Куртов, милиционер. Когда-то жили по-доброму, водочку попивали, на рыбалку ездили вместе, дочки были дружны, Лялька и Маргаритка, в один класс ходили, а теперь из-за этой колбасни переругались дотла.

Петр Александрович посерел лицом, согнулся от беготни и волнений. В сентябре вышел в сад нарезать бело-желтых imperialis в подарок отставному полковнику Дудареву, которому исполнилось шестьдесят пять,— георгины в эту осень вышли на редкость, хоть в Женеву на выставку, imperialis двухсаженные,— и подумал вдруг, что на тот год ни его, ни imperialis на этом месте не будет, а будет котлован, извести наляпано и бабы носилками кирпич таскают. И в тот же миг что-то вонзилось, как сверлом маленьким, в сердце и опрокинуло. Лежал на клумбе с ирисами в полном сознании, только боль сверлила и страх был: не двигаться! Звал слабым голосом: «Ирина! Ирина!» Ирина Игнатьевна, конечно, не слыхала, но Кандидка, умница, залаял от забора, и немного погодя жена вышла и увидела. Два месяца Петр Александрович пролежал дома. Первые двадцать дней приказано было — пластом, головой не шевелить, с боку на бок не дергаться, понемногу оклемался, стал ходить. В январе отправили в санаторий на полтора месяца. Вернулся — вроде бы ничего, да как-то ненадежно. То, да не то.

В неважном виде встречал Петр Александрович радость: Лялечкину премьеру и большой успех. Петр Александрович, конечно, радовался за дочь, особенно за жену, которая от успехов Людмилы расцвела, возгордилась, забыла про язву, но мысли о саде мучили неотступно.

Возникали идеи. А если письмо из театра? Всем коллективом? Народный такой-то, заслуженная такая-то. Главного режиссера привлечь... «Узнав о готовящемся варварском уничтожении очага цветоводческой культуры Ленинградского района...» Ляля обещала поговорить с главным администратором товарищем Бравиным. Этот Бравин, по ее словам, очень полезный и толковый това-

рищ, к нему по всем вопросам обращаются, он и заявления пишет и в суды ходит, он и по разводам и по жилплощади. Поговорить с ним Лялечке никак не удавалось, надо наедине, обстоятельно, а в театре всегда гонка, толкотня, тихой минуты не бывает. Но — обещала добиться. «Может,— говорит,— приглашу домой на рюмку водочки, он не откажется». Другая идея: фельетон. Для этой цели следовало насесть на Григория: у него ведь знакомства в газетном мире и у самого рука легкая. Говорил с ним, обещал, но обычное дело — десять раз напоминай, пока с места стронется. А напоминать тоже не просто, выбирать нужно подходящее время: часто бывал не в духе, скрытно раздражен против Ирины Игнатьевны, в ссоре с Лялей, иногда непонятно из-за чего дулся и на Петра Александровича. Ляля иной раз сама предупреждала: «Вы сегодня с Гришей полегче, а то у него неприятности с работой. Он очень расстроен». Да ведь когда были приятности? Все года у него кругом одни неприятности и расстройства.

Удачный момент, чтобы напомнить и подтолкнуть, выпадал, по мнению Петра Александровича, на понедельник, когда молодые вернутся с банкета, если, конечно, не за полночь. Петр Александрович заметил, что когда Григорий выпивал — выпивал он не часто, на какие шиши, а угощать нынче не очень-то угощают,— он становился разговорчив, общителен и даже не скуп. Вообще-то Петр Александрович считал зятя скупым. Не так насчет денег, как насчет вещей: попросишь, бывает, какой пустяк, бритвенное лезвие, помазок или шарф надеть, на улицу выскочить, он всегда дает как-то вроде нехотя, не сразу. Книгу попросишь, вот Жуковского просил, Анатоля Франса — библиотека у него на Башиловке видная, прекрасно подобранная,— пообещает: «Хорошо, Петр Александрович, завтра принесу». А завтра: «Ай, забыл! Следующий раз как буду там, обязательно захвачу». Жуковского два месяца мурыжил-мурыжил, а потом: вчера, говорит, искал специально, не нашел, куда-то делся. Скупенек, чего говорить. Да ведь жизнь несладкая: какой год бьется, а толку нет. Никто его пьес не берет, киносценариев тоже. А пишет неплохо, замечательно, талант большой. Не хуже, чем у других-то. Про восстание в Сибири давал читать: здорово! Язык очень хороший, крепкий, факты богатые. Видимо, связей не хватает. Там ведь без этого никуда. Сто лет будешь биться — все впустую, даже не думай...

Не дождавшись Григория и Ляли, Петр Александрович уснул. Сон был тяжкий: трактор, треща изгородью, ломая столбы, ползет в сад, на клумбы, сначала на георгины, потом на флоксы, нежно-розовые, в осенней великой силе, ирисы, левкои — все в кашу. На тракторе за рулем Митька Куртов, орет злобно: «Довольно! Наигрались!» Проснулся с колотьем в сердце, звал Ирину напрасно, за стенкой шум, разговор. Лялькин веселый хохот. На часах был час с половиной.

Вдруг вбежала Ирина Игнатьевна, всполошенная:

— Отец! Не спишь?

— А ты где, чертушка? Второй час, люди добрые...— ворчал сердито, весь еще во власти кошмара, и голос слаб.— Не напразднуетесь... Подай сердечное. Запить.— Когда давило в груди и нападал страх, будто смерть вблизи, все казалось чепухой: радость жены, Лялькины успехи, неудачи — все, все. И только одно — сад.— Попроси Григория зайти.

— Петраша, гости там, чай пьют,— зашептала Ирина Игнатьевна, наклоняясь низко к лицу Петра Александровича. Зачем-то улыбалась впотьмах, глупо.— Драматург, которого пьесу играли...

— Ну и шут с ним, какая важность. Позови тотчас! Скажи — срочно прошу!

Через короткое время вошел, распахнув дверь настежь, Григорий, сел осторожно на стул рядом с диваном. Покачивался. Сильный запах вина распространился по комнате.

— Гриша, вот какое, значит, дело...— начал Петр Александрович, стараясь придать голосу строгую деловитость. Объяснил, что нельзя терять ни дня, ни часа. Насчет газеты. Прямо завтра с утра: позвонить куда нужно, написать, свезти, безобразие вопиющее, вредительство высшей марки, рассказать кому — не поверят, что на тридцать пятом году Советской власти такое творят.

Григорий сидел, опустив голову, уставив локти в колени, и кивал, понурясь:

— Да... Да... Да...— Потом вдруг поднял голову и спросил: — Петр Саныч, а почему меня не поздравляете?

— С чем?

— А с премьерой моей незаконной супруги Людмилы Петровны Телепневой.

— А, ну что ж, пожалуйста! Я тебя поздравляю.

— Вы меня должны поздравлять.— Грозил паль-

цем.— Меня все поздравляют, а я всех благодарю. Вот сейчас в «Советской» все руку жали, говорили: «Мы вас поздравляем, мой милый». Или так: «Поздравляем от души, любезный». А я благодарил. Спасибо, благодарю вас. Потому что благодарить необходимо! Человечество погибает от недостатка благодарности — Благодарности в высшем смысле, с большой буквы...

Ирина Игнатьевна, стоявшая в дверях за спиной зятя, делала знаки: прогоняй, пьян — не видишь? По дерганым движениям, глупой улыбке — среди ночи вздумала, дура, чаем поить! — увидел, что и сама матушка хороша.

— Ладно, уходи...— сказал слабым голосом.— Завтра. Поздравляю тебя...

— Спасибо, спасибо. Искренне вами тронут...— шептал Григорий, шаркая и кланяясь низко, как шут. Когда бывал пьян, всегда вот этак шептал и паясничал.

Ирина Игнатьевна погасила свет в коридоре. Через полминуты Григорий снова зажег, вперся в комнату, зашептал:

— Между прочим, драматург будет здесь ночевать. Поскольку час поздний. С женой, говорит, ссорюсь, не хочу домой.

— Что ж, пускай,— сказал Петр Александрович.— Место дозволяет. Товарищ Смолянов?

— Товарищ Смолянов. Должен сказать, человек в высшей степени загадочный. У меня есть подозрение, по некоторым данным, мельчайшим наблюдениям...— Наклонился и шепнул: — Достоевского не читал!

— Ну? — спросил Петр Александрович, как бы испугавшись.

— Не читал. Ей-богу! Тссс...— Гриша смеялся беззвучно, махая руками над лежащим Петром Александровичем.— И с Толстым, по-моему, не все в порядке... Кстати, у Достоевского в «Бесах» есть такая мысль — человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Это очень глубоко, Петр Саныч! Понимаете ли, Прыжов Иван Гаврилович... Я вам не рассказывал? Ну, не важно. Отставной коллежский регистратор. Там целая история. Не важно, не важно. Так вот жизнь этого Прыжова была невероятно мучительной, цепь несчастий, и все-таки, понимаете, Петр Саныч, у него было и счастье. Какое же, спросите вы? А его жена, Ольга Григорьевна Мартос... Самоотверженная женщина... Ведь намучилась с ним в Москве, всегда без гроша, вечные неудачи, пьяница страшный, неизлечимый, и потом

еще — в Сибирь за ним... Вот-с какие пироги...— Григорий стоял, покачиваясь, вытирая щеки ладонью, минуту целую стоял вот так молча, потом ушел на цыпочках.

На другой день Ляля привела драматурга товарища Смолянова к отцу знакомиться. Пока Ляля с матерью и тетей Томой, приехавшей в субботу из Александрова нарочно на Лялину премьеру, готовили завтрак, а Григорий бегал в «церковный» — так называли магазин рядом с церковью, самый близкий, через парк бежать — за бутылочкой для поправки, Петр Александрович и Николай Демьянович разговаривали. Драматург оказался мужчина славный, добродушный. Мучился сильно: ждал поправки. Разговаривали насчет рыбалки. Тот был любитель. Держал у себя дома, под Саратовом, моторную лодку со снастью, каждое лето скрывался туда от невозможной московской сутолоки на месяц, на полтора. Говорил, что осетры по пуду не редкость. А отец его, рыбопромышленник, владевший когда-то, при царе Горохе, двумя баркасами «астраханками», рассказывал, что в его времена и по пять пудов ловились. Незаметно сползли на сад. Петр Александрович всю боль выложил. Николай Демьянович обещал помочь, обговорить кое с кем и, если бы, сказал, был тут телефон, сию минуту позвонил бы и кое-что выяснил.

Петр Александрович воскрылился, звал жену, требовал, чтобы гостя вели в сад, все показывали. Заколотилось в груди: вдруг и правда поможет? Ведь человек большой. Захочет — сделает! Велел достать папки с бумагами, разложил на одеяле все свои записочки, заявления, телеграммы, челобитные.

— А вот доктор наук Стружанинов... Вот тоже видный товарищ: «С возмущением узнав...»

Тут вернулся Григорий с бутылкой, сели завтракать, Лялечка — за гитару, и вдруг стук в окно. Входят. Куртов, сосед, в форме старшего лейтенанта милиции, другой сосед,— пенсионер Беспалов и Халидова, тетя Роза, школьная уборщица. С этой Розой у Ирины Игнатьевны были раньше отличные отношения: та приходила стирать, на рынок бегала, иной раз и цветочки продаст, а Ирина Игнатьевна ее жалела, детишкам когда чего подбрасывала, у той четверо, муж погиб. Но за последний год стали, конечно, врагами.

Опять начался шум — Халидова верещала тонким голосом, понять невозможно, пенсионер бубнил и кулаком размахивал. Ляля пыталась их урезонить и прекратить

скандал — при госте-то, срам! — но те напирали сильней, трясли какой-то бумагой от районного архитектора. Петр Александрович его знал: никудышный человек, чего хочешь подпишет.

Прилег на диван, молча — прислушивался, как сердце колотится. Руки немели, и по всему телу текла дурная, зыбкая немота.

Ирина Игнатьевна вдруг закричала:

— Что вы делаете, подлецы! Больной человек лежит — не видите? Сволочи!

«Зачем ругаться? — думал Петр Александрович почти равнодушно.— Не нужно это. Бесполезно же...»

Куртов Митька гудел что-то насчет райсобеса. «Пенсию отнять... Цветами спекулируют...»

— Дурак ты, Митька,— выговорил так тихо, что, наверно, не услышал никто.

Николай Демьянович вдруг побагровел, щеки затряслись, и — ка-ак грохнет по столу:

— Сейчас же все из комнаты вон! Вон, вон, вон! Немедленно, сию минуту! А о вашем поведении, товарищ старший лейтенант,— тыкал пальцем в обомлевшего Куртова,— буду разговаривать с Иваном Григорьевичем! Какое отделение? Район Ленинградский?

Вытолкались из комнаты, шум длился за стеной, Ирина Игнатьевна присела рядом с диваном, лицо закрыла, заплакала:

— Такой день, Лялечка, подлецы... Петраша, а если — ну их к лешему? Жизнь-то дороже...

Петр Александрович молчал, прислушивался. Нехорошо было. Все внутри сделалось зыбким, непрочным, не хотелось ни говорить, ни двигаться, потому что то, что давило, могло разорвать непрочность и уже разрывало, боль начиналась. Не где-то в одном месте, в сердце или в середине груди, а повсюду, во всем теле, одна громадная боль. Вернулся драматург, говорил: «Мы их доведем до ума! Ерунда, не волнуйтесь!» Гриша кричал высоким голосом во дворе. И без того лютая боль с каждой секундой жгла сильнее. Через силу проговорил:

— Доктора вызывайте, что ли...

Летом был Ленинград впервые в жизни, прогулки, «Астория», джаз, настоящий, откуда-то из Китая, танцевать все равно с кем, до закрытия, Николай Демьянович был тяжел, тяжело напивался, ночью — врача, сердце разрывалось от жалости к одному и другому, кто

остался в Москве, тому — кожаное пальто в комиссионном на Невском, ночной плач, убегание на Башиловку, в театре все переменилось: новый сезон начался с высшей ставки, «Игнат Тимофеевич» шел на премию, Николай Демьянович купил автомобиль, переехал на новую квартиру, холстяной мешок на сундуке в прихожей распухал от писем, особенно много было от солдат, после того, как Лялин портрет напечатали на обложке журнала, Смурный заискивал, в подругах проступало скрытое, самое плохое, некоторые исчезли, не могли пережить, а бедный отец маялся в Боткинской, снова попал туда в конце осени, третий инфаркт.

Опять был декабрь, снег. Но совсем другой декабрь, другой снег. Ляля вышла на улицу из больничного двора — сидела у отца долго, отнесла мандарины, новую книгу «Лунный камень», за которой все гонялись, сунула пятьдесят рублей старушке, чтоб лучше смотрела,— и медленно шла по темноватому, окутанному морозным дымом переулку, ее обгоняли люди с авоськами, свертками, бежавшие к трамваям, а она шла не торопясь, ее ждала машина, и впервые почему-то здесь, после больницы, в миг усталости и печали из-за отца, вдруг ощутила себя внове, неиспытанно и спокойно: богатой женщиной.

Все эти бегущие впереди, озабоченные несчастьями родных, торопятся по своим делам, унылым и длинным, как больничный забор, а она идет тихо, дышит глубоко, печально, спокойно, как и полагается богатой женщине. Ощущение было многослойное, вовсе не означало, что в Лялиной сумочке много денег — как раз денег не было, быстро тратились,— означало разное; то, например, что на морозе Ляле тепло: впервые, может быть, в жизни, в парниковой цигейковой роскоши, пахнущей так свежо и чудесно, она не испытывала страха перед морозом. Означало также спокойствие в главном, без чего нет жизни, ведь теперь уже никто не посмеет ничего плохого сказать и даже подумать, она доказала, это признано, достаточно посмотреть, как вытягиваются лица актрис, когда она входит в репетиционное фойе или когда, когда, когда, когда; в это ощущение входило и то, что она нравится, любима, из-за нее мучаются, и то, что она могла купить то, что раньше казалось недоступным, например, китайский чайный сервиз, и вечерами могла есть то, что любит,— цыпленка «табака», сыр «сулугуни»,— пить красное вино, и — новые удивительные знакомства.

За премьерой следовала другая, потом радио, потом приглашение на «Мосфильм», рецензия, статья, портрет, повышение оклада, обещание новой квартиры, выдвижение на конференцию, на прием, на премию, и на Сретенке в меховом магазине, когда искали шапку для Гриши, директор магазина, пожилая дама в очках, с пятнами диатеза на подбородке, внезапно покраснев, спросила:

— Простите, вы не из Драматического театра? Ваша фамилия Телепнева?

Шапка была принесена из-за кулис магазина, завернутая в газету, чтобы не раздражать очередь. Когда вышли на улицу с покупкой, Гриша пробормотал с хохотом:

— Черт возьми, потрясающая известность! Даже както неловко ходить с вами, мадам...

Да, да, неловко. Ляля чувствовала, как он съеживался, когда ее известность тыкала его в бок, в спину. Он и радовался, конечно, ликовал втайне, даже плакал однажды — кто-то видел его вытирающим глаза на концерте, когда она пела песни Евдокии из «Ивана Тимофеевича», эти песни стали популярны, она теперь часто выступала в концертах, даже выезжала в другие города,— но внутри, кажется, что-то точило его непобедимо. Ведь его собственные дела не продвинулись ни на шаг, ни на сантиметр! Это было новым страданием, мешавшим тому, чтобы ощущение б о г а т о й ж е н щ и н ы стало подлинным счастьем и, может быть, даже блаженством. До блаженства было не так-то далеко. Но вот — чужое, родное страдание мешало. Мешала еще мать с ее нервами, похудением, ежедневным трепетом за отца, и мешал отец, судьба которого оставалась смутной: то казалось, что выкарабкивается, то опять надвигался ужас.

Николай Демьянович изнутри отпахнул дверцу, и Ляля, подобрав длинную полу цигейки — раньше только поглядывала на улице, как дамы небрежно, привычным движением поднимали полы своих дорогих шуб, прежде чем скрыться в глубине автомобиля, а теперь вот сама, на зависть проходящим женщинам,— юркнула довольно проворно на заднее сиденье. Смолянов спросил об отце. Шофер проехал Белорусский, площадь Маяковского, свернул по Садовой налево.

— Куда мы едем? — спросила Ляля.

— Будем ужинать у Александра Васильевича. Он пригласил.

Александр Васильевич Агабеков, друг Николая Демьяновича, жил у Курского. Чем занимался Александр Ва-

сильевич, Ляля в точности не знала, какой-то солидный работник. В гостях у него Ляля еще не бывала. И не хотелось туда. Вообще — никуда. Томило: Гриша где-то болтается, жалко ожесточаясь, в библиотеке, у приятеля или дома кружит, как волк, по комнате, ждет. Ну что сделать? Как помочь человеку? Ведь человек хороший, способный. Прекрасный человек! Редких качеств, настоящий интеллигент — отлично знает историю, литературу, польский язык выучил самостоятельно, чтоб читать газеты. Вообще он талантливый во всем, рисует очень хорошо, любит музыку. Но какое-то невезение. И — бесплодно утекает жизнь.

Николай Демьянович слушал холодновато.

— Почвы у него нет, вот беда,— сказал вдруг, и Ляля вспомнила, что он уже говорил так однажды. Именно такими словами: почва, беда.

Летом в парке Горького была вечером какая-то встреча со зрителями на открытой эстраде, сцены из спектакля, Смолянов выступал, почему-то и Гриша там оказался, и потом ужинали в «Поплавке». Был еще Сергей Леонидович, кто-то из актеров. Возник спор, что-то высокоумное, Гриша был раздражен, цеплялся, и Смолянов сказал: «Ваша беда в том...» Конечно, так не следовало, неосторожность. Гриша воспламенился и стал кричать: «Какая почва? О чем речь? Черноземы? Подзолы? Фекалии? Моя почва — это опыт истории, все то, чем Россия перестрадала!» И зачем-то стал говорить о том, что одна его бабушка из ссыльных полячек, что прадед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь, что другая его бабушка преподавала музыку в Петербурге, отец этой бабушки был из кантонистов, а его, Гришин, отец участвовал в первой мировой и в гражданской войнах, хотя был человек мирный, до революции статистик, потом экономист, и все это вместе, кричал Гриша в возбуждении, и есть почва, есть опыт истории, и есть — Россия, черт бы вас подрал с вашими вывороченными мозгами! Было неприятно, похоже на ссору, Сергей Леонидович успокаивал и говорил, что Николай Демьянович имел в виду, по-видимому, жизненный опыт, что Гриша еще неискушен, молод, но Смолянов в пьяном упорстве бубнил свое: «Нет, почва непременно, обязательно...» Гриша сказал ему что-то злое. Но тут неожиданность: за соседним столом разгорелась вдруг зверская драка, примчалась милиция. Когда вышли на улицу, о «почве» уже не говорили.

— Какая там почва! — сказала Ляля.— Помочь надо человеку.

Николай Демьянович помолчал.

— А если в штат куда-нибудь? Нелегко, правда, но — попробовать...

— Нет! Ты же знаешь, он очень гордый, ранимый...

— Место можно найти приличное.

— Нет, Коля, ему нужно помочь в творчестве. Где-то подтолкнуть, подать руку, а дальше пойдет сам. Доброе слово хотя бы...

Лялин голос слегка дрожал. Никогда и ни о чем она Николая Демьяновича вот прямо так не просила, если он что и делал, то — сам, догадывался. А теперь впервые — просила. И сразу стало не по себе, потому что он как-то напрягся. А ведь он добрый. Ляля знала, что он помогал многим, особенно землякам, молодежи, людям бедным, незадачливым; знала, что не мог оставить жену, хотя не любил ее, терпел ее вздорность, но — не мог, жалел, она психически неуравновешенна.

Но тут, с Гришей, другое, Ляля предчувствовала, что будет натуга, и шла на это, на неприятное. Ту вспышку в «Поплавке» он, наверное, не забыл, но никогда ни разу не говорил Ляле ничего. Только однажды довольно робко заметил: «Не понимаю, как ты можешь жить с таким человечком?» Ляля оскорбилась. Ну нет, таких штук она не потерпит! Гриша никакой не человечек, он человек в настоящем и большом смысле. «А ты как можешь жить со своей истеричкой?» Оправдывался: «Марта не истеричка, она больная женщина. И у меня не осталось к ней никакого чувства, кроме, может, чувства долга и боязни нанести смертельную рану. А вот ты от своего Гриши никак не отлипнешь». И это было правдой. Зачем отрицать? Гриша — это Гриша. Как у Чехова где-то: «Жена есть жена». Самое странное, что Гриша даже не «жена», то есть не муж, они не расписаны, у Гриши есть своя комната на Башиловке, куда он регулярно сбегает после ссор с Лялей или в дни особого угнетения духа; он не кормит ее, как полагается мужу, и не одевает, и все-таки — ведь непонятно же, невозможно объяснить! — все-таки отодрать от души нету сил. Прикипел, вплавился со всеми своими детскими бедами, корями, скарлатинами, картавостью, сыпью, потницей...

Николай Демьянович положил свою руку на Лялину.

— Ладно! Подумаем...

У Агабекова были гости. В громадной гостиной —

Ляля таких больших комнат никогда и не видела, метров сорок — за столом под люстрой, как в театре, сидели несколько мужчин и женщин, ужин был в разгаре, еды много, отборной и, сразу видно, не домашнего приготовления, а из ресторана. Улучив момент, Николай Демьянович шепнул:

— Забыл сказать. У его папаши день рождения...

Во главе стола сидел старичок с необыкновенно розовым, глянцевитым, как бы муляжным личиком, в черной черкеске. Поднимались тосты, произносились речи.

Одна дама с внезапным энтузиазмом подняла тост «за присутствующую здесь, среди нас, замечательную представительницу...». Мужчины смотрели восторженно:

— Людмила Петровна, за вас! До дна! Все пьют за Людмилу Петровну!

Кто-то крикнул:

— Предупреждаю, кто не выпьет до дна за Людмилу Петровну...

Волновались, спешили чокнуться, излучали радостную преданность и даже, пожалуй, преклонение, и хотя Ляля догадывалась, что — пьяный вздор, большинство никогда не видели ее на сцене и, наверное, не слышали имени, а все равно было приятно, даже очень. Появилась гитара. Ляля стала петь — сначала без желания, очень уж просили, и Николай Демьянович, сжав ее колено под столом, сказал тихо: «Прошу не отказываться»,— но потом, выпив рюмку-другую вина, сама разохотилась и пела с удовольствием «Среди миров, в мерцании светил», цыганские и любимую с детства, которой мама научила: «По улице пыль подымая». Александр Васильевич смотрел на Лялю в упор, не мигая. Взгляд был странный, направлен на Лялин рот, и от этого — оттого, что не в глаза смотрел, а на рот, поющий — было неприятно. Что-то неживое было во взгляде лобастого человека с усиками, все больше стекленело, стекленело и превратилось в совершеннейшее холодное стекло, даже страшно на миг, но потом — веки мигнули, стеклянность исчезла. Грузины голосили по-своему, очень красиво. Ляля пыталась аккомпанировать. Один из гостей вдруг вскочил и захлопал в ладоши.

Будем пэть, будем пэть,
Будем вэ-сэ-литься!..

Все подхватили, захлопали, переместились в другую комнату, потащили Лялю — уже немного кружилась голова,

хотелось дурачиться и быть, уж коль на то пошло, настоящей царицей бала! — и она шлепнулась с гитарой на пол, на медвежью шкуру, и запела-заорала от души, перекрывая музыку радиолы:

Хас-Булат у-да-лой!..
Бедна сакля твоя!

И отчего напало такое веселье? «Хас-Булата» пели дома. Отец басом, а дядя Миша, муж тети Жени, изо всей мочи старался высоким-высоким голосом. Когда через полчаса вернулась в большую комнату с люстрой — что-то вдруг больно кольнуло, точно повернулось неудачно больное ребро, а это была лишь мысль о Грише,— за столом сидели одни мужчины, спорили. Николая Демьяновича не было. Сказали, уехал за товарищем, скоро приедет. Ляля прислушалась — что-то о политике, насчет американского президента, Германии, Югославии. Все это Лялю совсем не интересовало, было скучно. Прошло два часа.

Александр Васильевич и Ляля сидели за маленьким столиком в кабинете, над головами в позолоченном бра три свечи. Было жарко от раскаленных батарей, вина; Александр Васильевич расслабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу белой рубашки. Разговаривали о музыке. В детстве Ляля три года посещала музыкальную школу, у нее находили абсолютный слух и хороший голос, но нужно было купить пианино, а у отца никак не собирались деньги, все тратил на сад, удалось купить только перед самой войной, но в сорок третьем году, когда было голодно, продали. Правда, мама купила тогда гитару. Александр Васильевич сказал, что очень любит итальянское пение и у него много пластинок, немецких, с записями Карузо, Джильи, Тоти Даль Монте. Ляля загорелась: послушать! Пошли в другую комнату, сели на диван. Гостей никого не осталось, они двое. Пластинки были настолько прекрасны, что Ляля обо всем забыла: о том, что дома ждут, что Николай Демьянович куда-то провалился и что Александр Васильевич раньше не очень-то нравился, подозревала в нем бабника. Никаких улик, а так — подсознательно. Глупость: усики и чересчур деликатное обхождение, он как будто даже остерегался до Ляли пальцем дотронуться. А бабников Ляля терпеть не могла.

Когда подошло к часу ночи, Ляля сильно заволновалась:

— Где же Николай Демьянович? А вдруг несчастье?

— Коля приедет,— твердо обещал Александр Васильевич.— Приедет обязательно.

— Но я вас замучила!

— Обо мне не беспокойтесь, ночами как раз не сплю, работаю. А зеваю — это сердечное, мотор стучит. Значит, нужно принять.— Он вынул из кармана стеклянную трубочку, высыпал на ладонь несколько крохотных красных шариков.

— Принести воды?

— Пожалуйста. Если не затруднит...

Она побежала на кухню, зажгла свет, кухня оказалась огромной комнатой, вроде столовой — за занавеской кто-то храпел,— налила в чашку остывшую воду из чайника. Александр Васильевич лежал на диване, полузакрыв глаза. Лицо его, недавно румяное от вина, стало бледно, осунулось. Все это было как-то нехорошо. Приняв лекарство, он взял Лялину руку.

— Не уходите, Людмила Петровна.

— Я не ухожу,— сказала Ляля. Сама подумала: «Куда ж уходить? Второй час. На метро опоздала. И он какой-то плохой, и там — Гриша...»

— Сядьте ближе, рядом. Вот так. Здесь, пожалуйста...— Не отпускал ее руку, держал крепко. Было похоже, что боится ее отпустить, как больной — сиделку, но почему-то жалости к нему не было. Вдруг — звонок телефона в большой комнате. Николай Демьянович слабым голосом, едва слышно сквозь треск — из автомата — сообщил, что застряли в Замоскворечье, сели в кювет, машин нет, никто не вытащит до утра.

— Ты уж меня извини, переночуй там, у Александра Васильевича, а утром я тебя заберу. Только веди себя хорошо. Слышишь? Веди себя хорошо!

— А ты здоров? — кричала испуганно.

— Да, да! Здоров! Ты меня извини!

Непонятно было, зачем извиняется.

— Николай Демьянович не приедет,— сказала Ляля, входя в комнату, где тот лежал на диване.— Я побегу, Александр Васильевич? Может, успею на троллейбус. До свиданья! Где моя сумочка?

Вдруг нахлынуло — уйти немедленно, не оставаться больше ни секунды. Так бывало: непонятно отчего, и — никакой силой не удержать. Хозяин дома пытался уговорить, даже вскочил с дивана с неожиданной живостью. Куда? Что случилось? Не отдавал сумочку. Нет,

нет, должна идти непременно. Но почти два часа ночи! Ничего, есть такси. А если вызвать домой? Нет, нет. Нет, нет, нет! Нет, исключено, совершенно невозможно. Сумочку — на память. Бегу, бегу, извините, большое спасибо. Да почему же такой пожар? В чем дело, собственно?

Смотрел с каким-то странным, напыщенным удивлением, почти высокомерно.

— Что вам сказал Смолянов?

— Сказал, чтоб вела себя хорошо. Что это значит, как вы думаете?

— Это значит... я думаю...— Схватил ее за руки, потянул.— Он болван! Зачем он вам нужен?

И тут — догадка ударила, оледенила. Всегда у нее так: сначала чувство, инстинкт, а потом догадка. В первую секунду сама себе не поверила, но затем — да, возможно, звонок не случайный. Потому что зачем же тогда извинялся? Человек, когда пьян, не умеет хитрить. Невольно проболтался: просил прощения.

— Нам надо о многом поговорить. Мы не успели...— Лобастый человек говорил теперь очень строго и крепко держал Лялины руки, она вырывала их, но пока еще не изо всей силы, потому что он какой-то больной, и она боялась. Он говорил об Академическом театре, о том, что он ее устроит, переведет, назначит, повысит, предоставит любые концерты, поездки, и что в противном случае, она должна понять, женщина с такими губами... Ну нет уж! Этим способом от нее никто ничего не добивался. Спросила вдруг ласково:

— Скажите, а Николай Демьянович очень вас боится?

— Что? Еще бы!

Ляля засмеялась. Спокойно, спокойно, отдохните, вам вредно. Тоска и презрение к тому, вралю, вдруг превратившемуся в жалкое, нечеловеческое отродье. Про себя клятвенно: ни одного слова, ни взгляда в его сторону. Летела сквозь метель по громадной пустой Садовой. Куда? Пробежав долго, вдруг поняла, что бежит без смысла, надо к центру, метро закрыто.

Повернула к Покровке, чтобы дойти до бульваров, и — к Маше, на Чистые пруды. Через полчаса, измучившись, брела по бульвару, тихому и голому, как лес: ни бродяг, ни милиционеров, одни скамейки в толстой снеговой броне, и думала со слезами: «Господи, какая дура! На что трачу жизнь... А Гриша, родной...»

Ребров понемногу зарабатывал ответами на письма в двух редакциях и очерками для радио. Кроме того, печатал иногда мелкие исторические заметки в тонких журналах. Все это был мизер, чтобы как-то держаться на поверхности. В лучшие времена выходило около тысячи в месяц. Иногда набегало по семьсот, по триста, а то и вовсе — пшик. Теперь, когда Ляля стала приносить большую получку и возникали неожиданные гонорары, жизнь вроде упрочилась, но сделалась отчего-то еще тревожнее и нуднее. Раньше — нет денег, ну и нет. Обойдешься чашкой кофе, не барин. А теперь Ляля может вынуть и тридцатку и сотню, но ведь — просить. И тут еще Ирина Игнатьевна портила кровь. Ей казалось, что он заставляет Лялю в погоне за рублем мотаться по концертам, выступлениям, то есть что он ее *эксплуатирует*.

И Ребров, ощущая эти тещины мысли — так прямо она их не высказывала, но давала понять, а иногда ему попадались ее послания к дочери, Ляля бросала их где попало,— чувствовал порой, что начинает Ирину Игнатьевну ненавидеть. Вечерами доносились ее жалобы Ляле: «Вошел в кухню и не поздоровался... Три раза просила наколоть дров...» Все это было нудность, невозможно терпеть. Рвался убежать на Башиловку, Ляля умоляла остаться, потому что тогда бы и ей пришлось ехать на Башиловку — что бывало и раньше,— но бросить мать одну было нельзя. Умолять-то умоляла, а вот приструнить мать по-настоящему никогда не хватало духу.

Молчал, терпел, старался пораньше удрать в библиотеку, попозже вернуться.

В тот день он, как назло, вернулся домой рано. Был расстроен: в одной из редакций, где третий год исправно давали отвечать на письма, вдруг сказали, что новое начальство пересматривает список внештатников и он под вопросом. Почему? С какой стати? Знакомый человек смущенно пожимал плечами:

— Ничего не понимаю. Я думаю, через какое-то время ситуация прояснится...

Знакомая дама иронически заметила:

— Кажется, вы сейчас не так уж нуждаетесь? Ваша жена процветает? А есть люди, для которых эти письма — единственный способ заработать кусок хлеба.

Надо бы проявить настойчивость, пожаловаться, поскулить, там были колебания, но старая боязнь — пока-

заться смешным, жалким просителем, и — уступил. Конечно, есть люди более достойные, какой разговор? Все правильно. Новость была на редкость неприятной, но он виду не подал, даже пошутил, рассказал анекдот и ушел в гордом спокойствии. Бюджет сократился на треть. Никого не хотелось видеть, только — домой, к Ляльке. Она одна могла успокоить, сказать какую-нибудь утешительную чепуху.

Ляля должна была навестить в шесть часов отца в больнице и прийти около семи домой, спектакля в этот день не было. Она не пришла ни в семь, ни в восемь, ни в десять. Теща начала психовать, что, как всегда, выливалось в формы бессмысленных метаний: то она решала зачем-то бежать к метро, то звонить из автомата в Боткинскую, то прямо ехать туда. Ребров насилу уговорил: будоражить отца, какая глупость! В доме жила уже несколько дней Тамара Игнатьевна, тетя Тома из Александрова, приехавшая, чтоб немного помочь теще по хозяйству. Эта тихая, длинная старуха с несчастной судьбой — все ее близкие, муж и дети, погибли кто где — хотя прописана была постоянно в Александрове, в ста километрах, но подолгу жила в Москве у сестер Жени, Вероники, у брата Коли в Измайлове или, реже всего, здесь, у тещи. Была она домашняя портниха, неважная, теща говорила — «кундепщица», выучилась, чтоб хоть чем-то жить, и часто оставалась неделями у вовсе чужих людей. Теща свою Тамару не жаловала. Лялька и Петр Александрович относились к ней добрее, чем родная сестра, а та под разными предлогами старалась от сестринского пребывания и ее услуг отделываться. Предлог чаще всего был такой — боязнь штрафа. За то, что ночует без прописки. А при том, что сосед-милиционер полон злобы к Петру Александровичу, такой штраф может легко случиться.

Но истина-то была другая — глупая старушечья ревность с какой-нибудь подоплекой этак в четверть века. Когда Петр Александрович оказался второй раз в больнице, теща сама написала тете Томе и попросила приехать. Все, что копилось в Ирине Игнатьевне: страх за мужа, раздражение зятем, тревоги за дочь, мучения язвой,— падало громом на тихую долговязую тетю Тому. И та сносила, терпела, прощала, успокаивала. Сейчас она тоже пыталась Ирину Игнатьевну утихомирить и уж, во всяком случае, отговорить от поездки в Боткинскую, за что получила жестокий удар:

— Ты давно без мужа и без детей, ты меня не можешь понять!

Однако в одиннадцатом часу Ребров сам занервничал, побежал к автомату и позвонил Ляиной подруге Маше, которой Ляля иногда передавала сведения для него — это был способ связи. Маша оказалась дома. Нет, никто не звонил. Может быть, вот что — возник неожиданный концерт? Кажется, собирались на какой-то концерт в Красногорск.

— А ты почему не поехала? — спросил Ребров подозрительно, хотя от души чуть отлегло.

— Концерт-то не наш, мосэстрадовский,— объяснила Маша.— Но я точно не знаю. Это предположение.

Ребров рассказал теще про концерт, и она как будто успокоилась. Сели пить чай. Ни в двенадцать, ни в час Ляля не явилась. Поездки от Мосэстрады обычно делались на автобусе, и Лялю привозили домой тоже автобусом. Тем не менее в половине первого ночи теща схватила шубу, закуталась в платок и побежала на Сокол, к метро — встречать. Кого она могла встретить? Ребров пытался доказать, что — нелепость, пустая трата сил. Ирина Игнатьевна, однако, была уже в том состоянии полубезумия, когда доводы логики бессильны.

— Конечно, идти ночью на улицу не очень приятно... Лучше сидеть в теплом доме...— бормотала она.

— Да я могу пойти вместо вас, пожалуйста. Только какой смысл?

— Смысл, смысл! Вам все смысл нужен. А того не можете понять, что у человека сердце горит, я себе места не нахожу...

Кандидка залаял тоненько, визгливо-радостно во дворе: значит, отвязывает, берет с собой. Беспокоиться нечего, Кандидка перервет любых обидчиков, но во всей этой сцене — демонстративном, бессмысленном убегании — было что-то оскорбляющее. Не для того побежала на Сокол, чтобы Лялю встречать, и сама на это не надеялась, а для того, чтоб оскорбить и обвинить. Чтобы сестра видела, какой Ребров ужасный, бесчувственный: остается дома, а старуха одна, в ночь... Но не мог же он только затем, чтобы что-то доказывать, совершать бессмысленные поступки!

Из комнаты Петра Александровича тихо вышла Тамара Игнатьевна. Вид у нее был виноватый. Шаркая валенками, ходила некоторое время по комнате, потом сказала:

— Хотела с ней пойти, она меня прогнала... Сердится за то, что за вас вступилась... А что ж, у меня права голоса нет? Я что вижу, то и говорю...

Ребров сидел за столом, курил.

Долговязая старуха, продолжая шаркать вокруг, гудела жалобно:

— Я не приживалка, не попрошайка какая-нибудь. У меня свой дом. У меня друзей пол-Москвы. Вот Михначева Наталья Алексеевна, генеральша, сколько меня умоляет, чтоб я у нее пожила, две телеграммы прислала. Я зачем приехала? Пожалела Ирину, она тут бесится без Петра, растерялась, распсиховалась, я же знаю — она того не испытывала; что мы испытали... И Ляльку жалко, хотелось помочь... А зачем же мне все это слушать? Я и то не умею, и это не понимаю. «И зачем ты к нему подлизываешься?» Это я к вам подлизываюсь! Ну скажите на милость — не дура? Зачем мне к вам подлизываться? Что вы мне — пенсию даете, шоколадом кормите?

— Ваша сестра любит людей унижать,— сказал Ребров.

— Верно, верно, Гриша, очень даже любит! Верно говорите. Еще в гимназии учились, за ней это было. Она Веронику, нашу младшую, заставила однажды мел есть — та ее умоляла об одной вещи, письмо показать... Ирину у нас в семье не очень... А вот видите: самая счастливая! У всех семьи порушились, что-нибудь да не так. У Женьки Михаил Абрамович — второй муж, первый до войны умер. У Вероники вовсе мужа нет, был какой-то пьяница, она его выгнала, про меня и говорить нечего. Да и у Коли — чего ж хорошего? Олимпиада такая жадная, корыстная. Маме век сократила. Нет, счастливых среди нас нету, одна Ирина, да и то, видите, судьба настигла... А что я сказала про вас? Ничего особенного. Я, говорю, всегда вашему Грише сочувствую, потому что он один как перст. Ни отца, ни матери, ни сестер, ни братьев, никого нет. Верно?

— Да,— сказал Ребров.— Но жалеть меня не нужно.

— Гриша, я вас не жалею, я только говорю: можно ведь понимать? У тебя, говорю, Лялька, Петя, нас, таких-сяких родственников, целая деревня, а у него — кто?

— Не надо, не надо мне сочувствовать. Я в этом не заинтересован.

— А она мне: «Ты к нему подлизываешься!» То, что один, это еще не заслуга. Ты тоже, дескать, одна. Ну я, конечно, не стала больше разговаривать — бог с тобой,

думаю, жизнь тебя еще не учила, но научит. Да...— И вдруг, присев к столу, под лампу, сразу осветившую все ее большеносое, изрытое многими годами, бедами, широтами лицо, странно соединявшее в себе лицо никчемной старухи и битого морскими ветрами моряка, сказала мягко и даже просительно: — А все же вы на нее не сердитесь, ладно? Знаете, какая Ирина была красивая! Сколько у нее было предложений в двадцать третьем году! Она была просто замечательная. Она же балерина. Училась у Полякова в студии на Бронной. Мы бегали всей оравой смотреть. Поляков предлагал уехать в Ригу. И не поехала, маму пожалела — отец наш как раз умер, у Коли были неприятности... Петя тогда уже появился, но никто не знал... Нет, из-за мамы, только из-за мамы... Я говорю — счастливая. А какое ж счастье? В земле, в навозе копаться, картошку сажать, дрова пилить, колоть, как мужик. Вся родня говорила: продайте вы этот дом, сад, на шута это нужно в Москве, купите квартирку небольшую, удобную, в центре, будете жить по-человечески. Нет, Петя не может. Без сада ему не жить. Вот чего не отнимешь: она семье предана. Ведь вся Иркина молодость, все ее надежды, таланты какие-никакие, но что-то ведь было — все в землю ушло. Вот вам, Гриша, и счастье, жизнь кончается. А не дай бог с Петром Александровичем что? Не переживет она... Ой, такая она глупая, наивная, если рассказать...

Тамара Игнатьевна бормотала, Ребров прислушивался — ни собаки, ни голосов не было слышно. Он думал: как отвратительно должно быть человеческое лицо, если его рассматривать в лупу, все поры, волоски, неровности кожи... А мы только и делаем, что рассматриваем в лупу. Каждая минута, секунда — тысячекратное увеличение. А нужно все время видеть — годы, целое... Тогда бы не было ненависти. Нельзя ненавидеть женщину, родившую другую женщину,— ту, без которой нет жизни. Это невозможно, ведь они одно целое, непрерывное. Они — как дерево с ветками. Боль нельзя разделить. Хотела быть балериной и прожила жалкую, садово-огородную жизнь — ну и что же? Нельзя ненавидеть. Человек не замечает, как он превращается во что-то другое...

Ирина Игнатьевна вернулась через час и, узнав, что Ляля не приехала, зарыдала. Ребров тоже представлял себе разные страсти, бедствия, нападения. Ни о каком спанье не могло быть и речи, но и находиться в одной комнате с рыдающей тещей не мог — поднялся наверх,

в мансарду, пробовал читать, не читалось, лег на кровать, курил, томился, иногда сламывала дремота, несколько минут проходило в бреду, вдруг вскакивал, хватался за папиросы. В непонятное время возникла Ирина Игнатьевна — лицо вспухшее, волосы космами из-под платка — и с порога:

— Будь прокляты эти деньги! Всех денег не заработаешь! Зачем вы ее посылаете на заработки? Как вам не стыдно?

Что-то стало душить Реброва.

— Кто ее посылает?

— Вы! Есть ли у вас совесть? — И в глазах, белых, слезящихся, не злоба, а истинная вера в то, что говорит, и отчаяние перед ним, злодеем.

— Никто ее не посылает! Это вы... я!..— заорал он, задыхаясь.— Вы разрушаете нашу жизнь! Вы, а не я! Вы! Вы!

— Эх вы, посылаете на заработки...

— Не врите! Уже разрушили нашу семью — да, да! Вы запрещаете Ляле со мной расписываться! Требуете, чтоб она делала аборты!

— А вы ей не муж. Зачем ей от вас детей?

— Нет, я муж, а вы не мать, потому что творите ей зло, одно зло!

Тут был снова приступ рыдания, крик сквозь слезы:

— Не смейте так говорить! Я люблю свою дочь больше жизни! — И, аккуратно высморкавшись и вытерев губы: — Вы не муж, вы жалкий человек, и моя дочь с вами несчастна.

Он сбежал вниз, схватил пальто, шапку, сунул ноги в валенки и выскочил в сад. Кружил по снегу в потемках. Было гадкое чувство: страх перед собой, перед минутой ненависти, почти сумасшествия. Что произошло? Ведь только что думал о старухе спокойно. Он сходит с ума, превращается в злобное существо. Надо что-то делать. Попросить извинения, что ли? Не то: надо что-то делать с собой. В третьем часу, одеревенев от мороза, вернулся в дом, свалился на кровать. Утром приехала Ляля, румяная с холода, с каким-то жадным нетерпением страстно целовала Реброва, жалела мать:

— Боже мой, вы не спали! Бедные мои! Тетя Томочка, и ты не спала? Какая я негодница, как я вас мучила...

Теща слезливо:

— Ляля, зачем ты себя изнуряешь концертами?

— Я была вовсе не на концерте, глупейшим образом

попала в один дом, Смолянов обещал заехать, сломалась машина, я шла пешком к Машке в два часа ночи, словом — кошмар...

— Ах, Лялечка!

Теща вздыхала, но было заметно, что она сразу успокоилась, услышав про Смолянова и про какой-то «один дом». Ребров чуял, о чем она мечтала.

Его сосала новая тревога — где она все-таки была? Не приставал ли кто? Опять возник Смолянов. И несмотря на тревогу, был счастлив оттого, что она так истинно, горячо страдала из-за его страданий, целовала страстно, не постеснявшись матери, тетки. Ляля же, уловив, что между матерью и мужем натянутость — она улавливала это тут же,— спросила у Реброва, все ли в порядке. Они поднялись к себе в мансарду. Ребров сказал, что все нормально.

— Гриша, я тебя очень прошу! — зашептала Ляля внушительно.— Будь с мамой поласковей. Она же с ума сходит из-за папы...

— Ладно,— сказал Ребров.

Ляля сбросила платье, туфли, надела халат и легла. Морозный румянец спал, она лежала, закрыв глаза, побледневшая, с пятнами усталости на щеках.

— А где все-таки ты была? До Маши?

— Ой, Гриша, совершенно не интересно. В одном доме, там праздновали день рождения какого-то старика... Потом расскажу. Я хочу поспать.

— Тебе делали гнусные предложения?

— Конечно... Со всех сторон...— Она повернулась на бок, лицом к стене.— Разбуди меня через час, в половине двенадцатого придет машина. И накрой одеялом. Спасибо, Гришенька.

Ребров вышел. В коридоре столкнулся с тещей и совершенно неожиданно для себя сказал:

— Я вчера кричал что-то глупое, не обращайте внимания, Ирина Игнатьевна...

— Да, да, понимаю, мы оба нервничали. Виновата эта негодяйка. Гриша, сходите за молоком. Пожалуйста! — Умильная, просительная улыбка как ни в чем не бывало.— Она кашляет, я хочу дать горяченького...

Ребров легко побежал в магазин, принес две бутылки и поднялся наверх, в свой «кабинет».

Рядом с мансардой была совсем маленькая комнатка, щель с косым потолком, с одной стороны стенка комнаты, с другой — скат крыши. Здесь, в «кабинете», по-

мещались письменный стол и стул, больше ничего, но было окошко и можно работать. Ребров стал раскладывать свои папки, толстые тетради. Придвинул к себе одну с надписью на обложке «Наброски для п. о н.», что значило «Наброски для пьесы о народовольцах». Этим он занимался несколько последних недель, пожалуй, почти месяц, с тех пор, как увлекся Николаем Васильевичем Клеточниковым, агентом народовольцев в Третьем отделении. О Клеточникове впервые узнал четыре года назад, когда в издательстве Академии наук вышло новое издание воспоминаний Морозова, шлиссельбуржца, потом читал о нем в других книгах, в «Былом», у Фигнер. Но идея пьесы возникла недавно и, как обычно, вдруг. Пылко начал работать. Так же пылко, как начинал когда-то повесть о декабристах, потом о восстании ссыльных поляков в Сибири, потом об Иване Прыжове, о поэте Михайлове. Все это, незаконченное, сумбурное, грудами черновиков лежало в бесчисленных папках, ожидая своего часа. Внезапно наступал такой день, когда прорезывался пока еще робкий, холодноватый, но обещавший великое оледенение вопрос: зачем? Дальше все происходило быстро. Мотор переставал стучать, надвигалась скука, и, кроме того, следовало срочно зарабатывать деньги на жизнь.

Он вынул тоненькую пачку бумаги — на первом листе рядом с несколькими чернильными абзацами были нарисованы лица с бакенбардами, шпаги, лошади. Ребров любил рисовать лошадей. Собственно, это была не любовь к лошадям и вовсе никакое не рисование, а рисовальная неврастения — косматые уродцы рождались сами, механически, стоило о чем-то задуматься.

Большое количество уродливых лошадок на исчерканном листе было дурным знаком — оледенение близилось. Ах, он знал в чем дело! Сам виноват. Третьего дня разговаривал с одним знакомым, работником журнала, тот выслушал про Клеточникова и сказал: нет, вряд ли кого-то заинтересует. Ребров и сам догадывался. Но не надо было спрашивать. Бедный Николай Васильевич Клеточников, столоначальник департамента полиции, тихо скончавшийся от голодовки в Алексеевском равелине после тихой, героической и краткой жизни, на что мог рассчитывать через семьдесят лет? Он был болен неизлечимо, обречен. Обречен на забвение. Все это не имеет ровно никаких перспектив, дураку ясно. Надо было на что-то решаться. Куда-то, может быть,

уехать. В другой город, черт знает куда. Но ведь Ляля никуда теперь не поедет, ее дела превосходны.

Ребровская рука с привычной, ловкой безнадежностью — и одновременно с какой-то жуткой быстротой — лепила лошадок, одну за другой, одну за другой...

Два года назад Реброву предложили Барнаул, место в газете, и Ляля списалась с барнаульским театром, совсем уж было собрались, но в последний момент теща нечеловеческими усилиями — слезами, демагогией — все-таки поломала. Но не в теще дело. Та страшилась одного: как бы Ребров и Ляля не соединились прочно, навсегда. А Барнаул значил — навсегда. Для Реброва тут была громадная жертва, утрата многого — третьего научного зала, старых книг, букинистов, приятелей, тонких журнальчиков, где он печатал свои исторические завитушки (посылать почтой? сомнительно! да и брать откуда?), и, однако, он шел на все. Временно, разумеется. Даже рвался к этим утратам, к тому, чтобы — перелом, все заново. Ведь жизнь велика. Да, теща протестовала изо всех сил, однако Ляля часто поступала вопреки матери, не такая уж примерная дочь — вопреки матери бросила музыкальную школу, вопреки матери крутила с поэтом, убегала к нему, жила у него и вопреки матери вот уж пять лет с ним, Ребровым. Значит, сама не могла решиться на Барнаул, на то, чтобы навсегда. Он должен был пройти испытательный срок, что-то доказывать, предоставить гарантии. Теща говорила об этом прямо, а Ляля — был убежден — мыслила о том же втайне, даже втайне от себя. Но ведь если думать глубже, до конца... Тогда, наверно, и не в Ляле дело, а в нем. Он сам не может сказать ни себе, ни ей: навсегда. Если думать до конца. Не потому, что не хватает любви, а потому, что слишком много ее, чересчур тесно, лодка перевернется, есть страх — в открытое море. Сначала должен сам себе что-то доказать. Предоставить себе самому гарантии. И она это чувствует: «Гриша, теперь, когда не надо думать о куске хлеба, ты можешь сидеть спокойно и работать...»

За завтраком Ляля, торопясь, рассказывала о посещении отца — к февралю, может быть, выпишут. Что-то о театре, кознях Смурного, о том, что у Сергея Леонидовича конфликт со Смоляновым, не хочет ставить его новую пьесу. Боб с ним заодно, но директор настаивает, Бобу грозит увольнение, а Смурный уже подбрасывает Смолянову хвост. Ирина Игнатьевна жадно спрашивала, Ребров молчал. В присутствии тещи не любил раз-

говаривать с Лялей о театральных делах. Вдруг вырвалось:

— И правильно, что не хочет ставить! Наконец-то опомнился.

— Почему правильно?

— Да потому, что ерунда. Никому это не нужно...

— Гриша, ты не прав и, прости меня, немного завидуешь. У Смолянова есть неплохие вещи, публика его принимает.

— Публика принимает! Критерий! Да выпусти на сцену двух дураков, пусть лупят друг друга по мордасам... Главное, я завидую! Чему завидовать! Его деньгам, что ли? Тогда уж завидовать модельному сапожнику Аркашке, нашему соседу.

— А знаете, Гриша,— вступила в разговор тетя Тома,— я с вами не согласна. Спектакль, где Лялечка играла, мне понравился. Я очень много смеялась.

— Не отвлекайте ее пустыми разговорами. Она ничего не успеет поесть,— сказала теща строго.

Ребров засмеялся.

— Нет, вы меня изумляете! Да неужто вы всю эту музыку принимаете всерьез? Так называемый успех, шум-гром?

Почему-то он распалялся, городил лишнее. Теща тут же спросила:

— А вы считаете — успеха нет?

— Гриша, а вот Смолянов добрее тебя. Ты о нем с такой злостью, а он хочет помочь.

— Во-первых, безо всякой злости. Во-вторых, кому помочь?

— Я с ним вчера говорила. Насчет тебя.

— Что — насчет меня? — Он смотрел на нее в ошеломлении. Лицо ее стало краснеть. Ляля краснела редко, и если уж это случалось, то были, значит, причины.— Ну, о чем ты могла с ним говорить?

— Вообще я сделала глупость. Человек он ненадежный, не нужно было...

— О чем, о чем?

— Ну, о том, чтобы как-то помочь. В творчестве...

Он пробормотал: «Вот еще вздор... Как он может мне помочь?» — махнул рукой и вышел. Возмутила бестактность — говорить об этом при теще! Кроме того, хотелось немедленно, сию же минуту, спросить о Смолянове все — рассеять или укрепить подозрение, которое уже саднило занозой, но при старухах спрашивать было нель-

зя. Поэтому он поднялся в мансарду и ждал в нетерпении. Наконец Ляля взбежала по лестнице — театральная «Победа» стояла у ворот,— стала, торопясь, собираться, бросать вещи в чемоданчик. Он спросил: как возник разговор? Ляля что-то ответила. Тогда схватил ее за плечи, стиснул, глядя твердо, с отчаянием:

— У тебя с ним роман!

Она секунду глядела с недоумением, лицо ее вновь начало краснеть.

— Конечно, как же иначе! Ведь он наш драматург, мы от него зависим. Нет, Гришенька, выяснилось, что он глуп. А, как ты знаешь, глупые люди для меня не существуют. Я побежала! Пока!

Ребров смотрел сверху, как цигейковая шуба мелькает в саду, на белом, среди голых деревьев. Ничего не разрешилось. Конечно, она шутила. Это было бы невероятно. Она знала, что тогда он не сможет жить.

Через час трамваем поехал на Башиловку. Нужно было взять несколько книг, которые давно уже оторвал от сердца, мысленно свыкся: продать. Сосед Канунов сказал, что приходили из домоуправления и строго требуют справку с места работы. Вплоть до выписки и выселения из Москвы. Сосед был человек неважнецкий. Комнату занял нахраписто после войны под маркой того, что инвалид. Комната раньше принадлежала хорошим людям, ребровским старинным соседям, которые замешкались в эвакуации, а этот вселился в одну из комнат — у тех было две,— и уж потом его ни кипятком, ни керосином не выморить.

Насчет справки повторил три раза, даже в комнату нагло просунулся.

— Сказали, Григорий Федорович, если до первого не представите, заявят в милицию.

— Хорошо, хорошо. Представлю.

— Так что вы побеспокойтесь. Ввиду того, что я назначен уполномоченным по подъезду.

— Очень приятно...— Ребров с некоторым усилием — сосед не давал — придвинул дверь, закрыл.

Минуту спустя был стук и голос соседа, гораздо более требовательный, резкий:

— И прошу окно заклеить! Вы где-то живете, неизвестно где, а квартиру морозите. Прошу безотлагательно утеплить.

«Иди к чертовой бабушке»,— пробурчал Ребров неслышно, но вслух ничего не сказал. Раздражение и упа-

док сил — вот что он испытывал. Скандалить с такими, как Канунов, не нужно. Справку? Принесем. Заклеить окно? Пожалуйста. Не теряя времени, стал рыться в шкафу и на полках, отыскивая книги для продажи. Попадались старые общие тетради, альбомы с бездарными школьными рисунками, а вот и учебник польского языка, самоучитель итальянского — господи, сколько благих начинаний! В книгах был хаос, пришлось потратить часа полтора, да он и отвлекался, всовывал нос в старье, в пыльные тетради и, забыв обо всем, наслаждался бессмысленным чтением, пока не нашлось нужное количество книг, рублей на сто двадцать. Наконец, набив портфель до отказа, вышел из дому, который когда-то был родным, единственным, но после смерти родителей, гибели брата и после того, как жизнь переломилась Лялей, сделался нежилым помещением, вроде сарая.

Справку для домоуправления два года давала как раз та редакция, где накануне его вычеркнули из списка внештатников. Искать выход. Причем срочно! Этот дядя доведет дело до конца. Кажется, нацелился на его комнату. Ну да, у него семья, тесно, а тут — видит — месяцами никто не живет, несправедливо же. В домоуправлении, может, и забыли про справку, в прошлом году приносил, но Канунов напомнит. Что он там делает, на мясокомбинате? Мастер, инженер, нормировщик, шут его знает. Делает колбасу. Чуть зазеваешься, и он тебя — хоп, в машину, и вылетаешь с другого конца рулончиком «любительской» в целлофане, с аккуратными хвостиками. Если бы студия взяла сценарий, а какой-нибудь театр принял пьесу — хотя бы на будущее, с переработкой, но с договором,— дело в шляпе, справка будет. А пока что он зеро, продавец воздуха. На заводе силикатного кирпича всегда нужны разнорабочие, и вам дадут справку. Он ведь даже не муж известной артистки. Канунов что-то почуял, недаром выспрашивал: «А почему бы вам не прописаться на площади жены? А вы член какого-нибудь творческого союза?»

Все ясно: Канунов приступил к действиям! Прошлый раз очень ласково пытался выяснить адрес Ляли для того будто бы, чтобы письма не залеживались: пересылать. Но Ребров угадал опасность и адреса не дал. Ничего, пусть залеживаются. А то явится однажды: «А мы, Григорий Федорович, насчет справочки».

Ребров невольно оглянулся. Улица была пустынна, ветер мел снежок по тощему тротуарчику.

За книги в проезде МХАТа, в четырнадцатом магазине, где был знакомый товаровед, выручил девяносто рублей и сразу поехал в редакцию на Гоголевский бульвар, где у него брали иногда «Исторические курьезы» и «Забытые факты». Там сказали, что справку дать не могут, потому что он не включен в официальный список. В другую редакцию, где лишь изредка получал работу — ответы на письма,— идти было вовсе бессмысленно.

Побрел в «Националь». И первый, на кого наткнулся в зале, был Шахов.

— А! — сказал Шахов будто бы дружелюбно.— Как ваши дела, вьюнош? Садитесь, примите стопаря. У вас какой-то вид замороженного судака.

— Дела мои прекрасны,— сказал Ребров, садясь и наливая в фужер коньяк из шаховского графинчика. Вел себя нахально, потому что решил сразу же заказать двести.— Слушай, а ты мне что-то предлагал, помнишь?

— А? Помню. Что? Забыл...— Шахов захохотал, подмигивая. Красные в синеву щечки, набрякшие от коньяка, тряслись, глаза смотрели вроде пьяно, но одновременно как-то цепко, внимательно.— Сейчас обсудим. Ты поешь поплотней. Закажи карпа. Сегодня карп колоссальный...

Предложение было таково: есть человек, который может помочь. Надо принести, показать все что есть — сценарий, пьесу, он скажет что, где, куда, почем. Человек крайне солидный, с большим опытом. Это что же — соавторство? Почему так уж обязательно сразу? Как говорится, будем посмотреть. Но вариант не исключается. Нет, исключается! К чертям собачьим! Кто же этот крайне солидный человек? Тихо, тихо, не нервничать, особенно с карпом. Слишком много костей.

— Как говорится, наше дело предло́жить, а ваше при́нять...

Со своими красными, все́гда влажными глазками он похож на старого сеттера, больного конъюнктивитом. Ему лет под семьдесят, но все зовут его Костей. Кажется, он что-то делал еще в «Биржевых ведомостях». Мог что-то делать и семьдесят лет назад, и сто, и раньше. В «Го́лосе» у Краевского, в «Московских ведомостях» у Каткова — где угодно. Милый Костя, это уж наглость, неудобьглаголемая, ни в какие ворота! Почему же, позвольте узнать? А что вы о себе воображаете, вьюнош? Ну, хорошо, закажите еще двести — и никакого разговора не было. В случае чего я здесь во вторник после

шести. Что рассказывает супруга? Как дела у Сергея Леонидовича? Я слышал, у него неприятности? Конфликт с директором?

Было около трех. Ребров поехал в театр. Не был там очень давно, и не хотелось, не мог. Но теперь гнало последний раз толкнуться, потому что стоял на грани. Ведь настоящего ответа так и не получил. Обсуждения не было. И рукописи до сих пор там. И еще — увидеть Лялю, спросить немедленно. Как она скажет, так и будет.

Проскользнул пустой вестибюль, кинул пальто на крюк в гардеробе и — к завлиту в кабинетик, набитый табачным дымом.

Маревин сидел на диване, притулясь небрежно, одну коротенькую ножку подогнув под себя, другой покачивая, рядом с ним на краю дивана чинно выпрямилась сухая кеглеобразная дама. Разговаривали вполголоса, у Маревина в руках четки. Всегда с четками, как правоверный мусульманин. На Реброва взглянул устало, с удивлением.

— Позвольте, Гриша, мне думается, какой-то разговор у нас был. Разве нет? Мне думается, вы ошибаетесь...

— Ничего подобного! Через Лялю...

—Да, был, был! Вы запамятовали. По поводу «Высокого дома» — или как там у вас? — вы спрашивали по телефону... Я передал мнение Сергея Леонидовича...

— А где официальный письменный ответ?

— Я не понимаю, Григорий Федорович...— В черных глазах Маревина сгущалось неудовольствие. Под глазами темными нашлепками висли мешки, как с перепоя. И этот пигмей, жалкий язвенник, тут царь и бог! — На чем вы настаиваете? Обсуждение? Мы вас щадили... Зачем вам? Актеры, члены совета, люди бестактные, грубые, скажут какую-нибудь неприятность — вы полгода работать не сможете, руки опустятся. В ваших же интересах... Официальное письмо — пожалуйста, хоть сию минуту...

Кажется, издевательство. Но ведь, наверно, по делу. Издевательство-то по делу. Считает халтурщиком. Голову стягивало болью, будто кто-то все туже закручивал вокруг черепа полотенце. А, плевать! И вдруг неузнаваемым, пошло-напористым голосом, каким должны разговаривать халтурщики:

— Борис Миронович, мне бы хотелось получить справку о том, что я ваш автор и работаю для театра над пьесой. Это необходимо...

Зазвонил телефон. Пигмей спустил ножки с дивана.

— ...для домоуправления.

Пока он бубнил в телефон, дама склонила кеглеобразный стан к Реброву, шепнула:

— У Бориса Мироновича — вы знаете? — большое горе. Жену похоронил. Он ведь один, детей нет, родных никого...

Маревин продолжал бубнить в телефон:

— Выписку, да, да, в понедельник, попрошу подготовить всю документацию, да, да, да, да, да, существенно важно...

— Отчего умерла? — поинтересовался Ребров.

— Она болела очень долго,— сказала дама, кивнув скорбно и почтительно, но в то же время с видом какого-то неизъяснимого уважения.

Маревин пытался понять, о какой справке идет речь. Потом, поняв, дал совет: Людмила Петровна должна переговорить с директором, ей не откажут. Он бы сам мог переговорить, но теперь это не имеет смысла. Он из театра уходит. Для него директор не сделает ничего, скорее наоборот, а если Людмила попросит — может сделать. Она как раз пользуется сейчас кредитом. Ребров содрогнулся от мысли: потерять человека, который единственный в мире. Остаться совсем одному. Он заглянул пронзительно в маленькое, померкшее— теперь видел, что померкшее — лицо Маревина, который снова сел на диван и теребил четки, и понял, что этому человеку худо. Не из тех, кто может жить совсем один. Сухопарые дамы вроде сидящей тут, на диване, его не спасут.

«Боб скоро умрет! — вдруг подумал Ребров с испугом.— Без театра...»

— А вы, пожалуй, зайдите к Сергею Леонидовичу,— сказал Маревин.— Поговорите с ним. Зайдите, зайдите сейчас же! Он у себя, я знаю.

Реброву захотелось сказать: да бог с ними, с пьесами, справками. Все это мура, не стоит разговора. В самом деле мура. Можно как-то перекрутиться и жить дальше. Ведь жизнь велика. А стоит разговора другое: смерть, одиночество. Но это как раз то, о чем разговаривать невозможно. И он тряс руку Маревина, заглядывал в его глаза — в них была беззащитность и одновременно все же какое-то высокомерие — и, потоптавшись, помяв пальцы, так ничего не сказал и ушел.

Зачем было идти к главному? Ведь все стало ясно, пользы не будет. Но он действовал теперь — как бывало

с ним часто — во власти инерции; не в силах затормозить. Главный режиссер знал Реброва довольно хорошо как мужа Ляли, но серьезных разговоров никогда не было, все так, мимоходное, застольное, два слова на вокзале, в буфете, у вешалки... И вдруг этот тучный седой человек — ошеломительная неожиданность! — стал говорить Реброву все свое сокровенное, мучающее. Ребров ему что-то про справку, а тот — про то, что зол на весь мир, находится в опаснейшем, мизантропическом настроении, человечество себя не оправдало, мы погибнем от лицемерия — и что-то еще в таком духе. Он почти бегал по комнате, а Ребров стоял у окна, прижатый спиной к высокому подоконнику.

Оказывается, полчаса назад окончился худсовет и старик всем дал по мозгам — директору, заму, второму режиссеру! Вчера ночью, в бессонницу, вдруг отчетливо понял, что спасение в одном: говорить людям правду в глаза. Автору, конечно, донесут сегодня же, потому что сыр-то бор разгорелся из-за него. Борис Миронович встал поперек третьей пьесы... А что такое третья смоляновская пьеса, это, знаете ли, особый разговор — действие происходит в Чикаго, Белграде и на Волго-Доне...

— Почему, собственно, я все это рассказываю? Наверное, потому, что ваша Людмила была единственным человеком на худсовете, кто пытался — пускай робко! — помочь мне спасти Боба.

Он поглядел на Реброва внимательно и вдруг продолжал иным голосом, сухо и неприязненно:

— Так, теперь поговорим о вас. Я предупредил, сегодня я беспощаден. Согласны? Идет? Так вот, читаю я ваши сочинения, читаю других молодых авторов — того же Смолянова — и удивляюсь: ну зачем люди себя мучают? Почему пишут о том, о чем имеют лишь слабое представление? Ведь у каждого из вас есть свое, кровное, что дорого до слез, как у Чехова — его дяди Вани, докторы Астровы, а у Горького, допустим, его мещане, Булычовы, Достигаевы. А у вас — кто? Что? Вот сочинили о корейской войне. Корею вы не знаете, войны тамошней не нюхали и вообще на востоке дальше Казанского вокзала не бывали, а? Так ли?

— Эта пьеса не вполне реалистическая... Скорее сказка,— пробормотал Ребров, не в силах побороть улыбки, которая со стороны выглядела, наверное, дурацкой.— Даже, пожалуй, притча...

— Притча! Послушайте, это самонадеяннейшее за-

явление: я написал притчу! Притчи пишут народы, а не авторы. Теперь другая ваша пьеса, о строительстве университета. Терпите, терпите, такой уж день. Но ведь боже мой, друзья мои золотые, научитесь сначала писать о двухэтажных домишках, о бараках, о комнатках в цветочных обоях, где живут Петры Ивановичи и Марьи Ивановны, а потом уж кидайтесь на сорок пять этажей! Вот Смолянов, человек не без способностей, принес когда-то первую немудрящую пьеску о лесополосах, что-то было свеженькое, от жизни... Опыта еще мало, а замахивается... Я колебался, но убедили, упросили, тема нужная, поставил. Тут вступает в действие мифотворчество, возникает мифологема...

Ребров был не в силах сосредоточиться и вникнуть по-настоящему. Что-то о Смолянове, невероятно длинное, сложное, накипевшее. Но ведь пустяки, вздор. Зачем так долго? Такая горячность? Одно ясно: одинок, ущемлен, на что-то решился и уже испуган, некому пожаловаться, не на кого излить. Здорово же Смолянов успел насолить. Какие-то клочья фраз достигали сознания: «Герман Владимирович, этот магистр лицемерия, рвется в постановщики... А раньше, вы помните?.. Оба моих спектакля — мой, мой грех, я этого Голема породил!..»

— Сергей Леонидович,— сказал Ребров,— а как вы полагаете с моим вопросом? Как мне-то быть? — Вновь, как в кабинетике Маревина, возникло грубое вожделение халтурщика: бить в одну точку. А что делать? Явился в таком качестве — и должен вести себя соответственно.— Мне бы справку хотя бы.

— Справку? Какую справку? — удивился главный режиссер.— Ах, ту справку, о которой вы говорили. Обратитесь к администрации.

Он включил настольную лампу, стал шевелить бумаги на столе, лицо вмиг сделалось старческим, брезгливым. Ребров неожиданно сел в кресло под лампу и сказал:

— А вот что: у вас есть десять минут времени? Хочу кое-что рассказать. Нет, не к тому, что вы читали. То — мура! Имейте в виду, я на вас совершенно не в обиде...

— Не тратьте времени зря. Я вам дал семь минут.

Просидели в кабинете два с половиной часа. Ребров рассказывал о Николае Васильевиче Клеточникове. Все, что горело в нем последние месяцы и что стало остывать и превращаться в лед за последние дни. Но теперь, рассказывая, снова воспламенялся: ведь история Николая Васильевича была примером того, как следует жить,

не заботясь о великих пустяках жизни, не думая о смерти, о бессмертии... Неизвестно даже, был ли он истинный революционер, то есть сознавал ли в полной мере задачи и цели. Явился неожиданно, чахлый, полубольной, никому не ведомый, провинциальная чиновничья крыса в круглых очках, и предложил свою помощь революции. И были сомнения, неясность — ничего ведь героического! Ни стальных мускулов Александра, ни кинжалов и пистолетов Сергея, ни начитанности Льва, ни карбонарского романтизма Николая. Ну ничего, ничего. Был исполнителем. Исполнял чужую волю, которую несколько человек назвали «народной». Внедрился в полицейское чрево, проник под панцирь, просочился в самую глубь, в кишки, в сердцевину Третьего отделения, и оттуда — спасал, выручал, убивал. Исполнял волю собственной совести. Вот и все. Объяснить это почти невозможно, ибо совесть — понятие туманное, вроде словечка «рябь». Попробуйте объяснить словечко «рябь» — ничего не выйдет, начнете дрыгать в воздухе пальцами. И однако, тут гигантская сила. Правда, в разные времена эта сила то прибывает, то убывает, в зависимости, может быть, от каких-то взрывов солнечного вещества. На следствии он говорил нелепицу, клевеща на себя, будто получал деньги от революционеров за сообщаемые сведения, надо было как-то объяснить. Как же объяснить? Ну, хорошо, болен, чахоточный, больше двух-трех лет не протянул бы, но болезнь обостряет только то, что в человеке заложено,— и вот обострилась совесть.

Когда он играл в карты с жирной домовладелицей, полицейской наушницей, желая ей понравиться и через нее получить место в заветном учреждении...

Сергей Леонидович слушал с азартом и жадностью, как слушают дети. В нем было что-то безусловно детское, в толстом старике. И по ходу рассказа вставлял внезапно слова насчет «мирового лицемерия». Наконец он сказал:

— Удивительно, как много прекрасных и забытых людей жило на земле. И ведь недавно! Мой отец был современником вашего Николая Васильевича, тоже петербургский житель...— И он, пораженный, рассуждал об этом. Ребров был почти растроган. Кажется, главреж впервые слышал такое имя, как Николай Морозов, а уж про Льва Тихомирова говорить нечего.— Понимаете ли, какая штука: для вас восьмидесятый год — это Клеточников, Третье отделение, бомбы, охота на царя, а для

меня — Островский, «Невольницы» в Малом, Ермолова в роли Евлалии, Садовский, Музиль... Да, да, да! Господи, как все это жестоко переплелось! Понимаете ли, история страны — это многожильный провод, и когда мы вырываем одну жилу... Нет, так не годится! Правда во времени — это слитность, все вместе: Клеточников, Музиль... Ах, если бы изобразить на сцене это течение времени, несущее всех, все! Но сегодня я заявил: если уходит Борис Миронович, уйду и я. Так что господа должны решать. Обычно после худсовета у меня тут шум, толкотня, анекдоты рассказывают, а сегодня, видите, все разбежались, я их озадачил...

Ребров вышел на улицу в сумерках, уже горели фонари. Измочаленный долгим разговором и отчего-то бессмысленно радостный — вот уж вправду бессмысленно! ведь ничего не добился, ни самой малой малости, какую можно было бы принести в клюве,— брел по улицам: от Пушкинской площади к Трубной, оттуда по Неглинной вниз, опять на Пушкинскую. Однако радость постепенно гасла, проступало уныние. Нет, не оттого, что еще один день сгорел бесплодно, даже библиотека пропала. Вдруг подумалось: у старика, так же как у Реброва, нет желания идти домой. Это была печальная мысль. И когда Ребров встретил у дверей диетической столовой старого приятеля, некоего Толю Щекина, он был уже весь во власти уныния. Этого парня, с которым когда-то учился в институте, Ребров всегда встречал на улицах. Щекин получал пенсию как инвалид войны. Он был одинок, жил скудно, почти загадочно, не пил, не курил, питался в столовых, всегда ходил в одном тонком пальтишке, с одним и тем же клетчатым шарфиком.

Встречая Реброва, Щекин почему-то разговаривал с ним свысока, с неизменной покровительственной улыбкой. А Ребров любил встречать Щекина. Один вид этого человека, который прекратил всякие попытки подняться выше нулевой отметки, улучшал настроение. Обычно говорили о женщинах. Ребров спрашивал, не женился ли Щекин. Тот хохотал: «Что ты, что ты! Никогда!» Лицо Щекина было неистребимо румяное, зубы, аккуратно починенные, сверкали. Друзьями Щекина были продавщицы, официантки, судомойки, приемщицы из ателье и химчистки, с которыми он проводил несколько запланированных часов в неделю: приглашал в свою скромную комнату, угощал скромным ужином, бутылкой вина, иногда просто чаем с колбасой и радовался скромному при-

зу. Вот о них-то и случалось кратко, на бегу, поговорить. Но сейчас усталость и уныние не располагали к балагурству. Исподлобья взглянув на Щекина, Ребров спросил машинально:

— Ну, как, еще не женился?

— Никогда! — захохотал Щекин и дружелюбно, хотя и несколько покровительственно пошлепал Реброва по плечу. Он стоял почти у самых дверей диетстоловой, впереди были только старухи, а сзади человек двадцать. Очередь, по-видимому, стояла долго, намерзлись и, заметив приставшего Реброва, злобно насторожились. А Ребров почувствовал голод. Ведь он ел часов в двенадцать, а теперь был уже седьмой! Щекин спросил:

— Говорят, твоя жена пошла в гору? Ты машину покупаешь?

— Кто тебе сказал?

— Вся Москва говорит, ха-ха...

— Гражданин, встаньте в очередь! — проскрипело сзади.

Щекин громовым голосом заявил, что Ребров стоял впереди его. Очередь заколыхалась, кто-то вскрикнул: «Мы не видели!» — электрические разряды щелкали в воздухе. Ребров не оборачивался, открылась дверь, три старухи и за ними Ребров под прикрытием щекинского протеза вклинились внутрь. За супом и запеканкой Ребров рассказывал о своих бедах. Он понял: кто-то должен слушать. Щекин слушал хорошо. Кивал, вставлял сочувственные глупости и, улыбаясь, поглядывал на Реброва свысока.

Вдруг он сказал:

— А ты, брат, обуян гордыней! Какие-то пьесы сочиняешь, повести о народовольцах.

— То есть как это? — удивился Ребров.

— Честолюбие тебя замучило. Суетишься зря. Я вот преподаю в вечерней школе литературу, шесть часов в неделю. И как мило! Фонвизин, Пушкин, Державин... «Я царь, я раб, я червь, я бог!» Хочешь, устрою? Будешь историю преподавать. И справку дадут.

Ребров покачал головой.

— Пока не хочу.

— Ну, ладно. Посуетись немножко. А зря вообще-то. Не взять ли еще по стакану киселя?

Ребров молчал, подавленный.

В том, что честный недалекий Щекин — почему-то Ребров был убежден в том, что Щекин недалек,— вы-

сказал так открыто и доброжелательно, была какая-то наивная, смертельная беспощадность. Вот она, правда в глаза. А не те колкости, которые отпускал Сергей Леонидович. В самом деле, не лучше ли так — лапки кверху? История в вечерней школе. Шесть часов в неделю. Справка, положение, существование. Щекин приковылял с двумя стаканами киселя и говорил что-то про черненькую подавальщицу, ее зовут Рита, из хорошей семьи. «Могу дать телефон. Дать телефон?» Ребров был так далеко, что, хотя слышал вопрос, не ответил. Когда вышли на улицу, Щекин сказал:

— А ты не расстраивайся. Через двадцать лет все будет наоборот. Вы с этим режиссером, Сергеем Леонидовичем, поменяетесь местами, я тебе обещаю.— Он засмеялся.— И только я останусь на прежнем месте!

— Через двадцать лет? Кому это нужно. Я буду старичком, почти таким же, как он...

— Я и говорю: поменяетесь местами. А он перестанет существовать. Почти так же, как ты теперь, ха-ха!

— Спасибо, обрадовал.

— Не горюй, милый! Звони. Про вечернюю школу помни. Еще есть место заведующего клубом в Первомайском районе, могу устроить. Не пропадай!

И прожигатель жизни по диетическим столовым двинулся Пушкинской вниз, к метро. Ребров пошел по той же улице вверх. Последние слова Щекина, вроде бы исполненные доброжелательства, удручили вконец. Неужели без злого умысла? «Но ведь прав, подлец,— не существую...»

Долго ходил по улицам и думал об этом.

Если вдруг окочуриться — кто заплачет? Да попросту — кто спохватится? Ляля заплачет. Некого будет жалеть. Но через три месяца познакомят с одним туберкулезником, физиком, любителем симфонической музыки или с чудесным человеком, землемером, запойным пьяницей, Ирина Игнатьевна все равно будет рада и найдет преимущества. Главное преимущество: туберкулезник и запойный пьяница существует. Начался снегопад. Ехать домой было все еще рано. Тянуло по бульварам, сначала вниз, по Трубной, потом в гору, к Сретенским воротам. Знал, куда тянет: к дому на Сретенском бульваре. «Аннушка» очень медленно одолевала подъем. В электрической уютной теплоте качались бескровные лица. Ребров почти шагом догнал трамвай и вскочил на подножку. Было когда-то: зима, снегопад,

горбился бульвар с вымершими деревьями и вот тут — справа темнела кирпичами древняя крепостная стена — он вскакивал на подножку. Портфель держал в левой, семенил быстро и четко, стараясь попасть в ритм колеса, молодецкий прыжок и — там! Правой ухватывал поручень. Так было ежедневно до того марта, в гололед, когда нога провалилась в пустоту, портфель выпал и кто-то сильный схватил за ворот, выволок на площадку. У Сретенских ворот, которые были конечной целью недолгого приятного путешествия — всего одна остановка! — услышал крик и увидел бегущую снизу, от Трубной, размахивающую руками фигуру человека. Это был отец. Он нес портфель, за которым Ребров собирался бежать вниз. Подбежал, тяжело дыша, с белым лицом, и, ни слова не говоря, отвесил такую плюху, что Ребров брыкнулся на тротуар, а лишь только поднялся, отец ударил снова, выговорив с ужасающей ненавистью: «Негодяй! Я все видел!» После того дня отец долго втайне следил, скрываясь, как настоящий шпион, за углом дома на Рождественке, за тем, как Ребров возвращается из школы, не прыгает ли в трамвай. Делать отцу было нечего. Он тогда уже не работал, был раздражительный, крикливый, ругался с мамой. Мама его жалела. Когда Ребров ей жаловался на то, что отец шпионит и ребята заметили, дразнят его, она говорила, что не нужно обращать внимания. «Пусть делает что хочет! — говорила мама.— Ведь он страдает, а мы не можем помочь». Ребров не понимал, почему нельзя найти другую работу и не страдать. Отец был экономистом. Но он уже был тогда болен, чего Ребров не знал. В конце лета отца увезли в больницу, из которой он не вернулся. Мама навещала его, но Реброва и его брата Володьку никогда не брала с собой. Однажды приехала радостная и сказала, что отец ее узнал. Отец сидел на кровати, шил из лоскутов одеяло и, когда мама зашла в палату, вдруг посмотрел на нее и сказал своим обычным ворчливым тоном: «Вера, у нас дома много разных лоскутов. Почему ты мне не привезла?» Мама так растерялась и обрадовалась, что не нашлась что ответить и расплакалась. Когда началась война, больницу эвакуировали в Кировскую область, отец умер в начале сорок второго от воспаления легких, но Ребров узнал об этом только через два года. Мама, наверное, узнала сразу же, она переписывалась с больницей. Она была в Кузнецке, куда эвакуировался завод. Мама умерла в со-

рок третьем году от сердечного приступа, а Володька перестал писать летом сорок второго — Ребров прочитал об этом в мамином письме,— и, вернувшись в Москву после госпиталя, Ребров стал наводить справки, писать повсюду, но ответ был один: данными не располагаем. Потом уж, сопоставив известные факты и некоторые сведения из последних писем Володьки, Ребров понял, что Володькина часть попала в котел под Харьковом.

Вот он, двухэтажный дом с полуколоннами, львиными облупленными мордами. На втором этаже третье и четвертое окна справа. Тут протекала лучшая жизнь: до шестого класса. Когда отца уволили с работы, он почему-то не мог тут жить — говорил, что мешает уличный шум, мучает бессонница,— и переехали на тихую Башиловку, почти за город. Как Ребров тогда сопротивлялся! Как не хотелось покидать школу, ребят, бульвар, каток на Чистых прудах, марочный магазин на Кузнецком, куда бегали после школы и где в подворотне происходили жестокие драки! Однажды получил от матери шесть рублей на серию французских колоний, вышел, счастливый, из магазина, вдруг кто-то толкнул в подворотню — трое пацанов стали молча крутить руки, отнимать пакет, он боролся отчаянно, раскидал, вырвался, побежал вниз по улице и, только добежав до метро, заметил, что весь перед его нового весеннего пальто висит клочьями: порезан бритвой. Но гордость тем, что раскидал, вырвался и спас драгоценный пакет, была больше мелкой неприятности: подумаешь, пальто...

Снег валил гуще. Заваливал все: закусочную, из хлопающих дверей которой вырывался теплый воздух, тротуар, бредущих людей, шапки, лица, воспоминания, мальчика в черном тулупчике, сначала длинном, потом куцем. Четыре человека жили за этими окнами на втором этаже. Один Ребров остался из четырех — стоит и смотрит в довоенное... Куда ж они делись все? Нет их ни здесь, ни там — нигде. Так получилось. Он их представитель на земле, где сейчас снегопад, где троллейбусы медленно идут с включенными фарами...

Ляля спросила:

— Зачем ты приходил сегодня пьяный?

— Куда приходил?

— Мне сказал Боб. Пришел, говорит, твой, пьяный вдрабадан, стал требовать обсуждения пьес. Про какую-то справку... А у Боба — ты же знаешь? — ужасные неприятности...

Ребров махнул рукой. Знает! Говорить обо всем этом сил не было. Сказал единственное:

— Смолянову передай спасибо.

Легли спать, и Ребров рассказал, что ходил сегодня к старому дому на бульваре. Добашиловская жизнь Реброва волновала Лялю, она любила его расспрашивать про отца, про времена, когда Ребров был совсем маленьким,— они-то познакомились в седьмом классе. И сейчас лежала, притихнув, и слушала. Ребров рассказывал, как когда-то давно, году в тридцать третьем, отец купил два детских соломенных креслица и приделал их к багажникам велосипедов, к своему и к маминому, и по воскресеньям вчетвером ездили кататься: Ребров и Володька сидели в креслах на багажниках. Где-то есть такая фотография, надо поискать. Лялина рука коснулась в темноте его лба, волос, стала гладить. Он взял эту руку, прижал к губам. Сказал, что сегодня один человек предложил работу: в школе для взрослых, преподавать историю. Можно еще пойти завклубом в Первомайский район. Ляля молча гладила его лицо. Он сказал, что есть другое предложение: отнести обе пьесы к кому-то, кто имеет связи, может помочь. Там, вероятно, придется брать в соавторы. Но ведь лучше, чем так, без движения. Хотя противно. Ляля шепнула:

— Ну и не надо.— Стала целовать его.— Не надо, мой милый. Не надо, родной мой. Не думай ни о чем. Все будет у нас хорошо. Справку достанем, будешь работать спокойно, добьешься всего, ведь ты талантливый, не надо, не надо, не раскисай. Что за дурак тебе предложил завклубом?

Он лежал не шевелясь, слушая, впитывая в самое сердце ее бормотание, сладкий шепот, обволакивающий, как эфир.

— Ты знаешь, что мне кажется? Что я... ты понял?

— Да?

— Мне кажется — да. И я хочу оставить.

Забилось в груди, силы возвращались. Радость, испуг — все вместе, слитно. Столько же счастья, сколько и несчастья: вот все, что необходимо. И это родное, теплое и есть единственное доказательство: с у щ е с т в у ю!

Тут, как бывает во сне, возникла истина, показавшаяся ясной и старой: не когито эрго сум, а люблю эрго сум, вот и все. Как же люди не догадываются? Почему не поймут? Ведь это же поразительная очевидность. «И я существую! Существую вопреки вам всем»,— думал он

с бурной и злобной нежностью, не ощущая ничего, кроме вкуса любви на губах и великого прилива сил.

Днем около одиннадцати пришли двое с телефонного узла и стали смотреть, откуда и как тянуть в дом «воздушку». Никто их не вызывал. Все думали, что ошибка, но рабочие показали наряд, на котором значилась фамилия Телепневой Л. П. и стояла подпись начальника узла. Тогда Ляля сообразила и сказала: «Ах, я знаю, что это!» — но было видно, что смущена и как будто не очень рада. Ребров потребовал отчета. Ляля сказала, что о телефоне давно хлопочет дирекция театра — им самим неудобно, часто приходится гонять машину только для того, чтобы что-нибудь сообщить,— но ничего не клеилось, кабеля поблизости нет, «воздушка» вещь дорогая, и вот, должно быть, в дело вступил Смолянов. У Смолянова связи и в этой области. Ирина Игнатьевна радостно восклицала:

— Какая прелесть, Лялечка! Большое, большое ему спасибо. Передай Николаю Демьяновичу, что он душка, молодец...

— Мама, я не хочу одолжаться.

— Ляля, какие глупости! При чем тут одолжаться? У всех наших родных, у всех знакомых сто лет телефоны, одни мы как в деревне...

Что-то в этой суете, внезапности, Лялиной н е р а д о с т и и чересчур горячем тещином ликовании было такое, от чего Ребров насторожился. Ведь, черт возьми, телефон! Это — вещь! У него никогда в жизни не было телефона ни на Сретенке, ни на Башиловке. Но как-то странно Ляля смутилась: будто споткнулась на ровном месте. Вскоре пришла машина, Ляля уехала, а теща через час уже звонила дяде Коле, тете Жене, дяде Мише, всей ораве родственников, сообщала номер телефона и последние сведения про Петра Александровича.

Через неделю старика обещали выписать.

Ребров шел от метро домой — спустя два дня после того, как возник телефон,— и, приближаясь к желтому дачному заборчику, увидел нечто, в первую секунду его изумившее. У ворот соседнего участка стояли милиционер Куртов и Канунов в черном длинном пальто, разговаривали. Канунов встал вполоборота, сделал вид, что не заметил Реброва. И Ребров сделал вид, что не узнал, хотя прошел рядом, почти коснулся плечом.

Чувство было невыносимо гадостное и от неожиданности — слабость в ногах.

Приятного мало узнавать, что кто-то под тебя упорно роет. Ты живешь, а чье-то рыло работает. «Ну, все!» — подумал Ребров, подходя к своей калитке, и рассмеялся. Оглянувшись, увидел, что милиционер и Канунов на него смотрят.

Планида Смолянова, четыре года круто набиравшая высоту, вдруг замедлила ход. Собственно, ничего страшного в делах не произошло, никаких катастроф, но темп снизился — это могло быть дурным предзнаменованием. Как Николай Демьянович себя ни уговаривал в том, что самая лучшая футбольная команда, например ЦДКА, и то иногда теряет очки, нельзя же нигде не ошибаться и не нести урона ни в чем, терпения не было и мудрости не хватало. Вместо того чтобы хладнокровно двигаться дальше, не реагировать на стоны и оскорбления, он, не выдержав характер, ввязался в прямой скандал: где-то на ходу, на лестнице, стал отвечать на крики и грубости старика, угрожал, тряс на него пальцем, бывшего завлита Маревина обозвал двурушником и, как дуралей, полностью раскрылся. Нервы сдали! Оно понятно, ведь как раз в январе случились тяжелые неприятности: в Саратове мать разбил паралич, отнялись ноги и речь, и неизвестно было, как поступить с девочкой, куда ее пристроить; пока что нанял для нее старушонку, соседку, а спустя десять дней Марта выкинула номер. Хотела из окна прыгнуть из новой квартиры на шестом этаже. Фрося, свояченица, увидела, поймала на подоконнике. Это уж второй раз, первый раз было в октябре, на старой квартире. Пришлось, конечно, заявить, отвезли в Кащенко. Николай Демьянович никому не рассказывал, особенно в театре. Зачем? Никого не разжалобишь, а навредить могут. Настроение от всего этого было хуже некуда.

Людмила вторую неделю избегала Николая Демьяновича. Встречались в театре, сухо кивнет в ответ на «здравствуй» и — мимо. Николай Демьянович и сам в иные минуты подумывал о том, чтобы «завязать». А ну ее к богу в рай с ее обидами! В точности не знал, но догадывался — видно, решила, что он ее Александру Васильевичу подсватывал. Верно, Александр Васильевич просил, даже требовал, и отказать было никак невозможно, но знала б она, дура, как он страдал из-за нее, какие кошмары представлял в своем воображении и как уповал на ее независимый нрав, столько раз его зливший. Ведь он в ту ночь глаз не сомкнул. Ни минуты

сна не было, бред мучил, галлюцинации: то Александр Васильевич мерещился, будто на него кулаком стучит и глазами сверлит по-своему, то Людмилу представлял в невыносимом виде, с тем вместе, и Николаю Демьяновичу язык показывает. И все же верил, всем сердцем, всеми печенками-селезенками: нет, нет, нет, ни за что! Убежден был почти железно, тыщу рублей поставил бы против рубля за то, что Александру Васильевичу ничего не обломится. Ни боже мой, никогда! Не тот случай. Когда Александр Васильевич позвонил наутро, сердито что-то басил — ничего не понять, только ясно, что злой как черт,— Николай Демьянович от радости даже подпрыгнул у телефона: «Ах ты, бедняга ты мой! Изжога, говоришь, одышка, соболезную...» — бормотал сочувственно, а сам, глядя в зеркало, строил веселые рожи.

Привык к Людмиле, присушился, что правда, то правда. И быстро-то как! Хотя томила его, раздражала обидами, отвращала иной раз дураком Гришенькой и капризами, самодурством («Какой шум из-за Маревина подняла! А старика защищать по-глупому?»), доводила до желания порвать навсегда, женщин кругом много, не такая уж сладкая, не заносись, бывают и слаще, а у него, если разобраться, возможности безграничны, только помани, и хотя знакомили с разными на скорую руку, ездили на дачу, в Химки, к приятелям, туда-сюда — через час все надоедало и превращалось в скуку. Потому что люди пустые, без понятия. Им бы только пенки снимать, а он на таких насмотрелся, на пенкоснимателей. Человек он сложной судьбы, характера непростого, не всякая поймет.

А Людмила — понимала. Удивительная: ничего у него не просила, ни за что не бранила, денег не брала. Раза два предлагал, отказывалась категорически: «Ну как тебе не стыдно?» Он радовался, приятно было — не оттого, что деньги жалел, а оттого, что такая женщина удивительная и — любит. Всего-то и трат — туфли на каучуке за триста восемьдесят рублей когда-то давно. Ну, и рестораны, само собой, не считано. Терпел Николай Демьянович, томился и — сил не стало терпеть — в коридоре остановил за руку, сказал:

— Людмила, а у меня беда.

Она глаза вскинула:

— Что такое?

— Мать с инсультом, в больнице. Не знаю, как с Галкой быть...

В глазах Людмилиных мелькнуло печальное, доброе: то ли испуг, то ли жалость.

— Возьми Галочку в Москву. А то мать себя доконает, если будет волноваться...

— И в Москве беда. С Мартой...

Рассказал скупо. Со всех сторон край — в театре война, Маревин, сволота, актеров настраивал, рецензентов подбивал, хорошо хоть отделались, а дома судьба смертным боем бьет. И близкие люди отворачиваются, ни помощи, ни тепла.

— Марту жаль, очень, очень даже жаль. Женщина еще не старая, тридцать восемь. Но центральная нервная система расшатана до предела, лечиться не меньше года и неизвестно как и что, какие результаты. Очень жаль. Она ведь отличный педагог, преподавала в детской школе гимнастику. У нее, значит, таким образом: маниакальный бред и навязчивые идеи. Ну, с Фросей скандалы, крики, с кулаками бросалась, ты же знаешь. А оказалось вот что — болезнь, никуда не денешься. Ну так жаль...

Рассказывал Николай Демьянович, буровил вполголоса и смотрел: милое лицо бледнеет, на глаза будто слезы наворачиваются. Вдруг схватилась:

— Тебе помочь?

Он кивнул.

— Поедем ко мне, сейчас же!

Соображал: Фрося может надуться, будет тарелки швырять, а ну ее к богу в рай. Отослать куда-нибудь. В Тарасовку, на дачу. Ага, протопить дачу, давно не топили.

— Где телефон? Сейчас позвоню, и поедем.

— Нет... Не поедем.

Вышли из коридора, стояли на широкой лестничной площадке перед окном. Был виден двор с грязной, в утоптанном черном снегу землей. Директорская машина стояла перед воротами гаража, капот был открыт. Возле кирпичной стены, отделявшей территорию театра от соседнего дома, высились намертво заваленные снегом какие-то декорации. «Не забыть в гараж зайти, насчет аккумулятора»,— подумал Николай Демьянович.

— У нас, Николай Демьянович, все кончилось,— услышал голос.— Я так решила.

— Почему?

— Так...

Стукнула дверь внизу, кто-то поднимался тяжело,

кряхтя. Людмила умолкла. Старик, из театральных пенсионеров. Поздоровался. Людмила ответила и, когда старик прошел в дверь, ведущую в коридор, повторила тверже:

— Так!

— Ты другого времени не нашла?

— Я про твои несчастья не знала.

— Но теперь знаешь?

— Знаю. Сочувствую тебе...— Помолчала.— Но все равно.

Глаза чужие, холодные.

— Ты мне казался... А ты, видишь, какой! Я привыкла к слабым мужикам... Я им и защита, и мать, и жена... Думала вначале, что и тебе я нужна...

— А что в них хорошего, в слабых мужиках?

— Они подлого не сделают.

— Да? Еще как сделают!

— Нет, их на это не хватает.

— Неправду говоришь! Глупости какие-то, вздор несешь,— бормотал он, чувствуя, как в нем поднимается нехорошее волнение, вроде озноба и жара.— Ну я, например, что подлого сделал? Кого убил, удавил?

— Любого, если понадобится. Боба уже удавил, теперь за Сергеем Леонидовичем очередь — я же вижу...

— Ну и что? Правильно видишь. Только я непричастен. Время его вышло, поняла? Запутался он, не годится, отстал безнадежно.

Ляля засмеялась.

— От кого отстал? От тебя, что ли?

— От времени, моя милая!

— Ой, боже мой...— Она продолжала смеяться.

Вдруг понял: жар, охвативший его, был страхом, потому что — конец, он видел.

— Зачем же было комедь ломать?

— Не догадывалась, Николай Демьянович. Ну, глупа, глупа матушка, что поделать? Виновата, казните. Вот Гриша несильный человек, верно, очень несильный, без меня ему погибель, но никогда же — на подлое...

— Неправду говоришь, совершенную неправду говоришь, чепуху какую-то,— молотил почти неслышным тетеревиным голосом, не было сил сказать громче.— Обыкновенный человек, такой же, как я, твой Гриша. Что ж он, не знает, что у нас с тобой? Ведь знает, а терпит.

— Не знает.

— Знает, очень даже, только у него ума больше, чем благородных кровей.

— Не знает! — вдруг крикнула Ляля и глазами сверкнула так, что Николай Демьянович попятился.

— Неправду говоришь...— шептал отчаянно и смотрел, как она ему кивает, делает рукой прощальный знак, поворачивается и уходит.

И когда через два дня Костька Шахов привел к нему домой этого самого Гришу и тот, каменно напрягаясь, показывал свою хурду-мурду в обтрепанных папках с тесемками, повторяя то и дело не к месту: «Да ведь вся штука в том...» — а Костька ерничал и за журнальным столиком нахально в счет комиссионных хлестал коньяк, Николай Демьянович смотрел на Гришу с каким-то даже печальным изумлением и думал: «Да что же в нем есть? Отчего это?» Вид у Гриши был затруханный, оторопевший, и говорил он дребедень: про справку какую-то для домоуправления. Николай Демьянович Костьку просил, чтобы тот темнил подольше, не открывал Грише, к кому его поведут, чтобы только сегодня открыл бы, у метро, где у них встреча назначалась,— и ведь не плюнул же, не закричал возмущенно: «Ах вот как?» — не побежал обратно в метро. Пришел как миленький. Сидит на диване плотно, хорошо, нога на ногу, папироса в зубах, и поглядывает этак с достоинством, как благородный человек. Да ведь, может, не догадывается? Ни боже мой! Догадывается, собака. Непременно догадывается. Людмила рассказывала, как он дома рубашку нашел, которую она ему, Николаю Демьяновичу, ко дню рождения приготовила, в комоде хранила. Спросил тогда, она отговорилась, будто какому-то музыканту из оркестра коллективный подарок. Николай Демьянович нарочно эту рубашку надел и халат распахнул. И Гриша, верно, рубашку заметил сразу же, но молчал, не спрашивал, только глаза на нее пялил. Обо всем переговорили — о критиках, о главреже, которому давно на покой пора, освободить место, а не хочет, брыкается, о том, что меры нужны, на собрании выступить, рассказать, какие безобразия творятся, молодых авторов жмут («Вам бы и поднять вопрос, Григорий Федорович?»), и все время Гриша рубашку глазами щупал и, как видно, сильно себя изводил. Наконец не вынес:

— Скажите, Николай Демьянович, где вы купили эту рубашку?

— Вот эту? Людмила Петровна подарила.

— А! — сказал Гриша.

И больше ничего. Действительно, слабые мужики никогда шума не сделают. Нет чтобы по скуле дать или закричать хотя бы: «Ка-ак! Почему такое? На каком основании?» Попрощались мирно, условились, что Николай Демьянович поглядит, подумает и через денька три-четыре даст знать.

— Телефон-то у вас теперь имеется, знаю, знаю...— улыбался благодушно, начальственно и рукой махал, провожая до двери.

Сочинения в обтертых папках посмотрел в тот же день, посоветовался кое с кем. Костька дал почитать Левке, Алинке. К Алинке, Левкиной жене, всегда прислушивался: мудрая баба, кандидат наук. Все это, сказала Алинка, написано неплохо, но без царя в голове. Если только перелопатить солидно, перештыковать, тогда, может, дело и будет. Но вдвоем подписывать резона нет. Со Смоляновым, конечно, любой в соавторство пойдет, а Ребров — кто такой? С чем его кушают? «А кушают его,— подумал Николай Демьянович и даже засмеялся,— с женой вместе. С женой и кушают!» Ну, ну, шутка, ничего страшного, не беспокойтесь, помочь поможем, скушать скушаем, но ведь не за красивые же глаза и не за то, что было, а за то, что быть должно. И тут влетела к Николаю Демьяновичу одна стремительная мысль: будто птичка летним вечером залетела вдруг на веранду. Окна все закрыть, двери закрыть, будет птичка колотиться в стекла — тук, тук! тук, тук! — пока не обессилит вконец, не упадет на пол, и тогда бери ее голой рукой.

Николай Демьянович видел всю картину отчетливо, и у него даже во рту пересыхало, как бывало, когда думал о женщине, и дней через пять, управившись с другими делами, позвонил по Людмилиному телефону и позвал Григория Федоровича. Женский голос ответил, что Григорий Федорович больше здесь не живет.

Третьи сутки Ребров, лежа на верхней полке, мучил себя — делал из мухи слона. На листке бумаги писал: муха — мура — кура — кора — корт — торт — торс... Спасительную отраву подсунул человек с полки напротив, некий Модест Петрович, как только отплыли от московских окраин и углубились в снега, в черные дачные заборы. Когда Ребров откладывал бумагу, переставал бормотать «морс — морг — торг» и взгляд его утыкался

в потолок или скользил по скучной заоконной белизне — март был в начале, сугробами еще стояла здоровенная зима,— он слышал речи, видел лица, от которых отрывался навсегда, летел в неведомое. Петр Александрович улыбался сохлыми, желтыми губами. «Вам видней, Гриша. Делайте, как знаете...»

Старику было все безразлично. Даже сад — когда-то вся жизнь — теперь не волновал. Целыми днями старик сидел в кресле у окна, слушал радио, дремал или читал «Огонек», на его губах стыла улыбка. Улыбка равнодушия ко всему, что не есть болезнь, то есть смерть. Он говорил только о своем самочувствии, лекарствах, врачах, сестрах, одна делала уколы лучше и приятно разговаривала, он ее очень любил, другая была угрюма, колола больней, не сразу попадала в вену, и он ее ненавидел и называл «сверловщицей». Ребров изумлялся краем сознания: как может человек измениться всей сутью! Он еще не знал, что и его сад — когда-то тоже вся жизнь — может быть отринут навсегда. И сроки были уже близки.

— Я вам советую, Гриша, не обращать внимания. Плюньте, плюньте! Ах, боже мой...— Старик вздыхал легкими судорожными вздохами, но вовсе не от приступа жалости к Реброву, а оттого, что вдруг опять нападала мысль о болезни.— Вы не знаете женщин... Они сделаны иначе, чем мы. Ирина, например, никак не может понять, что, когда она открывает дверь на кухню...— Вдруг спрашивал шепотом: — И зачем вы пошли к Смолянову?

— Какая разница! — раздражался Ребров.— Нужно было, и пошел.

Ребров долго после того посещения, гадчайшего (и в самом деле, поступок идиота! Нет, труса. Вдруг страх — надо что-то делать, немедленно, где-то крупно заработать, прибавление семьи, жить отдельно. Нет, не то, главным была, может быть, низменная, самоистязательная тяга — полюбопытствовать, вмазаться в эту пытку, ведь давно уже догадался, что один человек — это Смолянов), дня два не хотел никаких выяснений. Не хотел ни во что верить, ничего знать. Потому что какой смысл? Доказать нельзя. То, что она подарила рубашку и он нагло улыбался, рассказывая об этом, еще ничего не значило. Он вообще наглец, скотина. Однако утром третьего дня все переменилось. Случайно — на полу в мансарде — Ребров наткнулся на послание Ирины Иг-

натьевны к Ляле. К этим сочинениям на листках ученических тетрадок, иногда в конвертах, иногда и без, Ребров привык; теща делалась графоманкой, когда бывала с дочерью в ссоре. А та, шляпа, раскидывала повсюду — не хочешь, а прочитаешь! Между ними что-то произошло, они почти не разговаривали, было заметно, но Ребров не спрашивал, в чем дело. Знал одно: начинается между ними, а замыкается на нем. Ляля не выдерживала долгих ссор с матерью. Не нужно было поднимать этого письма, черт бы с ним совсем! Как всегда, теща писала современнейшей прозой, как Дос Пассос, без точек и запятых:

«Дура ты дура жизнь тебя ничему не учит идиотка последняя зачем тебе это нужно? Имей в виду я возиться с ним не стану на меня не рассчитывай у меня сил нет мне отца достаточно как бы на ноги поставить ты на него ишачишь мотаешься теперь еще ребенок совсем закабалишься очень скоро постареешь превратишься в клячу как тети Женина Майка ни кожи ни рожи деточки заездили а у тебя талант но ты дура им бросаешься от детей радости нет а есть только горе и разочарование ты многого не понимаешь у тебя детское сознание он тебя эксплуатирует в хвост и в гриву сам сидит в ресторане Националь пьет и жрет за твой счет а ты работай как лошадь если бы настоящий муж тогда бы я не так переживала Николай Демьянович за тобой ухаживал но ты отказалась ради чего? Если ты не пригласишь Алексея Ивановича я не желаю тебя знать живите как хотите на нас с отцом не рассчитывайте земельную ренту налог на строение все коммунальные расходы платите половину телефон на ваш счет нам он не нужен питайтесь в столовых я готовить отказываюсь Верни мне двести сорок рублей которые я тебе одолжила на мех...»

Во всем этом полубреде Реброва сразила одна фраза: «Николай Демьянович за тобой ухаживал но ты отказалась». Вечером Ребров не выдержал, спросил:

— Ну как, пригласишь Алексея Ивановича или нет?

Алексей Иванович был старичок гинеколог, пользовавший еще Ирину Игнатьевну и дважды делавший аборты Ляле. Ребров видел, что Ляля накалена, изнемогает от материнской враждебности — теща мучила ее молчанием четвертые сутки, чем-то это должно было разрешиться, надо было прикусить язык, но Ребров потерял равновесие. Слово за слово — и все, будто только того и ждали, закрутились в эту воронку. Ляля

и теща обвиняли друг друга, и теща, как всегда, оказалась более стойкой — Ляля рыдала, ей стало плохо, давали лекарство, перепуганная теща лепетала: «Деточка, я тебя не оставлю»,— брызгала на Лялю холодной водой. Наступило какое-то тупое нежелание говорить. Петр Александрович тоже стоял молча, опираясь на палку, и слушал крики женщин. Потом женщины разошлись по комнатам, и Ребров остался вдвоем с Петром Александровичем.

— Гриша, хочу вам сказать...— заговорил вдруг старик, приближаясь тихо.— Мне все едино... Вы завтра уедете, я послезавтра помру. Мне что? Ну вот, пятнадцать, не то шестнадцать лет назад был Валентин...— Оглянувшись, продолжал шепотом: — Иванович Скобов. Старший мастер по нашему заводу. Солидный человек. Очень солидный, представительный. В кузнечном цехе. Вместе на рыбалку ездили, гостевали, то, се. И вдруг чую: у Ирины с ним какая-то хреномутия, сохнет баба, любовь, понимаете ли...

Ребров усмехнулся:

— Если бы...

— Ну, не любовь, не знаю, кто ее знает, как хотите называйте. Но что характерно! Был момент, уйти, думаю. Непременно уйти. Девку забрать, уйти куда глаза глядят...

— Так. И дальше?

— Дальше ничего. Глупость, понимаете? Глупость проходит, а жизнь-то длинная.

— Нет,— сказал Ребров.— Тут дело другое. Я бы — пожалуйста. Но не могу. Не могу, потому что...— И, не договорив, махнул рукой и побежал вверх по лестнице.

На другой день уехал. И, уезжая, понимал, что на этот раз совсем не то, что было когда-то, когда он бросался от обиды на Башиловку. Был сине-солнечный, ярчайший день посреди зимы. Старик, улыбаясь, смотрел в окно на снег, слепящий глаза, и жевал губами.

— Делайте как знаете, Гриша...

На третью ночь прибежала Ляля с чемоданами: жить. С матерью поругалась навеки. Простить, поверить, нельзя же так поступать с человеком, без жалости, без пощады. Он рвался понять и простить. Но все-таки: отчего? И Ляля, плача и каясь, говорила что-то такое мелкое, стыдное, что слышать было невыносимо. Да, да, говорила она, где-то внутри, в подкорке,— и это самое ужасное — было, наверное, вот что: как-то себя устро-

ить. Ему хотелось заорать: «Боже мой, зачем на себя наговаривать? Ведь не могло же такого быть!» Могло, могло. Именно так и было. Она не желала уступать. Он надеялся, но — нет. И эта правда, вся правда, *голая правда* была исступленней и голей, чем самая голая страсть. Он истерзывал, выпытывал из нее все: про того, другого, всех давнишних, и она рассказывала до конца, отдавала эту жалкую правду, они оба как будто сошли с ума. Теперь-то ясно, что было той ночью: конец. Но они не понимали, им казалось, что начинается что-то новое, необыкновенное.

А на другой день, когда Ребров остался один, Ляля ушла в театр, он ощутил такую пустоту и скуку, что подумал: не бросить ли записку в почтовый ящик и не уехать ли куда-нибудь далеко? Пришел Шахов и сказал, что Смолянов давно ждет его, но Ребров сказал, что никуда не поедет. Потом однажды вечером явился сам Смолянов с ребровскими папками, коньяком и тортом для Ляли: «Если гора не идет к Магомету...»

Он сообщил, что нашел для Реброва работу: завлитом в театре вместо Маревина. С директором договорились, в управлении тоже. Ляля была на спектакле. Ребров испытывал стыд за хлам, неуют комнаты, плач кануновских детей за стеной, за свой затрапезный вид — в шлепанцах, старой пижаме. Он смутно представлял себе, что ему надо сейчас делать: бить Смолянова или ехать к директору и договариваться о работе? Оттого, чтобы бить, останавливала мысль о том, что все-таки тот приехал с добром, хочет помочь. Зачем же сразу бить? От коньяка отказался. Была еще проблема справки, потому что Канунов приставал. Во всем была какая-то странная необязательность, будто происходило во сне. И стыд во сне и удивление сквозь сон.

— Почему же Ляля ничего не сказала?

— Она не знает. Договоренность пока только с директором и с Германом Владимировичем... Герман Владимирович — вы знаете? — будет, вероятно, главным... А Сергея Леонидовича вчера свезли в больницу, инфаркт, говорят, обширнейший. Что ж вы хотите? Нельзя так себя не щадить... Оклад полторы тысячи, неприсутственные дни, приходить к часу...

Ребров в последние дни отчетливо ощущал: в нем что-то разрушительно переменилось. Это случилось тогда, перед отъездом. Перемена была такого свойства, что Реброву казалось, будто он теперь другой человек, с

другой кровью, другим химическим составом молекул. И этот другой человек мог и вести себя иначе, чем тот, старый, а тот, старый, имел право не отвечать за поступки другого. Сказал, что нужно посоветоваться с Лялей.

— Да чего ж тут советоваться? — смеялся Смолянов.

Но посоветоваться не удалось. Ляля заболела, лежала у матери, он туда ездил, а через дня два вызвали телеграммой, и он узнал, что приезжал Алексей Иванович и теперь все в порядке. Ляля была еще слаба, не вставала, глаза лучились светло, счастливо и, как показалось Реброву, виновато. Тому, старому Реброву захотелось рвануться к Ляле, прижаться лбом к ее белой руке, потому что счастье во влажных глазах было преодоленным страданием, но другой Ребров сказал спокойным голосом:

— Как ты себя чувствуешь? Я рад, что все кончилось.

Теща улыбалась умиротворенно, шептала:

— Только не беспокойте ее сейчас, хорошо? Гришенька, я вас прошу, сбегайте на рынок, купите фруктов...

Ребров подумал: «Она будет в ее власти всегда. До чьей-нибудь смерти». Через час, когда он вернулся с Инвалидного рынка, Ляля спала. Ребров уехал на Башиловку. На другой день, в пятницу, пришел Шахов, они отправились обедать в ресторан, а оттуда в театр. Выпили так много, что Ребров еле передвигал ноги. Сели в такси. Но сознание работало четко. Самое страшное, думал Ребров, это долгое прощание. На площади Маяковского он велел шоферу остановиться, открыл дверцу и высадил Шахова на тротуар. Он испытывал небывалую легкость, нечто пленительное и нелепое. Если бы не боялся показаться смешным, он мог бы подняться и взлететь над домами. Поезд отходил в двадцать один час. Ляля, наверно, бродила в халате по комнате, пила чай, а он улетал не прощаясь, парил в зимнем небе над крышами, исчезал, пропадал.

Модест Петрович спустил ноги в серых вязаных носках с полки и, помахивая ими над кем-то спящим, спросил:

— Вы что же, Григорий Батькович: после окончания института?

— Нет, мой милый. Мне, слава богу, под тридцать,— сказал Ребров.— После окончания жизни.

— Ах вот что...

Модест Петрович засмеялся. Синева за окном густела. Включили свет. Одна жизнь кончилась, другая начинается. Собственно, человек — любой, даже вот этот геологоразведочный Модест Петрович,— живет не одну, а несколько жизней. Умирает и возрождается, присутствует на собственных похоронах и наблюдает собственное рождение: опять та же медлительность, те же надежды. И можно после смерти оглядывать всю прожитую жизнь. Этим и занимался Ребров, пока поезд тащил его на восток, во все более глубокие снега и крепнущие морозы. На пятые сутки утром в коридоре была шумная толкотня. Голосисто и странно, по-дурному кричала женщина: «Ай-ай-ай-ай-ай-ай!» Отпахнулась дверь, всунулось красное, какое-то смятое, кисельное лицо с глазами навыкате, дохнуло шепотом: умер... в пять утра... Ребров вышел в коридор. Из одного купе доносились рыдания, в другом — дверь была настежь — играли в карты. Какой-то человек, расталкивая теснившихся, бежал по коридору, держа перед собой громадный китайский термос. Ребров вернулся в купе, залез на свою верхнюю полку. Слезы душили его, он повернулся к стенке и, стискивая зубы, чувствуя лицом мокроту казенной наволочки, думал о жизни, которую успел прожить: да что же в ней было?

— Вся штука в том...— бормотал он сквозь стиснутые зубы,— будет ли другая?

Через неделю из окна гостиницы на Большой Сибирской, где Ребров ждал начальника партии, он увидел такую сцену: на мостовой затеялась драка, мужик ударил ножом в живот одного, другого; бросился бежать, его догнали, повалили, стали бить. Сначала схватили трое: рабочий в белом, мучном комбинезоне (на углу разгружали машину с мешками муки), какой-то проходивший мимо солдат и женщина. Когда Ребров сбежал вниз, вокруг убийцы уже сгрудилась толпа. Один из тех, кого он ударил, лежал и стонал, другой кружил на месте, согнувшись, держась за живот. Несколько человек подымали мужика и били его головой о мостовую. Торопились добить до прихода милиции. Милицейский автомобиль подкатил через пять минут. Толпа раздвинулась, убийца лежал не двигаясь, с лицом неживым, черным, как подошва. Было ясно, что суд свершился.

Два милиционера подняли его и поволокли, держа под мышками, к задней открытой дверце машины. И вдруг убийца двумя руками поправил кепку, надвинул ее глубже на свою маленькую детскую головенку и самостоятельно влез в машину.

Ребров вернулся в гостиницу, на второй этаж. Подумал: как легко убить человека. И как невозможно трудно убить человека. Скоро приехал начальник партии Балашов, хороший малый, томич. Мостовая была пуста, и только на том месте, где стоял грузовик с мешками муки, было немного насыпано белым. Балашов сообщил последние сроки: до середины апреля камеральные работы в городе, а двадцатого числа на пять месяцев в тайгу. И уж оттуда, решил Ребров, на обратном пути можно будет попасть в Петровск-Забайкальский, бывший Петровский железоделательный завод, где погибал в ссылке, а все ж таки «дрыгал ногой» Иван Прыжов. Увидеть, что же там было и во что это превратилось силою времени.

Когда Ляля проезжает троллейбусом мимо восьмиэтажного дома с магазином «Мясо» на первом этаже — Ляля ездит иногда на бульвар Карбышева в срочную химчистку,— ей вспоминается вдруг кое-что из прошлой жизни, восемнадцать лет назад: Гриша, театр, старик режиссер, запах сирени весной, собака Кандидка, гремящая цепью вдоль забора,— и она испытывает странную мгновенную боль, сжатие сердца, не то радость, не то сожаление оттого, что все это было с нею когда-то. А иногда проезжает мимо дома с «Мясом», как мимо совершенно пустого места, потому что забот у Ляли хватает, голова пухнет: о муже думай, о сыне-восьмикласснике думай, на работе все сложно, директор Дома культуры нагружает на Лялю посторонние дела, она трехжильная, вывезет, да еще местком, да еще занятия в кружке физвоспитания на стадионе «Динамо», где Ляля бегает по субботам с пожилыми полковницами. Муж у Ляли военный, кандидат наук, преподает в академии. Папа, мама, тетя Тома, дядя Коля и даже несчастная Майка, моложе Ляли на пять лет, умерли за эти годы; старые друзья по театру исчезли, видеть никого из них не хочется (Ляля долго судилась, когда увольняли, боролась отчаянно, астму заработала в этой борьбе, но пришлось уступить), и у Ляли теперь новый круг — военные, инженеры, автомобилисты. Всеволод сам стра-

стный автомобилист, каждое лето ездят с приятелями в две, три машины то в Крым, то на Карпаты, в Прибалтику. А от театральных, когда встречаются случайно, бывает только неприятное.

Как-то наткнулась в ГУМе в очереди за подушками на Машу, старую подругу. Как Машка изменилась! И лицом постарела, и вся какая-то ломаная, недобрая. Зачем-то рассказывала про Смолянова. Кому интересно? Ляля даже не помнила отчетливо, как этот Смолянов выглядит, толстый или тонкий, в очках или без очков. Будто бы обеднял, захирел, пьес не пишет и живет тем, что сдает дачу жильцам на лето. Ну и бог с ним, ну и на здоровье, зачем все это знать?

— А у твоего Реброва с дочкой одной моей приятельницы роман.

— Да что ты?

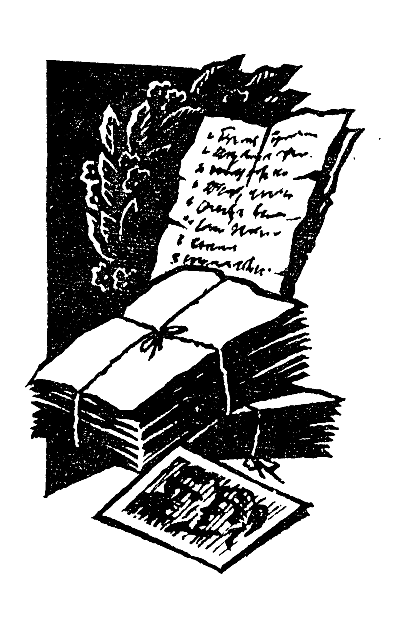
Тут Ляля насторожилась, хотя напустила на себя равнодушный вид. Маша стала рассказывать: девчонка снималась в какой-то его картине, потом вместе ездили на фестиваль в Аргентину или в Бразилию, куда-то туда, и с ними ездил один общий знакомый... Но в это время очередь подошла к прилавку, завертелись в толпе, растерялись, и потом уж Ляля не стала ее искать. Про Реброва примерно знала: процветает, хорошо зарабатывает сценариями, живет на Юго-Западе, тоже есть машина, и, кажется, был уж дважды женат. Вот, собственно, и все. И она радовалась за него. Ведь всегда относилась к нему очень хорошо. Не знала одного: он часто думает о своей жизни, оценивает ее так и сяк — это его любимое занятие повсюду, особенно в путешествиях,— и ему кажется, что те времена, когда он бедствовал, тосковал, завидовал, ненавидел, страдал и почти нищенствовал, были лучшие годы его жизни, потому что для счастья нужно столько же...

А Москва катит все дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон, вскрывает древние глины, вбивает туда исполинские цементные трубы, засыпает котлованы, сносит, возносит, заливает асфальтом, уничтожает без следа, и по утрам на перронах метро и на остановках автобусов народу — гибель, с каждым годом все гуще. Ляля удивляется. «И откуда столько людей? То ли приезжие понаехали, то ли дети повырастали?»

1971

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

◆



Посвящаю Алле

И опять среди ночи проснулась, как просыпалась теперь каждую ночь, будто кто-то привычно и злобно будил ее толчком: думай, думай, старайся понять! Она не могла. Ни на что, кроме самомучительства, не было способно ее существо. Но т о, ч т о б у д и л о, требовало упорно: старайся понять, должен быть смысл, должны быть виновники, всегда виноваты близкие, жить дальше невозможно, умереть самой. Вот только узнать: в чем она виновата? И еще другое, тайное и стыдное: неужели на этом все кончилось? «Какая дура, как я могу думать о смерти, когда у меня дочь».

Однако она легко думала о смерти, как о чем-то неприятном, но неизбежном, что следует пережить, как о том, например, что надо лечь в клинику на операцию. Мысли о смерти были гораздо легче памяти. Та доставляла боль, а эти ничего, кроме мимолетной задумчивости. Вот оно, начинается: он приходил подвыпив после получки в музее — когда-то давно — обыкновенно из «Севана», рядом с музеем, или же Федоров затаскивал его к себе, засиживались там, и всегда сразу ложился, не мешкая ни минуты, и засыпал мгновенно. Но обязательно просыпался ночью, часа в три, в четыре, как она теперь. Мешал ей спать, шаркал на кухню за водой или за каким-нибудь питьем из холодильника, она сердилась, ругала его сквозь сон. В те минуты, когда будил, она его ненавидела: «Какой же ты эгоист!»

А он, бывало, скрывал подпитие, держался находчиво и хитро, был очень ловкий актер, и она не замечала ни запаха, ни покрасневших глаз, верила его словам: «Устал, как собака», жалела его, стелила поскорей постель, он бухался под одеяло и начинал храпеть, но ночью непременно выдавал себя, просыпаясь задолго до утра. Теперь с нею похожее. Ее алкоголем были память

и боль, она скрывала днем, никто не должен был замечать — ни на работе, ни дома, ни Иринка, ни свекровь, уж тем более не свекровь, потому что, если бы замечала, боль бы усилилась, и все свои силы днем она употребляла на скрывание, но на ночные часы ее не хватало.

А иногда он проснется ночью без всякого подпития — просто так, неизвестно отчего. Это уж было вовсе блажью. Ведь не старик он. Бессонница бывает у стариков. И она раздражалась, потому что спала чутко и просыпалась, как только он начинал вздыхать, ворочаться и в особенности смотреть на часы — он брал часы с крышки ящика для постельного белья, чтобы поднести их к глазам, и всегда звякал металлической пряжкой о ящик. Из-за этого звяканья было много разговоров. Она очень сердилась. Это было так глупо. Он старался, бедный, манипулировать с часами бесшумно, но почему-то ничего не получалось: обязательно хоть чем-то, хотя бы концом маленького металлического хоботка, задевал за ящик — и раздавался звякающий звук, очень ясный в ночной тишине, она вздрагивала, потому что просыпалась раньше (как только он принимался вздыхать) и, замерев, со сжавшимся сердцем ждала звяканья.

Свекровь продолжала жить с нею в одной квартире. Куда ей было деться?

Эта женщина твердо считала, что в смерти сына, умершего в ноябре прошлого года в возрасте сорока двух лет от сердечного приступа, виновата жена. Жить вместе было трудно, хотели бы разъехаться и расстаться навсегда, но удерживало вот что: старуха была одинока и, расставшись с внучкой, шестнадцатилетней Иринкой, обрекала себя на умирание среди чужих людей (ее сестра и племянница не очень-то звали ее к себе, да и Александра Прокофьевна жить бы с ними не согласилась), а кроме того, Ольга Васильевна должна была считаться с дочерью, которая бабку любила и без бабки оказалась бы совсем без призора. Все это затянулось таким каменным, неразъемным узлом, что выхода, казалось, тут не было: просыпайся среди ночи и ломай в отчаянии голову, а днем уходи из дому, убегай, исчезай. В командировки она теперь рвалась как могла чаще. Понимала, что неправильно, что слабость, что Иринка нуждается в ней сейчас гораздо больше, чем раньше, — и она нуждалась в Иринке и в поездках истерзывалась

тоской по дочери, торопилась вернуться, каждый вечер по телефону наговаривала на пять рублей, а вернувшись, обнаруживала, что дочка прекрасно жила без нее, увлеченная своими делишками, и это несколько успокаивало, хотя и прибавляло боли, и опять тянулась уехать, спастись, наперед зная, что спасенья не будет. Ах, как бы она жалела, как бы ценила старуху, если бы та жила где-нибудь далеко! Но в этих комнатках, в этом коридорчике, где прожитые годы стояли тесно, один к одному впритык, открыто и без стеснения, как стоит стоптанная домашняя обувь в деревянном ящике под вешалкой, сколоченном Сережей, здесь, в этой тесноте и гуще, не было места для жалости. Свекровь могла сказать: «Помнится, вы такие крендельки раньше не покупали. Где это вы брали, на Кировской?» Одна фраза вмиг уничтожала всю жалость, копившуюся по крупицам. Значило: его крендельками не баловали, а нынче, для себя, стали покупать. И такая мура, такая ничтожнейшая, смеха достойная глупость ранила, как удар железом. Потому что на самом деле — злобность, пытка.

Подобное кренделькам — пыточное — вышло и с телевизором. Давно еще, при Сереже, хотели купить новый, большой вместо старенького, с допотопной линзой, и деньги откладывали. Ольга Васильевна часто раздражалась,— может, и не следовало, но, боже мой, что ж теперь делать,— раздражалась напрасно, несправедливо, никак не могла перебороть себя, потому что, по совести говоря, были причины, теперь эти воспоминания тоже пытка,— оттого, что мог часами, забыв обо всем, смотреть любую спортивную дребедень. Заваливался в зеленое кресло, ногу на ногу, сигарету в зубы, круглую пепельницу с рыбкой ставил рядом на пол — и как приклеенный, не допросишься, не докричишься. Но почему все подряд? Неужели все так уж одинаково интересно? Я отдыхаю! Имею я право на отдых, в конце концов? Гнев был слегка наигран: все обязаны знать, что он чудовищно устает на работе.

Он действительно уставал, кроме того, были неприятности. Но ведь они у всех. У него не хватало выдержки. И еще: он скрывал, скрывал, многое обнаружилось позже. Она о своих неприятностях рассказывала и этим облегчала себя, а он скрывал, стыдился своих неудач. И тогда, перед телевизором, жаловался полуискренне-полудурачась:

— Господа, мои нервные клетки нуждаются в отдыхе. Собаки едят траву, интеллигенция слушает музыку, а я смотрю спорт — это мое лечение, мой бром, мои ессентуки, черт бы побрал вашу непонятливость, господа...

Обыкновенное шутовство, но Александра Прокофьевна честно вставала на защиту сына. Иногда, чтобы поддержать его, садилась рядом в кресло и смотрела хоккей или волейбол, все равно что, ей-то уж было еще более все равно, и перебрасывалась с сыном замечаниями, от которых Ольга Васильевна едва не прыскала со смеху. Бывало, он скрытно и тонко,— но так, что Ольга Васильевна понимала,— подшучивал в этих беседах у телевизора над Александрой Прокофьевной, но старуха с упорством делала вид, будто спорт ее крайне интересует. Ах, да, лет сорок или тридцать назад она была завзятой туристкой! Еще недавно наряжалась в древнейшие штаны цвета хаки, немыслимую куртку эпохи военного коммунизма, закидывала за спину рюкзачок, пригодный для сбора утиля, и отправлялась куда-то на электричке совершенно одна. Сережа относился к этому спокойно. Другим он не разрешал шутить над бабкой и даже улыбаться молча за ее спиной. Кажется, она посещала места, по которым ходила когда-то давно с мужем, Сережиным отцом, профессором математики, страстным ходоком, туристом и фотографом. Вид у свекрови в туристском одеянии времен наркома Крыленко был трагикомический. Даже Ольгу Васильевну коробило, а Иринка просто страдала: над бабушкой потешались местные дуры, охранительницы подъезда. Сережин отец в сорок первом пошел добровольцем в ополчение и осенью погиб под Москвой. Старуху с ее печальными чудачествами можно было понять, но почему же ее-то, Ольгу Васильевну, не понимали? Почему ее горя не видели? Никакой силой нельзя было заставить свекровь, женщину неглупую, с юридическим образованием, признать право Ольги Васильевны на страдание.

— А конечно, покупайте телевизор, покупайте, не задумывайтесь! — говорила она, когда Ольга Васильевна сглупу решила с нею советоваться.

Очень уж просила большой телевизор Иринка. Ольге Васильевне было все равно, но тут в ближайший универмаг, в соседний дом, куда Иринка любила бегать за всякой ерундой, привезли телевизоры очень хорошей марки, которые бывали редко, и нужно было решать.

— Я вам говорю: покупайте! Зачем вы будете отказывать себе в удовольствии?

Ольга Васильевна сказала, что ей не до удовольствий.

— Я понимаю, но, с другой стороны, вы же не собираетесь заточить себя в монастырь.

— Нет, в монастырь не хочу, это правда.

Теперь Ольга Васильевна нажала нарочно, чтобы старухе стало больно,— ведь и та хотела доставить ей боль, говоря об удовольствии.

— Так что не мучайтесь, снимайте денежки, Сережа на это и откладывал, то была его воля...— На плоском, скуластеньком, как у старой татарки, лице Александры Прокофьевны стыла любезная улыбочка, а глаза свекрови — маленькие, прозрачно-голубые щелочки, Сережины,— смотрели холодно, без пощады.

Ожесточившись от этих укусов, Ольга Васильевна решила телевизора не покупать старухе назло. Накричала на Иринку, та ревела. Но потом, ожесточившись еще сильней, Ольга Васильевна решила наоборот — и купила. Свекровь за четыре месяца не смотрела телевизор ни разу. Говорила, что бережет глаза и боится излучений, но, кроме того, тут была и демонстрация. Кто-то из знакомых успокаивал: обживетесь, обтерпитесь, одно у вас горе, одна девочка, которую любите. Ольга Васильевна тоже думала, что как-то приладятся, но до одного случая, когда поняла, что нет, никогда.

Было в январе, двух месяцев не прошло, и боль давила непереносная. Вот уж когда жить не хотелось. Ночью, промаявшись без сна, Ольга Васильевна встала, пошла на кухню и там давилась слезами, пила то валокордин, то заварку из чайника холодную. Вдруг услышала: Александра Прокофьевна шлепает на кухню. Тоже не спалось. И это шлепанье Ольгу Васильевну пронзило, потому что — знакомое, Сережа так же шлепал в этих же тапочках без задников, старуха зачем-то их себе взяла и в них ходила. Она и одеяло его верблюжье зеленое себе забрала. И показалось Ольге Васильевне, будто Сережа идет. Придет на кухню, когда все трое там, остановится в дверях в газетном колпаке, руку поднимет и скажет: «Приветствую тебя, мой бедный народ!» Иринка, конечно, покатится со смеху. Он все пытался объединять, сближать хотя бы на минуту, хотя бы шутками, дурачеством. И вот нахлынуло внезапно от этого шлепанья, и не смогла удержаться, зарыдала громко, это было непростительно и ужасно, потому

что слез не должен видеть никто. Александра Прокофьевна вошла — в рубашке, седые волосы распущены космами, лицо желтое, недовольное,— поглядела на Ольгу Васильевну, подошла к буфету, взяла чашку и налила в нее воду из чайника. Нет, не дала воду Ольге Васильевне, вода была нужна ей самой. Она как будто не видела и не слышала рыданий Ольги Васильевны и обычным своим ворчливым голосом спросила:

— Где у нас сода?

Ольга Васильевна не ответив вышла из кухни.

Этого вопроса насчет соды, невидящих глаз — не забыть. Потому что вдруг глянуло явственно то, что днем скрыто. Ночью обнажается истинное. Ольга Васильевна плакала, а старуха смотрела с ненавистью. Самые горькие разговоры бывали ночью. Он сказал однажды ночью, что если бы не Иринка, он бы с нею, с Ольгой Васильевной, расстался, и это показалось ей такой смертоубийственной правдой, что едва дожила до рассвета, а днем он острил, городил чепуху, ничего не помнил, и ночной разговор схлынул бесследно, как кошмар. Но спустя несколько месяцев опять случился разговор ночью — он вздумал поехать один в дом отдыха, под Новый год, это напугало ее, не хотела его отпускать, требовала, чтоб он взял ее, в то время было несложно получить десять дней за свой счет, но возникала трудность с Иринкой, свекровь чем-то болела, ничего серьезного, будь это нужно Сереже, она бы отпустила их непременно, а тут, поняв, что нужно невестке, отказалась наотрез. Все было шито белыми нитками, нарочно пригласили Веру Прокофьевну с дочкой, Сережиной кузиной Тамарой, невропатологом из закрытой поликлиники. Ольга Васильевна ее не любила, не верила ни одному ее слову, и эта Тамара за ужином долго и вычурно объясняла заболевание Александры Прокофьевны, явно что-то преувеличивая, нагоняя туману. Ольга Васильевна, не желая обострять разговор, промолчала, смирилась, хотя тут был возмутительный сговор, но ночью все же не удержалась, разбудила его вопросом — и опять испытала то кошмарное состояние, когда все кругом закачалось, земля пошла из-под ног.

— Признайся, у тебя кто-то есть, с кем ты хочешь побыть вдвоем?

— Да, есть, есть,— заговорил он шепотом, мгновенно проснувшись.— Этот кто-то — я сам. Я хочу побыть

вдвоем с собой. Хочу отдохнуть от вас, от тебя, от матери, от всех, всех...

В первую секунду верила, как привыкла верить всегда, но затем недоумение: разве он нуждается в одиночестве? Ей казалось, не было никаких причин, по которым следовало бежать одному за сто верст от Москвы. Поэтому хоть и поверила и слегка успокоилась, но не до конца. В глубине души терзалась загадкой, вызывавшей одну тошнотную мысль: «У него кто-то есть!»

Ему нравились маленькие блондинки. Однажды она случайно это выяснила. Тянуло к миниатюрным женщинам, которых можно баюкать, держать на руках. Как-то сказал Ольге Васильевне с нежностью:

— Как жаль, что ты грузна, матушка. Мне бы хотелось поносить тебя на руках.

Все его женщины были крупные. Просто совпадение, так получилось, он сам рассказывал. У него было пять женщин. Четыре до нее и пятая она. Может, были еще, даже наверняка, не могло не быть, но про тех четырех она знала точно, а про других могла лишь догадываться и подозревать. Зато про тех четырех выведала все подробности, называла их по именам — Валька, Светланка — и не упускала случая как-то кольнуть их и его заодно, сказать о них что-нибудь злое, глумливое. Она их ненавидела, этих мерзавок, этих шлюх, две из которых были старше его, учили его всяким безобразиям, одна была его ровесница, мнившая себя высокой интеллектуалкой, а на самом деле распутная тварь, мечтавшая женить его на себе любым способом, но он, слава богу, не поддался на ее уловки и поступил с нею решительно, хотя, может быть, не совсем благородно, но так ей и надо, твари, и была еще какая-то бело-розовая, пастозная, с которой он работал в музее, манерная дура, но очень красивая, она все время куда-то убегала от него, а он догонял. Однажды ему надоело — она побежала от него из дому, где они встречались, а он не стал догонять, и все кончилось. Эта четвертая, пастозная, несмотря на свой истеризм, была могучего сложения, и он называл ее Брунгильдой. Говорил, что груди у нее тяжелые и круглые, как супные тарелки. Ольга Васильевна ненавидела ее особенно. Она ненавидела их и теперь, всех четверых, потому что Сережа все еще мучил ее, продолжал ее мучить. И вот, думала она, у него никогда не было маленьких блондинок, и поэтому, может быть, его тянуло к таким. Он уехал в какое-то Пересве-

тово по Горьковской дороге на двенадцать дней. Ей казалось: простить нельзя. Даже не потому, что непременно изменяет ей в Пересветове, а потому, что уехал, перешагнул через ее мольбы, отчаянье. Но спустя три дня пришла телеграмма: «Привози Иринку здесь прекрасно». Она взяла на работе отгульный день, поехала с Иринкой в Пересветово, и, конечно, он был прощен, катались на финских санях с гор, а утром, провожая ее на электричку, он бормотал: «Какая же ты глупая, глупая женщина!» — и тыкался ей в рот небритым лицом. Ведь недавно, когда брали курортную карту, врач написал: «Практически здоров». Все было ничего, анализы, сердце, давление. Что же случилось за это время? Никто не может понять. Непонятно: как жить без него? И как удалось — вот уже пять месяцев и двадцать пять дней! Она и сама не понимала: как-то все длилось бессмысленно, тянулось, жилось...

Будильник позвонит в семь. Еще полтора часа она будет лежать, погруженная в забытье — не в забытье сна, а в забытье исчезнувшей жизни,— потом медленно встанет, наденет стеганый нейлоновый халат, Сережин подарок ко дню рождения, а то и без халата, в одной рубашке, нечесаная, теперь она не следит за собой, побредет на кухню и поставит на плиту чайник, кастрюльку с водой для каши и другую для яиц, вынет из холодильника творог, кефир, чтобы, пока они с Иринкой моются и одеваются, творог и кефир немного согрелись в теплом воздухе кухни. Включит репродуктор, который стоит на верху буфета. И все время, что бы ни делала, о чем бы ни думала, она будет чувствовать пустоту и холод за спиной.

Был такой Влад, очень добрый, хороший, скучный, безнадежный, талантливый, с широким рябым лицом и глазами слегка навыкате, выражавшими серьезность и преданность. Он носил очки в черепаховой оправе. Когда он смеялся — что случалось редко и всегда неожиданно,— он прикрывал рот рукой, ибо верхняя губа задиралась немного больше, чем нужно. Это не была настоящая заячья губа, но какой-то намек на заячью губу. Один из давнишних приятелей, остряк, назвал Влада зло «полузаяц», обшучивая фамилию Полысаев. Влад был студентом мединститута, и еще тогда ему прочили большую судьбу в медицине. Мать Ольги Васильевны,

для которой всякая внешность — будь то человека, пальто, шкафа, портьеры и даже букета цветов — не имела ровно никакого значения, а важно было лишь то достаточно спорное, что она определяла внутренним оком и называла сутью, очень хотела, чтобы дочь вышла замуж за Влада. Но Ольга Васильевна никак не могла на это решиться, хотя и не хуже матери понимала, какой хороший человек Влад. Однако — всю жизнь видеть перед собой мощное рябое лицо со скифскими скулами...

И все это продолжалось, полувялое ухаживание, полудетская дружба, без надежды для Влада, без радости для Ольги Васильевны, в течение лет двух или трех (одновременно с Владом нагонял скуку еще один ухажер, некий Гендлин, инженер, совсем никудышник, хотя мать к нему тоже благоволила), пока не наступила роковая пора, завершенье учебы, начало самостоятельной жизни, школа на Палихе, двадцать четыре года, отступать некуда, все подруги, проклятые, замужем, и вдруг Влад приходит с молодым человеком, недавним знакомцем, сошлись зимою в Звенигороде, в студенческом лагере, и мгновенно сдружились. Влад вообще был восторженный гуманист. Он увлекался людьми, хотя, надо сказать, разбирался в них не блестяще. Мать Сергея, например, он считал благороднейшей женщиной, трепетал перед ней, даже заискивал, и все лишь потому, что Александра Прокофьевна что-то там делала на фронте во время гражданской войны, в политотделе армии стучала на машинке. Но это уж было после. А до Сергея он приводил какого-то летчика, то чемпиона по борьбе, похожего на обезьяну, то книжного барышника, торговавшего детективами столетней давности, знатока всего на свете, говоруна и морфиниста. Новый знакомый Влада был историк, недавно окончивший, работал в каком-то невидном учрежденьице не по своей специальности. Кроме того, как представил его Влад, был абсолютным чемпионом Звенигородского района по «балде» и чтению слов наоборот.

И правда, в первый же вечер он поразил Ольгу Васильевну потрясающим искусством. Влад кричал восторженно: «Столовая!» И гость отвечал: «Яаволотс». «Портфель!» — восклицал Влад. И немедленно следовало: «Лефтроп». «Землетрясение!» — коварно предлагал Влад, втайне ликуя от неминуемого победоносного ответа своего друга. И верно, тот, лишь на мгновенье

запнувшись, отвечал: «Еинес... яртелмез». «Как, как, как? — кричал Влад.— Повтори, пожалуйста! Надо проверить!» Проверяли, все было точно. Произвело огромное впечатление. Влад подбавлял жару: «Да что там — гений! Самый обыкновенный гений...» Он был тогда худ, строен, пышноволос, пружинисто двигался, весело и странно говорил, был не похож ни на кого из знакомых. Она почувствовала: что-то произошло. И тоже, поборов волнение, спросила: «Взгляд?» — «О! — закричал Влад.— Это очень трудно!» Гость посмотрел на нее одну секунду, будто соглашался — да, это трудно,— и негромко, но твердо сказал: «Дялгзв...»

Загадочное слово пронзило ее, как игла. Тут был, может быть, произнесен пароль, определивший жизнь. Никогда нигде не слышанное, не читанное, дикое слово — «дялгзв». Но оно было зеркальным отражением другого слова, истинного, в которое она бесконечно верила,— «взгляд». Эта игра, это смешное, бессмысленное знакомство и дикословие под водку и шпроты остались в памяти намертво, потому что было внутреннее ошеломление и предчувствие перемены судьбы. И было еще: начало весны, той тревожной, неясной, которую еще предстояло разгадать, как слово «дялгзв», когда все кругом затаив дыхание чего-то ждали, предполагали, шептались и спорили. Но матери этот гость, изобретавший слова, не понравился тем, что в первый же вечер побежал за водкой. Узнав его лучше, Ольга Васильевна догадалась, что тут была вульгарная стеснительность и особая, чрезмерная нервность, толкавшая на нелепейшие поступки, но вовсе не страсть к спиртному. Мать не могла забыть Сережиного faux pas много лет. «А ты помнишь,— говорила она, когда зять в чем-нибудь провинялся,— как он в первый же вечер побежал за водкой?» Мать, которая так стремилась к пониманию сути, не в силах была уразуметь, что этот смешной поступок совершенно не выражал сути. Она твердо считала, что более других дочери подходит Влад: в этом и состояла суть. Бедная мать, при всей ее любви к дочери она не могла преодолеть свойственного ей наивного эгоизма — наивного потому, что ей даже в голову не приходило усмотреть в своем поведении какие-либо следы эгоизма, ей казалось как раз обратное, будто она окутана облаком альтруизма, живет для других, ради других, это походило на правду, хотя, если приглядеться внимательно, «другими» оказывался один человек, Георгий Макси-

мович,— и она полагала, что заботится о дочери, настаивая на том, что Влад для нее лучше, а на самом деле заботилась о себе, ибо Влад был лучше для нее. И ей не нравились игры в слова и рассказ Сережи о том, как он с Владом ходил в психиатрическую клинику. А Сережа рассказывал гениально! Георгий Максимович, который зашел из мастерской попить чайку, тоже смотрел сурово.

У матери с Георгием Максимовичем всегда была замечательная синхронность. Мать высказывала суждения, а Георгий Максимович кивал подтверждающе, сопровождая кивки фразами вроде «пожалуй что так» или «боюсь, что ты права». Родной отец умер давно, когда Ольге Васильевне было шесть лет. Мать в эвакуации познакомились с Георгием Максимовичем, они работали на одном заводе: мать в плановом отделе, а Георгий Максимович в клубе, художником. Он был старый художник, учился до революции у какого-то знаменитого грека, ездил за границу, участвовал в выставках, за что-то его громили, перевоспитывали, оттесняли, постепенно он счах и сник, и к тому времени, когда попал в эвакуацию в маленький уральский городишко, из художника он превратился в полуголодного мазилу и зарабатывал на хлеб рисованием лозунгов и плакатов. Однако потом, когда он вернулся в Москву с новой семьей, с матерью и Ольгой Васильевной, ему дали мастерскую и комнату в доме художников, стали его привечать, упоминать в печати, давать ему договора и заказы, потому что в эвакуации, как выяснилось, он времени зря не терял, работал как вол, ибо искусство делают волы, по утверждению Ренара, любимого писателя Георгия Максимовича, создал галерею тружеников тыла под названием «Уральская сталь», эти рисунки выставлялись не раз, были репродукции, даже почтовые открытки,— и в жизни Георгия Максимовича наступил своего рода ренессанс, вторая молодость, или, как он выражался, «мой розовый период», и все бы шло хорошо и ладно, если бы как раз в те годы, в конце сороковых, Георгий Максимович не стал болеть. Что-то с головой, потом с глазами, запрещали работать, он уезжал в санаторий, потом начались сердечные неприятности, и незадолго до появления Сергея случился инфаркт. Сколько ему было тогда? Да уж очень порядочно. Мать моложе на семнадцать лет. А ей было в то время, когда появился Сергей, сорок три, значит, Георгию Максимовичу было шестьдесят.

Он еще ходил прямо, руку пожимал крепко и, знакомясь с людьми, имел обыкновение упорно и зорко вглядываться человеку в лицо, обшаривать его с бесцеремонностью. Новых людей это коробило. Сережа признался потом, что первая встреча с Георгием Максимовичем его слегка озадачила.

— Он смотрел на меня так, будто я что-то украл.

Правда, у Георгия Максимовича была еще и другая привычка: изучив нового человека досконально, он сообщал, что у того «интересное лицо» и что его «очень интересно написать». В этом звучала покровительственная нота человека искусства, стоящего над остальными людьми, и в то же время была невинная лесть, приятная всем. Но Сереже Георгий Максимович этого не сказал. Настороженность была с первой минуты. Впрочем, Георгий Максимович был тут несамостоятелен, он лишь улавливал, подобно чуткой мембране, настроение матери. Да, они очень подходили друг другу. Ну и прекрасно, слава богу. Ольга Васильевна не ревновала, отца едва помнила, Георгий Максимович относился к матери хорошо, по-видимому, любил ее, а уж она, бедная, его обожала, и с годами у них образовались одни вкусы, одни взгляды на людей, на живопись, на книги, на деньги, на все. Мать постоянно была погружена в его дела и болезни. Ее просто не хватало на чью-то другую жизнь. Когда родилась Иринка, мать поначалу разрывалась между внучкой и мужем, ей хотелось быть нужной, вездесущей, но сил не стало, и она сдалась, уступила место другой бабке. Ольга Васильевна ее простила. Некоторое время жили с матерью и Георгием Максимовичем на Сущевской, где была мастерская, в квартире с соседями, потом у свекрови случилось горе — умерла дочь, незамужняя, какая-то невезучая, больная, свекровь ее очень любила,— и решили переехать к ней в двухкомнатную квартиру на Шаболовку. Тут прошло Сережино детство. Все ему было тут мило, близко, и хотя Ольга Васильевна сразу почувствовала, что жить со свекровью будет несладко, но Сережа очень хотел, и старухе,— впрочем, какой старухе, она была тогда шумливой, суетной пожилой женщиной,— надо было пойти навстречу. Дать ей хотя бы внучку. Грустно было уезжать от матери. Но ничего поделать было нельзя. Все это двигалось своим ходом и началось в тот вечер, когда он пришел, лохматый, в ковбойке, в пиджаке с накладными плечами, и говорил слова наоборот.

А после того вечера: весна, дворы, подворотни, подъезды, кафе, забегаловки, начало лета, ничего не понимавший Влад, поиски денег, вагоны на юг, жара, прохлада, освобождение. Вчетвером: Ольга Васильевна с Ритой, подругой тех лет, сгинувшей потом бесследно, и Влад с Сережей. У Влада был знакомый, вернее — знакомый его отца, генерала медслужбы, владелец дома в Гаграх. Он обещал снять комнаты. Нужны были две: для Риты и Ольги Васильевны и для Сережи с Владом. Почему-то в доме доброго знакомого жить было нельзя. Лето пылало, в Гаграх стояла одуряющая духота. Отчего-то вышло так, что знакомый Влада — некий, кажется, Порфирий Николаевич, то ли, может быть, Парфентий Михайлович, невнятный человек, работавший когда-то в Москве в ответственном учреждении, а теперь пенсионером, живший в Гаграх в собственном особнячке, — снял только одну комнату, довольно паршивую, далеко от моря, на горе, и еще предложил летнюю хибарку в своем саду. Комнату отдали ребятам, а девушки поселились в хибарке — у самого пляжа. Это было легкое сооружение вроде шалашика или того, что теперь называется «бунгало» и вошло в моду по всему Черноморскому побережью. Вначале все было восхитительно, но затем обнаружились неудобства. За водой и в туалет ходили через весь сад в дом. Кроме того, постояльцы особнячка, родные, близкие и дальние знакомые Порфирия Михайловича, которых было множество и приезжали на машинах все новые, жили какой-то шумной, утомительной жизнью. Ежедневно там пили, гуляли, горланили песни, заводили громко радиолу и танцевали на веранде, жарили шашлыки в саду, а вечерами толпою ходили на море купаться: спускались тропкой через калитку в заборе на каменистый пляж. Дом стоял на берегу.

Весельчаки из дома Парфентия Николаевича зазывали в свою компанию Влада с Сережей и девушек, ребята не отказывались, денег у всех в обрез, в Гаграх дороговизна, да и ничего не достать, а там угощали щедро, хванчкары и чачи сколько душе угодно, и Рита, невзрачненькая хитруша, прибитая московским одиночеством, тоже рвалась к этому водовороту, казавшемуся хоть и опасным, но обольстительным.

Но Ольга Васильевна твердо: «Нет!» Среди людей, бродивших вечерами по саду, попадались хамы, и раза два кто-то ломился поздним часом в хибарку, дверь

трещала, глупая Рита хихикала, но Ольга Васильевна догадывалась, что Рита им не нужна. «Эй, гордая! — кричали снаружи.— Пойдем с нами купаться!» Ольга Васильевна суровым голосом грозила милицией.

Наутро жаловались Владу, тот бежал в дом, оттуда приходила жена Порфирия Парфентьевича, статная дама, всегда в белом, черные волосы с проседью, на пальцах золото, в ушах золото, и когда улыбалась синим большим ртом, обнаруживалось много золота во рту: «Девочки, простите моих хулиганов. Они дети юга. У них солнце в крови... Солнце делает людей безумными...»

Сережа здорово плавал, нырял, прыгал с вышки. Он и Рита заплывали далеко за буйки, а Ольга Васильевна с Владом полоскались у берега. Вообще Сережа, такой неумелый и робкий в житейских делах, в отношениях с людьми и самим собой, обладал большой физической смелостью. Поговорить с Порфирием о том, сколько нужно заплатить за хибарку, и одновременно насчет водопровода, который жители особнячка часто перекрывали, ставя Риту и Ольгу Васильевну в затруднительное положение, он никак не решался — боялся обидеть, малодушно тянул, но и не отказывался от хванчкары и сидения на веранде с гостями, и она с досадой угадывала что-то шаткое, немужское в этом характере,— и он же мог с легкостью ввязаться в любую драку на пляже, мог прыгнуть шутя с десятиметровой вышки. И с каждым днем она все отчетливей сознавала, что пропадает.

Никогда раньше она не испытывала такого безысходного, отчаянного пропадания. Прекратилась всякая другая жизнь. Пропали все другие мысли. Ведь прошло лишь несколько дней — что же могло измениться? — а казалось, что изменилось все вокруг: цвет неба, запах моря, вкус шашлыков. И в ней самой сдвинулась какая-то стрелка. Все внутри завертелось гораздо быстрее, чем раньше. Возникло что-то тревожащее и новое в ней самой, какая-то посторонняя тяжесть, доставлявшая неудобства и мучения. Например: она не могла теперь вынести, когда он заходил в дом Порфирия и задерживался там надолго. Какая, подумать, ерунда. А она терзалась: зачем он там? с кем? чей смех доносился с веранды? Мужской смех задевал так же, как женский, одинаково чувствительно. Значит, там ему слаще, милей, чем здесь, с нею. Это были странные мучения, изолированные от рассудка, подчинявшиеся наитию: ведь он не был мужем, они еще не были близки, только еще наме-

чалось, мечталось втайне, и, однако, ее ощущения и муки были такие, будто все уже произошло. Как-то она не утерпела, поднялась на веранду, чтобы позвать его. Он унес шахматы, а тут собрались на пляж — она начала учиться играть в шахматы, ей хотелось делать все то же, что делал он, и однажды, поборов страх, даже прыгнула с трехметрового трамплина солдатиком, — и, открыв стеклянную дверь, увидела, как несколько человек, мужчины и женщины, сидели вокруг стола с закусками и глядели на Сережу, который стоял чуть в стороне, чтобы быть на виду, и изображал нечто мимическое. Он умел эти мимические штуки делать отлично. Особенно «старого аптекаря» и «динамовского болельщика». Вообще в нем было много талантов, он ведь и рисовал, и пел хорошо, и самоучкою выучился на гитаре.

Тогда, на веранде, она почувствовала вдруг бурное отвращение, как приступ тошноты, — и к нему, и к людям за столом, глазевшим на него с веселым, пьяным дружелюбием, как в ресторане. Как же она разозлилась! Те аплодировали, кричали: «Браво!», «Аллаверды к тебе, Серго!», тянули к нему рюмки, а она сказала зло:

— Ну, а теперь прочитай какое-нибудь слово наоборот, — например, «шутовство», — и скажи «до свиданья». Нас на пляже ждут.

Он с изумлением уставил на нее узкие синие глаза и даже рот раскрыл, чтобы что-то сказать — то ли возразить, то ли прочитать слово «шутовство» наоборот, — но она взяла его за руку, он молча подчинился, и они вышли.

По дороге на пляж она ему внушала, испытывая при этом острое наслаждение оттого, что он молчал, а она его пилила с материнской строгостью:

— Пойми, ведь это стыдно, это мерзко, ты себя унижаешь, ты был шутом перед пьяными рожами. Ты, интеллигентный человек, потешал этих господ, этих прощелыг...

Потом он стал защищаться довольно добродушно:

— Ты уж слишком максималистка... Имей в виду, максимализм до добра не доводит, говорю тебе как историк...

Но ему как будто все это нравилось: и то, что она вела его за руку, и то, что была оскорблена за него. Именно тогда, может быть, возникла в ее сознании модель, что в течение долгих лет представлялась единственной благодатью, к которой следовало стремиться все-

ми силами, а он, хитрец, делал вид, что подчиняется, но на деле был далек и безучастен: вести его за руку и поучать с болью, с сокрушением сердца. А на пляже разгорелась дискуссия. Влад, услышав ее нападки, ринулся товарища защищать: «Ты не знаешь местных обычаев. Здесь нельзя отказываться, когда тебя угощают».

И Рита, давно уже скрытно раздраженная,— она соображала своим умишком, что ни Влад, ни Сережа ею не интересуются, и начала понемногу Ольгу Васильевну ненавидеть,— сказала, что Ольга по своему обыкновению делает из мухи слона. Что касается Парфентия и его гостей, то, по мнению Риты, они люди добрые, простые, не надо их презирать... «Не надо высокомерничать» — ее фраза. Но чем они занимаются, бог ты мой? Откуда средства для такой сказочной щедрости? Неприлично считать чужие деньги, это дурной тон. Ведь не жулики они. Потому что иначе сидели бы в тюрьме, а они прекрасно живут. Такова была логика этой глупышки, с которой Ольга Васильевна загадочным образом сошлась на короткое время. Рита была худощавая рыжеватая блондинка с белой конопатой кожей, голубыми глазами и острым носиком. У нее не иссякала твердая вера в то, что она красавица, и годы проходили в негаснущем недоумении: почему никто этого не замечает?

Была какая-то странная жизнь вчетвером. Повсюду ходили вместе: на базар, в кино, в дымную чебуречную, где толстяк с маленькой головкой, Датико, угощал молодым вином и прыскающими жиром чебуреками, по набережной, по главной улице, где слонялась вялая белая толпа, и вечерами на теннисный корт, где играли классные игроки, а Сережа и Влад глядели на них с ненасытной жадностью, потом им самим разрешали немного попрыгать, они оба еще только учились, тренер Отто Янович давал указания, Влад был бездарен, но у Сережи получалось хорошо, с каждым вечером все лучше, он мог при желании стать настоящим теннисистом — с его талантом мог стать настоящим кем угодно, настоящим пловцом, музыкантом, рисовальщиком, ядерным физиком! — и Отто Янович говорил, что «прыгучесть прекрасная», но не было ни мячей, ни ракеток, все стоило дорого, экономили деньги на обратную дорогу, а Ольга и Рита сидели на длинных скамейках в тени тополей и смотрели на игроков. И когда она смотрела на Сережу в тельняшке, в белой шапочке с козырьком, на его загорелое худое лицо, на его немного полные, тяжеловатые

ноги в вязаных носках, которые он вез из Москвы, специально чтоб надевать под кеды,— правда, он не знал, что займется теннисом, думал, что будет играть в волейбол, был заядлым волейболистом,— у нее как-то ломко; счастливо падало сердце. Она наслаждалась, глядя на него и видя все его страсти, напряжение, досады, радости, все было обнажено, а он не видел ее. Однажды Отто Янович, бородатый гномик, сунул незаметно записку. Она развернула осторожно, чтоб Рита не увидела, и прочла: «Приходите завтра к девяти утра. Я буду вас учить совершенно бесплатно и сколько угодно». Гномик брал порядочные деньги за час и, говорят, был богатым человеком. Она улыбнулась ему и покачала головой. Отто Янович скорчил гримасу, означавшую глубокое горе. Ах, много их было в то лето, стремившихся учить ее совершенно бесплатно и сколько угодно!

Верно, она была тогда хороша. Еще не располнела. Все у нее было в меру, все ладно, гибко, плотно, и хоть не умела плавать, но бегала легко, играла в волейбол, делала без труда мостик. Сейчас — попробуй! А тогда хоть бы что. Десять раз подряд без натуги. Мужчины на пляже на нее пялились. В те годы она очень ровно и быстро загорала — потом это свойство почему-то ее покинуло. Но ведь лежала на солнцепеке часами, не жалея сердца, такая дура. Волосы носила по тогдашней моде растрепанными до плеч. Сережа говорил: «Голова Медузы». А ей очень шло. Такая пышная, густая, темнорусая чаща, а лоб весь открыт, круглый, чистый, еще без единой морщины. Наверно, то был лучший год всей ее жизни, год расцвета. Она замечала это по взглядам мужчин, по тому, как кавказцы, глядя на нее — когда она выходила из моря,— нахально цокали языками и причмокивали. Ну, и приставали, конечно, бессовестно. Навязывались в друзья, в собеседники, в партнеры по кингу, по волейболу. Сережа и Влад жили в постоянном ожидании драки.

Были какие-то ленинградцы, какой-то капитан, какой-то гость Порфирия по фамилии Цнакис, какие-то обгорелые дочерна эстрадники, с одним из которых Сережа затеял скандал и даже ударил его резиновым надувным дельфином, нанеся легкое повреждение типа царапины, отчего был шум, крики, явилась милиция, и Сережу спас от беды Порфирий. А тот, что пристал в лесу, когда ездили на озеро Рица? Был еще смешной человечек, пожилой, с оливковым лицом, тоже из гостей

Порфирия, который ухаживал одновременно за Ритой и Ольгой, где выгорит, был деликатен, услужлив, ходил поутру на базар и приносил зелень, кислое молоко и ягоды, к Владу и Сереже относился с отеческой благожелательностью и, кажется, не считал их серьезными соперниками для себя, увязывался на пляж и донимал нудными разговорами, не знали, как от него отделаться, уж очень был хорошо воспитан. Но однажды он под секретом, потребовав сохранения тайны, показал Рите медицинскую справку, где говорилось: такой-то, обладая нормальной половой потенцией, лишен способности к деторождению, что подтверждает главный врач поликлиники имярек. Рита, разумеется, поделилась новостью, веселья было много. Оливковый человечек куда-то исчез, пропал навсегда.

Сережа учил ее плавать. Им так нравилось это учение! Было бы скучно, если бы она умела плавать так же хорошо, как он. Он держал ее на руках, она барахталась, висла у него на шее, хохотала, тонула, слепла от брызг и все время чувствовала его руки, которые были очень смелые в воде. Влад поглядывал на них, напрягая зрение — в море он был без очков,— стараясь разглядеть, что же там происходит, в этом хохоте, в брызгах, иногда предлагал:

— Если хочешь, могу тебя поучить. Если Сереже надоело...

Бедный, он сам держался в воде ненамного лучше. Но он был рыцарь. Его вводили в заблуждение грубоватые, будто бы раздраженные окрики Сергея: «Как ты непонятлива, матушка! Ногами делай вот так, как лягушка!» Тогда он любил это «матушка», «мать», словно прожили вместе целую жизнь. Потом явились другие ласковые слова,— например, «слоненок», «слониха». Знакомым казалось странным, что она терпит такое неэстетичное обращение, а ей нравилось: она знала, в какие минуты это возникло. Влад подплывал, пытался учить, они хохотали. До чего все казалось смешным! И Влад, который надувал щеки от добросовестного желанья помочь, мозолил глаза, ничего не понимал, и Рита, которая все понимала, тихо злилась — она решила, что Сережа был приглашен на юг для нее, и теперь все происходящее расценивала как измену,— и они сами казались друг другу радостными источниками веселья, любое слово, всякая глупейшая детская шутка вызывали хохот.

Рита ночью затеяла ссору: требовала закрыть окно. Ольга протестовала. Было очень душно.

— А мне холодно! — упорствовала Рита.

— Дышать же нечем.

— Я не желаю по твоей милости получать воспаление легких!

— Мы спать не сможем при закрытом окне.

— Ты будешь спать прекрасно. Я за тебя не волнуюсь...

Так препирались долго, и Рита, разумеется, взяла верх — окно было закрыто. Ольга чувствовала себя сильной и счастливой. Озлобление Риты не иссякало, она стала упрекать Ольгу в эгоизме:

— Какая я дура, что согласилась с тобой поехать! Ты думаешь только о себе. Жить с тобой и десять дней невыносимо, ты законченная эгоистка.

Ольга слушала оскорбления, но не испытывала ни вражды, ни желания отвечать: в глубине души даже жалела Риту. Но чем могла ей помочь? Если бы Влад хоть слегка стал приударять за ней, было бы прекрасно, но Влад относился к Рите с непрошибаемой товарищеской добротой, что было совсем не то.

— Не знаю, почему я эгоистка,— говорила Ольга, зевая и улыбаясь сквозь дрему.— Давай спать, мне спать охота.

— Конечно, тебе охота, ты напрыгаешься, наорешься,— ворчала Рита.— Ты потому эгоистка, что все себе, себе. О других не думаешь... Ужасней отдыха не было в моей жизни... Какой-то кошмар, какая-то мука...

И в довершенье всего разревелась. Ольга бегала в дом за каплями, за водой, будила людей. Рита лежала бездыханная, с мокрым полотенцем на голове, жалким голосом просила достать ей билет в Москву, проклинала свою судьбу, Ольга говорила какой-то успокоительный вздор, а сама думала: завтра, в море... И ничьи слезы, никакие беды не могли омрачить радости.

Потом Рита встретила какую-то приятельницу в Ахали-Гаграх и переехала к ней. Однажды ее видели с этой приятельницей, толстой соломенной блондинкой среднего возраста, они шли под руку, рядом шагали двое мужчин в пижамах — тогда была такая мода на юге, в полосатых пижамах мужчины гуляли по городу вроде как бы в летних костюмах,— все четверо шумно разговаривали, Рита поглядела мельком и прошла мимо, едва кивнув. А первую ночь спать в хибарке одной было неуют-

но. Ольга и не спала почти до рассвета, слушала гул моря, томилась то тревогой, то радостью, то не поймешь чем: неизвестностью. Какие-то люди ходили по саду. Скрипели цикады. Гудел автомобиль. Кто-то выезжал за ворота. Ольга думала: куда это они среди ночи? К духанщику за вином, что ли? Утром жаловалась ребятам, что совсем не спала от страха. Говорила неправду: неуютность была от непосильного ожидания, от смутных мыслей.

А верно: с первой же ночи, как осталась в хибарке одна, ждала, что он придет. Ребята сказали, что будут ее охранять. И ночью пойдут купаться.

Ночь была темнейшая, в двух шагах ничего не видать. Южная ночь, без звезд. Облака нависли, дышать было трудно. На пляже слышались разговоры, гремели шаги по камням, много людей купалось ночью, тоже не дураки. Разговаривали вполголоса, иные шептались, в воздухе была разлита какая-то таинственность, и Ольга с волненьем это почувствовала, но подумала, что это ей мнится, что тайна в ней самой. Потом обнаружилось, что люди действительно шептались и тайна была истинная, не имевшая к ней отношения. А тогда кружилась голова и ноги подкашивались от душности, от тьмы и предчувствия тайны. Мрак был такой, что можно было купаться голыми. Ольга подходила к морю, не видя воды. Никогда в жизни, ни до, ни после той ночи, она не купалась в такой теплой воде. В ней было, наверно, градусов двадцать шесть. И никакой волны, совершенное спокойствие и беззвучность, моря не существовало, просто теплая вода, как в бассейне, и в потемках тихий плеск и неясный говор людей.

Она поняла, что будет необыкновенная ночь. Влад куда-то ушел. Может, он был поблизости, но молчал, не выдавал себя. Сережа тянул ее за руку на глубину, и она его не видела. Остановились, когда вода стала ей до плеч. Он сказал, что похоже на священное купание то ли в водах Ганга, то ли в Иордане, где-то в тропических реках, где вода как парное молоко. Русский князь Владимир крестил в Днепре, там все-таки попрохладней. Она посмеялась над ним:

— И все-то ты знаешь!

А он спросил:

— Хочешь, буду учить тебя плавать?

Она удивилась: днем только этим и занимались. Подошла к нему, обняла его за шею, и стояли так долго,

целовались, это было впервые и вышло совсем просто, как будто много раз целовались до этого, но странно было одно: кругом люди, и никто не видит. Влад издалека звал их. Ей сделалось неловко, стала вырываться, они боролись, выбежали из воды и повалились на камни.

Камни были теплые. Но ей стало зябко, она дрожала.

— Где вы тут, чертушки? — кричал Влад.

Сережа зажал ей ладонью рот. Не выдержав, оба прыснули смехом и упали с большого камня, на котором сидели.

— А, вот... замаскировались...— Влад тяжко сел рядом.— А я, братцы, договорился насчет билета.

Ее бил озноб, она боялась спросить, какого билета, чтобы голосом не выдать, как она дрожит. Нелепо дрожать в душную ночь. Все-таки ей не хотелось, чтобы Влад догадывался, что с ней происходит. Он сказал, что условился с клиникой Первого мединститута, что будет там работать в августе. Ведь он был тогда еще студентом, пятикурсником, хотя старше ее и Сергея года на три. Позже начал учиться.

По его голосу она поняла, что он догадался. Было его очень жаль. Язык его не слушался, он бормотал невнятицу, какие-то жалчайшие поручения перед отъездом. Часов до двух ночи тягостно разговаривали на берегу, потом она призналась, что хочет спать. Ей не так уж хотелось спать, мозг был воспален, но что-то побудило ее так сказать: просто сидеть дольше втроем было невозможно. Влад спросил: нужна ли охрана? Оставался рыцарем, несмотря ни на что. А каким бы он был исключительным мужем, если бы... Мать Ольги Васильевны считала, что в нем есть «какая-то долька» от Пьера Безухова. Пьер — ее любимый герой, потому «какая-то долька» значило в ее устах много. Георгий Максимович говорил, что у Влада лицо как у мордовского бога Кереметь и что его интересно писать,— писал и мучил Влада многократно,— и очень хотел, чтобы у Ольги с ним все сладилось: «Не будь вороной, лучшего друга тебе не найти». Сейчас он доцент, заведует отделением, у него трое детей, жена — добродушная бесформенная толстуха с широкой жирной спиной, врач-рентгенолог. А тогда был раздавлен, несчастен, спрашивал убитым голосом: нужна ли охрана?

Оба ушли, она осталась одна, мокрый купальник лежал на дощатом подоконнике в ожидании солнца.

Спать не хотелось, не было страха, не было шагов, голосов, ничего. Она лежала с открытыми глазами, сердце колотилось, она знала, что ночи осталось мало и он скоро придет. Спустя минут двадцать он пришел. Снова ее тревожил Влад: вдруг заметил, как он уходил, и догадался куда; и она спросила, почему он не подождал до завтра, пусть бы Влад уехал. Он спросил:

— А что тебе Влад?

В самом деле, Влад был для нее ничто.

— Я не мог ждать до завтра.

Не было разговоров, обещаний, клятв, она ему просто поверила навсегда.

Потом было много, бессчетно, других ночей в городе и на даче, летом, в дождь, холодной осенью, когда еще не работало отопление и комнату согревал рефлектор, почти каждую ночь они становились женой и мужем. Это был редкостный дар, подруги иногда делились интимностями, она — никогда, если бы когда-нибудь рассказала, они бы не поверили и сочли бы такой же ложью, какую сочиняли сами, но суть заключалась в простом: то, чего не хватало одному, находилось у другого, а то, что было у них обоих, соединялось в целое слитно и полно, но это сделалось понятно не сразу, не в первую ночь и не в первый год. Потом она поняла, что ни с кем у нее не могло быть того, что было с ним. А тогда, в хибарке,— что ж? Душная, забытая ночь...

И еще один день болтался с ними ненужный Влад. В море Сережа не подошел к ней ни разу, все время был с Владом, даже как будто сторонился ее. Она пугалась, успокаивала себя: делает так нарочно, хитрец, ведь и он знал и она знала, что ночью он придет снова. Потом какой-то человек отозвал Влада в море, они отплыли от берега, и человек передал новость. Тогда было много разных слухов и новостей. Она забыла, что именно. Помнила только: Влад и Сережа необычайно возбудились, побежали к Порфирию, но домработница сказала, что хозяин уехал в Москву, хозяйка больна и никого видеть не может, а гости разъехались. В саду не было ни одной машины.

Пошли в город, на базар, по магазинчикам. Когда Влад отходил куда-то или отворачивался, Сережа брал ее руку, сжимал пальцы, норовил как-то прижаться к ней, прикоснуться. Влад и Сергей много спорили в тот день, шумели, рассуждали, а она все время думала о том, как будет ночью. На базаре продавали ранний ви-

ноград. Она понимала, конечно, что новость, может быть, интересна, но ее переполняло другое событие, и она слегка недоумевала: как мог Сережа в такой день увлекаться чем-то иным и даже мог, например, не слышать ее, когда она о чем-то спрашивала?

Усатая гречанка-домработница шаркала по саду с граблями, да овчарка Титан тосковала на крыльце, положив морду на лапы. Все разбежались, исчезли, и статная дама с синими губами, похожая на гоголевскую покойницу, тоже куда-то сгинула. А хорошо было тогда в доме, в саду! Прожили дней пять на втором этаже, на веранде, гречанка страшилась одна ночевать и позвала. Все там было исполинских размеров, диван — как будто приспособленный для свального греха, и в комнатах стоял не выветриваясь кислый винный запах с оттенком псины, а на веранду втекал изнуряющий и заново придающий силы воздух моря. Ночи и дни шел разговор, ненасытно узнавали друг друга. И уже тогда было так, будто все давно решено. А в октябре Влад поразился, когда его пригласили на свадьбу. Все-таки он не думал, что дело зайдет так далеко и, главное, так быстро.

Ведь только что познакомились — и вот уже веранда над морем, никаких тайн, нет человека ближе, август, его мать с тяжелыми разговорами, но это уже ничего не меняло. Перхушково, осень, вечерние электрички, встречи у пригородных касс, и тут же возникла Светланка, этот кошмар, который рассеялся не скоро и едва не задушил ее.

Когда она впервые услышала это имя? От его матери?

Нет, его мать произнесла это имя так, что Ольга Васильевна содрогнулась: оно было знакомо. Оно уже сидело в сознании ничтожной занозой, воспаляя ткань, набухая медленной болью. Он был честен, легкомыслен, болтлив, пробалтывал многое, и она слышала про ту очкастую, которая не гнушалась ничем, чтобы удержать его, но сначала Ольга Васильевна не относилась к ней чересчур всерьез, ибо не могло же не быть прошлого, и у нее тоже было прошлое: например, Гендлин. Совершенно вытеснилось, погребено тысячелетиями, вроде фараона Тутанхамона. Кажется, познакомились в консерватории. Кажется, он был инженер, высокого роста, ходил как-то странно, чуть приседая на каждом шагу. Укоризненный голос мамы: «Опять звонил Гендлин». И след виноватого чувства — не к Гендлину, а к маме. Распра-

виться с Гендлиным не составляло труда, он сам отпал тихо, как отпадает лист от осеннего ветерка, но она, однако же, говорила гордо и в поучение: «Вот я: сказала прямо, чтоб не звонил больше, потому что не нужно, и он понял — и все. Надо рвать, как больной зуб, сразу». Сережа соглашался: да, да, разумеется. Как больной зуб. Тогда еще она не знала этот характер, исполненный зыбкости и причуд, и в покорном кивании, в незамедлительном и легком согласии находила покой, длившийся, впрочем, не так уж долго: до первого разговора с будущей свекровью.

Комната на Шаболовке удивила: какая-то шестигранная, обрубок зала с потолком необычайной высоты, лепные амурчики беспощадно разрезаны по филейным частям. Одна ножка и крылышко осеняли шестигранную комнату, а другая ножка и ручонка, держащая лук, висели над коридором. Голов у амурчиков не было. Они приходились на перегородку. На стенах, оклеенных темно-вишневыми обоями в белых корзиночках, развешано множество фотографий. На одну Сережа тут же обратил ее внимание: пирамида усатых мужчин во френчах, папахах, шинелях и сбоку едва заметная, с неразличимым лицом фигурка в белом платке.

— Это мать в политотделе армии. Двадцатый год.

Было обозначено сразу: не чета другим матерям, не просто начинающая старуха, а делательница истории. Но Ольга Васильевна и так смотрела на остроглазую скуластую женщину, очень морщинистую, тонкогубую, с громадной симпатией и честным желанием полюбить ее — не потому что делательница: ко всяким реликвиям, развалинам, свидетелям старины она относилась равнодушно, но потому что — его мать. Пили чай из дешевейших чашек, чуть ли не детских. Пришла его сестра, закутанная в старушечью шаль, толстая, нескладная девушка, совсем на него не похожая, с какой-то блуждающей, многозначительной улыбкой. Разговаривая, улыбалась криво и смотрела в сторону. Она была старше его года на три.

Все в этом доме — стены, потолок, посуда, мебель и люди, тут обитавшие,— отличалось какой-то тайной несуразностью. И, однако, как она это все полюбила! Он побежал в магазин за красным грузинским вином. В Гаграх пристрастились к красному! И вот когда сестра ушла в другую комнату и Ольга Васильевна осталась с будущей свекровью наедине, та вдруг спросила:

— Вы что-нибудь знаете о Светлане?

Ольга Васильевна призналась, что знает. Но смутно.

— Так вот вам не смутно.— И глаза, синие щелочки со стальным зрачком, впились в глаза.— Эта Светлана, о которой я слыхом не слыхивала до позавчерашнего дня, ждет ребенка от Сергея.

Оказывается, та особа приходила сюда, рассказала, взвинтила (потом все прояснилось как обыкновенный шантаж, расчет на дураков), и вот теперь допытывали — плохонькая гостиная вдруг превратилась в комнату призрачного трибунала, не хватало кожанки и маузера в деревянной коробке:

— Вы уверены, что можете быть счастливы ценою несчастья другого человека?

Ольга Васильевна лепетала:

— Я не знаю... А вы уверены, что это правда?

Женщина со стальными зрачками кивала холодно.

— Но ведь любовь... если любят... если бросают, уходят...— жалким голосом пыталась сопротивляться Ольга Васильевна.

— Вы говорите о подлецах. Мой сын не подлец. Он просто безответственный тип.

Внезапно возникла сестра, все слышавшая, и, кривя рот улыбкой, нервно, с напором, произнесла:

— Не обращайте внимания на ее разговоры, она, как обычно, все низводит до схемы! — И, повернувшись к матери, очень зло и отчетливо: — Ты опять говоришь вздор! Уши вянут тебя слушать.

Старая женщина сникла. Прибежал Сережа с вином. Ольга Васильевна крепилась изо всех сил, чтобы не расплакаться, Сережа все понял, стал допрашивать мать, снова появилась сестра и теперь взяла мать под защиту; как они относились к этой змее, к Светланке, было непонятно, ее как бы не существовало, был важен принцип, из-за которого все трое жестоко ссорились, каждый отстаивал какую-то свою правоту, и Ольга Васильевна ничего не понимала. Но одно, казалось ей, она понимала: они ее не хотят. Несуразность сидела в натуре этих людей, делать выводы по их речам и поступкам было опрометчиво. Сережа говорил, что Светланка лжет. Она ему верила. Но почему-то было очень трудно порвать с ней, она грозила самоубийством, он мучился, ездил к ее родственникам, встречался с ее братом-боксером, ходил к врачам, в лабораторию, анализы были отрицательные, та действовала, как настоящая аферист-

ка, а на свекровь всегда влияли фальшивые люди, хотя — Ольга Васильевна догадывалась — Светланку свекровь не хотела еще сильней, чем ее.

Весь кошмар длился недели три в сентябре, и в какой-то миг показалось, что та своего добилась: оторвала Сережу, хоть и не к себе, но — от Ольги Васильевны. Решила с ним рассчитаться — таков был удар этой суки, убийственно рассчитанный,— но что-то спасло ее, она устояла.

Звонок в двенадцатом часу ночи. Плюгавая, взъерошенная, на тонких кривых ножонках девица в очках. Вы Ольга? Да, я. Сразу все поняла, и кровь хлынула в голову. Ненависть к мозглячке была страшная: схватить бы и сбросить с лестницы, чтоб руки-ноги переломала! Но, конечно, вежливо пригласила зайти, разговаривали в коридоре. Та убеждала, что Ольгу Васильевну он не любит и любить не может, пусть она не обманывается, он «таких, как вы», вообще не выносит, нашло затмение, пройдет, «вы будете несчастны» и еще что-то бредовое. Ольга Васильевна чувствовала, как внутри у нее все сдавилось. Онемев, глядела в худое, треугольное личико с острым подбородком, который дергался, а в глазах под стеклами очков дрожали громадные зрачки, как у больной. И чтоб доказать, что говорит правду, та сказала — ради этого и пришла,— что он у нее две ночи провел недавно, в августе, после возвращения с юга. Ольга Васильевна ответила твердо:

— Ты лжешь!

Не поверила ни на секунду. Но та с наслаждением поведала такую подробность, о которой знать не могла, если б лгала.

И все же не верила, такая дура, такая тетеха наивная! И на другой день, когда бежала под дождем в книжный магазин у «Метрополя», где договорились о встрече,— чтоб прогнать его, проклясть,— на дне души было нелепое спокойствие. Втайне верила, что сейчас он возмутится, что-то объяснит, оправдается, рассеет этот напавший внезапно ужас. Никогда в жизни ни с чем подобным она не сталкивалась. Матери не рассказывала, отчиму тоже. Она сражалась в одиночку. Надо было решать в течение нескольких секунд. А он, потемнев лицом, набычившись,— тут-то она стала узнавать странный характер,— сказал: «Она дрянь, но говорит правду. Только не два раза я у нее был, а один раз».

Боже мой, да зачем же, зачем? Зачем он у нее был? Зачем говорить об этом? Даже если правда. «Я ее пожалел. Знал, что расстаюсь, и было жалко». Ее пожалел, а женщину, которую полюбил, обрекает на страдания, выложил ей все как на духу. Тогда, под дождем, возле «Метрополя», они бродили, как лунатики, наталкивались на людей и говорили, говорили, старались понять — что-то там строилось, красилось, дом был в лесах, в трубах, и они то и дело, когда дождь припускал сильнее, забирались под дощатый настил и стояли там,— как жить дальше, надо ли быть вместе или, может, расстаться навеки. Она думала тогда то так, то этак. Расстаться и проклясть его — с каждой минутой силы для этого убывали. Вдруг она подумала: ниспослано испытание, если перебороть его,— значит, быть счастливой. И кончилось тем, что пошли в ресторан «Метрополь» и хорошо пообедали; в тот день он получил зарплату в музее, половину ее потратили на обед.

Свадьба была через месяц. Конец октября, холодный и солнечный, заклеивали окна газетной бумагой, чтоб гостям не простыть, и принесли от соседей радиолу с пластинками. Какая свадьба — обыкновенная вечерушка, водка, закуски, котлеты по-киевски из близлежащего ресторана. Сережа сочинил и напечатал на машинке уморительные пригласительные билеты, что-то вроде: «Дорогой друг! Если хочешь отдохнуть душой, забыться от тягот семейной, холостой, производственной, учебной (ненужное зачеркнуть) жизни, приходи к нам на домашнюю свадьбу-концерт...» В программе было наворочено много всякой смешной чепухи, он был мастер на такие штуки, какие-то мимические номера в исполнении жениха, чтение слов наоборот, застольные песни, лекция доктора Полысаева о пользе голодания, черта в ступе, все забылось, исчезло,— нет, осталось в памяти вот что: «Гастрономические оргазмы. Ответственная — мать невесты, именуемая в дальнейшем теща». Потому что из-за этой фразы среди ночи, во время мытья посуды — мама, Ольга и еще одна женщина, пришедшая помогать, мыли тарелки, Георгий Максимович вытирал, а Сережа, мертвецки пьяный, храпел где-то в комнатах,— возникла легкая словесная распря.

Георгий Максимович высказал недоумение: что за гастрономические оргазмы? Если это юмор, то какой-то антисанитарный. Если не юмор, то позволительно спро-

сить, что имелось в виду. Намеки на какую-то болезнь, что ли? И затем: для чего многократно обыгрывать слово «теща»? Все остроты вокруг тещи исчерпаны еще в девятисотом году. Мама иронически улыбалась, говоря, что нисколько этим юмором не задета, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Но она никогда бы не призналась, если б была задета. Вообще, как обнаружилось позже, мать не хотела ощущать себя тещей, не любила это слово и уж меньше всего претендовала на то, чтобы отличаться в области гастрономии.

Всякий брак — не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак — двоемирие. Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда. Кто кого? Кто для чего? Кто чем? Пришли его родственники, его мир, и открыли в безумном любопытстве глаза, и увидели ее родственников, ее мир, и хотя, кажется, никогда больше за семнадцать лет не было такой обширной встречи, такого открытого, глаза в глаза, противостояния, но — сшибка тогда началась и длилась все годы неотступно, иногда незримо, неведомо ни для кого. И вот — Сережи нет, а старая война длится.

Войны-то никакой не было. Все устроилось покойно и мирно, если не считать слабых подземных толчков. А Ольга Васильевна нервничала: она угадывала в будущей свекрови углы и колючки, да и сестра, девица с причудами, могла что-нибудь отколоть. Еще боялась за маминого брата, дядю Петю: и он сам, и его семейство люди резкие, крикливые.

Перед тем как сесть за стол, Георгий Максимович всех пригласил в мастерскую. Надо пройти длинным коридором: справа двери в мастерские, слева общая ванная, общая кухня, общая уборная для всех жителей третьего этажа. Был такой нелепый дом постройки двадцатых годов. Гости шествовали, топоча, по коридору, а в дверях общей кухни и общей ванной стояли любознательные жильцы — жены, матери и дети художников, да и сами художники приоткрывали двери мастерских и выглядывали на шум. Жены и матери художников были не очень-то добры к Ольге Васильевне и ее матери, хотя те жили в этом доме уже восемь лет и можно было бы к ним привыкнуть. Но жены и матери художников почему-то хорошо помнили первую жену Георгия Максимовича и его сына Славу, с которыми Георгий Максимович расстался за несколько лет до войны.

Процессия гостей двигалась в полном молчании, были тягостные секунды, из общей ванной тянуло мыльным паром, там шла стирка, в общем туалете клокотала вода, и вдруг Сережа, сжав пальцы Ольги Васильевны, громким, нахальным голосом запел: «Трам-па-пам...» — «Свадебный марш» Мендельсона. Кто-то подхватил, засмеялись, зашумели, и тягостное исчезло. И тут появилась рыжая Зика, жена художника Васина, с букетом роз. Она немо совала букет Ольге Васильевне и, нагнувшись — длинная, нескладная, — норовила поцеловать Ольгу Васильевну в щеку. Эту Зику Ольга Васильевна почти не знала. Зато потом узнала хорошо.

В мастерской Георгия Максимовича был необыкновенный порядок, чего, конечно, никто не заметил. Все столпились в середине большой комнаты, под сильной, двухсотсвечовой лампой, а Георгий Максимович метал на кресло, служившее пьедесталом, одну за другой свои работы. Ольге Васильевне эти работы не очень нравились. Но, наверно, она чего-то не понимала, потому что жильцы дома говорили о Георгии Максимовиче с уважением и показывали ему свои картины, спрашивая совета. А Ольге Васильевне казалось, что все эти писанные маслом прудики, рощицы, речки, овраги, все эти на больших листах сангиной старики, дети, собаки, руки и головы похожи на множество других картин и рисунков, сделанных давным-давно другими художниками, и было непонятно, зачем нужно повторять то, что уже существует в мире.

Но, по-видимому, зачем-то было нужно. Потому что картины Георгия Максимовича принимались на совете, покупались заказчиками, и Георгий Максимович не бедствовал. Он был добрый, образованный, учился в Париже, был знаком с Модильяни и Шагалом, любил вставлять в разговор французские словечки, хотя читал и говорил по-французски очень скверно, когда-то его называли «русский Ван-Гог», но казалось странным: неужели можно, так хорошо все понимая у других, ничего не понимать у себя? Рассказывали, что в юности он писал по-другому. Но те вещи почему-то не сохранились. Георгий Максимович очень любил зазывать людей в мастерскую и забивать их, заморочивать своими картинами. Очевидно, этими прудиками и рощицами он гордился всерьез. Все это было простительно для старика, не избалованного ни славой, ни благоденствием, и, кроме того, мать так сильно его любила, но в день свадьбы

тащить людей в мастерскую — это было уж чересчур. И Ольга Васильевна немного на отчима сердилась. Он не постеснялся поставить на кресло серию рисунков — обнаженная женщина на диване, широкие бедра, талия, распущенные волосы, лица не видно. Никто не знал, что это мама. Ольге Васильевне было неприятно, и она старалась не смотреть на рисунки. Все было бы прекрасно, гости одобрительно кивали и, тихо вздыхая, говорили: «Да-а...» — но мать Сергея вдруг задала бестактный вопрос, не относящийся к творчеству Георгия Максимовича.

«Э-э, скажите, будьте любезны,— сказала она,— что это за картина?» — «Это знаменитая «Герника»,— быстро ответил Георгий Максимович, не желавший надолго отвлекаться от своих произведений.— Не картина, а репродукция».— «Чем же она знаменитая? Я что-то слышу о ней впервые».

Потом эта фраза Александры Прокофьевны: «Я что-то слышу о ней впервые» — стала чем-то вроде девиза или пароля, обозначавшего с и с т е м у Александры Прокофьевны. Ольга Васильевна и мать иногда переглядывались и говорили друг другу шепотом: «Я что-то слышу о том-то впервые». И принимались хохотать. Но в тот вечер до хохота было еще далеко, и Георгий Максимович, с неохотой оторвавшись от собственных картин, стал добросовестно излагать, в чем слава и величие «Герники». Гости были озадачены. Георгий Максимович объяснял пылко и усердно. Все понемногу склонились перед его авторитетом и как будто поняли, что хотел изобразить Пабло, но Александра Прокофьевна упорно гнула свое:

«Нет, ваши доводы я нахожу несостоятельными. Ничего, кроме битых черепков и рваных газет, я тут не вижу».— «Мама, это твое личное дело»,— сказала Сережина сестра. «Я с ней поработаю, она подтянется, разберется»,— сказал Сережа. Александра Прокофьевна ответила сыну довольно строго. И тут неожиданно ее поддержал дядя Петя, уже под хмельком раньше всех.

«Вы, милая, совершенно правы в этом вопросе! — заговорил он, наставительно поднимая палец.— А тебя, Егорша, лупцевали за формализм, да, видно, мало. Зачем ты эту дребедень сюда вывесил?»

Александра Прокофьевна добавила: «Вы сами, Георгий Максимович, работаете как реалист. У вас женщина — это женщина, голова — голова, нога — нога,

это — это...— При этом Александра Прокофьевна смело показывала пальцем на рисунок, изображавший обнаженную мать Ольги Васильевны.— Все у вас на месте. Как же так: проповедуете одно, а творите другое?»

У Георгия Максимовича было трудное положение. Он побледнел, вынул большой фиолетовый платок, стал сморкаться. Что он мог объяснить гостям за пять минут до закусок, до водок, до криков «горько»? Мог ли рассказать жизнь? Ольге Васильевне стало его жаль. Но не успела она открыть рот, чтобы выручить отчима, как мать уже бросилась ему на помощь. «Петя, дорогой мой,— сказала она,— ты, кажется, всю жизнь занимаешься станкостроением. Что бы ты сказал, если бы Егор вздумал учить тебя, как строить станки?» — «Что бы сказал? Да я бы его в порошок стер! — Дядя Петя гоготал, свирепо мотая лохматой седой башкой.— Я бы из него котлет наделал! Я бы его в капусту порубал, нахала этакого!» Все засмеялись, лукаво поглядывая на Александру Прокофьевну. Тогда сестра Сережи сказала: «Знаете ли, будет тоска, если все станут высказываться только по специальности».

На этом, кажется, дискуссия кончилась. И все-таки это были два мира, два клана, уходящие корнями в им самим неизвестную глубь, и, столкнувшись, они стремились — невольно — пообмять и потеснить друг друга. Сестра свекрови Вера Прокофьевна тоже что-то бормотала по поводу живописи. А у Ольги Васильевны осталось отчетливое ощущение счастья и страха: кто-то кому-то не то скажет, обидит... Наконец был торжественный миг,— ради которого все и приглашались в мастерскую,— и Георгий Максимович достал с антресолей большую картину в громоздком золоченом багете, свадебный подарок жениху и невесте. Подлинник французского художника Дювернуа, изображавший старый Петербург. Потом, в тяжелые минуты, на этого Дювернуа не раз покушались, однажды даже вызвали оценщика из комиссионного магазина, но, пораженные малой суммой,— не малой, но значительно меньше, чем та, которую долгие годы лелеяли в мыслях,— решили оставить. Висит до сих пор. Когда гости выходили, подталкивая друг друга, из дверей мастерской в коридор, Александра Прокофьевна сказала вполголоса Георгию Максимовичу (в тоне ее прозвучало торжество, Ольга Васильевна услыхала, и сердце ее ёкнуло): «А все-таки, дорогой сват, я с вами не могу согласиться...»

Ночью в общей кухне, где, стараясь не шуметь, мыли посуду, Георгий Максимович шептал: «Родственница у тебя — ой-ой! С характером... Это хорошо, что вы первое время у нас...— И, помолчав, добавил великодушно: — У нее интересное лицо. Было бы интересно ее написать». Они были совсем разные люди. Из разных недр земных.

Единственный раз, когда Георгий Максимович напомнил всем, что он ответственный съемщик, и проявил неуступчивость, случился в мае: решалась судьба Иринки. Была первая весна их жизни. Ничего еще не устоялось, все было непрочно, зыбко. Она еще работала педагогом, но искала место, чтобы уйти. Работа в школе была тяжела, ездить далеко. Подруги по университету обещали найти что-нибудь получше, но пока не находилось, и она тянула эту лямку: каждое утро в полседьмого на другой конец города. Сережа испортил отношения с директором музея и тоже намеревался менять службу. С деньгами было худо. И тут обнаружилось, что будет ребенок. Матерям не говорили. Решили срочно что-то предпринимать, потому что — невозможно, нельзя никак. Знакомых докторов по этой части не было, вообще никаких медиков, кроме Влада. Да и с тем полгода не виделись. Он уже окончил, работал ординатором в клинике.

Не хотелось Сереже к нему идти. Она тоже колебалась, но так как Влад всегда был для нее ничего, очень верное, древнее, с детских лет испытанное ничего, она все-таки решила плюнуть на Сережу, которому было неприятно — ей-то самой было вполне ничего, и даже почему-то казалось, что Влад обрадуется,— и позвонила старому другу. Влад, к ее удивлению, не обрадовался, даже как-то растерялся и обомлел, но затем с горячностью и быстротой стал действовать. Приехали к нему, он сделал укол. Сережа стоял рядом с диваном, держал ее за руку и смотрел в сторону.

Признавался потом, что в какую-то минуту почувствовал к Владу ненависть: тот должен был отказаться! Но Влад с его ослиной добросовестностью... Укол не помог. Влад рекомендовал знакомого доктора, старичка, тогда это запрещалось. Нужно было делать дома, втайне, при закрытых дверях и занавешенных окнах.

Пришлось сказать матери, та сказала Георгию Максимовичу — скрыть было нельзя, да и мать перепугалась, не знала, как быть. Сама она никогда этого не делала.

Ей казалось, что это какая-то невероятно постыдная, преступная и к тому же смертельная операция. Она смотрела на Ольгу Васильевну глазами, полными паники, в слезах, и шептала: «Девочка моя, что же нам делать?» Во многом она осталась наивной до конца своих дней, когда превратилась в старуху. Ольга Васильевна делала это потом несколько раз дома и в больнице и поняла, что это не самая страшная боль на свете. Хотя бы потому, что у этой боли есть конец.

Но тогда, в мае, было еще все неизвестно. Георгий Максимович вдруг ошеломил всех: «Я, как ответственный съемщик, запрещаю!» Так и осталось неведомо: то ли действительно боялся нарушить закон, то ли поддался паническому настроению матери...

Иринка появилась на свет благодаря фразе Георгия Максимовича: «Я, как ответственный съемщик...» Когда-то Ольга Васильевна мучила себя нестерпимыми воспоминаниями. Дочка не знала, что ее не хотели. Все успели забыть — Сережа, мать, Георгий Максимович и, наверное, Влад. Но она-то знала, помнила. И когда осенью слякотным днем бежала по Гоголевскому бульвару в сторону Арбата, спешила в магазин и вдруг что-то сжало низ живота с такой силой, что она качнулась, едва не упала, какой-то человек подхватил под руку и повел на бульвар, чтобы посадить на скамью, она тут же подумала: «Это мне за то...» Иринка родилась семимесячная. Только приехали из роддома, она развернула пеленки, Сережа подошел посмотреть, и она крикнула, заслоняя собой: «Не смотри, не смотри! Потом! Уйди!» Не могла, чтоб увидел такое жалконькое, тщедушное. Дня через три показала ему это тельце, уже напоминавшее ребенка. Теперь Иринка, кажется, самая высокая в классе. А Сережи нет на земле.

Так быстро все это пронеслось.

Ведь была долгая жизнь, необозримая памятью,— отчего же так быстро? Все перепуталось. Оно и быстро, и кратко. То, что было долгим, теперь похоже на миг, а нынешний миг тянется без конца, без смысла. Как-то в декабре, вскоре после того дня, разрубившего жизнь, она сказала дочери — минута отчаянья, ведь ближе нет никого, хоть от кого-то получить каплю утешения, но было слабостью ждать этой капли от девочки,— сказала, впрочем, больше для себя и для кого-то, кто не мог слышать: «Какая у нас с отцом была хорошая жизнь!» В этом вздохе была, конечно, не вся правда. В этом вздо-

хе была ложь. Просто жизнь, хорошая ли, не очень хорошая, плохая, скверная, не имело значения, жизнь — этим все сказано. Жизнь есть, и жизни нет, промежуточного не существует. Все в мире относится туда или сюда, и, может, в этом в единственном скрыто не только вечное ее, Ольги Васильевны, страдание, но и надежда. Тогда она этого не понимала, теперь лишь догадывается, и то смутно.

Девочка почувствовала ложь фразы, сказанной «для кого-то, кто не мог слышать», и, посмотрев косо, произнесла: «Хорошенького понемножку».

Ольгу Васильевну это сразило. Не нашлась, что ответить. Фаина, умнейшая женщина, старинная подруга, еще с детства, с довоенных лет, сказала: «Она у тебя, конечно, эгоистка каких мало, тут уж вы с Сережкой постарались, а особенно бабка. Но дело не в этом. Она сейчас за тебя боится, вот и предупреждает: «Хорошенького понемножку»...» Фаина считала, что нужно срочно искать мужа: «Не будь дурой. Сергея не вернешь, а себя погубишь. Имей в виду, у тебя времени в обрез: год, два, потом пиши пропало». Еще и двух месяцев не прошло, она звала в какую-то компанию, но Ольга Васильевна отказалась — какие там компании, когда от чужих людей тоска еще жутче, потом звала в Новгород на рождество, тоже отказалась, поехала с Иринкой в пансионат «Березки», но и там тоска, сбежала оттуда, Иринку оставила с молодежью, а Фаина не отвязывалась, упорная девка — сорокатрехлетняя девка, мужем брошенная, сын в армии, мать в богадельне,— звала на старый Новый год к знакомым архитекторам, милым, интеллигентным: не бойся, дура, никто на тебя не посягнет, просто отдохнешь, музыку послушаешь. Не могла ни к милым, ни к грубым, ни к интеллигентным, ни к каким.

Не почему-либо, не в силу каких-то принципов, а просто — нет охоты.

Тогда, после безжалостных слов дочери, Фаина, поколебавшись, тоже высказала некую правду, не слишком усладительную,— наверное, полагала, что дает лекарство, горчайшее, но нужное: «А ты на самом деле считаешь, что жизнь у вас была хорошая?» Ольга Васильевна ответила: да. Что было отвечать? Не знаю? Вам видней? Долгие годы бок о бок с лучшей подругой, лучшей советчицей, лучшей завистницей, лучшим шпионом всех кратковременных счастий и бед, научили главному правилу в отношениях с этим существом: ставить себя на

место Фаины и пытаться поглядеть оттуда. Фаина, разумеется, была глубоко несчастна. Рядом с нею Ольга Васильевна всегда ощущала себя бесстыдной, возмутительной богачкой. Происходил постоянный перелив избыточного добра, благоденствия, наглого женского довольства — так временами казалось Ольге Васильевне, она даже себя одергивала — из одного сосуда в другой. Впрочем, точнее говоря: ей казалось, что так кажется со стороны, и в первую очередь так кажется бедной Фаинке.

Вдруг обнаружилось, что Фаина представляла себе все иначе. И теперь с помощью этих неожиданных и так упорно скрывавшихся представлений даже осмелилась ее, Ольгу Васильевну, ободрять. Да полно! Неужто их жизнь нельзя назвать хорошей? Их жизнь — это было цельное, живое, некий пульсирующий организм, который теперь исчез из мира. В нем было сердце, как в живом организме, были легкие, гениталии, органы чувств; он развивался, расцветал, болел, изнашивался, но умер не от старости и не от болезней, а оттого, что исчезла материя, дававшая ток его крови. Странное создание была их жизнь! Никто не мог понять, что это такое. Все только догадывались, улавливали какие-то формы в воздухе, фантазировали, неясно предполагали, что их жизнь выглядит так-то, состоит из того-то и этого. А они сами... И они сами не могли бы ничего определить словами. То Ольга Васильевна думала совершенно искренне, что их жизнь хороша, то тяготилась ею, а временами — были такие часы, дни — ей казалось, что она ужасна.

Теперь не верилось, что такие мысли приходили в голову, что она иногда ненавидела их жизнь.

Но было, было! Хотя бы той зимой на Сущевской, когда он мучил ее рыжей Зикой, женой Васина. Кончилось унижением, почти забылось, память выдавила эти страдания и этот стыд из себя, но ведь было — давно, четырнадцать лет назад — и тоже принадлежит к их жизни. Ей казалось, что он неравнодушен к Зике. То, что та с ним кокетничала и, наверное, не шутя стремилась его обольстить, было естественно: женщинам он нравился. Она это знала и страдала. Но знала она и то, что он ленив, тяжел на подъем, что к кокетливым, глупым женщинам равнодушен и женскому обществу предпочитает разговор с мужиками под водку и огурцы. Однажды, когда она выпытывала у него, мог бы он ей изменить,

он со вздохом сказал: «Помнишь Хемингуэя: «Если б не надо было с ними разговаривать»...

Зика была молодая, здоровенная, с длинными руками и ногами, могучими чреслами. Скульпторы с первого этажа просили ее позировать для тематических работ, всяких там дискоболок или колхозниц с корзинами на плечах, олицетворяющих изобилие. Зикина телесная мощь пугала Ольгу Васильевну: ей казалось, что для него этот тип притягателен и напоминает забытую Брунгильду. Лицо у Зики было ничего, круглое, свеженькое, всегда слегка улыбающееся, в белокурых кудряшках. Простоватое личико. Она что-то делала в детском издательстве как книжный график, марала акварелькой вполне бездарно. А Васин был тщедушен, некрасив, стар — Ольге Васильевне казалось тогда, что стар,— лет сорока с лишком. Вдвое старше Зики. Все началось с дружбы, взаимных приглашений, чаепитий, выпивок под магнитофон: тогда это увлечение вошло в моду. Васин купил громоздкий и тяжелый, как сундук с железом, магнитофон «Днепр», всех записывал, всем велел петь, болтать, читать стихи, и тут же наговоренную ерунду с восторгом слушали.

Васин много зарабатывал официальными портретами, которые делал с напарником Аркашей. Они размечали холст клетками и лепили фабричным способом, быстро и ловко. Иногда Зика помогала. Кроме того, Васин работал для себя, или, как он выражался, на «модистку»,— писал этюды, очень недурные. Георгий Максимович считал его талантливым и беспутным, говорил, что «такими талантами Дорогомиловка вымощена». Васин был пьяница.

Он повторял стихи Саши Черного насчет модистки для тела и дантистки для души. «Теперь всю неделю,— говорил,— буду работать для модистки». Или же: «Сегодня полдня провел с дантисткой. Такая сладость, так хорошо!» Это значило — мчался куда-то с этюдником на электричке, где-то мерз, мок, писал, наслаждался. В общем, Валера Васин — жаль, умер еще не старым, до шестидесяти, пьянство его своротило, а Зика бросила — был художник истинный, жил как во сне, работал как во сне и просыпался только за мольбертом, когда делал настоящее и любимое. К гостям он был равнодушен, мог жить один, пить один, но Зика изнывала от скуки и тянула его в суету. Он Зику сильно любил и делал все, что она хотела.

А та была хитра, подлаживалась к Ольге Васильевне, льстила ей, лезла в подруги. «Хочешь, с девкой погуляю? Молока не надо? Иду в магазин...» И все попросту, по-товарищески. Однажды деньги в долг дала. Ольга Васильевна сперва поддавалась, а потом сообразила, что дело нечисто. Стала от Зикиных приглашений отлынивать и Сережку не пускать.

Сережа — в амбицию. Почему притесняют? Она не могла объяснить, а он не догадывался. Тут была мизерная ревность. Настолько мизерная и, по-видимому, на пустом месте, что говорить о чем-то было стыдно. Но она не могла побороть себя. «В чем дело? Почему ты не хочешь, чтоб я ходил к Валерию?» — «Не хочу — и все».— «Это диктат!» Он вспыхивал и бежал к Васину. Всю жизнь боялся, что из него хотят сделать подкаблучника. В то время он ушел из музея, еще нигде не устроился, был нервен, нетерпелив. Она пропадала днями в школе, а он оставался дома, помогал матери Ольги Васильевны ухаживать за Иринкой, ходил на Минаевский рынок, приносил еду, притаскивал ведрами воду — воду набирали в кухне, в большом коридоре, ходить нужно было раза три в день.

От домашней колготни, от безделья, безденежья и, главное, от неизвестности, куда и как дальше,— из музея ушел наспех, не успев подготовить места,— он вечерами падал духом. Маялся, не знал, куда себя деть. Тут дылда и подстерегала его. Только непонятно: зачем он был ей нужен?

Теперь его нет, он никому не нужен.

Однажды Ольга Васильевна пришла в мастерскую к Васину и увидела, что Сережа сидит за столом, повязанный, как салфеткой в ресторане, грязноватым вафельным полотенцем, а Зика стрижет его. «Что сие значит?» — поинтересовалась Ольга Васильевна. В ответ ей был хохот. И Васин, и кто-то из его приятелей так хохотали, что не могли вымолвить ни слова. Оказалось, он проиграл волосы в покер. Зика очень естественным, веселым тоном успокаивала: «Не волнуйся, Олечка, я сниму чуть-чуть, самую малость. Чисто символически. Ему будет даже лучше».

Ее поразило, что он сидел покорный, как овца.

Неизвестно, что там было между ними. Может, что-то и было. Может, и ничего. Ольга Васильевна перестала с Зикой здороваться. Та сделалась врагом. Вся эта перемена — от близкой дружбы до лютой вражды — произо-

шла с необыкновенной быстротой, за два или три месяца. Совершенно исчезло из памяти, как эта ссора развивалась, были ли какие-то разговоры с Зикой до той встречи в пустом коридоре. Весною Ольга Васильевна уже стала ее бояться. Зика смотрела исподлобья в упор, а когда случайно сталкивались на кухне или в коридоре, никогда не уступала дороги, всегда шла прямиком и еще норовила задеть. Кажется, Ольга Васильевна что-то сказала про нее очень метко, женщины передали, и началась ненависть. Все подробности испарились, но вот что осталось: ее война с Сережей из-за этой несчастной испарившейся Зики, из-за пустого, химеры какой-то, но Ольге Васильевне тогда казалось, что от исхода этой войны зависит жизнь. Любит ли он ее настолько, что готов отказаться — если она умоляет — от мелкого удовольствия потрепаться за рюмкой в васинской мастерской? Как она страдала и как верила в свою правоту! Что может быть яснее, думала она: если любит, значит, откажется. Если не любит, значит, будет ходить. Безошибочная проверка. Но он почему-то ясности тут не видел. Ему нужны были доказательства. Он требовал ордера на арест.

«В тысячу первый раз: почему? Может, ты дошла до такого безумия, что ревнуешь меня к Зике?» — «Я просто прошу! — едва не плача, говорила она.— Прошу, прошу, больше ничего! Я тебя умоляю на коленях!» И однажды вправду бухнулась на колени, он испугался и обещал сделать все, что она просит. Хорошо, больше туда не пойдет. Она очень любила его в те минуты, потому что вдруг открылось то, что она жаждала увидеть. Но прошло часа полтора — дело происходило на рассвете, не спали всю ночь,— и он опять за свое: «Нет, чистой воды сумасшествие, невозможно... Ты требуешь слепой веры, как отцы церкви... Верую, хотя это абсурдно...» И к ней после прилива радости приходили печальные мысли: слезами, бессонными ночами она выманила у него уступку в ничтожном деле. Подумаешь, перестанет ходить к Васину! А как дальше? Каждый раз рыдать, на колени? Могут быть просьбы куда серьезней. А он будет стоять, как скала.

И еще мучило сознание, что ссорятся так отчаянно, до слез, из-за пустой девицы, которая не стоит и того, чтобы тратить на нее презрительный взгляд. Вот бы та ликовала, если б узнала, какие из-за нее страсти! Конечно, это было безумие. И Ольга Васильевна была глупа, не понимала важного, мучилась из-за чепухи...

Он продолжал ходить к Васину. Теперь делал это из упрямства и из принципа.

Они занимались еще вот чем: пытались друг друга воспитывать для будущей жизни. Были тяжелые дни. Ольга Васильевна рвалась уйти к матери, хотела с ним развестись, вот тогда она ненавидела *их жизнь*, которая лишь начиналась. И совсем не осталось в памяти, что́ же предшествовало встрече в коридоре, которой вся эта история завершилась. Может быть, она и наговорила что-то лишнее общим знакомым. Из тех сплетен, что ходили про Зику. Некоторые перестали у Васиных бывать. Все в доме уже знали, что между Зикой и Ольгой Васильевной вражда. Васин тоже перестал здороваться с Ольгой Васильевной, а заодно и с матерью Ольги Васильевны и с Георгием Максимовичем. А Георгий Максимович, как член закупочной комиссии, зарезал две картины Васина. И тот напился пьяный, подходил к двери и кричал всякие дерзости. Ольга Васильевна увидела на улице Зику с заплаканным лицом. Кажется, теперь уж было невероятно, чтобы он бегал к Васиным.

Шла большим коридором, а впереди из-за угла вывернулась Зика. Они были одни. Зика шла не сворачивая, прямо на Ольгу Васильевну, и уставились друг в друга, зрачки в зрачки. Успела подумать: «Глаза сумасшедшей...» Та подошла вплотную, белыми губами задвигала: «Я все поняла, мелкая душонка, ты своего мужа погубишь, ну это черт с ним. А если меня и Валерия не оставишь в покое, я тебя уничтожу! Поняла?» И рукой громадною замахнулась.

Ольга Васильевна побежала по пустому коридору. Страх был как жар — охватил всю. Вспоминать немыслимо...

А с Фаиной любили покупать горячие бублики в ларьке на углу улицы Чехова и Садовой. Там и до войны продавались горячие бублики. По шесть копеек. И осталось в крови, в зубах неизжитое детское наслаждение: уличная благодать, квадратное маленькое окошко, ту́да монетку, оттуда, из пахучей глубины, высунется добрая рука с мягким, живым, только что из утробы, воздушным, прожаренным бубликом. Потом гулять, жевать, жуировать жизнью: по Садовой вниз, к Самотеке, оттуда на Цветной бульвар, там суета, многолюдно, цирк, рынок, такси, цыганки, комиссионка, кинотеатр — что душе угодно. И ресторан «Нарва» рядом. Когда надо было утешиться, поговорить на свободе,— а Фаина в те годы об-

ралась на Красногвардейской, в коммунальном муравейнике, в одной комнатке с матерью, сыном, мужем и еще с какой-то пыльной, лежалой родственницей, не разговоришься,— шли туда, на Цветной. В кино с горя, а то на рынок, наглядятся, натолкаются, ягод купят, грушу бера сладчайшую, или арбуз, или просто семечек жареных по стакану, походят, походят по бульвару, пожалуются друг дружке — и легче жить.

Фаина сказала: сейчас же к районному прокурору. И одновременно к ней на работу, где она своими акварельками промышляет. У Фаины был друг, газетный работник, прямо с бульвара, из автомата, позвонили ему насчет статьи или скорей всего фельетона. Ольга Васильевна кипела страстным желанием отомстить. Хотелось упечь Зику не меньше чем года на два за хулиганство.

Но когда поздним часом подходила к дому, не испытывала ничего, кроме головной боли и какой-то тяжкой разбитости во всем теле, будто после болезни. И решила никому не рассказывать. Стало жаль Сережу нестерпимо: что бы он испытал, если б рассказала! Так это и погибло в пустом коридоре. И мать не узнала.

Не вспоминать, не вспоминать! Но видеть Васиных, сталкиваться с этой женщиной в коридоре или в общей кухне Ольга Васильевна не могла. Впрочем, и та стала Ольгу Васильевну избегать — в глаза не смотрела и сторонилась. Вскоре переехали на Шаболовку. Свекровь осталась одна после смерти дочери, Сережа просил Ольгу Васильевну переехать, она согласилась с облегчением: там не было длинного нелепого коридора, в котором попахивало масляными красками и скипидаром, не было шумных сборищ по вечерам, не было споров о колорите, французах, супрематизме, не было возбужденной толкотни по всем этажам в дни работы закупочных комиссий, не было общей ванной с цементным полом и объявлением на стене: «Мыть кисти над ванной категорически запрещено!», не было кухни с четырьмя плитами и четырьмя столами, не было мамы, не было Георгия Максимовича, все еще мечтавшего кого-то удивить, если не мир, то просто соседей по этажу, и не было Васина и его жены Зики. Зато там была свекровь...

Фаина говорит: если бы жили не со свекровью...

Это неправда, ведь для него житье с матерью вовсе не было таким искусом, как для нее. Если бы причина была в старухе, скорее остановилось бы сердце у нее,

а не у него. Но, конечно, ее присутствие и всегдашнее поучительство были добавком к чему-то главному. После сорока лет с мужчинами происходят странные вещи: они понимают про себя что-то такое, что было им недоступно прежде. Одни успокаиваются навсегда, других охватывает душевная смута. Вот и он подпал под чары такой смуты. Это возникло незаметно после того, как Праскухин перетащил его в институт. В музее было тихо, безденежно и безнадежно, но зато невероятное спокойствие, а в институте началось: обещанья, надежды, проекты, страсти, группировки, опасности на каждом шагу, Праскухин против Демченко, Демченко против Кисловского, потом Гена Климук, потом затеялась вся эта история с переменой темы диссертации. Он метался, сначала то, потом другое, потом третье. То история московских улиц, а то охранка, а то и вовсе посторонняя наука. Его сгубили метания. Сначала увлекался, потом неизбежно остывал и рвался к чему-то новому. Вечно рвущийся куда-то неудачник. Боже мой, ну и что? Она никогда не попрекала его, не требовала чего-то неисполнимого. Нет средств на Ялту — будем жить в Василькове, у тети Паши. Нет денег на телевизор — будем слушать радио. Никогда в жизни не говорила ему: вот тот уже там-то, а ты еще здесь. Не заставляла его надрываться, выбиваться из сил, чужие успехи ее не задевали.

Наоборот, говорила ему: не нужна нам твоя диссертация! Нам нужно твое здоровье. Оставайся младшим научным, только, ради бога, не мучайся, не гоношись, не тарань лбом стену, твой лоб для этого не пригоден.

Скорее уж свекровь страдала оттого, что сын не процветает, как другие. Александра Прокофьевна очень не любила некоторых его товарищей школьных лет, которые кое-чего добились, и когда они приходили в гости, она была с ними холодна. Ей казалось, что ее сын замечательный и достоин лучшей участи. А Ольге Васильевне были чужды муки тщеславия. Ее мучило другое. Конечно, семь лет угроблено на музей, никакой отдачи, никаких накоплений, сам виноват: постоянно разжигали его пустые грезы. Но и они виноваты, все, все, кто был вокруг! Виноваты злодейски, жестоко: не могли остановить эти колеса, вертевшиеся впустую...

Семь лет! Те годы, когда ровесники делали лихорадочные усилия, совершали рывки и проталкивались дальше и дальше. А он жил так, будто впереди у него девяносто лет. Были какие-то планы, делались изыскания в

архивах, велись переговоры с издательством на тему «Москва в восемнадцатом году», и был некий Илья Владимирович, который что-то обещал и продвигал, но все кончилось ничем. После множества встреч, телефонных звонков, застолий и чаепитий Илья Владимирович обнаружил полнейшую никчемность. Александра Прокофьевна возмущалась: «Почему к тебе липнет всякая дрянь?» Он по обыкновению оправдывался и защищал прощелыг, которые его подводили: «Но ведь Илья Владимирович не хозяин издательства, он такой же клиент, как я!» Работа нескольких лет — за эти годы выросла и поступила в школу Иринка, произошла перемена квартиры, капитальный ремонт с настилкой паркета, и она, Ольга Васильевна, стала старшим научным сотрудником, а затем и заведующей лабораторией ВНИИС,— вся его долгая возня с «Москвой в восемнадцатом году» кончилась неудачей, книга не вышла. Правда, некоторые материалы оттуда он использовал для первого варианта диссертации, но ведь этот вариант отпал. Появилась новая тема: Февраль, царская охранка и прочее. И тут образовался тупик, какая-то непрошибаемая стена, и последовали прочие неприятности: ссора с Климуком, увлечение этим домом на набережной и все, что с ним было связано, предательство Климука...

Она знала все выражения его лица, знала его походку и то, как у него менялся голос, когда обрушивалась очередная неудача или же наплывала новая изумительная греза.

Конечно, когда познакомились, он был другим.

Неудачи из года в год добивали его, вышибали из него силу, он гнулся, слабел, но какой-то стержень внутри его оставался нетронутым — наподобие тоненького стального прута,— пружинил, но не ломался. И это было бедой. Он не хотел меняться в своей сердцевине, и это значило, что, хотя он мучился и много терпел от неудач, терял веру в себя, увлекался нелепейшими безумствами, заставлявшими думать, что у него помутился разум, приходил в отчаянье и терзал всем этим свое бедное сердце, он все же не хотел ломать то, что было внутри его, такое стальное, не видимое никому. А она все равно любила его, прощала ему и ничего от него не требовала.

Спустя две недели после похорон возник Безъязычный. Ольга Васильевна не была с ним знакома, но слышала фамилию от Сережи. Забыла, в какой связи. Ка-

жется, он участвовал в разбирательстве Сережиного «дела», но Ольга Васильевна совершенно не помнила, какова была его позиция. Люди там разделились, по словам Сережи, на три категории: было несколько подлецов, были умеренные и были люди, которые вели себя безукоризненно. Ольга Васильевна нервничала оттого, что не знала, с кем был Безъязычный и как ей с ним разговаривать. Он пришел с пожилой женщиной по фамилии Сорокина.

— Вы меня извините, я вот зашла к вам в гастроном,— говорила Сорокина, улыбаясь виновато и искательно, и показывала зачем-то сумку с продуктами.

Секунды две она шарила глазами, определяя, куда сумку поставить, и не нашла ничего лучше, как поставить ее на ящик для обуви. Ольга Васильевна молча взяла сумку и перенесла ее на столик под телефоном.

— Какой ваш гастроном-то чудный! И «докторская» колбаса, и сырки глазированные, а у нас редко когда бывают. Хотя наш вот тоже считается диетический...

Произнося эту муру, женщина смотрела на Ольгу Васильевну с таким чувством и придала голосу такое выражение проникновенной сострадательности, будто ее похвала гастроному, рядом с которым посчастливилось жить, могла хоть на ничтожнейшую крупицу облегчить горе Ольги Васильевны. Заметив, что Ольга Васильевна не поддерживает разговора о гастрономе, Сорокина, вздыхая, сняла плащ, шляпку и затем некоторое время никак не высказывалась, а только вздыхала.

Прихода людей с Сережиной службы Ольга Васильевна ждала с тоской. Они не могли принести ничего, кроме боли. Все люди, хоть как-то, хоть немного знавшие Сережу, приносили боль. Но было ясно: надо выдержать, и чем скорее они придут и уйдут, тем лучше. Оба эти человека были из профкома и, как поняла Ольга Васильевна, выполняли какое-то общественное поручение. Похороны миновали, захоронение урны произошло, так что похоронная комиссия была распущена, а эти люди принадлежали к «бытовой комиссии» или к какой-нибудь еще в этом роде. Они пришли ненадолго. Творог мог подкиснуть, если разговор затянется, но Ольга Васильевна не предложила сунуть его в холодильник. Она не могла делать над собой никаких усилий. Безъязычный топтался на коврике перед дверью, оглядывался, мычал невнятно, Ольга Васильевна не понимала, чего

он хочет, потом вдруг решительно стал снимать ботинки и остался в носках. Ага, он не хочет грязнить пол, на улице мокро. Как будто Ольгу Васильевну могли сейчас заботить полы.

Почему эти люди так ничего не понимают? Пришлось дать ему Сережины летние босоножки, стоявшие на виду, возле дверей. Это было неприятно и с его стороны бестактность: брать Сережины босоножки.

Свекровь что-то делала на кухне, куда Ольга Васильевна зашла, чтобы поставить на огонь чайник. Надо же было как-то их принимать. Александра Прокофьевна сказала, что не выйдет к ним.

— Видеть их никого не желаю,— сказала старуха.— Сначала травят, потом приходят выражать сочувствие. Не знаю, о чем можно с ними разговаривать.

Выходило, будто Ольга Васильевна может с ними разговаривать, потому что как бы занималась с ними одним делом: травила Сережу. Хотела пропустить мимо ушей, но не сдержалась:

— Эти люди не травили Сережу, не надо говорить лишнего. Они ни в чем не виноваты и пришли проявить обыкновенное, казенное внимание. Вообще Сережу никто не травил.

— Травили,— сказала Александра Прокофьевна и вышла из кухни.

Ольга Васильевна села на табуретку и минуту-другую сидела не двигаясь: сильно билось сердце. Сережу не травили. Ему причиняли зло не намеренно, а просто потому, что какие-то люди преследовали свои цели. Это другое. Она слышала, как Александра Прокофьевна прошла в свою комнату и щелкнула замком. Было неловко перед чужими людьми. Впрочем, пускай! Не имело значения. Она поднялась, пошла в большую комнату, неся что-то в вазочке. Двое из профкома сидели у стола в окаменевших позах, означавших глубокое уныние. Женщина при этом чуть заметно качала головой, глядя в одну точку, в пол. Вероятно, ей представлялось, что такой позой и таким чуть заметным покачиванием головы должно выражаться истинное сочувствие. «Какая дура!» — подумала Ольга Васильевна. Безъязычный тотчас вскочил, стал говорить, что они пришли буквально на минуту, не нужно никаких хлопот, никакого чаю. Он был коротконожка, румяный, с крепким, моложавым лицом, волосы подстрижены бобриком, совсем седые. Непонятно, какого возраста, наверное, лет пятидесяти.

На нем был черный костюм, пиджак, очень широкий и мятый, с несоразмерно большими плечами, подбитыми ватой. «Надел специально, чтоб прийти к вдове,— подумала равнодушно.— Черный. Из сундука».

— Вот несколько предметов, принадлежавших Сергею Афанасьевичу...— Он вынул из портфеля железную коробку из-под чешских сигарет, в которой что-то бренчало, линейку, складной туристический нож, применявшийся, по-видимому, для открывания консервов и вытаскиванья пробок в часы «сабантуйчиков», которые в отделе устраивались нередко, три затрепанные книжки, гребень с длинной ручкой, футбольный календарь за 1969 год, номер «Иностранной литературы» и какую-то старую записную книжку, телефонную, с загнувшимися завитком страничками. Каждую вещь он доставал и выкладывал на стол с осторожностью, как будто это было стекло.

Ольга Васильевна остановившимся взором смотрела на всю эту мелкую, случайную чепуху, которую зачем-то принесли сюда, и думала: «Должно быть, больно глядеть на вещи мужа, который умер. Для чего же тогда это делают?» Ей хотелось взять все это и выбросить. Она собрала вещи и перенесла их на подоконник, чтобы не видеть.

Безъязычный протянул конверт, говоря что-то. Она поблагодарила и стала разливать чай. Какие-то деньги от профкома. Безъязычный, отпивая неслышными глотками чай, говорил о том, что все в отделе горюют и как недостает Сережи, потому что его многие любили. Эта фраза задела Ольгу Васильевну, и она как бы очнулась. Почему он сказал многие любили? По правилам этой игры он должен был сказать «его все любили», или же «его у нас любили», или, на худой конец, просто «его любили». Но он сказал многие любили, что означало, что находились — и находятся теперь, когда его уже нет,— какие-то немногие, которые его не любили и все еще не любят. Разумеется, такие есть. Ольга Васильевна нисколько не сомневалась в существовании немногих, но намекать на них вдове в первые же минуты визита было как-то странно.

Она посмотрела внимательно на Безъязычного, стараясь еще раз припомнить, что́ говорил о нем Сережа. Ничего не вспоминалось.

— Вы говорите так, будто Сергей Афанасьевич до последнего дня работал в институте, находясь со всеми

в мире и согласии. Будто не подавал заявления об уходе,— сказала Ольга Васильевна.— Практически он считал себя уволенным.

— Но это неверно! Вы глубоко заблуждаетесь! — Безъязычный прикладывал руку к груди.— Я знаю про заявление. Но, во-первых, вопрос оставался открытым до того, так сказать, до трагического дня... Директор был в отпуске. А Геннадий Витальевич этот вопрос решать категорически не хотел.

— Геннадий Витальевич не хотел? Про Геннадия Витальевича можете мне не рассказывать. Он-то как раз хотел больше всех, но только — чтоб чужими руками.

— Я уверю вас: вы заблуждаетесь!

— Нет, не заблуждаюсь.

Этот человек неспроста сказал: многие любили. Он проговорился. Теперь ясно, что это был враг Сережи или, может быть, сочувствовал его врагам. Неужели дошли до такой низости, что посылали сюда с деликатным поручением Сережиного врага?

— Сергей Афанасьевич работал вот как раз в нашем секторе,— дрожащим голосом заговорила женщина и, сняв очки, уткнув мясистый подбородок в грудь, стала протирать очки платком. Лицо ее приняло совсем плачущее выражение, голос звучал едва слышно.— Революции вот и гражданской войны... Мы с ним работали шесть лет вместе... Он был прекрасный человек, очень вот добрый, отзывчивый... хороший человек...

Мясистый подбородок дрожал. Ольга Васильевна смотрела на женщину холодно.

— Интересно, как вы оба голосовали при разборе этого пресловутого Сережиного «дела»? — спросила она.

Женщина вздрогнула, глаза ее расширились и проделали мгновенное вращательное движение. Разумеется, Ольга Васильевна спросила грубо и, наверное, поставила гостей в неловкое положение, но ведь они тоже: сидят тут, пьют чай, разговаривают о Сереже...

— Я не голосовал вовсе по причине моего отсутствия в столице. Я был в Польше, в командировке,— сказал Безъязычный и махнул презрительно рукой.— Да ну, знаете ли...

Жест и тон означали: стоит ли вспоминать об этой чепухе? Сорокина сказала:

— А я, кстати, голосовала за то, чтобы вот на вид...— Она покраснела.— Это было единственное, это было вот самое в тех условиях...

Тут вошла, вернее — бесцеремонно влетела по своей привычке, Иринка и попросила полтора рубля поскорее, пока не закрылся универмаг. Выпалив это, она заметила гостей и сказала:

— Здрасте!

Ольга Васильевна представила дочь, та очень приветливо, обаятельно улыбнулась, как она умела улыбаться, когда нужно было выклянчить деньги.

Ольга Васильевна рылась в сумочке, собирая серебро и медь.

— Ой, что я вижу? — обрадованно крикнула Иринка, бросившись к подоконнику.— А я его искала, искала! Откуда он здесь?

Она схватила гребень с длинной ручкой.

— Это принесли с папиной работы. Вот тебе полтора рубля.

— А...— Поколебавшись, Иринка положила гребень назад на подоконник, потом спросила: — Мам, можно я его возьму? Ведь ты мне купила, помнишь?

— Возьми,— сказала Ольга Васильевна.

Иринка убежала. Видимо, кто-то ждал в прихожей, зашептались, хлопнула дверь. Гости сидели. Говорить было не о чем. Казалось, сейчас встанут и пойдут, но Безъязычный завел разговор о незаконченной Сережиной диссертации. Будто бы есть мнение ученого совета — решения пока нет, но раздаются голоса,— чтобы работу завершить силами института и издать в виде монографии. Выделить специальных людей. Работа плановая, весь отдел заинтересован. Придется подобрать неиспользованные материалы, найти то, что осталось у Сергея Афанасьевича в папках, на рабочем столе. Все рассчитывают на помощь Ольги Васильевны. Она почувствовала, как в ней закипает раздражение.

— Я займусь этим, когда будут силы и время,— сказала она.— Сейчас ничего искать не стану.

— Конечно, конечно! Разумеется, Всеволод Борисович...— залопотала Сорокина.— Когда Ольга Васильевна сможет...

— Это абсолютно в интересах Ольги Васильевны,— сказал Безъязычный.

В коридоре Безъязычный неожиданно сказал своей спутнице, подав ей пальто:

— Полина Романовна, извините, я не смогу вас проводить. Мне надо Ольге Васильевне два слова...

Вернулись в комнату. Ольга Васильевна не хотела вести разговор в коридоре, под дверью комнаты свекрови. Почувствовала, что предстоит неприятное. Безъязычный сказал, что ему неловко говорить, но выхода нет, потому что дело общественное. Он председатель правления кассы взаимопомощи. Сергей Афанасьевич взял сто шестьдесят рублей с обязательством вернуть в течение полугода, но прошло почти два года, деньги не возвращены, и теперь возникла сложность: касса пуста, есть заявления с просьбой о небольших ссудах, удовлетворить невозможно. Есть правление, есть решение, есть суждения всех без исключения, есть мнение, есть изумление... Так вот: каково положение?

Ольга Васильевна слушала ошеломленно. Слова долетали сквозь плотный воздух.

— Таких денег у меня нет,— сказала она.

— Собственно говоря, тут дело обстоит таким образом... Понимаете, мы не имеем права... Если только общее собрание всех пайщиков, но захотите ли вы...— Безъязычный бормотал, дергаясь румяным тугим лицом, как бы неслышно и нарочно чихая, что означало, по-видимому, сильную степень смущения.— Поверьте, мне неприятно... Но я выполняю...

Ольга Васильевна сказала, что на Сережиной книжке лежит сто рублей. Но эти деньги она сможет получить не скоро, когда вступит в права наследства. Что касается ста шестидесяти рублей, взятых в кассе взаимопомощи, то она слышит о них впервые.

— Когда он брал эти деньги?

Безъязычный достал из кармана блокнот, полистал его, нашел: деньги были выданы пятого марта семьдесят первого года. Откуда все это свалилось? Зачем ему понадобились такие деньги? Женщина. Это сразу пришло в голову, бросило в жар, она очень спокойно сказала:

— Я действительно впервые слышу. Обычно он делился со мною всеми тратами, долгами...— Это была неполная правда, но все же в общих чертах — правда.

— Тогда мне еще более неприятно. Извините меня.

После паузы сказал:

— Я постараюсь сделать все, чтобы убедить членов правления, учитывая обстоятельства... Вам придется, может быть, сочинить бумагу... Что смогу, я сделаю! — Он прикладывал руки к груди и наклонял голову.— Большинство товарищей хорошо относились,

так что я надеюсь... Я поговорю кое с кем предварительно...

В таком духе он продолжал бормотать, прижимая руку к груди и кланяясь, пока двигался из комнаты в коридор. Кажется, было сказано все. На сей раз конец. Зачем же дали деньги в конверте, если сами требуют от нее? Все было смутно. Ольга Васильевна смотрела на коротенького, седого, в черном и мятом старомодном, пятидесятых годов, костюмчике и что-то говорила, не слыша себя. На прощанье он сказал:

— Так вам позвонят насчет монографии. Вы уж там поищите, соберитесь. Ту папку, про которую я говорил, с розовыми шнурочками.

Раньше, когда возникали внезапные неприятности и она не знала, как поступить, всегда советовалась с Сережей. Обыкновенно вечером, перед сном, когда Иринка уже спала, а свекровь забивалась к себе в комнату. В своих делах он ничего не мог добиться, но ей советовал толково. Легко умел успокаивать, когда ее обижали. А теперь — к кому? Свекровь знать не должна, потому что ничего, кроме злорадства, не испытает. Усмотрит в этом подтверждение своей веры в то, что они не были близки и он жил отдельной жизнью. Ольга Васильевна ощущала томящее чувство, которое не было ревностью, а было чем-то совсем другим, иного качества: как бы перегоревшей ревностью. Ей как бы вручили урну с этим странным прахом. Ревности уже не было на земле, но ее останки она держала в руках, прижимая к груди.

Почему-то была убеждена в том, что тут замешана женщина. Прах, прах, ничего, кроме праха. Но руки ее дрожали. На ее собственной сберкнижке лежало двести восемьдесят рублей, накопленные Сережей и ею для целевой траты — покупки телевизора. Снимать оттуда деньги для покрытия сомнительного долга глупо. Сережа говорил:

— Старуха, не суетись.

Это была его фразочка, которую кстати и некстати он повторял десять раз на дню. Хороши эти господа: месяца не прошло — бегут к вдове с векселем! Но одно она знала твердо: они были близки по-настоящему. Ближе человека у него не было. Пусть свекровь замолчит. Последние годы он с матерью не делился, скрывал от нее разные свои неприятности. Говорил:

— Есть вещи, которые не могу ей объяснить.

Мать многого не понимала, и это непонимание его злило. А между ними такого непонимания не было. Она понимала все досконально, до малейшего вздоха. И даже если кто-то был у него, это не имело значения.

Так она убеждала себя, стараясь оставаться невозмутимой и спокойной, но спокойствия не было. И помочь ей не мог никто. Фаине рассказать нельзя, потому что лучшая подруга поймет по-своему. И тоже, наверное, втайне обрадуется, ибо тут соответствие ее цели, в которой сама признавалась: вывести Ольгу Васильевну из оцепенения. Для этого требовалось слегка наклепать на Сережу. Но она не верила, не хотела верить! Тут была какая-то тайна. От всего этого разболелась голова, Ольга Васильевна оделась, взяла сумку и вышла на улицу.

Сеялся слабый дождь. В гастроном забегали последние посетители: было минут двадцать до закрытия. Ольга Васильевна зашла купить масло, кефир, что-нибудь к чаю для Иринки. Уборщица шаркала шваброй, отгоняя посетителей от прилавка и ворча злобно. Ольга Васильевна постояла в небольшой очереди в кассу, потом подошла к молочному прилавку, думая о том, что людей вокруг много, знакомых много, есть подруги, но нет близкого человека и это значит — нет никого. Худшее, что предстоит в жизни, подумала она, это одиночество. Смерть и несчастья — только прелюдия к худшему. Как жить, если не с кем посоветоваться, некому сказать? У людей, стоявших с чеками, был какой-то суетный и случайный вид. Будто забежали сюда по ошибке. Вечерние посетители, озабоченные далекими отсюда мыслями. На самом деле: опаздывали домой, в этот час обыкновенно они сидели у телевизоров в домашних туфлях, или занимались мелкою стиркой в ванной, или гладили школьную форму на кухне, постелив на стол старое, в желтых пятнах от утюга байковое одеяльце, все это им еще предстояло, но они не торопились. Продавщицы двигались медленно. На их лицах, как тяжелый грим, лежала дневная усталость.

Ольга Васильевна услышала знакомый голос за спиной, оглянулась: Иринка! Дочь стояла возле высокого столика, где пьют кофе и едят пирожки, но теперь было поздно для кофе, буфет закрыт, она стояла с двумя подружками, и все трое болтали и жевали что-то. Длинные худые ноги Иринки в темных чулках, ее куцеватое пальтишко, из которого она выросла, надо менять,— каждый раз при взгляде на это пальтишко Ольга Ва-

сильевна испытывала какое-то душевное ущемление, мгновенный укол, но не заводила речи о покупке, Иринка тоже молчала: осень уж как-нибудь доходит, а на зиму есть неплохая шубка,— вся сутулая, долговязая фигура дочери с распущенными по нынешней моде волосами вызвали у Ольги Васильевны судорожный прилив нежности. Было так сильно, что она чуть не побежала к ней. «Моя сирота,— подумала она чуть не со слезами.— Она еще не понимает, что это. Но я знаю!»

Ольга Васильевна сделала несколько шагов к девочкам, думая о том, что самая высокая среди них, самая бедно одетая, самая красивая и добрая — это и есть близкий человек. С нею говорить обо всем. Теперь ближе этой девочки нет. Она подошла к столику, одна из девочек — любимая Иринкина подруга Даша, восточная красоточка, всегда чересчур бледная, с подкрашенными длинными глазами,— заметив Ольгу Васильевну, перестала щебетать и улыбаться и глядела испуганно.

— Вот они где прожигают жизнь! — сказала Ольга Васильевна.— Интересно, что вы тут обсуждаете?

— А мы, Ольга Васильевна, обсуждаем завтрашний урок по обществоведению, где будет очень интересный разговор на тему личность и общество. Вот думаем, как получше подготовиться.— Выражение испуга на хорошеньком личике Даши сменилось выражением победоносной иронии.

Другая девочка прыснула. Иринка смотрела на Дашу исподлобья, но с тайным восторгом: исподлобный взгляд относился к появлению матери, а восторг адресовался, разумеется, Даше. Бедная Иринка была в эту стервочку влюблена. Ольге Васильевне Даша не нравилась, она считала ее неискренней, манерной и, что хуже всего, преждевременно взрослой. По некоторым Иринкиным обмолвкам она поняла, что у Даши какая-то сложная личная жизнь, есть человек гораздо старше ее, которого она называет другом. Неизвестно, как далеко эта дружба зашла. Ольга Васильевна пыталась осторожно выведать, но Иринка не поддавалась. Не хотелось верить во что-то серьезное, ведь девочкам нет еще семнадцати, и она сама, Ольга Васильевна, в их годы не думала ни о чем, кроме учебы. Десятый класс, такая ответственность!

— А деньги, между прочим, были даны на универмаг,— сказала Ольга Васильевна. Наглость Даши задела. Эта дурочка с нее глаз не сводит.— А ты, я вижу,

транжиришь на пирожные и сигареты. Девчонки, ну зачем вы курите?

Они что-то залопотали хором, совершенно невнятное, шутливое и понарошке. Кажется, тоже в ироническом стиле. Ольга Васильевна почувствовала, что ее присутствие тяготит. Иринка, глупо смущенная, даже не смотрела на нее, зато ловила каждое слово подружек и неестественно громко хохотала. Вторая девочка, Лена Кукшина, была вялая, анемичная толстуха из очень обеспеченной семьи, на ней было пальто из замши, на пухлом пальчике кольцо с камнем — безобразие, раньше ни одна девчонка в школе не посмела бы надеть кольцо! — рядом с нею на столике лежал складной японский зонтик, очень изящный, Ольга Васильевна видела такой у приятельницы, и вообще от Кукшиной пахло, как иногда пахнет от человека дешевыми парикмахерскими духами, благополучием и богатством. Ольга Васильевна этот запах выносила с трудом. Но Иринка говорила, что Кукшина добрая. Правда, Иринке не нравилось, что Кукшина подхалимничает перед Дашей. А уж эта Даша у них — прямо царица некоронованная, великий авторитет, этакая пигалица. Ольга Васильевна сказала строго:

— Ира, пойдем домой, будем ужинать.— И взяла ее руку выше локтя. Не потому, что собиралась потянуть ее от столика, а просто хотелось до нее дотронуться.— Пора, девочка, пойдем.

— Мама, я пойду домой, когда захочу,— отчеканила Иринка с внезапной враждебностью.

— Что значит: когда захочешь?

— То и значит: когда захочу, тогда пойду.

— Нет, ты пойдешь сейчас со мной.

— Нет, не пойду.

Ольга Васильевна почувствовала, как хлынула изнутри какая-то слабая ярость.

— Да как ты можешь... со мной... сейчас...— заговорила, задыхаясь.

— А как ты можешь? У меня тоже неприятности. Мне надо поговорить с друзьями.

— У тебя тоже! — крикнула Ольга Васильевна.— Эх ты...

Она повернулась и пошла из магазина. Кто-то догонял, схватил сзади за руку.

— Ольга Васильевна! Постойте!

Даша. Опять выражение испуга в карих прелестных глазах.

— У Ирки правда неудача с одним мальчиком,— да вы знаете, с Борей,— и нужно поговорить совсем немножко, минут десять. Сейчас все равно выгонят, мы по бульварчику погуляем.

— Она просто дрянь,— сказала Ольга Васильевна.

Когда поднималась лифтом на восьмой этаж, подумала: вот истина. Одна в закрытой коробке. Можно читать надписи, нацарапанные гвоздями. Но некому сказать, какая боль в сердце. Никто не услышит. В одиночестве человек ползет в шахте все выше и выше или все ниже и ниже, это безразлично, смотря что считать верхом, что низом. «Никто не услышит!» — произнесла она вслух. «Алло? Говорите громче!» — рявкнул над ухом гулкий и страшный голос. Она вздрогнула: диспетчер из третьего корпуса. Обычно не докличешься, а тут услышали. Значит, надо говорить, надо кричать, даже если голые стены. Кто-нибудь услышит.

Иринка пришла не через десять минут, а спустя час. Ольга Васильевна уже простила ее, и когда, отворив дверь, увидела ее с поникшей головой, шмыгающую носом,— конечно, прозябла в тонком пальтишке, целый час на бульваре,— увидела детское виноватое выражение ее лица, опять охватило волною тепла и жалости. «Бессовестная я! Зачем рычала на нее? — пронеслось в сознании, помутившемся от жалости.— Ведь она сирота, нет отца, нет защитника. Если не я, то кто же...»

Ничего не сказала, провела рукою по волосам дочери. Та вдруг рванулась, обняла мать, ткнулась холодноносой, щенячьей мордочкой в щеку, в ухо, шепча что-то жалобное, и Ольга Васильевна тоже шептала, они друг друга не слышали, все произошло в течение двух секунд. И обе вдруг ослабели, обнявшись, и, едва сдерживая слезы, пошли на кухню, чтобы побыть одним, совсем одним, без бабки, потому что ближе их людей не было. Двое самых близких на свете. Там долго сидели, пили чай, Иринка рассказывала о Боре. Она была скрытной, делилась переживаньями редко, молча вела свою маленькую житейскую битву. Но это значило, что теперь силы ее оставили, она нуждалась в помощи. Боря перестал звонить, а в школе совсем не подходит. Она предполагала, что влияет одна девчонка, с которой он отдыхал на юге. Даша обещала выведать. Боря был мальчик из параллельного класса, некрасивый, Иринке он никогда особенно не нравился, но все было похоже на настоящее горе.

Ольга Васильевна шептала какой-то ласковый вздор. Иринка успокоилась и ушла в ванную мыть голову. Ольга Васильевна стала убирать со стола, грязные тарелки сложила в мойку, горячая вода в этот поздний час шла плохо и была недостаточно горячей, а нагревать воду в чайнике не хотелось. Решила: все завтра, завтра, встать часов в семь. И тут позвонила та женщина, что приходила с Безъязычным.

— Извините, что так поздно. Пока доехала до своей деревни, до Кузьминок, пока вот дела, то, другое... А звоню вот зачем, Ольга Васильевна. Всеволод Борисович вас, наверное, кассой взаимопомощи пугал, долгом Сергея Афанасьевича, а вы не пугайтесь — долг будет списан. Это, можно сказать, уже решено. Понимаете? И вы, пожалуйста, ни одной папочки, ни одного листочка не отдавайте. То, что я вам сейчас звоню, это, конечно, к моей невыгоде, но просто я уж очень Сергея Афанасьевича уважала. Извините, милая Ольга Васильевна, что побеспокоила вас на ночь глядя. Будьте!

Этот странный разговор, это «будьте!» озадачили Ольгу Васильевну, но не настолько, чтобы придать ее мыслям другое течение. Ночью она могла думать только о прошлом, но не о будущем.

Давно надо было взяться. Но не хватало духу. Все его папки, блокноты, тетради толстые и тонкие, вырезки из газет, аляповато расклеенные по альбомам, выдранные из журналов страницы, кипы исписанной бумаги, рассованные по разным местам — часть находилась в ящиках стола, часть на нижних полках в шкафах, какие-то папки пылились на самом верху шкафов, под потолком, куда месяцами не достигала тряпка, и Ольга Васильевна сердилась и во время каждой уборки требовала, чтобы он куда-нибудь пристроил «свой хлам», лучше всего в мусорный бак, именно «хлам», потому что, будь это ценное, он не держал бы на верхотуре, в пыли, а еще какие-то бумаги в дни ремонта попали на антресоли,— все это еще было его плотью, несло в себе его запах, эманацию его существа, поэтому притрагиваться было страшно. Она знала, что рано или поздно это пройдет, но пока она не могла. И так же не могла видеть и трогать его вещи в гардеробе. Фаина сказала, что надо продать. Говорила, что так делают все вдовы, чтобы не травить душу. Обещала найти покупателя. Жена Феди

Праскухина Луиза, овдовевшая восемь лет назад, сказала, что продала Федины вещи тотчас, единым духом, но Ольга Васильевна никак не могла решиться.

Да и времени не было на такие дела. Луиза не работала — это сейчас, кажется, пошла работать страховым агентом,— а то сидела дома с детьми. У нее и нянька была и бабушка, ее мать. Сидеть дома — с ума сойти.

И еще непереносимое: фотографии. На стене висела одна очень хорошая, юных лет, он улыбался мягко и задумчиво, с травинкой во рту, Ольга Васильевна любила эту фотографию, повесила ее давно, при Сережиной жизни, и привыкла к ней. Но даже на нее Ольга Васильевна, когда входила в комнату, старалась не смотреть или — как-то бегло, секундно. Про альбом говорить нечего. Спрятала его подальше. Всякое прикосновение — боль. А жизнь состоит из прикосновений, потому что — тысячи нитей и каждая выдирается из живого, из раны. Вначале думала: когда все нити, самые крохотные и тончайшие, перервутся, тогда наступит покой. Но теперь казалось, что этого никогда не будет, потому что нитей — бессчетно. Каждый предмет, каждый знакомый человек, каждая мысль и даже каждое слово, все, все, что есть в мире, нитью связано с ним. Разве хватит жизни? Вчера ездила по делам на Ново-Басманную, вышла из метро «Лермонтовская», и сразу — укол в сердце, вспомнила, как зимою, в сильный мороз, бежали отсюда по Садовой вниз, в гости к кому-то. Седьмой месяц, но легче не делается. Люди говорят, что должно пройти пять лет, но Луиза сказала: что-то непохоже, она бы почувствовала, ведь у нее прошло уже больше.

Видела Луизу недавно на улице, случайно. Так обрадовались друг другу, так много хотелось сказать, спросить: ну как ты? что ты чувствуешь? что происходит с тобой? Стало ли... вот хоть на столько, хоть на крупицу?

Луиза смотрела серыми, вымершими глазами:

— Я не знаю, чем измерять. Нет инструмента...

Ольга Васильевна еще хотела спросить: «Есть у тебя кто-нибудь?» — но не осмелилась. В этой битве все сражаются в одиночку. Выглядела Луиза хорошо в своей старой дубленке, но уже чищенной, отчего коричневый цвет посветлел и приобрел пошлый розоватый оттенок. Ольга Васильевна спросила: как дети?

— Очень хорошо,— ответила Луиза. На все вопросы она отвечала: «Очень хорошо».

Восемь лет назад в сентябре ранним утром — Иринка еще не ушла в школу — трезвонили в дверь. Ольга Васильевна поразилась, увидев Гену Климука — тогда еще Гену, старого приятеля,— который обязан был в этот час делать утреннюю гимнастику на каменистом коктебельском пляже перед завтраком. Лицо Климука было в багровых пятнах. Не здороваясь, он спросил: «Где Сергей?» — шагнул в прихожую и привалился плечом к стене. Сережа вышел из ванной, намыленный для бритья.

— Сережа, ты должен ей все рассказать... Я не могу... У меня нет, нет...— И этот гигантский мальчик со старообразным круглым лицом качнулся, ноги его согнулись, и он легко сполз по стене на пол. Он не упал, а как-то вдруг оказался на корточках и сидел так секунды две или три, тяжело дыша.

Два дня назад Климук и Федя поехали вдвоем на юг на неделю. Федя только что купил нового «Москвича». Они иногда устраивали холостяцкие побеги, или, как Климук любил выражаться в старославянском стиле, «убéги», заманивали и Сережу, но она делала все возможное, чтобы его от этих вылазок отклонять. Не то чтобы ревновала к мужской дружбе, не то чтобы беспокоилась о его нравственности в компании старых приятелей, еще не утративших навыков студенческой вольницы,— когда собирались втроем, эти навыки как бы гальванизировались, они начинали чудить, хорохориться и бог знает о чем мечтать,— и не то чтобы заботилась о его здоровье: ведь там, где Климук, там выпивка. Она просто не любила, когда он исчезал из поля ее зрения. Он должен быть всегда рядом, поблизости, лучше всего в одной комнате с нею. Это было, наверно, большой неправильностью в ее жизни, но переделать себя она не могла, да и не пыталась.

Всегда противодействовала Климуку, Феде и кому бы то ни было в их кознях отнять у нее Сережу! Иногда ловко находила причины, удачно присочиняла,— например, ссылалась на недомогание, требовавшее его неотлучного присутствия,— а иногда грубо и прямолинейно взывала к его совести, великодушию. Собственно говоря, тут сталкивались два эгоизма. Он любил эти «убеги», отрыв от ежедневной мороки, от дел, от дома, особенно любил «убеги» к «музейному другу» Федорову или куда-нибудь с Федей Праскухиным на машине, даже просто в «Севан», и она знала, что он это любит, что ему это, мо-

жет быть, необходимо по многим причинам, но ничего не могла поделать с собой: когда он исчезал, она становилась как больная. Иногда даже начиналась крапивница. Но он был непримирим в своей борьбе за независимость и уступал редко. Этот редкий случай был в сентябре. В институте заканчивался ремонт, занятия прекратились, все торчали по домам, и Федя с Климуком замыслили проветриться недельку у моря и подбивали Сережу. Была такая неразбериха, что никто бы не хватился. Кому хвататься? Федя Праскухин сам хозяин, ученый секретарь.

Сережа очень хотел поехать. А ей чутье подсказывало: не пускай ни за что! Ах, никакого чутья, просто обидно было, что покатит на юг один, станет там веселиться, хорохориться и пить, конечно. Она ссылалась на отсутствие денег, на то, что у него ничего не двигается — ни диссертация, ни книга с тем жуликом Ильей Владимировичем,— и что хорошо прожигать жизнь Феде Праскухину и Гене Климуку, у них прочное положение, а куда он-то, как рак с клешней?

— Тридцать рублей, которые я тебе могу дать на дорогу,— говорила она,— сделают тебя прихлебателем. Тебя это не пугает?

Он сказал: не пугает. Сказал, что у них здоровые мужские отношения, не то что жалкая дамская дружба, когда считаются друг с дружкой копейками. Он даже позволил себе этак высокомерно:

— Ты этого не поймешь!

Бедный, как он ошибался. Ольга Васильевна сказала, что если он поедет с ними, тогда — развод. Кто-то звонил, то ли Луиза, то ли эта дурочка Мара Климук, по наущению мужиков, уговаривали ее смягчиться и разрешить. Но она была непреклонна. Если уедет — развод. Пожалуйста, уезжай, тебя не держат, но когда вернешься, ее здесь не будет: она переедет на Сущевскую. Неужели было подсказано провидческим голосом из тех неземных пространств, куда Сережа углубился потом и где ждала его гибель? Сережа рассвирепел, не разговаривал с нею несколько дней, но поехать все же не осмелился. На рассвете на Симферопольском шоссе, южнее Харькова, старик переходил дорогу, не слышал сигналов, а Федя не мог погасить скорость и выскочил на левую сторону, где его ударил «МАЗ». Федя умер в сельской больнице, не приходя в сознание, а Климук отделался ссадинами. Он как-то уперся руками в стенки

кабины — руки у него сильные — и, хотя машина два раза перевернулась, остался цел.

Теперь он едва шевелил белыми губами:

— Тело везут автобусом... Я дал сто двадцать рублей...

Он умолял Сережу пойти к Луизе. Сережа пошел. Он умел быть другом. Поэтому его многие любили, и кидались к нему, когда им было плохо, и, пожалуй, эксплуатировали это его уменье.

Ночью она не выдержала — этого ни в коем случае не следовало говорить, но ее распирало — и сказала ему тихо на ухо:

— Сережа, ведь я тебя спасла... Ты видишь, какая я пророчица?

Он, ни слова не говоря, отодвинул ее и повернулся к стене.

И она сразу почувствовала, что сказала нехорошее. Но уж очень сильно ее распирало: и страх, и жалость к Феде, которого она любила, и какое-то странное, непобедимое внутри себя чувство тайного самодовольства. Наверное, думала она, похожее испытывали люди на войне, когда рядом убивали товарищей, а они почему-то оставались живы и невредимы. Говорить не нужно было. Как раз та минута, когда мысль изреченная неминуемо оказывалась ложью.

Он, помолчав, сказал:

— Я все-таки надеялся, что ты прикусишь язык... Нет, сказала...

Конечно, не следовало говорить. Но и ему не следовало быть с нею таким злым. Ведь и в самом деле: спасла жизнь. Он говорил о Феде, о том, что другого такого товарища в его жизни не будет. Верно, они были приятели, учились все трое на одном курсе — когда-то, страшно давно,— Сережа, Федя и Гена Климук. Ну и что? Ее удивляла эта наивная привязанность к старым друзьям, то ли школьным, то ли институтским. Старался не замечать их недостатков, не видеть их смешного, неприятного. «Парень из нашей школы» или «парень с нашего курса» — для него это звучало высшей аттестацией, включало в себя все добродетели. Дружба не по выбору, а по воле обстоятельств: с кем оказался за партой, с тем и дружу. Впрочем, у всех мужчин эта странность. Не могут жить без старых дружков. А Ольга Васильевна отлично обходилась без подруг и, когда был Сережа, могла месяцами не видеть ни Фаинку, никого. Ей нужен

был он один. Ну, и с Луизой, с Марой виделась по необходимости, потому что мужики очень любили «общá»: «Давайте общá!», «Что-то мы давно не общá!»

Теперь их объединяли одни интересы: институт и все, что там творилось. Гена Климук шутил, подмигивал.

— Давайте сколотим свою группку, свою кликочку, свою маленькую, уютную бандочку!

А Федя не болтал, он делал. Он помогал по-настоящему: втащил Сережу в институт, всячески продвигал, добился повышения оклада, переубедил пучеглазого Ивана Евдокимовича Демченко, директора, насчет перемены темы диссертации и умаслил Сережиного руководителя, профессора Вяткина, который был вовсе не рад этой перемене. Все было нелегко. Но Федя сделал. Если бы Федя был жив и оставался ученым секретарем, он, конечно, никогда бы не допустил всей этой пакости, что повалилась на Сережу год назад по вине старого друга Климука и его «маленькой бандочки».

Гена впрыгнул в кресло ученого секретаря так быстро и с такой готовностью, что можно было подумать, будто он, подобно булгаковскому Воланду, подстроил катастрофу нарочно.

С его приходом на должность что-то неуловимо нарушилось. Она долго не замечала. Когда Гена звонил, он был так же бодро-шутливо приветлив с нею, как раньше, иногда и Мара звонила, делилась с Ольгой Васильевной новостями по части трикотажа и косметики — она работала в золотом месте, на Петровке, рядом с Пассажем,— но прошло несколько месяцев, прежде чем Ольга Васильевна сообразила, что она совсем не видит ни Гену, ни Мару, общение ограничивалось звонками. Давно не раздавался радостный Генкин клич: «Будем общá!» Сообразивши, она отнесла этот факт на счет Фединой смерти. Все-таки чаще собирались у Феди. Кроме них троих там бывали еще Федины друзья — физик Щупаков с женой-болгаркой по имени Красина и чета врачей Лужских, она рентгенолог, он психиатр, из-за Лужских Ольга Васильевна, собственно, и ходила к Феде и Луизе, потому что медицина очень интересовала ее и она любила разговаривать с врачами.

Но Луиза после смерти Феди не собирала друзей, были у нее лишь однажды на поминках и потом еще раз в шестилетие Фединой гибели. Гена Климук и раньше-то не особенно звал к себе, вечно он что-то перестраивал,

ремонтировал или же менял квартиры, неуклонно расширяя площадь и переезжая во все более фешенебельные районы. Теперь, кажется, обосновался на новом Арбате, в небоскребе, где магазин «Мелодия».

Сережа как-то сказал, посмеиваясь:

— А наш Гена действительно стал важной птицей. Даже бросается в глаза. Когда Федя был на этом месте, я почему-то не замечал...

Она спросила: что именно важное и птичье проявилось в Гене? Сережа похмыкивал, отмалчивался. Она знала, что рано или поздно не выдержит и расскажет. Так и вышло: через несколько дней «раскололся». В профкоме возникли туристские путевки во Францию, одиннадцать дней, шесть дней Париж, пять — Марсель, Ницца и прочее, мечта жизни стоимостью в кругленькую сумму. Так как путевок было всего четыре, в профкоме решили не рекламировать, а распределить, что называется, втихаря. Сережа узнал случайно, и вовсе не от друга Гены, а от секретарши Ивана Евдокимовича, которая к Сереже благоволила. Желающих поехать было много. Сначала профком нацелился кинуть жребий, но затем тот же Климук проявил осмотрительность, сказав, что жребий внесет ажиотаж и опасную бесконтрольность, выдав путевки тем, кому вовсе не нужно ехать во Францию, и обойдя тех, кому это настоятельно нужно. Собственно, тут была разумная логика, как во всем, что отстаивал Климук. Но вот загвоздка: кто будет решать, кому нужно и кому не нужно? Сережа как-то прямо сказал Климуку, что Париж ему необходим не для прогулок и развлечений — тут была капля лицемерия, конечно,— а для того, чтобы порыскать там за материалами, нужными для работы. Всякий знает — и Климук знал прекрасно,— что, изучая русскую охранку, историк непременно сталкивается с Францией, с эмиграцией, русскими агентами. Можно было все это внятно объяснить, потому что Сережа был прав, имел полнейшее законное основание претендовать на поездку, но Климук как-то кряхтел, переспрашивал, уточнял — хотя чего было кряхтеть, когда дело абсолютно правое? — и Сережа, потеряв терпение, сказал ему что-то грубое, по-свойски. Что-то вроде: «Брось занудствовать!» или «Брось пыжиться, Генка!»

Климук пожал плечами и холодновато ответил:

— Ты изложи свои доводы, треугольник будет решать. Пойми, вопрос этот не такой простой, как кажется.

Слово «пойми» было единственным прежним и человеческим во всем разговоре.

Сережа был подавлен, рассказывая про Климука.

Она решила, что Сережа, может быть, преувеличил, уязвлен мелочами, и в особенности главной мелочью: тем, что Климук разговаривал с ним как начальство. А что делать? С этим надо смиряться. Он начальство, ты подчиненный. С этим надо жить. Втайне от него, когда он ушел куда-то из дому, она позвонила Маре просто как приятельница. Почему не звоните, куда пропали, что у вас слышно и так далее. Она поняла, что надо действовать. Сережа был удручен, хотя ничего еще не случилось, а что же будет, когда на самом деле откажут? Ей хотелось, чтоб он поехал. «Убег» в Париж мог бы дать ему силы и стать поворотом. Когда на человека обрушиваются одна за другой неудачи, даже не обрушиваются, а просто мягко и привычно садятся на него, как птицы садятся на дерево, человек начинает цепенеть душой, становится бесчувственным и сам постепенно превращается в дерево. Уйма денег нужна, денег не было. Решили так: половину он достанет сам, продаст знакомому книжнику восьмитомник Стефана Цвейга, издательство «Время», великолепный экземпляр в любительских переплетах с красной кожей на корешке, когда-то заплатил за него полторы тысячи старых рублей, а другую половину достанет она, попросит у матери.

И вот позвонила Маре и фальшиво-веселым, приятельским тоном болтала с нею, еще не зная, что из этой болтовни выйдет. Хотелось прощупать, но ничего не прощупывалось, Мара разговаривала таким же манерным и якобы приветливым голосом, как обычно, сообщала глупости, хохотала некстати, была, в сущности, невыносима, но все это было не ново, и Ольга Васильевна слегка успокоилась и решила, что ничего не изменилось и он напрасно впал в панику. Однако Мара была слишком тяжеловесной и не тонкой организацией, чтобы реагировать чутко, следовало поговорить с Климуком, и Ольга Васильевна вовсе неожиданно для себя стала зазывать Мару и Гену в гости. На дачу, в Васильково. Было лето в начале, прекрасная пора, покупаться, позагорать, пошататься в лесу... А? Почему бы не собраться без долгих размышлений — хоть в субботу, хоть в пятницу, когда угодно. Мара сказала, что она лично согласна, но не знает, как Гена. Он ужасно много работает, они никуда не ходят, совсем одичали. Гена был в другой комнате, про-

сил передать привет и сказать, что как-нибудь приедут непременно.

Сережа ворчал:

— Получается нелепо: я вижу его чуть ли не каждый день и не зову, а ты не видишь никогда — и зовешь...

Но, в общем, кажется, был доволен. Нет ничего болезненней треснувшей дружбы. Каждый вечер она спрашивала:

— Ты видел Климука? Они собираются к нам?

— Видел, но не спросил... Навязываться не хочу...

То, что было раньше естественно и легко, превратилось в проблему. У него язык не поворачивался задать простой вопрос: «Гена, когда вы к нам приедете?» Но однажды вернулся из института возбужденный и сообщил, что Климук сам зашел к нему в комнату и сказал, что если приглашение в Васильково остается в силе, то в субботу они заедут ненадолго.

— Ненадолго? — спросила Ольга Васильевна.

— Ну, не знаю. Он так сказал.

В пятницу купили продуктов, две бутылки водки, две сухого, несколько бутылок пива и на такси поехали в Васильково. Всю неделю там жили Иринка и свекровь одни, с тетей Пашей. Приезжать на дачу в будни было тяжело: далеко от станции, рано вставать, электричкою почти час. И все же, когда выбиралась порой после работы, выходила на платформу, как бы ни была замучена долгим путем, толкотнею в очередях, по магазинам, какой бы лошадиный воз свертков, кульков, батонов, банок и книг, набитых в сетки и сумки, ни тащила,— сразу орошал ее прохладный лесной воздух, она вздыхала глубоко-глубоко, как ни разу за целый день не могла вздохнуть в городе, и с наслаждением ощущала, как медленно выходит из нее усталость и все ее существо полнится новой силой. Было так здорово! Откуда она бралась, эта сила, после изнурительного дня, дробившего без пощады, без роздыху? От неба, леса? Оттого, что он шел рядом и мурлыкал что-то задумчиво, таща сумки, или рассказывал, покуривая, о деревенских новостях? Тетя Паша принесла сметаны из сельпо, Рыжик опять гонял курей у соседей...

У него были присутственные дни в институте, остальные дни — иногда три-четыре кряду — он мог сидеть на даче. Встречал ее на платформе, забирал сумки, и они шли сначала в толпе дачников по дороге, вдоль зеленой ограды, потом сворачивали к дубовому леску, дачники

рассеивались, и когда, миновав лесок, выходили к полю, на васильковский большак, они обыкновенно оказывались одни. Дачники селились в домах вблизи станции, а те люди, что жили в Василькове, не приезжали поздно из Москвы. Поле было огромное и выпуклое. Деревня лежала внизу, за увалом, казалась провалившейся, закатившейся как бы за край поля, кое-где торчали из провала крыши изб с высоко вскинутыми телевизионными антеннами, туманными грудами серебрились ивы вдоль невидимой речки, мальчик в красной рубахе ехал тропою поперек поля на велосипеде, и где-то стрекотал в тишине трактор. Небо было светлое и такое, что хотелось смотреть вверх. А в городе неба не замечали и никогда не хотелось смотреть вверх.

До деревни было версты три, и еще в городе мечталось: лишь бы доплестись, дотащить, поесть наскоро, напиться чаю — и на боковую, в большую тети Пашину комнату с запахом свежего сена и чебреца, растыканных пучочками по углам для «духа», потому что никаких сил не было. А получалось каждый раз так: после чаю шли с Иринкою в рощу, в десять укладывали ее и потом еще долго гуляли вдвоем,— если привязывалась Александра Прокофьевна, то ходили недалеко и возвращались скоро, но свекровь осмеливалась на этакое не часто, все же соображала, что мужу и жене надо побыть вдвоем,— а то и купались в омуте, сидели на берегу, болтали с соседями, и все откуда-то брались силы и не хотелось спать.

Но были, конечно, и дожди, холода, дорога через поле превращалась в непролазную топь, и наступала великая деревенская скука. Александра Прокофьевна писала кому-то бесконечные письма, Иринка ныла и жаловалась то на ухо, то на животик, и Сережа бегал под дождем за медсестрой Агнией...

Климук приехал на своей старой «Победе» и привез гостя, замдиректора института Кисловского. Этого Кисловского никто не ждал. Ольга Васильевна заметила, как Сережа, увидев выходящего из машины Кисловского, съежился на секунду и сделал губами хорошо ей знакомую гримасу, означавшую: «Вот те на!» С Климуком была Мара в сногсшибательном темно-зеленом брючном костюме — тогда они только входили в моду, привозили их из-за границы,— в белых босоножках, с белой сумочкой, с белыми клипсами, ослепительная модница, превратившаяся с помощью хны в ярко-рыжую. Все в

Маре с головы до ног было ново и неузнаваемо и поразило Ольгу Васильевну. Приятного мало: сидишь дома в фартуке, в затрапезном — и вдруг является твоя, скажем, добрая знакомая в этаких перьях... Но дело было не в Маре. Ничто ее не спасало. Глупость из нее так и сочилась. Если бы она, бедная, сидела молча, задумчиво улыбалась, держа в тонких пальцах сигарету, она была бы неотразима, но ей хотелось непременно высказываться. Она даже пыталась спорить с Ольгой Васильевной по проблемам биологии. Нет, Мара не могла испортить Ольге Васильевне настроение.

Испортила другая. Та, что приехала с Кисловским. Имя ее теперь забылось. Эта молодая особа, какая-то развинченная, цыганистая смуглянка, худая и ломаная, сразу не понравилась Ольге Васильевне. Она была вся в бренчащем серебре, в браслетах, бусах, дорогих и красивых. Но нелепо было надевать эту сбрую для поездки в деревню и говорило, конечно, о дурном вкусе.

Ольга Васильевна сразу же, улучив минуту, спросила у Мары тихонько: чем занимается *жена* Кисловского? На что Мара, как и предполагала Ольга Васильевна, сказала, что она такая же его жена, как «я твоя бабушка».

Словом, очередная климуковская наглость. Однажды он привел каких-то сомнительного качества девиц будто бы с телевидения, причем без звонка, без спроса, на городскую квартиру, и Сережа, слегка спятивший на долге товарищества, уже готовился поить их остатками французского коньяка и угощать печеньем, но Ольга Васильевна, вернувшись с работы и быстро разобравшись в ситуации, твердой рукою все это пресекла и незваных спровадила. Климук был тогда очень зол. Но теперь чувствовал себя хозяином: ведь его так зазывали! И кроме того, теперь он явился с Марой.

— Мы на одну минуту... Мы по дороге на водохранилище... Просто секунду передохнем...— говорили они, как бы прося извинения за свой налет, за чужих людей, которых привезли, и одновременно выказывая легкое пренебрежение, ибо визит, стало быть, случаен, мимоездом, и не следует принимать его всерьез.

Ольга Васильевна сбивалась с ног, Иринка помогала, тетя Паша содействовала, таскала из погреба то капусту, то огурцы, то грибков соленых, гоняла сына Кольку в сельпо за хлебом — тот мчался на мотоцикле, радостно всполошенный от предвкушения выпивки,— и

только Александра Прокофьевна не подходила к плите, не притрагивалась к посуде и занималась на терраске, разгороженной куском холстины надвое, своей писаниной. Она отвечала на письма читателей для какой-то газеты, где вела в общественном порядке рубрику «Наша юрконсультация». Ведь когда-то работала в судах, была адвокатом. Ольге Васильевне не верилось, что она могла быть хорошим и справедливым адвокатом. Нет, не верилось нипочем, но с Сережей она об этом не говорила.

Обедали в садике за домом. День был жаркий, под яблонями душил зной. Больше всего пили ледяную колодезную воду, Колька носил ведрами, бегал к колодцу — а вода в Василькове была в самом деле удивительная! Нигде слаще и холодней Ольга Васильевна не пивала... В Ереване хуже, там они хвалятся, что у них какая-то особенно замечательная... Ах, что вспоминать! Томило что-то, раздражала та девица, что приехала с Кисловским, задевали ее поглядыванья на Сергея, и кокетливые переспросы, и то, что он глупо хмурился и отвечал неловко, и болтовня Мары, и беспокоило то, что не хватит еды, вина и Сережа не успеет поговорить с Климуком насчет Франции, и как себя вести с этим Кисловским, прилизанным, каучуковым, похожим на циркового артиста,— а все-таки было такое истинное, летнее, молодое, неповторимое — ну, ну, что же? — счастье, наверно... Тогда оно и было, на деревенском дворике, где пахло землей, навозцем, сладким духом июньской пылающей зелени, где за спиной что-то хрюкало, а впереди что-то ломилось с мыком и топом узкой улочкой — Матильда, умница, сама, треща воротами, заваливалась в свой загон, а пьяненькая тетя Паша махала задорно коричневым кулачком: «А ну ее к богу в рай, шалопутку!» — потому что их «секунда» давно отлетела, и день отлетел, и настал вечер, а они все сидели, пили, бубнили, болтали, давно уж опорожнились бутылки, и Колька на мотоцикле гонял к какой-то бабке Кренделихе на другой край деревни за самогоном.

Ольга Васильевна зашла в горницу и увидела, как Кисловский, обхватив свою спутницу за талию, норовил опрокинуть ее на высокую хозяйскую кровать. Спутница, бренча серебром, сопротивлялась.

Ольга Васильевна вернулась во двор и, подойдя к Сереже, который беседовал с Климуком о чем-то совершенно пустом и несущественном, сказала ему на ухо,

что видела сейчас в горнице нечто маловысокохудожественное.

— А если это любовь? — спросил он, глядя осоловелым взором. Он не был так пьян, как прикидывался. В его взгляде была покорность судьбе.

— Ну, для такой любви есть определенные заведения,— сказала она,— а не изба тети Паши.

Тетя Паша, не поняв, о чем речь, но уловив свое имя, воинственно ерепенилась:

— Чего тетя Паша? Ты тетю Пашу не трог! Тетя Паша — я те дам! Я вас, ребяты, всех тут раскурочу...— И трясла пальцем.— Все ваши тайности разберу... Коль, ты там этого, скажи...

Колька был бригадмилом, чем немало чванился, всем об этом сообщал под секретом. Вообще-то он работал плотником в совхозе. Был невысок, худощав, с чахловатой бледностью на мягком, девическом лице, волосы носил длинные, как семинаристы в Загорске, играл посредственно на гитаре, и, помнится, девушки его осаждали вечерами. Тетя Паша огорчалась, что вот, черт такой, не женится и «только силу свою переводит». А в армию Кольку не брали по здоровью, из-за слабого сердца, пить ему было запрещено — не больше стопки в день, как он рассказывал со слов врача, сокрушаясь и в то же время не без некоторой гордости, как о необычной особенности своего организма,— но запрет, разумеется, нарушался, и чуть ли не ежедневно.

Александра Прокофьевна очень следила за здоровьем Кольки, всегда его корила, когда видела пьяным, и, надо сказать, ее одну он выслушивал. Странное свойство у старухи! Близкие люди ее в грош не ставят,— да и не за что ставить, близким людям ее качества хорошо ведомы,— а вот посторонние уважают и даже побаиваются. По-видимому, там есть неодолимая потребность властвовать, чему люди простые, невысокого интеллекта, сразу подчиняются, а люди мыслящие органически этому противятся.

И в тот вечер, когда после затянувшегося обеда в сумерках пошли гулять в рощу — Кисловского едва выманили из горницы,— Александра Прокофьевна завела придирчивый, похожий на судебное разбирательство разговор с Климуком, с которым вообще была крайне непочтительна. Она его помнила совсем юным, по студенческим временам, когда он приходил, драный, тощий и голодный, из общежития («Всегда был голоден, ко-

гда бы ни пришел, и всегда мог съесть столько, сколько было, и еще сверх того, пять котлет, восемь котлет, двенадцать котлет, что-то фантастическое») и Сережа оставлял его ночевать, они играли в шахматы до полуночи, дымили папиросами, вместе готовились к экзаменам, ссорились, мирились, она называла его Гешей, считала добрым малым, но несколько лопухом, Сережа натаскивал его по диамату и языку, и вот он так выдвинулся, стал Сережиным начальником. Она замечала, как отношения сына с Геннадием переменились незаметно ни для кого, и для Ольги Васильевны тоже, но она-то застала все это вначале, когда мальчики в ковбойках пили чай на кухне, намазывая огромные куски хлеба яблочным джемом, и был еще третий мальчик в ковбойке, говоривший баском, раньше всех обзаведшийся женой и сыном, несчастный Федя, которого она любила. А теперь, замечала она, сын держится с этим дубоватым Гешей как-то скованно и даже немного стеснительно, как положено держаться подчиненному в присутствии начальника, и это было несносно, за Сережу обидно. Если Климук важничает, превратился в надутого совбюрократа из тех, над которыми смеялись еще в двадцатые годы, то Сереже ни в коем случае нельзя поддерживать этот стиль, надо сшибать с него спесь, учить его уму-разуму, этакого дурачка долговязого! И Александра Прокофьевна подчеркнуто говорила Климуку «ты», называла его Гешей, как в старину, всячески сшибала с него спесь.

— Что-то я позабыла, память стала изменять,— говорила она.— Кстати, странно, памятью я всегда гордилась, с гимназических лет... В каком году, Геша, приезжал твой брат из Кременчуга? Он у нас жил, я ему адвоката нашла... Какое-то дело, связанное с хищением...

— Александра Прокофьевна, что за охота вспоминать допотопные истории? — вступила Ольга Васильевна, догадавшись, что Климук надулся и раздражен, что, конечно, не поможет предстоящему разговору.

— Нет, я хорошо помню, что звонила Елизавете Марковне в городскую коллегию, а если Елизавете Марковне — это значит дело хозяйственное, она такие дела любит, не то что любит, а разбирается в них, знает бухгалтерию... Ведь там что важно? Сумма хищения. Надо каждую копейку отбивать...

Сила старухи была такова, что пьяный люд как-то притих и несколько протрезвел, прислушиваясь к рассказу, который она завела на правах старшинства. На-

прасно жаловалась на память, все помнила отлично. Климук мрачнел, напрягался, вдруг стал хохотать:

— Слушайте, это же театр абсурда! Какой-то гиньоль! Бог мой, зачем все это помнить — мне, вам, кому бы то ни было?.. Есть такое понятие: историческая целесообразность... Вы знаете, кто сейчас мой брат?

Хохоча и хвастаясь, рассказывал что-то о своем брате. Все стали почему-то смеяться. И так, беспричинно смеясь, подошли к излучине реки, где был песчаный бережок, место купанья. Днем тут бултыхалась детвора, загорали дачники, деревенские мальчишки прыгали солдатиком с железной стойки, а теперь было пустынно, белели в сумерках газеты на сером песке. Вода была холодная и пахла тиной. Мужчины купались, женщины сидели на травяном склоне и разговаривали, но для Александры Прокофьевны такое занятие — сидеть на траве и разговаривать — было чересчур женским и мещанистым, и она сообщила, что тоже будет купаться, в стороне от мужчин и вдали от женщин, и просила за ольху не заходить. Минут через двадцать из-за ольхи раздался зов о помощи: Александра Прокофьевна не могла выбраться из воды на глинистый скат и просила, чтоб Сережа подал руку.

Мара, при всей ее недалекости, кое-что поняла и шепнула Ольге Васильевне:

— Я тебе сочувствую!

Тот вечер запомнился другим. Сережа прицепился к климуковским словам насчет исторической целесообразности. Тут было что-то больное. Сначала они мирно перебранивались в воде, дурачились и брызгали друг в друга, как мальчишки, потом спор стал тяжелеть, и на обратном пути в деревню спорили вовсю, хмель после холодной воды исчез, они начали говорить резкости, в спор впутался Кисловский. Это было связано с работой Сережи, с какими-то другими работами, вообще со взглядом на историю.

Может, с того пьяного вечера в Василькове,— на самом деле, наверное, раньше, но в сознании Ольги Васильевны тот вечер отпечатался началом — затеялась долгая распря между Сережей, Климуком и всеми остальными, которая так мучила его и кончилась печально. Когда пришли в тети Пашину избу, сели на терраске пить чай, Сережа и Климук уже кричали друг на друга в озлоблении. Она не думала, что Климук может быть таким злым.

Про Сережу-то знала: когда влезал в спор, его охватывала неистовость, он забывал о правилах приличия, о великодушии. Ему нужно было одно — доказать.

— Вот у тети Паши в горнице старинные часы в деревянном футляре! Откуда они у вас, тетя Паша? — кричал Климук, выбрасывая правую руку, как на трибуне,

— А я знай! Отец откель приволок, наменял, говорит, в голодные года...

— Наменял, приволок — все едино. И все не важно, а важно лишь то, что время показывают верно и каждые полчаса играют Штрауса. Правильно я говорю, тетя Паша?

Тетя Паша чопорно поджимала губы:

— Мне ни к чему, милый человек, только я вам не дозволяла меня тетей Пашей звать...

— Правильно, руби меня сплеча! Все не важно и не имеет значения, кроме исторической целесообразности,— запомни это, тетя Паша, и плесни, пожалуйста, еще чайку. Моя мать, кстати, такая же тетя Паша, вроде вас, только зовут ее тетя Павлина и живет она в Белгородской области, Шебекинском районе...

— Историческая целесообразность, о которой ты толкуешь,— говорил Сережа,— это нечто расплывчатое и коварное, наподобие болота...

— Это единственно прочная нить, за которую стоит держаться!

— Интересно, кто будет определять, что целесообразно и что нет? Ученый совет большинством голосов?

Он настолько зарвался, что забыл о том, что Кисловский как раз председатель ученого совета. Ольга Васильевна надеялась, что люди, пившие целый день и моловшие ерунду, позабудут, кто, что и зачем говорил всерьез, но, как оказалось, те запомнили Сережины выкрики хорошо. Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что интонация обнаруживает другой смысл, скрытый и главный.

Когда Сережа браво шутил: «Ученый совет, что ли, большинством голосов?» — и презрительно усмехался, эта усмешка оскорбляла сильней, чем слова. И уж Кисловский вряд ли ее забудет. Сережа был болтлив, неосторожен и сеял себе врагов. Скольких он наплодил — шуточками, спорами, ядовитостями, неумением вовремя сдержаться и сообразить. Чего стоит кличка, которую он налепил Климуку в ту пору, когда они еще не стали окончательно врагами, но к этому шло: Геннадия Ви-

тальевича прозвал Геиитальич. В институте подхватили с восторгом. А зачем это нужно — так озлоблять? Было поздно. Они все сидели и сидели. Мужчины спорили, галдели, дымили, допивали остатки — Кольку опять гоняли к Кренделихе,— женщины клевали носом, Иринку давно уложили спать, Ольга Васильевна зевала и всем видом показывала, что смертельно устала, и в открытые окна глядел из темной синевы высокий месяц.

Нет, не уезжали! Тоже зевали, потягивались и тоже всем видом выражали смертельную усталость и желание где-нибудь прикорнуть до утра. Потом был разговор между Сережей и Климуком — мужчины ходили в домик на другой конец двора и когда вернулись, гости сразу стали прощаться. Ольга Васильевна поняла, что между мужчинами что-то произошло: после нового вечернего хмеля оба как-то угрюмо протрезвели. Кисловского втащили в машину в летаргическом состоянии. Мара села за руль, она нарочно не пила, чтобы дать возможность гульнуть мужчинам. Странно: глупенькая Мара показалась Ольге Васильевне единственным нормальным человеком среди этой четверки. Чмокнув Ольгу Васильевну в щеку, она шептала, довольная:

— Правильно, что он их не оставил! Ну их... Подумаешь, персоны граты!

Колька свистел в бригадмильский свисток и, размахивая руками перед фарами машины, орал:

— Эт-та почему такое — выпимшие за рулем? Кто разрешил? А ну, вылазть, машина не пойдет!

Сережа рассказал, что Климук просил оставить на ночь Кисловского со спутницей. Собственно, ради этого они и приехали. Он разозлился и отказал. Климук уговаривал, убеждал всячески:

— Ты меня приглашал с ночевкой, я имею право на два койко-места на твоей даче, ну, так я уступаю эти места своим друзьям...— Потом стал угрожать: — Старик, ты поступаешь опрометчиво. Пеняй на себя...— И, наконец, едва не со слезами в голосе умолял: — Старик, сделай это ради меня! Я твердо обещал! С твоих слов! Как я буду выглядеть после такого обмана?

Сережа сказал, что почувствовал внезапное и непреодолимое отвращение.

— Я вдруг догадался, что передо мною торгаш. Наша дачка была товаром в каких-то его операциях. Ему он обещал это, а тот обещал ему что-то другое, и вот вся

сделка рушилась... Какую он мне закатил истерику! Как шипел, как клокотал в ярости! «Ты негодный товарищ, на тебя нельзя положиться. Ты ненавидишь людей». И этот неподдельный гнев не оттого, что он сочувствовал приятелю, а оттого, что у самого что-то отнимали. Я его ограбил, понимаешь?

А почему нельзя было оставить парочку ночевать? Цыганистая девушка была, конечно, мерзка, но если Кисловский столь важная фигура и Климук просил... Уложить их в комнате, самим на терраске... Но у Сережи было несуразное, вкусовое отношение ко всему, даже к серьезным делам и к собственной судьбе. Он делал то, что ему нравилось, и не делал того, что не нравилось. Кстати, тут крылись причины его вечных недоразумений.

— Вдруг чувствую, что я тоже торгаш и принимаю участие в какой-то длинной и скучной сделке. Стало тошно, и я отказал. Сославшись на тебя. Дескать, ты у меня строгих правил... Да ну его к бесу!

Боже мой, теперь очевидно, какая это была цепь глупостей и жалких изобретений! Не надо было зазывать их на дачу. Не надо было, коль уж зазвали, фордыбачить и обижать. И не надо было так уж рваться в прекрасную Францию...

Разумеется, в Василькове Сережа не сказал ему ни слова, и правильно поступил, но — зачем тогда это судорожное гостеприимство? Прошло два дня. Он поехал в институт. Вернувшись вечером домой, на Шаболовку, в радостном возбуждении рассказал: Генка был очень приветлив, дружелюбен, расспрашивал, как самочувствие Ольги Васильевны, свекрови, Иринки, тети Паши и бригадмила Коли и не набедокурили ли гости в пьяном угаре. Сережа отвечал, что все было высокохудожественно, претензий у хозяйки нет. И в том же полушутливом тоне:

— А Эдуард Николаевич не говорил каких-нибудь слов? В связи с нехваткою мест в гостинице?

Нет, никаких слов, потому что говорить было нечем: до самой Москвы язык у Эдуарда Николаевича не шевелился. А лишь только въехали в Москву, он произнес хриплым голосом первое слово. Это был почему-то вопрос: «Принесли?» Так никто и не понял, что это значило.

Постояли, похохотали в коридоре и разошлись. А что насчет Франции? Пока ничего. Полная неясность. Во-

обще-то Климук поговорит с кем нужно, он обещал.

— Старуха, не суетись! Генка сделает, это не проблема...

В ту минуту он, кажется, искренне в это верил.

Проблема была — добыть деньги. Сначала Ольга Васильевна втайне поговорила с матерью, которая часто выручала ее, давая небольшие суммы взаймы и просто так, без отдачи, но тут мать заколебалась: сумма ошеломила ее. Таких денег у матери не было, Георгий Максимович давал ей на расходы помесячно.

— Неужели этот вояж так уж необходим? — Мать слабо пыталась сопротивляться.— В вашем доме столько дыр. Тебе нужна шуба, Иринка из всего выросла... И потом: если бы уж вдвоем!

Ольга Васильевна объяснила, что вдвоем совсем невозможно, да и никто не предлагает вдвоем, а ему такая поездка была бы полезна во всех смыслах. Мать не вполне понимала, о каких смыслах речь, растолковать было трудно, речь шла о понятиях таинственных,— например, о присутствии духа, о самоутверждении,— но она поверила Ольге Васильевне. Мать всегда верила ей в конце концов. Обещала поговорить с Георгием Максимовичем. На другой день позвонила и сказала, что Георгий Максимович просил Сережу зайти.

Были уверены, что «зайти» значило просто зайти, чтобы взять деньги. В субботу поехали втроем. Мать и Георгий Максимович уже три года жили на новой квартире, недалеко от прежнего дома на Сущевской, где осталась мастерская. Дела у Георгия Максимовича шли теперь очень хорошо, он занимал какие-то выборные должности, чем-то распоряжался, где-то преподавал и работал слегка. Много работать запрещали врачи. Но он все равно любил уходить с утра в мастерскую, и если не писал и не рисовал, то потихоньку возился с картинами, маленьким молоточком вбивал в багеты гвоздики, укрепляя картон, перебирал листы, кое-что поправлял, не напрягая зрения, или же приглашал какого-нибудь приятеля со второго или первого этажа, и они согревали чай на плитке, обсуждали дела, вспоминали прошлое и одновременно рассматривали репродукции, богатейшую коллекцию Георгия Максимовича, разложенную по громадным папкам.

Сережа относился к Георгию Максимовичу неплохо, считал его порядочным человеком и даже испытывал к

нему нечто вроде благодарности: не за то, чтó тот творил на полотне и бумаге, а за то, как вел себя в качестве отчима Ольги Васильевны. Но однажды он сказал Ольге Васильевне:

— Есть такие детские картинки: смотреть на них сквозь розовую пленку — видишь одно, сквозь голубую — совсем другое. Вот твой отчим, прости меня, напоминает такую картинку. То вижу его художником, настоящим, жертвующим ради искусства всем, а то дельцом, гребущим заказы...

Ольге Васильевне не понравилось, ей показалось, тут унижение матери. Она не могла бы полюбить дельца. В том-то и дело: она полюбила несчастного, неустроенного, голодного и нищего, но чистого человека... А кто процветал в эвакуации? Если б он был дельцом, он бы процветал. Он не умел зарабатывать на хлеб. Не умел ничего, кроме мазюканья кисточкой по бумаге. Единственную пару ботинок, высоких, черных, с тупыми, расплющенными носами,— они хорошо ей запомнились,— он утром обвязывал шнурком, потому что отлетала подошва. Это потом, спустя годы, десятилетия, дела его изменились и он стал легко зарабатывать деньги.

Мать как-то шепнула ей, что денег у Георгия Максимовича на книжке довольно много. Конечно, это было хорошо. Ольга Васильевна могла быть спокойна за мать, да и ей самой в худую минуту было куда ткнуться...

Но Сереже не хотелось в ту субботу идти к тестю. Он как будто чуял неприятное.

— Пойди одна. Я тебя прошу...

— Нет, Сережа, неудобно. Деньги просишь ты для своей поездки. Если ты не пойдешь, это будет воспринято как барство. Ты и так ходишь к ним редко.

— Скажи, что я заболел. Я действительно плоховато себя чувствую.

— Нет, если не пойдешь, я не пойду тоже. Тогда все отменяется.

Его нежелание идти к родственникам показалось ей чрезвычайно обидным. Те делали благородный жест — у кого бы он занял такую сумму? у дружков-приятелей? черта с два! — а от него требовался минимум внимания; посидеть, выпить чайку, поговорить со стариками. Ну, и, конечно, сказать «спасибо» или «я вам благодарен», два слова в знак признательности. Неужто трудно? Нет, не трудно, даже приятно поболтать с Георгием Максимовичем, который столько знает и жил в том же Париже,

на рю де Муфтар, о чем мы много наслышаны, но... Э, да что говорить! Если непонятно сразу, тогда нечего объяснять. Тошнотворная невыносимость — вот что такое просьбы, и это делает все разговоры, чаепития и родственные встречи фальшивыми.

— Поэтому я тебя просил,— видишь, опять просьба, опять невыносимость! — если можно, избавь меня от этого испытания. А если нет — пожалуйста, идем...

Она должна была понять его, но — не поняла, потому что мысли ее были заняты матерью, которой тоже было непросто и, может быть, невыносимо, но она пересилила себя и попросила.

— Приходится иногда делать неприятное,— сказала она непреклонно.— Ты этого не любишь, я знаю. Теперь решай: пойдем или останемся дома?

Всю дорогу ехали молча. Она еще разжигала себя: интересно, почему это он считает себя вправе обижаться? На что, собственно? На то, что едет во Францию, а она остается? Иринка тоже молчала. Она чутко улавливала трещины и размолвки, возникавшие между родителями, и реагировала по-своему,— нет, не пыталась рассеивать, веселить или мирить, как, по рассказам, делали другие дети, а вела себя точно так же, как родители: если они угрюмо молчали, и она тотчас замыкалась, если были сварливы и раздражительны, и она разговаривала точно так же раздражительно, ворчливо, как маленькая старушонка.

Так, в молчании, доехали до Сущевской, прошли мимо старого дома, углубились в переулки, где все теперь было неузнаваемо, сломано, перестроено. Удивительная загадка: почему у нее было мрачнейшее настроение, когда подходили к дому матери? И у него тоже? Ведь были молоды, здоровы, занимались делом, он собирался за границу, она надеялась за это время сделать небольшой ремонт в квартире, а еще рассчитывала на то, что он привезет какие-нибудь парижские тряпки, и, пораспросив, даже наметила, какие именно... И они все трое были вместе, вместе! Это была их жизнь.

Но они мрачно вошли в подъезд, мрачно погрузились в лифт. Единственная фраза, которую произнесла Ольга Васильевна, было строгое приказание дочери:

— Не трогай грязную стенку!

Квартира родителей была небольшая, удобная, прихожая в красивых, карминного цвета, венгерских обоях, в большой комнате обои были под дерево. Здесь Геор-

гий Максимович со вкусом расставил обломки своей антикварной мебели, развесил разные полочки, расставил этажерки, и все, что в старом доме казалось хламом, здесь приобрело особый, дорогой и старинный вид. Кроме того, на стенах, конечно, было множество картин, гравюр и рисунков под стеклом, не только Георгия Максимовича, но и других художников, среди этих вещиц были два этюдика Левитана и Коровина, рисунки еще каких-то знаменитостей и, гордость Георгия Максимовича, волнистый прочерк карандашом Модильяни, изображавший нечто неясное и эротическое. На всех этажерках, полочках и на книжном шкафу стояли свечки, свечечки и толстые, узорчатые, необыкновенных форм и оттенков свечи для запаха, купленные за границей знакомыми Георгия Максимовича — сам он за границу не ездил, запрещали врачи,— и все это теперь курилось, мерцало, горело и пахло благовонно и сладко.

— Иллюминация в вашу честь, медам и месье! — Георгий Максимович парадным жестом приглашал в комнату.

Французские слова были сказаны не без смысла, и это Сереже, как видно, не понравилось: она заметила, как его губы слегка надулись в знакомой гримасе. Благородный поступок — дача ссуды родственникам жены — производился хотя и в домашней, но в торжественной обстановке. И сам Георгий Максимович выглядел торжественно: в широкой, из черного вельвета, художнической куртке, недавно пошитой в ателье МОСХа, с фиолетовым фуляровым платком на шее, в белоснежной рубашке, в брюках модного серого цвета «гудрон», но, правда, внизу у него были старые шлепанцы со смятыми задниками.

Сначала пили чай, ели торт. Иринка рассказывала о школьных делах — Ольга Васильевна слушала с большим интересом, потому что дома Иринка никогда ничего не рассказывала, негодница, а в присутствии бабушки, дедушки или каких-нибудь не самых близких людей, но и не слишком посторонних в ней открывался дар рассказчицы, и она им щеголяла,— а затем мать увела Ольгу Васильевну и Иринку к себе в комнату, а мужчины остались для беседы.

Георгий Максимович заговорил о своей жизни в Париже, на рю де Муфтар, которую они, русские парижане, называли «Муфтаркой», о своих тогдашних приятелях, двое были из Одессы, один из Елизаветграда и один

из Витебска, тот, что потом прославился на весь мир. А про остальных Георгий Максимович ничего в точности не знал: кажется, кто-то уехал в Америку, другие умерли в безвестности, одного убили немцы, когда вошли в Париж. Все это было чудовищно давно. Это была юность века, юность эпохи, юность аэропланов, кинолент, игры в футбол, разложенческой живописи, всего того, от чего теперь сходит с ума мир, и — совпадение! — это была его собственная, Георгия Максимовича, юность. Поэтому он запомнил девушек, их шутки, их жесты, то, как они сбрасывали платья и закрывали глаза, и что они при этом говорили, он запомнил голод, он запомнил кафе, он запомнил радостную, неутомимую работу по ночам неизвестно для кого и зачем, не приносившую заработка. Вспоминая, Георгий Максимович стал волноваться, и его крупное мягкое лицо с большим носом покраснело, и он вынул из кармана куртки шелковый фиолетовый платок и вытирал лысую голову и щеки.

Все это Ольга Васильевна представляла себе очень отчетливо, потому что Сережа потом подробно и красочно — подражая движениям и голосу Георгия Максимовича, совершенно по-актерски, как он умел,— изобразил разговор.

— Собственно говоря, я был в Париже дважды... Первый раз совсем мальчишкой, в десятых годах, но тогда я ничего не понимал... Второй раз — в двадцатых, был послан в командировку, тогда я понимал несколько больше... Ну что вам сказать? Второй раз мы жили на улице Вожирар... Это самая длинная улица Парижа...

Сережа думал: вступление затянулось. Когда же он перейдет к делу? Георгий Максимович еще некоторое время что-то говорил с затухающим энтузиазмом, потея и обмахиваясь платком, что-то про свою первую жену, с которой жил на улице Вожирар, она работала машинисткой в нашем посольстве, а он делал эскизы к большой картине о Парижской коммуне. Почему-то эта картина так и не была закончена.

— Ну что вам сказать о Париже? — неожиданно вялым голосом промямлил Георгий Максимович.— Париж, конечно, красив... Но не более красив, чем Одесса, чем Киев... И ведь там нет ни Черного моря, ни Днепра, а Сена, честно говоря, довольно неказистая и грязная река... Лето там очень тяжелое, попросту нечем дышать...

Сережа спросил: не намекает ли Георгий Максимович на то, что ехать в Париж не имеет смысла?

Георгий Максимович покачал головой и улыбнулся хитро и значительно. О нет! Совсем нет. Как старый и много видевший на своем веку господин, Георгий Максимович хотел сказать вот о чем: в прежние времена люди стремились в Париж в двух случаях. Во-первых, когда были очень бедны, надеясь переломить судьбу и там разбогатеть, и, во-вторых, когда были очень богаты, желая получить удовольствие и промотать денежки. А о том, кес-кесе современный туризм, Георгий Максимович не имеет представления и не берется судить... Сережа смеялся: вас понял! Я не отношусь ни к первой, ни ко второй категории и, стало быть... Бог с вами, дорогой зять, я не отговариваю вас и даже приготовил по просьбе Галины Евгеньевны некую сумму «аржáн» для приобретения...

Из кармана вельветовой куртки появилась пачка десятирублевок.

— Пожалуйста,— сказал Георгий Максимович, очень радостно и добро улыбаясь всеми своими пластмассовыми зубами, и протянул пачку Сереже.

— Спасибо,— сказал Сережа. Но пачку не взял. По его словам, он испытал в ту секунду какой-то странный сдвиг: точно все побежало вдруг в обратном направлении.

Георгий Максимович положил пачку на стол рядом с Сережей. Они продолжали разговор. Георгий Максимович расспрашивал о работе, о том, как подвигается диссертация.

Диссертация подвигалась плохо. Сережа не любил говорить об этом. Он стал отвечать отрывисто и небрежно, а на какой-то вопрос Георгия Максимовича не ответил вовсе, замолк, отключился и, замурлыкав мотивчик, глядел в окно, размышляя о постороннем.

— Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? — спросил Георгий Максимович.

Сережа, поблагодарив, сказал, что помочь ему не может никто. Да и как, собственно, помогать? Это ведь не забор красить и не огород копать. Он стал понемногу накаляться. Ему показалось, что Георгий Максимович проявляет к нему сочувствие, а сочувствие было нечто особенно ненавистное ему, и тут он решил окончательно, что денег не возьмет.

— Вы знаете, как я поступал, когда работа не ладилась? — бормотал старик, не догадываясь, что в эту ми-

нуту ему надо было помолчать.— Я находил в себе силы уничтожить начало и начать снова...

— Да, да, понимаю...— кивал Сережа, улыбаясь.

— Вы зашли в тупик. Так? — Старик изображал что-то руками.— Вам следует отойти на несколько шагов и поискать — так? — какой-то другой путь, другой ход... Надо находиться в непрестанном движении, и тогда...

— Вы совершенно правы, дорогой мэтр. И ваше творчество прекрасно подтверждает... (Ольга Васильевна вошла в комнату и, услышав эти слова, ахнула про себя: поняла, что Сережа находится в последней стадии раздражения, ибо перешел к язвительности.) Но вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Георгий Максимович. Все будет в порядке. Я вам обещаю.— Увидев вошедшую Ольгу Васильевну, он сказал быстро: — Собирайся, мы засиделись. Надо ехать домой!

Георгий Максимович воскликнул:

— Возьмите! Вы что-то забыли! — Он размахивал пачкой, держа ее над головой, как флаг.

Это «что-то» вызвало у Сережи новый приступ язвительности:

— Не «что-то», а определенную сумму дензнаков, которую вы, Георгий Максимович, очень любезно и так далее... Я вам горячо благодарен, но — спасибо, я обошелся. Большое спасибо!

На улице после долгого молчания он сказал Ольге Васильевне, чтобы она ни своим родителям, ни кому бы то ни было не рассказывала о его делах с диссертацией. И вообще о его делах. Присутствие Иринки сдерживало его, но Ольга Васильевна видела, что он клокочет. Он выбрасывал короткие шипящие фразы, смысла которых Иринка, конечно, не понимала, но видела, что родители ссорятся, отец нападает, и поэтому взяла Ольгу Васильевну за руку и смотрела на отца сердито. Ей было тогда лет одиннадцать, и она уже вовсю влезала в разговоры взрослых. Он говорил, что всякого рода сочувственные расспросы, советы, рекомендации из собственного опыта ему не только не нужны и бесполезны, но и — пошли они к черту! Ольга Васильевна долго крепилась, видя, что он взвинчен сверх меры. Но когда он заявил явную ложь: «Я тебя не раз предупреждал, чтобы ты никому не сообщала о моих делах, а ты болтаешь, трепло!» — она не выдержала и сказала, что это неправда, она не болтает и не надо свое раздражение изливать на нее.

— Откуда же он знает подробности?

— Да ты ему сам говорил!

— А почему же ты не можешь написать диссертацию? — крикнула Иринка.

— Тебя тут не хватает...— Он щелкнул дочь по макушке.— Цыц!

Иринка отбежала вперед и, приплясывая, кричала:

— Эх ты! Эх ты! Диссертацию не можешь написать!.. Эх, эх, эх! Диссертацию не можешь написать!

Эта глупая Иринкина выходка подействовала неожиданно: он прыснул со смеху, потом замолчал и до дома не проронил ни слова.

Но что с ним происходило? Она не могла понять. Не потому, что была чересчур занята работой, лабораторией, сложными отношениями, которые существовали в ее мире так же, как повсюду,— она, кстати, умеет ладить с людьми и не боится сложностей,— но потому, что его предмет представлялся ей странным слитком простоты и тайны. Что, казалось бы, могло быть проще *того, что уже было*? Всякая наука озабочена движением вперед, сооружением нового, созданием небывалого, и только то, чем занимался Сережа,— история,— пересооружает старое, пересоздает былое. История представлялась Ольге Васильевне бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры, и задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера, который в дни премьер приходит в кассу кинотеатра «Прогресс» и наблюдает за порядком,— следить за тем, чтобы эпохи и государства не путались и не менялись местами, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди...

Однако Сережа очень мучился на этой простой милицейской должности. И тут-то заключалась тайна. Было недоступно ее уму. Почему нельзя посидеть усердно в архивах месяц, два, три, пять, сколько нужно, вытащить из гигантской *очереди* все, что касается московской охранки накануне Февраля, и добросовестно это вытащенное обработать? Ведь не надо создавать невиданного. Не то что они с Андреем Ивановичем бьются над БСС — биологическим стимулятором совместимости. Пытаются сотворить нечто еще не существовавшее в мире, ни в Америке, ни в Японии, ни в Древней Греции, ни в Египте, нигде. Сережа сидел в архивах с утра

до вечера. Заполнил выписками тридцать шесть толстых общих тетрадей. Тридцать шесть! Она недавно пересчитала. И все-таки чего-то ему не хватало — какого-то последнего знания, последнего опыта — или, может быть, не хватало страсти, охоты...

С ним бывало: вдруг пропадал интерес. Вернее, возникал интерес к чему-то совсем другому.

Так было с Францией — вдруг сказал, что исчезло всякое желание ехать: «Мне сейчас не с руки». Позвонили из профкома, сообщили, что группа сократилась и он, к сожалению, не поедет. Выслушал равнодушно и вялым голосом — будто из вежливости — пробормотал несколько слов: «Что вы говорите? Как жаль...» — а там, наверное, думали, что он здорово владеет собой, что на самом деле убит горем. Но она видела, что ему действительно плевать: пропал интерес.

Сказал ей:

— Чего я там не видел? То, что мне нужно, я могу найти только здесь...

Сначала ему нужно было очень много. Не вполне представляя себе объем и суть работы, которую он задумал, она все чаще догадывалась, что он замахнулся на нечто слишком большое, даже безграничное. Она приводила в пример диссертацию — докторскую! — Андрея Ивановича о биологических стимуляторах, написанную удивительно емко, сжато. Там не было ни единой лишней детали. Она вся будто на пружине, простая и динамичная, как английский замок, а пружиною была мысль. Одна гениальная догадка Андрея Ивановича: о диффузионной структуре стимуляторов. И вот она добивалась: а какая мысль у тебя? Есть ли у тебя нечто всеохватное, плотящее воедино все твои тетрадочки, выписки, факты, цитаты?

Это говорилось из желания помочь, а не в укор. Но он не разговаривал с нею о своей работе всерьез, вернее — никогда не высказывался до конца, она чувствовала, что какие-то мысли он оставляет в своем подполье, как неприкосновенный запас. А может быть... Вдруг — никакого запаса и не было? И все это блеф или, точнее сказать, самоблеф? Как раз на это намекал Генка Климук, когда пришел однажды — еще в начале своей деятельности на высоком посту — доверительно поговорить о Сереже.

Трудно было понять, чего он хотел. И тогда-то было неясно, а теперь и подавно подробности исчезли. При-

шел внезапно в тот день, когда Сережа был в Ленинграде. Вошел с мимозой, в красной рубашке, в красных носках, как молоденький, обнял Ольгу Васильевну и даже чмокнул в щеку по-свойски. Она ему сказала:

— Генитальич! — И погрозила пальцем: — Жен приятелей целуют в присутствии мужей...

А он сказал, чтобы не называла этой собачьей кличкой, которая только дам отпугивает.

В его лице старого мальчика на миг мелькнуло лукавство. Но она почувствовала — сердцем, как обычно, когда дело касалось Сережи,— что под этим лукавством таится озлобление. Какова была цель? Что-то нудно толковал о «ложном положении», о каких-то «обязательствах», о том, что Сережу взяли на определенных условиях, но Сережа добился — с помощью Феди — перемены темы диссертации, и это почему-то было плохо. Не могла понять — почему. Нарушался план института или что-то в этом роде.

— Мы пошли ему навстречу! — говорил он тоном все строже.— Мы в ущерб себе согласились с его просьбой!

Он говорил не как приятель, а как доброжелательный чиновник. Ее это поразило. В первые минуты она держалась с ним фамильярно и чуть пренебрежительно, потому что знала, что он меняется к худшему, и ей хотелось его проучить, но затем его речь и тон так ее ошеломили, что от растерянности и совершенно невольно она стала разговаривать с ним как подчиненная.

— Хорошо,— говорила она,— я ему скажу. Я передам.

Одно было ясно: они могут сделать так, что защита не состоится.

Все преподносилось в форме заботы о нем: он себя губит, пошел куда-то не туда, зарылся в дебри, потерял путеводную нить.

— Сережка дико упрям, ты это знаешь,— произнес он вдруг человеческую фразу.— И если вовремя не остановить, он себе голову расшибет.

Она не знала: рассказать Сереже или, может быть, скрыть на время? Он вернулся из Ленинграда усталый, сердитый, все там было плохо — погода, гостиница, знакомые недостаточно почтительны, не проявляли внимания, и, главное, не нашел в архивах того, что искал. Но она все-таки рассказала. К удивлению, он принял рассказ спокойно и даже как-то свысока посмеялся:

— Бедные дурачки, они все боятся, что я буду защищать Бросова...

Там был такой Толя Бросов, которого Климук сживал со света.

Но дело было в другом. Бросов оказался ни при чем, и спустя два года, когда разбиралось «дело» самого Сережи, Бросов и Климук выступали дружно, в одной упряжке. Им не нравился метод, с которым он носился и который называл полушутливо-полувсерьез «разрывание могил». На многих его тетрадях написано на обложке «РМ», что означает «разрывание могил» и говорит о том, что он относился к этой романтической метафоре более всерьез, чем шутливо. Он искал нити, соединявшие прошлое с еще более далеким прошлым и с будущим.

Из того, что она уловила когда-то: человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. Человек, говорил он, никогда не примирится со смертью, потому что в нем заложено ощущение бесконечности нити, часть которой он сам. Не бог награждает человека бессмертием и не религия внушает ему идею, а вот это закодированное, передающееся с генами ощущение причастности к бесконечному ряду... Она улыбалась, слыша такие его речи за ужином и в постели, когда на него вдруг находил стих курить и философствовать. Надо ли было ей, биологу и материалисту, опровергать эти рассуждения? Господи, если бы она могла переделать себя! Хоть на минуту. Но, к сожалению, это было ей недоступно. Знала твердо: все начинается и кончается химией. Ничего, кроме формул, нет во вселенной и за ее пределами. Несколько раз он спрашивал у нее вполне серьезно:

— Нет, ты действительно думаешь, что можешь исчезнуть из мира бесследно? Что я могу исчезнуть?

А она отвечала ему с искренним изумлением:

— А ты действительно думаешь, что не можешь?

И он говорил, что как ни тщится умом, как ни силит воображение, представить себе не может...

И вот он исчез. Его нет нигде, он присоединился к бесконечности, о чем говорил когда-то легко, куря сигарету. Боже мой, если все начинается и кончается химией — отчего же боль? Ведь боль не химия? И их жизнь, померкшая внезапно, как перегоревшая лампа, разве была соединением формул? Человек ухо-

дит, его уход из мира сопровождается эманацией в форме боли, затем боль будет гаснуть, и когда-нибудь — когда уйдут те, кто испытывает боль,— она исчезнет совсем. Совсем, совсем. Ничего, кроме химии... Химия и боль — вот и все, из чего состоит смерть и жизнь.

У него это началось — то, что он называл «разрыванием могил», а на самом деле было прикосновением к нити,— с его собственной жизни, с той нити, частицей которой был он сам. Он начал с отца. Он очень любил слабую память о нем. Ему казалось, что его отец был замечательный человек, что было, наверное, преувеличением и в некотором смысле гордыней. Это во многом шло от Александры Прокофьевны, которая мужа боготворила и числила примерно так: Горький, Луначарский, Надежда Константиновна и Афанасий Дементьевич Троицкий. После гражданской войны он что-то делал на ниве просвещения. А в семнадцатом, после Февраля, будучи студентом Московского университета, работал в комиссии, разбиравшей архивы жандармского управления. Комиссия выявляла тайных сотрудников бывшего охранного отделения. Когда Сережа наткнулся на этот факт — участие отца в работе такой комиссии,— он стал копаться, полез в архивы и увлекся всей этой историей. А потом дальше — почему? откуда? — стал изучать семью отца, и деда, и даже прадеда, для чего ездил в Пензу.

Она догадывалась, что он пошел куда-то чересчур вглубь. Все это было любопытно, занимательно,— но зачем? Как-то сказали, что в одном доме можно познакомиться с правнуком знаменитого поэта, он с радостью ухватился:

— Пойдем непременно!

Повела одна женщина с работы Ольги Васильевны. Сказала, что у правнука поэта времени мало, он попьет чай, посидит полчасика и уйдет не позже пяти. Встреча происходила в блочной новостройке в Черемушках. Все в этой комнатке, стандартной, с низким потолком, состояло как бы из обломков. Вокруг стола, покрытого простой скатертью — хозяйка отмахнула край и показала инкрустированную музейную поверхность, тщательно отполированную,— стояли рядом с обычными мебельторговскими стульями два скромных произведения начала прошлого века с золочеными головками сфинксов на высоких спинках, а чай пили из кузнецовских

и гарднеровских чашек, бывших, разумеется, тоже обломками каких-то рассыпавшихся сервизов.

Правнук поэта был средних лет, белесый, морщинистый, с модно подстриженными бачками. На нем был синий пиджак, украшенный медальками и значками. Он звенел ложкой в стакане, постукивал пальцами по столу и, торопясь, очень многословно и невнятно рассказывал какую-то запутанную историю жилищного обмена. При этом повторял то и дело: «В отношении того». Ольга Васильевна смотрела на правнука во все глаза и сначала робела, не зная, о чем говорить с ним, Сережа тоже молчал и выглядел хмуро, но затем Ольга Васильевна стала разговаривать с правнуком насчет обмена и давала ему советы, так как сама недавно менялась.

— В отношении того,— бубнил правнук,— что приближается юбилейная дата... Я составил в отношении того письма... Академик Велегласов обещал подписать, артист Сонин подписал...

Старушки говорили между собой по-французски. Вскоре правнук заторопился уходить, одну из старушек он чмокнул в щеку, другим поцеловал ручки и, взяв со стола бутерброд, завернув его в салфетку, сказал:

— Там и буфета нет поблизости, гиблое место в отношении того.

Одна из старушек спросила:

— Куда вы сегодня, Alexis?

— О, далеко, ma tante.— Правнук присвистнул.— Но сообщение отсюда превосходное. На метро до Сокольников, а там автобусом пять минут...

Когда он ушел, старушки рассказали, что по воскресеньям он судит футбольные матчи. Что делать? Он инженер, заработок невелик, жена больная, двое детей...

Шли темным бульваром. Сережа был мрачен.

— Лучше бы не приходить... Одно из двух: либо в этом оболтусе есть нечто скрытое, неразгаданное, либо в знаменитом поэте было что-то «в отношении того»...

Ему казалось, что нить, соединяющая поколения, должна быть наподобие сосуда, по которому переливаются неисчезающие элементы. Это больше относилось к биологии, чем к истории. И вот когда он вплотную занялся изучением охранки, в частности московской охранки накануне Февраля, составил по документам списки секретных сотрудников с обозначением всех их служебных «подвигов» и «заслуг» перед отечеством — кро-

потливейшая работа отняла не меньше двух лет, а ведь это была лишь часть диссертации,— его, кроме прочего, интересовало то же, что погнало на встречу с правнуком поэта: отыскиванье нитей. Ему мерещилось, что тут таится необыкновенно важное. Временами он работал с бешеным энтузиазмом. Когда возвращался домой из библиотеки или из архива, бывал землистого цвета, едва держался на ногах и не мог сразу сесть за ужин: лежал несколько минут, успокаивал сердце. Последние года два он так ослаб, что даже перестал выпивать. Приглашали — отказывался. Так его поглотила работа. Он вкладывал в нее гораздо больше, чем следовало, чем она могла вместить.

Однажды пришел вечером, и вид был такой, будто выпил. Улыбался странно. Она испугалась, потому что, если выпил, значит, что-то стряслось.

— Ты выпил? — спросила она.

— Ничего. Только что в буфете.

Продолжал улыбаться странно. Она видела, что неспроста.

Его мать тоже что-то почуяла и крутилась на кухне, где Ольга Васильевна готовила ужин. Она знала, что он не всегда готов откровенничать при матери, и, пока та крутилась тут, не стала ничего спрашивать. А он, как посторонний, сидел нога на ногу, покачивал носком и смотрел в окно. Как только мать вышла, Ольга Васильевна сказала тихо:

— Объясни, что случилось... Я же вижу.

Он покачал головой и ничего не сказал. Омлет был готов. Он потыкал вилкой, отставил. Свекровь опять зашла на кухню, прислушивалась к каждому слову, и Ольга Васильевна стала нарочно рассказывать ему какую-то чепуховую сплетню, услышанную на работе. Потом он выпил крепкого чая, и было видно, что ему стало лучше, бледность исчезла. Они пошли в свою комнату — теперь, после обмена, у всех было по комнате, у Иринки, у свекрови и у них вдвоем, где протекала их жизнь,— он закрыл плотно дверь, взял Ольгу Васильевну за руку и сказал:

— Ну что, меня гробанули. Было обсуждение на секторе. Накидали столько замечаний, что нужно сидеть еще два года, если не... Только матери не говори!

Произнес все это померкшим голосом, но последнюю фразу: «Только матери не говори!» — высказал нервно и бойко, и в голосе слышался истинный испуг. Как бы

мать не узнала! Не могла понять, что тут: забота о материнском покое, чтобы та не расстраивалась, или же, что было ужасно, его вечная зависимость от ее мнения, настроения, его обязанность отчитываться и оправдываться перед нею.

Новость, конечно, была плохая. Она знала, что это такое, когда предварительное обсуждение проваливается, с тревогой ждала этого дня, но он скрыл, что сегодня обсуждение. Удивительные люди он и его мать! Все время подчеркивают: мы сами, мы одни, мы обойдемся. Он уходит на обсуждение, никого не предупредив, а она едет в больницу на опасную операцию — как было лет восемь назад,— и тоже никто об этом не знает. «Бабушка ушла утром и сказала, что придет поздно»,— сказала Иринка. А бабушка звонит вечером и говорит, что находится в больнице, все уже позади — да что́ позади, боже ты мой?! — и через день вернется домой. То, что рассказал Сережа, Ольгу Васильевну сразило. И еще раздосадовали фраза и истинный испуг в голосе: «Только матери не говори!» Она сказала, что это глупая фраза и вообще не об этом надо теперь заботиться. Он спросил: о чем же? Надо заботиться о деле, о том, чтобы выплыть, а не о всякой домашней чепухе. Конечно, она выставила свою досаду совершенно напрасно. Ну что с того, что он примерный сынок? Впрочем, он был вовсе не примерный сынок, она-то знала и потому еще сильней раздражалась, когда он вдруг настаивал на том, что он примерный сынок. Все это нужно было крикнуть про себя и прикусить язык до боли.

Потому что — на него свалилась гора. Лежачего не бьют. Однако бес толкал ее, подзуживал непобедимо, и она негромко — боясь, что свекровь может постучаться, а то и без стука войти,— с неизвестно откуда взявшимся гнуснейшим ядом сказала:

— Вместо того чтобы оберегать мамочку, ты бы столь же бережно отнесся к своей защите...

Он поглядел загнанно и равнодушно, как человек, готовый ко всему, и спросил:

— Что ты имеешь в виду?

— Надо было подготовить. Поговорить с людьми. Со всеми, от кого что-то зависит... А ты по своей обычной халатности пустил все на самотек. Ты виноват сам. Так не делают.

Он пожимал плечами:

— Но я думал...

— Почему же ты думал? Почему они должны? Кто ты такой для них?

И еще что-то поучительное и скрипучее. Сережа молчал, глядя на нее остановившимся взором: такой взор бывал у него, когда он внезапно погружался в задумчивость.

— Ты всерьез? — спросил он.

Она пылко продолжала его учить. Кипело низкое раздражение. Он махнул рукой и куда-то вышел. Через минуту вернулся с чемоданом. Она не сразу поняла, что он собрался уезжать. А когда он сказал, что поедет на несколько дней в деревню к тете Паше — что было нелепостью, никто его в Васильково не звал, жить там было негде, вся родня тети Паши уже перебралась из клетушек и сараюшек в избу, лето кончилось,— она рассердилась, не могла сдержаться и громко кричала о том, что это бегство, малодушие и что, если он сейчас уедет в деревню, она снимает с себя всякую ответственность за его здоровье, быт и вообще не даст ему денег. Орала вздорно, постыдно, как можно орать только в большом гневе. На крик пришла свекровь. Прибежала Иринка из своей комнаты. И он тут же выложил матери про обсуждение, про то, что его зарубили и что защита откладывается не меньше чем на год. Понять нельзя: свирепо требовал, чтобы ни в коем случае ей не рассказывать, и тут же сам выложил все в подробностях!

Разумеется, это был удар для матери, но ведь не такой, как для Ольги Васильевны. Старуха всегда как-то приосанивалась в трудные минуты, когда надо было проявить мудрость и хладнокровие. Ей казалось, что тут она незаменима.

— Спокойно, товарищи, без паники! Только без паники! — говорила она тоном комиссара, ободряющего бойцов.— Что, собственно, произошло? Дали замечания? Очень хорошо! Чем больше замечаний, тем лучше для нас. Тем ценней станет содержание. Мне непонятно, почему ты раскис, сын...

— Никто не раскис. Но мне вся эта гадость не нравится.

— Нравиться она не может. Кому она может нравиться? Однако нельзя, в конце концов... Когда твоему отцу... Если бы твой отец...

Она успокаивала его, постепенно переходя от комиссарского тона к тону доброй бабушки, и даже слегка потрепала его по щеке. Этот жест показался Ольге

Васильевне фальшивым. Разговаривала с ним как с десятилетним мальчиком. И он поддерживал этот стиль. Ольга Васильевна сказала, что паники, собственно, нет, надо спокойно все обдумать, учесть замечания, переделать, что необходимо и с чем ты внутренне согласен,— словом, взяться засучив рукава, но не поддаваться слабости. Сережа хочет уехать в деревню, что неправильно, это бегство от трудностей.

Так сказала Ольга Васильевна, что было, может, верно по существу, но неуместно именно в ту минуту. Она не должна была произносить слово «слабость». Сережа слушал мрачно, продолжая кидать вещи в чемодан.

— Нет, вы не правы, Оля,— сказала Александра Прокофьевна, вновь переходя от тона бабушки к металлической комиссарской твердости.— Вы глубоко не правы! Если он чувствует, что ему нужно поехать, пусть едет в Васильково. Пусть возьмет книги, тетради, поработает в тишине.

— Да не будет он работать! Он будет пить водку с Колькой. А ночью ему станет плохо.

— Папочка, мама не хочет, поэтому не ездий! — сказала Иринка и, подойдя к чемодану, стала выбрасывать оттуда отцовские вещи.

Он ее шлепнул, она убежала, схватив белье и машинку для бритья. Разговор — ехать, не ехать — длился до десяти вечера, ничем не кончившись. Ехать было поздно. Александра Прокофьевна продолжала гнуть свою линию семейного судии, исполненного благородства и справедливости:

— Не понимаю, почему у вас обоих траур на лицах? Откладывается защита — откладывается ставка, что ли? Ничего, можно перетерпеть. Мы в вашем возрасте о деньгах совершенно не думали. Кто думал о деньгах? Какие-нибудь нэпманы, кулаки и лишенцы. А у нас не хватало на это времени. Мы были слишком увлечены жизнью, трудом, друзьями, событиями. Да, да, событиями! Ты не улыбайся, Ирина, в твоем возрасте я была в курсе всех политических новостей, знала ход военных действий, делала вырезки из газет, а у тебя на уме только кино да мороженое. В двадцатые годы Афанасий Дементьевич получал очень скромную зарплату, мебель в нашей квартире была казенная... И нам ничего не было нужно, кроме книг... Впрочем, и книги Афанасий Дементьевич брал в библиотеке... У него никогда не было черного костюма, он не носил галстуков... Ты не беспо-

койся, сын, я тебе в крайнем случае помогу, если будет туго. Ты должен работать, не думая ни о чем.

Через два дня он уехал в Васильково.

Ее мучило вот что: когда ему бывало плохо, он стремился куда-то уехать, и не с нею, а один. Это значило — она не могла быть поддержкой. Так считала его мать. Это было бессовестно. Так же, как то, что она внушала ему, будто вся беда с провалом диссертации — по мнению ее, Ольги Васильевны,— состоит в том, что кандидатская ставка уплыла. О деньгах она не думала! Никаких денег не держала в уме! И никто в их семье, кроме Иринки, которая копит то на какую-то пластинку, то на трехрублевое ожерелье, о деньгах не думает. Не надо так уж кичиться бессребреничеством. Ольгу Васильевну больно ударило, отчего она взорвалась и так постыдно кричала, то, что его мгновенной реакцией было: уехать от нее. Как будто в ней — вся беда. А без нее — спасение. Но потом, немного успокоившись, она смирилась с этим, а он, тоже поостыв и поразмыслив, решил в Васильково не ехать, но приход Климука опять все нарушил.

Климук пришел на другой день после обсуждения. Они пошли с Сережей гулять. Гуляли долго. Ольга Васильевна уже стала волноваться. Сережа вернулся в половине двенадцатого.

— Все! — сказал он.— Finita la comedia! С Геннадием разругались вдрызг. Он безнадежен.

В его голосе не слышалось скорби. Случилось то, к чему дело шло. Она только спросила: из-за чего?

— А! — Он махнул рукой.— Из-за всего...

Вид у него был рассеянный, будто рассказывать не хотелось и не стоило труда. Но рассказал в тот же день, вскоре. Была любовь. Почему-то очень запомнилась любовь той ночью, когда он впервые рассказал про Кисловского. Обыкновенно он засыпал сразу, на него действовало как наркотик, а она, наоборот, не могла заснуть долго, и чем сильней было, тем дольше не спалось, но в ту ночь он был возбужден, ему хотелось разговаривать, и он сказал, что Климук уговаривал его отдать какие-то материалы Кисловскому, которому они нужны для докторской. Он отказался. Сказал, что не хочет лишаться таких ценных материалов, которых нет даже в архиве, а есть только у него. Климук сказал, что лучше лишиться материалов, чем диссертации. Ну и поругались. Оказалось, что это старая история. Кли-

мук назвал его идиотом, а он сказал Климуку: «Ты дерьмо!»

Что это было? Какие материалы? Она помнила только, что Сережа, когда достал их,— это произошло как-то случайно и неожиданно,— безмерно радовался. Списки секретных сотрудников московской охранки за десятые годы, вплоть до Февраля семнадцатого. Конечно, материалы ценнейшие, потому что архивы охранки были уничтожены, сожжены. Откуда-то он эти списки раздобыл. Нашел какого-то человека, то ли пропойцу, то ли жулика, то ли просто опустившегося, несчастного босяка — она ни разу его не видела, звали его странно, Селифон или Селиван, что-то в таком роде,— который списки продал Сереже за тридцать рублей. Кажется, его дед был связан с охранкой, был там мелким чиновником и сохранил списки, чтобы шантажировать людей и вымогать у них деньги. Одно время Сережа был очень увлечен всей этой историей, совершенно фантастической. Какие-то люди Сереже не верили и говорили, что Селифон его надул, что списки поддельные, кто-то сфабриковал их если и не теперь, то в двадцатые годы, и, может быть даже, с их помощью кого-то шантажировали. В институте был такой профессор Вяткин, особенно горячо возражавший. В споре с Вяткиным Сережа придумал всю эту поездку в Городец. И, конечно, об этих списках — в папке с розовыми шнурочками — говорил Безъязычный и хлопочет Климук.

Зачем? Кисловского уже нет в институте. Она им не даст ничего. Было бы странно: чем-то помогать Климуку.

И вот когда он уехал один в Васильково — был теплый сентябрь, двадцатые числа,— начались ее страдания. Прошел день, другой, третий... Сначала она боролась с собой. Хотела победить грызущее беспокойство, тоску по нем и тревогу о нем, что было на самом деле *унизительной и смертельной зависимостью от него*, и заклинала себя не думать, не вспоминать о нем, погрузиться в работу. Он не хотел, чтобы она приезжала. Ему нужно побыть одному. И она понимала это, понимала! Но тревога, или тоска, или бог знает что это было, какое-то беспощадное, сжигавшее душу смятение росло в ней неудержимо, и она уже знала, что поедет, должен был только найтись повод. И тут как раз пришло письмо с казенным штампом из института, официальное уведомление из сектора: состоялось обсуждение, такие-то поправки, длинный перечень, срок за-

щиты отодвигается до такого-то месяца будущего года. С этим письмом, даже не дождавшись субботы, а взяв на работе отгульный день в пятницу, она помчалась.

Васильково возникло в их жизни давно. Иринке было годика четыре или пять, дача на Клязьме отпала, бросились искать, им посоветовали Северную дорогу, и вот однажды поехали безо всякого адреса, сошли через пятьдесят минут — просто понравилась безлюдная платформа, купы деревьев, луговой простор — и пошли к деревушке на горизонте. Дом тети Паши был украшен табличкой с топориком. Этот топорик и остановил их. Зачем топорик? Отчего топорик? Стояли, рассуждали вместе с Иринкой, и тут вышла тетя Паша во двор, они ее спросили: вот, мол, девочка интересуется. Тетя Паша объяснила: когда пожар, надо, значит, топор тащить. А на других домах другие таблички — где ведро, где багор. Так и остались у тети Паши, в «доме с топориком». Потом, спустя годы, когда прожили у тети Паши несколько жарких и хмурых, гнилых и солнечных лет — а мужик ее, дядя Ваня, Иван Пантелеймонович, был невидный и тихий, малого роста, плотник и без конца разъезжал с артелью, так что дома его по летам не бывало, и никто его хозяином не считал, а все тетя Паша да тетя Паша, баба могучая, рослая, работящая, крикунья и добрая душа,— и вот потом уж, распознав их хорошенько и сына Кольку, бригадмильца, Сережа часто возвращался в мыслях и разговорах к началу, к топорику. В особенности любил рассуждать на эту тему, подвыпив: «Дом с топориком! Это, мать, неспроста... Тут символ... Тут заложено ой-ой сколько...»

Иногда философствовал будто всерьез, а иногда, в присутствии забредших на чаек или на грибки дачников вроде Льва Семеновича, физика, или Горянского, артиста эстрады, милейшего старика, болтал насчет топорика, дурачась, подделываясь под некий высокопарный старорежимный стиль: «Господа, а знаете ли вы, где водку пьете? Это ведь изба с топориком... Вы тут поосторожнее...» Дурачился-дурачился, а потом и вышло: накаркал.

День был отчетливо ясный, но уже с прохладцей, небо высокое, дорога через лес пахла опавшим листом, любимый запах Ольги Васильевны, похожий на запах прогорклого, отстойного вина,— и она бежала, торопясь, ничего не замечая вокруг, вдыхая этот запах и опьяняясь им. Так спешила увидеть его скорей, будто не ви-

делись много лет! А прошло лишь четыре дня. Он сидел на терраске с книгой, увидев ее, сказал:

— А, это ты...

Он не улыбнулся, не вскочил со стула, не поцеловал ее и даже не взял у нее из рук тяжелых сумок с продуктами, с банками, коробками и двумя бутылками красного венгерского вина «бикавер» — их симпатия к красному сухому, зародившаяся бесконечно давно, все еще как бы продолжалась, хотя теперь это была скорее традиция, гнездившаяся в сознании как память о лучших временах, особенно бережно хранила память о красном вине Ольга Васильевна, и то, что она тащила из города две бутылки, значило на их языке много,— он сделал слабое движение рукой, которое могло означать то ли полуприветствие, то ли жест «все пропало...», и ушел с терраски в комнату. Так он ее встретил. Она решила все прощать. Взяла книгу, которую он читал: Пушкин. Книга была довольно потрепанная и грязноватая. Вероятно, из Колькиной библиотеки.

Ольга Васильевна сидела на терраске, не зная, куда и зачем он ушел от нее и что ей теперь делать. Но она твердо решила все прощать. Сумки положила на пол. Через короткое время он вернулся и спросил, глядя зло:

— Зачем ты приехала?

Она должна была объяснить, что просто не вынесла жизни без него, нет сил для такого испытания, это глупо, ведь они не в ссоре, расстались по-хорошему, и она понимает, что ему необходимо побыть одному, но — что делать, если нет сил? Вместо этого она размахивала письмом из института, говоря казенным тоном какую-то чепуху. Он закричал:

— Зачем ты приехала? — И затряс кулаками перед своим лицом.

Она испугалась, что сейчас он заплачет и упадет, и побежала в избу, зовя тетю Пашу. Дом был пустой. Она зачерпнула кружкой воду в ведре — колодезная вода в Василькове изумительная! — прибежала на терраску. Сережа лежал на топчане, отвернувшись к окну. Она присела рядом, гладила его волосы и говорила вполголоса, что беспокоилась за него, он уехал в таком дурном состоянии. Все беспокоились, и мать, и Иринка. Упоминание о матери и дочке должно было смягчить его, но он вдруг выкрикнул:

— Не ври! Не впутывай Иринку и мать!

Она пыталась объяснить, но он не хотел слушать.

— Не ври! Не ври, тебе говорят! — повторял он.— Ты приехала по собственной воле и, конечно, только оттого, что тебя гложут идиотские подозрения...

— Ничего подобного! Какой вздор!

Она искренне отрицала, потому что в подозрениях, которые ее действительно мучили, она не признавалась себе. Ей казалось, что ее мучает что-то другое. Поэтому подозрений как бы не существовало и она могла с честным выражением гнева на лице отрицать эти обвинения. Но, боже мой, как стало вдруг тепло и покойно, когда она увидела, что он сидит на тераске один и читает книгу.

— О чем ты говоришь? Какие подозрения? Успокойся, мой милый, это не для нашего возраста... Ты уже опоздал, да и я тоже...

А ей было тогда тридцать восемь. Ему сорок. Но она не упускала случая внушать: твой, мол, поезд ушел, не заглядывайся, не тормошись. Всегда смешило: сядет в метро и пялится на какую-нибудь девицу напротив. Затевала иногда разговоры по этому поводу, он сердился... Опять стала говорить про письмо из института, все еще держа его в руках. Он вырвал письмо, смял и выбросил в окно.

— Не хочу читать, все мне известно... К черту...— бормотал он.— Тоже умница! Надо забыть, отсечь, не помнить всей этой дряни, а она, как нарочно... На черта оно мне нужно, это письмо!

Ей хотелось помочь ему, она не знала как. Пришли тетя Паша и Иван Пантелеймонович, копали картошку где-то на дальнем поле. Очень обрадовались, увидев ее:

— Батюшки! Васильевна! А твой-то совсем счах без тебя...

Все перепуталось. Эти люди не понимали, что с ними происходит. Ей было безумно жаль его и хотелось помочь. Что его загнало сюда, в эти черные доски старенькой деревенской тераски с вязками лука на рамах, с какими-то банками и мешками на полу? От рук тети Паши, когда она собирала ужин, пахло землей. Иван Пантелеймонович крутил транзистор и разговаривал с Сережей об американском президенте и Суэцком канале, тетя Паша с истовым и горячим волнением выспрашивала про Иринку и Александру Прокофьевну, а также про мать Ольги Васильевны и про Георгия Максимовича, которые, хоть и редко, наведывались в Василь-

ково, и Георгий Максимович говорил, что у тети Паши «интересное лицо», и заставлял ее позировать. Потом тетя Паша и Иван Пантелеймонович жаловались на то, что картошка уродилась мелкая, что копать припозднились, лошадь с телегой никак не выпросишь, а на горбе таскать далеко, нынче картофельное поле «на столбах»: это где линия высоковольтной передачи, там с обеих сторон раскопали да засадили. «На столбах» называется. Ольга Васильевна слушала, глядела на тетю Пашу и Ивана Пантелеймоновича и думала: ведь старые люди, тете Паше за шестьдесят, ему под семьдесят, но они трудятся, напрягают все силы, копают землю, таскают мешки с картошкой, и делают все остальное бесконечно тяжелое изо дня в день, и не считают свою жизнь особенно трудной. Она сказала вдруг просто так, ради шутки:

— Сережа, ты книжки читаешь, а старые люди надрываются, картошку копают — пошел бы да помог...

Тетя Паша на нее накинулась, Иван Пантелеймонович рукой махал:

— Это зачем? И не думай, и пускай отдыхает! И никогда чтоб такого разговору!

Зарыкал мотоцикл под крыльцом, приехал Колька. Оба мужика, отец и сын, были невысоки, худощавы, с бледноватой тонкостью в лицах, оба голубоглазы, светловолосы, у старика седина впрожелть, и манера была у обоих плутовато тянуть губы, улыбаясь, а Колька еще и глаза отводил в разговоре, как девушка. Только подвыпивши он становился смел и горласт.

Хлебая щи, которые заедал то ломтем серого, то сосиской — он привез сосисок громадный куль, килограмма два, тетя Паша тут же бухнула десяток варить и была очень довольна Колькиной добычей,— он рассказывал, как на лесоскладе в Истомине, где он и сосисками разжился в буфете, появился штакетник, прожилины и брус для ворот и он хотел с дедом договориться, но тот почему-то не соглашался. Говоря все это, Колька странно конфузился и на Ольгу Васильевну не глядел. Она давно уже замечала, что парень в ее присутствии робеет. Однажды не удержалась, сказала об этом Сереже:

— Ты знаешь, мне кажется, что Колька... ко мне...

— Ну?

— Я ему немного нравлюсь...

Он посмотрел с удивлением:

— А зачем ты мне это говоришь?

Нарочно напускал на себя холодность и равнодушие, когда возникал хоть малейший повод для ревности. Да поводов-то... откуда им быть? Не было никаких. Иногда она придумывала что-нибудь, чтоб его подразнить, вызвать его волнение, и он привык, разгадывал, перестал обращать внимание. Но с Колькой было что-то похожее на правду. Она это чувствовала. Может, и он чувствовал? И все равно — наплевать? Мысли его были увлечены другим. Понемногу он примирился с ее приездом, а к концу дня — после прогулки на речку — даже радовался, говорил, что она молодец, что приехала. Ночью было хорошо. Они совсем не спали. Заснули к утру. Он рассказывал о своей работе все-все, с подробностями. Советовался с нею: как быть? Главное вот что: он безнадежно испортил отношения с людьми. Климука обхамил, сделал врагом, причем оскорбительные слова сказал в присутствии посторонних, что, разумеется, не простится. Но с Климуком все уже шло к разрыву, тут неизбежность, а вот зачем говорить резкости профессору Вяткину, человеку влиятельному? Ах, неумно, неумно! А с Кисловским? С этим хитрейшим, каучуковым, который Ольге Васильевне представлялся человеком крайне опасным и готовым на все? Черт бы с этими несчастными материалами, за которые плачены тридцать рублей, отдал бы их — и дело с концом. Тридцатку спас, а диссертация завалилась. Теперь была очевидна суть неудачливости этой странноватой семьи: отец когда-то был крупный работник, но так никуда и не вылез, мать — домашняя юристка с принципами и запросами и он сам им под стать. И была еще сестра той же масти. Она умерла старой девой, обездоленность и тоска привели к болезни, говорят, кто-то любил ее очень сильно и мог бы составить ее счастье, но она всю жизнь любила школьного товарища, жалкого человечка. Какая-то внутренняя несуразность и желание делать только то, что им нравилось, губили этих людей...

Ночью он вдруг сказал:

— Знаешь, почему все у меня с таким скрипом? — Шептал едва слышно: — Потому что нити, которые тянутся из прошлого... ты понимаешь? — они чреваты... Они весьма чреваты... Ты понимаешь?

Она не понимала.

— Чем?

— Ну как чем! — Он засмеялся. Ей стало страшно, показалось, что он сходит с ума.— Ведь ничто не обры-

вается без следа... Окончательных обрывов не существует! Ты понимаешь? Должно быть продолжение, не может не быть, это так понятно...

Она смотрела на него, похолодев от ужаса.

Безумие! То, чего она страшилась, зная неустойчивость его нервной организации. Она обняла его голой рукой, прижала его голову к своей груди и гладила его волосы. Он тихонько фыркнул, вновь она содрогнулась от этого смеха.

— Ты, наверно, думаешь, что я рехнулся? Чепуха, я здоров. Но ты ведь знаешь мою идею: нить, проходящая сквозь поколения... Если можно раскапывать все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед...

Это не было безумием. Впрочем, какою-то долею это было, возможно, безумие, какою-то долею шутка и частично всерьез. Безумие и всерьез — это было одно. Она заплакала, слушая его невнятный лепет. Тогда, ночью, ей показалось, что он погиб. Он говорил что-то путаное насчет своих собственных предков, беглых крестьян и раскольников, от которых тянулась ветвь к пензенскому попу-расстриге, а от него к саратовским поселенцам, жившим коммуной, и к учителю в туринской болотной глуши, давшему жизнь будущему петербургскому студенту, жаждавшему перемен и справедливости,— во всех них клокотало и пенилось несогласие... Тут было что-то не истребимое ничем, ни рубкой, ни поркой, ни столетиями, заложенное в генетическом стволе... Вдруг терялось ощущение бреда и казалось, что он говорит нечто разумное, стройное, может быть, очень умное, но тут же пронизывал страх: не сходит ли он с ума? Какая могла быть связь между пензенским распопом, жившим сто двадцать лет назад, и трудностями с диссертацией, с обсуждением в секторе? Он говорил, что связь есть. Тогда же, ночью, возникла идея поездки в Городец.

Профессор Вяткин сомневался в списках, добытых Сережей не вполне научным путем.

Совсем недавно она открыла папку с розовыми тесемками, погребенную под ворохом других папок на нижней полке большого книжного шкафа. Папка из глянцевитого желто-мраморного картона, который был в моде в десятых годах. Она читала, плохо понимая, буквы прыгали перед глазами, потому что думалось с горечью о том, что жизнь состоит из непоправимостей. Какая огромная часть его существа осталась неизведан-

ной! А ведь ей казалось, что она достаточно, сверхдостаточно знает о нем. Нет, ей казалось, что все это бесконечно неинтересно. Ничего поправить нельзя. Она переворачивала хрупкие, пахнувшие тленом странички, старалась вдумываться в смысл и с отчаяньем понимала, что смысл от нее отлетает: пустой и безжизненный, он мог лететь, лететь...

Какие-то фамилии, годы, села, волости, города, клички, занятия, адреса. У многих было по нескольку кличек. Что со всем этим делать? Невозможно понять. Тоска сжимала сердце. Прежде чем спрятать листочки в папку, завязать бантиком тесемки и сунуть папку под пресс десятка других папок, более толстых и тяжелых, она нашла в списке фамилию Кошелькова Евгения Алексеевича, 1891 года рождения, крестьянина села Городец, Московской губернии, портного, служившего в магазине «Жак» на Петровке.

С этим Кошельковым связывало единственное: сентябрьское утро в дымке, тишина пустой дороги, земля, уже чуть стылая, затвердевшая за ночь, пожелтевший и звенящий березняк и запах грибов (Сережино непременное бормотанье: «Грибы прошли, но крепко пахнет...» — и еще другое, его любимое: «Какая холодная осень. Надень свою шаль и капот...»), когда шли просекой не торопясь, но и не очень медленно, дорога предстояла далекая, у него было чудесное, веселое настроение, он шутил, дурачился и брал ее руку, заставляя размахивать сцепившимися руками с видом влюбленного школьника. И даже читал слова наоборот. Вдруг он становился таким, как был когда-то давно. Она тогда подумала: это, что ли, называется счастьем? Ясное утро, дорога, желтые рощи... Нет, не хватало Иринки... А вот когда-то приехали в Васильково в марте, на Иринкины каникулы, шли лесом на лыжах — Сережа убежал далеко вперед, Иринка едва телепалась, и было уже под вечер, красноватая желтизна за темными стволами, слепил глаза сумеречный снег,— и Иринка спросила: «Мама, а что это — счастье?»; ей было лет десять, на все вопросы следовало отвечать всерьез, и она задумалась всерьез, чтобы ответить понятно и кратко, но ничего не придумывалось, и тогда она вдруг сказала: «Вот этот вечер в лесу, мы трое на лыжах — это счастье. Понимаешь? Это и есть...» Иринка, конечно, не поняла. Да и она, сказав, не понимала по-настоящему. Должна была исчезнуть их жизнь.

А когда шла сентябрьским утром из Василькова на станцию, все боялась, что натрет ногу. Туфли были жесткие, новые. Не для дальней дороги. Но, кажется, все обошлось. Они отправились в село Городец в надежде отыскать хоть какие-нибудь следы Кошелькова Евгения Алексеевича, имевшего в московской охранке клички Тамара и Филипчук. Сережа говорил: разумеется, никаких родственников и отпрысков не найдется, сколько лет прошло, все перепахано, перемолото, но ведь что-то должно остаться, какие-то обрывки нитей, искры чьей-то памяти. Если хоть что-то найдется — просто запись в местной церкви о рождении и крещении,— значит, список не врет. Городец выбрали потому, что ближайший пункт к Василькову, двадцать восемь километров всего. Сначала ехали электричкой, потом автобусом. Село превратилось в городишко. Вокруг старенькой, еще когда-то французом поставленной сукновальной фабрики наросли четырехэтажные блочные дома с телевизионными палками на крышах, а когда шли мостком через тинистую, в зеленой ряске, речонку по имени Вопря, слева громоздился склон, весь облепленный черными, изгнившими сараями и домушками, в которых непонятно что хранилось, жил ли кто или же это береглось как историческая реликвия, как свидетельство дореволюционной нищеты и бесправия. Перед кирпичным одноэтажным домом с вывеской «Продтовары» стояли несколько мужчин с тем бездельным и лениво-рассеянным видом, который безошибочно обозначал вынужденную праздность, бюллетени, ночные смены и нехватку чего-то нужного им всем в эту минуту. Сережа пошел к ним узнавать. Через четверть часа он уже стоял в компании троих возле торцовой кирпичной стены дома и пил водку из бумажного стаканчика, закусывая помидором. Ей это очень не нравилось, она нервничала. Мужчины шутили. Он благодушествовал. Был замечательный сине-золотой день. Они бродили по городку, который местами напоминал деревню, заходили в дома, разговаривали в палисадниках, где пахло яблоками. К концу дня нашли старика, очень румяного, крепкого на вид, ходившего мелкими-мелкими медленными шажками в черных валенках: в прошлом году случился удар, думал, что помирает, но выжил. Старик говорил, улыбаясь красивым белозубым ртом:

— Бабья лета нынче удалась...

Это был сам Кошельков Евгений Алексеевич.

В марте в первый же час возвращения из Ленинграда — она примчалась самолетом, так извелась по Иринке — услышала жалобы от обеих. Иринка сказала, что бабка держала ее на казарменном положении, денег не давала, никуда не пускала, а с друзьями, которые приходили в гости, обращалась возмутительно. Выставляла грубым образом. Было не поздно, ну, полдвенадцатого от силы. Ребята, конечно, ушли, она пошла провожать, вернулась через час, а бабка в истерике — звонила всем подряд — Дашке, Тамарке, Бэле. Люди спать легли, она их поднимала. Совсем уж о ф и г е л а.

— Я с ней после этого три дня не разговаривала.

— Но, может быть, ты тоже не вполне тут права?

— В чем же я не права?

— Зачем пошла провожать так поздно? По-моему, это было лишнее. Она беспокоилась за тебя.

— А зачем она им хамила? Потому что не надо было хамить...

Разговор этот возник сразу, она не успела переодеться, распаковать чемодан, где лежали нехитрые подарки, купленные в Гостином дворе. Настроение еще не успело омрачиться. Слушая дочь и коря ее, она поглаживала Иринку по костлявой спине: лопатки выпирали, а трикотажная синяя кофточка с короткими рукавами заметно стала мала и для лета не пригодится. Но через четверть часа, когда Ольга Васильевна, переодевшись в халат, пошла в ванную, включила горячую воду, принялась с ожесточением тереть и мылить ванну старой мочалкой с помощью порошка «Гигиена» и что-то напевала вполголоса — как не напевала давно, может быть полгода, разучилась напевать, и сейчас это получилось бессознательно, и если бы она вдруг сообразила, что напевает, она бы, наверное, сразу замолкла,— дверь ванной комнаты скрипнула и раздался голос Александры Прокофьевны.

— Больше никогда Ирину на меня не оставляйте. Не хочу, хватит с меня, она взрослая девушка, пускай живет, как хочет.

— Хорошо, после поговорим,— сказала Ольга Васильевна.

— Или уж вы сидите дома, поскучайте немного. А у меня есть работа, я должна ее делать.

Старуха очень гордилась своей ерундовой работой для газетной «Юрконсультации», получаемой нерегулярно, после многих звонков и просьб: ее там просто

жалели, как пенсионерку и ветерана соцзаконности. Но вообще-то, как испытанный в судейских ристалищах боец, она умела нацелиться и кольнуть в больное. Так и теперь: слова «поскучайте немного» кольнули Ольгу Васильевну, однако она все еще не была в настроении ссориться и ответила миролюбиво:

— Хорошо, Александра Прокофьевна, дайте мне принять душ, потом поговорим.

Затем выяснилось: Иринка чудовищно распустилась, ничего не допросишься, ни в магазин, ни в прачечную, ни просто пол подмести, отвечает дерзко и все только требует, требует, требует. Иринка, подошедшая к двери кухни и слушавшая обличения бабки с насмешливым видом, спросила:

— Что я у тебя требовала? — Голос у нее действительно был дерзкий и грубый.

— Я с тобой не желаю разговаривать. Матери объясняю, пусть голову ломает, как с тобой быть.

— Ах, не желаешь? Ничего я у тебя не требовала.

— Ирина, не огрызайся. Пойди в комнату, дай нам поговорить.

— Ага, я пойду, а она тут будет врать...

— Слышите? «Она», «врать»...

— Ирина, уйди!

— Я уйду, но ты, пожалуйста, ей не верь. Единственное я просила — деньги на «Вкус черешни» в «Современнике». Она не дала. Я заняла у Дашки три рубля. А зимние сапоги, которые она обещала, я все равно знала, что она не купит. Так что ничего удивительного.

— Я, кажется, тебе объяснила, в чем дело, почему я не могу дать денег ни на театр, ни на сапоги,— сказала Александра Прокофьевна.— Спекулянтами никогда не пользовалась и пользоваться не стану, не дождетесь. Подлецов я не поддерживаю. Когда увидишь в магазине хорошие сапоги, скажешь мне, пойдем и купим. Я тебе многократно говорила. Но теперь, впрочем, придется отложить.

Ольга Васильевна почувствовала, как в голову над бровями вступила боль. Ирина ушла. Свекровь продолжала обличать Иринку: доказывала, что плоха, неумна, скверно воспитана и виновата в этом, конечно, мать. От всего этого, что стянулось узлом и выхода не предвиделось, никакого выхода, кроме начинающейся

мигрени, которую лечить неизвестно чем, Ольга Васильевна стала ненужно и зло спорить, защищая дочь:

— Вы не видите в ней ничего хорошего. А она нуждается в доброте, в ласке, ведь она лишилась отца...

— Вы смеете мне объяснять!

В узеньких глазках свекрови показались слезы, лицо ее побелело, губы обвисли. Это внезапно изменившееся лицо Александры Прокофьевны как бы подстегнуло Ольгу Васильевну, она поднялась и, стискивая рукою лоб, будто желая удержать рвущуюся наружу боль, а другою рукой потрясая перед собой — самообладание покинуло ее,— заговорила громко, сбивчиво:

— Потому что у вас нет доброты! Вы злая женщина! Но я не разрешу! Я не дам... Если нет отца, вы думаете — некому заступиться? Я... я вам не дам! — Спазма перехватила горло.— Почему вы не дали несчастные три рубля? Боялись, что не верну? Девочка должна побираться, как нищая! Она не нищая, нет! Пока есть мать, она не нищая — вы слышите? Зачем вы лгали и заманивали ее сапогами, будь они прокляты?..

Свекровь, глядя на нее презрительно и брезгливо, качала головой и отступала к двери. Лицо ее окаменело. Ольга Васильевна не слышала своего голоса. Вдруг крик:

— Мама! Замолчи!

Она увидела искаженное страхом лицо дочери. Иринка обняла ее, потащила куда-то. Потом Иринка исчезла, может быть, ушла в школу или в магазин, ее не стало. Ольга Васильевна лежала в полумраке, с занавешенными окнами и думала: «Взрослая дочь. Она меня защитит. Не могу без нее. Старухе раз навсегда сказать: не смейте...»

Встала в потемках. Обедала на кухне одна — Иринка убежала в кино. Свекровь доставала что-то из холодильника, молча подавала на плиту. Почему Иринка смылась в кино, зная, что мать так расстроена, что была ссора? Странный характер! Что-то неустоявшееся, гибкое, жесткое, отцовское. Такие же «убеги», исчезновения. Вдруг проявит человеколюбие, откроет умение жалеть и сочувствовать, обнаружит — на миг — взрослый и трезвый ум, а затем ошарашит какой-нибудь полудетской выходкой, капризом или же таким матерым эгоизмищем, что оторопь возьмет. Ну да, тянули в разные стороны. От отца слышала одно, от бабки — другое.

Для Ольги Васильевны главное — научить самостоятельности, независимости от людей. Нет никого жальче тех бедняг, которые зависят душевно от других. Мать Иринки всю жизнь такая. Теперь кончилось. И настигла другая мука: душа независима и пуста.

А у Иринки при всей избалованности, вспышках эгоизма и грубости есть эта слабость: незащищенность от чужой воли. Та история с театром в январе, на каникулах. Раньше билеты в театр доставал Сережа. У него сохранились приятели студенческих лет по театральному кружку: один стал артистом Театра Моссовета, другой сделался могущественным театральным администратором. Но вот заставить позвонить им было задачей. Как он не любил просить! Наседали на него вдвоем. Долбили неделю подряд. Если удавалось добыть три билета, тогда шли все вместе, если два, он уступал дочери. Иринка любила ходить с отцом: он был щедрее в буфете. И вот после ноября пошла в театр впервые. Билеты достала Даша. И как раз в тот театр, куда Иринка ходила с отцом чаще всего,— в Моссовета. Ольга Васильевна беспокоилась, девочке многое там будет напоминать. Сама бы не пошла в этот театр ни за что. Весь вечер Ольга Васильевна изнывала, томилась, звонила Дашиной матери: не будет ли кто девчонок встречать? Мать у Даши поразительно беспечна. Иринка пришла около двенадцати, мрачная, ни слова не говоря, пробежала в свою комнату, ужинать отказалась: «Болит голова!» Ольга Васильевна заглянула через четверть часа: девчонка плакала. Захлестнуло жалостью. Обнимала дочь, гладила, успокаивала и сама едва сдерживалась. А затихнув, Иринка рассказала неожиданное: Даша, оказывается, пригласила в театр еще одну девочку и весь вечер разговаривала с нею, а не с Иринкой. В антракте гуляли под руку вдвоем, а Иринка была как посторонняя. И шептались о чем-то секретно. Иринка так огорчилась, что после театра убежала не попрощавшись. Ольга Васильевна была поражена. Ведь так любила отца! А страдает из-за дрянной девчонки, притворщицы. Примирилась со своей Дашенькой скоро, встретила Ольгу Васильевну счастливая: «Дашка сказала, что Майка дура! С ней разговаривать не о чем. Она Феллини не признает...»

Звон, гром, хлопанье двери, бег по коридору — возвращение из кино в одиннадцатом часу. Не раздеваясь, стоя посредине комнаты и раскручивая длинный шерстя-

ной шарф, дочь сообщила новость: завтра хочет поехать за город дня на два. К Даше на дачу. Понимала, конечно, что наносит удар. Мать истосковалась, хотела провести субботу и воскресенье с дочерью. В глазах Иринки пряталась жалкая шкодливость. Ольга Васильевна старалась не показать ошеломления.

— Сначала разденься.

Иринка разделась, села к столу. Могла бы сесть на диван, рядом, но села подальше к столу, это значило: готовится сопротивляться. Тут вошла Александра Прокофьевна со словами, что чай горячий. Ольга Васильевна спросила, кто собирается на эту дачу.

Последовал пересказ имен, частью незнакомых, человек восемь. Надо же ей немного подышать воздухом для здоровья. Это же необходимо, правда же?

— А школу вы пропускаете?

— Да ну! — махнула рукой.— У нас в субботу один урок. Все болеют, такой ужасный грипп в Москве.

— Какой урок?

— Физика.

— Нет,— сказала Ольга Васильевна,— мне это не нравится.

— Мамочка, ну почему?

— Пропускать урок — мне это не нравится.

— Ну почему, почему? Что такого? Один урок, подумаешь!

— Если не понимаешь, объяснять не желаю. Не нравится мне это.

Ей не нравилось не только это и, наверно, гораздо больше не это, а то, что дочь так легко расставалась с нею, едва встретившись после десятидневной разлуки. Бог знает что. Быть такой тупой, так ничего не понимать в близких людях. Это от отца. На него находили периоды глухоты. Свекровь стояла рядом и слушала молча. Одобрить Иринкину авантюру она, конечно, не могла, но и сказать два слова в поддержку Ольги Васильевны было свыше ее сил.

— Мало ли что тебе не нравится. Мне тоже, может быть, кое-что не нравится...— Иринка сидела, выпрямившись, у стола, нога на ногу, с высокомерным видом, глядела в скатерть. Правой ногой она сильно раскачивала. Был как раз тот самый независимый облик, к которому так стремилась Ольга Васильевна.

— Что тебе не нравится?

— Кое-что.

— Например?

— Мало ли... Например, то, что ты часто уезжаешь из дома. То в Челябинск, то в Ленинград.

— Я уезжаю, милая моя, в командировки. Меня посылают, хочешь не хочешь. («Вот уже и оправдываюсь перед ней».) Ты думаешь, я так, по своей воле?

— Знаю, что в командировки, но ведь и самой хочется немного отвлечься, правда же?

— От чего отвлечься? Что ты глупости мелешь?

Но то были не глупости. Кровь прилила к лицу Ольги Васильевны. Свекровь продолжала стоять молча.

— С чего ты взяла, что я хочу отвлекаться? Кто тебе сказал такой вздор? — Ольга Васильевна не смотрела на свекровь, но всем нутром ощущала ее присутствие. Ей казалось, что свекровь улыбается.

— Всем нам, конечно, тяжело без папы,— продолжала бормотать девчонка,— но мы с бабушкой никуда не можем уехать. А ты...

— Что я?

— Ну, делаешь себе такие отдушины... А мне, может, тоже грустно дома сидеть, и я хочу отвлечься. Каких-то два дня.

— Дура ты, дура...— слабым голосом сказала Ольга Васильевна, вытирая ладонью глаза.— Я себе в этих командировках места не нахожу, стремлюсь домой... Каждый вечер по телефону... Дни считаю, когда увижу тебя, бессовестную... А ты — отвлечься... Неблагодарный ты человечек. Уходи, видеть тебя не желаю!

Иринка выбежала.

Александра Прокофьевна произнесла в пространство:

— Пускать за город, конечно, не следует.

— Почему вы это ей не сказали? — спросила Ольга Васильевна.— Хотите быть хорошей?

Потом стирала до полночи. Иринка, чертовка, ничего своего не выстирала. Да все равно перестирывать, только грязь развезет. На другой день перед школой, уловив минуту, когда бабка отлучилась из кухни, Иринка просила прощения. Как обычно, делала это казенно-жалобной скороговоркой: «Мам, прости меня, пожалуйста, если хочешь, я не поеду», но Ольге Васильевне показалось, что это важный акт смирения. Она простила, сказав, что поговорит с Дашиной матерью по телефону, после чего будет принято решение. Но главное: опять обволокла и обессилила жалость! Опять взгляну-

ла на девчонку со стороны, и сжалось сердце: сирота, все одна, одна в своей комнатке, отца нет, мать в разъездах... Как не отпустить? И — отпустила.

Старичок в черных валенках ходил по саду бесшумно, даже листьями не шуршал и все улыбался:

— Бабья лета нынче удалась...

Ольге Васильевне старичок не нравился. Она думала с беспокойством: «Боже мой, но почему же удалась?» В том золотом дне, в глушине сада, в беспамятности старичка была тревога, она ощущала отчетливо, только не могла понять: откуда и почему? Все эти поиски были ненужной забавой. Ну вот нашел замшелого старичка, когда-то служившего в магазине «Жак» на Петровке,— выдернул его, как туза из колоды, ну, а дальше? Тот ничего не помнил, не знал, не желал, не ведал, ибо после магазина «Жак» свалилась на него громадная жизнь, как гора камней, и все засыпало и задавило, что́ едва шевелилось в памяти.

— А господин Жак был знаете какой? Ого! Чуть что не по-ихому...

— А конец февраля? Вы помните?

Нет, ни́чего не высекалось, не вылущивалось из пещерных недр. Ведь были войны, лихолетья, далекие страны, ледяная стынь, смерти и погубления, а Городец с садиком, с тишиной возник лишь недавно, как поздняя зарница на краю жизни. И то спасибо, господи, за поздноту! Сережа вынул тетрадку с карандашом, да так ничего путного не записал. Дочка старичка, приземистая мрачноватая баба позвала ужинать на терраску. Там же была невестка этой бабы, медсестра, и двое ее ребят, а вскоре пришел муж медсестры, стариков внук, которого звали Пантюшей, это имя хорошо запомнилось.

Пантюша был сутул, на голову ниже Сергея, черен, броваст, из провальных глазниц так и зыркали злые, колючие, как у крысака, глазенки. То ли был он пьян, то ли болен чем-то, то ли просто злоба кипела в нем и душила его, как иных душит слишком густая кровь. Сначала молчал и все рассматривал Сережины брюки, ботинки, часы, свитер, потом так же внимательно изучал туфли Ольги Васильевны, ее замшевую курточку, тогда еще новую, нигде не засаленную и очень красивую. На курточку смотрел особенно долго. Ольга Васильевна

даже подумала: «Неприятно смотрит». Сережа не замечал злобной внимательности Пантюши — как вообще не замечал внешности, взглядов и выражений лиц людей, его интересовали слова — и продолжал упорно добиваться у старичка каких-то подробностей насчет московской охранки. Пантюша вдруг спросил, притрагиваясь к рукаву замшевой курточки:

— И где же такие пиджаки берут?

— Это из Венгрии,— объяснила Ольга Васильевна.

— А! Не наш, значит? Ишь ты, как бархат...

— Да это замша,— сказала медсестра.— Что ж ты, не видишь?

— Я вижу. Я-то вижу.

— Ну и сиди молчи. Руками не трог. Рук не отмыл небось, а на него всякая грязь садится, на замшу. Ах ты горе! Вроде чуток загрязнил!

Она схватила платок, бросилась к рукаву замшевой курточки оттирать. Дети тоже подскочили, сгорая от желания потрогать необыкновенную курточку. Пантюша скрипел зубами. Старичок, как будто занятый беседой с Сережей и к тому же крепко недослышавший, внезапно и очень кстати вступил в разговор о курточке:

— Почему у нас нет? В Камергерском переулке, магазин братьев Шульц, «Земиш-ледер» называется... Перчатки, кофры...

Пантюша махнул на деда рукой.

Принесли картошку в чугуне. День неожиданно смерк, зажгли электричество. Сережа начал что-то записывать. Он все старался разузнать насчет пожара в Феврале семнадцатого: кто приказал, да кто тушил, да кто тогда командовал. Старичок был ничтожно мал в ту пору, пылинка в бурю, однако прошло пятьдесят три года — пылинка странным образом еще существует, еще пляшет в луче солнечного света, хотя все вокруг смыто, унесено... И Ольга Васильевна понимала, отчего с такой жадностью вслушивается Сережа в полувнятное бормотанье. Одно изумляло, и хотелось спросить: как же уцелел? Неужто никогда ничего... не тягали?

— Как не тягать? Это беспременно...— говорил старичок, улыбаясь.— То на войну, то излишки... У нас, конечно, специальность хорошая, так что нигде не пропасть... Мы начальство обшивали, всегда с куском хлеба... И даже на другой пункт затребуют, а наш начальник, товарищ Гравдин, не отдает, так что ссорились из-за нас...

И старичок подмигивал, рáдостный.

Пантюша, уходивший куда-то, опять возник за столом.

— Вы чего у деда пытаете?

— У вашего деда богатейшая жизнь,— сказал Сережа.— Разговариваем о жизни...

— А записываете на кой?

— Я историк, мне это важно для истории.

— Какой еще истории?

— Истории Февраля семнадцатого года. Февральской революции и всего, что с нею связано. Это сложный, еще не полностью изученный период, и каждое новое свидетельство для нас ценно. Так что вы извините за то, что мы вам надоедаем, мы скоро уйдем.

Сережа говорил спокойно, терпеливо, но тот хотел ругаться. Стал вдруг кричать:

— Нé хрена выпытывать! Будя! Историки, туды вас! — И тряс перед лицом Сережи узластым пальцем.— Я вам не дозволяю!

Мать и жена успокаивали Пантюшу, но как-то робко. Ольга Васильевна испугалась. Надо было уходить. Но Сережа никогда не мог уйти вовремя, ему все казалось, что надо что-то доделать: допить, доесть, дообъяснить или же доругаться. И он вдруг, побагровев шеей, надувшись, пустился с пьяным дураком объясняться, чтó есть история и зачем она нужна. Пантюша слушал усмешливо и враждебно и, возражая, тряс пальцем:

— Да мы в школе эту историю читали. Зна-аем! Чего вы мне мозги пудрите? История, история... Хватит, есть одна история, а больше не нужно.

— Послушайте, Пантелей, вы кем работаете, собственно?

Когда Сережа разговаривал с простыми людьми, в особенности когда затевал с ними спор, у него возникал почему-то неприятный высокомерный тончик, по-видимому невольно, но людей раздражало. Пантюша грубо ответил: какое, мол, дело, где работает? Может, на Богородском кладбище за трояк могилы копает. А вы, случаем, не из милиции или из ОБХСС проверщики? Все это говорилось с угрозой и с трясением уже не пальца, а кулака перед носом Сережи. Ольга Васильевна тянула Сережу из-за стола. Но тот упорно сидел, втягивался в скандал.

— Нет, послушайте, я вас, кажется, ничем не обидел... Просто интересно — за что вы на меня взъелись?

— Да на хрена мне твоя история! Нечего выпытывать!

— История не моя, она и ваша тоже, и вашего деда. Она принадлежит всем. Вот, к примеру, село Городец очень древнее...

Медсестра шептала Ольге Васильевне, чтоб на мужа не обижались, он чумовой, у него голова слабая, и, если выпьет, обязательно начудит и к людям пристанет, за что его бьют тяжелым боем, а работает он механиком на элеваторе и вообще хороший человек. Старичок Кошельков, давнишний сотрудник московского охранного отделения, столь давнишний, что это потеряло теперь всякий запах и цвет, перегорело и выдохлось, дремал безмятежно, опустив на грудь голову в венчике младенческих белесых волос. Сережа что-то рассказывал о здешних князьях, о татарах. Ребятишки слушали. Пантюша щурил бешеный, неподкупный глаз.

— А ежели по шее? А? — Скрипел зубами.— Во будет история.

До автобусной станции идти было долго, шли впотьмах. Ольга Васильевна дрожала то ли от страха, то ли от холода. Золотой день сменился осенним ледяным вечером. Она Сережу торопила, а он еле шкандыбал, разморившись от водки, и благодушествовал, и болтал, радуясь своей удаче со старичком. Ей это казалось вздором. Кому все это нужно? Лаяли собаки, некоторые, особенно злые, выскакивали на дорогу и бежали следом, он на них замахивался, швырял камни, они свирепели пуще.

— Перестань! — просила она.

Но он как будто получал удовольствие от войны с собаками. Каждую минуту могли появиться из темных дворов какие-нибудь парни с батогами, с вилами. Ох, как она на него сердилась! Все было нелепым мальчишеством: поездка, сидение до ночи, разговоры со стариком, выжившим из ума.

— А-рр! А-рр! — дразнил он собак и хохотал, слушая лай.

«Боже мой,— думала она,— и этот человек, почти пожилой, почти кандидат, почти ученый... Нет, ничего не добьется». Эта догадка, смешанная со страхом, пронзила ее в тот вечер на черной улице, где он сражался с собаками. Их окружала уже целая свора, от здоровенных псов до визгливых малявок, которые прыгали вокруг них, как блохи. И вдруг спасение — треск мото-

ра, и, разгоняя псов и слепя фарой, подкатил сзади и остановился мотоцикл.

— Садись! История! — гаркнул Пантюша. Белый мотоциклетный шлем и белые перчатки с крагами, как у милиционера, светились в темноте.— Айда до электрички, до Вороновской, докачу! Семь километров, это мы счас.

Ольга Васильевна колебалась — все-таки чумовой, да и пьян,— но Сережа уже толкал силой в коляску, сам влез на багажник, обхватил недавнего супротивника под мышками, как лучшего друга,— мужчины, конечно, поразительны в том смысле, как легко их мирит и сплачивает хмель и как быстро они прощают друг другу оскорбительное,— свистнул по-бандитски, как не свистел много лет, и — помчались. Путешествие было недолгое, каких-нибудь четверть часа, но незабываемое. Ольга Васильевна полагала, что живыми из этой переделки не выйти. Бросало, кренило, дергало, зубы колотились, хотела крикнуть, но не могла разжать рта и набрать достаточно воздуху, и самым ужасным был страх за Сережу, который все норовил приподняться на своем багажнике и, выкидывая вверх руку, кричал громовым, парадным голосом: «Славным труженикам Городца — ура-а!» — или: «Героическим колхозникам села Барановка — ура-а!» Пантюше эти лозунги, как видно, нравились, он тоже кричал «ура», а дорога была мутна, призрачные избы летели навстречу, мелькали столбы, озаренные на миг, какие-то тени шарахались в кювет. «Одиноким прохожим — ура-а!» — орал Сережа и махал шарахающимся рукою с кепкой.

Ольге Васильевне было страшновато, но она смеялась про себя, даже плакала от смеха, а может быть, от того, что переполняло ее тогда. Она и сердилась на него, и любила его. Недолго этому крикуну, неизжитому мальчику оставалось шуметь на земле. Климук вдруг потребовал, чтоб Сережа подтвердил, что Кисловский просил у него документы для своей диссертации, а взамен обещал поддержку во время защиты — так оно и было, наверно, но ведь Сережа знал об этом только от самого Климука, тот был посредником, а теперь почему-то перевернулся на сто восемьдесят градусов и плел сеть на Кисловского. Сережа не умел интриговать, его это отвращало и злило, и он от злости совершал нелепейшие поступки. Господи, если бы он тогда объединился с Климуком! Тот его так просил! Все могло бы сложиться иначе. Он бы остался жить. Он бы

прекрасно жил, работал, шутил, катался бы на лыжах до глубокой старости и двигался по лестнице вверх. Но неизвестно отчего умирают люди. Неожиданно что-то иссякает, благо жизни, как говорил Толстой. Благо его жизни еще длилось, он еще тормошился, еще чего-то хотел, стремился куда-то.

Он еще мог знакомиться с новыми людьми и приобретать, как ему казалось, новых друзей. Вдруг появилась Дарья Мамедовна. Вспоминать о ней тягостно. Но и отвязаться нельзя. Эта женщина впервые и по-настоящему напугала Ольгу Васильевну, потому что вдруг отчетливо представилось, как Сережа исчезает — с ней. Он и исчез потом, и она оказалась дальней виновницей, той точкой несчастья, из которой размоталось потом все непомерное несчастье, как буран в «Капитанской дочке», разросшийся из чуть заметного облачка. Люди в долгой жизни окружают нас какими-то скоплениями, друзьями: внезапно кристаллизуются и внезапно пропадают, подчиняясь неясным законам. Когда-то были друзья юности вроде Влада, студенческие компании,— сгинули без следа; потом Сущевская, художники, старики, пьянчужки, Валерка Васин с Зикой,— тоже канули в воду; потом люди из музея, те, другие, Илья Владимирович,— точно не было никогда! Потом институтские, васильковские,— теперь уж и эти провалились в тартарары... А потом Дарья Мамедовна со своими умниками...

Как только Ольга Васильевна увидела в первый раз зеленовато-смуглые щеки, белки с синевой, смоляные гладкие волосы без единого завитка, без волнистости, как облитую водой маленькую, змеиную голову, сердцем почуяла: беда! Сорок с небольшим, а фигура двадцатилетней девицы. Но не фигура тут была страшна, не смуглота, не ноги стройные, а та слава, что шла о ней и раздувалась подпевалами и дружками, шарлатанами разных мастей: о том, что будто бы умна необыкновенно. Чепуха это! Выдумка! Ольга Васильевна видела ее несколько раз, в гостях, в театре, и у Лужских, и однажды даже в собственном доме, и разговаривала с нею на всякие темы, от ее излюбленной парапсихологии до современной поэзии, и поняла скоро: королева-то голышом. Все показное, нахватанное, приблизительное, но при этом, конечно, самоуверенность адская и манера выражаться твердо и категорично, как бы вынося приговор, который обжалованью не подлежит. Неприятнейшая особа. Но какие-то дураки на нее клевали.

Ну, подумаешь, кандидат наук, почти доктор,— забавно, что про нее так и говорили, вероятно, сама такую аттестацию про себя распускала: «без пяти минут доктор» — ну, философ, психолог, передрала массу книг, язык хорошо подвешен, но ведь это не все. Можно нафаршировать себя информацией, но ума не прибавится.

Было шесть лет со дня Фединой смерти. Луиза пригласила друзей — Лужских Борю и Верочку, Щупакова с его Красиной, еще кого-то из института и Генку Климука с Марой. Сережа с Климуком уже были почти врагами. Луиза из-за этого нервничала, советовалась с Ольгой Васильевной по телефону: как быть? Не позвать Климука было невозможно. Он ведь изменился как раз *после* Фединой смерти, а при жизни Феди вел себя сносно, и Луиза знала его как доброго малого, старого приятеля. Сережа сказал:

— Черт с ним, пусть приглашает, я его трогать не буду.

Луиза Сережу любила, и, разумеется, он был для нее самым дорогим гостем — потому что и Федя его любил,— Климук тоже был товарищем Феди, спутником в последней поездке и, кроме того, организовал Луизе какую-то помощь от института. Устроил единовременную безвозвратную ссуду — и, как Ольга Васильевна потом узнала, сумма была не маленькая, вдвое больше, чем получила она,— и каждое лето отправлял Фединых детишек в институтский пионерлагерь. В общем, не пригласить его она не могла.

— Я знаю, его многие не любят, считают подонком, но ко мне он хорош. Не могу же я быть свиньей,— объясняла она Ольге Васильевне.— Каждый Новый год присылает открытки. И в Федин день рождения поздравляет, даже цветы привозил. А Сережа забывает...

Сережа забывал. Были случаи, забывал даже Ольгу Васильевну поздравить с днем рождения, а уж путал день — вместо четвертого июня поздравлял третьего — постоянно. Климук ничего не перепутает. Зачем-то ему было нужно быть с Луизой хорошим. Кажется, Луиза надеялась, что Климук поостережется садиться с Сережей за один стол, пить с ним водку и под каким-нибудь предлогом не явится. Но тот явился. Маре хотелось покрасоваться перед бывшими подругами, рассказать о новой квартире, голубом кафеле, обоях под дуб, о причудах спаниельчика Рэди и, конечно, о зарубежных

впечатлениях — много всего накопилось, пока не виделись. А не виделись, правда, давно. Все как-то пожухли, потускнели. Красавица болгарка Красина, жена Щупакова, пожелтела лицом. Боря Лужский, врач-психиатр, с которым Ольга Васильевна так любила разговаривать, превратился в подсохшего пожилого человечка, к тому же в тяжелых американских очках, которые его старили. Борина жена Верочка жаловалась на печень и ничего не ела. Но заметней всех изменилась Луиза, похудела, ссутулилась, и платье на ней было такой чудовищной пошлости и дешевизны, что Ольга Васильевна ужаснулась: женщина махнула на себя рукой! Было ее очень жалко. Она, конечно, натужилась из последних сил, чтобы пригласить людей и угостить как следует, стол был богатый, но по жадным глазам детей, по тому, как они таскали потихоньку с тарелок то кусочек ветчины, то сыр, видно было, что едят такое не часто. Водки было две бутылки, раньше бы вмиг осушили и уже гоняли бы за добавкой, а теперь насилу за вечер «усидели» одну, и ту без охоты: у одного гипертония, другому ночью доклад писать, Климук и Боря Лужский за рулем. Сережа, конечно, не отказывался, но больше всех налегала Мара. Она была, кажется, единственной, кому шестилетие пошло впрок: налилась соком, раздобрела, стала плотной, холеной дамочкой, ее круглое, малиновое от водки личико сияло, выражая полное удовольствие жизнью. Ольгу Васильевну она раздражала. Не хотелось с нею разговаривать, а уж тем более слушать ее хвастовство.

Как только та заводила что-нибудь про спаниельчика Рэди, понимающего сто сорок слов, или про свои путешествия: «Представляете, ужас, идем в Ницце по бульвару...» — Ольга Васильевна нарочно громко перебивала ее, прося передать блюдо, или включить телевизор, или еще что-нибудь. Конечно, это было грубо, но Ольга Васильевна не могла себя побороть: слушать самодовольную Мару было несносно. И она, и Климук как будто напрочь выкинули из головы, что Сережа долго добивался поездки во Францию, она была ему необходима, но у него почему-то не вышло, а эта трясогузка, ничтожество, нигде не работающее, уже побывала и в Ницце, и в Париже, и в Риме, черт знает где. Ну, хорошо, исхитрились, словчили, но имейте же чувство такта, не хвалитесь на всех углах, тем более при Сереже.

Сережа, впрочем, как будто не слушал всей этой заграничной брехни, думал о своем, но Ольга Васильевна на Мару злилась. Люди, которые по мере житейских успехов обрастают все более толстой кожей, были всегда неприятны, и она старалась держаться от них подальше. Раньше она относилась к Маре терпимо, даже добродушно. Та казалась жизнерадостной полудурой, далекой от фокусов и интриг, которыми занимался муж. Но вот обнаружилось: с каким аппетитом пожираются плоды этих фокусов и интриг!

— Луизочка, киска, у тебя все очень вкусно,— снисходительно одобряла она, беря из вазы фрукты.— Почему мы перестали общá? Давайте общá!

Дети с тоской смотрели на то, как сочные груши конвейером, одна за другой, исчезают в зубастом рту толстой, малиновощекой тети в голубом парике.

А Климук был мрачноват или, может быть, переполнен чувством собственной значительности: не разговаривал помногу, как обычно, не балагурил, а когда Луиза принесла гитару — знаменитую Федину, на которой тот чудесно играл,— и попросила спеть любимую Федину «Быстро, быстро донельзя», Климук сказал, что такими делами больше не забавляется, просит уж извинить, голос сел.

Слишком большой человек, чтобы петь под гитару песенки неясного содержания, как студент в электричке. Вот если бы что-нибудь вроде «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Это уж Сережа после издевался над ним, дома, вспоминая все перипетии вечера, окончившегося ссорой и руганью. Было ужасно, что не смогли сдержаться и наскандалили в такой день. И Сережа был виноват не меньше Климука. Вначале все было тихо-мирно, они просто не разговаривали, сидели на разных концах стола. Их отношения еще не были смертельно враждебными, какими стали потом, но они демонстративно презирали друг друга: Сережа презирал его за карьерность, а тот его за якобы завистливость. Он ведь считал, что Сережа не может пережить его, Климука, сказочный взлет.

Все бы кончилось благопристойно, тем более что Климуки собирались рано уйти, если бы не одна институтская дама — имя забылось,— дородная, черновато-седая, которая стала вдруг с нажимом, очень пылко восхвалять Федино бескорыстие и неумение жить.

— Таких людей сейчас просто нет! — восклицала она.— Федор Александрович был в этом смысле уникальный человек. Ведь он ничегошеньки, ни вот столечко себе не урвал.

Голос дамы дрожал от волнения, она, конечно, преувеличивала, Федя был человек хороший, но не такой уж исусик, как она изображала. Еще кто-то заговорил на эту тему, стали вспоминать Федину доброту, привычку помогать людям и заодно уж, с оттенком умиления,— его бесхозяйственность и непрактичность, чем он действительно отличался. Луиза неожиданно расплакалась и стала жаловаться на все подряд: никуда дальше Крыма не ездили, не было у него хорошего зимнего пальто, квартиры не поменял, все хотел поменять через бюро обмена, а почему не добиться на работе, как все добиваются? Теперь уж надеяться не на что.

— О себе думал в последнюю очередь, а все о других, о других,— шептала Луиза, поникнув головой, заметно поседевшей.

Никто не хотел этих слез, жалоб. Спокойствие было подорвано, заговорили разом, охваченные порывом любви к Феде, такому чистейшему, не похожему на обыкновенных людей — боже мой, непомерное преувеличение, но в тот миг казалось, что прикоснулись к самой истине! — растроганные горем этой женщины, обликом бедноватой квартирки со старыми вещами и, наверное, подогретые рассказами Мары о климуковском процветании... А как будет выглядеть ее собственная квартирка через шесть лет?

Получилось так, что, восхваляя Федю, невольно метили в Климука. Тот напружинился, тоже пел про Федю что-то хвалебное, но в голосе была трещинка. Все катилось ко взрыву. Бородатый Щупаков, Федин друг школьных лет, как человек посторонний, поинтересовался наивно:

— Разве ученый секретарь имеет какие-либо особые возможности?

Вероятно, был не так уж наивен, просто первым нанес удар. Черновато-серая дама немедленно отозвалась:

— А как вы думаете?

— Я не знаю, посему интересуюсь.

— Возможности немалые. Да вот Геннадий Витальевич сидит перед вами, он подтвердит, я думаю.

Климук честно округлял глаза, мотал головой и при-

знавался, что при всем желании не может понять, о каких возможностях речь:

— Ну, ей-богу, не могу догадаться...

— Да как же так, Геннадий Витальевич? У вас же все в руках! — искренне изумлялась дама.

— Что у меня особенное в руках? — Климук смеялся.— Вот уж не знал!

— Да все, все! Абсолютно все!

Дама тоже смеялась несколько льстиво. Климук пожимал плечами. Все могло уйти в шутку, в болтовню, но Сережа вдруг совсем иным тоном — твердым и хамоватым — сказал, что Федина талантливая диссертация нигде не напечатана, а твоя, мол, крайне посредственная, вышла уже двумя изданиями — в сборнике и отдельной книгой.

Климук сделал вид, что не слышал. Даже не посмотрел в Сережину сторону. Последовали чьи-то реплики, не относившиеся к делу, после чего Климук произнес со вздохом:

— Жаль мне тебя, Сергей... Как трудно, должно быть: все время следить за чужими успехами!

Было сказано беззлобно, как бы с сочувствием. Сережа взорвался: какие успехи, черт побрал? Да плевать хотел! Не успехи, а дерьмо! И еще что-то яростное, комом, криком. У Луизы побелело лицо. Ольга Васильевна махала руками Сереже, чтоб замолчал. Она испугалась за него. Мара ринулась защищать мужа и верещала, как на кухне. Кто-то из институтских — и дородная дама с пылкостью — ополчились на Сережу. Климук улыбался мстительно. Дородная дама восклицала:

— Непарламентские выражения! Вы допустили непарламентские выражения!

Климук и Мара ушли. Вскоре ушли и другие институтские. На их лицах, когда прощались с Сережей, было напечатано осуждение. А дородная дама,— которая, как выяснилось, была важной функционеркой, членом какой-то комиссии,— шептала озабоченно:

— Сергей Афанасьевич, должна вас огорчить: это называется casus belli!

Сережа усмехнулся беспечно:

— А, черт... Пускай!

У него сделалось веселое настроение.

Он стал разговорчив, шумлив, рассказывал, изображая забавно — как он умел,— про поездку в Городец и встречу со стариком Кошельковым. Луиза успокои-

лась, все подобрели, Щупаков с Красиной были, конечно, на Сережиной стороне. И неприятное, с криком, как-то сгладилось и заслонилось иным — забыть нельзя, но старались забыть,— и вот тут-то впервые возникло имя Дарьи Мамедовны. Сережа говорил, что в списке секретных сотрудников охранного отделения были три нераскрытых крупных фигуры, обозначенных кличками. Вероятно, с ними или с кем-то из них связаны аресты в 1916 году. Эти темы занимали его постоянно. Ольга Васильевна даже подшучивала над ним:

— Ты кто, историк или частный детектив?

И так как перед этим Красина, милая и добрая женщина, но не слишком далекая, рассказала об одной крестьянке из горного села на юге Болгарии, которая обладает даром провидения и какими-то другими парапсихологическими талантами — настолько удивительными, что к ней приезжают из-за границы, и знакомая Красины получила от нее точный ответ по поводу своего погибшего таинственным образом друга,— кто-то шутя сказал: а вот обратиться к такой пророчице и спросить бы по поводу секретных сотрудников! Вдруг откроет секрет? И совсем уж смехом кто-то предложил: а если спиритическим сеансом вызвать дух полковника Мартынова и все у него вызнать? Тут Боря Лужский и рассказал про Дарью Мамедовну. Это уж без шуток, она занимается парапсихологией всерьез, а заодно интересуется всякого рода оккультизмом, восточными магами, медиумизмом и прочими темными делами. При этом в высшей степени образованна, знает четыре языка, выступает с лекциями. Отец ее кавказский человек, оттого она Мамедовна, он был врач-гомеопат, очень богатый, умер во время войны, а мать из дворян.

Так заинтриговал, что все стали требовать, чтобы с нею познакомил, привел бы к кому-нибудь из общих знакомых в гости. Особенно горячился Сережа. Еще бы, экзотическая личность: она и дворянка, и восточная женщина, и медиум, и профессор! Боря обещал непременно это сделать. Его жена Верочка охладила общий энтузиазм, сказав, что Боря сам знает Дарью Мамедовну едва-едва, познакомился у Костиных, это молодые физики, очень талантливые, и вряд ли мимолетное знакомство позволит пригласить эту женщину в дом.

То, что Верочка назвала Дарью Мамедовну холодновато *этой женщиной*, еще более насторожило Ольгу Васильевну. Значит, и Верочка чует тут опас-

ность. А Верочка не станет неспроста опасаться, она рассудительная, умная. Ольга Васильевна спросила:

— Вера, а ты знакома с Дарьей Мамедовной?

— Видела один раз. Вот тогда, у Костиных.

— Ну и что? Восточная красотка?

— Да нет, пожалуй...— с запинкой ответила Верочка.— То, что называется на любителя. Но наш Боря как раз любитель. По-моему, она его сразила наповал.

— Боря, немедленно знакомь! — дурачился Сережа.— Какой же ты товарищ? Как тебе не совестно?

— Не суетись, ты там не проходишь.

— Я не прохожу? А кто же — ты проходишь?

— Я под вопросом. Но все-таки есть шанс. Потому что я занимаюсь психиатрией, это ей близко. А ты, мой милый, со своей историей Февральской революции там даром не нужен...

Так они юродствовали и болтали, а у Ольги Васильевны сердце замирало от недоброго предчувствия. Выяснялись подробности: ей сорок с чем-то, но прекрасно выглядит, очень спортивная, плавает в бассейне. Была замужем, муж погиб. В прошлом году появилась в «Науке и жизни» ее статья о парапсихологии, что-то вроде «Таинственное вокруг нас», журнал нельзя было достать, в библиотеках записывались в очередь. Боря грозил Ольге Васильевне пальцем:

— Оленька, этот тип нацелился всерьез. Ты за ним приглядывай...

Все хохотали. Ольга Васильевна изо всех сил стремилась улыбаться и отвечать в таком же игривом тоне. Прошло месяца три. Ничего о Дарье Мамедовне не было слыхать. Потом Ольга Васильевна узнала, что Сережа с нею познакомился, он сказал об этом мимоходом, небрежно, как о факте совершенно незначительном. Может быть, так и считал сам, а может, притворялся. Рассказывая о выставке художника Преснина, анималиста, обмолвился:

— Кстати, познакомился там с этой Нигматовой.

— С какой Нигматовой?

— Да с этой, с Дарьей Мамедовной, о которой — помнишь? — Боря рассказывал у Луизы...

Еще бы не помнить! Она обомлела. Женя Преснин, оказывается, знал ее мужа, художника. Это что же, было заранее договорено? Ничего подобного, случайное знакомство. На роковую женщину не похожа. Какая-то сухонькая, поджарая, на цыганку смахивает. Говорила, что

сейчас ее повсюду ругают, громят. После вернисажа Женя устроил аляфуршетик для своих, там были знакомые из дома на Сущевской. Кто-то сказал, что Георгий Максимович болеет...

Слова про отчима Ольга Васильевна расценила как дымовую завесу и вовсе на них не отозвалась. Она знала от матери — разговаривала чуть ли не каждый день по телефону,— что у Георгия Максимовича нехорошие анализы, он слабел, жаловался на боли и, вероятно, его положат в больницу. Все это было известно, и Ольга Васильевна очень жалела Георгия Максимовича и волновалась за мать. Но сейчас поразило другое: какой-то аляфуршетик, где Сережа познакомился и разговаривал с этой особой. Ольга Васильевна еще не знала ее, ни разу не видела, но при упоминании имени испытывала какое-то странное астматическое раздражение, вроде легкой одышки. В чем тут было дело? И вот в таком состоянии раздражения, слегка задыхаясь, она стала упрекать его за то, что, пользуясь вольным режимом дня и тем, что она занята на работе от звонка до звонка, он шатается один — к друзьям, на выставки, заводит знакомства. Точно холостой...

Пошлые слова, пошлые мысли... То, что она говорила, было постыдно... Но ведь это была болезнь, это была аллергия, несовместимость. Она задыхалась и не могла себя победить.

Зимою приехала тетя Паша из Василькова со слезами. Николай под арестом, будет суд, парню грозит большой срок. Семковские с васильковскими разодрались в клубе, а Колька как бригадмил хотел разнять и одного семковского срубил. Тот едва не помер, сейчас в больнице. Отходили, спасибо врачам. Он этого семковского сроду не знал, слыхом не слыхивал, и вот на ж тебе — несчастный случай. Чем срубил-то? Да топором. Хотел, конечно, разнять как бригадмил, а они, козлы пьяные, на него кинулись, он и махнул. Александра Прокофьевна заметила, что топор странное оружие для бригадмила.

— А, забыли? — сказал Сережа.— Дом-то с топориком, помните?

Тетя Паша плакала, просила помочь. Адвоката нанять, пускай хоть сколько возьмет, она денег достанет, корову продаст, мотоцикл продаст. Александра Прокофьевна стала суетиться. Хотя дело казалось ей безнадежным. Ездила в Васильково и в райцентр Рябцево, где он сидел под арестом, разговаривала со следо-

вателем, с начальником милиции. И после первой же поездки (было глубокой осенью, в конце ноября, погода стояла отвратительная, внезапный холод и мокрый снег, все уговаривали ее не ехать, Сережа кричал на нее: «Я тебе запрещаю! Думать не смей! Ты старуха и должна вести себя как старуха!» — такие грубости позволял себе не часто, это уж с перепугу, она отвечала: «Никогда не буду вести себя как старуха, и если обещала человеку, женщина меня ждет, значит, я должна ехать», он еще покричал, погрозил и поехал в институт, уверенный, что мать не совсем уж свихнулась и останется дома, Ольга Васильевна ушла на работу, Иринка — в школу, а старуха взяла зонт, надела свой туристический наряд времен наркома Крыленко, резиновые сапоги и отправилась на вокзал),— и вот, вернувшись вечером, измученная и продрогшая, похожая на жалкое, страховидное чучело, она рассказала, что дело обстоит совсем не так, как изобразила тетя Паша. И хуже, и лучше. Сережа был рассержен на мать, не захотел слушать и нарочно вышел из-за стола, а Ольга Васильевна всегда была для старухи не лучшей собеседницей, поэтому свекровь стала все рассказывать Иринке. Голос ее звучал, как ни странно, бодро.

Она узнала вот что. Колька был, конечно, так же пьян, как остальные, но драка затеялась не на пустом месте. Замешана некая Раиса. Семковские приставали к ней, хотели мстить за то, что бросила одного семковского ради Кольки. Этот тихоня Колька, болезненный и невзрачный, хороводился со многими девками и считался почему-то завиднейшим женихом. Раиса от него как будто уже и ребенка ждала, но тетя Паша полагала, что врет, и Колька на ней жениться не собирался.

— Я ее убедила, что нужно стоять как раз на противоположной позиции, ты понимаешь? — объясняла Александра Прокофьевна Иринке.— Только тут наша надежда. В припадке ревности и защищая честь матери своего будущего ребенка...

Она говорила с Иринкой как со взрослой. А девчонке было тогда четырнадцать лет. Ольге Васильевне это не нравилось, но ведь сделать замечание невозможно, тут же обиды, резкости. Она терпела эту нудню с Колькой, разговоры свекрови, ее суету, звонки, телеграммы — та влезла в дело всерьез и действительно нашла адвоката, бойкого старичка по фамилии Луповзоров,— и постепенно все более удивлялась: откуда такое рве-

ние, такой пыл в защите чужих людей? Кто такие для нее, да и для всех тетя Паша и Колька? Случайные домовладельцы, хозяева дачки, дравшие за лето вполне безбожно. Говорить с ними было не о чем. И Александра Прокофьевна редко с ними разговаривала, лишь иногда их поучала. Конечно, Кольку было жаль...

События эти совпадали с тяжкой болезнью Георгия Максимовича, маетой матери. И с нависавшею тенью Дарьи Мамедовны. Ольга Васильевна нервничала из-за всего. Ее раздражали беспомощность матери, эгоизм дочки, невнятная жизнь мужа — что он делает днями, когда она на работе? — и теперь еще хлопоты по чужим делам вздорной свекрови. Вместо того чтобы как-то помогать по хозяйству, содержать дом в чистоте... Пойти на родительское собрание в школу, как делают все бабушки и дедушки, когда родители заняты... От Сережи не дождешься, а Ольга Васильевна валилась с ног... Оплатить хотя бы жировки в приходной кассе днем, когда мало людей,— разве трудно? Все трудно. Намного трудней, чем ехать в дурную погоду за город на электричке, месить грязь на проселочных дорогах, высиживать в судах ради малознакомых и, в общем-то, далеких людей. Тут было много показного. Как всегда в этой женщине.

И как-то в крайнем раздражении от всего этого,— не в раздражении, а в приступе усталости, такой тотальной, когда голова перестает соображать и ты поддаешься всем подкорковым раздражителям сразу,— она сказала, что судьба Кольки интересует ее гораздо меньше, чем болезнь Георгия Максимовича. И пусть уж Александра Прокофьевна со своим показным человеколюбием оставит ее в покое. Это было несправедливо. Александра Прокофьевна меньше всего надоедала ей, но Ольга Васильевна слышала постоянные консультации по телефону, подробнейшую информацию за ужином, и еще Сережа пересказывал то, что слышал от матери. А кроме того, она только что пришла с Сущевской, где мать бесцельно металась и мучилась в горе, видя, как гибнет родной человек. Георгий Максимович был уже полмесяца в больнице. Ему становилось все хуже. Операцию сделали три дня назад, делал профессор Родин, известный специалист, и больница была хорошая, устроили туда с трудом, через Влада, было сделано, что в человеческих силах, и все же мать себя терзала: ей казалось, что надо было дать профессору Родину двести рублей перед операцией. Кто-то сказал такую глупость. Она

не дала ничего. Потому что сказали поздно. И теперь ее грызла мысль, что из-за этого, может быть, операция не принесет избавления. Профессор Родин был с нею как-то сух, жестковат и сказал: «К сожалению, не могу вас обнадежить, хотя и не могу сказать, что конец».

Мать была убита этой фразой.

— По-моему, издевательство так говорить с родственниками! — возмущалась она сквозь слезы.— Кто дал ему право?.. Он говорил со мной как чиновник...

И тут же винила себя и ругала за слабодушие, за то, что язык не повернулся предложить профессору Родину деньги. Потому что, хотя ей сказали поздно, она и сама раньше об этом думала, но не могла решиться. Теперь, после операции, нужно было достать редкое швейцарское лекарство эритрин. Надо было обзванивать людей. Мать обессилела, лежала с тахикардией, и Ольга Васильевна провела два часа у телефона. Некоторые обещали узнать, поспрошать, но большинство говорили, что сами ищут редкие лекарства и не могут достать. Ольга Васильевна вернулась с Сущевской часов в девять вечера, выпила чаю и собралась позвонить матери, потому что ушла от нее с тяжелым сердцем. Просто узнать, как самочувствие, утихла ли тахикардия. Но пробиться к телефону было невозможно.

Александра Прокофьевна разговаривала с адвокатом Луповзоровым. Это продолжалось ровно сорок минут. Наконец Ольга Васильевна подошла к старухе вплотную и шепотом сказала, что ей нужно срочно звонить. Свекровь недовольно кивнула и, поговорив еще с минуту, повесила трубку.

— Александр Иванович рассказывал о суде. Для меня это очень важно! — сказала она строго.

Ольга Васильевна ответила тоже строго:

— А мне — позвонить маме. Она плохо себя чувствует.

Нет, свекровь не спросила: что с Галиной Евгеньевной? не нужна ли помощь? какое-нибудь лекарство? Кое-что она могла доставать в одной поликлинике на Кировской. Эритрин вряд ли. Но ведь можно спросить. Она не относилась к матери враждебно, никогда с нею не ссорилась, если и бывали сдержанные споры, то в давние времена, когда мать занималась Иринкой и Александра Прокофьевна поучала ее. В те дни на почве обоюдной экзальтации и любви к младенцу закипали иной раз крохотные смерчики. Все давно забылось. Те-

перь наступили времена покойного равнодушия. Любой посторонний, нуждавшийся в товарищеской помощи, был для нее ближе, чем мать невестки.

Вот после той секундной стычки у телефона, ничем не кончившейся, Ольга Васильевна, придя из коридора в комнату, и сказала про «показное человеколюбие». Сережа тут же вскинулся, как зоркий постовой с ружьем:

— Парень получил вместо семи лет три! Это что? Показное? Нет, моя милая, это истинное... тебе недоступное...

Она что-то ответила. Потому что уж очень он вскинулся. Очень уж встал на защиту матери. Ну, может, она была не права, даже наверняка не права, свекровь помогала людям порою от чистого сердца — не могла иначе, это привычка, воспитание, а вовсе не заслуга,— но ведь нужно было понять, в каком состоянии Ольга Васильевна вернулась с Сущевской. А он решил обидеться. Вдруг увидела, что он входит в комнату в пальто, в шапке, с тем выражением угрюмой окаменелости и стиснутых челюстей, какое появлялось у него в минуты крайней обиды, и кружит по комнате, ища чего-то.

— Ты куда?

— К Федорову.

Нашел, что искал,— портфель,— и бросил туда какие-то бумаги.

Федоров был его приятель по музею, пустой малый. Из тех болтунов, к кому он странным образом лепился и которые его самого тянули вниз. Слава богу, встречаться стали реже, потому что Федоров переехал куда-то в страшную даль, за Кузьминки. Она спросила: что за срочность? Никакой срочности, просто обещал приехать. Помолчав, добавил: там будет Дарья Мамедовна. Оказывается, Федоров ее прекрасно знает. Она приедет поздно, после лекции. Это известие произвело на Ольгу Васильевну такое впечатление, будто в соседнюю комнату влетела шаровая молния, и стало видно, как комната озаряется светом, и слышно потрескиванье.

Ослабшим голосом — ей показалось, что все кончено, он уходит навсегда,— она спросила, как он думает возвращаться. Был одиннадцатый час. Он сказал, что останется там ночевать. Он говорил спокойно, даже несколько ворчливо, как будто она приставала с пустяками, и у нее сил не было возмутиться и закричать: да что это, черт возьми, за бардак? Почему ты уходишь из дома ночевать черт знает куда?

Он держался как человек, делающий нечто совершенно естественное: разумеется, ехать в половине одиннадцатого куда-то за Кузьминки — это значило остаться там спать. Что странного в том, чтобы переночевать иной раз у приятеля? Да ничего странного, боже мой! Но в их жизни такого заведения не было. Никогда еще не было. И вот он, воспользовавшись обидой, как-то спокойно и нагло вводил это новшество. Она молчала, ибо все это ошеломило ее, в особенности Дарья Мамедовна.

Он сказал: «До свиданья!» — и вышел.

Раньше, бывало, ругались, ссорились из-за чего-то отчаянно, он уходил, уносился или она уносилась к матери, но такого — чтоб тихо, без шума, взял портфельчик, сказал «до свиданья»... Как разлука чужих людей: на часок или на всю жизнь, это безразлично.

На похоронах Георгия Максимовича она рыдала неудержимо, почти в беспамятстве — холодная весна, орали галки над крематорием,— ее держали, чтоб не упала, упасть хотелось, продолжение жизни не имело смысла, накануне он сказал «может быть» и опять ушел до ночи. Он требовал, чтобы она прекратила его мучить. Нельзя было сказать простой фразы, сделать ничтожное замечание: тут же схватывался и уходил. Она спросила всего лишь:

— Может, у тебя роман с этой Дарьей?

То уходил к Федорову, то еще куда-то. Говорил, что парапсихология интересует его всерьез, и верно, читал старые книги, какую-то чепуху вроде «Голоса безмолвия» Блаватской, журналов «Ребус» и «Вестник загробной жизни» — кто ему давал? — и новые американские, английские журналы, сидел со словарем, делал выписки и сам шутил над собой, но ей было не до шуток. Она, как биолог, прекрасно знала цену всем этим бредням. А его запутывала женщина. Она хотела получить над ним власть.

— Зачем тебе это нужно?

— Не зачем. Я хочу понять, чем люди занимались в течение тысячелетий. Кроме того, мой полковник Мартынов был спиритом и состоял членом тайного кружка. В связи с этим имел даже неприятности в шестнадцатом году...

Когда он как бы шутя рассказал, что был у Федорова на спиритическом сеансе и они вызвали дух Победоносцева, который сказал темную фразу: «Не сим победи-

ши» — и они спорили два часа люто о том, что бы это могло значить, его мать наконец не выдержала и устроила скандал. Кричала, что отец умер бы от стыда, если бы такое началось при его жизни. Сын Афанасия Троицкого — спирит! Сын участника революции, соратника Луначарского! Если бы отец встал из гроба... Он заметил ядовито:

— Ага, ты допускаешь такую возможность?

Разумеется, тут была во многом игра, шутовство — он пока еще не превратился в полного кретина,— и тут были неудачи, угнетавшие его постоянно, и тут было то самое ужасное, о чем Александра Прокофьевна не догадывалась: Дарья Мамедовна. Сначала он ездил к Федорову к черту на кулички, звал с собой Ольгу Васильевну, но не было никакого желания ехать в такую даль слушать глупости, и она отказывалась, высмеивала его, издевалась над ним. Все впустую. Как-то потратила целый вечер на чтение журнала «Спиритуалист» за 1906 год, оборванные брошюрки в бумажных обложках валялись у него на столе: что-то потрясающее по жалкости и провинциализму! Иногда она смеялась, иногда злилась, но более всего изумлялась тому, что чепуха на постном масле — все эти медиумы, планшетки, низшие духи, высшие духи, загробные голоса — дотащилась до наших дней. Начитавшись журнальчика, она пришла к двум выводам, сильно ее испугавшим. Первый — ярыми энтузиастами во всей этой музыке были женщины. Тут крылась какая-то приманка для них. Знаменитая Блаватская, авторы «Спиритуалиста» Быкова, Сперанская, Щеголькова, какая-то очень активная Капканщикова. «С жиру бесились, что ли? Им бы помотаться по магазинам, по ателье, постоять бы в ГУМе в очереди за сапогами...» И второй вывод, страшноватый: пустота всего, что касалось вызова духов и якшанья с загробным миром, была столь очевидна, что, если он продолжал отдавать этой дребедени время, это значило — тут были другие причины. Вот почему, когда он сказал «может быть» и ушел, сердце ее упало оттого, что было готово упасть: она ждала такого ответа. И никто так не рыдал над гробом Георгия Максимовича у Донского монастыря, как Ольга Васильевна.

Сережа держал ее с одной стороны, Влад с другой. Она ощущала гранитное Сережино спокойствие. Однажды он прошептал холодно:

— Надо взять себя в руки!

Потом Влад повел ее осторожно в сторону — это было в тот момент, когда заиграла музыка,— и, отведя к стене, достал из кармана пузырек с лекарством, стаканчик и дал ей выпить. Она сказала, глядя в его старое рябое лицо:

— Георгий Максимович тебя любил, Владик...

Влад кивал скорбно, но с оттенком какой-то тайной начальственности. Черный казенный автомобиль ждал его на площадке перед входом в крематорий. Ольга Васильевна подумала: все могло быть иначе, если бы Влад не привел тогда Сережу, она бы не мучилась. Прошла очень быстро жизнь. Сережа стоял не оглядываясь, теперь он держал под руку мать Ольги Васильевны. Музыка убивала все. Потом поехали на Сущевскую, там хлопотали соседки, добрые женщины, распоряжалась незнакомая дама по имени Генриетта Осиповна, из московской организации, энергичная и деловая, как раз такая, как нужно,— она называла мать «моя дорогая»,— художники быстро перепились, криком о чем-то спорили, про Георгия Максимовича говорили с невозможными преувеличениями, и поэтому казалось, что лицемерят, и все вещи в мастерской — картины, багеты, гипсовые модели, банки, кисти — выглядели осиротевшими, никому не нужными и чужими. Дядя Петя, превратившийся в белого тощего старичка, весь вечер кашлял трубно и кричал на кого-то: «Да бросьте вы!»

Мать в этой суматохе и тесноте потерялась, вид у нее был такой, будто она тут случайно. Ольга Васильевна думала о матери со страхом: как она будет жить? Осталась ночевать с матерью, а Сережа с Иринкой и Александрой Прокофьевной ушли домой.

Первая жена Георгия Максимовича была в крематории и приехала после на Сущевскую, но не пришла в мастерскую, хотя приглашали, а устроила, комедиантка несчастная, свои поминки — на том же этаже, в комнате одной художницы. Некоторые гости ходили от одних блинов к другим. Дядя Петя иногда распахивал дверь и кричал в пустой коридор грозно:

— А вот пойти сейчас — и всю посуду в черепки! Поминальщики нашлись!

Из комнаты художницы что-то отвечали, но не было слышно. А Ольга Васильевна сидела на кушетке рядом с бородатым старенькой Лихневичем, который все не уходил, подливал то чаю, то наливки и рассказывал, плача, о житье на Муфтарке сто лет назад, когда они с

Георгием Максимовичем, молодые нахалы, задумали покорить Париж, и еще Марк Шагал был с ними, и что из этого вышло — поминальные блины на Сущевской,— и советовал два рисунка сангиной, церковь на Монмартре и автопортрет с кривым лицом продать, а все остальное подарить кому угодно, кто возьмет, потому что лучшее Георгий Максимович сжег собственными руками в тридцатых годах, такая дурость, минута слабости, и жизнь раскололась, как этот гипс, ни собрать, ни склеить, пошла какая-то труха, заседания, комиссии, заказы («Не подумай, Оля, что я завидовал, я его жалел, бедного Жоржа»), но Ольга Васильевна, уже оплакав отчима и разорвав сердце сочувствием к матери, оглушенной и не понимавшей будущего, думала о том, почему Сережа не остался с нею, Иринка уехала бы со свекровью. Так должно было быть. Но он не захотел. «Ну, мы пошли,— сказал он.— Отвезу Иринку. Ей пора спать».

Он жил отдельной жизнью. Работа перестала интересовать его, диссертация не двигалась. Зато рассказывал о забавных ответах и удивительных пророчествах, которые получались на «вечерах со стаканчиком». Она продолжала во весь этот вздор не верить,— ну можно ли поверить в серьезность рассказа о том, что удалось наладить связь с некиим братом Арнульфом, монахом-францисканцем, жившим в шестнадцатом веке в Швейцарии, и теперь он ведет с этим Арнульфом регулярные беседы? — и все сильнее крепло убеждение в том, что Дарья околдовала его.

Первый раз увидела ее случайно в театре. Были в «Современнике» на премьере. Гуляли в антракте в фойе на втором этаже, и вдруг он стиснул очень больно ее руку — было потом неопровержимой уликой, уж очень больно, как тисками, чисто рефлекторный жест — и шепнул:

— Там в углу Дарья Мамедовна!

Прежде чем посмотреть в угол, она посмотрела на него. Он залился краской. Дарья Мамедовна была смугла, худощава, с серебром в черных волосах. Она смотрела на Сережу, когда он подходил, без улыбки и даже, пожалуй, неприветливо. Рядом с нею сидел молодой человек, плохо выбритый, в белой грязноватой водолазке. Сережа поздоровался и познакомил Ольгу Васильевну. Молодой человек был моложе Дарьи лет на двадцать. Она его не представила. Никакого разговора не произошло, хотя Сережа потоптался два-три лишних, неловких

мгновенья — в ту секунду Ольга Васильевна испытала мучительный стыд,— и они отошли.

— Мне тебя очень жаль,— сказала Ольга Васильевна.

— Почему жаль? Что за ерунда! Не понимаю, что ты плетешь! — хорохорился он и, обидевшись, не разговаривал с нею до конца антракта.

Спектакль был веселый. Они не смеялись. Тогда обдало, внезапно — как холодом,— предвестьем беды.

Второй раз — на набережной, в доме с кариатидами, с комнатушками, напоминавшими давнишнюю комнату-обрубок на Шаболовке. Там жил какой-то федоровский приятель, инженер-автодорожник, спирит и собиратель книг по магии и оккультизму. Показывал старинную книгу под названием «Чаромутие». Сережа звал несколько раз посмотреть, как все это происходит, но ей не хотелось, ужасно не хотелось: она чувствовала, что он приглашает неискренне. Он лгал, приглашая:

— Пойдем, сходим... Посмеемся.

А на самом деле *не желал, чтобы она там появлялась*. Поэтому надо было себя пересилить. *Их жизнь* распадалась, превращалась в осколки, в мозаику, и это было похоже на сон, всегда отрывочный, мозаичный, в то время как явь — это цельность, слитность. Она пришла с головной болью. В коридорчике висел плакат: «Тишина — ты лучшее из всего, что слышал». Стоял сладковатый, как в церкви, запах свечного дымка и горячего воска. Все разговаривали едва слышно, бросали как попало пальто и шубы в коридоре на сундуки.

Она заметила: давно не тертый, серый от грязи паркет.

Ее полнила тупая решимость, какая бывает только во сне: поговорить с этой женщиной. Но той не было. Она пришла часа через два, когда все кончилось. У людей, которые усаживались вокруг стола, был напряженный и скрытно сконфуженный вид. Никто не шутил, не улыбался, но старались не смотреть друг на друга, а смотрели на середину стола, где на листе бумаги с нарисованными по кругу буквами алфавита стоял небольшой стаканчик. Было пять женщин и четверо мужчин. Сережа сказал, что они из технического мира, а одна женщина, как выяснилось потом, была театральной кассиршей. Тут же был Федоров, неестественно молчаливый и сумрачный. Руководил действиями инженер-автодорожник, бледный человек с русой шкиперской бород-

кой, говоривший отрывисто и быстро. Каждая его фраза имела оттенок команды, это было неприятно. И сам этот человек, манерно одетый, в красном, толстой вязки шерстяном жилете, с шнурком вместо галстука, показался Ольге Васильевне неприятным. У него были длинные пальцы с беловатым налетом вокруг ногтей. За вечер он ни разу не посмотрел на Ольгу Васильевну, хотя, она ощущала, он всеми органами чувств как бы следил за ней. Кто-то сказал, что необходимо открыть окно, другие возражали, из-за этого возник спор. Две женщины, требовавшие открыть окно, спорили необыкновенно горячо и яро и даже угрожали, если не будет по-ихнему, покинуть собрание, которое потеряет будто бы всякий смысл. Было ясно, что тут вопрос не о свежем воздухе, но о чем-то высшем, глобальном. Хозяин, на короткое время заколебавшийся, затем решительно нашел выход: открыл дверь в соседнюю комнату, а в той комнате растворил окно.

Сережа сидел напротив. Выражение лица его было непроницаемо. О чем он думал? У нее сжималось сердце от тревоги и от жалости к нему: ведь ему было худо, как и ей. Дома ждали дела, уборка, магазин, отнести белье — до девяти вечера, но каждый день что-то мешало, то усталость, то другие заботы,— и надо писать отчет, а его ждали выписки в толстых тетрадях, книги, папки, все то, что застыло на полпути и не двигалось, а вместо этого... Человек в красном жилете командовал:

— Левую руку на правую руку соседа... Ступней на ступню... Образовать цепь...

Стаканчик действительно как бы оживал под руками, сначала неуверенно дергался, затем шаркал по бумаге конвульсивно и резко от буквы к букве, и из невнятицы, сумбура возникали фразы. Отец Паисий сказал: «Не скупись творить добро, отплатится тебе, дураку, сторицей». Недоумение вызвало слово «дураку». Почему же презрительно сказано о делающем добро? Одна дама объяснила: дух отца Паисия, по-видимому, иронизирует над земной моралью, где творящие добро считаются по нашей циничной житейской логике дураками. Дух Торквемады разговаривал долго и путано, но фразы были почему-то газетного типа, что вызвало разочарование.

Потом был сделан опыт психографии: одна из женщин села с карандашом к листу бумаги, остальные сидели как прежде, вокруг стола, пытались вызвать дух Герцена, тот упорствовал, не являлся, капризничал,— кто-то предлагал оставить его в покое, не соглашались,

хозяин дома злым шепотом потребовал, чтоб прекратили спор и продолжали дело,— свет был погашен, напряжение росло, и наконец все услышали в полной тишине скрип карандаша. Женщина, сидевшая за отдельным столом, писала! Никто не сомневался в том, что ее карандашом водила рука Герцена. Когда зажгли свет, бросились к бумаге — женщина сидела, откинувшись на спинку стула в изнеможении, лицо в поту, страшно бледно, ей тут же налили валерьянки,— увидели громадные, во весь лист, каракули.

Хозяин дома, схватив бумагу, прочитал сдавленным от волненья голосом:

— «Мое... пребежище... река...»

Ольга Васильевна услышала, как Сережа хмыкнул. Прекрасно знала это его ехидное хмыканье, не могла ошибиться, но когда взглянула на него, увидела все ту же непроницаемость. Раздались голоса:

— А что дальше? Больше ничего?

— Больше ничего, только эти три слова,— ответил хозяин дома быстро, все еще во власти волнения.

Рассматривали бумагу, изучали каракули и опять спорили. Что значит «река»? И почему «пребежище»? Согласились на том, что «река» — это, вероятно, символ времени, река времен, и дух Герцена, стало быть, уповает на время. Это сообщение показалось значительным и глубоким. Что же касается «пребежища», то тут стали в тупик. Мог ли дух Герцена совершить столь грубую орфографическую ошибку? С пристрастием допрашивали женщину: твердо ли знает она, как пишется слово «прибежище»? Женщина — это и была театральная кассирша, отличавшаяся особой сенситивностью, то есть чувствительностью, что определяло ее медиумические способности,— нервно и возмущенно отвергала предположенье о том, что могла совершить ошибку.

— Неужели вы думаете, я такая неграмотная? — говорила она, едва не плача.

Сережа заметил, что в таком случае неграмотным следует признать Александра Ивановича. Это вызвало новый спор, все говорили разом, но хозяин внес ясность: орфографические ошибки не имеют значения, важна суть сообщения, а не форма. Когда на пиру Балтазара, сказал он, появились мистические письмена «мене, текел, фарес», никому не пришло в голову рассуждать, правильна ли орфография. Всех охватил ужас. Кстати, в книге пророка Даниила сказано, что письмена были

«мене, мене, текел, упарсин» — обычная при психографии тавтология и перестановка букв... Ольга Васильевна почувствовала, что головная боль усилилась, не могла больше сидеть и встала. В соседней комнате легла на диван. Было темно и холодно. Кто-то прошел вслед за ней и закрыл окно.

Был приступ, как в худшие времена, до тошноты. Сережа принес стакан горячего чая и лекарство. Накрыл ее чем-то. Ей хотелось, чтоб он посидел рядом,— чтобы побыть одним, в темноте,— и она взяла его за руку и спросила:

— Ты понимаешь, что все это чушь?

Он сказал, что понимает. Сквозь страшную боль, стиснувшую виски, иглою просунулась другая боль: зачем же приходит, если понимает? Но не спросила об этом. Чувствовала себя слишком слабой.

— Все это идеомоторика... На пятом курсе на занятиях по психологии...— шептала она.

Спустя минут двадцать или полчаса вошла женщина, зажгла настольную лампу.

— Как себя чувствуете? — спросила женщина, и Ольга Васильевна увидела Дарью Мамедовну.

Через силу заставила себя подняться и сесть. Сережи в комнате не было. Голову ломило, как прежде.

— Лучше,— сказала она.

На женщину со смуглым остроконечным лицом смотрела с изумлением. Зачем пришла? Не раз думала об этом: поговорить с нею наедине, слова подбирались язвящие, ненавистливые, но теперь слова вдруг пропали, злобу как выдуло сквозняком, и единственное, что испытывала Ольга Васильевна, была слабая астматическая одышка.

— Я не хочу, чтоб Сережа занимался этой чушью,— сказала она, слегка задыхаясь.

Та протянула стакан:

— Выпейте.

Ольга Васильевна послушно выпила.

Дарья Мамедовна села рядом на диван и произнесла спокойно: она тоже против того, чтобы он занимался чушью. Собственно, это не чушь, а забава, игра. Субботнее развлечение замороченных и усталых людей. Одни режутся в покер, другие — в ма-джонг, третьи играют до одурения в шахматы, четвертые... И еще какие-то банальности... Все-таки наглость: она т о ж е п р о т и в! Никто в мире, кроме Ольги Васильевны, не имел права быть

против чего-либо в Сережиной жизни. «Какая глупая! — подумала Ольга Васильевна.— А говорят, будто бы умна». И эта догадка очень успокоила, даже голове стало легче.

Дарья Мамедовна сказала:

— Я рада, что мы познакомились. Мне давно нужно было с вами поговорить...

«Это еще зачем?» — подумала Ольга Васильевна безо всякого страха. Вслух сказала:

— Во-первых, мы были знакомы. В театре, помните?

— Правда? Я забыла.

— Хотите сейчас разговаривать?

— Если вы не очень худо себя чувствуете. Ведь когда еще увидимся? — Дарья Мамедовна достала из сумочки сигареты, зажигалку и, не спросивши разрешения — очень милая и характерная для нее подробность,— закурила.— Сергей Афанасьевич мне как-то говорил о том, что вы занимаетесь проблемами биологической несовместимости...

Ах, вот что! И это все? Проблемы несовместимости касались каких-то ее занятий. С другого боку. Ольга Васильевна кое-что рассказала. Та расспрашивала про Андрея Ивановича, которого знала по университету. Потом заговорила о своей работе, об экстрасенсорном восприятии, о всякого рода пробах, испытаниях и мишенях, о тысячах опытов, которые проделаны там-то и там-то, и о том, что мы, к сожалению, отстали и должны догонять. Вы, как биолог, изучающий проблемы связи и биологической несовместимости, должны постоянно сталкиваться... А летучие мыши с их локатором? А рыбы? Согласитесь, нет оснований отрицать особые, экстрасенсорные связи и в структуре... Не хотелось с нею спорить, но все же слабым голосом и слегка задыхаясь: в парапсихологии слишком много обмана. Ни в одной науке, если это считать наукой, не было такого количества жуликов. А как вы думаете, отчего? Да оттого, Ольга Васильевна, что люди находятся в постоянном самообольщении: будто все уже познано.

Ольга Васильевна сказала:

— Если говорить о несовместимости... Загадки аллергии... Вы знаете, что есть люди, которые болезненно реагируют на присутствие определенного человека: начинается кашель, они задыхаются...

— О да! Разумеется! Так вот: каков механизм?

Ольга Васильевна отвечала что-то, глядя на смуглый кавказский лобик, и думала: они хотят докопаться до

всего, обнаружить структуру, найти средства связи, передающие ненависть, ревность, страх. И любовь. А если средства будут найдены — тогда управлять? Кто-то открыл дверь, хотел войти. Дарья Мамедовна произнесла строго: «Закройте!» — и дверь закрылась.

— Дарья Мамедовна, я вас хочу... об одном...— вдруг проговорила Ольга Васильевна жалким, прыгающим голосом.— Пусть уж Сергей Афанасьевич не увлекается так всем этим очень интересным... Понимаете, он ведь немолод, не очень здоров, у него есть дела, есть обязанности...

Дарья Мамедовна странно ширила черные, в синеватых белках глаза, и голова ее все более кренилась к правому плечу.

— О чем вы? Я не понимаю.

— Да о том, Дарья Мамедовна, что он погибает... Погибает, все остановилось, диссертация не пишется...

— Голубушка моя, да что ж можно сделать? Диссертация не пишется? — Она вдруг засмеялась.— Ну и хорошо, что не пишется... Ей-богу, не обижайтесь, Ольга Васильевна... Я вообще не люблю — нет, неправда, не то что не люблю, а жалею филологов, всех этих литераторов, историков, пишущую братию, которые вынуждены болтать, болтать, ничего, кроме болтовни. Я их жалею, бедных. Ну что за чепуха — вот уж поистине чепуха,— которой он занимается всю жизнь: состав секретных сотрудников московской охранки. Кому это нужно? Я смеялась, когда он рассказывал о своих, знаете ли, открытиях в этом микрокосме, и с таким увлечением...

В соседней комнате раздался взрыв хохота, кто-то стучал кулаком в стену и крикнул:

— Нигматова, идите сюда!

— И это в то время, когда решаются судьбы... Когда шекспировский вопрос...

Потом неожиданно она рассказала о том, как началась ее парапсихология. Несколько лет назад ее муж, художник Нигматов, погиб в самолетной катастрофе. Той ночью она видела во сне его лицо, искаженное ужасом.

Было рассказано совершенно бесстрастно, просто как один из фактов экстрасенсорной, телепатической связи. И Ольга Васильевна не испытала никакой жалости к Дарье Мамедовне. Она подумала: если он влюблен в эту женщину, тогда он глубоко несчастен.

Было поздно, дома ждала Иринка, которой она что-

то обещала в тот день, поэтому, как только в комнату вошел Сережа, она сказала, что надо ехать домой, и встала. Он быстро и зорко оглядел обеих и, как видно, остался доволен, потому что ответил спокойно:

— Поехали.

Обычно приходилось вытаскивать из гостей трактором.

Когда вышли на улицу, он сказал, что всех заинтриговало: о чем так долго они беседовали с Дарьей Мамедовной?

— На нее не похоже, она не любит болтать. Значит, ты ей понравилась.

— Да. Я ей понравилась,— сказала Ольга Васильевна.— Разговаривали о тебе. А тебя она жалеет.

— Меня? Жалеет? Пожалуйста, пускай. Есть за что.

— Она считает, что ты занимаешься чепухой.

— Да что ты! — Он засмеялся и подмигнул лукаво, как человек, которого не проведешь.

И все-таки она испытывала облегчение.

А через несколько дней все пошло сначала — уходил, пропадал, жил неведомой жизнью, и она мучилась.

В раннем детстве Иринки, когда ей было лет семь или восемь, с нею происходили странные вещи. Вставала ночью и ходила во сне сомнамбулой, натыкаясь на вещи, а как-то на Шаболовке напугала гостей, появившись в дверях, как маленькое привидение, в белой рубашке, и, подойдя к столу — лицо спящее, глаза закрыты,— сказала, протягивая пустую руку: «Хотите мою цыганку?» Была любимая кукла, цыганка. Потом это случалось с нею все реже, а лет с десяти прекратилось совсем. Сережа вспомнил об Иринкиных странностях и решил, что она, может быть, как раз относится к тем сенситивным натурам, которые он искал для своего хобби. Он увлекался парапсихологическими опытами не на шутку. Извел всех в доме, пытаясь угадывать, что они думают или намерены сделать, и стараясь внушить им свою волю. Воля, разумеется, была на первых порах пустяковая: принести коробок спичек или погасить свет в коридоре. Иногда внезапно радостно восклицал:

— Браво! Наконец-то! Полчаса индуцировал тебя, чтобы закрыла форточку...

А иногда столь же неожиданно огорчался, досадовал и даже позволял себе обидные замечания:

— Нет, мать, все-таки ты толстокожая, тебя не прошибешь. Я ей внушаю-внушаю, а она хоть бы хны...

Все это было веселым мальчишеством, напоминало игру любознательных школьников из кружка «Занимательная психология», и Ольга Васильевна могла бы так и относиться к этому, полушутя и полуодобрительно, ибо Сережа как-то ожил, взбодрился, тонус жизни его заметно повысился и на лице заиграл румянец, что означало пользу нового увлечения, но ведь все хорошо в меру. Тут игра перерастала в нечто большее. И Ольга Васильевна с тревогой улавливала намеки на то, что это, мол, все подходы, поиски метода и что, когда он немного освободится, он займется психологией и парапсихологией вплотную. Она сказала, что это звучит довольно наивно, все равно что сказать, что собираешься заняться физикой и метафизикой.

— Ты не боишься превратиться в чеховского ученого соседа?

Он посмотрел на нее рассеянно:

— Ты шути осторожней. Это сейчас единственное, что меня интересует в жизни.

После такой фразы что оставалось делать? Она перестала шутить. И стала ждать, что будет. Все-таки ей казалось, что наваждение кончится.

Боже мой, тут крылась ошибка! Нельзя было ждать. Нельзя было не бороться, отдавать его в полную власть этой Дарьи и гоп-компании. Какая блаженная дура! Ведь было очевидно, что он отходит, отплывает, как корабль от пристани, подняв все паруса и флаги, а она продолжала чего-то ждать, на что-то надеяться. Она не понимала, что он находится на переломе судьбы. Главной мукою было непонимание. Однажды вздумала действовать энергично, будто ничего не случилось, будто между ними не воздвиглось проклятого хобби: не спросивши, купила билеты на какой-то дефицитный фильм, на который рвалась тогда вся Москва. Он сказал, что как раз в десять он занят. Чем же занят? Уходит? Нет, будет дома. Но с десяти он занят.

Было очень обидно, но допытываться не стала, пошла одна, смирив гордость. Не смогла вынести в кинотеатре четверть часа и побежала домой. Неужели вдобавок ко всему стал лгать? Было чувство бессилия: ведь если обманывает, то лишь оттого, что запутался, затормошился окончательно — раньше никогда не обманывал,— а она не может помочь. Нет большей муки, чем непонимание и невозможность помочь! Но когда примчалась домой, увидела: действительно занят.

Сидел в комнате, запершись, хмуро-сосредоточенный, и раскладывал карты Зенера. Эти свои парапсихологические, с квадратами, звездами. Оказывается, у них с Дарьей Мамедовной был назначен на десять вечера сеанс: та в качестве перцепиента, то есть отгадчика, находилась в Болшеве, в доме отдыха киношников.

Этими картами он совсем заморочил Иринку. Первое время говорил, что у нее большие способности, приходится изумляться, процент попаданий значительно выше вероятного.

— Ты можешь стать мировой знаменитостью! Я не шучу. Тебя будут приглашать за границу, а мы с мамочкой будем ездить с тобой.

Такими сказками хотел увлечь ее и задобрить, потому что вскоре ей стало, конечно, надоедать. И отгадывала она все хуже и хуже. Он нервничал, сердился. Таких высоких очков, как в первые дни, она не получала больше никогда.

— Думай серьезней! Сосредоточься! — говорил он, раздражаясь.— Что с тобой происходит?

Терпения у него не хватало и раньше, когда он пытался помогать Иринке с уроками. Всегда его репетиторство кончалось ссорой. И тут было то же самое. Иринка однажды разревелась. Бабушка ударила кулаком:

— Ну, довольно! Не могу видеть, как ты калечишь ребенка! Сам сходи с ума как хочешь, мракобесничай, ты взрослый человек и за себя ответишь, а Иру оставь в покое...

Они стали спорить. Как всегда, спорили негромко и не грубо, но как-то крайне ядовито и, вероятно, болезненно друг для друга. Александру Прокофьевну еще подогревала, вероятно, память о диспутах Луначарского с митрополитом Введенским.

— Если допустить хоть на секунду существование загробного мира и высшей силы, то есть бога...

— Я этого не говорил. Не передергивай по своей адвокатской привычке.

— Что же это, как не агностицизм?

— А по-твоему, паровоз дошел до последней станции? И дальше пути нет?

— Твой путь, Сергей, ведет не вперед, а назад, во тьму средневековья. Только не понимаю: зачем двойная жизнь? Будь уж последовательным. Надень рясу, прими схиму, уйди куда-нибудь в пещеры или в заброшенные

каменоломни — по Павелецкой дороге, кстати, недалеко от Москвы, есть старые каменоломни,— сиди там и созерцай собственный пуп, как тибетский монах. Питайся акридами. Жена будет привозить тебе акрид из зоомагазина... (Надо сказать, старуха иногда блистала злым юмором. Кроме того, ей никак не хотелось верить в то, что во всем этом безобразии виноват он один, без Ольги Васильевны.) Но тебя это не устраивает: ты не уходишь из института, получаешь там зарплату...

— Может, и уйду. Кстати, ты кинула неплохую идейку. Вот если будет создана, как обещают, лаборатория экстрасенсорной связи при одном институте, я бы с наслаждением туда ушел.

Все это говорилось пока что в пылу спора. И для того, чтобы подразнить. Он опять стал говорить, что его интересует наука, и только наука. В этом мире слишком много странностей. Антивещество, квазары, загадочные частицы, не обладающие ни массой покоя, ни зарядом,— почему нельзя предположить, что существуют неизвестные науке, сверхчувственные средства связи?

— Сережа, я с ужасом вижу, что в твоей голове за сорок лет образовалась невероятная каша...

— Зато ты, мамочка, за это время осталась совершенно нетронутой. Своего рода достижение.

— И горжусь этим! Я не думаю о смерти, как другие старухи. Да, я знаю, что с последним вздохом я исчезну из этого мира бесследно — и все тут. Не о чем говорить.

— Да, да, не о чем говорить...— бормотал Сережа, кивая.— Какая ясность, как здорово... И то же касается смерти твоих близких? Они тоже исчезнут совершенно бесследно?

— Я надеюсь, что мои близкие, кого судьба еще оставила мне, не уйдут раньше. Но если такая несправедливость, не дай бог, случится, мои близкие не уйдут для меня — я повторяю, для меня! — совершенно бесследно. Они останутся вот здесь.— Она пошлепала ладонью по тому месту в середине груди, куда ставила в минуты сердечной слабости горчичники.

А Ольга Васильевна не могла выносить такие разговоры. Она знала только одно: не может помочь. И это приводило в отчаянье. Когда через некоторое время зашла в комнату, увидела, что Сережа один.

Он стоял в нерешительной позе, полуобернувшись к окну — то ли собираясь отойти от окна, то ли шагнуть к нему,— и смотрел на двор, вниз. Было похоже, что он

о чем-то с громадным напряжением думает. Ольга Васильевна увидела его согбенную спину, опавшие плечи и седину в поредевших волосах. Вдруг показалось, что стоит старичок.

— Мой старичок...— сказала она тихо, подойдя к нему и обняв.

Он не повернулся, не отозвался, продолжая стоять и смотреть на двор, вниз. Лето неслось. Она маялась. Мать гасла в одиночестве на Сущевской. Первое лето, когда не сняли дачу. И это был эскиз будущего бездомья. У Фаины глаза стали круглые и сверкающие от сладострастного любопытства, она жалела Ольгу Васильевну, жалела изо всех сил, даже стонала от жалости: «Я пойду в профком научных работников! Я покажу этой Дарье, как морочить женатых мужчин!» Голос ее дрожал от гнева. Нет большей сласти, чем сострадать любимой подруге. Слава богу, никуда не пошла. Но рассказала Маре. И все заколыхалось и стало расти, как волшебное дерево, управляемое факиром, на глазах. Она не знала подробностей до того дня, пока не поехали в лес за грибами. Знала одно: он подал заявление об уходе.

Вдруг показалось, что так будет лучше для него.

Осенью, в еще теплом и лиственном октябре,— все кончилось, кроме тепла, кроме грибов, кроме леса,— поехали автобусом в четыре утра от института. Почти вся лаборатория Ольги Васильевны. Он сидел рядом, положив голову ей на плечо, и спал. Было такое наслаждение ощущать тяжесть его головы. Ей хотелось, чтоб все сидели тихо и он бы спал. Желала этого всею силою воли. Серое, дымное бежало за окном Подмосковье, сначала развороты глины, грязно-меловые блочные горы новостроек, потом поля водянистой зелени, березы, осины, потом ели, дорога ныряла, опять белыми горами среди елей возникали новостройки, редкий дождь пластами лип к стеклу, вдруг пропадал. Когда вышли из автобуса на пятьдесят втором километре, за Пахрой, дождь прекратился. В лесу было мокро. Пахло отсыревшей, усталой травой. Земля под елями, бестравная, усыпанная бурой хвоей, казалась пухлой и темной. Грибов было мало. Все люди куда-то рассеялись. Он сказал: если бы он осудил себя за всю эту чепуховину со стаканчиком, ужалил бы себя, как скорпион, собственным хвостом, они бы все равно не отстали. Климук теперь замдиректора, спихнул с кресла Кисловского, а на его месте Шарипов. Этот Шарипов, двадцать восемь лет,

железный малыш, он уже и кандидат, и автор каких-то книг, провел дело недрогнувшей рукой. Что ж, ему разве трудно? Он с Сережей не ел, не пил, впервые столкнулись тогда на лестнице, когда спросил, остановившись на секунду, быстрым приятельским говорком: «Простите, Сергей Афанасьевич, это верно, что вы посещаете спиритические сеансы?» Сережа ответил так же легко, мимоходно: да, посещал прошлой зимой просто из любопытства, а кроме того, искал людей, обладающих сенситивностью. Ведь он увлечен парапсихологическими опытами. Это очень интересно. Парапсихология, безусловно, наука будущего. Шарипов слушал, сочувственно улыбаясь. Эти железные малыши умеют быстро бегать по лестницам, задавать стремительные вопросы и сочувственно улыбаться. Климук стоял в стороне от дела. Он не стал подписывать заявления, хотя мог бы это сделать — директор был в Болгарии,— и, пригласив Сережу, для видимости отговаривал его и даже пробормотал совершенно нелепые, показавшиеся чудовищными слова: «Как Ольга? Позвоните когда-нибудь...» — на что Сережа, засмеявшись, спросил: «Ты шутишь?» Но нет, ничего ужасного не произошло, ничего не случилось, он рад всему этому, потому что надо начинать другую жизнь. Черт возьми, так мало времени остается для другой жизни. Надо наконец начинать. Что начинать? Делать то, что волнует воистину. У каждого человека должно быть то, что волнует воистину. Но надо до этого доползти, докарабкаться.

Мы удивляемся: отчего не понимаем друг друга? отчего не понимают нас? Все зло отсюда, кажется нам. О, если бы нас понимали! Не было бы ссор, войн... Парапсихология — мечтательная попытка проникнуть в другого, отдать себя другому, исцелиться пониманием, эта песня безумно долга... Но куда же мы, бедные, рвемся понять других, когда не можем понять себя? Понять себя, боже мой, для начала! Нет, не хватает сил, не хватает времени или, может быть, недостает ума, мужества... Вот она, к примеру, биохимик, заведует лабораторией, на хорошем счету, получает премии и прибавки к зарплате, но истинное ее предназначение здесь ли? Сама говорила: как жалею, что не пошла в прикладное искусство! Так люблю что-то делать руками, лепить, вырезать. А он не говорил разве, что история — это магическое зеркало, по которому можно угадывать будущее, и он готов всю жизнь изучать его,

вглядываться в него... Говорил, говорил! И так ощущал, так думал. Но, может, тут действовала совсем иная, потаенная тяга: изучать, чтоб угадывать... Потому что теперь ему кажется, что все эти подробности подробностей, эти крохи, сметенные со стола каких-то давних пиров, которые он вылавливает со дна колодца, не нужны никому, кроме пяти или шести человек в целом свете... Если думать о себе, которому эти хитроумнейшие и ничтожные уловы нужнее всего, тогда, может быть, есть смысл продолжать закидывать свои крючочки, но так скучно думать о себе. Однажды становится дико скучно. И вдруг сверкнет как догадка, как слабая заря за стволами — другая жизнь...

У нее сжималось сердце, было страшно. Откуда, бог ты мой, возьмется другая жизнь? Переехать из дома в дом? Купить новый портфель? Начать ходить вместо той конторы в эту? Ведь, в сущности, повсюду одно и то же. Он ответил: э, нет! Так рассуждать — это все равно что говорить, будто все женщины одинаковы. Но ведь ужас прожить век с женщиной, которая не мила. Большинство так живет, впрочем. Он говорил спокойно, как о чем-то постороннем и совершенно чужом для них, но все равно было страшно. В разговорах они прошли далеко в глубь леса, забыв о грибах. Да грибов и не было. Встретилась женщина с полупустым ведром, где белели волнушки. Стали спрашивать: неужто такие грибы едят? Женщина объясняла охотно, как вываривать, отвар сливать, а еще лучше вымачивать в воде с уксусом. Рассказавши, женщина исчезла. Забыли спросить, как идти в сторону шоссе. Осины и березняк редели, пошел ельник, густой и тяжелый от влаги, здесь совсем ничего не находилось, и они торопились продраться сквозь хвойную чащу, потому что где-то впереди брезжила светлота, там мерещились прогалы, поляны. Там начиналась другая жизнь. Сидели на пнях, он устал, лицо было серое и дышал тяжело, потом шли дальше — сырость в бору давила, от валежника, овражных низин тянуло гнилью, — местами залезали в черную топь, шли и шли, разговаривая, светлота манила, облачный день яснел, но ни просек, ни полян не открывалось за стволами. Она уже знала, что заблудились. Вдруг возникла Иринка, шла рядом, Ольга Васильевна крепко сжимала холодную ладошку. Иринка была маленькая, лет двенадцати. Надо было непременно спросить у Сережи что-то мучающее, что касалось только их двоих, Иринка мешала.

Но потом она отошла куда-то, и Ольга Васильевна спросила про Дарью Мамедовну. Правда ли? Ее мучило одно: правда ли? Он засмеялся и сказал, что неправда. Тогда она спросила: «А те деньги, которые ты брал в кассе взаимопомощи? Пришли после смерти и требуют деньги назад. На что ты потратил их? Только говори честно, нас никто не услышит, мы в лесу». Он сказал: «Я не потратил. Просто давал людям, а они не возвращали». Это было так несуразно и так на него похоже! Он называл имена. Какие-то незнакомые имена. Но все равно она мгновенно и глубоко поверила его словам. Она подумала: как мне жить в этом лесу одной? Надо было скорей бежать, они опаздывали, автобус ждал на шоссе, но неизвестно, где шоссе и куда бежать. Однако бежали — прямиком, через овраги, сквозь ржавый еловый сухостой, обдирая лицо и руки. Наконец появился забор. Глухой и высокий, выкрашенный темно-зеленой краской, они увидели его внезапно, когда подошли вплотную. Что там, за забором? Ничего не слышно, не видно. Растут такие же ели, как в лесу. Пошли вдоль забора по не очень ясной тропинке — хожено тут было мало — и чем дальше шли, тем меньше оставалось надежды. Перед воротами на скамейке сидели четверо мужчин и одна женщина. Среди мужчин был один громадный, рыхлый, с большим вздутым лбом и свиными глазками, с тем выражением добродушной тупости на лице, какое бывает у больных болезнью Дауна. Был еще какой-то старик, который все время качал головой, и были двое средних лет, один бородатый, с мрачным угольным взором, и другой, малорослый, с плоским несчастным лицом, он болтал короткими ножками, не достававшими до земли. Все четверо молчали, а женщина в сером больничном халате читала газету. Ольга Васильевна спросила, как пройти до шоссе. Эти люди не знали. Громадный человек, больной болезнью Дауна, сказал, что здесь нет шоссе. Сережа стал сердиться и доказывать, что шоссе есть, они приехали на автобусе и автобус ждет на шоссе. Нет, сказали они, автобус сюда не ходит и шоссе нет. Сережа горячился. «Не спорьте с ними,— сказала женщина, отложив газету.— Они не знают. Идемте, я вас провожу». Когда они отошли на некоторое расстояние от мужчин, оставшихся сидеть на скамейке, женщина сказала: «Это больные. Они не знают, где шоссе».

Женщина вела их лесом, без дороги. Наверное, это

был короткий путь. Ольга Васильевна сжимала руку Иринки. «Вы нас извините,— говорила она женщине.— Мы опаздываем. Автобус ждет нас на шоссе».— «Я понимаю,— отвечала женщина.— Поэтому веду вас самым коротким путем». Густели сумерки. Стало темно. Незаметно истаял день. Надо было зачем-то спускаться по крутому склону, поросшему елями, затем опять углубились в чащу. «Скоро, скоро»,— говорила женщина. Не было сил идти. Они очень устали. Вдруг женщина сказала: «Вот здесь».

Они стояли перед маленьким лесным болотцем. «Что это?» — спросила Ольга Васильевна. «Это шоссе,— сказала женщина.— Вон стоит ваш автобус». Она протягивала руку, показывая на заросли осоки на противоположной стороне болотца. Ольга Васильевна почувствовала, как немеет, застывает, охваченная мгновенной, как молния, ледяной истомой. И тут треск врубился в сознание. Через миг принеслась весть из другого мира: вставать...

Будильник звонил в семь. Вырывал из вязкого, опустошающего забытья. И так продолжалось много дней, похожих один на другой, хотя временами было солнечно, а то шел дождь или снег, но однажды она проснулась раньше будильника и, босая, подошла к окну, откинула занавеску и посмотрела в сторону парка: там над деревьями, над зубчатым, из крыш и труб, темным окоемом выкатывался в слабо светящееся небо красный шар солнца. Она распахнула форточку. Ветер, летевший со стороны парка, обнял ее усталую кожу, и грудь напряглась от холода. Босыми ногами она почувствовала, как дрожит пол от неясного подземного гула.

Если бывало часа три свободного времени, они уезжали гулять в Спасское-Лыково: троллейбусом до конечной остановки, там немного пройти и затем полчаса речным трамвайчиком. Село стояло на высоких холмах, поросших сосновым бором. Москва давно уже подступила со всех сторон к этому древнему полудеревенскому-полудачному уголку, обтекла его, устремилась дальше на запад, но почему-то не поглотила его совсем: сосны бора стояли, заливной луг зеленел, и высоко на холме над рекою поверх сосен плыла стоймя колокольня старой спасско-лыковской церкви, видная издалека отовсюду. Спустившись с дощатого причала на тропу, которая

вилась вдоль берега, они шли и шли, разговаривая, дыша речным воздухом, обходя рыболовов и с неприязнью поглядывая на маленькие автомобильчики, неведомо как прорвавшиеся сюда, хотя проезжей дороги к берегу не было, и стоявшие, загораживая тропу, у самой воды. Тут находилось их убежище, их берег, их трава. Все остальные, очутившиеся тут, были пришельцами, чужаками.

В Москве места не было. Слишком много людей знали его и ее. Никто из этих людей, приятелей и знакомых, не мог ничего понять. И она не понимала, и удивлялась, и стыдилась себя: так внезапно и быстро наступила другая жизнь! Когда-то мечтали о другой жизни, мыкались и рвались достичь. Но достичь невозможно, это приходит само. У него были слабые легкие, он простужался, болел. И всегда болел тяжело, маленькая простуда длилась долго, потому что организм у него был особенный, не принимал антибиотиков, он жил как в девятнадцатом веке — лечился малиной, чаем. И она мучилась оттого, что он болел вдали. Казалось, что люди, которые окружали его, не могли помочь ему, как нужно. Шли тропою по глинистому склону, она рассказывала о новостях на работе, об опытах, термостатах, рассказывала про Иринку, которая собиралась замуж, и не стеснялась говорить про нее сокровенное, а он тоже рассказывал обо всяких делах, неурядицах на службе, о людях, которые ему подчинялись, советовался с нею, но о доме говорил неохотно. И она понимала его.

Однажды взобрались на колокольню спасско-лыковской церкви. Взбираться было тяжело, он раза два останавливался на каменной лестнице, отдыхал, а когда взошли на самую верхнюю площадку, под колокол, сильно стучало сердце, и они оба приняли валидол. Но они увидели: Москва уходила в сумрак, светились и пропадали башни, исчезали огни, все там синело, сливалось, как в памяти, но если напрячь зрение, она могла разглядеть высотную пластину Гидропроекта недалеко от своего дома, а он мог отыскать туманный колпак небоскреба на площади Восстания, рядом с которым жил. Наверху был ветер, вдруг ударило резким порывом. Она потянулась к нему, чтоб заслонить, спасти, он ее обнял. И она подумала, что вины ее нет. Вины ее нет, потому что другая жизнь была вокруг, была неисчерпаема, как этот холодный простор, как этот город без края, меркнущий в ожидании вечера.

1975

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ

◆



Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете. Кто погиб на войне, кто умер от болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей. И если бы эти другие люди встретили бы каким-нибудь колдовским образом тех, исчезнувших, в бумазейных рубашонках, в полотняных туфлях на резиновом ходу, они не знали бы, о чем с ними говорить. Боюсь, не догадались бы даже, что встретили самих себя. Ну и бог с ними, с недогадливыми! Им некогда, они летят, плывут, несутся в потоке, загребают руками, все дальше и дальше, все скорей и скорей, день за днем, год за годом, меняются берега, отступают горы, редеют и облетают леса, темнеет небо, надвигается холод, надо спешить, спешить — и нет сил оглянуться назад, на то, что остановилось и замерло, как облако на краю небосклона.

В один из нестерпимо жарких августовских дней 1972 года — Москва тем летом задыхалась от зноя и дымной мглы, а Глебову приходилось, как назло, проводить много дней в городе, потому что ждали вселения в кооперативный дом — Глебов заехал в мебельный магазин в новом районе, у черта на рогах, возле Коптевского рынка, и там случилась странная история. Он встретил приятеля допотопных времен. И забыл, как его зовут. Вообще-то он приехал туда за столом. Сказали, что можно взять стол, пока еще неизвестно где, сие есть тайна, но указали концы — антикварный, с медальонами, как раз к стульям красного дерева, купленным Мариной год назад для новой квартиры. Сказали, что в мебельном возле Коптевского рынка работает некий Ефим, который знает, где стол. Глебов подъехал после обеда, в неистовый солнцепек, поставил машину в тень и направился к магазину. На тротуаре перед входом, где в клочьях

мусора и упаковочной бумаги стояли только что сгруженные или ожидающие погрузки шкафы, кушетки, всякая другая полированная дребедень, где с унылым видом слонялись покупатели, шоферы такси и неряшливо одетые мужики, готовые за трояк на все, Глебов спросил, как найти Ефима. Ответили: на заднем дворе. Глебов прошел через магазин, где от духоты и спиртового запаха лака нечем было дышать, и вышел узкою дверью на двор, совершенно пустынный. Какой-то работяга дремал в тенечке у стены, сидя на корточках. Глебов к нему: «Вы не Ефим?»

Работяга поднял мутный взгляд, посмотрел сурово и чуть выдавил презрительную ямку на подбородке, что должно было означать: нет. По этой выдавленной ямке и по чему-то еще неуловимому Глебов вдруг догадался, что этот помертвелый от жары и жажды похмелиться, несчастный мебельный «подносила» — дружок давних лет. Понял не глазами, а чем-то другим, каким-то стуком внутри. Но ужасно было вот что: хорошо зная, кто это, начисто забыл имя! Поэтому стоял молча, покачиваясь в своих скрипучих сандалетах, и смотрел на работягу, вспоминая изо всех сил. Целая жизнь налетела внезапно. Но имя? Такое хитроватое, забавное. И в то же время детское. Единственное в своем роде. Безымянный друг опять налаживался дремать: кепочку натянул на нос, голову закинул и рот отвалил.

Глебов, волнуясь, отошел в сторону, потыкался туда-сюда, ища Ефима, потом вошел через заднюю дверь в помещение магазина, поспрошал там, Ефима след простыл, советовали ждать, но ждать было невозможно, и, ругаясь мысленно, проклиная необязательных людей, Глебов вновь вышел во двор, на солнцепек, где его так изумил и озадачил Шулепа. Ну конечно: Шулепа! Левка Шулепников! Что-то когда-то слышал о том, что Шулепа пропал, докатился до дна, но чтобы уж досюда? До мебельного? Хотел поговорить с ним дружелюбно, по-товарищески, спросить, как да что, и заодно про Ефима.

— Лев...— сказал Глебов не очень уверенно, подходя к мужику, который сидел там же в тени и в той же позе, на корточках, но теперь уже не дремал, а наблюдал за каким-то движением в глубине двора, мусоля губами папироску. Более громко и смело добавил: — Шулепа!

Человек опять посмотрел на Глебова мутно и отвернулся. Конечно, это был Левка Шулепников, только

очень старый, измятый, истерзанный жизнью, с сивыми запьянцовскими усами, непохожий на себя, но в чем-то, кажется, оставшийся непоколебленным, такой же нагловатый и глупо заносчивый, как прежде. Дать ему денег, что ли, на опохмелку? Глебов пошевелил пальцами в кармане брюк, нащупывая деньги. Рубля четыре мог дать безболезненно. Если бы тот попросил. Но мужик не обращал на Глебова никакого внимания, и Глебов растерялся и подумал, что, может, он ошибся и этот тип вовсе не Шулепников. Но в ту же секунду, рассердясь, спросил довольно грубо и панибратски, как привык разговаривать с обслуживающим персоналом:

— Да ты меня не узнаешь, что ли? Левк!

Шулепников выплюнул окурок и, не посмотрев на Глебова, встал и пошел вразвалочку в глубь двора, где начиналась разгрузка контейнера. Глебов, неприятно пораженный, побрел на улицу. Поразило не обличье Левки Шулепы и не жалкость его нынешнего состояния, а то, что Левка не захотел узнавать. Уж кому-кому, а Левке нечего было обижаться на Глебова. Не Глебов виноват и не люди, а времена. Вот пусть с временами и не здоровается. Опять внезапно: совсем раннее, нищее и глупое, дом на набережной, снежные дворы, электрические фонари на проволоках, драки в сугробах у кирпичной стены. Шулепа состоял из слоев, распадался пластами, и каждый пласт был непохож на другой, но вот то — в снегу, в сугробах у кирпичной стены, когда дрались до кровянки, до хрипа «сдаюсь», потом в теплом громадном доме пили, блаженствуя, чай из тоненьких чашечек,— тогда, наверно, было настоящее. Хотя кто его знает. В разные времена настоящее выглядит по-разному.

Если честно, Глебов ненавидел те времена, потому что они были его детством.

И вечером, рассказывая Марине, он волновался и нервничал не оттого, что встретил приятеля, который не захотел его узнавать, а оттого, что приходится иметь дело с такими безответственными людьми, как Ефим, которые наобещают с три короба, а потом забудут или наплюют, и антикварный стол с медальонами уплывает в чужие руки. Ночевать поехали на дачу. Там царила тревога, тесть и теща не спали, несмотря на поздний час: оказывается, Маргоша с утра уехала на мотоцикле с Толмачевым, не звонила весь день и только в девятом часу сообщила, что находится на проспекте Вернадского

в мастерской какого-то художника. Просила не беспокоиться, Толмачев привезет ее не позже двенадцати. Глебов пришел в ярость: «На мотоцикле? Ночью? Почему вы не сказали идиотке, чтоб не сходила с ума, чтоб сию минуту, немедленно?..» Тесть и теща, как два комических старика из пьесы, бубнили что-то нелепое и не к месту.

— Я в аккурат поливал, Вадим Лексаныч, а воду перекрыли... Так что поставить вопрос на правлении...

Глебов махнул рукой и пошел в кабинет, на второй этаж. Духота не спадала и поздним вечером. Лиственной теплой сушью несло из темного сада. Глебов принял лекарство и прилег одетый на тахту, думая о том, что сегодня надо бы наконец, если все будет благополучно и дочка вернется живая, поговорить с нею о Толмачеве. Раскрыть глаза на это ничтожество. В половине первого раздался мотоциклетный треск, затем зашумели голоса внизу. Глебов с облегчением услышал высокий тарахтящий голосок дочери. Он тут же и чудесным образом успокоился, желание говорить с дочерью исчезло, и он стал стелить себе постель на тахте, зная, что жена станет теперь до глубокой ночи болтать с Маргошей.

Но те вбежали обе как-то бурно и бесцеремонно в кабинет, когда свет еще не был погашен и Глебов стоял в белых трикотажных трусах, одной ногой на коврике перед тахтой, другую поставив на тахту, и маленькими ножницами стриг на ноге ногти.

У жены было бескровное лицо, и она сказала жалобно:

— Ты знаешь, она выходит замуж за Толмачева.

— Что ты говоришь! — Глебов как бы испугался, хотя на самом деле не испугался, но уж очень несчастен был вид Марины.— Когда же?

— Через двенадцать дней, когда он вернется из командировки,— произнесла Маргоша скороговоркой, подчеркивая быстротой говорения категоричность и неотвратимость того, что должно произойти. При этом она улыбалась, ее маленькое с немного опухшими щечками детское личико, носик, очки, черные пуговичные мамины глазки — все это сияло, блестело, было слепо и счастливо. Маргоша бросилась к отцу и поцеловала его. Глебов почувствовал запах вина. Он поспешно залез под простыню. Было неприятно, что взрослая дочь видела его в трусах, и еще более неприятно оттого, что та не была этим смущена и даже как бы не замечала отцов-

ского непристойного вида, впрочем, она сейчас ничего не видела. Поразительный инфантилизм во всем. И эта дурочка хотела начинать самостоятельную жизнь с мужчиной. Точнее говоря, со шпаной. Глебов спросил:

— Из какой же командировки? Разве Толмачев где-то работает?

— Конечно, работает. В книжном магазине продавцом.

— В книжном магазине? Продавцом? — Глебов от удивления выбросил обе руки из-под простыни. Тут было что-то новое, какой-то подвох.— А почему я об этом впервые слышу? Ты уверяла, что он художник, показывала картинки, какие-то подсвечники, утюги...

— Нет, она говорила, где он работает. Говорила, говорила, — подтвердила Марина, любившая справедливость.— Но дело не в этом...

— Мамочка, как я вас всех люблю! — воскликнула Маргоша, целуя мать, и засмеялась.— Папа, ты сегодня бледный! Как ты себя чувствуешь?

— А где жених в данную минуту?

— Папочка, я тебя прошу, ни о чем не думай, не расстраивайся!

— Маргоша, ответь мне: где вы собираетесь жить?

Продавцом в магазине. Ничего более несуразного быть не могло. Давно он не видел таких отрешенных, счастливых глаз, не слышал такого бессмысленного смеха. Маргоша, смеясь, говорила:

— Разве это так важно?

— Но мы с отцом хотим знать...

— Ах, вы хотите знать? Вас разбирает любопытство? — Опять смех.— Ну, если, скажем, здесь... Это плохо? Вы не согласны?

— Будешь ездить автобусом? Вставать в пять утра?

— Мама, все это мелочь и ерунда...

Вдруг обе исчезли. Глебов прислушивался к летающим женским голосам внизу, к ним прибавился глухой говор тестя и тещи. Сердце Глебова ныло от предчувствия перемен, и он решил принять снотворное, чтобы поскорее заснуть. Вдруг пришла легкая мысль: «А может, ничего страшного не случится? Пусть все идет своим ходом. Как всегда. Ну, разойдутся через год, ну и бог с ними». И он стал думать о другом.

Около часа ночи раздался телефонный звонок. Глебов почувствовал сквозь полусон, как его охватил гнев, сердцебиение усилилось, и он проворно, по-молодому

соскочил с тахты и почти опрометью бросился к телефону, стоявшему на столе: успеть сорвать трубку прежде, чем схватит трубку нижнего телефона Маргошка, и дать нахалу взбучку! Был уверен, что звонит Толмачев.

Но голос был незнакомый, какой-то расхлябанный, хулиганский.

— Здравствуй, Дуня, новый год... Не узнаешь? А? — хрипел хулиган.— То узнает, то не узнает. Вот задница. А который час-то? Ну, второй, подумаешь, детские времена. Интеллигенция об эту пору еще не ложится... Решает вопросы... Мы тут с одним мужиком сидим... А помнишь, какие у меня были финские ножички?

— Помню,— сказал Глебов и действительно вспомнил: ножичков было штук пять, все разного размера. Самый маленький был с папироску. Левка приносил их в школу и хвастался. И еще сверкающий стальной пистолет с костяной ручкой, как настоящий.

В кабинет вошла Марина, спросила испуганным взглядом: «Кто?» Глебов подмигивал, махал рукой: пустое, мол, чепуха. Почему-то обрадовался тому, что Шулепников позвонил.

— Ладно, будь, спи спокойно, дорогой товарищ... Извини, что потревожил... Я твой телефон три часа выбивал через справочную. Слышь? Ты когда подошел сегодня, я тебя узнавать не хотел. На хрена, думаю, он мне нужен? Противен ты мне был ужасно. Нет, ты понял, Вадька, ей-богу! Точно говорю: ужасно противен.

— За что ж так? — спросил Глебов, зевая.

— Да хрен меня знает. Ничего ты мне плохого вроде не сделал. Ну, ты там доктор, директор, пятое-десятое, дерьма пирога, мне это все неинтересно. Не волнует. Я по другому ведомству. А потом пришел с работы, занялся тут своими делами и соображаю: зачем же я Вадьку Глебыча обидел? Может, он за каким барахлом приехал, чего нужно? А в другой раз придет— меня и нет... Меня тут в одну страну заряжают года на три...

«О господи! — подумал Глебов.— Ведь до самой смерти...»

— Лев, позвони мне завтра, пожалуйста.

— Нет, завтра не стану. Только сегодня. Ты что, министр? Завтра звонить! Ишь ты, какая цаца. Никаких завтра. Да ты с ума сошел, Глебов, как ты со мной разговариваешь! Как у тебя язык повернулся? Я три часа твой телефон вышибал, вот мы вдвоем с мужиком...

Он из дипкорпуса, отличный мужик... Через мидовскую справочную... Вадька, а ты мою мамашу помнишь?

Глебов сказал, что помнит, и хотел добавить, что помнит и Левкиного отца, вернее, отчима. Вернее, двух его отчимов. Но трубка звякнула, и раздались короткие гудки.

Марина глядела все еще испуганно.

— Да вздор какой-то. Это тот парень, кого я в мебельном сегодня...— Глебов стоял босой возле письменного стола и в задумчивости рассматривал телефонный аппарат.— Все-таки обормот... Действительно, зачем звонил?

Почти четверть века назад, когда Вадим Александрович Глебов еще не был лысоватым, полным, с грудями, как у женщины, с толстыми ляжками, с большим животом и опавшими плечами, что заставляло его шить костюмы у портного, а не покупать готовые, потому что пиджак годился пятьдесят второй, а в брюки он еле влезал в пятьдесят шестые, а то брал и пятьдесят восьмые; когда у него еще не было мостов вверху и внизу во рту, врачи не находили изменений в кардиограмме, говоривших о сердечной недостаточности и начальной стадии стенокардии, когда его еще не мучили изжоги по утрам, головокружения, чувство разбитости во всем теле, когда его печень работала нормально и он мог есть жирную пищу, не очень свежее мясо, пить сколько угодно вина и водки, не боясь последствий, не знал, что такое боли в пояснице, возникающие от напряжения, переохлаждения и бог знает еще отчего; когда он не боялся переплывать Москву-реку в самом широком месте, мог играть четыре часа без отдыха в волейбол, когда он был скор на ногу, костляв, с длинными волосами, в круглых очках, обликом напоминал разночинца-семидесятника; когда он часто сидел без денег, зарабатывал как грузчик на вокзале или колол дрова в замоскворецких двориках, когда он голодал, была опасность, что начинается чахотка, его посылали в Крым, и все обошлось; когда еще были живы отец, тетя Поля и бабушка и все жили в маленьком домишке на набережной, на втором этаже, где кроме них жили еще шесть семей и в кухне стояло восемь столов; когда он любил петь песни с девчатами, когда его звали не Вадимом Александровичем, а Глебычем и Батоном; когда он только еще мечтал, томясь бес-

сонницей и жалким юношеским бессилием, обо всем том, что потом пришло к нему, не принеся радости, потому что отняло так много сил и того невосполнимого, что называется жизнью; в те времена, почти четверть века назад, был такой профессор Ганчук, была Соня, были Антон и Левка Шулепников, по прозвищу Шулепа, с которыми Вадим Александрович жил по соседству, были разные другие люди, понемногу исчезнувшие, и был он сам, непохожий на себя и невзрачный, как гусеница. А о Марине не было и помину.

Она где-то там на веранде под сенью берез аккуратно выцарапывает детским почерком на белых бумажных барабанчиках, натянутых на стеклянные банки и обкрученных по горлышку ниткой: «Крыжовник 72», «Клубника 72». Антона давно уже нет на земле, и Сони нет. И о профессоре Ганчуке ничего не известно, скорей всего, тоже нет, а если и есть, то все равно что нет. Левка Шулепников сидит во дворе мебельного магазина в тенечке, прислонясь спиною к стене, с папиросой в зубах и дремлет: все те же сны, просторные комнаты с высокими потолками, громадные оранжевые абажуры тридцатых годов...

Похоже на театр: первое явление, второе, третье, восемнадцатое. Каждый раз человек является немного другим. Но между явлениями проходят годы, десятилетия. Шулепников возник в институте — это было второе явление, он вынырнул из забвения так естественно и легко, как бывает только в первой половине жизни, когда кажется, что все происходит так, как было задумано — почему-то сразу на третьем курсе. А история с Ганчуком и со всеми остальными захватила четвертый и начало пятого. Шулепников необъяснимо быстро стал деятелем. Впрочем, объяснимо: за кулисами стоял отчим, обладавший гигантскими возможностями. Об этом мало кто знал, но знали, конечно, Глебов и Соня, для которых Левка Шулепников остался добрым старым Шулепой. Его принимали за ловчилу, очень изобретательного, который успешно и стремительно делал карьеру: он в бюро, в комитете, там, сям и лучших девиц сразу взял на крючок. А на самом-то деле он был лопух, заурядней-ший лопух. Но в этом разобрались не сразу, поначалу он раздражал многих. Как-то подошел в коридоре парень, здоровенный харьковчанин по фамилии Смыга, и сказал: «Глебов, ты, говорят, учился в школе с этим Жулятниковым?» Глебов сказал: учился, только не ко-

веркайте фамилии, это дурной тон. «Хорошо, не будем фамилию, мы ему рожу исковеркаем,— пообещал Смыга.— Скажи Жулябьеву, чтоб за девками из нашей группы не ухлестывал. А то сделаем бо-бо».

Через несколько дней Смыга появился в аудитории с раздутой физиономией, будто у него флюс. Левка рассказывал несколько удивленно: «Этот слон навалился на меня в туалете, стал орать: «Мы тебя предупреждали, скот, ты нас не послушал!» Какой-то бред, ну, я срубил его приемом самбо. Он башкой унитаз расколол». Глебов не поверил, зная, что Левка порядочный враль, но потом обнаружил, что унитаз действительно разбит, и тогда поверил не только тому, что Смыга был жестоко унижен, но и всему прочему, фантастическому, что Шулепников повествовал из собственной жизни. Например, тому, что во время войны он окончил какую-то хитрую секретную школу, где учили стрелять, бросать ножи, убивать голыми руками, а также иностранным языкам, и занимался таинственными делами в глубоком немецком тылу, но потом его демобилизовали из-за открывшейся язвы желудка. В подлинности этого рассказа могли быть сомнения, так как немецкий язык Шулепников знал плохо, ножи бросал довольно посредственно и вообще был криклив, развязен, врал по мелочам, что не сходилось с обликом человека, за которого он себя выдавал. Глебов решил так: наверно, Левка и в самом деле учился в хитрой школе (отчим устроил) и намеревался стать полковником Лоуренсом, но дело почему-то не выгорело. А Смыга, который так задирался и ненавидел Левку, стал затем его преданнейшим подручным и прихлебателем — это уж через год, когда отчим подарил Левке трофейный BMW и Левка прикатывал в институт на вишневом, клопиного облика драндулете, вызывая у бедных студентов не просто зависть, а лишение дара речи. Смыга повсюду таскался за Левкой, бегал для него по магазинам и знакомил его с девицами, с которыми прежде знакомился сам.

Отношения к Левке Шулепникову в те годы — тут был пик его судьбы, такой затейливой и капризной — могли выражаться только в двух формах: рабски ему служить или злобно завидовать. Глебов, самый старый Левкин приятель, никогда не был его рабом, даже в младших классах, где так развито подхалимство одних мальчиков перед другими, сильными и богатыми, и не захотел превращаться в свитского генерала в институте,

хотя был соблазн. Вокруг Шулепникова сбивались летучие компании, крутилась какая-то особая жизнь: дачи, автомобили, театр, спортсмены. В те годы возник хоккей с шайбой, или, как его называли тогда, «канадский хоккей», просто «канада». Увлечение было модным и, пожалуй, изысканным. На стадион приезжали дамы в цигейковых шубах и мужчины в бобрах. Шулепников носился с какими-то знаменитостями из команды летчиков. Как Глебова ни тянуло прикоснуться ко всей этой увлекательной житухе, представлявшейся ему несколько призрачно и одновременно грубо, и как сам Левка ни был зазывчив и благосклонен по старой дружбе, Глебов держался вдалеке: тут было не только самолюбивое нежелание быть десятой спицей в колеснице, но и природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда безо всяких поводов, по наитию. Шулепников предлагал от своих щедрот: «Глебыч, на тебя есть заявка!» Это значило, что какая-то из Левкиных девиц, приметив Глебова или же что-то прослышав о нем — ничего странного, девицы, по тогдашнему выражению, «ложили на него глаз»,— желает с ним познакомиться, а может быть, Левка и привирал, заявок не было, просто хотел приобщить друга к земным радостям. Левка был человек компанейский. Глебов уклонялся. Выдумывал причины. Ссылался на Соню: ждет Соня, договорился с Соней, Соня больна. На самом деле работал тайный механизм самосохранения, и это было удивительно, ибо в те времена кто бы догадался о близких катастрофах! Но вот от чего Глебов не мог освободиться, что мучающе сопровождало его все годы, начиная с самых ранних, это глубоко на дне теснящая душу обида...

И ни ее побороть, ни возвыситься над нею не выходило. Как неизживаемая болезнь: то тяжело, то ничего не заметно, а то такое лихо, что нет сил терпеть. Ну почему, к примеру, ему и то, и это, и все легко, бери голыми руками, будто назначено каким-то высшим судом? А Глебову до всего тянуться, все добывать горбом, жилами, кожей. Когда добудешь, жилы полопаются, кожа окостенеет.

А началась эта мука — назвать ее можно страданием от несоответствия — в далекие поры, в классе, что ли, пятом или шестом, когда Шулепа поселился в доме на набережной. Глебов-то в своем двухэтажном подворье жил с рождения. Рядом с серым громадным, наподобие целого города или даже целой

страны домом в тысячу окон ютился на задворках, за церковью, за слипшимися, как грибы на пне, каменными развалюхами дом, немного кривой, с кое-где просевшею крышей, с четырьмя полуколонками на фасаде, известный среди жителей здешних улиц как «дерюгинское подворье». И переулочек, где стояла эта кривобокая красота, тоже был Дерюгинский. Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона. Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашенной по столетней традиции желтой краской. Вот и несоответствие! Те не замечали, другие плевать хотели, третьи полагали правильным и законным, а у Глебова с малолетства жженье в душе: то ли зависть, то ли еще что. Отец работал на старой конфетной фабрике мастером-химиком, а мать — и то, и это, а в общем-то ничего. Образования не было. То шила что-то, то по конторам, то билетершей в кинотеатре. И вот служба ее в кинотеатре — захудаленьком, в одном из замоскворецких переулков — составляла предмет немалой гордости Глебова и отличала его величайшей льготой: на любой фильм мог пройти без билета. А иногда в дневные часы, когда мало зрителей, мог даже товарища провести, а то и двух. Конечно, если мать была в добром расположении духа.

Эта привилегия была основой могущества Глебова в классе. Он пользовался ею расчетливо и умно: приглашал мальчиков, в дружбе которых был заинтересован, от которых чего-либо ждал взамен, иных долго кормил обещаниями, прежде чем оказывал благодеяние, а некоторых мерзавцев навсегда лишал своей милости. Так продолжалось, и глебовская власть — ну, не власть, а, скажем, авторитет — оставалась непоколебленной, пока не возник Левка Шулепа. Левка переехал в большой дом откуда-то из пригорода или даже, кажется, из другого города. Он сразу произвел впечатление — у него были кожаные штаны! Первые дни он держался надменно, поглядывал своими голубенькими глазами на всех сонно и презрительно, ни с кем не заводил разговор и сел на одну парту с девчонкой. Во время уроков он невыносимо скрипел штанами. Его решили проучить, вернее, унизить. А еще точнее — опозорить. Была такая расправа, называвшаяся «огого»: затаскивали на задний двор, наваливались кучей и с криками «огого!» сдирали с осужденного штаны. Такую операцию задумали произ-

вести с новичком. Это было бы сладостью: стащить с него удивительные скрипучие штаны, пусть бы он поплясал, поныл, а девчонки смотрели бы на это из окна, их предупредили. Глебов горячо подговаривал расправиться с Шулепой, который ему не нравился — ему вообще не очень нравились те, кто жил в большом доме,— но в последний миг решил не участвовать. Может, ему стало немного стыдно. Он смотрел из двери, выходившей на заднюю лестницу.

Они зазвали Левку после уроков на задний двор — их было человек пять; Медведь, Сява, Манюня, еще кто-то,— окружили Левку, о чем-то заспорили, и вдруг Медведь, главный силач класса, охватил Левку за шею, опрокинул его рывком навзничь, остальные с криками «огого!» набросились, Левка сопротивлялся, бил ногами, но его, конечно, смяли, скрутили, кто-то сел ему на грудь, и вдруг раздался громкий треск, будто лопнула автомобильная шина. Тут все пятеро кинулись в стороны, а Левка поднялся на ноги. Кожаные штаны были на нем, а в руке он держал пистолет. Он еще раз выстрелил в воздух. Пахло дымом. Была минута ужаса. Глебов почувствовал, как у него подгибаются ноги. На него мчался Медведь с вытаращенными глазами, оттолкнул Глебова и побежал, прыгая через ступени, вверх по лестнице.

Потом оказалось, что у Шулепникова был пугач, очень красивый заграничный пугач, который стрелял особыми пистонами, производившими звук выстрела настоящего пистолета. Шулепников вышел из этой истории молодцом, а нападавшие были посрамлены и затем всячески старались помириться и подружиться с обладателем замечательного пугача. С помощью такого оружия можно было стать властителями дворов на всей набережной. Глебову сойтись с Шулепой было легче, чем другим. Ведь он не участвовал в нападении. Шулепников не проявлял мстительности и, кажется, был доволен тем, что теперь перед ним заискивают и за возможность стрельнуть готовы отдать целое состояние. Но дело так просто не кончилось. Вдруг явился директор вместе с завучем и милиционером и стал кричать, что бандиты должны быть наказаны. Директор был непохож на себя: он кричал, чего не бывало раньше, и он был бледен, щеки его тряслись, настроен он был беспощадно. Завуч сказал, что налицо вредительская вылазка. Милиционер сидел молча, но от его присутствия всем было не по себе.

Директор требовал, чтоб назвали бандитов по именам. Шулепников не хотел. Он сказал, что не заметил: устроили «темную» и разбежались. Директор приходил еще дважды, но уже без милиционера. Фамилия директора была Мешковер, и почему-то казалось, что странная фамилия происходит от мешков у него под глазами. Длинное белое лицо, белые опухшие полукружья под глазами. Он нервничал, не мог сидеть спокойно на стуле, как сидят учителя, и все время бегал перед доской как заведенный. Классную руководительницу по прозвищу Труба никто не любил, но директора было жаль. Он выглядел каким-то пришибленным.

— Друзья мои, я вас прошу о мужестве... Мужество не в том, чтобы скрыть, а в том, чтобы сказать...— Его белое лицо и прерывающийся голос вовсе не говорили о мужестве.

При всем сочувствии к старому больному человеку класс, однако, молчал. Шулепа тоже молчал. Он рассказывал потом, что отец его наказал — запер в ванной на целый вечер, а в ванной было темно и ползали тараканы,— требуя, чтоб он назвал имена. Но Шулепа не назвал никого.

Так Левка Шулепников из человека, которого собирались на весь свет опозорить, превратился в героя. И с этого, наверное, времени, с кожаных штанов, с пугача и геройского поведения — одна девчонка даже сочинила стихи в честь Шулепы — зародилось то свинцовое, та тяжесть на дне души... Потому что одному человеку не должно быть все. Тут, если хотите, и природа станет протестовать, и то, что называется роком. Левка Шулепников потом ощутил этот протест рока, эти зубы дракона на собственной бедной шкуре, но ведь тогда, в полусне детства, никто и помыслить не мог, что все когда-нибудь перевернется. И только Глебов чуял нечто — теперь не определишь точно, что именно — тревожащее, как глухие голоса яви, проникающие в сон. Нет, зависть — совсем не то мелкое, дрянное чувство, каким представляется. Зависть — часть протестующей природы, сигнал, который чуткие души должны улавливать. Но нет несчастнее людей, пораженных завистью. И не было сокрушительней несчастья, чем то, что случилось с Глебовым в миг его, казалось бы, высшего торжества.

В кинотеатрике за мостом крутили старую картину «Голубой экспресс». Какие-то кровавые приключения, стрельба, убийства; все бредили этим фильмом, мечтали

попасть, но детям почему-то не разрешалось. Глебова провела мать. Картина была, конечно, неслыханно хороша. Полтора часа Глебов сидел на откидном стуле, дрожа, как в ознобе. Разумеется, он должен был посмотреть картину еще не раз. Наступили дни бесспорного глебовского владычества. Никакими иными путями, кроме как через него, Глебова, никто не надеялся посмотреть эту мировецкую, ни с чем не сравнимую картиночку, суть которой заключалась в том, что на поезд с красными нападали беляки, расправлялись с женщинами, стариками и детьми, но затем красные побеждали. Перестрелки и схватки происходили в тамбурах, на крышах и под колесами вагонов на полном ходу. Глупая публика не ходила на эту картину, зальчик в дневные часы пустовал.

Глебов выбирал одного, двух наиболее достойных, занимался выбором вдумчиво, после уроков объявлял решение, и они мчались опрометью через мост, торопясь к сеансу. Мать могла пропустить и четверых, пятерых. Но Глебов не разбрасывался. Спешить было некуда. Ему хотелось, чтоб Шулепа тоже попросил бы, поклянчил, как другие, но тот не проявлял интереса. Однажды сказал небрежно:

— Да я ее сто раз видел!

Это было, конечно, вранье. Глебов наслаждался во время уроков, перебирая просителей: один предлагал ему серию французских колоний с кляссером в придачу, Манюня обещал повести с отцом на бега, были другие предложения, были и угрозы. Одна девочка написала записку с обещанием поцеловать его, если он проведет ее на сеанс. Записка разволновала Глебова. Он никогда еще не получал записок от девочек и никогда не целовался. Девочку звали Дина, фамилия ее была Калмыкова. Дина Калмыкова, по прозвищу Абажур. Она была толстенькая, очень румяная, черноглазая, чернобровая, не очень красивая, Глебов не обращал на нее внимания. Но она запомнилась ему на всю жизнь.

Получив записку, Глебов испытал мгновенный горячий страх. Он боялся пошевельнуться и уж тем более боялся оглянуться назад — Дина сидела через две парты за ним. Первым делом он разорвал записку на мелкие клочки. Лихорадочно обдумывал: как поступить? Конечно, он мог бы сказать ей: «Пожалуйста, могу взять тебя в кино, но целоваться необязательно». Но это, может быть, прозвучало бы для нее обидно. Главное, она была уж очень толстенькая, настоящий жиртрест, хотя бега-

ла быстро и на уроках физкультуры обгоняла других девчонок. Очень здорово умела ходить по бревну. На канате подтягивалась неплохо. У нее были огромные малиновые трусы с оборками, которые кто-то назвал «абажуром», и получилось прозвище: Абажур. Если бы такую записку прислала Света Кириллова или, например, Соня Ганчук, Глебов разволновался бы гораздо сильнее. Света казалась Глебову красавицей, она держалась гордо, была гибкая, тоненькая, с темно-рыжими косами, и всегда у нее был такой вид, будто она знает важную тайну, никому не известную, а Соня Ганчук привлекала Глебова не красотой, а чем-то другим. Может быть, тем, что ее отец, профессор Ганчук, был героем гражданской войны и в его кабинете, куда Соня однажды тайком провела Глебова, на стене висели кинжалы, ружья и турецкий ятаган. Вот если бы Света или Соня обещали поцеловать его! А Динка Абажур поставила его в тупик.

Все же на перемене, улучив минуту, когда Дина оказалась одна — она стояла у окна спиной к подоконнику и, улыбаясь, глядела в потолок,— он подошел к ней и буркнул:

— Если хочешь, можно пойти сегодня. Пойдут Моржик и Химиус...— Помолчав, он добавил: — Если хочешь, конечно...

— Хочу,— сказала Дина, продолжая улыбаться и разглядывать потолок.

— Только не задерживайся, а то опоздаем. На два тридцать. Сразу одевайся, и бежим. Понятно? — Он говорил сухо, без намека на сантименты.

Во время сеанса Дина шепнула Глебову на ухо:

— Я пойду домой!

Он удивился. Главные перестрелки «Голубого экспресса» были впереди, и Глебов настроился посмотреть их в десятый раз. Дина объяснила шепотом: у нее заболел живот. Она поднялась и вышла из зала. Глебов, подумав, вышел вслед за ней. Было не совсем ясно, зачем он за ней вышел, и поэтому они оба чувствовали себя скованно и ни о чем не разговаривали. Дина шла быстрым шагом, почти бежала, и Глебов так же быстро шел с нею рядом. В молчании они пробежали переулок, вышли на набережную Канавы. Вода под мостом была черная и дымилась паром. Кое-где по реке еще плыли льдины, был апрель, тепло, холодно, не поймешь что́, но у Глебова немного стучали зубы и весь он как-то дрожал. Теперь очень хотелось, чтобы Дина поцеловала его.

Но он не знал, как об этом напомнить. Ведь не зря же он выбежал на улицу, не досмотрев кино! И получилось как раз удачно, потому что Морж и Химиус остались в кино, а то бы возвращались вчетвером, было бы неудобно.

Он посматривал сбоку на Динку Абажур, видел ее пунцовую щеку, вздернутый нос, черные кудри, выбившиеся из-под шерстяной лыжной шапочки, замечал, как она отдувается от быстрой ходьбы, толстые губы ее были раскрыты, и ему было приятно это посматривание. Потому, что он чувствовал, что Динка Абажур, пускай она толстая и не очень красивая, была в эти минуты в его власти. И сама на это согласилась! Его сердце стучало. Он стискивал кулаки. Вдруг Дина пошла медленней. Глебов тоже замедлил шаг. Они проходили мимо старого четырехэтажного дома, но это был не ее дом. Она жила на Полянке. Дина открыла тяжелую дверь подъезда, вошла внутрь, не оглядываясь, и Глебов вошел за ней. Она побежала по лестнице наверх, на второй этаж, на третий, на четвертый, не останавливаясь, он бежал следом. С площадки четвертого этажа вела еще выше узкая лесенка, и Дина поднялась по ней. Глебов тоже поднялся. Там было низкое темное, дурно пахнущее помещение перед входом на чердак.

Дина повернулась к нему, тяжело дыша, и сказала:

— Ну!

— Что? — спросил он, задыхаясь.

— Можешь меня поцеловать.

— Почему это я должен? Ведь ты обещала...

— Дурак! — сказала Дина.

Они постояли молча, понемногу успокаиваясь. Она не хотела уходить и еще раз сказала тихо:

— Ой, дурак же...

Он твердо решил дождаться обещанного. Прошло, наверно, минуты три в полном молчании и неподвижности, потом из-за двери, ведущей на чердак, раздался истошный кошачий визг и что-то прошуршало стремительно. Они засмеялись. Дина внезапно приблизилась к нему толстым жарким лицом, и он почувствовал прикосновение — на одну секунду — чего-то влажно-летучего возле своих губ, и это был первый поцелуй в его жизни. Ничего особенно приятного, просто облегчение. Они сбежали по лестнице вниз и тут же, у подъезда, расстались: ей надо было идти направо за угол, на Полянку, а он побежал через мост.

А через день или два, в разгар глебовского могущества, произошло крушение. Шулепников зазвал ребят после уроков к себе. В большом доме Глебов бывал не раз: то у Моржа на десятом этаже, где из окна открывался вид на Крымский мост, деревья парка и летом было видно, как крутится громадное парковое колесо, то приходил к Химиусу, жившему в том же подъезде этажом ниже, они с Моржом устроили на балконах «веревочно-флажковую связь», то бывал у Сони Ганчук, а то у Антона в маленькой квартирке на первом этаже, где Антон жил с матерью Анной Георгиевной. Изо всех обитателей большого дома Глебову по-настоящему нравился Антон Овчинников. Вообще-то Глебов считал Антона просто-напросто гениальным человеком. Да и многие так считали. Антон был музыкант, поклонник Верди, оперу «Аида» мог напеть по памяти всю, с начала до конца, кроме того, он был художник, лучший в школе, особенно замечательно он рисовал акварелью исторические здания, а тушью — профили композиторов; еще он был сочинитель фантастических, научных романов, посвященных изучению пещер и археологических древностей, интересовали его также палеонтология, океанография, география и частично минералогия. Глебова Антон привлекал не только гениальными способностями, но и тем, что он был скромный, не хвастун, не зазнайка — в отличие от других жителей большого дома, в каждом из которых сидела хотя бы малой дозой некая фанаберия, отвратительная Глебову,— и жил Антон скромно, в однокомнатной квартире, обставленной простой казенной мебелью, и не было у него немецких ботинок, финских шерстяных свитеров, удивительных ножичков в кожаных футлярчиках, и не приносил он в школу завернутые в папиросную бумагу бутерброды с ветчиной или сыром, от которых шел запах по всему классу.

Глебов не очень-то охотно ходил в гости к ребятам, жившим в большом доме, не то что неохотно, шел-то с охотой, но и с опаской, потому что лифтеры в подъездах всегда смотрели подозрительно и спрашивали: «Ты к кому?» Надо было называть фамилию, номер квартиры, иногда лифтер звонил в квартиру и выяснял, действительно ли там ждут в гости такого-то. Стоять и ждать, пока он выяснит, было неприятно. Лифтер, разговаривая, поглядывал зорким и неподкупным оком, как бы опасаясь, что Глебов юркнет в лифт и уедет без разреше-

ния, а Глебов чувствовал себя почти злоумышленником, пойманным с поличным. И никогда нельзя было знать, что ответят в квартире: у Моржа была глухая домработница, которая ничего не могла ни понять, ни объяснить, а у Химиуса часто снимала трубку бабка, вредоносная старуха, следившая за внуком с неусыпной бдительностью. Однажды она сказала лифтеру: Глебова не пускать, потому что Химиус не сделал уроков. И лишь когда Глебов приходил к Антону, он не испытывал мучительства допросов и переспросов — квартирка Антона находилась на первом этаже, и лифтер с суровой внимательностью просто следил за Глебовым, как тот звонит, как ему отпирают. Глебов заметил, что и ребята, жившие в доме, побаивались лифтеров и старались прошмыгнуть мимо них побыстрей.

Но Левка Шулепников, хотя и недавний жилец, держался иначе. Лифтер в его подъезде, сумрачный, с вислыми щеками очкарик, первый поздоровался с Шулепой кивком головы и даже как-то чуть дернулся за своим большим столом, на котором стоял телефон, а Шулепа прошел мимо, не обратив внимания. В лифт влезли с трудом пять человек, едва закрыли дверь. Лифтер пытался остановить, но как-то застенчиво, со смешком: «А вы, молодые люди, не встрянете промеж этажей?» Левка отвечал лихо: «А, ничего! Рискнем?» Все, конечно, орали: «Рискнем! Сделаем опыт! Проверка человекоподъемности!» Лицо очкарика, когда лифт поднимался, выражало застылый испуг.

В квартире, поразившей Глебова гигантскими размерами — коридоры и залы напоминали музей,— продолжался настрой дурашливости и молодецких проделок. Сняли ботинки и пустились кататься в носках по блестящему, натертому паркету, падали, натыкались друг на друга, хохотали, было очень весело. Вдруг из белой с матово-пупырчатым стеклом двери вышла старая женщина с папиросой во рту и сказала: «Это что за бандитизм? Немедленно прекратите! Надевайте ботинки и марш в детскую!» Левка, ворча, подчинился. Спросили: это, что ли, его мать? Он сказал, что это Агнесса. Учит его тетку французскому языку и ябедничает матери. «Я ее когда-нибудь отравлю мышьяком. Или изнасилую». Все прыснули со смеху, одновременно изумившись. Уж он скажет так скажет! Ни у кого не повернулся бы язык произнести это слово, значение которого все понимали — хотя самые неприличные слова произносили без зазрения со-

вести,— а Левка выговорил его в применении к себе и к старухе с папироской этак свободно, легко. И чем отчетливей ощущал Глебов особенные качества Левки Шулепникова, тем сильнее сгущалось то саднящее, тяжелое, что потом превратилось в свинец.

А Шулепников так привык с тех дурацких лет произносить это слово безо всякого смысла, а просто как пустую угрозу или немудрящую шутку, что повторял ее и позже, уже взрослым балбесом, в институте. Разобидится на какую-нибудь преподавательницу и: «Если она мне тройку не поставит, я ее изнасилую».

И вот в детской, заставленной какой-то странной бамбуковой мебелью, с коврами на полу, с висящими на стене велосипедными колесами и боксерскими перчатками, с огромным стеклянным глобусом, который вращался, когда внутри зажигалась лампочка, и со старинной подзорной трубой на подоконнике, хорошо укрепленной на треноге для удобства наблюдений — Левка сказал, что вечерами можно прекрасно проводить время, разглядывая окна на другой стороне двора,— в этой комнате разрушилась хрупкая глебовская власть. Впрочем, этого никто не заметил, кроме него самого. Левка принес киноаппарат, повесил на стену простыню и показывал кино: «Голубой экспресс». Аппарат трещал, старая лента рвалась, надписи неразборчиво мелькали, и все же был общий восторг, а Глебов чувствовал себя внезапно и глубоко оскорбленным. Он думал: но почему же, черт возьми, у одного человека должно быть все, абсолютно все? И даже то единственное, что есть у другого человека и чем он может немного погордиться и попользоваться, отнимают и дают тому, у кого есть все. Потом понемногу привык. Привыкают ко всему, даже к непосильной тяжести: тучники таскают по тридцать килограммов лишнего веса и приноравливаются.

Глебов привык к большому дому, затемнявшему переулок, привык к его подъездам, к лифтерам, к тому, что его оставляли пить чай и Алина Федоровна, мать Левки Шулепы, могла потыкать вилкою в кусок торта и отодвинуть его, сказав: «По-моему, торт несвеж»,— и торт уносили. Когда это случилось впервые, Глебов про себя поразился. Как может быть торт несвеж? Ему показалось это совершенной нелепостью. У него дома торт появлялся редко, ко дню чьего-нибудь рождения, съедали его быстро, и никому не приходило в голову выяснять, свеж он или не свеж. Он всегда был свеж, великолепно

свеж, особенно такой пышный, с розовыми цветами из крема.

Глебов привык и к своей квартире, когда возвращался в нее после посещений большого дома. Первое время бывало как-то тоскливо, когда он видел вдруг, будто со стороны, свой кривоватый домишко с бурой штукатуркой; когда поднимался по темной лестнице, по которой следовало идти осторожно, потому что ступени были местами выбиты; когда подходил к двери, обсаженной, как старое одеяло заплатами, множеством табличек, надписей и звонков; когда погружался в многослойный керосиночный запах квартиры, где всегда что-нибудь кипятилось в баке и всегда кто-нибудь варил капусту; когда мыл руки в бывшей ванной комнате, тесной от досок, закрывавших саму ванну, в которой никто не мылся и не стирал белье, а на досках стояли принадлежавшие разным жильцам тазы, корыта; когда многое другое видел, ощущал, замечал, возвращаясь от Левки Шулепникова или от кого-нибудь из большого дома, но понемногу все сглаживалось, мягчало и переставало задевать.

Однажды, когда, вернувшись из гостиной, он, возбужденный, описывал, какая люстра в столовой шулепниковской квартиры, и какой коридор, по которому можно ездить на велосипеде, и что за конфеты были к чаю — поразили не сами конфеты, а размеры коробки,— а мать и бабушка с любопытством выспрашивали про то, про другое, отец вдруг сказал, подмигивая Глебову:

— Послушайте, мне сдается, вы хотели бы жить в том доме?

— А почему бы нет? — сказала мать.— Хочу иметь собственный коридор.

— А я хочу, чтоб судками не дренькали,— сказала баба Нила, страдавшая оттого, что соседка, которая жила в комнате напротив и приходила с работы поздно, начинала в двенадцатом часу шастать из комнаты в кухню и обратно, и все почему-то с судками, которые дренькали. Баба Нила спала на сундуке у дверей, и беготня соседки, дреньканье посуды ее будили. Отец посмотрел на мать и бабку с сожалением.

— Что вам сказать? Курочки вы рябы, дурочки вы бабы...

Таковы были его шутки, вполне незлобивые. Он и мать ласково называл «курочкой рябой». Женщины притворно возмущались, напускались на него, махая рука-

ми — на самом деле мать никогда на него по-настоящему не сердилась,— а он толкал Глебова, подмигивал.

— Нет, Димыч, какие клуши... Какие колоссальные курицы... Да неужто вы не понимаете, что без собственного коридора жить куда просторней? А дреньканье судков — это же музыка! Да я за тыщу двести рублей в тот дом не перееду...

Несмотря на то что отец всегда был настроен полушутливо, легкомысленно, всегда над матерью, над бабушкой и тетей Полей, маминой сестрой, немного насмешничал, разыгрывал их, попугивал и порой трудно было понять, всерьез он или дурачится, но поистине — Глебов понял это не сразу, когда повзрослел — он был человек вовсе не легкомысленный и не такой уж весельчак. Все это было понарошке, домашний театр. А внутри отцовской природы, скрытым стержнем, вокруг которого все навивалось, было могучее качество — осторожность. То, что он говорил, посмеиваясь, в виде шутки — «Дети мои, следуйте трамвайному правилу — не высовывайтесь!» — было не просто балагурством. Тут была потайная мудрость, которую он исподволь, застенчиво и как бы бессознательно пытался внушать. Но для чего не высовываться? Кажется, ему представлялось это важным само по себе. Может быть, его душил, как душит грудная жаба, какой-то давнишний и неизжитый страх. Он был намного старше матери, выглядел стариком, курчавым седым стариком, хотя ему было лишь около пятидесяти, да ведь эти пятьдесят — борьба, невзгоды, выбивание из сил. Он вышел из очень бедной семьи конторщика, служившего на заводе Дуксы. Брат отца, дядя Николай, был летчиком, одним из первых русских летчиков, погибших на германской войне. В семье им гордились. Больше гордиться было нечем. Портрет дяди Николая в гимназической фуражке висел на видном месте. И вот в дружбе с Левкой Шулепниковым, которая крепла — Левка непонятно почему льнул к Глебову, приглашал домой, дарил книги, к которым сам был равнодушен, ко всем книгам вообще, и было подозрение, что потаскивал из отцовской библиотеки, потому что на некоторых стояли сделанные синей печатью изображения человека с молотом, лучи солнца и надпись: «Из книг А. В. Ш.»,— даже в мальчишеском приятельстве отец видел какие-то опасности и предлагал «не высовываться». Он советовал Глебову бывать в том доме пореже,

не обольщаться дружбой с Левкой, потому что «у Шулепниковых своя линия жизни, у тебя своя и мешаться не надо».

Почему-то ему казалось, что Глебов непременно скоро надокучит Левке Шулепникову или, того хуже, его родителям и от этого произойдут неприятности. Глебов и сам чуял это нутром, ему самому не хотелось бывать в большом доме, и, однако, он шел туда всякий раз, когда звали, а то и без приглашения. Там было заманчиво, необыкновенно — о чем только не болтали с Антоном, какие только книги не показывала Соня Ганчук из отцовских шкафов и какими чудесами не похвалялся Шулепа! — а дома все было знакомо до ниточки, все глушь, скукота.

Впрямую отец не говорил ничего, все намеками, шуточками. Глебову же хотелось услышать про Левку отчетливо.

— А почему ты так говоришь? Чем тебе Шулепа нехорош?

Ведь то, чем был Левка нехорош Глебову, вернее, что возбуждало то гадостное, свинцовое, отцу было невдомек. У отца были какие-то другие счеты. Отец уклонялся объяснять или же выставлял что-нибудь смехотворное, вроде: «Видишь ли, в принципе, я не против твоего Левки, или Шулепки, как ты его называешь. Кстати, советую эту кличку оставить... Называй его просто Львом... Дело в том, что он скверно воспитан. Он, например, не благодарит, когда встает из-за стола после чая».

Разумеется, это был вздор, отец хитрил. Левка не нравился ему по каким-то иным причинам, более существенным. Но когда Левка приходил в гости, отец бывал с ним приветлив, даже весьма любезен, как со взрослым, и называл его внушительно «Лев», что Глебова смешило. Кроме того, отец в присутствии Левки становился неумеренно многословен, рассуждал на разные темы и, что Глебова коробило, как-то привирал и хвастал.

Однажды он, рассказывая про дядю Николая, сообщил, что тот был первый русский летчик, сбивший в одном бою три аэроплана, в том числе аэроплан знаменитого аса графа фон Шверина. Аэроплан графа разбился, но граф чудом остался жив и вновь стал летать, заявив, что его мечта — встретиться в воздушном бою с тем русским и отомстить ему. Было напечатано во всех газетах.

Глебов слушал, изнывая от неловкого чувства. Отец сказал:

— Даже ты этого не знаешь. Я тебе никогда не рассказывал.

А Левка Шулепников сказал:

— Вы тогда говорили, что он сбил два аэроплана.

— Я? Не может быть! Я не мог говорить, что два. Тогда бы это не считалось рекордом. Два — это не рекорд. В том-то и дело, что он сбил три аэроплана в одном бою...

В другой раз отец рассказывал, как во время гражданской войны он служил на Кавказе под командованием товарища Кирова — какая-то служба на Кавказе имела место, это верно — и как побывал с кавалерийским отрядом в Персии, где видел огнепоклонников. Левка Шулепников тут же наврал про своего отца: будто тот в Тифлисе собственной рукой застрелил факира. Отец сказал, что видел в Северной Индии, как факир на глазах выращивал волшебное дерево. (В Северной Индии отец никогда не был, это уж точно.) А Левка сказал, что его отец однажды захватил шайку факиров, их посадили в подземелье и должны были расстрелять как английских шпионов, но, когда утром пришли в подземелье, там никого не оказалось, кроме пяти лягушек. Факиров было как раз пятеро.

— Надо было расстрелять лягушек,— сказал отец.

— Так и сделали,— сказал Левка.— Но знаете, как трудно расстрелять лягушек? Особенно в подземелье?

Отец смеялся, грозя лукаво и одобрительно пальцем.

— Я вижу, Лев, ты любишь фантазировать! Это хорошо, это мне по душе. Шутки шутками, а я действительно видел живых факиров... Во-первых, в Северной Индии, как я уже говорил, и, во-вторых, у нас в Москве, на Страстном бульваре...

Они были чем-то похожи, отец и Левка Шулепников. Поэтому разговоры их так ладно и споро текли. Глебову это не нравилось. Его раздражала неправда. Не то, что отец привирал, а то, что за глаза одно, а в глаза другое. Он сказал отцу:

— Ведь Левка тебе не нравится. Зачем же ты так? Улыбаешься, рассказываешь... Как будто он твой начальник...

И тут отец рассердился. Он почти никогда не сердился, не кричал, а тут стал кричать:

— Молокосос! Делает мне замечания, маленький нахал! — Было его любимое: «маленький нахал».— Я улыбаюсь и что-то вам рассказываю только потому, что я воспитанный человек. Это вы привыкли: Левка! Димка! Эй! Ты! Буза! Невероятное нахальство — делать замечания отцу.

Он так раскипятился, что пожаловался матери и бабе Ниле, и те тоже напали на Глебова. Но вечером Глебов подслушал, как мать и отец шептались за ширмой:

— И чего ты перед этим хлыщиком турусы разводишь...

— Он нахал! Учит отца!

— А ты не стелись, как это...

— Дураки вы! Не понимают!

Потом, поостыв, спустя день или два отец объяснял спокойно:

— Кстати, насчет того, что ты давеча говорил... Будто я с твоим Левкой, как с важной персоной... А знаешь, неглупо заметил! Он и есть — ну, не Левка, скажем, а его родитель — действительно персона, хотя я о том знать не знаю, ведать не ведаю. Потому, что все кругом перепутано, перевязано...

И вскорости подтвердилось: верно, перепутано одно с одним. Вдруг затеялась заваруха с дядей Володей, мужем тети Поли. Стали думать: можно ли ему помочь через Левкиного отца, Шулепникова? Дядя Володя и тетя Поля жили на Якиманке, но прибегали чуть ли не каждый день, особенно тетя Поля. Мать и бабушка ее любили. Она считалась в семье самой красивой, удачливой, работала в хорошем месте: модельером на фабрике игрушек. А дядя Володя — наборщиком в типографии. С ним вышла неприятность, обвинили чуть ли не во вредительстве. Тетя Поля плакала: «Тось, ну какой Вовка вредитель? Он же себе вредит, больше никому...» Себе вредил сильно, потому что был пьяница. Отец его постоянно корил. А мать и бабушка то жалели тетю Полю, а то ругали ее: «Сама, дура, виновата, сама распустила! Зачем ты ему покупаешь?» — «Да пусть уж дома,— оправдывалась тетя Поля,— чем на улице с кем попало».

Баба Нила и мать доказывали, что из-за этого, из-за вина и неприятность случилась, но тетя Поля не соглашалась: «Его люди погубили. Он ведь человек-то какой!» И правда, человек был очень хороший, бесхитростный. Но Глебов тогда еще догадался, что от таких мягкодушных да бесхитростных, всем вокруг пагуба: тетя

Поля плачет, баба Нила страдает, мать только об этом и думает, а отец ругается. Хотела весной велосипед Глебову купить, но мать сказала: сейчас денег нет, надо Полине помогать.

И вдруг додумались: к Левкиному отцу...

То отмахивались и пальцем грозили: ты, мол, от них подальше, не хороводься, а теперь за помощью к Левке. Потому что всех поразила история с Бычками.

Бычки, или Бычковы, веселая семейка, жили в глебовской квартире, как паны. Все их боялись, на всех они цыкали и творили, что хотели. Запрут кухню с вечера и никого не пускают. Хоть в милицию бежать, хоть куда. Старик Бычков Семен Гервасиевич кожи в вонючей воде мочил. Он на дому сапоги тачал, самые дорогие, новомодные, и большей частью не сам тачал, а давал работенку, сам только заказчиков добывал, кожу.

Из-за ночного запирания кухни сколько бывало голошенья! Соседка, что жила напротив и приходила поздно, горячилась больше всех. Мать Глебова тоже возмущалась. Во-первых — вонь. Во-вторых — самоуправство.

Иногда мать выскочит, закричит:

— Да я вас!.. Да с какой стати!

Старик Семен Гервасиевич низким голосом: бу-бу-бу. Отец с неохотой выползал в коридор. Все Бычковы тут же вываливались из «залы» — большую комнату, где жили вшестером, они называли почему-то залой, — и бу-бу-бу становилось всеобщее, громовое. Как будто гроза гремела и дождь колотил. Но главные гаденыши были Минька и Таранька. Тараньке было десять, учился он в третьем, а Миньке — пятнадцать, тот нигде не учился, потому что в пятом классе два раза оставался, выгнали, пошел куда-то учеником, бросил. И занимался какими-то неясными делами, пропадал в парке в бильярдной и, может быть, даже с ворами шился.

Минька Бычок, он же почему-то Хлебало, был некоронованный мальчишечий царь Дерюгинского переулка и окрестностей. И царь недобрый. Встречаться с ним боялись, все знали, что он ходит не с пустыми руками.

Бывало, прибежит в школу после уроков и давай допрашивать:

— Кто вчера к Тарасу з а л у п а л с я? Кто его на лестнице ц а п а л? Ты, гад?

А он уж знал кто́, потому что Таранька нажаловался или наврал. Этого золотушного Тараньку трогать остерегались, но были, конечно, люди неосведомленные, про

Миньку не знавшие — а Таранька вел себя нагло,— они отваливали спроста затрещину или щелчок по кумполу, не догадываясь об ужасных последствиях. Минька устраивал во дворе у кирпичной стены, куда он затаскивал своих жертв, краткое жестокое судилище.

— И как ты мог, сучонок, мово брата обидеть? Что ли, жизнь надоела?

Юрку Медведя, силача, который десятиклассников не боялся, он унизил и растоптал на глазах у всех. Вывернул ему руку за спину, тот закричал от боли, а Минька еще сильней выворачивает, так что Медведь на колени рухнул, и приказывает:

— Говори: прости меня, Тарас Алексеевич, за то, что вас обидел... И никогда больше не буду!

И Таранька, маленький такой мозглячок с рыжими ресницами, стоял тут же и усмехался. Медведь терпел изо всей мочи, стонал, зубами скрипел и головой мотал — не хотел говорить,— а все-таки Бычок его пересилил. Таранька подошел к нему вплотную, прямо придвинул свои ноги к его лицу. И Минька давил его, давил:

— А ну рожай, гад, слышь? А то руки нет!

Медведь и вышептал еле слышно:

— Прости меня, Тарас Алексеевич...— и все остальное. Никто за него не заступился: больших ребят во дворе не было, а маленьким разве сладить? Глебов Миньку Бычка тоже побаивался, но не так, как другие. Все-таки Минька был соседом. То просил что-нибудь, то сам давал. Иногда Глебов потихоньку гордился: все вот трухают в Дерюгинский переулок ходить, там Минька Бычок со своей шайкой, а он ничего, не трухает. Может ходить по переулку и поздно вечером, и ночью, никто его не тронет. Это свое преимущество Глебов ощущал остро, он даже чувствовал — с некоторым тайным стыдом, сам себе не признаваясь,— что в трудную минуту мог бы стать н е м н о ж к о Т а р а н ь к о й. И Минька бы за него заступился! Надавал бы кому следует.

Но Глебов никогда Миньке ни на кого не жаловался. Вообще не использовал всех выгод Минькиного соседства. Потому что под тайным самодовольством пряталось в глубине совсем другое — страх, леденящий душу. Такой страх, какого не видал никто. Потому что никто, как Глебов, не знал и не чуял всех этих Бычковых, от голоса которых мать бледнела, а бабушка крестилась.

Мать твердила:

— Ради бога, ни с Минькой, ни с Таранькой ни в чем никогда не связывайся...

А как не связываться, когда сами лезут? Попробуй не свяжись... Была у них сестра Вера, девчонка лет шестнадцати. Работала на фабрике. Выглядела совсем как взрослая женщина — а может, так казалось Глебову,— вся толстая, грудь торчком, туфли скрипучие, и всегда от нее сильно пахло одеколоном.

Таранька выманит Глебова в коридор и пристает:

— Хочешь, Верку голую покажу? Давай двадцать копеек!

Глебов, конечно, не хотел. Совершенно его не интересовало смотреть на голую Верку. Одна мысль об этом вызывала неприятное беспокойство. А еще где двадцать копеек взять? У матери воровать или у бабы Нилы просить? Но Таранька приставал злобно, настырно и собакой стращал: была у Бычков черная большая собака по кличке Абдул, считавшаяся Минькиной собственностью. Абдул Глебова хорошо знал, но все-таки, если бы стали натравливать, неизвестно, чем бы кончилось.

Шли в ванную, снимали с досок корыто, ставили табуретку, Глебов на нее забирался. Наверху было окошко, ведшее в «залу», закрытое оттуда занавеской. Таранька отодвигал изнутри занавеску, и Глебов смотрел, как Вера моется посреди комнаты в тазу. Вера почему-то Тараньку не стеснялась. Глебов видел все...

Потом Таранька впивался, как клещ: двадцать копеек гони немедля! Все у них так — дай, подай тотчас! Не раз было, мать приходит в комнату расстроенная, чуть ли не в панике:

— Опять Алевтина швейную машину требует... Что сказать?

Алевтина — мать Миньки, Тараньки и Веры, жена старшего Бычка. Давать швейную машину матери очень не хотелось. Она и так, и этак отлынивала, хитрила, но та все равно добивалась. Отвязаться от Бычковых не было никакой возможности.

А кончилась их власть так. Как-то забежали в Дерюгинский переулок Антон и Левка, зачем неизвестно, бежали они не к Глебову. Может, хотели пройти Дерюгинским переулком на набережную Канавы, был там проход дворами. Бычки их засекли, сначала пустили Тараньку с глупыми разговорами: «Эй, парень, а по ха не хо?» Значило: по харе не хочешь? Собственно, это был вызов на драку. С Таранькой, конечно, толковать не стали,

отмахнулись, тут вся бычковская свора высыпала из подъезда — у них так шло по сценарию, — завертелась драка, кто-то выпустил Абдула, он, кажется, не покусал никого, но напугал сильно и одежду порвал. Левке-то что, а у Антона всякая тряпочка была на счету. На другой день в глебовскую квартиру пришел человек в кожаном длинном пальто, сразу стал стучать в «залу». Там громко завыл Абдул.

Старик Семен Гервасиевич и Алевтина с Таранькой были дома. Какой-то шум, разговоры, Алевтина кричала, собака лаяла с визгом — Глебова не пускали из комнаты, и вся семья Глебовых решила не выходить в коридор, сидели, прислушивались, — потом бухнуло три выстрела... Абдулка, говорят, забился под диван, не хотел вылезать.

Глебов был разочарован: он считал пса грозным и смелым, а тот вел себя как трусишка. Собаку и Бычковых, особенно Алевтину с Таранькой, которые рыдали, было немного жаль, хотя в квартире радовались. После гибели Абдула все у Бычковых как-то разом скособочилось и рухнуло. Миньку арестовали по воровскому делу, старик Семен Гервасиевич упал посреди двора, и его отвезли в больницу, а вскоре все остальные Бычковы сгинули неведомо куда, точно их ветром смело. И в «зале», перегороженной надвое, обклеенной новыми обоями, поселились смирные жильцы Помрачинские, муж, жена и девчонка Люба, они бегали по коридору незаметные, как мышки, и разговаривали друг с другом всегда шепотом.

Я помню всю эту чепуху детства, потери, находки, то, как я страдал из-за него, когда он не хотел меня ждать и шел в школу с другим, и то, как передвигали дом с аптекой, и еще то, что во дворах всегда был сырой воздух, пахло рекой, и запах реки был в комнатах, особенно в большой отцовской, и, когда шел трамвай по мосту, металлическое бренчание и лязг колес были слышны далеко. Помню: взбежать одним духом по громадной боковой лестнице моста; наткнуться вечером под аркой на летучую дерюгинскую братву, бегущую из кино, как стая койотов; идти навстречу, сжав кулаки, деревенея от страха.

Все детство окутывало багряное облако тщеславия. О, эти старания, жажда секундной славы! Мир был мал, человека четыре, пять — Антон, Химиус, Морж, ну, может быть, еще Соня и Лева и, конечно, смехотворный

Ярик,— и в этом космосе клокотало наше вожделение: доказать. Нежная, сочащаяся, алая плоть детства. Все было ни с чем не сравнимо. Впервые в жизни выбежал на набережную во время перемены, на залитый солнцем асфальт. Впервые в жизни догадался, что весна — это просто ветер, от которого холодно и стучат зубы. Худой изгибающийся человек в коротенькой курточке, в большом дамском берете кирпичного цвета шел быстро по тротуару и разговаривал сам с собой. Безумная озабоченность съедала впалые щеки, проваленные глаза. Прочитав мельком название нашей школы, он вдруг остановился и закричал:

— Этого не может быть! Этого не должно быть в природе! Вы слышите? — Он кричал не нам, теснившимся испуганной кучкой у парапета набережной, а кому-то незримому, кого сжигал его ненавидящий взгляд.— Средняя школа ЛОНО! Какое ЛОНО? Что за бред? Боже мой, понимают ли, что творят?

И еще что-то гневное, сверкая очами. Вдруг он прыжком вскочил на узкий гранитный брус ограды и прошел по нему несколько шагов с такой легкостью, будто шел по тротуару. Мы замерли, девчонки вскрикнули от ужаса. Человек в берете как будто заметил нас и, остановившись и глядя сверху, произнес:

— Несчастные дети!

После чего лунатическим шагом пробежал несколько метров по барьеру, спрыгнул и быстро стал удаляться в сторону Москворецкого моста. Впервые в жизни я видел безумца. Этот человек ошеломил всех. Когда он удалился на порядочное расстояние, мы стали дико хохотать. Химиус подошел к гранитному барьеру и взобрался на него, помогая себе руками. Мы видели, что он трусит, у него не было сил разогнуться, и все же он первый встал ногами на барьер и, скорчив страдальческую мину, подняв руку, воскликнул: «Несчастные дети!» — и затем повалился мешком на тротуар. Мы хохотали. Но вот Антон Овчинников, смертельно бледный, с закушенными губами подошел твердыми шагами к барьеру и тоже взобрался на него, встал, выпрямился, расставил руки, как канатоходец...

Мы знали, что у Антона плоскостопие, что он близорук, что с ним случаются приступы падучей, но никто не остановил его. Нас всех поразило безумие. Показалось, что ходить и даже бегать по барьеру невероятно легко. Следом за Антоном полез грузный толстяк Жорик, по

кличке Морж, и тоже прошаркал по граниту, не отрывая подошв и сгорбившись, как обезьяна, но когда спрыгнул на асфальт, ноги его подломились и он упал на колени. Потом полез я, потом Ярик.

Это было не так уж трудно. Главное, ни о чем не думать и смотреть под ноги, на каменную тропу барьера. Ужасный вопль Никфеда вырвал нас из странного сна. Вероятно, этим воплем был спасен Ярик, самый неловкий и беззащитный из нас, не умевший ни бегать, ни бороться, ни «стыкаться» на заднем дворе школы, где происходили кулачные дуэли «до первой кровянки». Ярик был рыжий, белолицый и весь какой-то мягкий, как резиновая игрушка. Он напоминал птицу, не умеющую летать. Его били ребята из других классов, которым не терпелось кого-нибудь побить. Соблазнительная добыча: такой большой и такой бескостный. Однажды его побил третьеклассник. Все дело в том, что Ярик просто-напросто не мог никого ударить, пальцы его не сжимались в кулак, поэтому он не сопротивлялся, когда на него наскакивали даже малыши. А мы всегда защищали Ярика, из-за него разыгрывались сражения, ведь он был принадлежностью нашего класса, и те, кто поднимал на него руку, оскорбляли всех нас. Вдруг кто-нибудь орал: «Ярку бьют!» — и мы мчались сломя голову на второй этаж или на третий, под крышу, в гимнастический зал или во двор, где подлецы распоряжались нашим Яриком, как своей собственностью: валтузили его в уголке или же заставляли в лошадином качестве возить какого-нибудь ухаря на закорках. Но вот тогда, на набережной, когда он приблизился к барьеру и с отчаянным видом закинул на него свою длинную ходулю, согнутую в колене, мы смотрели на Ярика с радостным интересом, ожидая забавное зрелище. Между тем он наверняка бы свалился в воду и утонул.

Тогда это началось: испытывать волю. После того как по барьеру научились не только ходить, но и бегать почти все из нашей компании, кроме парня, у которого одна нога волочилась, он был освобожден от физкультуры, Антон выдумал другое испытание — пройти вечером Дерюгинским переулком. Это было гнуснейшее местечко на острове и, пожалуй, в целом Замоскворечье. Там гнездилась подозрительная публика. Разбойники, для которых не было ничего святого, клятвопреступники и разорители мирных и купеческих караванов, флибустьеры и авантюристы, пиратская шайка, вроде той, ко-

торую возглавлял одноногий Сильвер. Всякого пацана, забегавшего в переулок, они бессовестно грабили: у одного гривенник, у другого пятиалтынный, у третьего отнимали вставочку или ножик. Родители запрещали туда ходить.

Но зато уж если те попадали в наши дворы!

Антон занимался джиу-джитсу. Занятия заключались в том, что с утра до вечера — на переменах, на уроках, дома, читая книгу или слушая музыку по радио — стучал ребром правой ладони по твердому. Ладонь должна была стать как железо. Он называл это: бронировать ладонь. И, как все у Антона, благодаря его нечеловеческому упорству и самодисциплине дело бронирования подвигалось успешно. Месяца через два ладонь украсилась жесткой мозолью. Ни у кого из нас не хватило бы на это терпения. И, когда они выскочили из подъезда и встали перед нами, загораживая дорогу, и некий Минька, по кличке Бык — когда-то учился в нашей школе, здоровенный детина, у него уже усики пробивались,— спросил: «Вы чего тут не видели? К Вадьке прете?» — Антон ответил: «Нет!» Антон и Лева иногда заходили к Глебову. Они считали, что он парень ничего, не очень-то большой о г л о е д. Большинство ребят в нашем классе были, конечно, о г л о е д ы. Но теперь Антон решительно ответил «нет!», хотя, если бы он сказал «к Вадьке», они бы не тронули нас. Вадька и Бык жили в одной квартире. Если б мы крикнули: «Эй! Батон!» — Вадьку Глебова звали Батоном — и Вадька выглянул бы из окна, драки могло не быть.

Но в том-то и дело, что Антон придумал все это, чтобы испытать нашу волю, и мы не должны были облегчать испытания. Лева Шулепников нарочно не взял пугача. А бедный Антон Овчинников совсем не выглядел богатырем и атлетом — потом, после той драки, о нем пошли по дворам легенды,— он был коренаст, невысок, один из самых малорослых в классе, и ходил к тому же до поздних холодов в коротких штанах, закаляя свой организм, что придавало ему чересчур мальчиковатый вид. Люди, его не знавшие, не принимали его всерьез. И еще он надевал очки, когда ходил в кино или отправлялся в загородные путешествия. Тогда, в переулке, он, кажется, был в очках. Поэтому, когда те начали лениво к нам приставать — одному подставили ножку, другому дали тычка, у Антона сделали попытку сорвать с носа очки,— произошло вдруг нечто, как взрыв бомбы: Антон ударил

обидчика ребром ладони в живот и тот упал. Он ударил второго, тот упал тоже. Он замахнулся на третьего... Они падали как-то мгновенно, без крика, без лишних движений, будто по собственному желанию, как хорошо натренированные клоуны на ковре в цирке... Это были сказочные секунды... Потом нас страшно избили... И еще эта собака... Антон лежал месяц дома с забинтованной головой... И при этом мы чему-то безмерно радовались! Чему мы радовались? Так странно, необъяснимо. Мы навещали Антона в его темноватой квартире на первом этаже, где не бывало солнца, где на стенах рядом с портретами композиторов висели его акварели, желтоватые с голубым, где молодой, выбритый наголо человек с ромбами в петлицах смотрел на нас с фотографии в толстой деревянной раме, стоявшей на пианино — отец Антона погиб в Средней Азии, убитый басмачами,— где всегда было включено радио, где в потайном ящике письменного стола лежали стопкой толстые тетради за пятьдесят пять копеек, исписанные бисерным почерком, где в ванной шуршали по газетам тараканы — в том подъезде во всех квартирах были тараканы,— где мы ели на кухне холодную картошку, посыпали ее солью, заедали замечательным черным хлебом, нарезанным большими ломтями, где мы хохотали, фантазировали, вспоминали, мечтали и радовались чему-то, как дураки...

И опять возникал разговор о дяде Володе: можно ли ему помочь через отца Шулепникова? Теперь казалось, что тот — человек могущественный. Затевала разговор мать. Отец колебался. «Не надо обременять людей,— говорил он, сильно нервничая.— Для Шулепникова это мелкое дело, просить неудобно». Мать говорила: «Ты Володю никогда не любил. А мне он родной. И я жалею Полину, ребятишек. Нет, я непременно попрошу Леву, чтобы он поговорил с отцом».— «Я запрещаю это делать!» — однажды крикнул отец.

Мать редко вступала в споры с отцом, но делала обыкновенно по-своему. Однажды Левка Шулепа прибежал вечером — Глебов помогал ему по алгебре, да и просто так, потрепаться,— сели пить чай с баранками, Левка любил пить чай у Глебова, жаловался, что дома баранок не покупают. И мать вдруг заговорила про дядю Володю. Насчет того, чтобы как-то узнать и помочь, потому что недоразумение. Левка согласился легко: «Хорошо, я бате

скажу». Мать протянула бумажку с фамилией. Написала заранее. Глебов почти физически почувствовал, как напрягся и сжался отец, который мешал ложечкой сахар в стакане, и вдруг движение руки, звяканье ложечки прекратились, он замер, не поднимая головы. А мать улыбалась, глаза ее блестели, и, когда она приблизилась, Глебов почувствовал, что от нее пахнет вином. Ему выступление матери тоже не очень понравилось, потому что Шулепа был все-таки его товарищ и если о чем-то его просить, то делать это положено ему, Глебову.

Когда Левка ушел, отец набросился на мать с попреками: «Как тебе не стыдно? Ты пьяна! В пьяном виде заводишь разговор!» Мать, конечно, говорила, что неправда, что не пьяна и чтоб он не молол ерунды. Да она и не была пьяна, просто чуть выпила для куражу. Отец распалялся, кричал, что за себя не отвечает, снимает с себя ответственность, было непонятно, в чем суть угроз. Он вообще любил туманно грозить. Редко видел Глебов отца в таком волнении. Он даже кулаком стучал по столу и кричал в гневе невнятное: «Я для вас все! Каждый шаг! А вы, черт бы вас взял! Куриные мозги!» Только потом Глебов сообразил, что отец насмерть перепугался. Еще у него была черта: по-настоящему сердился совсем не из-за того, о чем говорил вслух. Истинную причину следовало угадывать. Это бывало трудновато, порой невозможно. Но вот, когда он обличал мать за рюмку, выпитую впопыхах в подвальчике на Полянке, причина была ясна: разговор насчет дяди Володи. Ведь запрещал категорически! А мать не послушалась.

И только в конце, отведя душу, наоравшись, сказал как бы между прочим: «А насчет Володьки глупое дело... И как у тебя, у дуры, язык повернулся?» Мать расплакалась. Отец огорчился, ушел куда-то, стукнув дверью.

А баба Нила спокойно сказала Глебову: «Дим, ты Левке своему напомни. Тут шуми не шуми, боись не боись, а помогать надо...»

Всегда баба Нила умела сказать что-то простое, тихое, хотя рядом безумствовали, кричали вздор. Глебов любил эту маленькую, калачиком гнутую старушонку с седым впрожелть, аккуратным пучочком на затылке, с дробным, желтоватым личиком, всегда она колготилась по дому, возилась, шаркала, сновала туда-сюда. Одна весь дом тащила, с утра до поздноты на ногах. И она одна, казалось Глебову, понимает его *иногда*.

Как-то морозным днем Глебов сидел в комнате Левки Шулепы, играли в шахматы, и вдруг зашел Левкин отец. Был еще третий парень, играли навылет. Старшего Шулепникова Глеб видел редко, раза три или четыре за всю жизнь. Левка говорил, что батя работает круглые сутки, дома не бывает и даже спит на работе. Левка называл его батей, хотя он был Левкин отчим, а настоящий отец со странной двойной фамилией умер или же как-то таинственным образом исчез из Левкиной жизни. Прохоров-Плунге! Вот как звали Левкиного отца. Потому что лет двадцать спустя Левка стал носить свою истинную фамилию: Прохоров. Без Плунге. Но это было уже совсем в иной жизни. А между Шулепниковым и возникшим из небытия Прохоровым-Плунге — не им самим, а его именем — был еще третий отец, носивший фамилию Фивейский или Флавицкий. В Левкиных отцах можно было запутаться. Но мать у него всегда оставалась одна. И это была редкая женщина! Левка говорил, что она дворянского рода и что он, между прочим, потомок князей Барятинских.

Алина Федоровна была высокая, смуглая, разговаривала строго, смотрела гордо. Глебову казалось, что она главная в семье и Левка боится ее больше отца. Что-то среднее между боярыней Морозовой и Пиковой Дамой. А сам Шулепников, Левкин отчим, был какой-то неказистый, пучеглазый, небольшого роста, говорил тихим голосом, а лицо поразило Глебова совершенной бескровностью. Таких блеклых неподвижных лиц Глебов у людей не видел. Ходил Левкин отчим в серой гимнастерке, подпоясанной тонким, в серебряных украшениях кавказским ремешком, в серых галифе и сапогах. И вот он вошел в комнату, посмотрел недолго на шахматную партию и спросил:

— Глебов Вадим — это, кажется, ты?

Глебов кивнул.

— Пойдем на минуту со мной.

Глебов заколебался. Ему не хотелось бросать партию в выигрышном положении — с двумя лишними конями.

— Все! Ничья! — крикнул Левка и смешал фигуры. Удрученный, думая о том, какой Шулепа хитрый и несправедливый человек, Глебов шел вслед за его отчимом в кабинет. Ему и в голову не могло прийти то, что он там услышал.

— Садись!

Глебов сел в кожаное темно-вишневое кресло, такое мягкое, что он сразу как будто провалился в яму и слегка испугался, но быстро пришел в себя и нашел удобное, покойное положение. Левкин отчим сказал:

— Мне Лев передал записку твоей матери относительно...— Он надел очки и прочитал: — Бурмистрова Владимира Григорьевича. Это ваш родственник? Так, постараюсь навести справки о нем, если будет возможно. А если нет, тогда уж не взыщите. Но и к тебе есть просьба, Вадим!

Старший Шулепников сидел за громадным столом такой маленький, понурый, устало опустив плечи, и что-то рисовал на листе бумаги.

— Скажи мне, Вадим, кто был зачинщиком бандитского нападения на моего сына Льва в школьном дворе?

Глебов обомлел. Он никак не ожидал такого вопроса. Ему казалось, что та история давно забыта, ведь прошло несколько месяцев! Он тоже был зачинщиком, хотя в последнюю минуту решил не принимать участия. Но кто-нибудь мог рассказать. Все это Глебов сразу сообразил и немного струсил. Видя, что Глебов смутился и молчит, Шулепников сказал строго:

— Это не просто так, не пустяки — напасть на моего сына. Дело тут групповое, но должны быть зачинщики, организаторы. Кто они?

Глебов пробормотал, что не знает. Ему было не по себе. До такой степени не по себе, что что-то заныло и заболело внизу живота. Отчим Шулепы не походил на злого человека, не кричал, не ругался, но в его тихом голосе и взгляде светлых навыкате глаз было что-то такое, что становилось неуютно сидеть напротив него в мягком кресле. Глебову подумалось, что другого выхода нет и надо сказать. От этого, может быть, зависела судьба дяди Володи. Он сначала схитрил, стал говорить про Миньку и Тараньку, но Левкин отчим резко прервал, сказав, что то дело закончено и никого не интересует. А вот кто был зачинщиком на школьном дворе? Те лица до сих пор не обнаружены и не понесли наказания. Глебов мучился, колебался, язык не двигался, смелости не хватало, и так они сидели некоторое время молча, как вдруг случилось непредвиденное: в животе Глебова громко, явственно забурчало. Это было так неожиданно и стыдно, что Глебов сжался, втянул голову в плечи и замер. Бурчание не стихало. Но Левкин отчим не обращал на него внимания. Он сказал:

— Видишь ли, у Льва есть большой недостаток — он упрям. Уперся и не хочет давать показаний из ложного чувства товарищества. А ты знаешь, наверно, что он не родной мой сын, он сын Алины Федоровны, и это усложняет дело, потому что я не могу, скажем, применить меры воздействия. Что же делать? Ты обязан помочь, Вадим. Тебе двенадцать лет, ты взрослый человек и понимаешь, как все это серьезно. Это очень, очень серьезно! — И он поднял внушительно палец.

Бурчание в животе прекратилось, но Глебов боялся, что оно возобновится каждую секунду. От этого страха он и выпалил: назвал Медведя, который действительно был главный подбивала и которого Глеб не любил, потому что тот, пользуясь своей силой, иногда давал ему без всякого повода подзатыльники, и назвал Манюню, известного жадину. В общем-то, он поступил справедливо, наказаны будут плохие люди. Но осталось неприятное чувство — как будто он, что ли, кого-то предал, хотя он сказал чистую правду про плохих людей — и это чувство не покидало Глебова долго, наверно, несколько дней.

А потом Левка как-то пришел к Глебову и сказал, что батя просил передать: про дядю Володю узнать не удалось. Никто особенно не огорчился, потому что и так догадались, что не удалось. Дядя Володя был уже на севере и прислал оттуда письмо. Ну, а с Медведем и Манюней ничего страшного не приключилось. Родителей Медведя перевели куда-то по работе, они уехали из Москвы, и Медведь уехал с ними, а Манюня очень плохо учился, его выгнали из школы, он попал в «лесную школу», оттуда сбежал, связался с блатными и во время войны сидел по уголовным делам в лагере. И был еще такой случай: той весной, когда Манюню выгоняли из школы, он пришел во двор большого дома, подстерег Левку и навешал ему пилюль. Говорили, что из-за одной девчонки, но Глебов-то знал, из-за чего.

Все ушло в такую даль, так исказилось, затуманилось, расползлось, как гнилая ткань, на кусочки, что теперь не поймешь: что же там было на самом деле? Отчего произошло то и это? И почему он поступил так, а не по-другому? Отчетливо сохраняется чепуха. Она нетленна, бессмертна. Например, бурчание в животе. И от того, что случилось потом, спустя несколько лет, когда судьба опять столкнула с Левкой Шулепниковым в институте и опять возникли Соня, ее отец, профессор Ганчук, что

же осталось в памяти? Что сидит прочно, как гвоздь со стальной сверкающей шляпкой? Тоже чепуха: как профессор Ганчук после того собрания, где его уничтожали, в кондитерской на улице Горького поедал с жадностью пирожное «наполеон». Глебов случайно проходил мимо и увидел в окно.

Когда осенью сорок седьмого во дворе института Глебов увидел Шулепникова, узнал его, несмотря на то, что за семь лет Левка стал другим человеком — высокий, лобастый, с ранней пролысинкой, с темно-рыжими, квадратиком, кавказскими усиками, которые были не просто тогдашней модой, а обозначали характер, стиль жизни и, пожалуй, мировоззрение,— Глебов кроме изумления, любопытства испытал в первую же секунду удар того забытого, свинцового, что навсегда связано с Шулепниковым. Они хохотали, тискали, тузили друг друга, кричали, веселясь — «А это кто такой?», «Что это за тип?», «А что он тут делает?» — и одновременно давила Глебова знакомая гирька. Опять он был, в своем пиджачке, в ковбойке, в заштопанных брюках, если и не бедным родственником, то бедным приятелем этого именинника жизни. На Шулепникове была прекрасная, из коричневой кожи, со множеством молний американская куртка. Такие куртки попадались в комиссионных магазинах, но редко, и стоили кучу денег. Глебову и не мечтать. Однако он мечтал. В ту пору, когда он часто бывал у Сони Ганчук, где собиралась отборная публика и где он еще не чувствовал себя достаточно уверенно, хотя был старым Сониным другом, он страстно мечтал как раз о подобной куртке. То что нужно: мужественность, элегантность, крик моды, практичность. Черт знает что бы он не отдал за такую штуку! И, разговаривая, он не мог оторвать глаз от мягких кожаных складок. Левка что-то рассказывал о Германии, о неудачной женитьбе, о бате, о доме, где жил теперь: напротив телеграфа, где коктейль-холл. Глебов тоже рассказывал. Они говорили грубыми голосами о грубых вещах. Война вытряхнула из них мальчишескую начинку, так им мнилось, во всяком случае.

На самом деле они оставались мальчишками.

Глебов сказал:

— Курточка у тебя больно хороша. Где бы достать?

— А пожалуйста, не проблема.

— Нет, верно. Где достать?

— Да я батю попрошу, он скажет одному деятелю...

Через два часа сидели в коктейль-холле на высоких сиденьях — Глебов был тут впервые, сиденья казались нелепыми, неудобными, какие-то птичьи насесты — и, болтая ногами, беспрерывно куря, потягивая крепчайший «коблер» и постепенно пьянея, рассказывали друг другу о бурных приключениях семи лет. Много они могли рассказать! Глебов был в эвакуации в Глазове. Мать умерла на улице — остановилось сердце. А Глебов был в это время в лесу, на лесозаготовках, ничего не знал. Левка летал с дипломатическим поручением в Стамбул. Оттуда на самолете с чужим паспортом его перебросили в Вену. Глебов вернулся из леса после похорон, чуть не умер от воспаления легких, его выходила баба Нила. Потом приехал отец, раненный в голову. Отец не мог делать никакой работы, требовавшей умственного напряжения. Работал штамповщиком в цехе. Морж погиб под Ленинградом. Медведь, Щепа, Химиус неизвестно где. Все рассыпались из того дома кто куда. В доме не осталось никого, кроме Соньки Ганчук. А жена Шулепы была итальянка, Мария, женщина редкой красоты. В Глазове люди гибли от голода, Глебов научился есть суп из травы, пить чай из желудей. Мария была на семь лет старше Левки Шулепы. Одно время ему нравились женщины старше. Но потом надоело. У них вырабатываются комплексы. Нет, женщины Глебова были младше. Все, все, все его женщины были младше, кроме одной. О, эта единственная была фрукт! Ну, как-нибудь в другой раз. Надо долго рассказывать. А когда же погиб Антон? Говорят, осенью сорок второго. Непонятно, как его взяли на фронт: он был совсем больной, близорукий, с припадками. И очень плохой слух. У Антона плохой слух? Конечно, всегда переспрашивал на уроках и садился за первую парту. Но ведь он был поразительно музыкальный, оперу «Аида» помнил всю наизусть. Ну и что? А Бетховен? Да, вот кого жалко — Антошку. Он был гениальным человеком. Конечно, это был гений. Причем в леонардовском духе. Абсолютный гений, тут уж ничего не скажешь. Навестить его мать. Говорят, они очень бедствовали в эвакуации. А его мать живет там же, в комнате на первом этаже, в среднем дворе. В тараканьем подъезде. Левка застрелил интенданта союзных войск, ходил под трибуналом, грозила вышка, но потом выяснилось, что интендант — темная личность, связан с абве-

ром, и Левке хотели дать орден, однако не дали. По-видимому, это была брехня. Но тогда Глебов верил каждому слову, и радовался тому, что встретил Шулепу, и готов был отдать за «коблер» последние деньги, чего делать не требовалось, платил Левка. И еще Глебову очень хотелось такую же кожаную куртку.

Потом слонялись вокруг телеграфа, задирались к прохожим, пытались знакомиться с женщинами, милиционер смотрел беззлобно, Левка хвастался:

— Меня тут знают будь-будь! Они только и живут тем, что я их не трогаю...

Он супился сурово и грозил милиционеру пальцем. Потом поднялись к нему на четвертый этаж. Опять что-то пили. Левкина мать Алина Федоровна осталась совершенно такой же, как была в довоенной жизни. Удивительный факт! Все кругом переменилось, Левка стал здоровенным и лысым, мать Глебова умерла, он сам чуть не умер, сначала в Глазове от воспаления легких, потом много раз, когда бомбили аэродром, и столько людей погибло и исчезло, а мать Левки по-прежнему смуглела худыми щеками, курила папиросы, смотрела косо и странно, щуря глаза.

— Ты, прости, пожалуйста, за пошлый вопрос, еще не женился, Вадим? Молодец, ты всегда был рассудительный. Не обижаешься, что говорю тебе «ты»?

И голос прежний: сипатый, ленивый, чуть с картавинкой. Впрочем, хотя и необыкновенная женщина и великого ума — Левка говорил: «Я перед мамашей преклоняюсь, она в своем роде талант, но характер, как у Ивана Грозного»,— могла бы обойтись и без «ты». Глебов хотел держаться с достоинством. Отвечал кратко, улыбался сдержанно, а на ковры, на картины, на всякие финтифлюшки, повсюду понатыканные, не поднимал глаз. Как бы не замечал вовсе. Потом уж, приглядевшись, обнаружил, что убранство комнат как-то заметно отлично от квартиры в большом доме: роскошь попышней, старины больше и много всего на морскую тему. Там модели парусные на шкафу, тут море в рамке, там морской бой чуть ли не Айвазовского — потом оказалось, что вправду Айвазовского — и какие-то золоченые якоря на стенах. Он сказал:

— А вашей старой мебели, Алина Федоровна, я что-то не узнаю. Все будто другое.

Если б не был в ту минуту порядочно «под банкой», он бы себе такой наглости и развязного тона не позво-

лил. Но что-то его словно бодало изнутри: скажи да скажи! Ведь люди в войну последнее продавали, все нажитки, чтоб не пропасть — баба Нила продала серебряные ложки, подстаканник, коврик, шали, все хоть немного ценное, что из Москвы везли, даже свой крестик нательный, потому что Глебов умирал, литр молока на рынке стоил примерно так же, как серебряная ложечка,— а тут новое накоплено и, смотри-ка, Айвазовский. Шутка сказать: Айвазовского приобрести. Он подошел нарочно к стене и стал внимательно и наклоняясь близко, как знаток, картину разглядывать. Левка смеялся.

— Какова наблюдательность! Нет, мать, ты скажи: пьян, пьян, а приметлив.

Алина Федоровна сказала:

— Древние говорили: в один и тот же поток нельзя вступить дважды. Так, кажется? Я не ошибаюсь, молодые люди? Ты, Дима, вступил в наш поток,— жестом она объединила себя с сыном,— в каком же примерно году? Когда переехали в тот ужасный дом, в тридцать каком-то...

— Ну, неважно. Лет десять назад,— сказал Глебов.— Но я хорошо помню вашу квартиру. Помню, в столовой был огромный, красного дерева буфет, а верхняя часть его держалась на тонких витых колонках. И на дверцах были какие-то овальные майоликовые картинки. Пастушок, коровки. А?

— Был такой буфет,— сказала Алина Федоровна.— Я уж о нем забыла, а ты помнишь.

— Молодец! — Левка шлепал Глебова по плечу.— Наблюдательность адская, память колоссальная. Можешь работать. Я дам рекомендацию...

Когда остались одни в его комнате, он объяснил: у Алины Федоровны теперь другой муж. Шулепников умер. И эта квартира со всей здешней хреновиной принадлежит Флавицкому или Фивейскому, новому мужу Алины Федоровны. Он тоже большой человек. Как раз занимался делом Шулепникова: тот умер странно, его нашли мертвым в машине в запертом гараже. То ли диверсия, отравление газом, то ли просто остановилось сердце. Ведь он работал ночами напролет. Фивейский расследовал это дело, и так они познакомились с матерью. Глебов чуть было не спросил: почему же вещи из старой квартиры не перевезли к Фивейскому? Тут была какая-то неясность. В Левкиной жизни было много неясного. Лучше не спрашивать. Левка сказал, что новый

«батя» мужик недурной, из моряков, любитель выпить, поухаживать за балеринами, он его, Левку, приглашал однажды в актерскую компанию, было очень мило, хотя немного по-стариковски. Фивейскому шестьдесят, но, правда, здоров страшно. Глебов спросил: «А как мать? Насчет компании с балеринами?» Левка пожимал плечами: «Откуда ей знать? Дело чисто мужское».

Глебов внимал, поражался, сам себя успокаивал: ну и шут с ними, пусть живут как хотят. Но что-то его зудило и раздражало, будто чесалась нестерпимо старая болячка. Потом он этого Фивейского или Флавицкого видел раза три в квартире на улице Горького, однажды на стадионе «Динамо». Тот был ко всему еще лютый болельщик, протежировал какой-то особой команде, в которую благодаря связям натащил лучших футболистов из других клубов. Левка одно время всей этой ерундой горел. Новый Левкин «батя» был громадного роста, разговаривал оглушительно, руки жал, как станком, у него были блестящая лысая ядровидная голова, запорожские усы, и при этом носил очки в золотой оправе. Словом, это был тип!

Большой дом, так много значивший в прежней жизни Глебова — тяготил, восхищал, мучил и каким-то тайным магнитом тянул неодолимо,— теперь, после конца войны, отпал в тень. Не к кому стало туда ходить. Кроме Сони Ганчук. Но и ходил-то вначале не к Соне — Соня долго оставалась как бы принадлежностью детства, спокойно и тихо отмеркшей в его душе вместе со всем прочим, что стало ненужным и забылось в тяжести лет,— ходил к ее отцу, профессору. Тут было просто совпадение, обнаруженное Глебовым легко и несуетливо, без спеха. Прошло, наверное, уже полгода занятий в институте, когда он решился профессору сообщить: так и так, мол, мы с вами, Николай Васильевич, в некотором роде знакомы. Я дома у вас бывал. Профессор, листая книгу, протянул равнодушно: «Да что вы говорите?» И в тот, первый раз на этом кончилось. То ли не понял, то ли не захотел понять.

Глебов, не конфузясь особо, решил напомнить потверже — Соня его занимала слабо, но сам Ганчук был фигурой внушительной и, как Глебов догадался, чрезвычайно ценной для него на первых порах — и как-то после занятий улучил минуту и передал привет Соне.

— А вы откуда Сонечку знаете? — удивился Ганчук.

— Я ж вам рассказывал, Николай Васильевич...

Как? Что? Ах да! Верно, вспоминаю, молодых людей у нас всегда было много, и вас вспоминаю. А бюстики, такие маленькие, беленькие, философов, стоят в кабинете? Вот как, даже бюстики запомнились. Профессор улыбался, довольный. Жизнь налаживалась. Пока еще по карточкам, но радость крепла, дружнела. Бюстики стоят! Войну перестояли, эвакуацию, невзгоды, гибель людей, идей, на то они и философы. Ганчук почему-то очень обрадовался и воспламенился, когда Глебов вспомнил про бюстики. Гораздо больше обрадовался, чем когда про Соню. И сразу стал приглашать:

— Вы заходите как-нибудь на чаек, Сонечка будет рада...

Потом от Сони прилетел привет, потом приглашение. Ганчук часто болел, к нему приезжали на дом на консультацию, а то и сдавать зачеты.

Соня стала высокой бледной девушкой, несколько худоватой, с бледными полными губами, бледной голубизной в больших глазах, выражавших доброту и внимание. Она училась в институте иностранных языков.

— Вадька, что случилось? Как это понять? — были первые ее слова после шестилетней разлуки.— Почему ты так прочно исчез?

Будто, расставаясь, они обещали быть друзьями навеки.

Однако отношения их и тогда, и теперь были безнадежно товарищескими, ровными, как стена. Соня была лишь добавкой к тому солнечному, многоликому, пестрому, что называлось — детство. И если бы не возник профессор Ганчук, наверное бы, навсегда канула в даль Соня. Глебов сидел в профессорском кабинете на диванчике с твердой гнутой спинкой из красного дерева — тогда такие диваны продавались, как дрова, в скупочных магазинах, а нынче попробуй найди за любые деньги — и с наслаждением вел беседу о попутчиках, формалистах, рапповцах, Пролеткульте, о многом, что когда-то Глебова интересовало нешуточно. Профессор знал уйму подробностей. Особенно остро он помнил всякие изгибы и перипетии литературных боев двадцатых — тридцатых годов. Речь его была четкой, решительной. «Тут мы нанесли удар беспаловщине... Это был рецидив, пришлось крепко ударить... Мы дали им бой...» Да, то были действительно б о и, а не споры. Истинное понимание вырабатывалось в кровавой рубке. Глебов слушал почтительно, представляя себе, какие сечи гремели, какие

авторитеты крошились, какие книги выбрасывались за борт в кипящее море, и крепенький, толстый старичок с румяными щечками казался ему богатырем и рубакой, Ерусланом Лазаревичем. Впрочем, так оно и было в какой-то мере. Очень нравились Глебову чаепития в кабинете, воспоминания, интимности. «Кстати, мы обезоружили его, знаете, каким образом? Как ученый, он был совершенный нуль, но держался благодаря одной особе...» Глебову нравились запах ковров, старых книг, круг на потолке от огромного абажура настольной лампы, нравились бронированные до потолка книгами стены и на самом верху стоявшие в ряд, как солдаты, гипсовые бюстики. Где там Платон, где Аристотель? Снизу различить невозможно, потолки в том доме были очень высокие, не то что строят теперь, наверное, три с половиной, не меньше. Но Глебову казалось, что неразличимые снизу белые статуэтки — эта школьная красота была приобретена в Германии в годы инфляции, когда жадный молодой Ганчук, недавний конармеец, политотдельский поэт и оратор на солдатских митингах, с незабытым гимназическим рвением приобщался к науке,— игрушечные мудрецы тоже принимали участие в сражениях, наносили удары, громили, разоблачали, приказывали разоружиться.

Постепенно и заново Глебов вползал в ауру *большого дома*. Лифтеров в подъездах теперь не было. И жильцы как будто не те, что прежде: вид попроще и разговор не тот. Но в лифтах, однако, по-прежнему настаивались необычные запахи: шашлыков, чего-то рыбного, томатного, иногда дорогих папирос или собак. От собак Глебов отвык за годы войны. Собаки остались в детстве так же, как мороженое в круглых вафлях, купание на стрелке и всякая другая чепуха. В лифте ганчуковского подъезда он впервые за долгое время увидел вблизи собаку и внимательно ее разглядывал. Это была громадная желтоватая с чернотой упитанная овчарка, которая сидела скромно, с достоинством у задней стены лифта, под зеркалом, и не менее внимательно разглядывала Глебова. Рядом с собакой, держа ее за поводок, стояла понурая старуха в платке. Воспитанность и скромность громадной овчарки удивили Глебова, и в то же время в ее немигающих ореховых глазах ему почудилось спокойное превосходство: ведь она была жильцом этого дома, а он лишь гостем. Ему захотелось погладить собаку. Непроизвольный порыв, наивное движение

детской памяти. Он протянул руку, но собака, заворчав, дернула мордой и клацнула зубами. «Нельзя! Стоять смирно! — было написано на черной высокомерной морде.— То, что тебя пускают в этот дом и ты ездишь в лифте, еще не значит, что ты тут свой». Глебов вышел на площадке девятого этажа в дурном расположении духа.

— В вашем лифте воняет псиной,— сказал он Соне. Бывали минуты, когда хотелось ее уколоть.

Он жил тогда тяжко, голодно, весело, жадно. Как многие. Вспомнить — истинная нищета. Не было лишней пары ботинок, ни рубашек, ни галстуков. И постоянно хотелось есть. Повсюду — в институте, в гостях — он ходил в старом армейском кителе не только потому, что не было подходящего — из всего довоенного вырос, а нового не купить,— но и потому, что не должны были забывать, что он побывал там. В последний год был призван, служил в БАО, частях аэродромного обслуживания. Дома после смерти матери стало глухо. Отец пристрастился к вину. Баба Нила тянулась из последних сил, весь дом был на ней. Сейчас не понять, как все это крутилось, откуда бралось. Раз в неделю баба Нила, взяв кошелку, ехала трамваями на Даниловский рынок за зеленью, сухими грибами, щавелем, шиповником. А уж сколько чая из шиповника было пито! Сейчас этого пойла ни за какие деньги в рот не взять. А тогда баба Нила и на опохмелку норовила холодненького полезного чайку всучить: «Выпей, Димочка, шипового, полегчает...» Какая там польза! Да, наверное, была, как и от всей той жизни в дерюгинской глушине, в потемках, в длинной комнате, похожей на склеп. Потому что одолели, выжили. Баба Нила горбатилась все круче, ходила все тише, клонилась долу все ниже. Отец пропадал на сверхурочных, за полторы ставки. Вот когда начались его хвори. Да ведь не замечалось ничего! Какие-то друзья, толкотня, бег, спех, по субботам на последние шиши в дешевую ресторацию или в бар на Серпуховке...

Когда приходил к Ганчукам, напускал на себя суровый, академический вид. Вначале все делалось как бы на ощупь. Соня даже мешала. Хотела его оттащить от отца к своим разговорам, подругам, к ненужности.

И он тихо пугался. Неужели, думал, бедная Сонька на что-то рассчитывает? Ведь ни о каких ласках, кроме профессорских, в рамках учебной программы, он не грезил. Между тем у него утвердилось очень рано мнение

о себе как о фигуре опасной и притягательной для женского сердца. Началось с той сорокалетней дамы в эвакуации. Ведь сперва казалось, что он нужен ей так же ненадолго, как она была необходима ему. Но потом разыгрались страсти, глупые угрозы. Господи, как он перетрухнул! И понял, надо быть начеку. Такие игры могут кончиться плохо. Он ощущал в себе — не без самодовольства — запасы некоей радиоактивности, жертвами которой становились женщины, впрочем, не все подряд, определенного склада. Особенно губительно он действовал на женщин интеллигентных профессий и старше себя. И молодые, серьезные, не очень красивые, часто в очках, часто первые из учениц легко попадали под его чары.

И вот почему он несколько трепетал, когда замечал сияние в добрых бледно-голубых глазах Сони, слабую улыбку на полных бледных губах. Соня любила звать гостей. Приходили ее подруги по институту иностранных языков, блестящие и ярко одетые девочки, щебетуньи, хохотушки, модницы, фифы; некоторые из них сразу и болезненно его задевали. Но он сдерживал себя, зная, что на *таких* женщин его излучения не действуют.

Когда Глебов сделался секретарем семинара, он стал бывать у Ганчуков чуть ли не каждую неделю. Профессор был вздорен, забывчив и, честно сказать, бестолков. Иногда возникали нелепые разговоры. Стоял в пижаме в дверях и с изумлением округлял глаза: «Дорогой мой, я же просил в понедельник!» — «Да нет же, Николай Васильевич, в субботу...» — «Как я мог вам назначить в субботу, когда...» — «Но я помню совершенно точно!» Все это происходило на лестнице, Глебов нервничал, чувствовал себя глупо, вдруг коршуном налетала Соня: «Отец, как не стыдно держать человека в дверях! Ты с ума сошел!» В сущности, Ганчук всегда был рад приходу Глебова и тут же находил ему применение. Особенно расположился он к Глебову после того, как тот принес всю библиографию по теме, важной Ганчуку для его собственной работы, и сделанную необыкновенно быстро. Ганчук растрогался. Глебов не сказал, что работал ночами. Он вовсе не обязан был так надрываться, да вообще не обязан был составлять библиографию, но, как оказалось, сей подвиг вышел гениально полезным.

Была какая-то вечеринка у Сони. Сбор всех фиф, молодых людей разного калибра, набежавших, как води-

лось в ту пору, на профессорскую горилку и закуску неведомо откуда. Кто-то из фиф привел своих знакомых, те привели своих. Благо профессорская гостиная позволяла рассадить полста людей. Теперь таких комнат нет в помине. Если только в некоторых кооперативах по индивидуальным проектам. Там были какие-то музыканты, какой-то шахматист, был поэт, гремевший на студенческих вечерах оглушительными жестяными стихами — в то время они почему-то казались музыкой,— были, конечно, бесцветные, крикливые, робкие и наглые студиозусы. Поэт свалился как снег на голову. Его никто тут не знал, кроме одного человека, который был шапочно знаком с одной из фиф и сам явился к Соне впервые. Поэт, едва войдя в гостиную и не поздоровавшись, спросил громко, подражая образцам: «Где тут нужник?» Раздались восхищенные полушепоты: «Поэт... Фраппирует... Никаких условностей...» Стихи, которыми он тогда трещал весь вечер, не запомнились, а вот про нужник... Ныне, спустя лет тридцать, поэт по-прежнему громыхает жестью, но это никому не кажется музыкой. Жесть и жесть, ничего больше. Кто-то из студиозусов, взбурлив клавишами, завел кликушьим, пронзительным криком:

Вини-цианский мавр Отелло
Один домишко посещал...

Хор радостно грянул:

Шекспир! Заметил! Это! Дело!
И водевильчик накропал...

Эта чепухенция тогда безумно нравилась. Орали до хрипоты, до слез в глазах. «Девчонку звали Дездемона, лицом что белая луна, на генеральские погоны, да и эх, польстилася она». Ну что в этой чуши было зажигательного, отчего сердце дрожало, хотелось наслаждаться и передавать свою радость другим? Впрочем, на ганчуковских застольях вокруг добро улыбавшейся бледной и безмолвной Сони звучало и иное. Приходил Николай Васильевич, выпивал с молодежью свою рюмку водки, настоянной на лимонных корочках, садилась и Юлия Михайловна, Сонина мать, и под дирижерский взмах вилкой старика пели дружно «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед» или же «Там, вдали, за рекой».

Соня могла в молчании сидеть часами, слушая других с полуоткрытым ртом по причине неудаленных полипов.

Глебову однажды пришло в голову, что она будет для кого-то отличной женой, самой замечательной женой на свете. Такая уйма превосходнейших качеств. Вплоть до молчаливости с полуоткрытым ртом. Он подумал об этом рассеянно и вчуже, безо всякой связи с собой. Что-то вроде такой догадки: «А ведь Соня была бы отличной женой для Левки!» Да, он носился одно время с этой идеей, полагая, что Соня может действительно оказать благое влияние на оболтуса Левку, а тот немного успокоит, смирит голубое сияние Сониных глаз, так тревожившее Глебова. Ведь он ничем, решительно ничем не мог на него ответить! У него ни разу не возникало желания в темном уголке потискать Соню, что бывало с другими девушками, даже с теми, кто приходил к Соне в гости, например с ее подружкой по инязу, такой темноглазой, плотненькой — как же ее звали? Имя забылось, зато твердо отпечаталось в памяти ощущение плотных плеч, секундная вороватая ласка в потемках гардеробной, среди мягких шуб...

Было так: с одними трусил и чопорно каменел, с другими как-то вдруг и непонятно отчего наглел, распускался, становясь на себя не похожим. Ту плотненькую отличил сразу, тоже из какого-то Дерюгинского переулка. А Соня была закрыта наглухо. С нею не надо было ни напрягаться, ни распускать себя. Не волновала вовсе. Потом наступило время, когда он этого хотел. И потом наконец Соня стала волновать, но, пока он этого достиг, прошло, наверно, два года.

На вечеринке с поэтом — тогда-то забрезжило начало — было чересчур много вина, народ перепился, хозяева напугались. Мужчины выходили на лестницу курить. Был там парень, имя, разумеется, исчезло, он больше не появлялся на сцене, лохматый развинченный губошлеп в очках, в галстучке, какой-то очень здоровый. Имел вид штангиста. И он тонким голосом в мужском кругу курильщиков на площадке спросил:

— Хлопцы, я что-то не пойму, а кто хозяйку фалует? Вот эту самую Сонечку?

На тогдашнем жаргоне «фалует» значило примерно то же, что сегодня значит «кадрит». То есть попросу интересовался, не вакантно ли место. Тон был грубо неуместен, всех покоробило. Пожимали плечами. Вдруг один из студиозусов кивнул на Глебова.

— Вроде вот товарищ Дима...

— Я? — удивился Глебов.— Для меня новость.

Стало неприятно: замечают то, о чем сам не догадывается. Чего и в помине нет. Значит, все-таки есть? Зачем-то рассказал, что учился с Соней в школе. Тот парень сказал:

— А зря, хлопцы! В такие терема мырнуть...— Он мигнул на раскрытую дверь в квартиру.— За это не одобряю... И сама ничего. А что? Ничего... Такая тургеневская...

— Молчи, скот,— сказал кто-то.

Парень обиделся, бросил окурок и ушел в квартиру. Он всем не понравился.

— Кто эту морду привел?

— А черт его знает. Вроде он из Литературного...

— Давайте его излупим!

Согласились. Один пошел в дом вызывать того обратно, на площадку. Вернулся не сразу и сказал, что парень догадался, что хотят бить, и идти отказался. Ну ладно, излупим позже. От нас не уйдет. Особенно хорохорился шахматист. Все были сильно «под банкой». А с Глебовым произошло вот что: он внезапно и странным образом протрезвел. Его протрезвила мысль, высказанная в идиотской форме тем парнем. «Да ведь он не дурак,— подумал Глебов.— Мы все дураки!» И тем сильнее захотелось того излупить, ну, если не излупить, то просто вышвырнуть отсюда подальше. «Мырнуть желает... Ишь ты, мыряла!»

Злобными шагами Глебов прошел в гостиную.

Излупить очкастого не удалось по глупой причине: через полчаса тот был мертвецки пьян. В половине первого гости прощались, надеясь успеть на метро. Все разошлись, но очкастого нельзя было не то что поставить на ноги, но даже сдвинуть с дивана, где он отвратительно развалился, выставив на обозрение латки своих жалких студенческих брючонок, задранную кверху фуфайку и в просвете между фуфайкой и брючным ремнем серую голизну живота с пупом. Руки он закинул за голову, голова свешивалась с диванного валика, и при этом он ужасно храпел. Как выяснилось, человек, который его привел, давно ушел со своей фифой, Сониной подругой. Никто не знал даже, как его зовут. Ганчуки были в растерянности. Домработница Васена советовала послать за милицией. Юлия Михайловна со своим неизжитым за тридцать лет немецким простоумием предложила поставить рядом со спящим стакан воды с содой и таблетку пирамидона. Васена фыркала в кулак: «Нужон ему твой пи-

рамидон... Он как почнет искать, шкафы колотить среди ночи...» А старик Николай Васильевич все порывался старым гусарским способом — оттереть за уши. Но Соня встала на защиту пьяного обормота и велела его не трогать.

— Неужели вам его не жаль? Посмотрите, какое хорошенькое личико, какая милая бульдожья челюсть...

Глебов решительно предложил: он останется здесь же на всякий случай. В гостиной на раскладушке. А тот пусть спит на диване, только башмаки с него снять.

И так Глебов остался ночью в квартире Сони и долго не мог заснуть, потому что стал думать о Соне совсем иначе. Просто так: не спалось и он думал. Задремывал, видел краткие мутные сны, просыпался и снова думал. Ничего не случилось, Соня спала в своей комнате за крепко запертой дверью, пьяница не шевелился, и, однако, с Глебовым в ту ночь что-то стряслось — утром он встал другим человеком. Он понял, что может полюбить Соню. Это чувство еще не явилось, но было где-то в пути, близилось, как теплый воздух, волною плывущий с юга. Погода еще не изменилась, но люди с больными сосудами чувствуют приближение. На рассвете, часу в шестом, обормот заворочался, сполз с дивана и начал, как и предполагала Васена, колобродить по комнате, бормоча и икая. Глебов оттащил его в прихожую, нахлобучил кепку и пытался вытурить. Тот не давался, они ругались шепотом.

— Куда ты меня толкаешь, ирод? Мне же некуда идти, дура ты непонятливая...

— Откуда пришел, туда и при.

— Откуда я пришел? Можешь ты понять, что писал Достоевский Федор Михайлович... Когда человеку пойти некуда...

В те времена были такие полунищие студенты, ведшие почти уличный образ жизни: постоянно их исключали, отлучали, они мотались по приятелям из общежития в общежитие, ночевали на вокзалах. На «терема», из которых его изгоняли, он смотрел с тоской. Глебов уговаривал его, наверное, полчаса и выпер, после чего вернулся в гостиную и лег на койку. Через час Соня прошла мимо него в халате. Он увидел бледные худые ноги с нежными щиколотками. Потом она еще раз заглянула в комнату и спросила:

— А тот человек?

— Я ему сделал выкинштейн.— Глебов двинул коленкой, изображая удар под зад.

Он чувствовал себя героем, защитником слабых.

Но Соня неожиданно рассердилась.

— Кто тебя просил? Он не хотел уходить?

— Не хотел. Я с ним толкался в прихожей целый час...

— И прогнал? Какая гадость, Димка, как тебе не совестно! Прогнать голодного. Может, ему идти некуда...

— Некуда. Потому что шпана.

— Я не знаю, что такое шпана.

— А я знаю. Я живу среди шпаны. Дерюгинский переулок — кругом шпана.

Но Соня покачала головой, глядя на него каким-то новым, недоверчивым взглядом. Ушла к себе в комнату, недовольная. Глебов не знал, что ему делать. Уйти, что ли? Недовольство Сони его удивило. Потом, узнав ее лучше, он понял, что главная черта в этом характере — болезненная и безотборная жалость к другим. Ко всем подряд, ко встречным и поперечным. Это было временами докучливо и даже мучительно, но потом он привык и перестал обращать внимание. Первой ее реакцией на всякое столкновение с жизнью, с людьми было пожалеть. И потом уж он над ней издевался: «Мне так жаль его, бедного хулигана, который избил на трамвайной остановке трех человек... Представляешь, как у него на душе...» Соня сама ощущала нелепость своего характера и сама от него страдала.

Когда сели завтракать вдвоем за круглый столик на кухне, удобно поставленный у окна, она была смущена и оправдывалась за свою резкость утром: «Если бы хоть чаем его угостить...» — «Ничего,— сказал Глебов.— И так будет хорош». Он посматривал вниз, на гигантскую излуку моста, по которому бежали машины и полз трамвайчик, на противоположный берег со стеной, дворцами, елями, куполами — все было изумительно картинно и выглядело как-то особенно свежо и ясно с такой высоты,— думал о том, что в его жизни, по-видимому, начинается новое...

Каждый день за завтраком видеть дворцы с птичьего полета! И жалеть всех людей, всех без исключения, которые бегут муравьишками по бетонной дуге там внизу! Все это было продолжением полуяви-полубреда ночных мыслей. Он сказал:

— Знаешь что? Ты лучше меня жалей.

— А я жалею.— Она погладила его по щеке.— Ты какой-то неприкаянный...

И он стал бывать у Ганчуков чуть ли не каждый день. То приходил к профессору, то к Соне. Профессор раньше говорил ему «голубчик» и «Вадим Александрович», а теперь стал звать его Димой. Приглашал с собой на вечерние прогулки. Когда он надевал каракулевую шапку, влезал в белые, обшитые кожей шоколадного цвета бурки и в длиннополую шубу, подбитую лисьим мехом, он становился похож на купца из пьес Островского. Но этот купец, неторопливо, размеренными шажками гулявший по вечерней пустынной набережной, рассказывал о польском походе, о разнице между казачьей рубкой и офицерской, о беспощадной борьбе с мелкобуржуазной стихией и анархиствующими элементами, а также рассуждал о теоретической путанице Луначарского, заблуждениях Покровского, колебаниях Горького, ошибках Алексея Толстого: со всеми Николай Васильевич был знаком, пил чай, бывал у них на дачах. И обо всех, даже таких знаменитых, как Горький, говорил хотя и почтительно, но с оттенком тайного превосходства, как человек, обладающий каким-то дополнительным знанием. «Если бы Алексей Максимович до конца понимал...» — говорил он. Или же: «Я как-то объяснил Алексею Николаевичу...»

Глебов слушал Ганчука с большим вниманием. Все было интересно и важно. Иногда Николай Васильевич ошеломлял Глебова поразительными заявлениями. Например, рассказывая о своей даче в Брускове и связанными с нею хлопотами (асфальтировку дороги безбожно затягивал поселковый Совет), он закончил неожиданно: «Через пять лет каждый советский человек будет иметь дачу». Глебов удивился, но возражать не стал.

Были вечера лютого, двадцатипятиградусного мороза, когда умные люди предпочитали сидеть дома, но Николай Васильевич ровно в девять закутывался шарфом, надвигал до бровей шапку, облачался в свои купеческие меха и спрашивал требовательно: «Вы идете со мной?» Как не хотелось идти на мороз! Пробежаться задними дворами к себе в переулок — это одно, но гулять по обледенелой набережной... Глебов отвечал с обреченной готовностью: «Конечно, конечно! Я готов». Дрожал и ежился в студенческом пальтеце, перешитом из старого отцовского, и сдерживал себя, чтобы не побежать, а идти

размеренными шажками рядом со стариком, который сладостно сипел и отдувался в своей душегрейной шубе. «Вот ведь какой самопуп! — иногда раздражался Глебов.— Ему и в голову не придет...» Было и другое соображение: а может, уводит из дома нарочно, чтобы не оставался с Соней?

Впрочем, еще догадку подкинула Васена. Хитрая, все подмечавшая баба однажды спросила сочувственно: «И чего он тебя таскает? Я чай, он тебя вроде как на стражу берет...» — «Я у него под стражей или он у меня?» — спросил Глебов. Васена шептала: «Уж не знаю, но только таких-то, в шубах, не любют...»

Бывало, собиралась на прогулку и Соня, присоединялся Куно Иванович, или Куник, человек, близкий Ганчукам, помощник Николая Васильевича по его работе в академии. Этот Куник жил у Ганчуков почти как родственник. Глебов заметил, Николай Васильевич не очень охотно брал с собой Соню, а на Куно Ивановича, если тот увязывался, вовсе не обращал внимания. Дело, кажется, объяснялось просто: в присутствии одного Глебова Николай Васильевич воспламенялся красноречием, рассказывал и вспоминал, не умолкая, а когда рядом была Соня, он скучнел и замыкался. Она могла сказать строго: «Папа, помолчи! Тебе нельзя разговаривать на морозе». Или: «Папа, ты повторяешься».

А Юлия Михайловна не любила улиц, автомобилей, ветра, морозов. У нее была стенокардия. Она часто болела, не ездила на занятия — Юлия Михайловна преподавала немецкий язык в том же институте, где учился Глебов и где Николай Васильевич руководил кафедрой. Хотя она прожила в России не одно десятилетие, Юлия Михайловна оставалась в чем-то шершавой, негибкой немкой и по-русски говорила с заметным акцентом. Ее отец погиб во время Гамбургского восстания. У Юлии Михайловны сохранились связи с некоторыми уцелевшими от невзгод стариками антифашистами, немцами, австрийцами, которые изредка появлялись у Ганчуков. Куно Иванович был из этой среды. Его мать, умершая до войны, была старинной, по Венскому университету, подругой Юлии Михайловны, и Ганчуки с давних лет опекали Куника, которого знали мальчишкой. Куник, Куник, Куник, Куник, Куник! Какая-то собачья кличка. Такая маленькая, капризная, с умненькими глазками комнатная собачонка.

— Куника надо покормить! — говорила Соня.

— Попросите Куника... Звякните Кунику... Надо послать Куника за билетами, но очень деликатно...

Он был худ, сутуловат, голову держал немного книзу и набок, будто постоянно к чему-то прислушивался, хотя никогда ни к чему не прислушивался и даже часто не слышал, когда к нему обращались. То и дело встряхивал своей косенькой головкой — страдал тиком, что ли? — откидывая назад длинные блекло-рыжие немецкие волосы. Глебов вначале думал, что он золотушный.

Вообще Куник Глебову не нравился. Он был какой-то очень молчаливый, неприветливый, болезненный и себе на уме. Жил Куник одиноко. Ганчуки вечно беспокоились о нем: не заболел ли? Не нужно ли ему чего? Почему-то считалось, что он всегда нуждается в помощи и что он несчастен. Впрочем, было написано на скорбном ссохшемся личике с неизменно сжатым ртом: «Я несчастен!» А в чем, собственно, ваше несчастье?

Однажды за ужином Глебов завел осторожный разговор о статье Куника, появившейся в журнале. Он давно слышал о том, что статья в работе, что редакция требует поправок, что Куник упорствует, проявляет невиданную принципиальность, что в борьбе с редакцией достиг каких-то высших инстанций и все-таки статью пробил. Рассказывалось как о крупном событии в научном мире. Особенно суетилась вокруг этого события Юлия Михайловна. Глебов, прочитав, увидел, что статейка вполне среднего качества и абсолютно ничем не выдающаяся, кроме того, что по неуловимым признакам видно, что русский язык для автора не родной. Какая-то общая задушенность, бессочность слов. Вот на эту тему он и заговорил за ужином: о том, что, к сожалению, историко-литературные работы часто пишутся языком, далеким от литературы. Николай Васильевич поддержал, было много наговорено, и потом уж, далеко не сразу и очень мягко, Глебов привел два-три примера из статьи Куника. Примеры были в самом деле разительные по непониманию стиля и духа языка.

Николай Васильевич смеялся, Соня улыбалась, но Юлия Михайловна сухо заметила, что «такую злую критику надо говорить в глаза». Глебов объяснил, что ничего злого в его замечаниях нет, но Юлия Михайловна возразила:

— Неправда, Дима, не хитрите. Вы же не сказали, как относитесь к статье Куно Ивановича в целом?

Глебов, пожимая плечами, бормотал:

— Как отношусь? Честно сказать... Не то чтобы в восторге, но и не...

— О! Значит, я права! — Юлия Михайловна горделиво и воинственно подняла палец.— А позвольте спросить...

Но Соня прервала мать: почему Глебов не имеет права на собственное мнение, отличное от мнения семьи Ганчуков? Почему сразу бросаться в атаку? Николай Васильевич заметил, что мнение семьи Ганчуков вовсе не однозначно. А Юлия Михайловна сказала, что бросаться в атаку — привилегия Николая Васильевича, бывшего конармейца, она же не любительница размахивать шашкой.

— Однако ты размахиваешь,— сказала Соня.— И порой очень сильно.

Глебов был уж не рад, что затеял разговор. Эта хрупкая и на вид чрезвычайно слабая, хворая Юлия Михайловна с тонкими ручками, пергаментно-белым лицом была, надо сказать, необыкновенно упряма. Могла спорить и настаивать на своем bis zum Schluß, вплоть до сердечного приступа. Она заговорила о том, что всякая критика должна быть в первую очередь объективной, оценивать в целом, а потом уж выискивать блох. Куник написал великолепнейшую статью. Мелкие замечания должны идти петитом. Он написал о главном: какую опасность представляет мелкобуржуазная стихия. Как раз теперь, после победы, после громадного напряжения, когда людям хочется расслабиться и отдохнуть, могут вспыхивать мелкобуржуазные эмоции, заторможенные в сознании. Нельзя эту опасность недооценивать.

Ничего подобного Глебов в статье Куника не прочитал. Он осмелился робко возразить:

— Простите, Юлия Михайловна, но, если я сделал два замечания по языку, еще не значит, что я недооцениваю мелкобуржуазную опасность.

— Вот именно! — сказал Николай Васильевич и пристукнул кулаком по столу. Он все немного сводил на шутку.— Одно из другого не вытекает, черт возьми.

— Нет, вы недооцениваете буржуазную опасность,— сказала Юлия Михайловна, не желавшая шутить.

— Да где вы это видите, Юлия Михайловна?

— Я вам скажу. Хотите откровенно? Я давно замечаю за вами, Дима...— И тут она понесла такой немыслимый и ошеломляющий вздор, что Глебов онемел от изумления. Оказывается, он с каким-то особенным вни-

манием всегда осматривает их квартиру, на кухне его интересовали холодильник под окном и дверь грузового лифта. Однажды он подробно расспрашивал ее о даче в Брускове, сколько там комнат, есть ли водопровод, сколько соток участка, как будто собирался покупать...

— Мама! О чем ты? — испуганно восклицала Соня.

— Я говорю о таком, что замечаю в сегодняшней молодежи,— сказала упрямая и уже начинавшая задыхаться от своей принципиальности сердечница.— И это касается не только Димы. Как раз к Диме я отношусь хорошо, никак не желаю его обидеть. Ты не бойся, у нас останутся лучшие отношения. Но я вижу у многих: такая страсть к вещам, к удобствам и имуществу, к тому, что немцы называют das Gut, а русские — добро... Зачем? Что вам далась эта квартира? — Она поднимала плечи и оглядывала комнату брезгливо, почти с отвращением.— Вы думаете, в вашей комнатке в деревянном домике вы не можете трудиться? Не можете быть счастливым?

— Но ты почему-то не уезжаешь отсюда в деревянный домик,— сказала Соня.

— Зачем я должна? Мне абсолютно все равно, где я живу, в большом дворце или в деревянной избе, если я живу по своему внутреннему распорядку...

Юлия Михайловна была права, ее отношения с Глебовым не ухудшились после этих странных обличений. Глебов решил не обижаться. Он догадался, в чем дело: мать Сони питала особую симпатию к Кунику, кажется, видела в нем идеального зятя, но Соня была по этому поводу другого мнения. Сам того не зная, Глебов наступил на больное.

Он чувствовал не без некоторого потаенного самодовольства, что раздражение Юлии Михайловны, ее щипки и наскоки говорят лишь о том, что *на его стороне* обозначается перевес. Более загадочными показались рассуждения о мелкобуржуазных грехах. Ни одной секунды он не почувствовал себя в этом повинным. Полно, да всерьез ли говорилось? Не шутка ли, хорошо разыгранная? Недаром сам Ганчук отмалчивался, ухмылялся. А как же лифт, отполированный под красное дерево, с зеркалом в человеческий рост? Ведь каждый день Юлия Михайловна не пешком ходила на девятый этаж, а ездила в этом лифте вверх-вниз, смотрела на себя в зеркало и дышала запахом дорогих папирос, дорогих собак и дорогого всего прочего. Внизу, в подъезде, уже

не расхаживали, правда, востроглазые лифтеры в форменных картузах, но все же сидела в ломаном кресле старуха в валенках и всякого входящего допрашивала застойным, желудочным голосом: «Вы в какею квартеру?» В Брускове был дом, безалаберный, почти развалившийся, с подгнившим крыльцом, с недостроенным вторым этажом, где окна были забиты фанерой, и все же этот дом с участком в сорок соток, забором, соснами, диким виноградом вокруг веранды и огородиком был той ненавистной частной собственностью, тем самым das Gut, из чего, как лук из грядки, перло ядовитое дерево.

Весною, когда открывался дачный сезон, семейство Ганчуков выезжало в Брусково на так называемый дачный воскресник: все работали в саду, в доме, на огороде. Но как работали! Юлия Михайловна по причине общей болезненности только тормошилась беспомощно, досаждала другим бестолковыми указаниями, Соня была с ленцой и неумеха, а Николай Васильевич застревал в кабинете, пропадал среди старых книг и бумаг. Всю работу тащила древняя Васена, да еще помогал шофер Аникеев, работавший на ганчуковской «Победе» через день. Этот Аникеев, пожилой мрачноватый мужик, сам был когда-то, в довоенные времена, небольшим начальством, но погорел за что-то. Он все делал медленно, ходил не спеша, от тяжелой работы умело отлынивал, выбирал что полегче и ковырялся часами: мог полдня подвешивать абажур или приколачивать планку к забору. Однажды, когда Глебов перевозил в тачке мусор в глубь двора — он с радостью предложил свою помощь Николаю Васильевичу, нетерпеливо любопытствуя, что там за дача,— Аникеев зашептал ему: «А пускай бабка сама потаскает! Насчет мусора-то не договаривались?» Принял его за наемного работягу...

Летом были разлука, Кубань, работа в глухих предгорных станицах и настоящая — нежданная — тоска по Соне. Тут-то он понял, что нешуточно.

Под Новый год, мягкой зимой, поехали студенческой оравой в Брусково, натопили дачу, устроили елку в саду с электрическими фонариками. Славно было... Тогда впервые в их компании появился Левка Шулепников, который пришел в институт год назад, но жил своей жизнью, неведомо где. «Я как киплинговский кот,— говорил он,— гуляю сам по себе». В Брусково он приехал с очень красивой девушкой по имени Стелла. Она была

танцовщицей в только что появившемся в Москве и уже модном ансамбле «Березка». Был какой-то очень долгий спор. Орали, вопили чуть ли не до драки. Все началось с Аструга, преподавателя языкознания, которого тогда шуганули с треском, но спор-то затеялся анекдотически: какого цвета кальсоны у Аструга? Подоплека была, разумеется, другая. Совершенно, совершенно другая! И не в бедном Аструге было дело. Он, кстати, был из окружения Ганчука. Но и это в тот день не имело значения. Накопилось, как видно, какое-то вулканическое раздражение, томилось подспудно, скрытно от беглого глаза и вдруг прорвалось. Левка Шулепников был, как всегда, раздражителем, но по своему легкодумью не замечал этого. Ну и, конечно, много водки и никакой еды. Обычная студенческая кутерьма. Все это опустилось на голодуху, на усталость, на нервное ожесточение перед сессией и на то вулканическое, что клокотало глубоко внутри...

Был некий Черемисин, несимпатичный малый, он не числился у Глебова в друзьях, но прикатил вместе со всеми, потому что банда собралась пестрая — кто кидал в складчину, тот и хорош. Человек двадцать. Казалось так: дача большая да еще участок, гуляй хоть сто человек. А вышло: теснота и драка. Этот Черемисин, когда заговорили об Аструге, рассказал такую байку. Будто бы на зачете тот спросил: «Что такое морфема?» Черемисин не знал. Аструг говорит: «Как вы можете знать язык, если не знаете, что такое морфема?» А Черемисин спрашивает: «А что такое с а л а з г а н?» Аструг, конечно, пожимает плечами. Черемисин еще спрашивает: «А что такое ш у р д ы б у р д а?» Тот и этого не знает. «Как же вы можете, профессор, знать язык, если таких простых слов не знаете? У нас их всякий старик и всякий ребенок понимает. С а л а з г а н — это значит, вроде как шпана. А ш у р д ы б у р д а — это то, что у нас с вами получилось, бестолковщина». И тот засмеялся, рукой махнул и тройку поставил.

— Но вообще-то правильно, что его турнули,— докончил Черемисин.— Низкопоклонство в нем было. Он только виду не показывал, но было. Это точно. Книжный язык он, может, и знал, но настоящий, народный — ни в зуб.

Одна девушка сказала:

— Я не знаю, чего он там знал, чего не знал, но я очень рада, что его больше у нас не будет. А то прямо

до тошноты: сядет на стул, ногу на ногу положит, ногой качает, а брючина почему-то всегда у него задирается и белье видно голубое, в носок заправленное. Фу, гадость! — Девушка скорчила гримасу отвращения.— Прямо смотреть не могла, хоть глаза закрывай... И в голову ничего не идет...

Черемисин хохотал.

— Это верно. Точно, точно! Только не голубое, пардон, а белое. Голубого я что-то не помню...

— Вот пусть теперь дома сидит и ногой качает,— сказала девушка.

Начали раздражаться и свариться не только оттого, что перепились, но и оттого, что собрались в кучу не друзья, а с бору по сосенке. Сонины фифы, знакомые этих фиф — одно, глебовские приятели — другое, да еще явились какие-то непрошеные и случайные, вроде Черемисина. Все это гудело, вскипало, накалялось, тут же знакомились, пили на брудершафт, мгновенно становились лучшими друзьями, и мгновенно же возникала неприязнь, требовавшая выхода. Споры велись яростно. Какие-то из Сониных подруг стали подшучивать над девушкой, говорившей об исподнем, Левка Шулепников грубо оборвал Черемисина: ты перед Астругом подхалимничал, а теперь глумишься, это, мол, недорого стоит. Левка вовсе не был таким уж принципиальным, и на судьбу Аструга ему было начхать — уж Глебов-то знал Шулепу до донышка! — но, видно, тот парень как-то его задел, то ли развязностью, то ли еще чем-то. Ну да, он стал подъезжать к красавице из ансамбля «Березка». Зачем он это делал? Как выяснилось в споре, Левке назло. Он Левку ненавидел. И не он один. «Все наши ребята,— кричал, побелев от злости, скуластенький Черемисин,— тебя ни в грош не ставят с твоими машинами, с твоими папашами, мамашами! Ты для нас ноль! Тьфу!» И он для наглядности плюнул в сторону Левки. Может, и не по-настоящему плюнул, но сделал вид, что плюнул. Красавица Стелла вскрикнула. Левка полез через стол драться. Его удержали. Но стало ясно, что большая драка будет. Черемисин был с двумя дружками из общежития. Глебов их знал хорошо, один парень, совсем недурной и смирный, из глебовской группы, но все были так страшно пьяны! Часов до двух ночи, пока сидели за столом, еще как-то держались, но потом, когда загремели стульями, стали выкарабкиваться, разбрелись по комнатам, на второй этаж, выскакивали во двор,

в снег, под звезды — там-то и началось, в снегу... Оттуда в дом, по комнатам, по полу, ломая стулья, с криками женщин, со звоном стекла... Глебов, ощущая себя в некотором роде хозяином, пытался разнимать, но делал это не слишком решительно, за что пострадал: кто-то локтем засветил в глаз, вздулся здоровенный фингал. А бедному Левке сделали нос набок. И он долго, с полгода, наверное, ходил с таким носом. Говорят, героически вела себя красавица Стелла, обороняя своего кавалера, сняла туфлю и лупила нападающих каблуком, норовя попасть по очкам. Протори и травмы обнаружились не наутро — потому что на рассвете все, кто был на ногах, поспешно, стыдясь друг друга, побежали на электричку и Глебов почти никого не застал за завтраком,— а дня через три, когда собрались в институте на консультацию для очередного экзамена.

Но тогда, в Брускове, когда все исчезли и Глебов с Соней остались вдвоем, наступило что-то очень важное. Мороза не было, сыпался тихий снег. Они вышли с лопатами и разгребали дорожку, стояли сумерки, весь день был сумеречный, рано зажгли огонь. Несколько часов они возились, приводя дом в порядок, устали неимоверно — Соня торопилась убрать, потому что боялась, что приедут родители,— потом сидели на кухне и пили чай из глиняных чашек. Родители не приехали. Чашки были тяжелые, шоколадного цвета, и чай необыкновенно вкусный. Эти глиняные чашки запомнились навсегда. И был какой-то час, когда Соня ушла на соседнюю дачу отнести посуду, а он был наверху, в мансарде, самой теплой комнатке во всей даче, окно в сад было открыто, пахло снегом, елью, откуда-то тянуло запахом горелого лапника, и он лежал на диване, старомодном, с валиками и кистями, закинув руки за голову, смотрел на потолок, обшитый вагонкой, потемневшей от времени, на стены мансарды с торчащим между досками войлоком, с какими-то фотографиями, с маленькой старинной гравюркой под стеклом, изображавшей сцену из русско-турецкой войны, и вдруг — приливом всей крови, до головокружения — почувствовал, что все это может стать его домом. И, может быть, уже теперь — еще никто не догадывается, а он знает — все эти пожелтевшие доски с сучками, войлок, фотографии, скрипящая рама окна, крыша, заваленная снегом, п р и н а д л е ж а т е м у! Была такая сладкая, полумертвая от усталости, от хмеля, от всего истома...

Захотелось немедленно что-то найти, хотя бы глоток хотя бы старого пива. Он спустился вниз, искал повсюду, ничего не нашел. Падал неслышно снег. Когда вернулась Соня, он почувствовал внезапный напор сил. Сонины глаза блестели, щеки были влажными от снега. Он целовал холодные губы, холодные пальцы, бормотал, что не может жить без нее, его охватило настоящее желание, какого никогда раньше не было с Соней, и он обрадовался. Соня заплакала и сказала: «Зачем мы потеряли целый день?» Хотя было рано, часов семь вечера, они постелили в мансарде на диване, погасили свет и бросились нагие друг к другу, не желая ждать ни секунды. Прошло немного времени, вдруг внизу раздался стук в дверь. Стучали со стороны крыльца, потом стали барабанить в дверь на веранде. Наверное, кто-то из ребят вернулся догуливать. Стучали очень упорно, было слышно, как люди, двое или трое, ходят по снегу вокруг дачи, разговаривают и советуются. Кто-то кричал: «Вадим! Отворяй, змей!» И женский голос: «Сонечка, это мы!» Еще крикнули весело: «Эй, что вы ночью будете делать?» Засмеялись. Глебов не понял по голосам кто. Соня хотела пойти вниз и открыть, но Глебов не пустил: «Лежи тихо!» Он обнимал худое, покорное, мягкое, худые плечи, худую спину, в этом теле не было никакой тяжести, но оно принадлежало ему — вот что он чувствовал,— принадлежало ему вместе со всем — со старым домом, елями, снегом; и он целовал его, обнимал, делал с ним что хотел, но старался делать бесшумно, а внизу потолкались, погудели, выругались и ушли.

В ту ночь на даче возникла невыносимая жара. Он не знал, как обращаться с котлом, забросил слишком много угля и устроил такое пекло, что не могли спать. Все окна на даче были настежь, но это не помогало. Была еще и теплынь на воле, настоящая оттепель, с уханьем сползал подтаявший снег с крыши, и непрерывно что-то сочилось, капало, тренькало под окном. Глебов и Соня сбросили одеяло, лежали голые на простыне, стонали от духоты и разговаривали еле слышно. Они уже совсем не стыдились друг друга. Соня спрашивала: «Когда ты меня полюбил?» Глебов был в затруднении. Он действительно не мог ответить с точностью. Кажется, это случилось совсем недавно, но сказать так он не решился.

Он ответил:

— Какая разница? Важно, что это произошло...

— Конечно! — шептала она, счастливая.— Я спросила просто потому, что я-то очень хорошо помню... А ты мог забыть...

— А ты,— спросил он,— когда?

И узнал удивительное: оказывается, еще в шестом классе. Когда он пришел первый раз к ней домой вместе с рыжим Яриком и Антошей Овчинниковым и рассказывал про очень умную кошку, которую нашел на улице больную, а потом кошка по утрам провожала его в школу до набережной. Они пошли смотреть кошку к Глебову домой. Глебов ничего этого не помнил.

— И еще,— сказала Соня,— помню порыв любви к тебе... Это было на секунду, но остро, болезненно и как-то сладко, я помню отчетливо... Ты пришел в коричневой курточке вот с таким поясом, она была не новая, но ты в ней никогда не ходил, поэтому я заметила. Вообще я за тобой внимательно наблюдала. И вот, когда ты стоял у окна, я увидела на курточке сзади большую, аккуратно поставленную заплату, наверное, с тетрадный лист. Ты не представляешь, как я тебя полюбила в ту секунду!

Он был задет. За что же тут полюбить?

Но не выказал задетости, лишь пробормотал:

— Это бабушка умела гениально ставить заплаты...

Соня спросила с пылким интересом:

— Ах, это бабушка? А я почему-то думала, что твоя мама такая рукодельница.

Глебов замечал потом часто, что Соня горячо интересуется совершеннейшими пустяками из его детства, из жизни с отцом, матерью, расспрашивает о странных, ненужных подробностях его прошлого. Порыв любви к нему, вызванный заплатой на курточке, вылился в сокровенную мечту: раздобыть где-нибудь деньги и купить ему новую курточку с запиской: «От неизвестного друга». И было еще необыкновенно сильное впечатление, связанное с ним: ужас и любовь, слившиеся в одну секунду вместе. Это когда увидела его из окна на своем балконе. Химиус за оградой, над пропастью. А у Глебова такое застывшее, полумертвое лицо. Как будто он уже там, внизу, на тротуаре. Ох, это было страшное мгновение! Помнит ли он? Еще бы, конечно, помнит. Детское безумие — на всю жизнь.

— Ну и еще какие-то мелкие страдания,— сказала Соня.— Например, когда ты увлекся этой дурой Тамарой Мищенко...

Тут уж он хохотал. Какой Тамарой Мищенко? Той толстой, огромной, похожей на клумбу с цветами? Они веселились. Их тела были мокрые от духоты, и они вытирали друг друга полотенцем.

На другой день — было, кажется, воскресенье — приехали Сонины родители с Васеной. Глебов боялся, что непременно догадаются о том, что случилось с их дочкой, и приготовился к худшему. Ему казалось, что тут не нужно особой прозорливости. Но Соня держалась настолько естественно и хладнокровно, так радостно их встретила, так любовно и внимательно за ними ухаживала, что Глебов был втайне изумлен, а родители ничего не поняли. Впрочем, они были все-таки лопухи. Тут-то и объяснение. Замороченные своими делами, добрые, порядочные лопухи. Причем одного сорта оба.

А Васена с ее острым глазом? И она проморгала. Потом-то догадалась первая.

Николай Васильевич был в тот день не в духе, мрачноват и вовсе ничего не замечал. За обедом царила какая-то общая тягомотина. Глебов подумал: уж не его ли присутствие мешает разговору? Шепнул Соне: уехать? Соня замотала головой.

— Ни в коем случае! Он чем-то расстроен. Ты здесь ни сном ни духом.

После обеда пошли с Соней гулять. А вечером старик, поспав часика два, отмяк, разговорился и объяснил, что расстроен как раз историей с Астругом. Вчера они с Юлией Михайловной не смогли приехать потому, что вдруг напросились в гости Аструги, Борис Львович с женой. Не принять их было никак нельзя. Они убиты, раздавлены, на Новый год никуда не пошли, как можно их не пригласить? Аструг рассказал подробности. Ведь Николай Васильевич не присутствовал на Ученом совете, где был устроен разгром и, по сути, определился весь дальнейший сюжет.

— Понимаете, Дима, какая пакость: я был в командировке! — говорил Ганчук, обращаясь к Глебову и все более горячась, в то время как Юлия Михайловна жестами, мимикой и досадливыми междометиями пыталась заставить его говорить спокойней и лучше бы помолчать вовсе.— Три с половиной недели, вы же помните, я был в Праге, занимался архивами, и они, воспользовавшись моим отсутствием...

— Папа, зачем им было нужно твое отсутствие? — спросила Соня.

— Как зачем? Смешно! Если б я там был, я бы выступил очень резко.

— То, что им нужно,— сказала Юлия Михайловна.

— Ах, оставь, пожалуйста! Ты не понимаешь.

— Нет, понимаю. Это ты не понимаешь, потому что бываешь там редко, а я хожу каждый день. Они были бы очень не против, если б ты влез в это дело.

— Но я и так влезу! — рявкнул Ганчук.

— Теперь уже нет смысла. Абсолютно sinnlos.

— Посмотрим!

Он опять помрачнел, надулся, встал из-за стола, за которым пили чай, и ушел в свой кабинетик. Соня и Глебов поднялись по скрипучей лесенке в мансарду. Затворив дверь и не зажигая света, Соня бросилась к Глебову, стала целовать его, шепча:

— Как мне жаль Аструга! Бедный, бедный, бедный, бедный мой Аструг...— каждое «бедный» сопровождалось поцелуем.

— Мне тоже,— шептал он, целуя нежную впадину над ключицей,— тоже очень жаль его...

— Я просто не могу выразить... Как мне жаль Аструга...

— И мне...

Она сжимала Глебова слабыми руками изо всех сил. Он гладил ее спину, лопатки, бедра, все, что теперь принадлежала ему. Было слышно, как внизу разговаривают и гремят посудой Васена и Юлия Михайловна. Потом Юлия Михайловна позвала:

— Со-ня!

И Соня вдруг отшатнулась от Глебова и прошептала:

— Мы дурачимся, а я вправду его жалею... Я не вру, ты не думай... Если он придет, ты познакомишься с ним ближе...

Глебов думал: это зачем? Снизу звали уже сердито:

— Соня, в чем дело?

Поцеловав Глебова, она побежала, стуча каблучками, по лестнице вниз. Глебов, все еще не зажигая света, подошел к окну и ударом ладони растворил. Лесной холод и тьма опахнули его. Перед самым окном веяла хвоей тяжелая еловая ветвь с шапкой сырого — в потемках он едва светился — снега.

Глебов постоял у окна, подышал, подумал: «И эта ветвь — моя!»

На другое утро за завтраком, когда уже приехал Аникеев на машине, чтобы забрать троих в Москву —

Ганчук с Васеной оставался тут на несколько дней,— опять зашел разговор об Аструге. Юлия Михайловна спросила:

— Ну хорошо, а вот вы, Дима, вы все время молчите, как оцениваете Бориса Львовича? Как преподавателя?

— Мне трудно сказать. Он читал у нас всего полгода. Спецкурс по Достоевскому...

— Вот именно то я хотела знать! — произнесла Юлия Михайловна с некоторым торжеством.— Неуверенность оценки говорит о многом. Всего полгода! Да, полгода — это большой срок. Ганчук, ты всегда пристрастен к людям и любишь переоценить.

— Что я люблю переоценить?

— Ты любишь переоценить неприятности и несправедливости. Почему не должно быть никакой доли правды в критике Бориса? Разве он идеальный, безукоризненный человек, без недостатков? Я думаю, у него есть недостатки, и немаленькие. Я думаю, скорей, у него есть большие недостатки!

Когда Юлия Михайловна нервничала, становились заметны некоторые изъяны ее русской речи. Все было правильно, она не делала ни грамматических, ни лексических ошибок, но вдруг проскальзывала едва уловимая неточность. Нервничая, она стала объяснять недостатки Аструга: не сумел понравиться, никакого впечатления за полгода. Она сама преподает и твердо знает — может держать пари,— что завоюет молодежную аудиторию за два академических часа. Больше ей не потребуется. И они будут бежать к ней домой, звонить по телефону и дарить цветы по праздникам. За два часа!

Говоря это, Юлия Михайловна подбоченивалась и смотрела на мужа и на Глебова несколько свысока. Но говорила, кстати, чистую правду. Студенты ее любили. Затем Юлия Михайловна намекнула еще на один недостаток Аструга: любит прихвастнуть, пощеголять знаниями. Вообще и в нем, и в его жене Вере — в ней особенно — мелькало иногда некое важничанье. Они были о себе высокого мнения. Ну чего бы, спрашивается, им важничать перед Ганчуком? Это выглядело смешно. Сейчас, конечно, их жаль. Без настоящей работы он может пропасть, зачахнуть. А она зачахнет без возможности важничать...

Соня слушала мать, улыбаясь мягко и сочувственно, как слушают детскую болтовню взрослые. Николай Ва-

сильевич не желал продолжать спор. Обращаясь к стоявшему в дверях Аникееву, который нетерпеливо звенел ключами, он сказал:

— Иван Григорьевич, хоть вы не гордитесь! Сядьте с нами, хлебните чайку...

Но Юлия Михайловна решила все-таки поставить точку.

— Нет, друзья мои, надо смотреть шире, шире! То, что они мечтали избавиться от Ганчука, это факт. И то, что Борис, к сожалению, уязвим для критики и представляет собой хорошую мишень, тоже факт.

— Тем не менее я влезу в это дело,— быстро произнес Николай Васильевич.— И хватит об этом!

В машине ехали так: впереди рядом с Аникеевым сидела Юлия Михайловна, сзади сидели Глебов и Соня и покоился завернутый в скатерть тюк грязного белья. Юлия Михайловна непрерывно рассказывала об институтских делах, очень запутанных, о которых Ганчук не имел представления, а она разбиралась в них. Директор не любит Ганчука — она всегда называла мужа в глаза и за глаза Ганчуком,— потому что Ганчук независим, ему нельзя приказать, он слишком большая величина, а заведующий учебной частью Дороднов, ничтожество, никогда не забудет, что Ганчук отказался поддержать его авантюру с докторской диссертацией. И не только это. У них старые счеты. Они мечтают сдвинуть Ганчука с должности завкафедрой, но попробуйте-ка! Не так просто. Старый коммунист, участник гражданской войны, автор ста восьмидесяти печатных трудов, переводы на восемь европейских и семь азиатских языков... А Борис Аструг, его ученик, очень удобный инструмент для... Глебов и Соня слушали Юлию Михайловну плохо. Они были заняты друг другом. Всю дорогу ласкали друг друга пальцами: он правой рукой, а она, сидевшая у окна, левой. Ему еще приходилось левой рукой придерживать тюк с бельем, норовивший при торможении свалиться на пол. Глебов видел, как у Сони рдеет щека, и слышал, что голос ее слегка дрожит, когда она произносит по временам: «Да, мама... Конечно, мама... Ты права...»

— И все же, Сонечка, я бы хотела, чтоб Ганчук ушел из института. А? Как тебе кажется? — Юлия Михайловна неожиданно обернулась и будто увидела на лице Сони что-то ее поразившее. Она вновь повернулась спиной и замолчала.

Соня ей не ответила.

И, только когда подъехали к Москве, сказала:

— Наверно, ты права, мама... Но папа ни за что не уйдет...

Та ночь на даче, когда все текло, когда ухал снег и нечем было дышать... Соня видела ее, сидя в машине. Глебов помнит ее и теперь, спустя двадцать пять лет, хотя было бы лучше забыть. Потом другие ночи, несмотря на январь, экзамены, сильнейший мороз, который вдруг грянул и затруднял передвижения. Они ездили в Брусково, потому что там никто не мешал и было удобней готовиться к экзаменам. Ехали электричкой, бежали промерзшим лесом, врывались в дачу, заледенелую, как погреб, но через два часа становилось тепло. Глебов все думал: неужели ее родители не догадываются о том, что происходит? Ведь готовились к разным экзаменам и к разным срокам. По существу, абсурд: мчаться за город, тратить два часа на дорогу и сидеть там по комнатам, зубрить разное. Родителям говорилось, что едут несколько человек. Но было невероятно не видеть, как изменилась Соня! Однако не видели, не замечали. Соня говорила твердо: ни о чем не догадываются.

И даже когда Соня завалила какой-то зачет и рассказывала об этом, смеясь — было необычно и то, что завалила, и то, что смеялась, рассказывая,— ни мать, ни отец не насторожились. В то, что Соня все равно сдаст и будет отличницей, они верили несокрушимо. Это было дано ей от природы, как бледный цвет лица. И тут они были правы. Они знали свою дочь хорошо. Она сдала даже те предметы, по которым успела кое-что почитать утром в день экзамена. Ведь студенты в сессию занимаются обыкновенно ночами, а Соня с Глебовым тратили ночи на другое. И вот Глебов-то наделал себе хвостов.

Но он считал, что то, что творилось с ним и с Соней в январе, было его главным экзаменом, неизмеримо главнее всего остального.

Первой прорезалась Васена — худобой и костистым желтым лицом старуха напоминала Глебову средневековые рисунки, изображавшие смерть с косой,— и вот она секанула Глебова, и правда, как косой. Однажды сказала Соне, он стоял близко и услышал, да и говорилось, чтоб услышал:

— Твой-то приймак никогда ног не оботрет... Всегда, как в трактир...

— О чем вы, Васена? — спросил Глебов, подходя.— И что значит — приймак?

— А я почем знаю... Говорится так...— проворчала Васена.

Соня, побледнев сильнее обычного, обняла старуху.

— Няня, милая, зачем ты так? Ведь ты добрая, я же знаю...

А в конце января Соня, взволнованная, сказала Глебову, что случилась беда: Юлия Михайловна неожиданно поехал с Аникеевым на дачу забрать какие-то вещи и обнаружила некоторые несомненные улики, оставленные ими по рассеянности или халатности — торопились на электричку. И что же? Мать, хотя и ругает отца за близорукость и простодушие, сама еще более простодушна и имеет привычку отталкивать от себя все огорчительное, делает это бессознательно, этакий домашний страус, и вот какой вывод она сделала: «Соня, я должна сообщить тебе неприятную вещь. На нашей даче ночевали чужие люди. Они ничего не взяли, не украли, просто пришли, чтоб ночевать».— «Что ты говоришь!» — испугалась Соня. «Да, это, к сожалению, так. Есть несимпатичные доказательства. Отцу говорить я не буду, чтоб не огорчать зря. Ведь теперь уже ничем не поможешь».

Глебов, подумав, сказал: а если Юлия Михайловна все прекрасным образом сообразила и так иносказательно дает это понять? Ему не привиделось тут беды. Они вовсе не обязаны так уж свято хранить тайну. Ведь решили стать мужем и женой, это нерушимо, вопрос лишь времени — сейчас, через полгода, через год, какая разница?

И он думал так искренно, потому что казалось — твердо, окончательно и ничего другого не будет. Их близость делалась все тесней. Он не мог пробыть без нее дня. Теперь, когда прошло столько лет с той зимы, можно размыслить спокойно: что это было? Истинная любовь, созревавшая естественно и долго, или же молодое телесное беснование, которое обрушилось внезапно, как ангина? Было, пожалуй, второе. Слепое, бессмысленное, безоглядное и так не похожее на него, насколько он знал себя. Все дело заключалось в том, что и она оказалась совсем не похожей на ту, к какой он привык и с какой давно, годами смирился. Ее молчаливость, стеснительность, анемичность — все это было в прошлой, далекой жизни. И только ее доброта и покорность остались с ней новой.

Я помню, как он меня мучил и как я, однако, любил его. Он звонил утром по телефону — отец и мать знали, что звонит он, и старались не снимать трубку, потому что я сердился, когда они это делали,— и я мчался сломя голову из любого места, где в ту секунду находился: из кухни, где доедал клейкую и в отвратительных комьях манную кашу, из ванной и даже из того места, откуда, услышав сквозь дверь звонок, вылетал с незастегнутыми штанами. «Да! — кричал я.— Это кто говорит?» Мне хотелось услышать его имя. Он не называл себя, а всегда придумывал что-нибудь замечательно остроумное. «Сэр,— говорил он,— я жду вас ровно в восемь пятнадцать под часами в среднем дворе, и извольте быть при шпаге. Я заколю вас, как зайца... Из вас выйдет превосходное жаркое, сэр!» — «А из вас,— кричал я, задыхаясь от счастливого хохота,— из вас, сэр, выйдет очень хорошая пожарская котлета! Вот именно, сэр! Такая зажаристая, в подскребочках, вкусненькая котлеточка, сэр!»

Это было ужасно — я всегда ему подражал. В моей голове не рождалось ничего оригинального, а если и рождалось, то гораздо позже, чем нужно. Я прибегал на пять минут раньше и ждал его, изнывая от нетерпения. Не помню во всей своей долгой жизни потом, чтобы я ждал кого-нибудь с таким трепетом и мучительной боязнью подвоха, потому что Антон Овчинников, как и полагается истинному ученому и великому человеку, был невероятно рассеян, забывчив и непостоянен. Договорившись со мной, он мог тут же передоговориться с Моржом или с Химиусом, и я вдруг видел, как они спокойно идут другой стороной двора, направляясь к другим воротам и не обращая на меня никакого внимания. Будто меня нет на свете! Будто он только что не звонил мне и заговорщицким тоном не требовал, чтоб я вышел к часам!

Когда это случилось впервые, я набросился на него в гневе: «Сэр, что это значит? Я жду тебя, как дурак, а ты идешь через те ворота?» Он посмотрел на меня, как мне показалось, с холодным презрением и произнес: «Милейший, разве мы договаривались, что я подойду именно к данному пункту? Я имел право пересечь двор каким угодно курсом и с какими угодно спутниками, а ваше дело следить за моим движением и при желании в точно указанный срок присоединиться...» Он выложил эту высокоумную ахинею сухим, не допускавшим возражения тоном, Морж и Химиус хихикали, а я был оше-

ломлен, спорить с ним я не умел, злиться на него не мог. Понурив голову, я плелся за ними следом. Тощий Химиус и рыхлый толстяк Морж шагали по бокам приземистого Овчинникова — тот был, разумеется, без шапки, несмотря на мороз, льняные волосы трепыхались, он был в коротких штанах, в гетрах, голая белизна в просветах между гетрами и штанами отливала синюшностью, и прохожие оглядывались на него, ухмыляясь,— и он непрерывно что-то рассказывал, а Морж и Химиус слушали, разинув рты.

В ту зиму он увлекся палеонтологией, завел большие альбомы, где рисовал разных динозавров и птеродактилей, и без конца рассказывал о них все, что знал. И я не нашел ничего лучше, как увлечься тем же. Тоже завел альбом, тоже пытался рисовать, вернее, срисовывать, а точнее говоря, сводить при помощи папиросной бумаги из книг всяких допотопных страшилищ, но, так как получалось плохо, я безбожно портил книги, вырезая картинки. Вот бы с кем ему следовало вести беседу о ящерах, а он тратил энергию на просвещение Моржа и Химиуса, которые были, если уж говорить всю правду, в немалой степени оглоедами. Мы с Антоном называли огло-едами тех, кто ограничивал свои знания школьной программой, а сверхоглоедами именовали отличников. Это была совсем пропащая публика, в основном девчонки, но попадались и мальчишки, двое или трое каких-то жалких сморчков. Впрочем, и осьминогов — так назывались благородные и чистые рыцари науки, кого интересовало все равно что, но непременно выходящее за рамки школьной премудрости — было не так уж много. Ну, Антон Овчинников, ну, я, ну, может быть, еще одна или две персоны и единственная осьминожица среди девчонок — Соня Ганчук, которая изучала мистическую литературу, например рассказы Эдгара По. Кроме того, у Сониного отца была превосходнейшая библиотека — пожалуй, не хуже, чем у капитана Немо — и мы часто бегали к Соне, чтобы навести кое-какие научные справки.

Антону пришла в голову изумительная идея: создать ТОИВ, то есть Тайное общество испытания воли. Это случилось после того, как нас исколошматили в Дерюгинском переулке. Антон поправился, и мы решили пойти туда снова. Мы — это Антон, Химиус, Морж, Левка Шулепа и я. Но тут встал вопрос о Вадьке Глебове, по кличке Батон, который жил в том переулке. Звать ли его

в тайное общество? Когда-то давно он принес в школу белый батон, сидел на уроке, щипал мякиш и угощал желающих. А желающих было много! Кажется, пустяк: притащил батон, который всякий может купить в булочной за пятнадцать копеек. Но вот никто не догадался, а он догадался. И на переменке все просили у него кусочек и он всех оделял, как Христос. Впрочем, не всех. Некоторым он не давал. Например, тем, кто приносил в школу бутерброды с сыром и колбасой, а ведь им, бедным, тоже хотелось батончика! Этот Вадька Батон долгое время занимал меня как личность немного загадочная. Почему-то многие хотели с ним дружить. Он был какой-то для всех подходящий. И такой, и этакий, и с теми, и с этими, и не злой, и не добрый, и не очень жадный, и не очень уж щедрый, и не то чтобы осьминог, и не совсем оглоед, и не трусливый, и не смельчак, и вроде бы не хитрец, и в то же время не простофиля. Он мог дружить с Левкой и с Манюней, хотя Левка и Манюня друг друга терпеть не могли. Был хорош с Антоном, ходил в гости к Химиусу и к Левке и ладил с дерюгинскими, которые нас ненавидели. Его друзьями были Антон Овчина и Минька Бык одновременно!

Вот и думали: как поступить с ним? Рассказать ли ему нашу тайну? Шулепа был горячий его защитник. Он говорил, что Батон никогда не предаст. Антон тоже склонялся к тому, чтобы Батона принять в ТОИВ, потому что от него могла быть польза. Не помню всех споров и рассуждений, помню лишь, что тут была главная сласть: решать чью-то судьбу. Годится или не годится для нас. И, помню, судьба Вадьки Батона мучила меня особенно. Мне очень не хотелось, чтобы он был принят в тайное общество, но сказать об этом вслух и объяснить причины я не мог. Потому что была замешана женщина. Ну, конечно, в том-то и дело! Соня Ганчук была влюблена в этого невзрачного, неопределенного, не такого и не сякого Батона. Что она в нем находила? Уши торчком, пол-лица в веснушках, редкие зубы, и походка какая-то нескладная, развалистая. Волосы у него были темные, блестящие, зачесанные немного набок и такие гладкие, будто он только что вылез из речки и причесался. Я ничего не мог понять. Но было очевидно для всех: она краснела, разговаривая с ним, норовила остаться в классе, когда он дежурил, задавала ему глупые вопросы и смеялась, когда он пытался острить.

Кстати, он не умел острить. В его шутках было больше насмешки, чем остроумия. Он, например, любил поиздеваться над Яриком, отпускал по его адресу ехидные замечания. Ах, может, все это мне только мерещилось с досады! Ведь и Ярик как-то льнул к нему и хотел с ним дружить...

Он был совершенно *никакой*, Вадик Батон. Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: быть *никаким*. Люди, умеющие быть гениальнейшим образом *никакими*, продвигаются далеко. Вся суть в том, что те, кто имеет с ними дело, довоображают и дорисовывают на *никаком* фоне все, что им подсказывают их желания и их страхи. *Никакие* всегда везунчики. В жизни мне пришлось встретиться с двумя или тремя этой изумительной породы — Батон запомнился просто потому, что был первый, кому так наглядно везло за *никакие* заслуги,— и меня всегда поражала окрылявшая их милость судьбы. Ведь и Вадька Батон стал в своей области важной шишкой. Не знаю точно какой, меня это не интересует. Но, когда кто-то рассказал про него, я не удивился: так и должно быть! И сто лет назад, когда пятеро мальчишек решали жгучую проблему — посвящать или не посвящать его в свою тайну,— ему, конечно же, повезло. Решили посвятить и принять. Антон сказал, что война с дерюгинскими будет долгая, на изнурение и нужен свой человек в их стране. Однажды после уроков повели Вадьку Батона на задворки и все рассказали. А он уже что-то подозревал. И было видно, как он обрадовался, когда ему предложили вступить в ТОИВ. Но ответил он... О, это был замечательный ответ! Тогда мы не поняли по-настоящему, прошли годы, прошла жизнь, и, вспоминая, вдруг догадываешься: вот ведь сила *никакого* характера!

Он сказал, что рад вступить в ТОИВ, но хочет быть вправе когда угодно из него выйти. То есть хотел быть членом нашего общества и одновременно не быть им. Вдруг обнаружилась необыкновенная выгода такой позиции: он владел нашей тайной, не будучи полностью с нами. Когда мы сообразили это, было уже поздно. Мы оказались у него в руках. Помню, задумали новый поход в Дерюгинский переулок и назначили день, но Батон сказал, что день не годится, надо перенести на неделю. Потом еще на неделю, еще на три дня, не объясняя причин, держась таинственно, и мы соглашались. Потому что он был наш, но не до конца и всякую минуту мог

выйти из игры. «Если хотите, давайте хоть сегодня, но тогда без меня...» Мы стали бояться, что он предупредит Миньку Быка и вся затея с внезапным захватом переулка рухнет. Чего мы хотели? Просто пройти вверх и вниз Дерюгинским переулком, где увечили и обирали ребят нашего дома. И, если нападут, дать отпор. Левка Шулепа обещал взять оружие: немецкий пугач, который бухал, как настоящий револьвер.

Наконец Батон сказал: такой-то день. Мы пошли часов в пять вечера. Когда подошли к Дерюгинскому подворью, увидели на втором этаже в окне бледную рожу Батона, и он нас тоже увидел и махнул рукой. Мы прошли весь переулок, на нас никто не напал. Черная собака не показывалась. Какие-то пацаны, катавшиеся на салазках и на досках с горы посреди мостовой, не обращали на нас внимания. Мы постояли у одной подворотни, у другой, пираты не появлялись — ни Минька Бык, ни Таранька, никто. Шулепа стрельнул в воздух, мы еще немного подождали и ушли. Все были разочарованы. Испытания воли не получилось. Ходили туда еще раза два, но так же безрезультатно. Что случилось? Куда они разбежались? Это так и осталось неизвестным, а может быть, забылось с течением лет. В памяти нет ничего, кроме ощущения досады и странного чувства: будто все это — для нашего неудовольствия и собственного покоя — подстроил Вадька Батон...

Потом были еще какие-то искусы, страхи, хождения куда-то ночью, в какие-то склепы. Подземные коридоры под нашей церквушкой. И балкон в Сониной квартире над пропастью. Вот этот балкон! И холод, смертный, сжимавший кисти рук! И Сонино лицо с белым, безумным взглядом! Нас осталось четверо. Батон до последней минуты не говорил ни да, ни нет. А толстый Морж с мучительным стыдом отказался — он страдал головокружениями. Предстояло определить квартиру. Химиус отпадал, так как его квартира была полна людей, уединиться на балконе невозможно. У Левки тоже околачивался народ: родственники, приживалки, и мать целыми днями сидела дома. Антон жил на первом этаже, я на третьем. Оставался бедный инвалид Морж. Он жил прекрасно: на восьмом этаже, с матерью, деловой женщиной, пропадавшей на службе с утра до вечера, и старой глухой домработницей, которую можно было запереть на кухне, дав ей для чтения «Пионерскую правду». Старушка любила читать «Пионерскую правду». Но Морж

вдруг воспротивился. Он вообще стал возражать против этого испытания, говоря, что это не испытание воли, а испытание здоровья. И тут я вспомнил о Соне. Честно говоря, я никогда не забывал о ней.

Соня жила на девятом этаже, а родители ее как раз в ту пору куда-то уехали. Дома осталась домработница, но та временами отлучалась, и Соня подолгу была дома одна. Девятый этаж. Это было, конечно, невероятно притягательно. То, что нужно. Чем выше, тем лучше. Тем качественнее испытание. Это мы твердили друг другу, хотя от страха у нас сводило животы. Единственное, что смущало Антона: в тайну посвящалась женщина. Ведь он был категорически против женщин. «Я даже матери не рассказал, а я ей все говорю».

Верно, мать Антона была в курсе всех его замыслов и работ. Бывало, позвонишь ей: «Что Антошка делает?» Она отвечает: «А он сейчас заканчивает третью часть палеонтологического альбома. Летающие ящеры. А итальянский альбом наполовину уже сделан, получилось очень удачно, особенно Везувий...»

Боже, как мне хотелось, чтобы Соня присутствовала при испытании воли! И я сказал, что можно скрыть от нее главное, сказать, что нам, осьминогам, надо кое о чем секретно поговорить на балконе, а ее попросить побыть полчаса в кабинете. Если она даст честное слово осьминогов, что не выйдет из кабинета, она его не нарушит. Антон сопел, дулся, но дал согласие: «Ладно! Сонька, конечно, отличается от других девчонок хотя бы тем, что понимает Верди. Она даже марш из «Аиды» однажды напела, правда, не совсем точно». В его устах это было огромной похвалой. Человечество делилось на понимавших и не понимавших Верди, первые были — лучшие люди, вторые — темная толпа полузнаек. Был выбран день, и мы пришли к Соне. Не могу сказать, что шел к ней бодро и с большой охотой. Ноги мои слегка ослабели, и внутри них, в костях, как будто бегали какие-то мурашки. Да и у остальных членов тайного общества вид был не лучше. Чего мне страшно хотелось — чтобы Батон не пришел, чтобы струсил в последнюю минуту! Ведь он имел право. Он мог не прийти, и мы бы ничего ему не сказали. Но он пришел, черт бы его подрал. Физиономия у него отливала зеленовато, как у покойника. А Химиус глупо посмеивался и не к месту пытался острить.

Все выглядело так, будто мы зашли посмотреть

нужный нам том Элизе Реклю, затем внезапно Антон обратился к Соне: «Сонька, ты обязана сейчас же, сию минуту поклясться в том...»

Соня, пораженная таинственностью, заподозрила неладное. С тревогой стала выпытывать: что мы задумали? Почему непременно на балконе? Не хотим ли кого-нибудь сбросить с балкона вниз? Она не подозревала, как близка к истине. Этот «кто-нибудь» мог быть любой из нас. Когда я услышал полушутливые Сонины слова, я почувствовал, как на моих глазах от жалости к себе выступили слезы. Но этого никто не заметил.

Я сделал несколько шагов по комнате, чувствуя, что колени дрожат и ноги ступают нетвердо. Ноги меня ужасно вдруг напугали. С такими ногами нечего было и думать перелезать ограду балкона и переступать через прутья на высоте девяти этажей. Я украдкой поглядывал на других. Когда по очереди мы ходили в туалет, я заметил, что всех немного шатает. И только Антон Овчинников не ходил в туалет.

Как сел на стул, придя к Соне, так и сидел, не двигаясь, до нужной секунды: ни раньше, ни позже. Тяжелый, маленький, желтолицый, плечистый, со скулами, как у Будды. И, когда Соня ушла наконец в кабинет и поворотом ручки замкнула дверь — так он потребовал,— он поднялся первый и твердыми шагами направился в соседнюю, отгороженную портьерой комнату, откуда вела дверь на балкон. Мы прошли вслед за ним. Балкон был не заклеен и не заперт, хотя уже наступили морозы. Сонин отец по утрам занимался тут физкультурой. Как повсюду в доме, балкон был разделен решеткой надвое, другая его половина принадлежала соседям, и здесь скрывалась опасность. Каждую минуту кто-нибудь мог выйти из той двери на балкон и — о чудо! — нас спасти.

Но никто не выходил и ни малейшего признака жизни не замечалось за чужим окном. Я посматривал за решетку, на стоявшие у стены банки, кувшины и кастрюли, на занавеску стеклянной двери и думал: «Неужели вам не хочется, подлецам, выглянуть хоть на секунду? Ведь так просто перепрыгнуть решетку и ограбить вашу квартиру... Какое идиотское легкомыслие с вашей стороны...»

Нет, соседи не собирались нас спасать. Мы были обречены испытывать волю. Мороз был градусов десять,

а мы без пальто, без шапок. Зубы у меня колотились. Антон подошел к левому краю балкона, который торцом упирался в бетонированную стену, и как раз над балконом находилось окно большой комнаты, где мы только что сидели с Соней. Антон потряс металлический поручень, тот был абсолютно прочен. Антон потряс его изо всей силы двумя руками. Все было в порядке. Я подумал: «Вероятно, мы сходим с ума». Но, если бы я захотел сейчас уйти, я бы не смог — ноги не повиновались мне. Внизу было все, как обычно, спокойно, тихо, снежно, черные тротуары, белый двор, крыши автомобилей, но недосягаемо далеко. Попасть во двор внизу было, как на другую планету.

Туда можно было только упасть.

Антон перекинул одну ногу через ограду, затем вторую и медленно двинулся, держась за поручень и повернувшись к пропасти спиною, а к нам лицом, по краю балкона. Он ставил ноги между железными прутьями. Таким образом, двигаясь боком и очень медленно, он дошел до чужого балкона и повернул назад. При этом он что-то мурлыкал. Кажется, марш из «Аиды». Мы следовали за ним с другой стороны ограды, готовые в любое мгновение прийти на помощь. Интересно, что могли бы мы сделать? Вот он добрался до стены, поставил голое колено — он по-прежнему ходил в коротких штанах — на отлив подоконника и, перекатившись животом через поручень, свалился к нашим ногам. Тотчас вслед за Антоном отправился Химиус, который не преминул щегольнуть, и, слегка откинувшись на вытянутых руках, поглядел вниз и сплюнул...

В тот же миг я увидел в окне, выходившем на торец балкона, застывшее, косое от ужаса лицо Сони.

Через секунду она выскочила на балкон. Ее рот открывался беззвучно, она уцепила Химиуса под мышками и стала тащить через ограду — он рассказывал, что тащила с нечеловеческой силой,— продолжая двигать открытым ртом и как будто кричать, но не было слышно. Химиус перевалился назад. Мы втолклись в комнату. Все были озябшие, грязные, испачканные в ржавчине, с посиневшими лицами. Соня охватила Вадьку Батона за руку, не отпускала его, боясь, что он вырвется и прыгнет за решетку, и шептала, как заведенная: «Ой, дураки, дураки, дураки, дураки...» Батон недовольно хмурился. У него был такой вид, точно его обидели, отняли у него что-то. Потом я узнал, как было дело. Он не стерпел

и тайком разболтал Соне — наверно, когда бегал в туалет,— советовал поглядеть на занятное зрелище. Несчастный хвастун. Но он спас Левку Шулепу, себя и меня. Он спас, он спас! Ноги мои были совсем ни к черту. Эти люди, которые не трусы и не смельчаки, не то и не это, иногда спасают других, у кого слишком много всего. Я возненавидел его еще сильней. Он ворчал на Соню и говорил ей что-то злобное. Потом она потеряла сознание, мы перепугались, звонили врачу...

А что было дальше? О, дальше, дальше и совсем далеко? Дом опустел. Мои друзья разъехались и исчезли кто где. Морж, который так страдал оттого, что не мог участвовать в испытании воли — он не мог пройти даже по обыкновенному бревну в гимнастическом зале,— исчез куда-то раньше всех. Чуть ли не в ту же зиму. И вообще мы торопились напрасно. Испытания обрушились очень скоро, их не надо было придумывать. Они повалили на нас густым, тяжелым дождем, одних прибили к земле, других вымочили и выморили до костей, а некоторые задохнулись в этом потоке.

Но я помню вот что: мать Антона сидит у нас дома, и отец Химиуса, и кто-то еще, и все разговаривают, запершись в столовой, а мне и Антону не велено присутствовать. Однако мы подслушиваем. Некоторые голоса слышны хорошо, особенно когда там говорят сердито. Я слышу, как мой отец громко и сердито говорит: «Послушайте, а вы обращались к врачу?» И голос матери Антона: «Зачем?» — «Может быть, ваш сын не совсем нормален психически». Мать Антона засмеялась: «Мой сын? Какой вздор! Мой сын совершенно, совершенно нормален!» Тут все заговорили гулом, а мать Антона продолжала смеяться.

Той зимой, когда на даче в Брускове разгоралась глебовская любовь, в его доме в Дерюгинском сгущалась комом безысходность, какая сопутствует всякой жизни на излете. Жизнь глебовской семьи была на излете: баба Нила едва ходила и по дому все делала через силу, отец после смерти матери постарел, согнулся, какая-то болезнь съедала его, да к тому же стал попивать. Все шло к развалу, к концу. Глебов не любил бывать дома. Отец не вызывал его жалости, ибо этот бестолковый неряшливый старик не находил мужества принять конец достойно, еще надеялся на что-то, лукавил и хитрил с жизнью, мечтая выманить напоследок какие-нибудь подачки. Выманил тетю Полю: она после смерти сестры

приходила чаще, навещала по-родственному, помогала бабе Ниле и как-то тихо, спроста заняла место на диване, где прежде спала мать. А куда ей было податься? Ведь дядя Володя после севера оставил ее, уехал в Ташкент с новой семьей. Глебов махнул на них рукой. Пускай как хотят! Грудь его теснило, кровь стучала в висках от предчувствия перемен в своей судьбе...

Но у тети Поли была дочь Клавдия, которой все это не нравилось. Она не хотела простить ни матери, ни глебовскому отцу. Тети Полин сын Юрка, старше Глебова на два года, погиб на войне, а у Клавдии была семья, ребенок, она жила хорошо и должна была бы радоваться за мать, что та не одинока и живет с бабкой, облегчая ей старость, но Клавдия возненавидела мать. Приходя в Дерюгинский, она подчеркивала, что приходит лишь навестить бабу Нилу. С родной матерью почти не разговаривала, а с отцом Глебова была суха, насмешлива.

Клавдия была в дядю Володю: крупная, мосластая, некрасивая. Почему-то считалось, что она хороший человек. Такая же легенда, как то, что тетя Поля красавица. Глебова задевал насмешливый тон, каким Клавдия разговаривала с отцом, отчего тот терялся, а тетя Поля нервничала, суетилась и говорила чепуху, и вообще Глебов с некоторой досадой ощущал в Клавдии иную структуру, что-то чужеродное — неприятную жесткость.

Однажды сказала Глебову:

— Удивляюсь на тебя: и как ты спокойно все кушаешь? Характер у тебя все-таки уникальный.

— Чем же? — спросил Глебов.

— Вот этой всеядностью. Или, может, равнодушием потрясающим.

Глебов усмехнулся.

— А что я должен делать? Я взрослый человек, они взрослые люди...— Он смотрел в недоброе, язвительно кривящееся лицо кузины и думал: лучше быть равнодушным, чем злым. Вслух сказал: — Я им зла не желаю.

— Боже мой, да кто им желает зла? Я, например, просто страдаю, для меня пытка, а тебе ничего... Вот и удивительно...

— А мне другое удивительно: как ты можешь до такой степени мать родную невзлюбить? Откуда эта беспощадность?

Клавдия закрыла лицо руками, ушла.

Потом как-то призналась Глебову: рада бы смягчиться и мать простить, да сил нет. Потому что из-за нее всей семье горе. Это ведь еще до войны началось. И в эвакуации тянулось. Оттого все и раздергалось в лоскуты: дядя Володя не захотел с Полиной жить, а глебовская мать надорвала сердце. Глебов ничего этого как-то не заметил или, вернее сказать, не понял. Клавдия, рассказав, разрыдалась внезапно и стала ругать себя, говоря, что она дурной человек, что не смела всего этого говорить Глебову, и просила у него прощения.

— Теперь ты меня-то хоть можешь понять? — говорила она, то плача, то хватая Глебова за руку.— Да, я злая, подлая, не имела права тебе говорить... Кто меня за язык тянул, сволочь?

Глебов был поражен, но сказал спокойно:

— Ну что ж? Я догадывался. Я тетю Полю не виню.

— А я виню,— шептала Клавдия и голову опустила на стол.— Я виню, виню, виню... Она меня и матери лишила, и отца.

Глебов молчал, обдумывая. Конечно, открытие было болезненное, но ведь все худшее уже случилось и он ощутил лишь, как окрепло желание порвать скорее и начать все по-своему.

Соня стала бывать у него в доме. Ей хотелось познакомиться со всеми его родными, она всех любила заранее. Но Глебова терзали эти визиты. Она видела жалкость отца, слышала пустые, заискивающие разговоры, наблюдала скудость, тесноту — когда-то, в школьные времена, все это нисколько его не смущало, приятели ходили к нему наперебой, но теперь собственный дом все более становился в тягость,— и особенно он боялся Сониного недоумения: кто такая тетя Поля?

Однажды Соня явилась, когда все были дома и даже Клавдия зашла проведать бабу Нилу, принесла с рынка овощей. Был конец мая, жарко. Глебов познакомил Соню с Клавдией и поскорей потащил в свою клетушку, теперь, слава богу, хорошо изолированную от комнаты, где жили баба Нила и отец и где ночевала на диване, когда приходила помочь по дому, тетя Поля. Через полчаса позвали пить чай. Глебов шел с неохотой, но Соня рвалась к новым знакомствам: на этот раз к Клавдии и ее четырехлетней Светочке, очень заинтересовавшей Соню. Они мгновенно понравились друг другу, Соня и Светочка, и стали щебетать и играть во что-то, отключившись от остальной компании. Между тем в ком-

нате громыхал тяжеловатый семейный спор, что бывало редко — Клавдия избегала вести сварливые разговоры в этом доме. На этот раз затеялось как-то внезапно, Клавдия не могла сдержаться. Причиной спора была как раз маленькая Светочка, которую надлежало скорей вывозить за город.

С неудовольствием глядя на пришедшую в разгар спора Соню, Клавдия говорила резким, бранчливым голосом:

— Нет, ты ответь твердо: поедешь со Светкой или нет? Если нет, тогда я стану договариваться с Колиной теткой, но не хотелось бы, она человек нездоровый...

Тетя Поля говорила, что сняли дачу неудобно, далеко, а ей надо три раза в неделю ездить в Москву за работой. Она работала тогда для артели, плела какие-то сети для машин. И еще: как бабу Нилу оставить без помощи? Клавдия рассердилась.

— На бабу Нилу не кивай! Мы ее с собой заберем на дачу. Ей там еще лучше будет.

— Да куда ты бабку потащишь? С ума сошла!

— А здесь ей хорошо, что ли?

— Врачи нужны, дура! Поликлиника! Ты об няньке думаешь, а не о бабке. А она свое отнянчила.

Баба Нила возражала, говоря, что совсем еще не плоха. Тетя Поля корила: зачем в детсад не захотели отдать? Детсад на дачу поедет. На Клавдиной фабрике сад, говорят, очень хороший.

— Кто говорит? Тебе бы только с рук сбыть, бабка называется! — разъярилась Клавдия.— Господи, сколько раз зарекалась к ней обращаться...

Отец забубнил что-то. Понять, что он там жевал беззубым ртом, было нельзя. Женщины бранились, хоть не грубо, не ругательски, но как-то невыносимо занудливо и безнадежно, главное, совершенно не стесняясь Сони. Клавдия обличала мать в эгоизме, говорила, что о девчонке не думают, заняты собой, и что же делать? И ехать не с кем, и залог пропал. Конечно, кабы знала, в детсад бы устроила, теперь поздно. Тетя Поля сказала:

— А потому, что с матерью не разговариваешь. Все молчком, молчком, как зверюга. Что я тебе плохого сделала? — тетя Поля заплакала.

Соня вдруг сказала:

— А хотите, я вам предложу нашу дачу? Там есть сторожка летняя, очень удобная, с электричеством и с водой. Хочешь, Светочка, ко мне на дачу?

— Хочу! — закричала девочка, прыгая.

На слова Сони никто внимания не обратил, точно их не слышали. Продолжали браниться. Отец рукою махал.

— Не волнуйся, поедет она, никуда не денется.

Тетя Поля, плача, головой мотала.

— Не могу я в такую даль... И не хочу с ней, она меня знать не желает...

Соня шепнула Глебову:

— Скажи про Брусково... Это вполне реально...

Клавдия вдруг обернулась к Соне.

— Девушка, не путайтесь в наши дела, пожалуйста. Спасибо за предложение, но дача ваша нам не по карману и вообще не подходит.

— Грубо! — сказал Глебов.— Пойдем, Соня.

Они вернулись в глебовскую комнату, сели на кушетку, застеленную байковым одеялом. Глебов замкнул дверь и включил настенную, в бумажном колпачке лампу над изголовьем. Сколько вечеров и ночей провел он под этой лампой, валяясь на кушетке, читая, мечтая! Он привалился плечами и затылком к дощатой стене — одна из его излюбленных сибаритских поз, что удостоверялось сальным следом головы на обоях,— а Соня села рядом, забравшись глубоко во впадину старой кушетки, прижавшись к нему, положив голову ему на грудь, и он обнимал ее левой рукой, а правой поглаживал бедро в шуршащем чулке. Над чулком была полоска голой кожи. За деревянной перегородкой продолжался тягучий спор. Было слышно каждое слово. Глебов боялся, что Клавдия скажет что-нибудь ужасное, непоправимое, чего Соня не должна знать. Он гладил ладонью принадлежащую ему и совершенно доступную полоску прохладной кожи и говорил о том, что его двоюродная сестра чванлива, невоспитанна, окончила всего семь классов и техникум и что ему с нею не о чем говорить. Она работает мастером на трикотажной фабрике, а Коля, ее муж, там же наладчиком.

— А я эту женщину пожалела... Она такая ожесточившаяся, смотреть больно...— сказала Соня.— И тетю твою мне жаль, она хорошая, по-моему, красивая... И девочка, чудная, но слабенькая... Всех мне жаль, всех, всех! Это плохо, да? Это не нужно?

— Нет, почему же? Это хорошо. И нужно,— сказал Глебов, продолжая поглаживать кожу над чулком, и, чтоб ладони было удобней, отстегнул застежку и спустил чулок. Он мог бы делать все, что хотел. Она взяла

его левую руку за пальцы и прижала к губам. Голоса за перегородкой не умолкали, от этого было тихое раздражение, и все же поверх всего он испытывал громадную покойную радость: оттого, что женщина была покорна. И, главное, женщина необыкновенная. Об этом он догадывался и это внушал себе, приказывая своей ладони получать наслаждение от поглаживания бедра необыкновенной женщины, которая целиком принадлежала ему.

Прошло лето. Наступил последний для Глебова пятый курс. И вот что случилось осенью — было уже холодно, чуть ли не снег, вероятно, ноябрь,— когда Глебов изо всей мочи гнал диплом.

Попросили зайти в учебную часть. Там был такой Друзяев, недавно назначенный, Глебов знал его мало. Расспрашивал о дипломе, что да как. Глебов писал о русской журналистике восьмидесятых годов. Тема неохватная, тонул в материалах, цитатах, в тысячах газетных страниц.

Друзяев расспрашивал со знанием дела. И даже стишок редкий прочитал на память: «Победоносцев для Синода, Обедоносцев при дворе...» А может, нарочно к разговору подготовил? Глебов с удивлением поглядывал на усталого рыхлолицего человека со следами сердечной недужности и, как это часто бывает у сердечников, с какой-то вялой, таимой печалью в глазах и думал: зачем было слать курьера в аудиторию и требовать, чтоб срочно, немедленно? Друзяев был в офицерском кителе, в брюках от штатского костюма, под брюками сапоги, постоянно скрипевшие. В нем была какая-то мешанина. Казенный скрип и китель никак не вязались с печалью в глазах и с разговорами о либеральных редакторах, с полукрамольным подмигиванием по поводу Суворина: «Да ведь Алексей Сергеич был, между нами говоря, мужик огого! Громадный талант!»

Но об одном, разговаривая, Глебов помнил неотвязно: еще недавно Друзяев был военным прокурором и только год назад демобилизовался. В комнату заглянул аспирант Ширейко. Просунул черную очкастую голову будто на секунду, но, увидев Глебова, решил почему-то зайти. Пришел к столу и сел легко, развязно, как дома. Глебов тогда еще прозрел: эге! Ширейко в ту пору бурно взрастал, еще будучи аспирантом. На глебовском курсе читал спецкурс по Горькому, заменив Аструга. Друзяев спросил:

— Ваш научный руководитель Николай Васильевич Ганчук?

Как в детской игре «горячо — холодно», Глебов почуял вдруг, что тут-то и есть «тепло». Друзяев не сказал «Ганчук», что прозвучало бы сухо и неприязненно, и не сказал «Николай Васильевич», что было естественней всего, если уж не дружески-фамильярное и привычное «Никвас», он избрал четкую, официальную формулу «Николай Васильевич Ганчук», как при вручении премии или траурном объявлении. Оно было и уважительно и чем-то неуловимо отделяло названный авторитет от некого целого. С руководителем полный контакт? Никаких проблем? Глебов подтвердил и это. Друзяев совсем иным и, как показалось, прокурорским взглядом сверлил Глебова, его недружность точно вмиг смыло, он выпрямился и как-то поширел в своем кителе.

— Понимаете, Глебов, дело тут щекотливое... Зачем я вас пригласил? Только, прошу, антр ну, как говорят французы. Юрий Северьяныч в курсе наших забот,— Друзяев кивнул на Ширейко, который слушал внимательно, со строгим лицом.— Так что его присутствие пусть не удивляет. Мы все тут немного смущены. Вы знаете, что Николай Васильевич Ганчук включил вас в предварительный список дипломников, которые будут рекомендованы в аспирантуру? Не знаете? Для вас новость? К тому же приятная, а? Кроме того, он ваш научный руководитель. И еще, кроме того, вы его, так сказать, будущий, как это называется, зять, что ли? Вы извините, разведка донесла. А я, как военный человек, привык разведданным доверять...

Друзяев опять как-то обмяк, расслабился и даже улыбнулся. Но улыбка была обращена не к Глебову, а к аспиранту Ширейко. Глебов промычал и мотнул головой неопределенно, что все же означало: данных разведки он не отрицает.

— Видите ли, Глебов,— продолжал Друзяев,— мы не против вашей аспирантуры и не против того, чтобы Ганчук был вашим руководителем в дипломной работе. И мы, конечно, совсем не против того, чтобы вы породнились с профессором. Мы также никогда не возражали против того — я тут человек новый, но мне товарищи рассказали, что этот вопрос ни разу не поднимался,— чтобы супруга Ганчука, Юлия Михайловна Брюс, работала у нас на кафедре языков, руководила группой.

Понимаете, в чем штука: все в отдельности превосходно, а все вместе — перебор.

— Не очень-то ароматный душок! — твердо произнес аспирант Ширейко и добавил: — С точки зрения моралитэ.

Глебов спросил: и что же? Какие предложения? Держался даже слегка вызывающе, потому что понял: цель — не он. Те стали объяснять, что говорить со стариком трудно, он привык быть вне критики, старые товарищи вести переговоры отказываются, но надо же как-то дать понять. Иначе будет поздно! Слух дойдет до инстанций. Не согласится ли Глебов спокойно, по-родственному поговорить с Ганчуком и обрисовать ситуацию? Пусть Ганчук сам подберет руководителя для глебовского диплома. Пусть даст заявление. С указанием какой угодно причины. Все это чепуха и формальность. Вот и все тайны мадридского двора. Итак? Согласен ли товарищ Глебов помочь в первую очередь самому себе?

Глебову дело показалось чрезвычайно простым и ясным, и он сказал, что согласен. И с этого дня началась морока, та, что запутала, заморочила и истерзала его вконец.

Если бы знать, куда дело загнется! Но Глебов всегда был в чем-то туг и недальновиден. Сложные ходы, которые потом обнаружились, были для него тайной за семью печатями. Впрочем, никто ничего предвидеть не мог. И Друзяев, так смело и хитроумно затеявший этот дальний подкоп под крепость, огороженную мощной стеной, не догадывался, что ровно через два года он, вышибленный отовсюду и сраженный инсультом, будет сидеть в кресле у окна во двор и, тряся скрюченными руками, мыком объяснять жене, что хотел бы закурить сигарету. А еще через год, будучи аспирантом, Глебов прочтет в газете маленькие объявления: «...с глубоким прискорбием... после тяжелой и продолжительной...» Как рассказывали, на похоронах Друзяева присутствовали человек восемь, все были возбуждены недавно прошедшими другими похоронами, дело происходило в марте, но даже и не в том суть: Друзяев исчез стремительно, как и возник. А возник он как будто только затем, чтобы выполнить какую-то быстролетную миссию. Налетел, выполнил и исчез. Глебову казалось в первые часы, когда он обдумывал предложение Друзяева, что оно вызвано озабоченностью о его, Глебова, успешном завершении диплома. Какова была наивность! Задача лишь

в том, представлялось ему, чтобы найти человека, готового подписать работу, которая будет проделана Николаем Васильевичем как руководителем. Чистая формальность, они боятся формальных неприятностей.

Он решил, что на следующий день вечером, когда пойдет к Соне, поговорит с Ганчуком. Единственное, что смущало и о чем он не подумал сразу: как объяснить старику то, о чем так грубо и прямиком ляпнул Друзяев? Хотя между ними все было решено; родителям ничего еще открыто не сказали. Намечалась несообразность: объявлять Ганчуку о столь серьезном решении одновременно и в связи с предложением Друзяева было как-то глупо, да и в любом виде начинать такой разговор — Глебов вдруг почувствовал — было бестактностью. Это значило подгонять события, которые обязаны были развиваться плавно, своим ходом.

Лучше всего оттянуть, замотать всю эту историю. Авось забудут или же дело сделается как-то само собой. Любимый принцип: пустить на «само собой».

На другой день он к Соне не пошел, на второй и на третий тоже. Вовсе не преднамеренно, находились причины, заботы, он кое-что делал тогда для заработка, вплоть до самого низменного — колки дров на пару с приятелем по деревянным замоскворецким закутам, а в ту пору, накануне зимы, был разгар таких работенок,— но подспудно руководило желание оттянуть неприятное, авось минует. Не миновало! Ширейко после семинара спросил: «Говорили?» Глебов сделал вид, что не понял: «С кем?» — «Да с вашим руководителем диплома. С будущим тестем».— «Ах да! Нет еще. Пока не говорил. Не было случая».— «Вы уж найдите случай, пожалуйста,— сказал Ширейко холодновато.— Нам надо куда-то вас записывать, туда или сюда».

И черт его знает, что этот аспирант себе позволял! Глебов встревожился, поняв, что настроение какое-то чересчур неуступчивое и «само собой» не пройдет. Звонила Соня. Что случилось? Куда пропал? Он объяснил как есть: зарабатывал деньги. Она взволновалась: «Ты не очень надрывался? Ты не заболел?» Вечером Глебов пришел к ней и все рассказал про Друзяева и Ширейко. Ничего глупее придумать было нельзя. На какую помощь он рассчитывал? Она растерялась, замкнулась, твердила одно:

— Как хочешь, как считаешь нужным...

И тогда он впервые заметил тот ее взгляд — полный изумления.

— Может, мне не надо было тебе говорить? — спросил он.

— Может, и не надо было.— И опять рассматривала его, улыбаясь и с изумлением.— Тут западня. На твоем месте я бы им ответила, знаешь, как?

— Как?

— Я бы сказала: послушайте, ведь это ужасно неделикатно! Вы не находите, что это неделикатно?

— Я пытался их вразумить,— соврал он.

— Откуда стало известно? Почему об этом говорят? — Голос ее дрожал, на глазах появились слезы. Он порывнулся обнять ее, но она легко и гибко, необычным для себя кокетливым движением отстранилась от его руки.— А то, что случилось с нами, касается только нас двоих.

— Честно, я был обескуражен... Я объяснял,— бормотал Глебов, продолжая врать,— о том, что бестактность...

— Ты объяснял? Сказал, что досужие вымыслы? — Соня вновь улыбнулась.— Я говорю, тут замечательная западня! Нет, Дима, все это кошмар. Не надо впутывать в наши отношения отца. У мамы тоже сейчас неприятности: ее вызывал Дороднов и сказал, что ей надо сдавать экзамены. Чтобы получить диплом советского вуза и иметь право преподавать. У нее диплом Венского университета. Она двадцать лет преподает. Смешно, правда? — Соня взяла его за руку.— Дима, я хочу тебе сказать: ты абсолютно свободен. Делай так, как тебе нужно. И, ради бога, никаких насильственных поступков... Ты понимаешь меня?

Он угрюмо кивнул. За ужином Юлия Михайловна, крайне возбужденная, рассказывала о разговоре с Дородновым. О том, как Дороднов был учтив и любезен, как складывал губы сердечком, называл ее «милая Юлия Михайловна» и вообще изображал дело так, будто сам он не имеет к этой интриге никакого отношения. Будто некие люди, бюрократы, лица и имени не имеющие, требуют соблюдения формальностей. Опять формальности! Дороднов сокрушался, извинялся. Но, когда Юлия Михайловна заметила, что хотя Сима, другая преподавательница, законспектировала всю подряд «Диалектику природы» Энгельса, она все равно знает немецкий много хуже, чем Юлия Михайловна, и так это останется на

веки вечные, Дороднов вдруг округлил глаза и руками всплеснул: «Юлия Михайловна, неужто вы отрицаете тот факт, что язык — явление классовое?» Юлия Михайловна смеялась, рассказывая. Ганчук тоже то смеялся, то хмурил брови. Ни о чем другом, кроме этой анекдотической новости насчет сдачи экзаменов, за столом не говорили. Было много шума, предположений, догадок, смеха, Юлия Михайловна обнаружила актерский дар и комично пародировала Дороднова, Куник рассказывал о каких-то историях, случившихся в академическом институте, сестра Юлии Михайловны Эльфрида Михайловна, тетя Элли, как называла ее Соня, совсем непохожая на сестру, полная, самоуверенная дама, крашеная блондинка, громко и возмущенно обличала бюрократизм. Эльфрида Михайловна была журналисткой, работала на радио. Она напомнила слова Ленина о том, что борьба с бюрократизмом потребует десятилетий. Что для успеха этой борьбы нужна поголовная грамотность, поголовная культурность. И что бюрократизм, конечно, есть проявление мелкобуржуазной стихии, о чем забывать нельзя. В присутствии Ганчука тетя Элли говорила поучительным, категорическим тоном, как будто профессором была она, а не он. Вообще эта женщина была Глебову несимпатична, может быть, потому, что — он чувствовал — и он был чем-то несимпатичен ей. Он платил людям той же монетой. В ней был снобизм. Она иногда не замечала его приветствий или же едва кивала с подлым высокомерием. В ее манере было перебивать его за столом. А что уж так зазнаваться? Неудачная публицистка, липовая международница. Его не примиряло с тетей Элли даже то, что та считалась семейным героем: две недели работала корреспондентом в Барселоне во время войны. Потом за что-то отозвали. Вероятно, за глупость. Тетя Элли спросила: «Интересно, какого происхождения этот ваш Дороднов? Готова держать пари, что не пролетарского».

Юлия Михайловна сказала, что про Дороднова не знает, но про Друзяева известно точно: он сын мельника. «Voilà! Прикрываются марксистскими фразами, а попробуй их поскреби...» Но Ганчук сказал, чтоб не обольщались: Дороднов неплохого происхождения. Он из семьи железнодорожника. Все не так просто, дорогие мои. «А ты не ошибаешься?» — упорствовала тетя Элли. К концу ужина все немного успокоились, смехотворность эпизода с Дородновым была исчерпана, и

Юлия Михайловна с тетей Элли сели за пианино и играли в четыре руки. Ганчук с Куником ушли в кабинет работать.

И все-таки Соня была совсем другая! Она все видела иначе, не так, как родные. И втихомолку подшучивала над ними. Вдруг сообщила Глебову шепотом: «А знаешь, кем был отец моей мамы и тети Элли? Сыном венского банкира, правда, разорившегося...»

Кажется, она одна замечала смешное в том, что смеялись над Дородновым, и в ее улыбке была грусть.

Поздно, когда выходил из Сониной комнаты, шел через темную столовую, он увидел, как сестры — одна хрупкая, тонконогая, другая полная, задастая, с маленькой головкой, как баба на чайник — стояли, обнявшись и покрывшись одной шалью, у окна, смотрели на россыпь огней внизу и что-то пели негромко, покачиваясь, очень красиво.

И еще помню, как уезжали из того дома на набережной. Дождливый октябрь, запах нафталина и пыли, коридор завален связками книг, узлами, чемоданами, мешками, свертками. Надо сносить всю эту хурду-мурду с пятого этажа вниз. Ребята пришли помогать. Какой-то человек спрашивает у лифтера: «Это чья такая хурда-мурда?» Лифтер отвечает: «Да это с пятого». Он не называет фамилии, не кивает на меня, хотя я стою рядом, он знает меня прекрасно, просто так: «С пятого».— «А куда их?» — «Да кто знает. Вроде, говорят, куда-то к заставе». И опять мог бы спросить у меня, я бы ему ответил, но не спрашивает. Я для него уже как бы не существую. Те, кто уезжает из этого дома, перестают существовать. Меня гнетет стыд. Мне кажется, стыдно выворачивать перед всеми, на улице, жалкие внутренности нашей жизни! Мебель в громадной квартире казенная, она вся остается. Пианино мы продали год назад. Ковры тоже продали. Но я так привык к этим столам, стульям с жестяными инвентарными номерами, к тяжелым квадратным креслам и диванам, обитым шершавой тканью с запахом дезинфекции! К дверям с матовым зернистым стеклом в мелком переплете и к обоям, которые теперь, после того как сняты фотографии — с пятнами невыгоревшего цвета,— приобрели какой-то грязноватый и голый вид. Все это еще почти свое, но уже чужое. Я стою в нерешительности перед картой Испа-

нии. Брать, не брать? Семь месяцев назад пал Мадрид. Кончилась страстная забота, осыпались флажки. «Брать! — говорит Антон.— Она еще нам пригодится».— «Дай ее мне»,— говорит Вадька Батон, явившийся без приглашения. Он повсюду таскается за Антоном, как рыба-прилипала за акулой. Входит бабушка и говорит: «Если не возьмешь карту, я заверну в нее мясорубку». Нет, я возьму ее. Отдираю кнопки, снимаю карту и складываю ее в восемь раз, так что получается пухленькая брошюрка. Ее можно положить в карман пальто. Эта карта до сих пор среди моих книг на полке. Прошло много лет, я ни разу не развернул ее. Но то, что вобрало в себя так много страданий и страсти, пускай детских страданий и детской страсти, не может пропасть вовсе. Кому-нибудь все это да сгодится. Тогда, под дождичком, возле сложенной горкою хурды-мурды, в ожидании грузовика...

«А та квартира,— спрашивает Батон,— куда вы переедете, она какая?»

«Не знаю»,— говорю я.

Но я знаю, бабушка говорит, что место очень хорошее, рядом парк, много зелени, замечательный воздух. Правда, ездить бабушке на работу будет далеко. Сначала трамваем до заставы, потом автобусом, всего около часа. Но хорошо то, говорит бабушка, что в трамвай и в автобус она будет садиться на конечных станциях, в пустые вагоны. Мы будем жить в одной маленькой комнате в общей квартире. Комната на солнечную сторону и во двор. «Очень хорошая комната!» — говорит бабушка. Всего этого не хочется рассказывать Батону. Нет настроения говорить с ним. Если б он знал, как тяжело у меня на душе! Вот они прибежали, дурачатся, шутят, помогают носить вещи, у них прекрасное настроение, и неужели они не догадываются, что мы видимся, может быть, в последний раз? Им хорошо, они остаются вместе. А я — в неизвестную жизнь, к неведомым людям. Где я встречу таких товарищей: ученых, как Антон, остроумных, как Химиус, и добрых, как Ярик? И еще самое главное. Самое-пресамое главное и тайное. Где еще я встречу такого человека, как Соня? Да, разумеется, нигде на целом свете. Бесцельно даже искать и на что-то надеяться. Конечно, есть люди, может быть, красивее Сони, у них длинные косы, голубые глаза, какие-нибудь особенные ресницы, но все это ерунда. Потому что они Соне в подметки не годятся. Проходят ми-

нуты, день смеркается, скоро подъедет грузовик, а Сони нет. Ведь всем известно, что сегодня наступает разлука. Почему же хоть на секунду, хоть оттуда, издалека? Но нет, нет и нет. Батон спрашивает: «Сколько комнат? Три или четыре?» — «Одна»,— говорю я.— «И без лифта? Пешком будешь ходить?» Ему так приятно спрашивать, что он не может скрыть улыбку.

Вдруг вижу, она появляется там, в глубине двора, под бетонной аркой. Быстро, быстро, огибая черный и мокрый двор, бежит сюда, к подъезду. Подбежала, спрашивает, задыхаясь: «Еще не уехали? Вот хорошо! А это тебе... на память...» — сует мне что-то завернутое в газету, похожее на книгу. И смотрит весело не на меня, а на всех, на всех.

Дорожные шахматы. С дырочками, чтобы втыкать фигурки. Я видел такие у нее дома. Но сейчас меня ничто не радует. Ведь мы расстаемся. На всю жизнь, навеки! Почему не понимают, как это страшно: навеки? Я не могу вымолвить ни слова, смотрю на бледное, немного веснушчатое лицо, вижу, как оно улыбается добрыми губами, добрым взглядом близоруких глаз, в которых нет ничего, кроме веселого спокойствия, сочувствия, теплоты — для всех...

«Ну, до свидания»,— говорю я, протягивая ей руку. Подъехал грузовик. Мне кричат. Бабушка суетится, раздражается. Мы забрасываем в кузов хурду-мурду. Бабушка садится рядом с шофером, а мы с сестрой перелезаем через борт и устраиваемся на вещах. Сестра прижимает к груди кота Барсика. Дождь, слава богу, еще льет, поэтому двор пуст, никто не видит, как мы уезжаем. Только лифтер в черной фуражке вышел из подъезда, стоит, заложив руки за спину, и смотрит не на меня, не на сестру, а на грузовик и едва заметно кивает: то ли прощается с нами, то ли задумался о чем-то и кивает собственным мыслям, то ли радуется: наконец-то! Отъезжает асфальтированный, темный от дождя двор, где прошла моя жизнь. Я вижу товарищей этой исчезнувшей жизни, они машут руками, их лица теперь не кажутся веселыми, но они и не очень грустны, а девочка улыбается кому-то. Я догадываюсь, она улыбается тому, ради которого пришла провожать меня.

Это было, как на сказочном распутье: прямо пойдешь — голову сложишь, налево пойдешь — коня потеряешь, направо — тоже какая-то гибель. Впрочем, в некоторых сказках: направо пойдешь — клад найдешь. Гле-

бов относился к особой породе богатырей: готов был топтаться на распутье до последней возможности, до той конечной секундочки, когда падают замертво от изнеможения. Богатырь-выжидатель, богатырь — тянульщик резины. Из тех, кто сам ни на что не решается, а предоставляет решать коню. Что это было — ленивое легкомыслие и упование на «кривую, которая вывезет», или же растерянность перед жизнью, что постоянно, изо дня в день подсовывает большие и малые распутья? Теперь, когда прошло столько лет и видны все дороги и тропки как на ладони, ветвившиеся с того затуманенного далью, забытого перекрестья, проступает какой-то странный и полувнятный рисунок, о котором в тогдашнюю пору было не догадаться. Вот так в песках пустыни открывают давно сгибшие и схороненные под барханами города: по контурам, видимым лишь с большой высоты, с самолета. Многое завеяно песком, запорошено намертво. Но то, что казалось тогда очевидностью и простотой, теперь открывается вдруг новому взору, виден скелет поступков, его костяной рисунок — это рисунок страха. Чего было бояться в ту пору глупоглазой юности? Невозможно понять, нельзя объяснить. Через тридцать лет ни до чего не дорыться. Но проступает скелет... Они катили бочку на Ганчука. И ничего больше. Абсолютно ничего! И был страх — совершенно ничтожный, слепой, бесформенный, как существо, рожденное в темном подполье,— страх неизвестно чего, поступить вопреки, встать наперекор. И было это так глубоко, за столькими перегородками, под такими густыми слоями, что вроде и не было ничего похожего.

Вроде просто непонимание, просто отсутствие любви, просто легкомыслая дурость. Левка Шулепников в перерыве хоккейного матча на стадионе, куда Глебов нарочно приехал с ним повидаться — разболтал, сволочь, так теперь помогай, советуй,— сказал вдруг со злостью: «Да не нужен тебе Ганчук вообще!» — «Почему же не нужен?» А где-то внизу, подслойно, уже слабо шевелилась догадка. Разумеется же, не нужен. Шулепников рубил сплеча: «Да потому и не нужен, что я тебе говорю! Ты меня слушай, балда!» А он отбрасывал, не желал слушать. Искал Левку, чтобы что-то узнать, и не хотел узнавать. Вот чем он морочил себя и что казалось ему бесконечно важнее всего: может ли человек точно знать о себе, любит он или нет? Почему-то о другом человеке знал твердо: любит. Тут была полная уверенность. Но

о себе? Это требовалось понять, было жизненно необходимо, ибо стоял на распутье. Иногда казалось, что привязан по-настоящему, что это серьезно, без дураков, что он скучает, если не видит день или два, а иногда вдруг ловил себя на том, что не вспоминает целый вечер. И, когда внезапно как бы опамятовался и вспоминал, ощущал укол самоукоризны, как нашкодивший школьник: «Что же я так? Ведь это нехорошо!» Но тут же могло нахлынуть почти страстное желание увидеть скорей, и он звонил, мчался, уславливался, придумывал, как устроить свидание. В ту зиму появился друг Павлик Дембо, осветитель с киностудии, который давал ключ от квартиры в Харитоньевском переулке. Ездить для свиданий в Брусково, на что уходило так много сил и часов, теперь было необязательно. Да у него, наверное, в эту вторую зиму не хватило бы на Брусково пыла. Все-таки ужас как тяжко было мотаться. И занимало почти всегда день, чаще всего с ночевкой. А в Харитоньевском дело обходилось двумя часами. Правда, в Брускове все было иначе. Там его не мучили сомнения: что же с ним происходит? В Харитоньевском, в паршивенькой темной комнате Павлика, где всегда пахло едой, борщом — внизу помещалась столовая, запахи сочились сквозь доски пола, а иногда в столовой принимались морить тараканов, тогда пахло дезинфекцией и грозило тараканье нашествие,— в этой чужой холостяцкой берлоге Глебов испытал первые приступы неуверенности в себе, непонимания себя или же, попросту говоря, послелюбовной тоски. Вдруг становились неприятны ласки, прикосновения, даже простые слова, он отодвигался, мрачнел — мрачность была совершенно непобедима, охватывала помимо воли — и думал в тоске: «Разве любовь может пропасть вот так, в одну секунду? Значит, тут не любовь. Тут другое». Конечно, он был дураком, мальчишкой, но ведь в чем-то важном, когда стремился до этого важного докопаться, он дураком не был. Кого терзает загадка: истинна ли любовь? Большинство пытаются разгадать это в других. А Глебов упорно вел следствие о себе самом, ибо хотя не знал на опыте, но догадывался или же читал в какой-то умной книге: нет коварней союза, основанного псевдолюбовью. Тут будут несчастья, гибель или же пресное, тягучее прозябание, которое и жизнью не назовешь. Но вот как разгадать? Его тревожило одно тайное, стыдное. В Харитоньевском бывало иногда не так хорошо, как в Брускове. Он иногда не доплывал

до берега. Несмотря на долгие, изнурительные старания. Соня не понимала, что с ним происходит, едва не плакала от жалости к нему. Ей казалось, что она виновата. Всегда во всем она винила себя. «Тебе нужна другая женщина!» Он, конечно, горячо возражал, но глубиной души соглашался: может быть...

Но может быть, и нет! Бывали и другие часы в Харитоньевском переулке. Вот в чем сомнений не было — в ее любви, в ее доброте. Тогда ему, глупцу, этих даров казалось мало. И был еще дар: неумение таить ни мыслей, ни чувств, никаких движений души. О, с другими она умела лукавить! Но лишь для того, чтобы с ним наслаждаться беспощаднейшей откровенностью. Однажды рассказала, как она и Куник чуть не сошли с ума. И как она его обидела. Ей было восемнадцать, лето в Брускове, конец войны, электрички ходили с перебоями, и они оказались на даче вдвоем. Ночью была гроза, молнии разрывались рядом, все вокруг трещало, на веранде полопались стекла и заливало ливнем. Она боится грозы, становится как полоумная, и вот в таком состоянии помрачения ума бросилась к нему в комнату, он спал, ведь он глуховат, не слышал грома, стал ее успокаивать, закутывал, обнимал, укладывал на диван и сам обезумел от другого. Сквозь страх, от которого ее колотило, как в ознобе, она вдруг поняла, что этот человек помешался. Он лепетал вздор, почему-то одно и то же: «Твоя мама и моя мама...» Не было сил кричать, не было сил шевельнуть пальцем, грохот грозы оледенил ее, а у него не было сил бороться с собой. Его согнуло и распластало. Он подползал на четвереньках и хотел взобраться на диван с пола, снизу. Ощущение было, как в тягучем сне: всякое движение требует невероятных усилий. Когда уж дышал рядом и обхватил, оттолкнула его, он слетел на пол и молча отполз, как побитая собака. Непередаваемое мучительство: то, что испытываешь после удара человека по лицу! Тем более доброго, слабого, близкого человека, вина которого лишь в том, что он сошел с ума. Она страдала, не знала, что делать, как загладить этот ужас. А что он-то должен был ощущать? От жалости к нему и от мук совести она была готова на все... Но, конечно, ни утром, никогда потом не говорили об этой ночи, будто ее и не было.

«Что ж ты молчишь?» — спросила Соня и стала целовать Глебова. Он молчал оттого, что был несколько ошеломлен рассказом, но не настолько, чтоб говорить об

этом. «А что я должен? Вызвать на дуэль?» Она вдруг тихонько и как-то сквозь улыбку заплакала: «Нет, нет! Никогда, ни за что... Просто я никому не рассказывала, только тебе...»

Для нее рассказать об этом — в общем-то, о безделице, ведь ничего не произошло — было подвигом, очищением. Ни крупицы не хотела от него скрыть. Да и что уж скрывать! Ни малости не затаилось к двадцати двум годам, полудетские дружбы, чужие страдания, загадочный опыт подруг, искавших с нею поделиться и посоветоваться. Она советовала. Но, когда обрушилось на нее, она молчок, никому ни слова. Фифы-однокурсницы, когда-то лепившиеся к этому дому, к шуму, к доброте, к тортам из академического распределителя, теперь исчезли из обихода. Ни одна не была ей теперь нужна. И вовсе не из черствости, ревности или самолюбивой жадобы, а просто все ее существо было полно им, ни для кого иного не открывалось места. Как же можно было такую девушку сделать несчастной? Ей грозило страшное: любовь без любви...

Но надо всем этим мучившим душу нагромождением тайно светился — тогда невидимый, теперь же обрел рисунок — невзрачный скелетик, обозначавший страх. Вот ведь что было истинное. Ну, это потом, потом! Проходят десятилетия, и, когда уже все давно смыто, погребено, ничего не понять, требуется эксгумация, никто этим адским раскопом заниматься не будет, внезапно из темноты, серой, как грифель, выступает скелет.

Было сказано: «В четверг прийти и выступить!»

Когда он, мгновенно сообразив, дернулся было что-то врать насчет того, что кто-то у него дома болен, его прервали тремя словами: более чем обязательно. Тогда понял, что совершил ошибку, не надо было заранее отказываться, ссылаясь на чью-то болезнь, потому что — если более чем обязательно — принимают меры, вызывают родственников, сиделку, а вот если хворь, будь она неладна, грянет внезапно, допустим, в среду... Но исправить было нельзя. Он сказал, что придет непременно, хотя ни секунды в это не верил. В общем-то, для него это было исключено. «Вы должны не просто прийти, но выступить! — была сделана твердая поправка.— Повторить вкратце хотя бы то, что говорили нам. Ничего основательного от вас не требуется... Несколько реальных подробностей, но необходимо... Без этого у нас ничего не склеится...»

Эта фраза всадилась в сознание гвоздем. Много часов он раздумывал над ней, повторял ее мысленно с той интонацией, с какой произнес Друзяев, старался понять: была тут угроза или констатация, относилась ли эта фраза к нему, к Ганчуку или к администрации? У кого «ничего не склеится»? А несколько дней назад в разговоре с Друзяевым и Ширейко — эти два были главные толкальщики бочки, остальные преподаватели подчинялись неуверенно или даже втайне ропща — он обмолвился насчет несчастных бюстиков, стоявших на верху книжного шкафа в кабинете Ганчука. Друзяев попросил добродушно, с милой, располагающей улыбкой: «Вадим, опишите, пожалуйста, если можете, кабинет Николая Васильевича. Какие книги, какие картины на стенах, фотографии?» Это был своего рода словесный обыск, как бывает словесный портрет. Он решил не называть некоторых книг и фотографий, которые ему запомнились, например, фотографию Ганчука вместе с Демьяном Бедным в гражданскую войну, оба в буденновских шлемах, и фотографию Лозовского с надписью. Тогда Лозовский был еще в полном порядке, но Глебов проявил осмотрительность. А вот о гипсовых бюстиках, стоявших в солдатском строю под потолком, он упомянул как о детали полуанекдотической. Однако аспирант Ширейко посуровел и жестким голосом спросил: «Интересно, каких философов держит профессор Ганчук на своем книжном шкафу?» Глебов не помнил всех, там было бюстиков восемь. Помнил Платона, Аристотеля и еще, кажется, Канта и Шопенгауэра, кого-то из немцев. «А философов материалистического направления не помните?» Глебов вспоминал, напрягаясь. Кажется, там был еще Спиноза, но это не наверняка. «Ну, Борух Спиноза! Разумеется,— сказал Ширейко.— Но Спиноза не истинный материалист. А вот античных материалистов Демокрита, Гераклита не помните? Может быть, французы? А Гегель? Людвиг Фейербах?» Глебов уже догадался, что глупо всунулся с бюстиками, они могут вытянуть отсюда черт знает что, поэтому стал твердить: не помнит, не знает. Может быть, есть, кажется, есть. Потом расспрашивали о том, как осуществляется руководство дипломом, какие даются советы, замечания, рекомендации. Нет ли в методологии отголосков старых грешков? В частности, например, переверзевщины? Глебов решительно отметал. Но те наседали. Недоучет борьбы классов? Переучет подсознательного? Замаски-

рованный меньшевизм? От чугунов, что норовили навесить, он судорожно отбивался, понимая, что, коли уж навесят, зашатаешься. С профессором вместе. Но ведь когда человек страшно жаждет услышать нечто, бывает трудно не пойти навстречу полшага, не выдавить хотя бы частицу нечто. «Глебов, вы себе противоречите. Вы же только что говорили...» — «Ну, в какой-то степени... Самой минимальной... Я не придавал значечения...»

Прощаясь, Друзяев полушутя, посмеиваясь — он все время то супил брови по-прокурорски, то улыбался, похмыкивал, тогда как Ширейко, не расслабляясь ни секундой, буравил стальным оком,— попросил все же ради хохмы уточнить насчет бюстиков, кто там поименно. Глебов пообещал, думая про себя: вот вздор! Кретинизм высшей марки. Чего они хотят из этих бюстиков выжать? Дела у них, значит, неважнец, если на такое «фуфло» кидаются. «Фуфло» — словечко Паши Дембо, из игроцкого, бегового жаргона, означавшее — пустышка, чепуха. Ширейко вдруг жестким голосом: «Хочу с вами поспорить, Викентий Владимирович. Нужно не ради хохмы, а ради истины, чтоб узнать, каковы истинные кумиры. Тут не праздное любопытство, а реальное дело». И Друзяев, зав учебной частью, почему-то затормошился, заерзал перед аспирантом: «Нет, нет! Конечно, Юрий Северьяныч! Я полностью разделяю...»

Глебов пугался, слушая, и одновременно его разбирал смех. Кумиры! С важностью говорят о ерунде. Да с них пыль двадцать лет не смахивали, с кумиров этих. Торчат там, на верхотуре, и понять нельзя, кто есть кто. Ну ладно, если так интересуетесь, он узнает.

Потом было чаепитие у Ганчука. Старик легким голосом спросил: верно ли сказали в ректорате, будто он, Глебов, хочет менять руководителя диплома?

— Что, что? — переспросила Юлия Михайловна в изумлении.— Дима хочет менять руководителя диплома? То есть тебя? Это замечательно! — Она засмеялась.

— Меня это тоже развеселило.

— Главное, он удачно выбрал время.

— Да, время выбрано — лучше нельзя. Кстати, в субботу или в воскресенье появится статья Ширейко — ты его не знаешь, это наш аспирант, проходимец — под названием «Беспринципность как принцип». Мои люди мне сообщили. Целый подвал.

— О ком это? — Юлия Михайловна с выражением ужаса на лице прикрыла ладонью рот.

— Ну, не только обо мне, но я там главная фигура. Ферзь! Фигура, конечно же, дутая и, что особенно отвратительно, беспринципная.

— Ой...— стонала Юлия Михайловна.

Соня, побелев, смотрела пожирающим взором на Глебова, а Глебов застыл, не мог ни двинуться, ни вымолвить слово.

— Не знаю подробностей, ведь я не читал. Там что-то насчет неизжитого меньшевизма, что меня удивило, потому что я как раз всю жизнь с меньшевизмом боролся. Тут вышла неувязочка. Надо было хоть чуть-чуть поинтересоваться моей биографией. Но в общем и целом...

— Почему вы молчите, Дима? — вскрикнула Юлия Михайловна и стукнула ладошкой по столу.

— Я не знаю... Пусть Соня скажет...— пробормотал Глебов, вставая из-за стола. Он ушел в Сонину комнату, почти убежал.

Сони не было долго. Он ходил по комнате из угла в угол, от одной этажерки до другой, нещадно курил, клял себя за то, что не объяснился с Ганчуком загодя, и злобствовал против Друзяева. Эту пакость — преждевременно объявить ничего не подозревающему Ганчуку — те сделали нарочно. Чтоб его, Глебова, подтолкнуть к решению и заодно разорвать его отношения с Ганчуком. А что, если шиш? Упереться, ухватиться за что-то? На каком основании? Кто дал право?

Вбежала Соня, бросилась к нему.

— Дима! У тебя очень плохой вид! — Стремительно положила руку ему на плечо. Это был такой школьный, пионерский ободряющий жест.— Как ты себя чувствуешь? Ты бледен. Я им все, все объяснила...— Смотрела на него с испугом, а он был поражен ее видом, ее неживой белизной и тем, как дрожала рука на его плече.— Папа понял сразу. Мама сначала не поняла, но потом тоже поняла и сказала: «Ну что ж, возможно, он прав...»

— А что ты им сказала? Про нас?

— Да. Я все сказала. И про тот разговор, про гнусную западню, как ты со мной советовался, а я не могла — нет, не хотела — тебе ничего советовать...

Потом возник багроволицый и несколько растерянный Ганчук.

— Понял, прощаю... Впрочем, не буду болтать, по-

нять и значит простить... Но впредь о таких вещах хотелось бы заблаговременно...

Обнял Глебова, похлопывал по спине. Соня вытирала глаза. Все трое были взволнованны. Но каждый посвоему. Ганчук предложил выпить по рюмке кагору, он всегда держал в буфете бутылку этого приторно сладкого напитка, говорил, что его дед, отец покойной мамы, деревенский священник, любил это вино, называемое церковным, и маме передал пристрастие, так что кагор напоминает ему детство, черниговскую захолустную улочку, запахи комода, деревянных полов, коровий мык по вечерам, золотые шары под окнами, и, хотя Глебов терпеть не мог этой дряни, он, конечно, согласился.

Вернулись в большую комнату, сказали Юлии Михайловне, которая неловкими ручками убирала стол после чая — Васена рано ложилась спать, вечерние трапезы обходились без нее,— что все хотят немедленно выпить кагору, на что Юлия Михайловна, не прекращая возни, ответила, что у нее очень сильная Kopfschmerz. После этого она ушла с подносом, полным грязной посуды, и больше не появлялась. Может, и в самом деле ее мучила Kopfschmerz. На Глебова она не посмотрела ни разу, и вообще было странно, будто Соня ей ничего не сказала и она ничего не знает.

Ганчук объяснял — теперь уже как своему человеку,— отчего разразилась вся эта кампания против него. Такого оборота не ожидал никто. Конечно, повод был: он защищал Аструга, Родичевского и некоторых иных, кого критиковали в недопустимой форме. Когда людей незаслуженно унижают, он не может стоять в сторонке и молчать. А Дороднов — имейте в виду, он мотор всей этой затеи, остальные только шкивы и колесики — как раз надеялся на то, что он будет безмолвствовать, как олимпиец. Ведь он олимпиец, членкор! Но выдержки не хватило. Впрочем, на то был расчет: чтоб его спровоцировать. Да, ввязался, писал письма, ходил по этому вопросу в инстанции... Словом, открылась война... А как же иначе? Боря Аструг — его ученик, Родичевский — большой талант, божьей милостью... Не надеялся восстановить их на работе, да они уж никогда сюда не вернутся, но хотя бы смыть клеймо: низкопоклонники, безродные, такие-сякие, галиматья полная. Боря Аструг всю войну прошел, боевой офицер, ордена заслужил — каков низкопоклонник! Ну, ошибки, заблуждения, у Аструга, скажем, в книге о Горьком методологические ляп-

сусы, ну и что? У кого их нет? У того же Дороднова — такие вавилоны нагромоздил в книге о романтизме! А книга пустейшая. Все натаскано. Но ведь не враги. Он знает, что такое рубать врагов. Рука не дрожала, когда революция приказывала — бей! В Чернигове, до того как пойти на учебу, работал в отряде особого назначения Губчека. Ганчук — это звучало страшновато для врагов. Потому что ни колебаний, ни жалости. И, когда однажды отец, тогда уже совсем больной, просил за одного попа — того заподозрили в связях с бандой,— Ганчук ему отказал, враг был раздавлен вкупе с бандитами, волк в овечьей шкуре, на его совести была кровь красноармейцев, а с родным отцом вышла смертельная ссора до конца жизни старика. Вот как решались тогда вопросы. А тут? Кого собрался уничтожать товарищ Дороднов? Так вот, причины гораздо глубже. И опять поражаешься гениальности Маркса, который в каждом явлении, каждом факте жизни умел увидеть диалектическую и классовую сущность. Именно этому, милый Дима, вам следует учиться, чтобы твердо стоять на ногах. В двадцатых годах Дороднову попадало крепко, он был попутчик, разумеется, беспартийный, сочинял какую-то труху в духе смены вех, словом, типический мелкобуржуазный элемент, слегка закамуфлированный в духе времени, когда плодились всякого рода кооперативные и частные издательства, группки, журнальчики с невнятными платформами, и вот тогда мы его не добили! Он уполз, перекрасился, растворился, как многие, для того, чтобы теперь выплыть в новом качестве. Анекдот: он меня учит марксизму! Недопеченный гимназистик со скрытой то ли кадетской, то ли нововременской психологией обвиняет меня в недооценке роли классовой борьбы... Да пусть молится богу, что не попался мне в руки в двадцатом году, я бы его разменял как контрика! Вот кардинальнейшая ошибка: мелкобуржуазная стихия недодавлена. Теперь, когда строй устоялся, когда позади великое испытание и настал час жатвы, они вылезли из разных нор, в разных обличьях — недобитки тех лет... Правда, они выглядят сугубо революционно, щеголяют цитатами из Маркса, из Владимира Ильича, выдают себя за строителей нового мира, но вся их суть — их вонючая буржуазность — вылезает наружу. Они хватают, хапают, нажираются, благоустраиваются и еще сводят счеты с теми, кто их лупил в двадцатых годах. Сволочь надеется взять реванш. Но ведь бездари, неучи! Не пони-

мают простой истины, что буржуазия ликвидирована как класс, что ей нет и не будет места на русской земле. Между прочим, Соня сообщила нам о некоем важном решении. Это действительно имеет место? План революционного преобразования семьи Ганчуков? В таком случае еще по рюмке за это хорошее дело...

— Юлия! Иди сюда, тебя требует молодежь! — громко звал Николай Васильевич, взвинченный разговором, вином и тем, что жена проявляла какое-то неясное неудовольствие.

Он не мог понять, что происходит с ней, хотя бы потому, что Сонино сообщение само по себе не произвело на него особого впечатления. Другое терзало его пылающий мозг: газеты, друзья, враги, академия, книги, прошлое. И еще старость и близкая смерть... Лицо его, недавно в багровых пятнах смятения, теперь покрывал ровный и густо-розовый румянец от выпитого вина, такой цвет бывает у марципановых яблочек, которые вешают на елку. Юлия Михайловна все еще одолевала Kopfschmerz. Соня смотрела на Глебова счастливыми глазами. Глебов под руку повел Ганчука в кабинет — тот хотел показать какой-то альбом времен гражданской войны. «Я вам покажу мальчика, у которого была оч-чень тяжелая лапа! И я бы вам не советовал — слышите, Дима? — попадаться тому мальчику на глаза. Ой, как он не любил ученых молодых людей в очках! Он их рубал сразу — ха-ха! — не спрашивал, кто папа, кто мама!»

Глебов вспомнил, что ему тоже кое-что нужно в кабинете — посмотреть на эти проклятые бюстики.

«Более чем обязательно,— сказал Друзяев.— В четверг, послезавтра». Еще он сказал именно тогда же, в тот разговор — и это было слитно, не разодрать, как два разноцветных куска пластилина, скатанных в шар или в одну мягкую липкую колбасу, если раскатывать шар между ладонями, ощутил вдруг слабость и покорность детства, когда чужие руки берут тебя, как кусок пластилина, и мнут, стискивают, сжимают, плющат, делают из тебя что хотят,— он сказал как бы между прочим, в придаточном предложении, в той же фразе, что и насчет четверга: есть предварительное решение о стипендии Грибоедова. Ему, Глебову. По результатам зимней сессии. И Глебов промолчал, не отозвался, подхватывая ту же игру — будто случайно оброненная новость есть и в самом деле пустяк, не стоящий внимания,— хотя все внутри обдало мгновенным жаром.

Стипендия Грибоедова! Пускай последние месяцы, все равно благо. Тут же сообразил, что не денежный приварок важен, а моральный импульс — вперед и вверх. Но в новости была боль — в другую секунду пришло печальное понимание,— ибо оно плотно слиплось с четвергом, одно от другого неотъемно. Или все вместе, комом, или же ничего.

«Но ведь немыслимо — прийти и выступить!» В тот же вечер — к Шулепникову. Опять безумная надежда на Левкино могущество, не поколебленная с детских лет. Что он мог сделать? Как повлиять? Глебову представлялось, что стоит, например, Левке — ну, не самому Левке, его отцу, отчиму — сказать институтской администрации: «Не мучайте Глебова!» — и те от него отстанут. В самом деле, сколько можно? Есть предел человеческих сил. Сначала переменить руководителя диплома. Потом рассказать о переверзевщине, о том о сем. Потом — что у него на книжном шкафу. И он этой гадостью занимался, соглашался, рассказывал. Так все им мало, еще тебе задание: прийти и выступить. Ну, не через край ли?

Левка слушал вроде сочувственно, хмыкал, кивал головой, а сам крутил ручки невиданного еще аппарата — телевизора. В маленьком беловатом оконце что-то смутно мелькало, дергалось, кусками доносилось пение: передавали оперу из Большого театра. Во всей Москве, говорили, таких телевизоров всего семьдесят пять штук. Левка был поглощен новой забавой, сердился, чертыхался, изображение портилось, тут же сидели его мать и тетушка, пришедшие на сеанс, и нужного разговора не получалось. Но другой возможности не было. Глебов все валил в открытую, при женщинах. Мать Левки сказала с горячностью:

— Лев, ты должен непременно Диме помочь!

— Ты считаешь?

— Да, считаю! Я Соню хорошо помню, она очень милая. Отца ее я не знаю. Но что за бред — так издеваться над чувствами молодых людей...

— А, тоже мне чувства...— Левка махнул рукой.

— Конечно, тебе этого не понять! — насмешливо и с еще большим напором произнесла Алина Федоровна.— Для человека, который лишен музыкального слуха, всякая музыка — шум.

— Аля, не волнуйся, пожалуйста,— сказала Левкина тетушка.

— Ты пришла в театр или на митинг? — спросил Левка.

— Да что с тобой говорить! — Алина Федоровна сделала резкий взмах рукой, и это был совершенно тот же жест, что только что сделал ее сын. Помолчав, она прошептала, ни к кому не обращаясь: — Так испохабить собственную жизнь...

Окошко в телевизоре прояснело, стали видны фигуры певцов посередине сцены, и на некоторое время наступило молчание — смотрели на экран и слушали пение. Левка сидел перед телевизором на полу. Повернувшись к Глебову, он сказал весело:

— Видимость будет лучше, понял? Нужна другая антенна. Мне Ян достанет. Тут все дело в антенне.

— Лев, я повторяю, ты должен что-то сделать для Димы и Сони! — В голосе Алины Федоровны звучали запальчивость и раздражение. Глебову это не нравилось, он боялся, что Левка разозлится. Между ним и матерью вечно были какие-то раздоры.— Скажи, почему ты никогда не можешь ничего сделать для других? Ведь это неблагородно, Лев! Это очень низко. Нельзя быть таким махровым эгоистом. К тебе пришел старый товарищ, просит тебя о помощи...

— Да что я могу! — прорычал вдруг Левка.— Я кто, директор? Замминистра?

— Ты можешь. Мы знаем. Ты окружил себя таким количеством подлецов, что практически...

— Мать, полегче о моих друзьях! — Левка погрозил пальцем довольно беззлобно. Весь этот разговор был как-то ненатурален: мать нападала на него скорее по привычке, чем повинуясь порыву, а он слушал ее вполуха и оба заранее как бы соглашались на ничью.— Чего ты там суетишься, Батон? Я что-то не пойму...

Глебов повторил. Чтоб не мучили, не приставали. Могут ли во всей этой свистопляске обойтись без него? Неужели непременно надо человека унизить: нет, мол, голубчик, ты уж приди и выскажись, твое мнение очень ценно, потому что ты самый близкий профессору человек. А как потом? Как с Соней? Выскажись! Легко сказать. Язык-то не поворачивается. Это не «выскажись» называется, а «вымажись». Приди и вымажись.

— Ишь ты, какая чистюля! — вдруг со злобой ощерился Левка.— Другие пусть мажутся, а я в стороне постою, а? Так, что ли? Хорош гусь!

Глебов сказал, что у других нет таких отношений с этим семейством, им легче. Он понял, что Левка ничего не сделает, не захочет делать. Не надо было приходить сюда. Левка очень переменился. Мать права, стал чудовищно равнодушен ко всем. И оттого, наверно, эта внезапная и какая-то необъяснимая, животная злобность. Ну да, злобность как реакция на все мало-мальски неприятное, нежелательное, на то, что доставляет неудобство в жизни. Например, вот это: куда-то звонить, за кого-то просить. Левка продолжал в раздраженном тоне разглагольствовать о том, что ничего нет ужасного в том, чтобы выйти и сказать два слова с трибуны, если это нужно. Он сам будет выступать, хотя ему тоже неловко, ведь он знает Ганчука с детства, да и некогда, голова занята не тем. Его сейчас в один вояж готовят на полгода, сидит ночами английский пилит, вон книжки валяются, словари. Но если нужно выступить, значит, нужно, старик-то маразмирует, время его давно ушло, а он не чует, хорохорится вместо того, чтобы уступить место, и не хрена тут разводить китайские церемонии, а то хороши: и на елку сесть и задницу не поцарапать...

Когда он еще раз повторил:

— Сам буду выступать и уж врежу так врежу!

Глебов спросил:

— За что?

— Как за что? Да вот за беспринципность, за групповщину. И низкопоклонство там водилось.

— Брехня.

— Почему брехня? Докажу запросто.

— Да! Запросто! — заорал вдруг Глебов.— Ты ведь не жених Сони Ганчук, черт бы тебя взял!

— А ты жених? — Левка посмотрел лукаво, щуря красноватый глазок.— Отвечаю тыщей против рубля, что и ты нет... Заложимся, а?

— Лев! Что ты говоришь? Как тебе не совестно? — возмутились тетка и мать, не отрываясь от телевизора, где все еще что-то дергалось и мелькало. И Левка, разговаривая, время от времени подкручивал какие-то ручки.

— Я ухожу,— сказал Глебов, вставая.— Прощайте!

Но Левка живо вскочил и схватил Глебова за руку.

— Подожди! Сядь! Сейчас мы что-нибудь придумаем. Знаешь что? Давай-ка я позвоню Юрке Ширейко.

Тут же подошел к телефону и стал звонить. Разговор был поразительный, панибратский. Как далеко теперь

Левка ушел от Глебова: тот ничего не знал о его друзьях не то что в городе и окрестностях, но даже в институте.

— Что делаешь? Корпишь? Сидишь над картой-двухверсткой? Еще раз мозгуешь план генеральной битвы? А? — юродствовал Левка. Глебов содрогался заранее от того, что Левка таким гнусным тоном будет говорить о нем.— Слушай, кати сюда! Нам телеприемник привезли. По спецзаказу. Приезжай, посмотрим. Мы как раз сейчас запускаем. Оперу из ГАБТа... Да с Димкой Глебовым, твоим крестником. Он тебе привет шлет... спасибо, передам... Ну как? «Хванчкара» есть. Бате вчера прислали ящик... Нет? Никак? Не могешь или не хотишь? Ну, смотри, девка, тебе жить... Слушай-ка! Тут такой вопрос... Не хотелось по телефону, но коль ты так безумно занят...

— Не говори обо мне ничего! — зашипел Глебов, делая знаки руками.

Левка отмахнулся: сиди молчи.

— Тут вот какая проблема. В четверг собрание, так? Да, читали, конечно... Статья — сила! Очень сильная! — Подмигивал Глебову.— Мы как раз тут сидим, обсуждаем. Все правильно, все по делу... Точно, точно... Да, да, да... Правильно... Точно...

Оставив трубку на расстоянии вытянутой руки, цедил насмешливо:

— Наворотил мерзостей и еще требует комплиментов, скотина! Да, статья тебе удалась. Поздравляем. Статья чудесная. Так вот, как быть с Димой Глебовым? Ведь ему выступать неловко, сам понимаешь... Ну?.. Ну... Ну и что же? Вот и звоним, советуемся...

Затем были долгие и маловнятные междометия, затем Левка брякнул трубкой, сказал «пока!» и, вздохнув, сообщил:

— Чего-то ворчит на тебя... Никто, говорит, его силой на трибуну не тянет, пусть, говорит, целку из себя не строит... Чего, говорит, он бегает и всем жалуется?.. Зануда, говорит, твой Глебов...

Глебов молчал, подавленный. Только неприятности от этого звонка, как он и предчувствовал. Левка же чему-то самодовольно радовался, смотрел победителем и считал, что выручил Глебова из беды.

— Теперь ты вольный казак: можешь выступать, можешь не выступать, как хочешь. Хозяин — барин. И это я тебе устроил, понял? Он меня уважает, змей... Да они

только и живут оттого, что я их не трогаю! Сейчас принесу «хванчкару», сулгуни. Есть настоящий лаваш, из грузинского магазина. Кутеж двух князей!

Глебов не успел решить, идти ли ему домой, к Соне или же оставаться в этом суматошливом доме, как Левка появился, прижимая к груди четыре темные большие бутылки. Женщины уже стелили скатерть на круглый стол, звенели бокалами...

Оставалось два дня. Глебов все еще не знал, что он будет делать в четверг: и прийти, и не прийти было одинаково невозможно. Во вторник, после посещения Левки Шулепникова, которое окончилось ужасающим скандалом и загулом на всю ночь, он был смертельно разбит и просто не мог подняться и поехать в институт. Полдня приходил в себя, валяясь в своей комнатке мертвяком — притащился на рассвете, ничего не соображая, и так и рухнул, одетый,— а когда продрал зенки, увидел врача в белом халате. Врач пришел не к нему, а к бабушке. Баба Нила уже несколько дней болела тяжело, не вставала. Глебов сквозь гул и нестерпимое громыхание, будто кто-то перебирал над ухом листовое железо, услышал, как врач разговаривает с двоюродной сестрой Клавдией. «А если укол?» — спрашивала Клавдия, и лицо у нее было ненавидящее. Врач повторял гулко: «Хозин — барин!» Заголили руку, сделали укол. Уходя из комнаты, врач, довольно молодой и красивый, с розовыми щечками, посмотрел на Глебова внимательно и сказал: «Хозяин — барин». У Глебова все время сжималось сердце и холод прокатывался волной внутри тела. Клавдия села рядом, склонила белое злое лицо и прошептала: «Бабке плохо, я ночи не сплю, здесь дежурю, а ты,— в глазах ее были слезы,— являешься, как свинья... Где ты был? Как черт изгваздался, все в чистку...»

Ему было жаль Клавдию, та плакала, но он ничего не мог припомнить, объяснить и только, напрягши силы, прохрипел: «Хозяин — барин...» Потом понемногу стали возникать осколки вчерашнего. Все, что началось так мирно и по-домашнему, с мамой, тетей, белой скатертью и звоном бокалов, завершилось несуразной пьянкой неведомо где. В квартире с полукруглыми окнами, под крышей. Там был старинный граммофон с трубой. По коридору надо было ходить на цыпочках, кто-то постоянно падал, и его поднимали с хохотом. Одна женщина была блондинка, какая-то очень рыхлая, белая, по-

ристая, все спрашивала: «Сколько платят за диссертацию?» Когда сидели с тетей и мамой за круглым столом и пили «хванчкару», Левка вдруг быстро отяжелел. Глебов удивлялся: отчего так быстро? Его мать пила бокал за бокалом. Их лица делались все больше похожими. Сразу было видно, что мать и сын. У нее красновато сверкали маленькие птичьи глазки, и у него такие же красноватые, искрами. И уж они ругались, стучали друг на друга костяшками пальцев! Левка гремел: «А какое твое право так говорить? Кто ты такая? Ты самая обыкновенная ведьма!» И Алина Федоровна кивала с важностью: «Да, ведьма. И горжусь, что ведьма». Ее сестра соглашалась: да, ведьма, весь наш род такой, ведьминский. Быть ведьмой считалось чуть ли не заслугой. Во всяком случае, тут был некий аристократизм, на что обе женщины намекали. Мы ведьмы, а ты подонок. Глебов знал, что с Левкой Шулепой связываться нельзя. Дело непременно обернется шумом, дракой или какой-нибудь чудовищной нелепостью. Так уж бывало. «Ах, я подонок? А как же, интересно, назвать т е б я?» Там был какой-то Авдотьин. В полувоенном. Тоже сидел за круглым столом, пил «хванчкару». Лицо у него было набрякшее, опущенное книзу, унылое, как коровье вымя. Он бубнил: «Каждый платит сам за себя!» Эта фраза почему-то запомнилась. «Хванчкары» было бутылок восемь. Надо было бежать оттуда, но ноги не слушались, он не мог встать. «Если я ничтожество, я уйду от них,— говорил Левка Глебову.— Зачем мне ведьмы? На Лысой горе? Даже если мать, я не хочу! Я посылаю всех к черту, довольно, я ухожу!» Авдотьич его не пускал. Он ударил Авдотьина по лицу. Они вырвались, убежали. Какая-то машина везла их глубокой ночью. Долго путались, не могли найти дом, шофер ругался и хотел выбросить среди улицы. Но все-таки доехали. Там был граммофон с трубой. О чем же говорили? Из-за чего скандал? Ах, да, вот что: он стал убеждать Глебова кинуть Соню. «Сонька хорошая, но зачем тебе это нужно? Не будь балдой!» И еще сказал: «Ты хочешь с ней дружить? Это благородно. Я тоже с ней дружу, буду дружить всю жизнь. Все ей рассказывать, обо всем советоваться... Так прекрасно — иметь женщину-друга...»

И тогда мать сказала: ты подонок.

Собственно, это было ясно и Глебову. Но Левкина жизненная мощь казалась такой неоспоримой, такой со-

крушающей... Вам нужна женщина? Среди ночи? Чтобы утешала вас, ласкала, говорила нежные, трогающие душу слова — и вовсе не за деньги, а просто так, от вечно женственной щедрости,— когда вы несчастны, брошены на асфальт и родная мать прокляла вас? Никто не может утешить так, как женщина среди ночи. И та блондинка с белой пористой кожей, лепетавшая вздор, была, конечно, неправдоподобным и мистическим счастьем — вроде бутылки пива, что нашлась вдруг у никогда не потреблявшего пива Помрачинского, на которого Глебов наткнулся, выползши, полумертвый, в коридор, а пиво было куплено женой Помрачинского для мытья головы,— но даже и с той блондинкой полного забвения не было. Потому что неотлучно терзала боль: что делать в четверг?

Дело запутывалось все туже. Сторонники Ганчука — а их в институте осталось немало, среди них такие тузы, как профессор Круглов, преподаватель языкознания Симонян, еще какие-то люди, теперь уже забытые, кое-какие студенты, аспиранты — готовились к четвергу, горя желанием защитить Ганчука. Но не все могли на том собрании выступить. То было расширенное заседание Ученого совета с приглашением актива. Глебова тащили туда как заместителя председателя научного студенческого общества. Пришла бумажка в казенном синем конверте: «Ваша явка обязательна...» Вечером во вторник прибежала Марина Красникова, одна из активисток НСО, всегда крикливая, возбужденная, как бы в легком хмелю — общественный темперамент плескал в ней через край. Что с ней стало? Куда делась? Ведь казалось, толстуха прямым ходом идет в Академию наук или, может быть, в Комитет советских женщин. Исчезла без отзвука, как камень на дно...

— Тебе придется выступить от нашего общества, от НСО, потому что Лисакович болен,— тараторила Марина.— Вот тут некоторые тезисы... Лисакович диктовал по телефону...

— А что с Лисаковичем? Чем болен? — насторожился Глебов. Хитер Федя Лисакович, кажется, опередил его, вынуждает пойти. Лисакович был председателем НСО. Марина сказала, что у него фолликулярная ангина, высокая температура, но он рвется пойти. Надеется, что к четвергу станет легче. Врач категорически запретил. Глебов спросил с сомнением: какая же температура? Марина сказала, что будто бы около тридцати девяти.

Тезисы были такие: Ганчук — основатель НСО. Все лучшее, что достигнуто обществом,— благодаря Ганчуку. Ошибки Ганчука характерны для большинства. Если удалять Ганчука, значит, и всех остальных. Заслуги неизмеримо больше ошибок. О статье в газете не говорить ни слова. Если же невозможно, сказать, что недостаточно конкретна и малоубедительна. Заявить твердо: должны гордиться тем, что Николай Васильевич Ганчук работает у нас.

Глебов, читая, удивлялся: а все-таки Федька Лисакович храбрец! Одно из двух: либо храбрец до безрассудства,— так гнуть против Друзяева, Дороднова и прочих,— либо же что-то знает. Борьба разгоралась нешуточная. Марина сказала, что профессор-фольклорист Круглов Василий Дмитриевич, очень добрый и всеми почитаемый старик, пришел в ярость от статьи Ширейко и грозится чуть ли не уйти из института, если травля Ганчука не прекратится. «Ну и пусть уходит,— думал Глебов мыслями Друзяева.— Подумаешь, напугал. У нас незаменимых нет». Одна аспирантка встретила Ширейко во дворе и, когда тот поздоровался с нею, демонстративно повернулась спиной. Говорят, Ширейко покраснел и спросил громко: «Это что значит?» Она не ответила и ушла. А студенты первого курса, у которых он ведет семинар, почти целиком не явились на последнее занятие.

Марина Красникова никогда раньше не приходила к Глебову домой. Ее приход означал крайний накал страстей. Глаза Марины горели благородным сочувствием ко всем благородным людям и радостью оттого, что она тоже причастна к благородному обществу. «Ты должен поднять голос! Сказать за всех нас! Какое безобразие — студенты не могут защитить своего профессора!» Этот натиск, это сверкание глаз и грозное тыканье пальцем напомнили Глебову друзяевское: более чем обязательно. По сути, это было одно и то же, тот же террор.

Марина как будто не замечала, что в доме лежит тяжелобольная, что тут медсестра с чемоданчиком, что пахнет лекарствами, что по коридору бегает молодая женщина, Клавдия, с заплаканным лицом. И, когда Глебов, поколебавшись, все же выдавил из себя: «Ты понимаешь, у меня такая сложная ситуация, больна бабушка, неизвестно, что будет через час...» — что было слабой и почти безнадежной попыткой вырваться из

сетей, Марина быстро сказала: «Можешь располагать мною! Я могу подежурить час, два, целый день, сколько угодно. Но ты должен непременно пойти...»

В тот же вечер явился другой гость — Куно Иванович. Этот визит изумил вовсе. Секретарь Ганчука никогда не приходил сюда, отношения были далекие. В присутствии Глебова Куно Иванович, или Куник, как его звали Ганчуки, заражался какой-то странной нервозностью: возбуждался, острил, голос его начинал дрожать. Глебов однажды посетил Куно Ивановича на его квартире в Гнездниковском переулке. Ганчук послал за какими-то бумагами. Квартира Куно Ивановича поразила Глебова чистотой, прибранностью, совершенно не холостяцким уютом. Было множество цветов в горшках, вазончиках, они стояли на столах, подоконнике и на полочках, развешанных очень живописно повсюду. Полочки перемежались с фотографиями, репродукциями. Каждая стена являла собой вдумчивое произведение искусства. Все было такое утонченное, музейное, немужское, сомнительное. Пока Куник собирал бумаги, Глебов сидел на пуфике и оглядывал комнату. Он увидел на стене между двумя полочками, где стояли в горшках мускулистого вида кактусы, большую фотографию Сони. Висело много и других фотографий, но Сонина была как-то со значением укрупнена. «Страдалец!» — подумал Глебов насмешливо. Он терпеливо и стойко сносил тон нервического превосходства и поучительства, какой усвоил Куник в разговорах с ним, подчеркивая свое старшинство. А Глебов в его присутствии был абсолютно спокоен.

И даже тогда, во вторник вечером, увидев щуплую фигуру человека в длинном пальто с косенькой, набок и книзу гнутой головой, Глебов, хоть и изумился, оставался спокоен.

Куник не сказал ни «здравствуйте!», ни «добрый вечер», сразу заговорил так, будто между ними продолжался прерванный только что разговор.

— Мое первое условие,— сказал он, переступая порог,— чтобы обо всем этом не узнал Николай Васильевич.

Какое условие? Что за бред? Глебов сделал жест, приглашая загадочного человека следовать за ним по коридору. И опять навстречу попалась Клавдия.

— Бабушка спрашивает, ты дома?

— Ты же видишь.

— За весь день не зашел ни разу. Она волнуется, не случилось ли...

— У нас бабушка болеет,— объяснил Глебов Кунику. Тот как будто не слышал, продолжал о своем:

— Потому что, если узнает, он меня растерзает. С его самолюбием. Надеюсь, вы поняли этот характер: самолюбив, вспыльчив, наивен и беспомощен, все вместе...— Они вошли в комнату Глебова, и Куник, не раздеваясь, не снимая шапки и не глядя ни на что вокруг, с видом сомнамбулы опустился на первое, что было ближе,— кровать Глебова. Бухнулся прямо в пальто.— За других будет сражаться, как лев, куда угодно пойдет, с кем угодно схватится. Так бился за этого ничтожного Аструга... Но защитить себя абсолютно не в силах. Пальцем о палец не ударит. Тут должны действовать мы, его друзья...

«Что же мы можем, несчастные лилипуты?» — думал Глебов.

— Я настаивал: «Вы должны ответить Ширейко немедленно! Письмо в редакцию. Очень резкое. Подлость нельзя оставлять безнаказанной». Он сказал, и не подумает. Привел слова Пушкина: «Если кто-то плюнул сзади на мой фрак, дело моего лакея — смыть плевок».

— Пожалуйста, можно выступить в роли лакея,— сказал Глебов.— Я не против. Но как практически?

— Не в роли лакея, а в роли друга я вас призываю выступить! В роли честного человека! То, что он цитировал Пушкина, говорит лишь о том, как он ничего не понимает в происходящем. Ему кажется, что плюнули сзади на фрак. А тут вышли с рогатиной и хотят пропороть пузо. Вот ведь что происходит. Кончать его хотят.

— Куно Иванович, что вы предлагаете? Как можем мы действовать?

— Как действовать!.. Как действовать!..— бормотал Куник, движением плеч сбрасывая пальто с черным собачьим воротником, которое свалилось на постель, а один рукав упал на подушку.— Я уже действую. Написал в редакцию, восемь страниц на машинке. Подписали шесть человек. И теперь пишу в инстанции. Это письмо никого не прошу подписывать, оно крайне злое, не хочу подвергать людей испытанию. А мне терять нечего, я не боюсь. Что же касается вас, дорогой Дима Глебов...— Одно мгновение он как бы с сомнением и изучающе сверлил Глебова взглядом, двигая рыжеватой бровкой.

Выглядело немного комично.— Вы извините, можно ли вас считать истинным другом Николая Васильевича?

— То есть? Почему же нет?

— Вы извините, но я хочу получить ответ. Вы уж ответьте, пожалуйста.

— Ну, разумеется.

— Так, разумеется. Хорошо. Тогда отчего вы себя так странно ведете?

— Простите, не понимаю.

— Почему не возражаете против использования себя во всей этой гнусной кампании?

Тут Глебов вовсе оторопел. В каком использовании? Да читал ли он, Глебов, статью Ширейко, которого Куник, кстати, хорошо знает по пединституту? Глебов читал. Но читал-то бегло, прыгая через строчки, как читают отвратительное, желая поскорей бросить. Там есть, оказывается, вот что: «Не случайно иные студенты-пятикурсники решили отказаться от услуг профессора как руководителя дипломной работы». Куно Иванович выяснил: таких отказавшихся был всего один человек. Он даже не поленился съездить на факультет и посмотреть своими глазами заявление товарища Глебова, будущего аспиранта. Когда ему назвали фамилию Глебова по телефону, он ушам своим не поверил. Но вот поехал и убедился. Какая-то фантастика.

— Да вы знаете ли, в чем дело? — крикнул Глебов.— Вы же ничего не знаете. Вам неизвестна подоплека!

— Я знаю, знаю! — Тот замахал поспешно и с брезгливым выражением руками, будто боясь услышать неприятное.— Если и не знаю, то догадываюсь. Но подоплека меня не интересует. Важен факт: вас использовали, а вы молчите... Вы же молчите, Дима! Почему вы молчите? Как вы можете молчать, приходить в дом, разговаривать с Николаем Васильевичем, с другими... Согласитесь, это как-то несколько, ну, что ли, невысоко с точки зрения морали...

Глебов глядел на своего гостя-мучителя исподлобья. Сердце его колотилось. То ему хотелось крикнуть: «А лезть к перепуганной девчонке под одеяло во время грозы — это как с точки зрения морали?» — то его прожигало чувство стыда и он готов был все сделать, на все пойти, лишь бы исправить то, что случилось. Но смог лишь пролепетать:

— Я же действительно не видел той фразы...

— Как будто дело во фразе! Да если на ваших глазах,— гремел Куник,— нападают на человека и грабят посреди улицы, а у вас, прохожего, просят платочек, чтоб заткнуть жертве рот...

— Да замолчите вы! — взмолился Глебов.— Говорите тише, за стенкой больная.

— Нет уж, вы послушайте! Кто вы такой, спрашивается? Случайный свидетель или соучастник? Ну хорошо, оставим, есть причины, есть подоплека... Допустим, предположим... Но теперь-то что делать? Как дальше-то жить? По-прежнему будете выжидать? Времени не остается. В четверг будет ваша казнь, Дима. Я уж вижу, у вас сил не хватит, чтобы встать и сказать: «Неправда!» Значит, казнь... Так тому и быть... Иногда и молчание собственное казнит.

А у Глебова выплеснулось:

— Неправда! Выступлю в четверг, скажу!

Рыжевато-блеклый человек поднялся с постели, набросил на плечи длинное пальто. Косенькую головку вскинул, посмотрел пристально, сощуриваясь и, хоть ниже ростом, как бы свысока. Ничего не сказал, не попрощался, пошел своим порхающим лунатическим ходом-летом по коридору, вылетел за дверь, Глебов затворил, вдруг тот опять стучит.

— Дима, дорогой, об одном умоляю...— зашептал, клоня в испуге бледное лицо еще сильнее вбок,— поступайте, как хотите, но старику ни о чем ни слова! Обещаете? Да? Ни о моих письмах, ни о нашем разговоре. Немыслимо ему знать!

И так приближалось неотвратимо то распутье, пыточное, перед которым стоял и ног под собой не чуял в изнеможении — вот-вот упасть... Куда было деться? Несло куда-то. Хотя и стоял будто бы без движения, а несло. Только сам еще не знал куда. Отмелькал еще день, такой же белый, крутящийся, хлопотный, с беготней в аптеку, с разговорами совсем не о том. Клавдия опять ругалась с матерью и плакала на кухне. Очень она любила бабу Нилу. И Глебов любил.

Кого же было любить, как не бабу Нилу?

Сидел возле, держал в руке легкую, как ветошь, сизую старушечью руку и что-то гудел, рассказывал — она просила, как маленькая,— а в голове будто колокол: там коня потеряешь, здесь жену, а тут и жизнь саму. В институт звали на какое-то собеседование с первокурсниками. Да все было ясно. Чего ходить? Не пошел. Потом

Афоничева звонила, секретарь деканата: «Глебов, помните, что завтра в двенадцать?» Голос быстрый, напористый: поскорей обзвонить двадцать человек, отбарабанить по списку. «Помню».— «Приходите без опозданий».— «Приду».

Старался рассуждать спокойно: ну хорошо, четыре варианта, их и продумать. Вариант первый: прийти и выступить в защиту. Ну, не прямиком, скажем, с оговорками, указать на некоторые недостатки, но, в общем, защитить, хотя бы в той форме как предлагал Куник: растолковать фразу из статьи Ширейко и объяснить провокационный смысл. Что этот вариант даст? Озлобление администрации. Прости-прощай стипендия Грибоедова, аспирантура и все прочее. Ведь это значит неожиданно повернуть фронт. Они не простят. О, никогда, никогда. Сочтут предательством. Месть будет страшная, скорая. А так как у Дороднова сейчас вся власть в руках, директор месяцами отсутствует — то где-то в Корее, то в Китае, то в больнице, он сделает все по-своему. Он хочет с Ганчуком расквитаться. Каков же выигрыш от этого варианта? Благодарность Ганчука и всего ганчуковского семейства. Еще более безмерная любовь Сони. Кое-кто, вроде Марины Красниковой, будет трясти ему руку в течение полуминуты и говорить о том, какой он молодец, как здорово выступил, а Куник скажет, ухмыляясь: «Вы меня удивили! Я рад за вас!» Вот и все. Затем мелким клерком неизвестно где. По субботам, нагрузившись, как мул, тащиться электричкой в Брусково. Проигрыш сокрушительный, выигрыш слабоват. Вариант второй: прийти и выступить с критикой Ганчука. То есть, проще говоря, напасть на него в хвосте всей своры. Разумеется, вовсе не агрессивно, не грубо, даже тепло, сочувственно, с громадным сожалением о том, что приходится констатировать, с призывом проявить чуткость и помнить о заслугах, но... В духе, как просили. Что-нибудь насчет переверзевщины или рапповщины, это, собственно, все равно. Про бюстики вскользь. А можно без бюстиков. Можно всего два, три мягко-сожалительных слова. Главное, промолчать о той фразочке ширейкинской, будто ее не было никогда, нигде. А ведь если, положа руку на сердце, совсем искренне: так ли уж Николай Васильевич как ученый, как наставник со всех сторон совершенен? Неужто нет ни грамма справедливости в тех ядрах, что обрушились на эту крепость? Признаемся перед собой секретно:

есть, есть... Книги-то скучны. Ни одну нельзя дочитать до конца. Невыносимая скучища, если честно! Так писали двадцать лет назад, а теперь нужно что-то иное. Вульгарный социологизм сидит в нем неискоренимо, как наследственная болезнь. Но об этом молчок! Это только так, по секрету. Откровения перед собственной совестью. И насчет того, что властвовал на факультете, тоже не такая уж ложь. Преподаватели назначались с его санкции. В аспирантуру попасть — только через его «добро». И не такой уж он «не от мира сего», как думают, он наблюдателен, разборчив, к людям присматривается и вовсе не эталон беспристрастия, наоборот, пристрастен, одних любит, других ненавидит, и порой трудно понять, почему. Его вкусы кажутся старомодными, его пристрастия коренятся в прошлом, в десятилетиях бунтов, борьбы, схваток. Есть химеры, химеричность которых давно очевидна для многих, но он не может от них отпасть, как голодное дитя от сосцов. И есть явления последних лет — то, что возникло в мире перед войной и сразу после войны,— которые он не в силах вместить в сознание. А Дороднов в силах? Но ведь Николай Васильевич честнейший, порядочнейший человек, вот же в чем суть! И напасть на него — значит, напасть как бы на само знамя порядочности. Потому что всем ясно, что Дороднов — одно, а Никвас Ганчук — другое. Иногда малосведущие спрашивают: в чем, собственно, разница? Они просто временно поменялись местами. Оба размахивают шашками. Только один уже слегка притомился, а другому недавно дали шашку в руку. Поэтому, если напасть на одного, это вроде бы напасть и на другого, на всех размахивающих шашками. Но это не так. Все же они делают разные движения, как пловцы в реке: один гребет под себя, другой разводит руки в стороны. Ах, боже мой, да ведь разницы действительно нет! Плывут-то в одной реке, в одном направлении. Тут просто вот что: навсегда расстаться с Соней. С ее любовью. А ведь это такая невозвратимость, такой горький отлом души: лишиться любви к себе хотя бы одного человека... И не только, не только! Тут будет со всех сторон: и проклятие, и держание рук за спиной, чтобы, не дай бог, не оскверниться рукопожатием. Потом кто-нибудь пришлет телеграмму: «Поздравляем с высокой наградой — тридцатью сребрениками имени Грибоедова». На все это можно наплевать. Потому что он получит вдруг такое ускорение, что от-

летит далеко-далеко, те исчезнут с его горизонта, сгинут навеки со своими улыбочками, презрением, своими прекрасными шорами на глазах. Не видеть того, что все уже решено с Ганчуком! Спасать его — все равно что грести против течения в потоке, в котором несутся все. Выбьешься из сил, и выбросит волною на камни. Неужели один страх — оказаться вдруг на камнях, в крови, с переломанной ключицей? Тогда не догадывался о страхе. Ведь страх — неуловимейшая и самая тайная для человеческого самосознания пружина. Стальные пальцы едва ощутимо подталкивали, и был готов, окончательно и прочно готов, но какая-то сила невидимая перегораживала путь. Соня, что ли? Которую он не любил? И лучше которой не было в его жизни? Нет, не Соня, а то, что было в Соне: ее тепло, добро... Вот это Сонино, сущее в ней легло преградой, и переступить невозможно.

Тогда, если невозможны оба варианта, остается третий. Прийти и не выступить, отмолчаться. Этим не угодишь никому. Возненавидят те и другие. Отпадает решительно! Тогда четвертый. И это уж последний, больше нет ничего. Не прийти вовсе. Но как? Они предупредили: более чем обязательно. Значит, причина должна быть роковая, космическая. Например, идя на заседание и пересекая площадь, попасть под машину. Наброситься на уличную собаку, чтоб та укусила, чтоб немедленно отправили делать укол. Мало ли что! Все это глупости. Вот если б сердечный приступ и потеря сознания, которые случились два дня назад, произошли бы теперь. Но Друзяев, как работник юстиции, наверняка бы устроил дознание и выяснил, что причина — алкогольное отравление. Нет, не прийти невозможно. Но и прийти нельзя. Все невозможно и все нельзя. Пат. Ни одна фигура не может ходить.

Примерно об этом, только обрывисто, кратко, усталым голосом, с паузами, впадая вдруг в задумчивость, он рассказал бабе Ниле. Она просила, чтобы он что-нибудь рассказал о своих делах.

— Люблю слушать о ваших делах.

Она сама никогда в жизни не работала. То есть работала всю жизнь, но дома, в семье. И она, конечно, ничего в этом не понимала. Но он рассказывал, надо было о чем-то, а в голове только это одно.

Баба Нила вдруг сама пускалась рассказывать о том, что вспоминалось давеча. А вспоминалось ей подробно, хорошо. И все про далекое. Сказать страшно,

про какую даль — лет семьдесят назад. Вот как дедушка Николай, глебовский прапрадед, возил ее летом в деревню. Он был купец, жили на Варварке, возле Соляного двора — до революции тот дом продали, переехали на Щипок, в Замоскворечье,— но в деревне, в Веневском уезде, был дом, который дед Николай построил для тещи, потому что та не хотела переезжать в Москву. И вот бабе Ниле девочкой очень нравилось ездить летом в деревню. Деда Николая там не любили. Звали его Сухой. Но бабе Ниле он казался добрым. В дорогу ей всегда давали «рогожный кулек», из чистенькой желтой рогожки, где были конфеты дешевые, пряники-жамки и орехи. Называлось все вместе «ералаш». Так и просили в лавке: «Два кулька с ералашем!» А уж девчонки деревенские ждут-пождут, и только возок во двор — они тут же. И баба Нила ну их одаривать: тебе орехи, тебе конфету, тебе жамку медовую. А постный сахар любила прабабка, старуха, которой дед Николай избу построил — она в той избе все равно не жила, потому что построена была, как городской дом, сени не сени, а целая зала, и мебель городская, так что прабабка жила у другой дочери в простой избе, а тот дом пустовал, пока не наезжали из города. И вот дед спросит: «Что вам, мамаша, из Москвы привезти?» — «А постного сахарку, Николай Ефимович, если по силе-возможности!» Ну, конечно, на великий пост посылали с оказией. А летом лотка два непременно везут — его лотками продавали в магазине Зайцева. Лотки такие небольшие, вроде неглубоких ящичков, лежало там в два слоя, разных цветов: лимонный, малиновый, яблочный, сливовый, каких только угодно. И посередке между сахаром цибик чаю...

Так рассказывали друг другу — Глебов бабе Ниле, она ему,— и всем казалось, что старушке полегчало. Она даже совет дала:

— Дима, я тебе что скажу? — Смотрела на него с жалостью, со слезами в глазах, будто ему умирать, а не ей.— Ты не томи себя, не огорчай сердца. Коли все равно ничего нельзя, тогда не думай... Как оно выйдет само, так и правильно...

И, странно, он заснул поздно ночью, ни о чем не думая, в спокойствии. В шесть утра проснулся от низкого голоса, то ли от чего-то другого, внезапно услышал:

— Нет нашей бабы Нилы...

Клавдия стояла в дверях черная, без лица, на фоне

освещенного коридора. Голос, низкий, показавшийся мужским, был ее. За стенкой тихонько, боясь соседей потревожить, рыдала тетя Поля. Рыдание было причудливое, будто курица квохтала, которую душат. Вошел отец, что-то насчет врача, справки, куда-то поехать. Так начался четверг. И никуда в этот день Глебову не пришлось идти.

Я пришел в дом на набережной спустя три года, в сентябре сорок первого. Занятия в школе не начинались. Стояли звездные прохладные ночи. Мы жили ночной жизнью, и мне запомнились ночи. Днем была мотня: то мы в речном порту, то на дровяном складе, то разносили повестки по поручению военкомата, а в свободное время учились, как обращаться с гидропультом, раскатывать рукав и открывать крышку уличного водопровода. Все-таки как-никак мы были пожарники. Хотя какие уж там! Помогали кому придется. В речном порту разгружали баржи с ящиками снарядов, а на дровяном складе освобождали товарняки от дров. Все делалось в спешке, мы не складывали дрова, а швыряли их с платформ как попало, громоздя кучами. Надо было как можно скорее очистить путь. Это я помню — дикую спешку. И помню, как я надрывался, стараясь поднимать самые громадные чурбаки. Но настоящая наша жизнь начиналась ночью, после того как радио голосом Левитана объявляло тревогу. Ну да, мы дежурили, торчали на чердаках, бегали по крышам в поисках какой-нибудь чумовой зажигалки, чтобы геройски схватить ее длинными клещами и сбросить вниз, но главное, мы дышали смертной прохладой этих ночей.

Они были такие светлые, пепельные. Полыхали зарницами, закладывали уши гулом. И этот запах порохового дыма над московскими крышами, дробь осколков по железу и печальная гарь — где-то за Серпуховской — пожаров...

Казарма нашей пожарной роты — полное название было что-то вроде «Комсомольско-молодежная рота противопожарной охраны Ленинского района» — помещалась на Якиманке, за мостом. Дом на набережной не входил в наш участок. Но однажды мы там очутились. Не могу вспомнить, что мы там делали и зачем нас туда погнали. Помню, на крыше встретил Антона с тремя парнями, а потом бегали на квартиру к Соне Ган-

чук, и там был Вадька Батон, который на другой день уезжал из Москвы. Он прибежал туда вроде как бы прощаться. Их эшелон уходил на рассвете. А на вокзал они собирались среди ночи, потому что посадка невозможно тяжелая. Я провожал тетку и знал, что там делается. Батон здорово вырос, говорил басом, и у него появились маленькие черные усики. Было, кажется, так: он прибежал к Соне не только прощаться, но и за каким-то баулом, который она ему обещала. Помню, он стоял посреди кухни и, стоя, пил чай из чашки, а Соня чистила щеткой баул, необыкновенно пыльный, и вдруг погас свет, стали искать свечку или фонарь, в это время объявили тревогу. Второй раз за ту ночь.

Когда вскоре свет зажегся, я увидел: Сонино лицо в слезах и улыбается. Соня к тому времени почти совсем исчезла из моей памяти, и на Вадьку Батона я смотрел равнодушно. Все это было далеким, перемученным детством.

Еще помню из той ночи: у Антона на поясе болтался огромный кавказский кинжал. Мы стояли с Антоном на крыше возле металлической, из тонких прутьев оградки и смотрели на черный ночной город. Ни проблеска, ни огонька внизу, все непроглядно и глухо, только две розовые шевелящиеся раны в этой черноте — пожары в Замоскворечье. Город был бесконечно велик. Трудно защищать безмерность. И еще река, ее не скроешь. Она светилась, отражая звезды, ее изгибы обозначали районы. Мы думали о городе с болью, как о живом существе, которое нуждалось в помощи. Но как мы могли помочь? Была минута оцепенения и тишины. Мы стояли на краю невидимой бездны и смотрели в небо, где все переливчато дрожало и напрягалось в ожидании перемены судьбы: звезды, облака, аэростаты, косо и беззвучно падающие белые лезвия прожекторов, без устали разрубающие это утлое мироздание. И тогда Антон пробормотал фразу, поразившую меня:

— Знаешь, кого жалко? Наших мамаш...

Это значило, нас прежних уже не существовало. Тут был насильственный слом. Время, как и небеса, лопнуло с оглушительным треском.

Потом, помню, стояли мы на площадке, ожидая лифта, чтобы отправить вниз больную Сонину мать. Батон успел мне сказать, что я молодец, вовремя из этого дома смылся. Немцы по нему так и лупят. Все бомбы рядом: на мосту, на Кадашевке. Он как бы отдавал должное

моей особой хитрости или удачливости, не знаю уж чему, во всяком случае, я почуял ехидство. Но не стал ему отвечать, потому что был к нему совершенно равнодушен. На всех этажах хлопали двери. Кругом были шум, переклички, топот ног по ступеням, лестница содрогалась. Все прислушивались к тому, что происходит в небе. Пока что было тихо. Антон сказал:

— Может, какая-нибудь одинокая сволочь?

Из квартиры напротив вышел мужчина в пальто, наброшенном на ночную сорочку, и вслед за ним женщина, державшая на руках большую толстую девочку с длинными ногами. Издали донеслось буханье зениток. Женщина сказала, ни к кому не обращаясь:

— Всю бы немчуру из дома к чертовой матери...— Тут она посмотрела на мужа и спросила: — Правда, Коль?

Когда открылась дверь лифта и мать Сони сделала движение войти в кабину, женщина довольно ловко оттолкнула ее ногами девочки, сказав:

— Нет уж, обождете,— вошла в кабину первая, затем вошли ее муж и еще кто-то. Лифт уехал. Профессор Ганчук спросил:

— Кто это такие?

Соня сказала, что новые соседи. И добавила неуверенно:

— Люди неплохие, но какие-то странные...

Мы с Антоном скрестили руки «стульчиком», посадили на них Сонину мать и снесли ее вниз, в подвал. Надо было возвращаться на Якиманку. Зенитки были все ближе и громче. Когда я выбежал во двор, громовая стрельба шла отовсюду и в промежутках между залпами было отчетливо слышно, как осколки зенитных снарядов с силою вляпывались в асфальт. Так, в беготне, в грохоте, я прощался с ними со всеми, а может быть, не успел попрощаться...

Нет, была еще одна встреча, еще одна! Последний раз я встретил Антона в конце октября на Полянке в булочной. Наступила внезапная зима, с морозом, снегом, но Антон был, конечно, без шапки и без пальто. Он сказал, что через два дня эвакуируется с матерью на Урал, и советовался, что с собой взять: дневники, научно-фантастический роман или альбомы с рисунками? У его матери были больные руки. Тащить тяжелое мог он один. Его заботы казались мне пустяками. О каких альбомах, каких романах можно было думать, когда

немцы на пороге Москвы? Антон рисовал и писал каждый день. Из кармана его курточки торчала согнутая вдвое общая тетрадка. Он сказал: «Я и эту встречу в булочной запишу. И весь наш разговор. Потому что все важно для истории».

Спустя много лет я пришел к матери Антона — она единственная продолжала жить в доме на набережной, в той же квартирке на первом этаже — и она дала мне шесть тетрадей Антоновых дневников. Это были дневники последнего предвоенного года, они почему-то остались в московской квартире и оттого сохранились. Все остальные сочинения Антона Овчинникова, его альбомы и научные труды погибли в реке Исеть, когда баркас перевернулся и Антон с матерью сами едва спаслись.

Вот что Глебов старался не помнить: того, что сказал ему Куно Иванович, когда по нелепой случайности столкнулись на аллейке Рождественского бульвара. И как вел себя Глебов, услышав то, что ему сказали. Совсем другие времена, лет восемь спустя, но тоже отчего-то нервность, взвинченность, то ли накануне докторской, то ли было в пору, когда он переходил оттуда сюда, и тут эта встреча на Рождественском. Зима! Ну конечно, глубокая зима. Аллейка желтела песком, а рядом сугробы снега. Кто-то упал в снег. Глебов шел не один. В том-то и дело, что было сказано при людях, и у Глебова помутилось сознание. Если бы не спутники, которые оттащили его, все кончилось бы совсем скверно. Потому что он не соображал, что делает. Он хотел чуть ли не задушить этого человека, повалил его наземь, стискивал горло. Всю жизнь старался об этом забыть, и почти удалось, почти забылось — он, например, уже не помнил, какие именно слова сказал тот человек — и сохранилось лишь в виде слабого сжатия посередине груди, как от давно миновавшего ужаса. Когда возникало воспоминание о том человечке, крайне редко и необъяснимо отчего, все ограничивалось ощущением сжатия посередине груди.

Еще он старался не помнить лица Юлии Михайловны, когда та прошла мимо по коридору, возвращаясь из кабинета Друзяева, девушка вела ее под руку, Глебов на секунду смешался, не зная, как поступить, кивнуть ли, что-нибудь сказать или поклониться молча, и от растерянности окаменел, и она тоже застыла лицом, про-

ходя. Вот это застывшее лицо он сильно старался забыть, потому что память — сеть, которую не следует чересчур напрягать, чтобы удерживать тяжелые грузы. Пусть все чугунное прорывает сеть и уходит, летит. Иначе жить в постоянном напряжении. Застывшее, бескровное лицо забывалось ненадолго, но вдруг появлялось, когда он что-нибудь узнавал: например, о ее смерти. Она умерла скоро, он еще учился в аспирантуре. Но ведь она была тяжелой сердечницей. Непонятно, зачем так билась за то, чтобы вернуться к работе. Ей нельзя было работать ни в коем случае. Ни работать, ни судиться, ни рядиться, ни мстить, ничего, кроме тихой жизни в Брускове среди клумб и грядок, но она не могла, да и Брусково исчезло. Она себя погубила. Как все это было в подробностях, он не знал, но вдруг появлялось лицо. И все остальное, что он старался забыть. Например, то, что сказал Ганчук на редколлегии, когда они встретились на одном обсуждении. Ничего оскорбительного сказано не было. Того, что имелось в виду, не понял никто. И старик был неузнаваемо плох, что-то случилось с правой стороной лица, отчего он не очень вразумительно говорил, слушали его без достаточного внимания. Хотя он повсюду восстановился и главный его враг Дороднов был сокрушен и сгинул в безвестности — этой борьбой заполнились последние годы, — но что-то важное было непоправимо упущено. Слушать старика, упустившего важное, было не так уж интересно. Никто, кроме Глебова, не прислушивался к его бормотанию. Но он уловил в речи старика язвительность. Задело и удивило: оказывается, эти дряблые мускулы еще способны сжиматься! Все это следовало забыть. Так же, как и тот сентябрьский день в Риге, в кафе на открытом воздухе, недалеко от центрального универмага, когда он увидел за соседним столиком Соню. А это были уж совсем иные времена, и даже не те, что наступили потом, а совсем, совсем иные времена, и он бы мог думать, что его не узнают, и все то, что доносилось к нему из прошлого, что еще недавно томило и мучило, теперь не вызывало никаких чувств, отшелушилось, отпало. Когда-то узнал, что Соню отвезли в больницу за городом, этого следовало ждать, все-таки у нее плохая наследственность: мать Юлии Михайловны кончила в доме для душевнобольных и сама Юлия Михайловна была, конечно, не очень здорова. И кто-то из навещавших Соню рассказывал, что ее болезнь выражалась в том, что она боялась

света и все время хотела быть в темноте. Ничего другого как будто не было. Только вот этот страх перед светом и желание темноты. Потом она как будто поправилась. Он знал неточно. Не было никаких людей между ним и ею, все остались в тех временах. И вот эта встреча в Риге, он жил на взморье, приехал на один день, Марина таскала по магазинам, вдруг за соседним столиком Соня. Рядом с нею сидела странного вида, высокая носатая женщина в очках, в неряшливом туристском одеянии, в брюках и в кедах. Соня смотрела на Глебова, он оттого и повернулся, что почувствовал взгляд. И как-то сразу, непроизвольно сделал движение к ней и что-то сказал: «Соня!» или «здравствуй!» или «это ты?». Что-то обрадованное, горячее, в одну секунду его как окатило волной. Она постарела, отяжелела, волосы были наполовину седые, но осталась способность мгновенно белеть лицом, и вот так, побелев лицом, она смотрела с испугом, потом носатая женщина взяла ее под руку, подняла из-за стола и они ушли. Запомнилось: у женщины были кеды огромного размера. Марина спросила: «Ты знаешь этих женщин? Кто они?» Он сказал, что московские знакомые, но, кто именно, он не помнит.

Все было, может, не совсем так, потому что он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать. Этого не было никогда. Никогда не было второго собрания, многолюдного, в марте, когда уже не имело смысла самоугрызаться, все равно надо было прийти и если не выступить самому, то хотя бы послушать других. Кажется, он там что-то сказал. Что-то очень короткое, малосущественное. Совершенно из памяти вон: что же? Не имело значения. С Ганчуком все было решено и подписано. В областной педвуз, на укрепление периферийных кадров. Были какие-то возражения, кто-то кликушествовал, неинтересно, забыто — не было никогда. В самом деле, а было ли? Но вот что безусловно: кондитерская на улице Горького. Это запомнилось на всю жизнь. Это было. А все остальное, крики, волнения, пять часов говорильни с паузами для перекура, пьяная болтовня Левки, именины Ширейко — казалось, он выбивается в первые ряды, в лидеры большого калибра, но почему-то теми митингами ограничилось, дальше он не проехал, — все шумное, непонятное, вздорное, что творилось вокруг Ганчука, с топотом ног и выкручиванием рук, со слезами, инфарктами, ликова-

нием, исчезло, как болотное наваждение. Ну, не было, не было ничего. Он брел по улице с мутной и тяжелой башкой, рядом был Левка, которого вконец развезло. Там он еще держался, а на трибуне выглядел совсем молодцом. Левка бормотал: «Скоты мы, сволочи...» Надо было тянуть его домой, он мог упасть. Вот тогда начиналась его пагуба. Несколько лет спустя, когда его жизнь перевернулась, второй его «батя», похожий на усатого запорожца, оказался не у дел, дом рухнул, машина исчезла, мать чудом уцепилась за что-то, оставшись в одиночестве, а Левка превратился в мелкого футбольного администратора, ездил с командой из города в город, добывал гостиницу, бутсы, мячи, «левые» игры и пьянствовал, за что вскоре был изгнан отовсюду, и потом занимался неизвестно чем, и, когда милиция подбирала его где-нибудь на улице, он иногда говорил, что его фамилия Глебов, и называл глебовский адрес. Наверно, называл и другие адреса. К Глебову его привозили раза два. Но и это было уже очень давно, лет четырнадцать назад. А потом волны сомкнулись над ним, и Глебов ничего не слышал о нем вплоть до теперешнего внезапного появления в мебельном магазине, когда уже сил нет ни на какие сантименты, ни на что, кроме сути дела.

Но тогда, после собрания, до потопа, когда петляли и кружили Москвой, ни о чем еще не догадывались: Левка не знал, что скоро он полетит, кувыркаясь, как пустые салазки с ледяной горы, а Глебов не знал, что настанет время, когда он будет стараться не помнить всего, происходившего с ним в те минуты, и, стало быть, не знал, что живет жизнью, которой не было. И вдруг за стеклом кондитерской на улице Горького, вблизи Пушкинской, Глебов увидел Ганчука. Тот стоял у высокого столика, за которым пьют кофе, и с жадностью ел пирожное «наполеон», держа его всеми пятью пальцами в бумажке. Мясистое, в розовых складках лицо выражало наслаждение, оно двигалось, дергалось, как хорошо натянутая маска, вибрировало всей кожей от челюсти до бровей. Была такая поглощенность сладостью крема и тонких, хрустящих перепоночек, что Ганчук не заметил ни Глебова, который замер перед стеклом и секунду остолбенело глядел на Ганчука в упор, ни качавшегося рядом с ним Шулепникова. А ведь полчаса назад этого человека убивали. Глебов потом часто рассказывал историю с кондитерской. Да, мол, было, что говорить. Много всякого. И то, и это, и пятое, и десятое,

о чем лучше не вспоминать. А все-таки стоял и ел «наполеон» с громаднейшим аппетитом!

И вот еще что отпечаталось в оттенках, в подробностях, с переливами. Тот первый после похорон бабушки приход к Ганчукам, после Ученого совета, на котором довелось не быть, но до второго, мартовского собрания. Одна из тех благоглупостей, на которые он способен. Ведь внутри себя он все уже разрешил. Благоглупость заключалась в том, что его тянуло хотя бы косвенно, отдаленно, скрытно получить разрешение Сони. То есть он мечтал, чтобы она сказала: «Да, ты прав, милый, ты должен оставить меня. Так лучше для меня, для тебя, для папы, для науки, для всего и для всех». Разумеется, она этого сказать не могла. Но пусть хотя бы увидит и разделит его страдания, поймет, что выхода не было. Почему-то был убежден, что поймет. Ведь это было ее главное достоинство — все понимать.

Дверь отворила Юлия Михайловна. Глебов почувствовал, что мать Сони мгновенно и неуловимо шатнулась, увидев его, и чуть помедлила со словами: «А, здравствуйте. Проходите...» Он вошел. Все было неузнаваемо. Юлия Михайловна быстрым, небрежным жестом показала на вешалку: «Можете повесить тут». Как будто он в доме первый раз. Просто сразу дали понять, что того дома больше не существует. «Соня скоро придет. Подождите, пожалуйста, в столовой». Таким же небрежным жестом было указано, где сидеть — на диванчике рядом с пианино. Он сел на диванчик. Юлия Михайловна вышла. Он сидел один и был довольно спокоен, хотя испытывал некоторый неуют и предчувствие болезненных ощущений, как в приемной зубного врача. Но прийти сюда было нужно, расстаться с больным зубом необходимо, поэтому готов был терпеть. Его озадачивало вот что: почему Юлия Михайловна так отчетливо холодна? Это непонятно. Ведь дело происходило до мартовского собрания. Не могла же она прочитать в его мыслях то, что им решено пока лишь для себя. И он намерился, как только Юлия Михайловна войдет, спросить с искренним удивлением: что случилось? Отчего она как будто сердится на него за что-то?

Юлия Михайловна не приходила. Соня не возвращалась. Он слышал, как Юлия Михайловна бегает быстрыми шажками по коридору, разговаривает с Васеной, потом стукнула дверь кабинета, послышалось гудение голоса Ганчука, Юлия Михайловна сказала

громко: «Это не то, что я хочу!» — на это Ганчук ответил неразборчивой фразой, затем все смолкло. В столовую не заходил никто. Открылась бесшумно дверь, появился черный кот Маврикий и, не взглянув на Глебова, пройдя мимо него, как мимо стула, прошествовал через столовую в Сонину комнату. Глебов сидел на диванчике уже полчаса. Начал нервничать. Что, в самом деле, за обращение? На каком основании? Ведь нет никаких оснований. То, что он не пришел на Ученый совет, имело уважительную причину. Более чем! Смерть близкого человека поважнее неприятностей по службе. Постепенно все более настраиваясь против Юлии Михайловны — в ней всегда чувствовалась какая-то спесивость, эгоистичность, неприятная женщина — и заодно против Ганчука, который так ей во всем поддавался, Глебов впервые с тайным злорадством подумал, что, в общем-то, неплохо, что этих людей поприжали. Нельзя на все смотреть со своей колокольни. И не случайно у них так мало защитников. Когда Юлия Михайловна вдруг вошла, неся — не чай, не вазу с печеньем и даже не пепельницу — настольную лампу, Глебов произнес с некоторым вызовом:

— Вы на меня как будто сердиты, Юлия Михайловна?

Юлия Михайловна странно хмыкнула, но не ответила сразу. Она устанавливала лампу в углу комнаты на журнальном столике. Установила, зажгла.

— Да, представьте себе, сердита.

— За что же, Юлия Михайловна?

— Этого быстро не объяснишь. У нас нет времени для разговора. Сейчас придет Сонечка. Здесь как-то темно, не правда ли? Надо зажигать свет. «Mehr Licht»,— как сказал Гете перед смертью.

Она зажгла люстру и вышла. Было часа четыре дня, не так уж темно. Вдруг Юлия Михайловна вернулась, плотно заперла за собой дверь, глаза ее блестели, движения были поспешные. Она села на стул напротив диванчика и, глядя блестящими глазами прямо в глаза Глебова, заговорила тихо и быстро:

— Я все-таки попробую объяснить, пока нет Сонечки. Говорю тихо, чтобы не слышал Николай Васильевич... Я не хотела такого разговора, но вы спросили... Понимаете, что я думаю о вас? Я вас ненавижу. Да, да, не делайте такие большие, удивленные глаза...

Тут она понесла несусветное. Что-то о том, как труд-

но понять человека, но наступает минута, почему-то она говорила «ночная минута», и человек открывается. Что-то о своей матери, которая была ясновидящей и умела предсказывать будущее. Он помнит, что вдруг испугался: а если она тоже ясновидящая и прочитала его намерения? Вот и объяснение холода. Но она, словно отвечая на его мысли, сказала, что лишена такого дара и не знает, как сложатся его отношения с Соней, не хочет вмешиваться, однако ей кажется... Она думает с тревогой... Проклинает тот день... Что это была за галиматья, что за сплав озлобления, нелепицы и безумия! Конечно, эта женщина была больна. Соня рассказывала, что, когда у матери повышалось давление и близился приступ стенокардии, с ее психикой творилось неладное. Ему хотелось уйти, и он вскочил со словами:

— Я принесу вам воды!

Но она, схватив его за руку, не пустила. Ее цепкие пальцы стискивали с неожиданной силой, он похолодел: показалось, что такая сила может быть только у сумасшедшей. Но Юлия Михайловна не была сумасшедшей, она просто неизвестно почему ненавидела Глебова и торопилась об этом сказать. Будто догадавшись о его мыслях, она произнесла скороговоркой:

— Не надо никого звать, я все успею сказать, придет Сонечка, будем пить чай. И — вы слышите? — я вам ничего не говорила...

После этого она так же спехом, вполголоса, захлебываясь словами, сообщила ему, что он умный человек, но ум его ледяной, никому не нужный, бесчеловечный, это ум для себя, ум человека прошлого, какой-то клинический бред.

— Вы сами не понимаете, насколько вы буржуазны!

Будто он использовал все: ее дом, дачу, книги, мужа, дочь. Что можно было сказать на все это? Не спорить же с несчастной женщиной. Вставая с диванчика, спросил:

— Можно я принесу вам воды?

— Принесите,— согласилась она спокойно.

Он пошел на кухню, Васена дала стакан, он налил кипяченой воды, вернулся. Юлия Михайловна сидела на том же стуле и смотрела перед собой.

— Знаете, что я вам скажу? — медленно, как очнувшись, произнесла она, беря стакан.— Вот что было бы лучше всего... Этот разговор останется между нами. Лучше всего, если вы уйдете из этого дома...

Он спросил: что он сделал плохого?

— Вы ничего не сделали пока. Еще не успели. Но зачем ждать, когда сделаете? Уходите теперь... Я вас прошу, я умоляю вас...— И правда, она смотрела с мольбой.— Сонечка не узнает о нашем разговоре. Я вам клянусь! Хотите, я вам дам деньги?

— Какие деньги? О чем вы говорите?

— Ведь вам нужны деньги. Вы их любите, правда? И у вас их нет. Сколько вам дать? — Опять начинался бред.— Говорите скорее, пока не пришла Соня. Ну, ну, говорите же. Я вам дам, и вы тут же, немедленно... Нет, постойте! Я сейчас принесу другое! — Тут она почему-то стала шептать: — Я вам дам одно кольцо, старинное, с сапфиром. Вы же любите буржуазные вещи? Золото? Кляйноды?

— Если вы так желаете, чтоб я ушел,— заговорил он,— пожалуйста, я не возражаю...

Она замахала руками, шепча:

— Одну минуту! Я принесу! Мне совершенно не нужно, а вам пригодится!

Она метнулась к двери в соседнюю комнату, где была спальня, но, к счастью, ей помешали — вошел Ганчук. Был какой-то странный, мятый, прыгающий разговор. Почему-то о Достоевском. Ганчук говорил, что недооценивал Достоевского, что Алексей Максимыч не прав и что нужно новое понимание. Теперь будет много свободного времени и он займется. Юлия Михайловна смотрела на мужа с печальным и страстным вниманием. Он говорил что-то в таком духе: мучившее Достоевского — все дозволено, если ничего нет, кроме темной комнаты с пауками — существует доныне в ничтожном, житейском оформлении. Все проблемы переворотились до жалчайшего облика, но до сих пор существуют. Нынешние Раскольниковы не убивают старух процентщиц топором, но терзаются перед той же чертой: переступить? И ведь, по существу, какая разница, топором или как-то иначе? Убивать или же тюкнуть слегка, лишь бы освободилось место? Ведь не для мировой же гармонии убивал Раскольников, а попросту для себя, чтобы старую мать спасти, сестру выручить и самому, самому, боже мой, самому как-то где-то в этой жизни...

Он размышлял вслух, не заботясь о том, слушают его, понимают ли. У него и голос переменился. Вдруг пришла Соня. Как раз на словах Ганчука:

— Вот и вы, Дима, зачем вам приходить сюда? Это совершенно необъяснимо с точки зрения формальной логики. Но тут есть, может быть, объяснение другого толка...

— Папа! — крикнула Соня, бросившись к Глебову.— Не мучай Диму! Его и так намучили!

И она встала перед Глебовым, загородив его, будто Ганчук мог в Глебова чем-то кинуть. Но Ганчук ее не слышал, не видел.

— Тут есть, может быть,— говорил он,— объяснение метафизическое. Помните, как Раскольникова все тянуло к тому дому... Но нет! Не то! — Он четким, профессорским жестом отсек собственное предположение.— Там все было гораздо ясней и проще, ибо был открытый социальный конфликт. А нынче человек не понимает до конца, что он творит... Поэтому спор с самим собой... Он сам себя убеждает... Конфликт уходит в глубь человека — вот что происходит...

— Папа, дорогой,— сказала Соня,— я тебя умоляю!

— Ну, хорошо, дочка, пожалуйста. Извини меня.— Ганчук впервые посмотрел на Глебова внимательно, узнающе.— К тому же я вовсе на него не в обиде. Нисколько, абсолютно не в обиде.

Он вышел, но через короткое время, когда Глебов прошел вслед за Соней в ее комнату, разлегся, как обычно в минуты усталости, на тахте, покрытой ковром, а она села рядом и гладила его волосы, потому что очень его жалела, знала, как он любил бабу Нилу, Ганчук вдруг опять появился и спросил прежним, знакомым голосом:

— А знаете, в чем ошибка? В том, что в двадцать седьмом году мы Дороднова пожалели. Надо было добить.

Эти слова успокоили Глебова: он понял, что старик остался тем же, чем был. Значит, все, что делалось, было правильно. Глебов ночевал у Сони. Спать они не могли. Заснули перед рассветом. Глебову привиделся сон: в круглой жестяной коробке из-под монпансье лежат кресты, ордена, медали, значки и он их перебирает, стараясь не греметь, чтобы не разбудить кого-то. Этот сон с крестами и медалями в жестяной коробке потом повторялся в его жизни. Утром, завтракая на кухне и глядя на серую бетонную излуку моста, на человечков, автомобильчики, на серо-желтый, с шапкою снега дворец на противоположной стороне реки, он сказал, что

позвонит после занятий и придет вечером. Он больше не пришел в тот дом никогда.

Вот что вспомнилось Глебову, кое-что благодаря усилиям памяти, а кое-что помимо воли, само собой, ночью после того дня, когда он встретил Левку Шулепникова в мебельном магазине. Одно казалось странным, и он так и заснул в своем кабинете на втором этаже, с окном в сад, не разгадав загадки: отчего Левка не захотел узнавать его?

В апреле 1974 года Глебов ехал поездом в Париж на конгресс МАЛЭ (Международной ассоциации литературоведов и эссеистов, где он был членом правления секции эссеистики) и встретил в вагоне Левкину мать Алину Федоровну. Она ехала в тот же город по приглашению сестры, покинувшей Россию пятьдесят три года назад. Алина Федоровна превратилась в седую сутулую старуху, но Глебов узнал ее сразу: то же смугло-фаянсовое горбоносое лицо, острый, посверкивающий взгляд и та же, знакомая с детства папироска в зубах. Часами стояла в коридоре у окна и курила. Глебов подошел, напомнил о себе, но разговор не вязался. Вдруг, как когда-то давно, он почувствовал стену высокомерия, окружавшую эту женщину. Господи, да с чего бы? Все разрушено, жизнь исчезла, сын погиб, и о нем не хочется говорить, и, однако, старая дама сощуривалась, будто смотрела на Глебова в лорнет, и спрашивала величественно-равнодушно: «Ах так? Эссеистики? Это что же, интересно?» После Варшавы она немного разговорилась, и он узнал, что она получает пенсию за первого мужа, Прохорова-Плунге, старого коммуниста, реабилитированного посмертно, что у нее хорошая однокомнатная квартира на проспекте Мира, недалеко от метро, где она жила одна, не желая никого видеть: ни милого сына, ни бывшей невестки, восемь лет назад бросившей сына, потому что выдержать его не может ни один человек, ни внука, семнадцатилетнего лоботряса, вспоминающего о ней, лишь когда она собирается к родственникам в Париж. Тогда притаскивается как бы навестить и проведать, лучший внук на земле, и между прочим подсовывает заказик, напечатанный на машинке: джинсы, ремень, зажигалка, голубая рубашка в талию, навыпуск, с накладными карманами, все очень дельно и продуманно. Всю жизнь она жила для других, теперь хочется пожить для себя. После Берлина она сделалась еще разговорчивей и откровенней. «Го-

ворят, будто русское дворянство выродилось, я и в Париже это слышала, а я вам скажу обратное: наша кровь самая прочная, потому что мы вынесли все». На перроне в Париже Глебов увидел горбоносую старуху, чем-то похожую на Алину Федоровну, но более чахлую, суетливую, одетую вовсе не по-парижски, в балахонистом старомодном плаще, рядом с нею были молодой человек и девушка, они защебетали вокруг Алины Федоровны, та отвечала то по-русски, то по-французски, все двинулись с толпой по перрону, а Глебов постоял минуту-другую, ожидая, что Алина Федоровна оглянется и попрощается с ним. Но Алина Федоровна не оглянулась. Зато раздался вкрадчивый голос на ломаном русском языке: «Рад приветствовать вас, господин Глебофф, в городе Париже! Позвольте ваши вализы. Это все?» Молодой, коричневорумяный, сочногубый господин с усиками по фамилии, кажется, Секюло, которого Глебов помнил по конгрессам в Осло и в Загребе, подхватил единственный чемодан Глебова и, улыбаясь, кивая головой в туго натянутой на затылок белой клетчатой кепке, левой рукой показал куда-то вдаль и тоже устремился в толпу.

Знакомый воздух парижского вокзала, в котором было слито много всего, и это создавало впечатление какой-то горьковатой и душной сладости, охватил Глебова, как зной. Через сорок минут он уже ходил быстрыми шагами по темной гостиничной комнате, выходившей окнами на узкую улицу недалеко от Pigalle, и, мурлыча что-то, разгружал чемодан, хлопал дверьми шкафов, чуть ли не бегом спешил в ванную комнату, раскладывал под зеркалом туалетные принадлежности...

Работая над книгой о двадцатых годах, я натолкнулся на фамилию Ганчука Н. В., который играл заметную роль в тогдашних дискуссиях, в особенности в спорах вокруг журнала «В литературном дозоре», гремевших в двадцать пятом и двадцать шестом. Кто-то сказал, что Ганчук еще жив. Я разыскал его с немалым трудом. Он жил одиноко в тесной однокомнатной квартирке, загроможденной книгами — стеллажи были даже на кухне,— в блочной новостройке возле Речного вокзала. Старую квартиру, где я когда-то бывал — о чем он, разумеется, забыл, да и я помнил слабо,— он отдал добровольно, потому что жить там одному после смерти Сони стало невмоготу. А здесь, говорил он, превосход-

ный микроклимат, пахнет бором, можно ходить на лыжах. Ему было восемьдесят шесть. Он ссохся, согнулся, голова ушла в плечи, но на скулах еще теплился не избытый до конца ганчуковский румянец. И, когда он с усилием протягивал локтем вперед скрюченную правую руку и цепкими пальцами захватывал вашу кисть, ощущался намек на прежнюю мощь. «Аз есмь!» — говорило рукопожатие, хотя глаза слезились, а язык ворочался через силу. В углу прихожей стояли лыжи. Востроносенькая старуха в седых аккуратных куделечках приходила помогать по хозяйству. Однажды я слышал, как она тихонько напевала на кухне.

Несколько раз я приезжал к Ганчуку с магнитофоном, стараясь выведать у него подробности, относящиеся к шуму и гаму двадцатых годов — ведь свидетелей тех полулегендарных лет почти не осталось,— но, к сожалению, выведал немного. И дело не в том, что память старца ослабла. Он не хотел вспоминать. Ему было неинтересно. Мне все происходившее тогда было гораздо интереснее, чем ему, и как-то он спросил с удивлением и даже с досадой: «Господи, твоя воля, неужто и эта моя статья не прошла мимо вас? И охота возиться со всей этой жеребятиной...» Зато с удовольствием разговаривал о какой-нибудь многосерийной муре, передававшейся по телевизору, или о новости, вычитанной из «Науки и жизни». Он выписывал восемнадцать газет и журналов.

В годовщину Сониной смерти, в октябре, мы поехали на кладбище. Соня была похоронена на территории старого крематория, вблизи Донского монастыря. Крематорий уже полтора года был закрыт. Москва сжигала где-то в другом месте, за городом. Говорили, что далеко, неудобно, неуютно. То-то был уют здесь, у Донского! На кладбище пускали до семи вечера, а мы приехали без десяти семь. Такси остановили на площадке перед воротами. Тьма была на земле, угольно-темными стояли деревья, угольно темнела стена, но небо еще пылало сумеречно и жило — с криком летали вороны. Привратник громыхал железом, собираясь запирать ворота, и в эту минуту мы подошли. Я вел старика под руку. Привратник не хотел нас пускать. Начался спор в темноте. Мы угрожали, упрашивали, пытались дать ему денег, но привратник отвечал все более грубо и неуступчиво. Ганчук упирал на то, что он персональный пенсионер, что ему восемьдесят шесть и он может умереть каждый миг,

а привратник хриплым, злобным голосом орал, что он тоже человек и хочет приходить домой вовремя.

— Но вы не имеете права без десяти минут...

— А продуктовые без пятнадцати закрывают!

— Да как вы сравниваете? У вас есть совесть?

— А вы не учите! Можно сравнивать. Подумаешь, сравнивать нельзя.

— Дайте вашу фамилию! — кричал слабым голосом Ганчук.— Немедленно назовите. Я буду писать.

— Прохоров! — рявкнул привратник.— Лев, к примеру, Михайлович! Ну и что? Куда писать будете? На тот свет?

— Шулепа...— сказал я тихо.— Пусти нас.

Человек, неразличимый во мраке, замолчал и откачнулся от проема ворот. Мы прошли. В тишине, нарушаемой криком ворон, скрипели мои каблуки и шуршали подметки Ганчука, которыми он вез по асфальту. Двигались мы очень медленно. Вот так же, наверно, он ходил на лыжах. Когда удалились от ворот шагов на двадцать, я сказал Ганчуку:

— По-моему, это парень из нашего класса. Ну да шут с ним.

Обогнули черный, недышащий крематорий и стали искать могилу, что оказалось в потемках делом небыстрым. Старик наклонялся и ощупывал камни. Наконец произнес, тяжело дыша:

— Это здесь...

Он присел на корточки и долго делал что-то, сидя так: что-то стряхивал, перебирал, шелестел сухой листвой.

Я думал о том, что нет ничего страшнее мертвой смерти. Погасший крематорий — это мертвая смерть. И Левка Шулепа в воротах кладбища... Вдруг я понял старика, который не хотел вспоминать. Оглушающе орали вороны, кружась и кружась над нашими головами, очень рассерженные чем-то. Было похоже, что мы вступили в их владения. Или, может быть, начинался их час, когда мы не смели тут появляться. На деревьях вокруг было множество темных и жирных гнезд.

Старик шептал, разговаривая сам с собой:

— Какой нелепый, неосмысленный мир! Соня лежит в земле, ее одноклассник не пускает нас сюда, а мне восемьдесят шесть... А? Зачем? Кто объяснит? — Он стискивал мою руку цепкой клешней.— И как не хочется этот мир покидать...

Когда через полчаса мы выбрели со двора к выходу, ворота были раскрыты, а привратник исчез. Такси ждало нас. Ехали молча, и только когда спустились к площади, повернули туннелем на Садовую, Ганчук придвинулся к шоферу и чуть слышно попросил ехать скорей: хотел успеть на какую-то передачу по телевизору. Слепили огни, разгорался вечер, нескончаемо тянулся город, который я так любил, так помнил, так знал, так старался понять...

А вскоре и привратник в изношенном кожаном реглане на цигейке, в каких ходили летчики в конце сороковых годов, вышел на аллею, ведшую вдоль монастырской стены, повернул налево и оказался на широкой улице, где сел в троллейбус. Спустя несколько минут он проезжал мостом через реку, смотрел на приземистый, бесформенно длинный дом на набережной, горящий тысячью окон, находил по привычке окно старой квартиры, где промелькнула счастливейшая пора, и грезил: а вдруг чудо, еще одна перемена в его жизни?..

1976

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Трифонов Ю. В.

Т69 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 2. Повести/ Редкол. С. Баруздин, Ю. Верченко, Ф. Кузнецов и др.— М.: Худож. лит., 1986.— 495 с.

Во второй том вошел цикл «московских» повестей. На разном жизненном материале писатель прослеживает психологию семейных отношений, внимательно исследует влияние профессиональной микросреды, нравственного климата учреждений, где трудятся его герои, на формирование нравственного облика человека.

Т $\frac{4702010200\text{-}045}{028(01)\text{-}86}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор О. Я. Афанасьева

Художественный редактор Е. А. Ененко

Технический редактор Л. И. Витушкина

Корректор М. И. Миримская

ИБ № 3955

Сдано в набор 22.04.85. Подписано в печать 10.10.85. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Банниковская». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 27,49. Изд. № III-2032. Тираж 130 000 экз. Заказ № 1083. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28